АРКАДИЙ
СТРУГАЦКИЙ
БОРИС
СТРУГАЦКИЙ

Annotation

В седьмой том собрания сочинений включены произведения, написанные в период с 1973 по 1978 годы: "За миллиард лет до конца света", "Град обреченный", "Повесть о дружбе и недружбе".

Том дополняют комментарии Б.Стругацкого к данным произведениям

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ СЕДЬМОЙ

1973-1978

ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА
Рукопись, обнаруженная при странных обстоятельствах

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. «...Белый июльский зной, небывалый за последние два столетия, затопил город. Ходили марева над раскаленными крышами, все окна в городе были распахнуты настежь, в жидкой тени изнемогающих деревьев потели и плавились старухи на скамеечках у подъездов.

Солнце перевалило через меридиан и впилось в многострадальные книжные корешки, ударило в стекла полок, в полированные дверцы шкафа, и горячие злобные зайчики задрожали на обоях. Надвигалась пополуденная маета — недалекий теперь уже час, когда остервенелое солнце, мертво зависнув над точечным двенадцатиэтажником напротив, простреливает всю квартиру навылет.

Малянов закрыл окно — обе рамы — и наглухо задернул тяжелую желтую штору. Потом, подсмыкнув трусы, прошлепал босыми ногами на кухню и отворил балконную дверь.

Было начало третьего.

На кухонном столике среди хлебных крошек красовался натюрморт из сковородки с засохшими остатками яичницы, недопитого стакана чая и обкусанной горбушки со следами оплавившегося масла.

— Никто не помыл и ничто не помыто, — сказал Малянов вслух.

Мойка была переполнена немытой посудой. Не мыто было давно.

Скрипнув половицей, появился откуда-то одуревший от жары Калям, глянул на Малянова зелеными глазами, беззвучно разинул и снова закрыл рот. Затем, подергивая хвостом, проследовал под плиту к своей тарелке. Ничего на этой тарелке не было, кроме сохлых рыбьих костей.

— Жрать хочешь... — сказал Малянов с неудовольствием.

Калям сейчас же откликнулся в том смысле, что да, неплохо бы наконец.

— Утром же тебе давали, — сказал Малянов, опускаясь на корточки перед холодильником. — Или нет, не давали... Это я тебе вчера утром давал...

Он вытащил Калямову кастрюлю и заглянул в нее — были там какие-то волокна, немного желе и прилипший к стенке рыбий плавник. А в холодильнике, можно сказать, и того не было. Стояла пустая коробочка из-под плавленого сыра «Янтарь», страшненькая бутылка с остатками кефира и винная бутылка с холодным чаем для питья. В отделении для овощей среди луковой шелухи доживал свой век сморщенный полукочанчик

капусты с кулак величиной да угасала в пренебрежении одинокая проросшая картофелина. Малянов заглянул в морозильник — там в сугробах инея устроился на зимовку крошечный кусочек сала на блюдце. И все.

Калям мурлыкал и терся усами о голое колено. Малянов захлопнул холодильник и поднялся.

— Ничего, ничего, — сказал он Каляму. — Все равно сейчас везде обеденный перерыв.

Можно было бы, конечно, пойти на Московский, где перерыв с часу до двух, но там всегда очереди, и тащиться туда далеко по жаре... Это надо же — какой паршивый интеграл оказался! Ну, ладно... Пусть это будет константа... от омеги не зависит. Ясно ведь, что не зависит. Из самых общих соображений следует, что не должен зависеть. Малянов представил себе этот шар и как интегрирование идет по всей поверхности. Откуда-то вдруг выплыла формула Жуковского. Ни с того ни с сего. Малянов ее выгнал, но она снова появилась. Конформные отображения попробовать, подумал он.

Опять задребезжал телефон, и тут выяснилось, что Малянов, оказывается, уже снова был в комнате. Он чертыхнулся, упал боком на тахту и дотянулся до трубки.

— Да!

— Витя? — спросил энергичный женский голос.

— Какой вам телефон нужен?

— Это «Интурист»?

— Нет, это квартира...

Малянов бросил трубку и некоторое время полежал неподвижно, ощущая, как голый бок, прижатый к ворсу, неприятно подмокает потом. Желтая штора светилась, и комната была наполнена тяжелым желтым светом. Воздух был как кисель. В Бобкину комнату надо перебираться, вот что. Баня ведь. Он поглядел на свой стол, заваленный бумагами и книгами. Одного Смирнова Владимира Ивановича шесть томов... И вон еще сколько бумаги на полу разбросано. Страшно подумать — перебираться. Постой, у меня же какое-то просветление было... Ч-черт... С этим твоим «Интуристом», дура безрукая... Значит, я был на кухне, затем меня принесло сюда... А! Конформные отображения! Дурацкая идея. Вообще-то надо посмотреть...

Он кряхтя поднялся с тахты, и телефон сейчас же зазвонил снова.

— Идиот, — сказал он аппарату и взял трубку. — Да!

— Это база? Кто говорит? Это база?

Малянов положил трубку и набрал номер ремонтной.

— Ремонтная? Я говорю с телефона 93-98-07... Слушайте, я вам вчера уже звонил один раз. Невозможно же работать, все время попадают сюда...

— Какой у вас номер? — прервал его злобный женский голос.

— 93-98-07... Мне все время звонят то в «Интурист», то в гараж, то...

— Положите трубку. Проверим.

— Пожалуйста... — просительно сказал Малянов уже в короткие гудки.

Потом он прошлепал к столу, уселся и взял ручку. Та-ак... Где же я все-таки видел этот интеграл? Стройный ведь такой интеграшка, во все стороны симметричный... Где я его видел? И даже не константа, а просто-напросто ноль! Ну, хорошо. Оставим его в тылу. Не люблю я ничего оставлять в тылу, неприятно это, как дырявый зуб...

Он принялся перебирать листки вчерашних расчетов, и у него вдруг сладко замлело сердце. Все-таки здорово, ей-богу... Ай да Малянов! Ай да молодец! Наконец-то, кажется, что-то у тебя получилось. Причем это, брат, настоящее. Это, брат, тебе не «фигура цапф большого пассажного инструмента», этого, брат, до тебя никто не делал! Тьфу-тьфу, только бы не сглазить... Интеграл этот... Да пусть он треснет, интеграл этот, — дальше поехали, дальше!

Раздался звонок. В дверь. Калям спрыгнул с тахты и, задрав хвост, поскакал в прихожую. Малянов аккуратно положил ручку.

— С цепи сорвались, честное слово, — произнес он.

В прихожей Калям описывал нетерпеливые круги и орал, путаясь под ногами.

— Ка-ал-лям! — сказал Малянов сдавленно-угрожающим голосом. — Да Калям, пошел вон!

Он открыл дверь. За дверью оказался плюгавый мужчина в кургузом пиджачке неопределенного цвета, небритый и потный. Слегка откинувшись всем корпусом назад, он держал перед собою большую картонную коробку. Бурча нечленораздельное, он двинулся прямо на Малянова.

— Вы... э... — промямлил Малянов, отступая.

Плюгавый был уже в прихожей — глянул направо в комнату и решительно повернул налево в кухню, оставляя за собой на линолеуме белые пыльные следы.

— Позвольте... э... — бормотал Малянов, наступая ему на пятки.

Мужчина уже поставил коробку на табурет и вытащил из нагрудного кармана пачку каких-то квитанций.

— Вы из ЖЭКа, что ли? — Малянову почему-то пришло в голову, что

это водопроводчик наконец явился — чинить кран в ванной.

— Из гастронома, — сипло сказал мужчина и протянул две квитанции, сколотые булавкой. — Распишитесь вот здесь...

— А что это? — спросил Малянов и тут же увидел, что это бланки стола заказов. Коньяк — две бутылки, водка... — Подождите, — сказал он. — По-моему, мы ничего...

Он увидел сумму. Он ужаснулся. Таких денег в квартире не было. Да и вообще с какой стати? Охваченное паникой воображение мигом выстроило перед ним удручающую последовательность всевозможных сложностей, вроде необходимости оправдываться, отпираться, возмущаться, призывать к здравому смыслу... звонить, наверное, куда-нибудь придется, может быть, даже ехать... Но тут на углу квитанции он обнаружил фиолетовый штамп «Оплачено» и сразу же — имя заказчика: Малянова И. Е. Ирка!.. Ни черта понять невозможно.

— Вот тут расписывайтесь, вот тут... — бурчал плюгавый, тыча траурным ногтем. — Вот где птичка стоит...

Малянов принял от него огрызок карандаша и расписался.

— Спасибо... — сказал он, возвращая карандаш. — Большое спасибо... — обалдело повторял он, протискиваясь рядом с плюгавым через узкую прихожую. Дать ему надо бы что-нибудь, да мелочи нет... — Огромное вам спасибо, до свидания!.. — крикнул он в спину кургузому пиджачку, ожесточенно отпихивая ногой Каляма, который рвался полизать цементный пол на лестничной площадке.

Потом Малянов закрыл дверь и некоторое время постоял в сумраке. В голове было как-то все неясно.

— Странно... — сказал он вслух и вернулся на кухню.

Калям уже отирался возле коробки. Малянов поднял крышку и увидел горлышки бутылок, пакеты, свертки, банки консервов. На столе лежала копия квитанции. Так. Копирка, как водится, подгуляла, но почерк разборчивый. Улица Героев... гм... Вроде все правильно. Заказчик: Малянова И. Е. Ничего себе — привет! Он посмотрел на сумму. Уму непостижимо! Он перевернул квитанцию. На обратной стороне ничего интересного не было. Был там расплющенный и присохший комар. Что это Ирка — ошалела совсем, что ли? У нас долгов пятьсот рублей... Подожди... Может быть, она что-нибудь говорила перед отъездом? Он стал вспоминать день отъезда, распахнутые чемоданы, кучи одежды, разбросанные повсюду, полуодетая Ирка орудует утюгом... Не забывай Каляма кормить, травку ему приноси... знаешь, такую острую... за квартиру не забудь заплатить... если шеф позвонит, дай ему мой адрес. Вроде бы все. Что-то она еще говорила,

но тут Бобка прибежал со своим пулеметом... Да! Белье надо в стирку отнести... Ни фига не понимаю.

Малянов опасливо потянул из ящика бутылку. Коньяк. Рублей пятнадцать, ей-богу! Да что же это такое — день рождения у меня сегодня, что ли? Ирка уехала когда? Четверг, среда, вторник... Он принялся загибать пальцы. Сегодня десятый день, как она уехала. Значит, заказала заранее. Деньги опять у кого-нибудь заняла и заказала. Сюрприз. Долгов, понимаете, пятьсот рублей, а она — сюрприз!.. Ясно было только одно: в магазин можно не ходить. Все остальное представлялось как бы в тумане. День рождения? Нет. Годовщина свадьбы? Вроде бы тоже нет. Точно — нет. День рождения Барбоса? Зимой...

Он пересчитал горлышки. Десять штук, как одна копейка. На кого же это она рассчитывала? Мне столько и за год не выпить. Вечеровский тоже почти не пьет, а Вальку Вайнгартена она не любит... Может быть, у них в отделе какой-нибудь банкет должен быть? Только чего ради за десять дней все заказывать? Да и не может быть у них никакого банкета, все они сейчас разъехались...

Калям ужасно заорал. Что-то он там учуял, в этой коробке...»

2. «...лосося в собственном поту и ломоть ветчины с лежалой горбушкой. Потом он принялся мыть посуду. Было совершенно ясно, что при таком великолепии в холодильнике грязь на кухне выглядит особенно неуместно. За это время телефон звонил дважды, но Малянов только челюсть выпячивал. Не пойду, и всё. Провались они все со своими гаражами и базами. Сковородку тоже придется помыть, это неизбежно. Сковородка теперь понадобится для более высоких целей, нежели какая-то там яичница... Тут ведь все дело в чем? Если интеграл на самом деле ноль, то в правой части остается только первая и вторая производные... Физический смысл я здесь не совсем понимаю, но все равно — здорово получаются эти пузыри. А что? Так и назову: пузыри. Нет, наверное, лучше «полости». Полости Малянова. «М-полости». Гм...

Он расставил по полкам мытую посуду и заглянул в Калямову кастрюлю. Горячо еще слишком, пар идет. Бедный Калямушка. Придется ему потерпеть. Придется Калямушке еще немного пострадать, пока остынет...

Он вытирал руки, когда его вдруг снова осенило, совсем как вчера, и так же, как вчера, он сначала не поверил.

— Подожди-ка, подожди... — лихорадочно бормотал он, а ноги уже несли его по коридорчику, по прохладному, липнущему к пяткам

линолеуму в густой желтый жар, к столу, к авторучке...

Черт, где она? Чернила кончились. Карандаш здесь где-то валялся... И в то же время вторым, а вернее — первым, основным планом: функция Гартвига... и всей правой части как не бывало... Полости получаются осесимметричные... А интегральчик-то не ноль! То есть он до такой степени не ноль, мой интегральчик, что величина вовсе существенно положительная... Но картинка, ах какая картинка получается! Как это я сразу не допер? Ничего, Малянов, ничего, браток, не один ты не допер. Академик вон тоже не допер... В желтом, слегка искривленном пространстве медленно поворачивались гигантскими пузырями осесимметричные полости, материя обтекала их, пыталась проникнуть внутрь, но не могла, на границе материя сжималась до неимоверных плотностей, и пузыри начинали светиться. Бог знает, что там начиналось... Ничего, и это выясним... С волокнистой структурой разберемся — раз. С дугами Рагозинского — два! А потом планетарные туманности. Вы, голубчики мои, что себе думали? Что это расширяющиеся сброшенные оболочки? Вот вам — оболочки! В точности наоборот!

Снова задребезжал проклятый телефон. Малянов зарычал от ненависти, не переставая писать. Выключить его, к чертям, сейчас же. Там есть такой рычажок... Он бросился на тахту и сорвал трубку.

— Да!

— Митька?

— Да... Это кто?

— Не узнаешь, собака? — Это был Вайнгартен.

— А, Валька... Чего тебе?

Вайнгартен помедлил.

— Ты почему к телефону не подходишь? — спросил он.

— Работаю, — сказал Малянов злобно. Он был очень неприветлив. Хотелось вернуться к столу и досмотреть картинку с пузырями.

— Работаешь... — Вайнгартен засопел. — Нетленку, значит, лепишь...

— Ты что, зайти хотел?

— Зайти? Да нет, не то чтобы зайти...

Малянов окончательно разозлился.

— Так чего тебе надо?

— С-с-слушай, отец... А чем ты сейчас занимаешься?

— Работаю! Сказано тебе!

— Да нет... Я хотел спросить: над чем ты работаешь?

Малянов обалдел. Он знал Вальку Вайнгартена двадцать пять лет, и сроду Вайнгартен никакой маляновской работой не интересовался, сроду

Вайнгартена интересовал только сам Вайнгартен лично, а также еще два таинственных предмета его интересовали: двугривенный 1934 года и так называемый «консульский полтинник», который, собственно, и полтинником-то не был, а был какой-то там особенной почтовой маркой... Делать гаду нечего, решил Малянов. Трепло... Или ему крыша понадобилась, что он так мнется? И тут он вспомнил Аверченко.

— Над чем я работаю? — переспросил он со злорадством. — Изволь, могу рассказать во всех подробностях. Тебе как биологу это будет страшно интересно. Вчера утром я наконец слез с мертвой точки. Оказывается, при самых общих предположениях относительно потенциальной функции мои уравнения движения имеют еще один интеграл — кроме интеграла энергии и интегралов моментов. Получается что-то вроде обобщения ограниченной задачи трех тел. Если уравнения движения записать в векторной форме и применить преобразования Гартвига, то интегрирование по всему объему проводится до конца, и вся математика сводится к интегро-дифференциальным уравнениям типа Колмогорова — Феллера...

К его огромному изумлению, Вайнгартен не перебивал. На секунду Малянову даже показалось, что их разъединили.

— Ты меня слушаешь? — спросил он.

— Да-да, слушаю очень внимательно.

— Может быть, ты даже меня понимаешь?

— Секу помаленьку, — бодро сказал Вайнгартен, и тут Малянов в первый раз подумал, какой у него странный голос. Он даже испугался.

— Валька, случилось что-нибудь?

— Где? — спросил Вайнгартен, помедлив опять.

— Где... У тебя, естественно! Я же слышу, что ты какой-то... Тебе что, разговаривать неудобно?

— Да нет, отец. Все это чепуха. Ладно. Жара замучила. Про двух петухов знаешь анекдот?

— Нет. Ну?

Вайнгартен рассказал анекдот про двух петухов — очень глупый, но довольно смешной. Какой-то совсем не вайнгартеновский анекдот. Малянов, конечно, слушал и, когда пришло на то время, захихикал, но неясное ощущение, что у Вайнгартена не все ладно, от этого анекдота у него только усилилось. Опять, наверное, со Светкой поцапался, подумал он неуверенно. Опять ему эпителий попортили. И тут Вайнгартен спросил:

— Слушай, Митька... Снеговой — такая фамилия тебе ничего не говорит?

— Снеговой? Арнольд Палыч? Ну, сосед у меня есть, напротив живет,

через площадку... А что?

Вайнгартен некоторое время молчал. Даже сопеть перестал. Слышно было в трубке только негромкое бряканье, — наверное, подбрасывал он в горсти свои коллекционные двугривенные. Потом он сказал:

— А чем он занимается, твой Снеговой?

— Физик, по-моему. В каком-то ящике работает. Шибко секретный. А ты откуда его знаешь?

— Да я его не знаю, — с непонятной досадой сказал Вайнгартен, и тут раздался звонок в дверь.

— Нет, явно сорвались с цепи! — сказал Малянов. — Подожди, Валька. В дверь наяривают...

Вайнгартен что-то сказал или даже, кажется, крикнул, но Малянов уже бросил трубку на тахту и выскочил в прихожую. Калям, конечно, опять запутался у него в ногах, и он чуть не грохнулся.

Открывши дверь, он сейчас же отступил на шаг. На пороге стояла молодая женщина в белом мини-сарафане, очень загорелая, с выгоревшими на солнце короткими волосами. Красивая. Незнакомая. (Малянов сразу ощутил, что он в одних трусах и брюхо у него потное.) У ног ее стоял чемодан, через левую руку был перекинут пыльник.

— Дмитрий Алексеевич? — спросила она стесненно.

— Д-да... — проговорил Малянов. «Родственница? Троюродная Зина из Омска?»

— Вы меня простите, Дмитрий Алексеевич... Наверное, я некстати... Вот.

Она протянула конверт. Малянов молча взял этот конверт и вытащил из него листок бумаги. Страшные чувства против всех родственников на свете, и особенно против этой троюродной Зины — или... Зои? — угрюмо клокотали у него в душе...

Впрочем, это оказалась не троюродная Зина. Ирка крупными буквами, явно второпях, писала вкривь и вкось: «Димкин! Это Лидка Пономарева, моя любимая школьная подруга. Я тебе про нее расск. Прими ее хорошенько, она ненадолг. Не хами. У нас все хор. Она расск. Целую, И.».

Малянов издал протяжный, неслышный миру вопль, закрыл и снова открыл глаза. Однако губы его уже автоматически складывались в приветливую улыбку.

— Очень приятно... — заявил он дружески развязным тоном. — Заходите, Лида, прошу... Извините меня за мой вид. Жара!

Все-таки, видно, не все было в порядке с его радушием, потому что на лице красивой Лиды вдруг появилось выражение растерянности и она

почему-то оглянулась на пустую, залитую солнцем лестничную площадку, словно вдруг усомнилась, туда ли она попала.

— Позвольте, я вам чемодан... — поспешно сказал Малянов. — Заходите, заходите, не стесняйтесь... Пыльник вешайте сюда... Здесь у нас большая комната, я там работаю, а здесь — Бобкина... Она и будет ваша... Вы, наверное, душ захотите принять?

Тут с тахты донеслось до него гнусавое кваканье.

— Пардон! — воскликнул он. — Вы располагайтесь, располагайтесь, я сейчас...

Он схватил трубку и услышал, как Вайнгартен монотонно, не своим каким-то голосом повторяет:

— Митька... Митька... Отвечай, Митька...

— Алё! — сказал Малянов. — Валька, слушай...

— Митька! — заорал Вайнгартен. — Это ты?

Малянов даже испугался.

— Чего ты орешь? Тут ко мне приехали, извини... Я тебе потом позвоню.

— Кто? Кто приехал? — страшным голосом спросил Вайнгартен.

Малянов ощутил какой-то холодок по всему телу. С ума сошел Валька. Ну и денек...

— Валька, — сказал он очень спокойно. — Что с тобой сегодня? Ну, женщина одна приехала... Иркина подруга...

— С-сукин сын! — сказал вдруг Вайнгартен и повесил трубку...»

ГЛАВА ВТОРАЯ

3. «...а она сменила свой мини-сарафан на мини-юбочку и мини-кофточку. Надо сказать, девочка она была в высшей степени призывная, — у Малянова создалось впечатление, что она начисто не признавала лифчиков. Ни к чему ей были лифчики, все у нее было в порядке безо всяких лифчиков. О «полостях Малянова» он больше не вспоминал.

Впрочем, все было очень прилично, как в лучших домах. Сидели, трепались, пили чаек, потели. Он был уже Димочкой, а она у него уже стала Лидочкой. После третьего стакана Димочка рассказал анекдот о двух петухах — просто к слову пришлось, — и Лидочка очень хохотала и махала на Димочку голой рукой. Он вспомнил (петухи напомнили), что надо бы позвонить Вайнгартену, но звонить не пошел, а вместо этого сказал Лидочке:

— Изумительно вы все-таки загорели!

— А вы — белый, как червяк, — сказала Лидочка.

— Работа, работа! Труды!

— А у нас в пионерлагере...

И Лидочка подробно, но очень мило рассказала, как там у них в пионерлагере насчет позагорать. В ответ Малянов рассказал, как ребята загорают на Большой антенне. Что такое Большая антенна? Пожалуйста. Он рассказал, что такое Большая антенна и зачем. Она вытянула свои длинные коричневые ноги и, скрестив, положила их на Бобкин стульчик. Ноги были гладкие, как зеркало. У Малянова создалось впечатление, что в них даже что-то отражалось. Чтобы отвлечься, он поднялся и взял с конфорки кипящий чайник. При этом он обварил себе паром пальцы и мельком вспомнил о каком-то монахе, который сунул конечность то ли в огонь, то ли в кипяток, дабы уйти от зла, проистекающего ввиду наличия в непосредственной близости прекрасной женщины, — решительный был малый.

— Хотите еще стаканчик? — спросил он.

Лидочка не ответила, и он обернулся. Она смотрела на него широко открытыми светлыми глазами, и на блестящем от загара лице ее было совершенно неуместное выражение — не то растерянности, не то испуга, — у нее даже рот приоткрылся.

— Налить? — неуверенно спросил Малянов, качнув чайником.

Лидочка встрепенулась, часто-часто замигала и провела пальцами по

лбу.

— Что?

— Я говорю — чайку налить вам еще?

— Да нет, спасибо... — Она засмеялась как ни в чем не бывало. — А то я лопну. Надо фигуру беречь.

— О да! — сказал Малянов с повышенной галантностью. — Такую фигуру, несомненно, надо беречь. Может быть, ее стоит даже застраховать...

Она мельком улыбнулась и, повернув голову, через плечо посмотрела во двор. Шея у нее была длинная, гладкая, разве что несколько худая. У Малянова создалось еще одно впечатление, а именно, что эта шея создана для поцелуев. Равно как и ее плечи. Не говоря уже об остальном. Цирцея, подумал он. И сразу же добавил: впрочем, я люблю свою Ирку и никогда в жизни ей не изменю...

— Вот странно, — сказала Цирцея. — У меня такое ощущение, будто я все это уже когда-то видела: эту кухню, этот двор... только во дворе было большое дерево... Огромное дерево!.. У вас так бывает?

— Конечно, — сказал Малянов с готовностью. — По-моему, это у всех бывает. Я где-то читал, это называется ложная память...

— Да, наверное, — проговорила она с сомнением.

Малянов, стараясь не слишком шуметь, осторожно прихлебывал горячий чай. В легкой трепотне явно возник какой-то перебой. Словно заело что-то.

— А может быть, мы с вами уже встречались? — спросила она вдруг.

— Где? Когда? Я бы вас запомнил...

— Ну, может быть, случайно... где-нибудь на улице... на танцах...

— Какие могут быть танцы? — возразил Малянов. — Я уже забыл, как это делается...

И тут они оба замолчали, да так, что у Малянова даже пальцы на ногах поджались от неловкости. Это было то самое отвратительное состояние, когда не знаешь, куда глаза девать, а в голове, как камни в бочке, с грохотом пересыпаются абсолютно неподходящие и бездарные начала новых разговоров. «А наш Калям ходит в унитаз...» Или: «Помидоров в этом году в магазинах не достать...» Или: «Может быть, еще стаканчик чайку?» Или, скажем: «Ну а как вам нравится наш замечательный город?..»

Малянов осведомился невыносимо фальшивым голосом:

— Ну и какие же у вас, Лидочка, планы в нашем замечательном городе?

Она не ответила. Она молча уставилась на него круглыми, словно бы

от крайнего изумления, глазами. Потом отвела взгляд, сморщила лоб. Закусила губу. Малянов всегда считал себя скверным психологом и в чувствах окружающих, как правило, ничегошеньки не понимал. Но тут он с совершенной ясностью понял, что его незамысловатый вопрос оказался прекрасной Лидочке решительно не под силу.

— Планы?.. — пробормотала она наконец. — Н-ну... конечно... А как же? — Она вдруг словно бы вспомнила. — Ну, Эрмитаж, конечно... импрессионисты... Невский... И вообще я белых ночей никогда не видела...

— Малый туристский набор, — сказал Малянов торопливо, чтобы ей помочь. Не мог он видеть, когда человеку приходится врать. — Давайте я вам все-таки чайку налью... — предложил он.

И снова она засмеялась как ни в чем не бывало.

— Димочка, — сказала она, очень мило надувши губки, — ну что вы ко мне пристаете с этим вашим чайком? Если хотите знать, я этого вашего чая вообще никогда не пью... А тут еще в такую жару!

— Кофе? — предложил Малянов с готовностью.

Она была категорически против кофе. В жару, да еще на ночь, не следует пить кофе. Малянов рассказал ей, что на Кубе только и спасался кофе, а там жара — тропическая. Он объяснил ей действие кофеина на вегетативную нервную систему. Заодно он рассказал ей, что на Кубе из-под мини-юбки обязательно должны быть видны трусики, а если трусики не видны, то это уже не мини-юбка, и у кого трусики не видны, та считается монахиней и старой девой. При всем при том мораль там, как ни странно, очень строгая. Ни-ни! Революция.

— А какие там пьют коктейли? — спросила она.

— Хайбол, — ответил Малянов гордо. — Ром, лимонад и лед.

— Лед, — сказала она мечтательно...»

4. «...потом он налил еще по фужеру. Возникло предложение выпить на «ты». Без поцелуев. Какие могут быть поцелуи между интеллигентными людьми? Здесь главное — духовная общность. Выпили на «ты» и поговорили о духовной общности, о новых методах родовспоможения, а также о различии между мужеством, смелостью и отвагой. Рислинг кончился, Малянов выставил пустую бутылку на балкон и сходил в бар за «каберне». «Каберне» было решено пить из Иркиных любимых бокалов дымчатого стекла, которые они предварительно набили льдом. Под разговор о женственности, возникший из разговора о мужестве, ледяное красное шло особенно хорошо. Интересно, какие ослы установили, будто красное вино не следует охлаждать? Они обсудили этот вопрос. Не правда

ли, ледяное красное особенно хорошо? Да, это несомненно так. Между прочим, женщины, пьющие ледяное красное, как-то особенно хорошеют. Они становятся где-то похожи на ведьм. Где именно? Где-то. Прекрасное слово — где-то. Вы где-то свинья. Обожаю этот оборот. Кстати, о ведьмах... Что такое, по-твоему, брак? Настоящий брак. Интеллигентный брак. Брак — это договор. Малянов снова наполнил бокалы и развил эту мысль. В том аспекте, что муж и жена в первую очередь друзья, для которых главное — дружба. Искренность и дружба. Брак — это дружба. Договор о дружбе, понимаешь?.. При этом он держал Лидочку за голую коленку и для убедительности встряхивал. Возьми нас с Иркой. Ты знаешь Ирку...

В дверь позвонили.

— Это еще кого бог несет? — удивился Малянов, поглядев на часы. — По-моему, у нас все дома.

Было без малого десять. Повторяя: «У нас, знаете ли, все дома...» — он пошел открывать и в прихожей, конечно, наступил на Каляма. Калям вякнул.

— А-а, провались ты, сатана!.. — сказал ему Малянов и открыл дверь.

Оказалось, что это сосед пожаловал, шибко секретный Снеговой Арнольд Палыч.

— Не поздно? — прогудел он из-под потолка. Огромный мужик, как гора. Седовласый Шат.

— Арнольд Палыч! — сказал ему Малянов с подъемом. — Какое может быть «поздно» между друзьями? Пр-рашу!

Снеговой заколебался было, видя этот подъем, но Малянов схватил его за рукав и втащил в прихожую.

— Очень, очень кстати... — говорил он, таща Снегового на буксире. — Познакомитесь с прекрасной женщиной!.. — обещал он, заворачивая Снегового в кухню. — Лидочка, это Арнольд Палыч! — объявил он. — Сейчас я еще один бокал... и бутылочку...

Перед глазами у него, надо сказать, уже немножко плыло. И если честно, то даже не немножко, а основательно. Пить ему больше не следовало, он себя знал. Но очень хотелось, чтобы все было хорошо, дружно, чтобы все всем нравились. Пусть они друг другу понравятся, растроганно думал он, покачиваясь перед раскрытым баром и таращась в желтоватые сумерки. Ему все равно, он холостяк. А у меня Ирка!.. Он погрозил пальцем в пространство и полез в бар.

Слава богу, он ничего не разбил. Но когда он приволок бутылку «Бычьей крови» и чистый бокал, обстановка на кухне ему не понравилась. Оба молчали и курили, не глядя друг на друга. И почему-то лица их

показались Малянову зловещими: зловеще красивое, яркое лицо Лидочки и зловеще жестокое, лишайчатое от старых ожогов лицо Снегового.

— Что смолкнул веселия глас? — бодро вопросил Малянов. — Все на свете вздор! Есть только одна роскошь на свете — роскошь человеческого общения! Не помню, кто это сказал... — Он откупорил бутылку. — Давайте пользоваться этой общностью... э... роскошью...

Вино полилось рекой, в том числе и на стол. Снеговой подскочил, спасая белые брюки. Все-таки он был ненормально огромен. В наше малогабаритное время не должно быть таких людей. Рассуждая об этом, Малянов кое-как вытер стол, и Снеговой снова опустился на табурет. Табурет хрустнул.

Пока вся роскошь человеческого общения выражалась лишь в нечленораздельных возгласах. О, эта проклятая интеллигентская стеснительность! Не могут два прекрасных человека сразу же, немедленно, раскрыться друг перед другом, принять друг друга в свои души, стать друзьями с первого взгляда. Малянов встал и, держа бокал на уровне ушей, пространно развил эту тему вслух. Не помогло. Выпили. Опять не помогло. Лидочка скучающе смотрела в окно. Снеговой, пришипившись, крутил на столе свой пустой бокал между огромными коричневыми ладонями. Впервые Малянов заметил, что у него и руки обожжены — до самых локтей и даже выше. Это вдохновило его на вопрос:

— Ну, Арнольд Палыч, когда вы теперь исчезнете?

Снеговой заметно вздрогнул и взглянул на него, а затем втянул голову в плечи и сгорбился. Малянову показалось даже, что он собирается встать, и тут до него дошло, что вопрос его прозвучал, мягко выражаясь, двусмысленно.

— Арнольд Палыч! — возопил он, воздевая руки к потолку. — Господи, да я совсем не то хотел сказать! Лидочка! Ты понимаешь, перед тобой сидит совершенно таинственный и загадочный человек. Время от времени он исчезает. Придет, занесет ключ от квартиры и как бы растворяется в воздухе! Месяц его нет, другой нет. Вдруг — звонок. Является... — Он почувствовал, что несет лишнее, что хватит уже, что пора выруливать из этой темы. — В общем, Арнольд Палыч, вы прекрасно знаете, что я вас очень люблю и всегда рад вас видеть. Так что о том, чтобы исчезать раньше двух часов, не может быть и речи...

— Ну конечно, Дмитрий Алексеевич... — прогудел Снеговой и похлопал Малянова ладонью по плечу. — Конечно, дорогой, конечно...

— А это — Лидочка! — сказал Малянов, тыча пальцем в сторону Лидочки. — Лучшая школьная подруга моей жены. Из Одессы.

Снеговой с видимым усилием повернулся к Лидочке и спросил:

— Вы надолго в Ленинград?

Она что-то ответила довольно доброжелательно, и он снова что-то спросил, что-то про белые ночи...

Словом, у них началось все-таки роскошное общение, и Малянов смог перевести дух. Не-ет, ребята, мне пить нельзя. Ну и срамотища! Трепло забалдевшее. Не слыша и не понимая ни единого слова, он смотрел на страшный, изъеденный адским огнем лик Снегового и мучился совестью. Когда мучения стали нестерпимы, он тихонько встал, придерживаясь за стенку, добрался до ванной и заперся там. Некоторое время он в угрюмом отчаянии сидел на краю ванны, затем пустил холодную воду на полную мощность и, кряхтя, подставил голову.

Когда он вернулся, освеженный и с мокрым воротником, Снеговой натужно рассказывал анекдот про двух петухов. Лидочка звонко хохотала, закидывая голову и открывая свою созданную для поцелуев шею. Малянов воспринял это с удовлетворением, хотя, в общем-то, ему не нравились люди, которые возводят вежливость в искусство. Впрочем, роскошь общения, как и всякая роскошь, несомненно требовала определенных издержек. Он подождал, пока Лидочка отсмеется, подхватил падающее знамя и разразился серией астрономических анекдотов, которых никто из присутствующих знать не мог. Когда он выдохся, Лидочка порадовала общество анекдотами пляжными. Анекдоты были, честно говоря, довольно средние, и рассказывать Лидочка не умела вовсе, но зато она умела хохотать, и зубки у нее были белые как сахар. Затем разговор как-то перекинулся в область предсказания будущего. Лидочка поведала, что цыганка предсказала ей трех мужей и бездетность. «Что бы мы делали без цыганок?» — пробормотал Малянов и похвастался, что вот ему лично цыганка нагадала крупное открытие относительно взаимодействия звезд с диффузной материей в Галактике. Они снова хватили ледяной «Бычьей крови», и тут Снеговой вдруг разразился странной историей.

Оказывается, ему было предсказано, что умрет он восьмидесяти трех лет в Гренландии. («В Гренландской социалистической республике...» — немедленно сострил Малянов, но Снеговой спокойно возразил: «Нет, просто в Гренландии...») В это он фатально верит, и эта уверенность всех вокруг раздражает. Однажды — было это во время войны, хотя и не на фронте, — один из его знакомых, под банкой, конечно, или, как тогда говорили, вполсвиста, до того раздражился, что вытащил «ТТ», приставил дуло к голове Снегового и, сказавши: «А вот мы проверим!» — спустил курок...

— И?.. — спросила Лидочка.
— Убил наповал, — сострил Малянов.
— Была осечка, — сказал Снеговой.
— Странные у вас знакомые, — сказала Лидочка с сомнением.

Тут она попала в самую точку. Вообще-то Арнольд Палыч рассказывал о себе редко, но смачно. И если судить по этим рассказам, то знакомые у него и в самом деле были очень необычные.

Некоторое время Малянов горячо спорил с Лидочкой, как Арнольда Палыча может занести в Гренландию. Малянов склонялся к авиационной катастрофе, Лидочка же настаивала на обыкновенной туристической поездке. Сам Арнольд Палыч, растянув лиловые губы в улыбку, помалкивал и садил сигарету за сигаретой.

Потом Малянов спохватился и вознамерился было снова расплескать по бокалам, но обнаружил, что и эта бутылка уже пуста. Он рванулся за новой, однако Арнольд Палыч остановил его. Ему уже пора было идти, он ведь просто так забежал, на минутку. Лидочка, напротив, готова была продолжать. Она вообще была ни в одном глазу, только щеки немного раскраснелись.

— Нет-нет, ребятки, — сказал Снеговой. — Я должен идти. — Он грузно поднялся и снова заполнил собой всю кухню. — Я уж пойду, Дмитрий Алексеевич, проводите меня... Спокойной ночи, Лидочка. Рад был познакомиться.

Они двинулись через прихожую. Малянов все пытался уговорить его остаться еще на бутылочку, но Снеговой только мотал седогривой головой и отрицательно мычал. В дверях он вдруг громко произнес:

— Да, Дмитрий Алексеевич! Я же обещал вам эту книгу... Пойдемте, я вам отдам...

«Какую это книгу?» — хотел спросить Малянов, но Снеговой прижал толстый палец к губам и увлек его через площадку к своей квартире. Этот толстый палец так поразил Малянова, что он последовал за Снеговым как овечка. Молча, все еще держа Малянова за локоть, Снеговой нашарил свободной рукой ключ в кармане и открыл дверь. По всей квартире у него горел свет — и в прихожей, и в обеих комнатах, и на кухне, и даже в ванной. Пахло застарелым табачным дымом и тройным одеколоном, и Малянову вдруг пришло в голову, что за все пять лет знакомства он, пожалуй, ни разу здесь не был. В комнате, куда Снеговой его ввел, было чисто и прибрано, горели все лампы — тройник под потолком, торшер в углу над диваном и даже маленькая лампа на столе. На спинке стула висел китель с полковничьими погонами и с целой коллекцией орденских планок.

Оказывается, наш Арнольд Палыч полковник... Так-так-так!

— Какую книгу? — спросил наконец Малянов.

— Любую, — сказал Снеговой нетерпеливо. — Возьмите вот эту и держите в руках, чтобы не забыть... И давайте присядем на минутку.

В полном обалдении Малянов взял со стола толстый том и, зажав его под мышкой, опустился на диван у торшера. Арнольд Палыч сел рядом и сейчас же закурил. На Малянова он не глядел.

— Значит, так... — прогудел он. — Значит, так... Прежде всего... Что это за женщина?

— Лидочка? Я же вам сказал: подруга жены. А что?

— Вы ее хорошо знаете?

— Н-нет... Только сегодня познакомился. Она приехала с письмом... — Малянов запнулся и испуганно спросил: — А вы что, думаете, она...

Снеговой перебил его:

— Спрашивать буду я. Времени у нас нет. Над чем вы сейчас работаете, Дмитрий Алексеевич?

Малянов сразу вспомнил Вальку Вайнгартена, и его снова окатило нехорошим холодком. Он сказал, криво ухмыльнувшись:

— Что-то сегодня все интересуются, над чем я работаю...

— А кто еще? — быстро спросил Снеговой, буравя его маленькими синими глазками. — Она?

Малянов потряс головой.

— Нет... Вайнгартен... Мой друг.

— Вайнгартен... — Снеговой насупился. — Вайнгартен...

— Да нет! — сказал Малянов. — Я его хорошо знаю, еще в школе вместе учились, до сих пор дружим...

— Такая фамилия — Губарь — вам ничего не говорит?

— Губарь? Нет... Да что случилось, Арнольд Палыч?

Снеговой раздавил в пепельнице окурок и закурил новую сигарету.

— Кто еще спрашивал о вашей работе?

— Больше никто...

— Так над чем вы работаете?

Малянов вдруг разозлился. Он всегда злился, когда ему становилось страшно.

— Слушайте, Арнольд Палыч, — сказал он, — я не понимаю...

— Я тоже! — сказал Снеговой. — И очень хочу понять! Рассказывайте! Подождите... У вас закрытая работа?

— Кой черт — закрытая? — раздраженно сказал Малянов. — Обыкновенная астрофизика и звездная динамика. Взаимодействие звезд и

диффузной материи. Ничего закрытого здесь нет, просто я не люблю рассказывать о своей работе, пока не закончу!

— Звезды и диффузная материя... — медленно повторил Снеговой и пожал плечами. — Где имение, а где вода... И не закрытая? Ни в какой части?

— Ни в какой букве!

— И Губаря вы точно не знаете?

— И Губаря не знаю.

Снеговой молча дымил рядом с ним — огромный, сгорбившийся, страшный. Потом он сказал:

— Ну, на нет и суда нет. У меня к вам всё, Дмитрий Алексеевич. Извините, ради бога.

— Да, но у меня не всё! — сказал Малянов сварливо. — Я бы все-таки хотел понять...

— Не имею права, — сказал Снеговой, как отрезал.

Конечно, так просто Малянов бы от него не отстал. Но тут он заметил такое, что сразу прикусил язык. У Снегового левый карман его гигантской пижамы оттопыривался, и там весьма отчетливо и недвусмысленно отсвечивала рукоятка пистолета. Большого какого-то пистолета. Вроде гангстерского кольта из кино. И этот кольт сразу отбил у Малянова желание расспрашивать. Как-то сразу стало ему ясно, что его дело телячье и что спрашивает здесь не он. А Снеговой поднялся и сказал:

— Теперь вот что, Дмитрий Алексеевич. Я завтра опять...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

5. «...полежал на спине, не спеша очухиваясь. Под окном уже вовсю грохотали прицепы, а в квартире было тихо. От вчерашнего бестолкового дня остался только легкий шум в голове, металлический привкус во рту и какая-то неприятная заноза в душе, или в сердце, или бог еще знает где. Он стал разбираться, что это за заноза, но тут раздался осторожный звонок в дверь. А, это Палыч с ключами, сообразил он и торопливо соскочил с постели.

По дороге через прихожую он мельком отметил, что на кухне все прибрано, а дверь в Бобкину комнату плотно закрыта и задернута изнутри занавеской. Дрыхнет Лидочка. Встала, посуду помыла и снова завалилась.

Пока он возился с замком, звонок снова деликатно звякнул.

— Сейчас, сейчас... — сиплым со сна голосом проговорил он. — Одну минуточку, Арнольд Палыч...

Однако это оказался вовсе не Арнольд Палыч. Шаркая ногами по резиновому коврику, у порога стоял совершенно незнакомый молодой человек. Он был в джинсах, в черной рубашке с закатанными рукавами и в огромных противосолнечных очках. Тонтон-макут. Малянов успел заметить, что в глубине лестничной площадки, возле лифта, маячат еще двое тонтон-макутов в черных очках, но ему сразу стало не до них, потому что первый тонтон-макут произнес вдруг: «Из уголовного розыска» — и протянул Малянову какую-то книжечку. В развернутом виде.

«Очень мило!» — пронеслось у Малянова в голове. Все ясно. Этого и следовало ожидать. Чувства его были расстроены. В одних трусах он стоял перед тонтон-макутом из угрозыска и тупо смотрел в раскрытую книжечку. Там была фотокарточка, какие-то печати и надписи, но воспринял он своими расстроенными чувствами только одно: «Управление Министерства внутренних дел». Крупными буквами.

— Да-да... — пролепетал он. — Конечно. Прошу. А в чем дело?

— Здравствуйте, — произнес тонтон-макут очень вежливо. — Вы Малянов Дмитрий Алексеевич?

— Я...

— Несколько вопросов, с вашего разрешения.

— Пожалуйста, пожалуйста... — сказал Малянов. — Подождите, здесь у меня не убрано... Только что встал... Может быть, на кухню?.. Нет, там сейчас солнце... Ладно, заходите сюда, я сейчас уберу.

Тонтон-макут прошел в большую комнату и скромно остановился посередине, откровенно озираясь, а Малянов кое-как убрал постель, накинул рубашку, натянул джинсы и бросился раздергивать шторы и открывать окно.

— Вы садитесь вот сюда, в кресло... Или вам удобнее за стол? А что, собственно, случилось?

Осторожно перешагивая через разбросанные по полу листки, тонтон-макут приблизился к креслу, уселся и положил на колени желтую кожаную папку, которая у него вдруг откуда-то объявилась.

— Ваш паспорт, пожалуйста, — сказал он.

Малянов сунулся в стол, выкопал паспорт и передал ему.

— Кто еще здесь живет? — спросил тонтон-макут, разглядывая паспорт.

— Жена... сын... Но их сейчас нет. Они в Одессе... в отпуске... у тещи...

Тонтон-макут положил паспорт на свою папку и снял черные очки. Такой обыкновенный, простоватой внешности молодой человек. И никакой не тонтон-макут, а скорее уж продавец. Или, скажем, мастер из телеателье.

— Давайте познакомимся, — сказал он. — Я — старший следователь уголовного розыска, зовут меня Игорь Петрович Зыков.

— Очень приятно, — сказал Малянов.

Тут ему в голову пришло, что он, черт возьми, не какой-нибудь уголовный преступник, не ширмач, черт их всех подери, форточник, а старший, черт возьми, научный сотрудник и кандидат наук. И не мальчишка, между прочим. Он закинул ногу на ногу, уселся поудобнее и сказал сухо:

— Слушаю вас.

Игорь Петрович приподнял свою папку двумя руками, тоже положил ногу на ногу и, опустив папку на колено, спросил:

— Вы Снегового Арнольда Павловича знаете?

Малянова этот вопрос врасплох не застал. Почему-то — ему и самому было неясно почему — он так и ожидал, что спрашивать его будут сейчас либо про Вальку Вайнгартена, либо про Арнольда Палыча. Поэтому он по-прежнему сухо ответил:

— Да, с полковником Снеговым я знаком.

— А откуда вам известно, что он полковник? — немедленно поинтересовался Игорь Петрович.

— Н-ну, как вам сказать... — проговорил Малянов уклончиво. — Все-таки мы знакомы давно...

— Как давно?

— Н-ну... лет пять, наверное... с тех пор, как въехали в этот дом...

— А при каких обстоятельствах вы познакомились?

Малянов стал вспоминать. Действительно, при каких обстоятельствах? Ч-черт... Когда он ключ принес в первый раз, что ли?.. Нет, мы тогда уже были знакомы...

— Гм... — сказал он, снял ногу с ноги и поскреб в затылке. — Вы знаете, не помню. Помню, был такой случай... Лифт не работал, а Ирина — это моя жена — возвращалась из магазина с покупками и с сынишкой... Арнольд Палыч взял у нее авоську и ребенка... Ну, жена пригласила заходить... Кажется, в тот же вечер он и зашел...

— Он был в форме?

— Нет, — сказал Малянов уверенно.

— Так... И с тех пор вы, значит, подружились?

— Н-ну, что значит — подружились? Он заходит к нам иногда... берет книги, приносит книги... чаек иногда пьем вместе... а когда он уезжает в командировки, отдает нам ключи...

— Зачем?

— Как зачем? — сказал Малянов. — Мало ли...

А в самом деле, зачем? Как-то это мне никогда в голову не приходило. Так, на всякий случай, наверное...

— На всякий случай, наверное, — сказал Малянов. — Например, приедет кто-нибудь из родных... или еще что-нибудь...

— Кто-нибудь приезжал?

— Да нет... насколько я помню — нет. При мне, во всяком случае, никто не приезжал. Может быть, жена что-нибудь по этому поводу знает...

Игорь Петрович задумчиво покивал, затем спросил:

— Ну а приходилось вам с ним говорить о науке, о работе?

Опять о работе.

— О чьей работе? — мрачно спросил Малянов.

— О его, конечно. Ведь он, кажется, был физиком...

— Понятия не имею. Скорее уж ракетчиком каким-нибудь...

Он еще не успел договорить, как его обдало холодом. То есть как это — БЫЛ? Почему — БЫЛ? Ключ не занес... Господи, да что же случилось, наконец? Он уже готов был заорать во весь голос: «То есть в каком это смысле БЫЛ?» — но тут Игорь Петрович совершенно сбил его с панталыку. Стремительным движением фехтовальщика он выбросил в его сторону длинную руку и выхватил у него из-под носа какой-то черновик.

— А это откуда у вас? — спросил он резко, и мирное лицо его вдруг хищно осунулось. — Откуда у вас это?

— По... позвольте... — проговорил Малянов, приподнимаясь за похищенным черновиком.

— Сидите! — прикрикнул Игорь Петрович. Сизые его глазки бегали по лицу Малянова. — Как к вам попали эти данные?

— Какие данные? — прошептал Малянов. — Какие, к черту, данные? — заревел он. — Это мои расчеты!

— Это не ваши расчеты, — холодно возразил Игорь Петрович, тоже повышая голос. — Вот этот график — откуда он у вас?

Он издали показал листок и постучал ногтем по кривой плотности.

— Из головы! — сказал Малянов свирепо. — Вот из этой! — Он постучал себя кулаком по темени. — Это зависимость плотности от расстояния до звезды!

— Это кривая роста преступности в вашем районе за последний квартал! — объявил Игорь Петрович.

Малянов потерял дар речи. А Игорь Петрович, брюзгливо оттопырив губы, продолжал:

— Даже срисовать толком не сумели... Не так она на самом деле идет, а вот так... — С этими словами он взял карандаш Малянова, вскочил и, положив листок на стол, принялся, сильно надавливая, чертить поверх кривой плотности какую-то ломаную линию, приговаривая при этом: — Вот так... А здесь вот так, а не так... — Закончив и сломав грифель, он отшвырнул карандаш, снова уселся и посмотрел на Малянова с сожалением. — Эх, Малянов, Малянов, — произнес он. — Квалификация у вас высокая, опытный преступник, а действуете как последняя сявка...

Малянов обалдело переводил взгляд с чертежа на его лицо и обратно. Это не лезло ни в какие ворота. То есть до такой степени не лезло, что не имело смысла ни говорить, ни кричать, ни молчать. Собственно, строго говоря, в этой ситуации следовало бы попросту проснуться.

— Ну а жена ваша в хороших отношениях со Снеговым? — спросил Игорь Петрович прежним вежливым до бесцветности голосом.

— В хороших... — сказал Малянов тупо.

— Она с ним на «ты»?

— Послушайте, — сказал Малянов. — Вы мне чертеж испортили. Что это такое, в самом деле?

— Какой чертеж? — удивился Игорь Петрович.

— Да вот этот, график...

— А! Ну, это не существенно. Снеговой заходит в гости, когда вас нет дома?

— Несущественно... — повторил за ним Малянов. — Это, знаете ли,

вам несущественно, — проговорил он, поспешно собирая со стола бумаги и кое-как распихивая их по ящикам. — Сидишь тут, сидишь как проклятый, вкалываешь, потом приходят всякие и говорят, что это несущественно... — бормотал он, опускаясь на корточки и собирая черновики, разбросанные по полу.

Игорь Петрович без всякого выражения следил за ним, аккуратно ввинчивая сигарету в мундштучок. Когда Малянов, отдуваясь, потный и злой, вернулся на свое место, Игорь Петрович спросил вежливо:

— Вы разрешите закурить?

— Курите, — сказал Малянов. — Вон пепельница... И знаете, спрашивайте поскорей, что вам нужно. Мне работать пора.

— Это зависит только от вас, — возразил Игорь Петрович, деликатно выпустив дым из угла рта в сторону от Малянова. — Вот, например, такой вопрос: как вы обычно называете Снегового — полковник, по фамилии или по имени-отчеству?

— Когда как придется, — буркнул Малянов. — Какая вам разница, как я его называю?

— Полковником тоже называете?

— Ну, называю. Ну?

— Это очень странно, — сказал Игорь Петрович, осторожно стряхивая пепел. — Дело в том, что Снеговой получил звание полковника только позавчера.

Это был удар. Малянов молчал, чувствуя, что лицо его заливается краской.

— Так откуда вы узнали, что Снеговой произведен в полковники?

Малянов махнул рукой.

— Ладно, — сказал он. — Чего там... Ну, прихвастнул. Ну, не знал я, что он полковник... или там подполковник... Просто я вчера к нему зашел, увидел китель с погонами... ну, вижу — полковник...

— А когда вы вчера у него были?

— Да вечером. Поздно... Книгу вот у него взял. Вот эту...

Это он зря сболтнул — про книгу. Игорь Петрович сейчас же книгу придвинул к себе и принялся ее листать, а Малянов покрылся холодным потом, потому что понятия не имел, что это за книга и о чем.

— Это на каком же она языке? — рассеянно спросил Игорь Петрович.

— Э... — промямлил Малянов, вторично покрываясь холодным потом. — На английском, надо полагать...

— Да нет как будто... — проговорил Игорь Петрович, вглядываясь в текст. — Это все-таки кириллица у вас... не латынь... А? Да это же русский!

Малянов облился потом в третий раз, но Игорь Петрович только положил книгу на место, нацепил свои черные очки и, откинувшись в кресле, уставился на него. А Малянов уставился на Игоря Петровича, стараясь не мигать и не отводить взгляда. В голове у него было следующее: сук-кин ты сын... капитан Конкассер вшивый... не скажу, где наши...

— На кого я похож, по-вашему? — спросил вдруг Игорь Петрович.

— На тонтон-макута! — ляпнул Малянов не задумываясь.

— Неправильно, — сказал Игорь Петрович. — Попробуйте еще разок.

— Не знаю... — пробормотал Малянов.

Игорь Петрович снял очки и укоризненно покачал головой.

— Плохо! Ну — плохо! Никуда не годится. Странное у вас представление о наших органах следствия... Это надо же — тонтон-макут!

— Ну а на кого же? — спросил Малянов трусливо.

Игорь Петрович назидательно потряс перед собой очками.

— На человека-невидимку! — сказал он раздельно. — Единственное сходство с тонтон-макутом — единственное! — что тоже пишется через черточку.

Он замолчал. Стояла тяжелая ватная тишина, даже машины перестали взревывать под окном. Малянов не слышал ни одного звука, и ему опять мучительно захотелось проснуться. И вдруг в этой тишине грянул телефон.

Малянов вздрогнул. Игорь Петрович, кажется, тоже. Звонок грянул вторично. Опираясь на подлокотники, Малянов приподнялся и вопросительно посмотрел на Игоря Петровича.

— Да-да, — сказал тот. — Это, наверное, вас.

Малянов добрался до тахты и взял трубку. Это был Валька Вайнгартен.

— Здорово, астрофаг, — буркнул он. — Что не звонишь, скотина?

— Ты понимаешь... не до того было...

— С бабой развлекаешься?

— Д-да... нет... Что ты, какое там...

— Если б моя Светка поставляла мне своих подружек!.. — произнес Вайнгартен завистливо.

— Д-да... — промямлил Малянов. Он все время чувствовал у себя на затылке взгляд капитана Конкассера. — Слушай, Валька, я тебе попозже позвоню...

— А что у тебя там? — сейчас же встревожился Вайнгартен.

— Да так... Я тебе потом расскажу.

— Баба эта?

— Нет.

— Мужчина?
— Ага...
Вайнгартен тяжело задышал в трубку.
— Слушай, — сказал он, понизив голос. — Я сейчас к тебе приеду. Хочешь?
— Нет! Тебя еще здесь не хватало...
Вайнгартен снова задышал.
— Слушай, — сказал он. — Он рыжий?
Малянов невольно оглянулся на Игоря Петровича. К его удивлению, Игорь Петрович на него вовсе не смотрел, а читал, шевеля губами, книгу Снегового.
— Да нет, что за чушь! Ладно, я потом тебе позвоню...
— Обязательно позвони! — заорал Валька. — Как только он уйдет, сразу же звони!
— Ладно, — сказал Малянов и повесил трубку. Потом он вернулся на свое место, пробормотав: «Пардон...»
— Ничего, ничего, — сказал Игорь Петрович и отложил книгу. — Широкие у вас все-таки интересы, Дмитрий Алексеевич...
— Д-да... не жалуюсь... — промямлил Малянов. Ч-черт, хоть бы одним глазком глянуть, что это за книга. — Игорь Петрович, — сказал он просительно. — Давайте, если можно, как-нибудь закругляться. Второй час уже.
— Ну, разумеется! — воскликнул Игорь Петрович с готовностью. Он озабоченно взглянул на часы и извлек из папки блокнот. — Значит, так. Вчера вечером вы заходили к Снеговому. Так?
— Да.
— За этой книгой?
— Д-да... — сказал Малянов, решив ничего больше не уточнять.
— Когда это было?
— Поздно... около двенадцати...
— Вам не показалось, что Снеговой собирается куда-то уезжать?
— Да, показалось. То есть не показалось... Он просто сам сказал, что завтра утром уезжает и занесет мне ключи...
— Занес?
— Нет. То есть, может, он и звонил в дверь, но я не слышал, спал...
Игорь Петрович быстро писал, положив блокнот на папку, лежащую на колене. На Малянова он теперь вовсе не смотрел, даже когда задавал вопросы. Торопился, что ли?
— А Снеговой не сказал вам, куда он собирается ехать?

— Нет. Он никогда не говорит, куда едет...

— Но вы догадываетесь, куда он ездит?

— Н-ну, в общем... догадываюсь... На полигон какой-нибудь... или что-нибудь еще в этом роде...

— Он вам что-нибудь рассказывал об этом?

— Нет, конечно. Мы о его работе никогда не говорили.

— Откуда же вы догадываетесь?

Малянов пожал плечами. В самом деле, откуда? Такие вещи объяснить невозможно... Ясно, что человек работает в глубоком ящике, лицо вон все обожжено, руки... и манеры соответствующие... и то, что уклоняется от разговоров о работе...

— Не знаю, — сказал Малянов. — Как-то мне всегда казалось... Не знаю.

— Он знакомил вас с кем-нибудь из своих друзей?

— Нет, никогда.

— А с женой?

— Разве он женат? Я всегда считал, что он холостяк или... это... вдовец...

— А почему вы так считали?

— Не знаю, — сказал Малянов сердито. — Интуиция.

— А может быть, ваша жена вам об этом говорила?

— Ирка? Ей-то откуда знать?

— Вот это я и хотел бы выяснить.

Воцарилось молчание, оба они уставились друг на друга.

— Не понимаю, — сказал Малянов. — Что вы хотите выяснить?

— Откуда ваша жена знала, что Снеговой не женат.

— Э-э... А-а... А она знала?

Игорь Петрович не ответил. Он пристально смотрел на Малянова, и зрачки его странным и зловещим образом то сужались, то расширялись. Нервы у Малянова были натянуты до предела. Ему казалось: еще секунда — и он начнет колотить кулаками по столу, брызгать слюной и вообще потеряет лицо. Он просто больше не мог. Во всей этой болтовне был какой-то зловещий подтекст, все это было похоже на липкую паутину, и в эту паутину почему-то то и дело затягивали Ирку...

— Ну, ладно, — сказал вдруг Игорь Петрович, захлопывая блокнот. — Значит, коньяк у вас здесь... — Он указал на бар. — А водка — в холодильнике. Вы что предпочитаете? Лично вы.

— Я?

— Да. Вы. Лично.

— Коньяк... — произнес Малянов хрипло и глотнул. В горле у него было сухо.

— Вот и прекрасно! — бодренько сказал Игорь Петрович, легко поднялся и мелкими шажками двинулся к бару. — Далеко ходить не надо... Та-ак! — Он уже копался в баре. — Ага, тут у вас и лимончик есть... Подсох слегка, но это ничего, не страшно... Какие рюмочки прикажете? Давайте вот из этих, из синеньких...

Малянов тупо смотрел, как он с необыкновенной ловкостью расставляет на столе рюмки, тонкими ломтиками нарезает лимон, откупоривает бутылку.

— Вы знаете, — говорил он, — если откровенно — дело ваше дрянь. Разумеется, все решает суд, но я как-никак десять лет уже работаю, кое-какой опыт имею. Всегда, знаете ли, можно представить себе, какое дело на что тянет. Ну, вышки вам не дадут, но лет пятнадцать я вам, можно сказать, гарантирую... — Он аккуратно, не пролив ни капли, разлил коньяк по рюмкам. — Разумеется, всегда могут открыться смягчающие обстоятельства, но пока я их, откровенно говоря, не вижу... Не вижу, не вижу и не вижу, Дмитрий Алексеевич! Ну... — Он поднял рюмку и приглашающе наклонил голову.

Одеревенелыми пальцами Малянов взялся за свою рюмку.

— Хорошо... — произнес он не своим голосом. — Но могу я все-таки узнать, что происходит?

— Ну разумеется! — вскричал Игорь Петрович. Он выпил, кинул в рот ломтик лимона и энергично закивал. — Разумеется, можете! Теперь я вам все расскажу. Имею полное право.

И он рассказал.

Сегодня в восемь часов утра за Снеговым пришла машина, чтобы отвезти его на аэродром. К удивлению водителя, Снеговой не дожидался в подъезде, как это было у них заведено. Повременив пять минут, водитель поднялся на лифте и позвонил в квартиру. Никто ему не открыл, хотя звонок работал — водитель слышал это прекрасно. Тогда он спустился вниз и из автомата на углу доложил по начальству о создавшейся ситуации. Начальство стало звонить Снеговому по телефону. Телефон Снегового был все время занят. Тем временем водитель, обойдя дом, обнаружил, что все три окна Снегового раскрыты настежь и в квартире, несмотря на высокое уже солнце, горит электрический свет. Водитель немедленно доложил об этом. Были вызваны компетентные лица, которые, прибыв, тут же взломали замок и осмотрели квартиру Снегового. При осмотре было обнаружено, что все электролампы в квартире включены, на кровати в спальне стоит

незакрытый, но собранный чемодан, а сам Снеговой сидит в своем кабинете за столом, держа в одной руке телефонную трубку, а в другой — пистолет системы Макарова. Было установлено, что Снеговой скончался от огнестрельной раны, нанесенной из этого пистолета в правый висок в упор. Смерть последовала мгновенно между тремя и четырьмя часами утра.

— А я-то здесь при чем? — просипел Малянов.

В ответ Игорь Петрович подробно рассказал, как строилась баллистическая кривая и как была обнаружена пуля, прошедшая навылет и застрявшая в стене.

— Но я-то, я-то здесь при чем? — спрашивал Малянов, истово ударяя себя в грудь. К этому моменту они уже выпили по третьей.

— Но вам его жалко? — спрашивал Игорь Петрович. — Жалко его вам?

— Жалко, конечно... Он был отличный мужик... Но я-то! Меня-то вы почему? Я и пистолета сроду в руках не держал! Я же невоеннообязанный... по зрению...

Игорь Петрович его не слушал. Он подробно рассказывал, как следствию удалось в короткие сроки выяснить, что покойный Снеговой был левша, и очень странно, что застрелился он, держа пистолет в правой руке.

— Ну да, ну да! — соглашался Малянов. — Арнольд Палыч действительно был левша, я тоже это знаю, могу подтвердить... Но я-то... Я ведь спал всю ночь! А потом, зачем я его буду убивать, сами посудите!

— Ну а кто же? Кто? — ласково спросил Игорь Петрович.

— Откуда мне знать? Это вы должны знать — кто!

— Вы-с! — гнусаво-вкрадчивым голосом Порфирия произнес Игорь Петрович, разглядывая Малянова сквозь рюмку одним глазом. — Вы и убили-с, Дмитрий Алексеевич!..

— Кошмар какой-то... — пробормотал Малянов беспомощно. Ему хотелось заплакать от отчаяния.

И тут легкий сквознячок потянул по комнате, шевельнул сдвинутую штору, и яростное пополуденное солнце, ворвавшись в окно, ударило Игоря Петровича прямо по лицу. Он зажмурился, заслонился растопыренной пятерней, подвинулся в кресле и торопливо поставил рюмку на стол. Что-то с ним случилось. Глаза часто замигали, на щеки набежала краска, подбородок дрогнул. «Простите... — прошептал он с совершенно человеческой интонацией. — Простите, Дмитрий Алексеевич... Может быть, вы... Как-то здесь...»

Он замолчал, потому что в Бобкиной комнате что-то грохнуло и разлетелось с длинным дребезгом.

— Это что такое? — спросил Игорь Петрович, насторожившись. Души человеческой снова не было в его голосе.

— Это там... один человек... — проговорил Малянов, так и не успев понять, что же произошло с Игорем Петровичем. Совсем другая мысль вдруг осенила его. — Слушайте! — вскричал он, вскакивая. — Пойдемте! Вот, пожалуйста, там подруга жены! Она подтвердит!.. Всю ночь спал, никуда не выходил...

Толкаясь плечами, они устремились в прихожую.

— Интересно, интересно... — приговаривал Игорь Петрович. — Подруга жены... Посмотрим!

— Она подтвердит... — бормотал Малянов. — Сейчас увидите... Подтвердит...

Они без стука ворвались в Бобкину комнату и остановились. Комната была прибрана и пуста. Лидочки не было, постели на тахте не было, чемодана не было. А под окном, рядом с осколками глиняного кувшина (Хорезм, XI век), сидел Калям с необыкновенно невинным видом.

— Это? — произнес Игорь Петрович, указывая на Каляма.

— Нет... — ответил Малянов глупо. — Это наш кот, он у нас давно... Позвольте, а где же Лидочка? — Он оглянулся на вешалку. Белого пыльника тоже не было. — Она ушла, наверное...

Игорь Петрович пожал плечами.

— Наверное, — сказал он. — Здесь ее нет.

Тяжело ступая, Малянов подошел к разбитому кувшину.

— С-скотина! — сказал он и дал Каляму по уху.

Калям шарахнулся вон. Малянов присел на корточки. Вдребезги. Какой хороший кувшин был...

— А она у вас ночевала? — спросил Игорь Петрович.

— Да, — сказал Малянов мрачно.

— Когда вы ее видели в последний раз? Сегодня?

Малянов помотал головой.

— Вчера. То есть, собственно, сегодня. Ночью. Я ей простыни давал, одеяло... — Он заглянул в Бобкин ящик для постельного белья. — Вот. Всё тут.

— Давно она у вас живет?

— Вчера приехала.

— А вещи ее здесь?

— Не вижу, — сказал Малянов. — И пыльника ее нет.

— Странно, верно? — сказал Игорь Петрович.

Малянов молча махнул рукой.

— Ну и черт с нею, — сказал Игорь Петрович. — С этими бабами одна морока. Пойдемте еще по рюмочке...

Вдруг входная дверь распахнулась, и в прихожую...»

6. «...дверь лифта, загудел мотор. Малянов остался один.

Долго стоял он на пороге Бобкиной комнаты, привалившись плечом к косяку и ни о чем, в общем, не думая. Появился откуда-то Калям, прошел, нервно подрагивая хвостом, мимо него, вышел на площадку и принялся лизать цементный пол.

— Ну, ладно, — сказал Малянов наконец, оторвался от косяка и прошел в большую комнату.

Было там накурено, сиротливо стояли три синие рюмки на столе — две пустые и одна наполовину полная; солнце уже добралось до книжных полок.

— Коньяк унес... — сказал Малянов. — Это ж надо же!

Он немного посидел в кресле, допил свою рюмку. За окном грохотало и фырчало, через открытые двери доносились с лестницы детские вопли и шум лифта. Пахло щами. Потом он встал, протащился через прихожую, ударившись плечом о косяк, выволокся нога за ногу на лестничную площадку и остановился перед дверью квартиры Снегового. Дверь была опечатана, и на замке стояла большая сургучная печать. Он осторожно коснулся ее кончиками пальцев и отдернул руку. Все было правдой. Все, что случилось, — случилось. Гражданин Советского Союза Арнольд Павлович Снеговой, полковник и загадочный человек, ушел из жизни».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

7. «Он помыл и поставил на место рюмки, убрал черепки в Бобкиной комнате и дал Каляму рыбы. Потом взял высокий стакан, из которого Бобка пьет молоко, вбил туда три сырых яйца, накрошил хлеба, обильно засыпал солью и перцем и перемешал. Есть ему не хотелось, он действовал механически. И он съел эту тюрю, стоя перед балконным окном и глядя на залитый солнцем пустой двор. Даже деревья не удосужились посадить. Хоть одно.

Мысли его текли вялой струйкой, да и не мысли это были, собственно, — так, обрывки какие-то. Может быть, это такие новые методы следствия, думал он. Научно-техническая революция и вообще. Непринужденность и психическая атака... Но насчет коньяка — как-то совсем уж непонятно. Игорь Петрович Зыков... или Зыкин? Ну, это он мне сам так представился, а вот что у него было в документе? Мазурики! — подумал он вдруг. Спектакль со мной разыграли ради полбутылки коньяка...

Нет, Снеговой умер, это ясно. Снегового я больше не увижу. Хороший был человек, только какой-то нелепый. Какой-то он всегда был неустроенный... особенно вчера. И ведь кому-то он звонил... звонил он кому-то, что-то хотел сказать еще, объяснить... предупредить о чем-то. Малянова передернуло. Он поставил в мойку грязный стакан — эмбрион будущей кучи грязной посуды. Здорово Лидочка кухню убрала, все так и сверкает... А он меня предупреждал насчет Лидочки. Действительно, с этой Лидочкой как-то непонятно...

Малянов вдруг бросился в прихожую, поискал под вешалкой и нашел записку от Ирки. Нет, ерунда. Все правильно. И почерк явно Иркин, и манера ее... И вообще, вы подумайте, ну на кой ляд убийце мыть посуду?..»

8. «...у Вальки был занят. Малянов положил трубку и растянулся на тахте, уткнувшись носом в жесткий ворс. У Вальки ведь там тоже что-то не в порядке. Истерика какая-то. Вообще-то с ним такое случается. Либо со Светкой поругался, либо с тещей... Что это он у меня спрашивал, странное что-то... Эх, Валька, мне бы твои заботы! Нет, пускай приезжает. Он в истерике, я в истерике, — глядишь, вдвоем что-нибудь и придумаем... Малянов снова набрал номер, и снова оказалось занято. Ч-черт, как время бездарно проходит! Сейчас бы самое работать и работать, а тут вся эта пакость.

И вдруг кто-то кашлянул в прихожей у него за спиной. Малянова как ветром снесло с тахты. И зря, конечно. Никого там, в прихожей, не было. И в ванной тоже. И в сортире. Он проверил замок, вернулся на тахту и тут обнаружил, что колени у него дрожат. Ч-черт, нервы сдали. А этот тип еще убеждал меня, что похож на человека-невидимку. На глисту ты похож очкастую, а не на человека-невидимку! Гад. Он еще раз набрал телефон Вальки, бросил трубку и стал решительно натягивать носки. От Вечеровского позвоню. Сам виноват, что все время треплется... Он натянул чистую рубашку, проверил в кармане ключи, запер за собой дверь и побежал вверх по лестнице.

На шестом этаже в нише у мусоропровода миловалась парочка. Парень был в черных очках, но Малянов этого сопляка знал — кандидат в рядовые необученные из семнадцатой квартиры, второй год никуда поступить не может и не хочет... Больше до самого восьмого этажа он никого не встретил. Но все время тлело в нем предчувствие, что вот-вот наткнется на кого-то. Цапнут его за локоть и скажут негромко: «Одну минуточку, гражданин...»

Слава богу, Фил был дома. И как всегда, у него был такой вид, словно он собирается в консульство Нидерландов на прием в честь прибытия ее величества и через пять минут за ним должна заехать машина. Был на нем какой-то невероятной красоты кремовый костюм, невообразимые мокасины и галстук. Этот галстук Малянова всегда особенно угнетал. Не мог он представить себе, как это можно работать дома в галстуке.

— Работаешь? — спросил Малянов.

— Как всегда.

— Ну, я ненадолго.

— Конечно, — сказал Вечеровский. — Кофе?

— Подожди, — сказал Малянов. — А впрочем, давай.

Они отправились на кухню. Малянов сел на свой стул, а Вечеровский принялся колдовать с кофейным оборудованием.

— Я сделаю по-венски, — сказал он не оборачиваясь.

— Валяй, — отозвался Малянов. — Сливки есть?

Вечеровский не ответил. Малянов смотрел, как под тонкой кремовой тканью энергично работают его торчащие лопатки.

— У тебя следователь был? — спросил он.

Лопатки на мгновение застыли, затем над сутулым плечом медленно возникло, поворачиваясь, длинное веснушчатое лицо с вислым носом и рыжими бровями, высоко задранными над верхним краем могучей роговой оправы очков.

— Прости... Как ты сказал?

— Я сказал: следователь у тебя был сегодня или нет?

— Почему именно следователь? — осведомился Вечеровский.

— Потому что Снеговой застрелился, — сказал Малянов. — Ко мне уже приходили.

— Кто такой Снеговой?

— Ну, этот дядька, который напротив меня живет. Ракетчик.

— А...

Вечеровский отвернулся и снова задвигал лопатками.

— А ты разве его не знал? — спросил Малянов. — По-моему, я вас знакомил.

— Нет, — сказал Вечеровский. — Насколько я помню — нет.

По всей кухне прекрасно запахло кофе. Малянов уселся поудобнее. Рассказать или не стоит? В этой сверкающей ароматной кухне, где было так прохладно, несмотря на ослепительное солнце, где все всегда стояло на своих местах и все было самого высшего качества — на мировом уровне или несколько выше, — здесь все события прошедших суток казались особенно нелепыми, дикими, неправдоподобными... нечистоплотными какими-то.

— Ты анекдот о двух петухах знаешь? — спросил Малянов.

— О двух петухах? Я знаю анекдот о трех петухах. Совершенно бездарный. От сохи.

— Да нет. О двух! — сказал Малянов. — Не знаешь?

И он рассказал анекдот о двух петухах. Вечеровский не отреагировал никак. Можно было подумать, что ему не анекдот рассказали, а предложили серьезную задачу, — такой у него был вид, сосредоточенный и задумчивый, когда он ставил перед Маляновым чашечку кофе, полную сливочницу и розетку с вареньем. Потом он налил чашечку себе, сел напротив, держа ее на весу, обмакнул в нее губы и проговорил наконец:

— Превосходно. Это я не о твоем анекдоте. Это я о кофе.

— Догадываюсь, — уныло сказал Малянов.

Некоторое время они молча наслаждались кофе по-венски. Потом Вечеровский сказал:

— Вчера я немного подумал над твоей задачей... Ты не пробовал применить функции Гартвига?

— Знаю, знаю, — сказал Малянов. — Сам допер.

— Получилось?

Малянов отодвинул от себя пустую чашку.

— Слушай, Фил, — сказал он. — Какие тут, к чертовой матери,

функции Гартвига? У меня голова винтом, а ты...»

9. «...помолчал минуту, поглаживая двумя пальцами гладко выбритую скулу, а затем продекламировал:

— Глянуть смерти в лицо сами мы не могли, нам глаза завязали и к ней привели... — И добавил: — Бедняга.

Непонятно было, кого он имеет в виду.

— Нет, я все могу понять, — сказал Малянов. — Но вот этот следователь...

— Ты хочешь еще кофе? — перебил его Вечеровский.

Малянов помотал головой, и Вечеровский поднялся.

— Тогда пойдем ко мне, — сказал он.

Они перешли в кабинет. Вечеровский сел за стол — совершенно пустой, с одиноким листком бумаги посередине, — вынул из ящика механический бювар, щелкнул какой-то кнопкой, пошарил глазами по строчкам и набрал на телефоне номер.

— Старшего следователя Зыкина, — произнес он вялым начальственным голосом. — Я и говорю — Зыкова Игоря Петровича... На операции? Благодарю вас. — Он положил трубку. — Старший следователь Зыков на операции, — сообщил он Малянову.

— Коньяк он мой пьет с девками, а не на операции... — проворчал Малянов.

Вечеровский покусал губу.

— Это уже неважно. Важно, что он существует.

— Конечно, существует! — сказал Малянов. — Он мне свое удостоверение показывал... Или ты думал, что это были жулики?

— Вряд ли...

— Вот и я тоже подумал. Из-за бутылки коньяка разводить такую историю... да еще рядом с опечатанной квартирой...

Вечеровский кивнул.

— А ты говоришь — функции Гартвига! — сказал Малянов укоризненно. — Какая тут может быть работа! Тут того и гляди загремишь в лагерь...

Вечеровский пристально смотрел на него рыжими глазами.

— Дима, — проговорил он, — а тебя не удивило, что Снеговой заинтересовался твоей работой?

— Еще бы! Сроду мы с ним о работе никогда не говорили...

— А что ты ему рассказал?

— Н-ну... в общих чертах... Он, собственно, и не настаивал на

подробностях.

— И что он сказал?

— Ничего не сказал. По-моему, он был разочарован. «Где имение, а где вода», — так он выразился.

— Прости?

— «Где имение, а где вода»...

— А что, собственно, это значит?

— Это из классики откуда-то... В том смысле, что в огороде бузина, а в Киеве дядька...

— Ага... — Вечеровский задумчиво поморгал коровьими ресницами, потом взял с подоконника идеально чистую пепельницу, вынул из стола трубку с кисетом и принялся ее набивать. — Ага... «Где имение, а где вода»... Это хорошо. Надо будет запомнить.

Малянов нетерпеливо ждал. Он очень верил в него. У Вечеровского был совершенно нечеловеческий мозг. Малянов не знал другого человека, который из совокупности данных фактов был бы способен делать столь неожиданные выводы.

— Ну? — сказал Малянов наконец.

Вечеровский уже набил свою трубку и теперь так же неторопливо и со вкусом ее раскуривал. Трубка тихонечко сипела. Вечеровский сказал, затягиваясь:

— Дима... п-п... А насколько ты, собственно, продвинулся с четверга? Мы, кажется, в четверг... п-п... разговаривали в последний раз...

— Какое это имеет значение? — спросил Малянов с раздражением. — Мне сейчас, знаешь ли, не до этого...

Эти слова Вечеровский пропустил мимо ушей — по-прежнему смотрел на Малянова рыжими своими глазами и попыхивал трубкой. Это был Вечеровский. Он задал вопрос и теперь ждал ответа. И Малянов сдался. Он верил, что Вечеровскому виднее, что имеет значение, а что — нет.

— Неплохо я продвинулся, — сказал он и принялся рассказывать, как ему удалось переформулировать задачу и свести ее сначала к уравнениям в векторной форме, а потом к интегро-дифференциальному уравнению; как у него стала вырисовываться физическая картина, как допер он до М-полостей и как вчера сообразил наконец использовать преобразования Гартвига.

Вечеровский слушал очень внимательно, не перебивая и не задавая вопросов, и только один раз, когда Малянов, увлекшись, схватил одинокий листок и попытался писать на обратной стороне, остановил его и попросил:

«Словами, словами...»

— Но ничего этого я сделать уже не успел, — уныло закончил Малянов. — Потому что сначала начались дурацкие телефонные звонки, потом приперся мужик из стола заказов...

— Ты мне ничего об этом не говорил, — прервал его Вечеровский.

— Так это никакого отношения к делу не имеет, — сказал Малянов. — Пока были телефонные звонки, я еще кое-как работал, а потом заявилась эта Лидочка, и все пошло на пропасть...

Вечеровский совершенно окутался клубами и струями ароматного медвяного дыма.

— Неплохо, неплохо... — прозвучал его глуховатый голос. — Но остановился ты, как я вижу, на самом интересном месте.

— Не я остановился, а меня остановили!

— Да, — сказал Вечеровский.

Малянов ударил себя кулаками по коленям.

— Ч-черт, сейчас бы работать и работать! А я думать не могу! От каждого шороха в собственной квартире вздрагиваю как псих... и вдобавок эта милая перспективочка — пятнадцать лет ИТЛ...

Он уже в который раз вворачивал про эти пятнадцать лет, все ждал, что Вечеровский скажет: «Не выдумывай, какие там пятнадцать лет, это же явное недоразумение...» — но Вечеровский и на этот раз ничего подобного не сказал. Вместо этого он принялся длинно и нудно расспрашивать Малянова о телефонных звонках: когда они начались (точно), куда звонили (ну хоть несколько конкретных примеров), кто звонил (мужчина? женщина? ребенок?). Когда Малянов рассказал ему про звонки Вайнгартена, он, по-видимому, удивился и некоторое время молчал, а потом опять принялся за свое. Что Малянов отвечал в телефон? Всегда ли подходил? Что ему сказали в бюро ремонта? Кстати, только теперь Малянов вспомнил, что после его второго звонка в бюро ремонта ошибочные вызовы прекратились... Но он даже не успел сказать об этом Вечеровскому, потому что вспомнил еще кое-что.

— Слушай, — сказал он, оживившись. — Я совсем забыл. Вайнгартен, когда звонил вчера, спрашивал, знаю ли я Снегового.

— Да?

— Да. Я сказал, что знаю.

— А он?

— А он сказал, что не знает... Не в этом дело. Что это, по-твоему, — совпадение? Или как? Странное какое-то совпадение...

Вечеровский помолчал некоторое время, попыхивая трубкой, а затем

снова принялся за свое. Что это за история со столом заказов? Поподробнее... Как выглядел этот дядька? Что он говорил? Что он принес? Что теперь осталось от того, что он принес?.. Этим унылым допросом он загнал Малянова в кромешную тоску, потому что Малянов не понимал, зачем это все надо и какое отношение все это имеет к его несчастьям. Потом Вечеровский наконец замолчал и принялся ковыряться в трубке. Малянов сначала ждал, а потом стал представлять себе, как за ним приходят четверо, все как один в черных очках, и шарят по квартире, и отдирают обои, и допытываются, не вступал ли он в сношения с Лидочкой, и не верят ему, а потом уводят...

Он хрустнул пальцами и с тоской пробормотал:

— Что будет? Что будет?..

Вечеровский тотчас откликнулся.

— Кто знает, что ждет нас? — сказал он. — Кто знает, что будет? И сильный будет, и подлый будет. И смерть придет и на смерть осудит. Не надо в грядущее взор погружать...

Малянов понял, что это стихи, только потому, что Вечеровский, закончив, разразился глуховатым уханьем, которое обозначало у него довольный смех. Наверное, так же ухали уэллсовские марсиане, упиваясь человеческой кровью, и Вечеровский так ухал, когда ему нравились стихи, которые он читал. Можно было подумать, что удовольствие, которое он испытывал от хороших стихов, было чисто физиологическим.

— Иди ты к черту, — сказал ему Малянов.

И тогда Вечеровский произнес вторую тираду — на этот раз в прозе.

— Когда мне плохо, я работаю, — сказал он. — Когда у меня неприятности, когда у меня хандра, когда мне скучно жить, я сажусь работать. Наверное, существуют другие рецепты, но я их не знаю. Или они мне не помогают. Хочешь моего совета — пожалуйста: садись работать. Слава богу, таким людям, как мы с тобой, для работы ничего не нужно, кроме бумаги и карандаша...

Положим, все это Малянов знал и без него. Из книг. У Малянова все это было не так. Он мог работать, только когда на душе у него было легко и ничего над ним не висело.

— Помощи от тебя... — сказал он. — Дай-ка я лучше Вайнгартену позвоню... Странно мне все-таки, что он спрашивал про Снегового...

— Конечно, — сказал Вечеровский. — Только, если тебе нетрудно, перенеси телефон в другую комнату.

Малянов взял аппарат и поволок шнур в соседнюю комнату.

— Если хочешь, оставайся у меня, — сказал ему вслед Вечеровский.

— Бумага есть, карандаш я тебе дам...

— Ладно, — сказал Малянов. — Там видно будет...

Теперь Вайнгартен не отвечал. Малянов дал звонков десять, перезвонил, дал еще десяток и повесил трубку. Так. Что ж теперь делать? Конечно, можно было бы остаться здесь. Здесь прохладно, тихо. В каждой комнате кондиционер. Прицепов и тормозов не слышно — окна во двор. И вдруг он понял, что дело не в этом. Ему было просто страшно возвращаться к себе. Это надо же! Больше всего на свете я люблю свой дом, и в этот дом мне страшно возвращаться. Ну нет, подумал он. Этого вы от меня не дождетесь. Это уж пардон.

Малянов решительно сгреб аппарат и отнес его на место. Вечеровский сидел, уставясь в свой одинокий листок, и тихонько постукивал по нему благороднейшим паркером. Листок был наполовину исписан символами, которых Малянов не понимал.

— Я пойду, Фил, — сказал Малянов.

Вечеровский поднял к нему рыжее лицо.

— Конечно... Завтра у меня экзамен, а сегодня я весь день дома. Звони или заходи...

— Хорошо, — сказал Малянов.

По лестнице он спускался неторопливо, торопиться было некуда. Сейчас заварю чайку покрепче, сяду на кухне, Калям вспрыгнет мне на колени, я буду гладить его, прихлебывать чай и попробую наконец трезво и спокойно все это продумать... Жаль, телевизора нет, посидеть бы вечерок перед ящиком, посмотреть что-нибудь бездумное... комедию какую-нибудь или футбол... Пасьянсик разложу, что-то я давно пасьянсов не раскладывал...

Он спустился на свою лестничную площадку, нащупывая в кармане ключи, повернул за угол и остановился. Так. Сердце его провалилось куда-то в желудок и принялось там стучать медленно, размеренно, как свайная баба. Та-ак... Дверь квартиры была приоткрыта.

Он на цыпочках подкрался к двери и прислушался. В квартире кто-то был. Бубнил незнакомый мужской голос, и что-то отвечал незнакомый детский голос...»

ГЛАВА ПЯТАЯ

10. «...сидел на корточках незнакомый мужчина и подбирал осколки разбитой рюмки. Кроме того, на кухне был еще мальчик лет пяти. Сидел на табуретке за столом, подсунув под себя ладони, болтал ногами и смотрел, как подбираются осколки.

— Слушай, отец! — возбужденно закричал Вайнгартен, увидев Малянова. — Где ты пропадаешь?

Огромные щеки его пылали лиловым румянцем, черные, как маслины, глаза блестели, жесткие смоляные волосы стояли дыбом. Видно было, что он уже основательно принял внутрь. На столе имела место наполовину опорожненная бутылка экспортной «Столичной» и всякие яства из стола заказов.

— Успокойся и не переживай, — продолжал Вайнгартен. — Икру мы не тронули. Тебя ждали.

Мужчина, подбиравший осколки, поднялся. Это был рослый красавец с норвежской бородкой и чуть обозначившимся брюшком. Он смущенно улыбался.

— Так-так-так! — произнес Малянов, вступая в кухню и чувствуя, как сердце поднимается из желудка и становится на свое место. — Мой дом — моя крепость, так это называется?

— Взятая штурмом, отец, взятая штурмом! — заорал Вайнгартен. — Слушай, откуда у тебя такая водка? И жратва?

Малянов протянул руку красавцу, и он тоже протянул мне руку, но в ней были зажаты осколки. Возникла маленькая приятная неловкость.

— Мы тут без вас нахозяйничали... — сказал он сконфуженно. — Это я виноват...

— Чепуха, чепуха, вот сюда давайте, в ведро...

— Дядя — трус, — произнес вдруг мальчик отчетливо. Малянов вздрогнул. И все тоже вздрогнули.

— Ну-ну, тише... — произнес красавец и как-то нерешительно погрозил мальчику пальцем.

— Дитя! — сказал Вайнгартен. — Ведь тебе дали шоколад. Сиди и харчись. Не встревай.

— Почему же это я трус? — спросил Малянов, усаживаясь. — Зачем это ты меня обижаешь?

— А я тебя не обижаю, — возразил мальчик, разглядывая меня, как

какое-то редкостное животное. — Я тебя назвал...

Между тем красавец освободился от осколков, вытер ладонь носовым платком и протянул мне руку.

— Захар, — представился он.

Мы обменялись церемонным рукопожатием.

— За дело, за дело! — хлопотливо произнес Вайнгартен, потирая руки. — Тащи еще две рюмки...

— Слушайте, ребята, — сказал Малянов. — Я водку пить не буду.

— Вино пей, — согласился Вайнгартен. — Там у тебя еще две бутылки белого...

— Нет, я лучше коньяку. Захар, достаньте там, пожалуйста, в холодильнике, икру и масло... и вообще все, что там есть. Жрать хочется.

Малянов сходил в бар, взял коньяк и рюмки, показал язык креслу, в котором давеча сидел тонтон-макут, и вернулся к столу. Стол ломился от яств. Наемся и напьюсь, подумал я с веселой яростью. Молодцы ребята, что приехали...

Но все получилось не так, как я думал. Едва мы выпили, и я принялся с урчанием поедать гигантский бутерброд с икрой, как Вайнгартен совершенно трезвым голосом сказал:

— А теперь, отец, рассказывай, что с тобой произошло.

Малянов поперхнулся.

— Откуда ты взял?..

— Вот что, — сказал Вайнгартен, переставши сиять как масленый блин. — Нас здесь трое, и с каждым из нас кое-что произошло. Так что не стесняйся. Что тебе сказал этот рыжий?

— Вечеровский?

— Да нет, при чем здесь Вечеровский? К тебе явился маленький огненно-рыжий человечек в этаком удушливо-черном костюме. Что он тебе сказал?

Малянов откусил от бутерброда сколько в рот влезло и принялся жевать, не чувствуя вкуса. Все трое смотрели на него. Захар смотрел смущенно, робко улыбаясь, то и дело отводя взгляд. Вайнгартен бешено выкатывал глаза, готовясь заорать. А мальчишка, держа в руке обмусоленную шоколадную плитку, весь так и подался к Малянову, словно хотел в рот ему вскочить.

— Ребята, — сказал Малянов наконец. — Какие там рыжие? Никакие рыжие ко мне не приходили. У меня все было гораздо хуже.

— Ну, давай, давай, рассказывай, — нетерпеливо сказал Вайнгартен.

— Почему это я должен рассказывать? — возмутился Малянов. — Я

из этого никакого секрета не делаю, но чего ты тут передо мной разыгрываешь? Сам рассказывай! Откуда, интересно, ты узнал, что со мной вообще что-то случилось?

— Вот расскажи, а потом и я тебе расскажу, — упрямо сказал Вайнгартен. — И Захар расскажет.

— Вот вы давайте оба и рассказывайте, — проговорил Малянов, нервно намазывая себе новый бутерброд. — Вас двое, а я один...

— Ты рассказывай, — приказал вдруг мальчик, ткнув в сторону Малянова пальцем.

— Тише, тише... — прошептал Захар, совсем застеснявшись.

Вайнгартен невесело хохотнул.

— Это ваш? — спросил Малянов Захара.

— Да вроде мой... — странно ответил Захар, отводя глаза.

— Его, его, — сказал Вайнгартен нетерпеливо. — Между прочим, это как раз часть его рассказа. Ну, Митька, давай... не ломайся...

Совсем они сбили Малянова с панталыку. Он отложил бутерброд и стал рассказывать. С самого начала, с телефонных звонков. Когда одну и ту же страшную историю рассказываешь второй раз на протяжении каких-нибудь двух часов, поневоле начинаешь обнаруживать в ней забавные стороны. Малянов и сам не заметил, как разошелся. Вайнгартен то и дело всхохатывал, обнажая могучие желтоватые клыки, а Малянов прямо-таки целью жизни своей положил заставить засмеяться и красавца Захара, но это ему так и не удалось — Захар только растерянно и почти жалобно улыбался. А когда Малянов дошел до самоубийства Снегового, стало и вообще не до смеха.

— Врешь! — хрипло выдохнул Вайнгартен.

Малянов дернул плечом.

— За что купил... — сказал он. — А дверь у него опечатана, можешь пойти и посмотреть...

Некоторое время Вайнгартен молчал, постукивая по столу толстыми пальцами и подрагивая в такт щеками, а потом вдруг с шумом поднялся, ни на кого не глядя, протиснулся между Захаром и мальчиком и тяжело затопал вон. Было слышно, как чмокнул замок, в квартиру потянуло щами.

— Охо-хо-хо-хо... — уныло произнес Захар.

И сейчас же мальчик протянул ему обмусоленную шоколадку и потребовал:

— Откуси!

Захар покорно откусил и стал жевать. Хлопнула дверь. Вайнгартен, по-прежнему ни на кого не глядя, протиснулся на свое место и, плеснув себе в

рюмку водки, хрипло буркнул:

— Дальше...

— Что — дальше? Дальше я пошел к Вечеровскому... Эти хмыри ушли, и я пошел... Вот только что вернулся.

— А рыжий? — спросил Вайнгартен нетерпеливо.

— Я же тебе говорю, ослиная твоя башка! Не было никаких рыжих!

Вайнгартен и Захар переглянулись.

— Ну, предположим, — сказал Вайнгартен. — А девица эта твоя... Лидочка... Она тебе никаких предложений не делала?

— Н-ну... как тебе сказать... — Малянов неловко ухмыльнулся. — То есть... если бы я по-настоящему захотел...

— Тьфу, болван! Все об ёй! Да я не об этом!.. Ну ладно. А следователь?

— Знаешь что, Валька, — сказал Малянов, — я тебе все рассказал, как было, иди к черту! Честное слово, третий допрос за день...

— Валя, — нерешительно вмешался Захар, — а может быть, тут действительно что-нибудь другое?

— Брось, отец! — Вайнгартен весь перекосился. — Как это — другое? У него работа, работать не дают... Как это — другое? И потом, мне же его назвали!..

— Кто это меня назвал? — спросил Малянов, предчувствуя новые неприятности.

— П`исать хочу, — ясным голосом объявил мальчик.

Все уставились на него. А он оглядел всех по очереди, сполз с табурета и сказал Захару:

— Пойдем.

Захар виновато улыбнулся, сказал: «Ну, пойдем...» — и они скрылись в сортире. Было слышно, как они гонят рассевшегося в унитазе Каляма.

— Кто это меня назвал? — сказал Малянов Вайнгартену. — Что еще за новости?

Вайнгартен, склонив голову, прислушался к тому, что происходит в сортире.

— Во Губарь влип! — произнес он с каким-то печальным удовлетворением. — Вот влип так влип!

Что-то вязко провернулось в мозгу у Малянова.

— Губарь?

— Ну да. Захар. Знаешь, сколько веревочке ни виться...

Малянов вспомнил.

— Он ракетчик?

— Кто? Захар? — Вайнгартен удивился. — Да нет, вряд ли... Хотя вообще-то он работает в каком-то ящике...

— Он не военный?

— Ну, знаешь ли, все ящики в той или иной...

— Я про Губаря спрашиваю.

— Да нет. Он — мастеровой, золотые руки. Блох мастерит с электронным управлением... Но беда не в этом. Беда в том, что он человек, который бережно и обстоятельно относится к своим желаниям. Это его собственные слова. Причем заметь, отец, это истинная правда...

Мальчик снова появился в кухне и вскарабкался на табурет. Захар вошел следом. Малянов сказал ему:

— Захар, вы знаете, я забыл, а сейчас вот вспомнил... Ведь о вас Снеговой спрашивал...

И тут Малянов впервые в жизни увидел, как человек белеет прямо на глазах. То есть делается белым, буквально как бумага.

— Обо мне? — спросил Захар одними губами.

— Да вот... вчера вечером... — Малянов испугался. Такой реакции он все-таки не ожидал.

— Ты что, его знал? — спросил Вайнгартен Захара негромко.

Захар молча помотал головой, полез за сигаретой, высыпал полпачки на пол и принялся торопливо собирать просыпанное. Вайнгартен крякнул, пробормотал: «Это дело надо того, отцы...» — и принялся разливать. И тут мальчик сказал:

— Подумаешь! Это еще ничего не значит.

Малянов опять вздрогнул, а Захар распрямился и стал смотреть на сына с какой-то надеждой, что ли.

— Это просто случайность, — продолжал мальчик. — Вы телефонную книгу посмотрите, там этих Губарей штук восемь...»

11. «...Малянов знал с шестого класса. В седьмом они подружились и просидели до конца школы за одной партой. Вайнгартен не менялся с годами, он только увеличивался в размерах. Всегда он был веселый, толстый, плотоядный, всегда он что-то коллекционировал — то марки, то монеты, то почтовые штемпеля, то этикетки с бутылок. Один раз, уже ставши биологом, он даже затеял коллекционировать экскременты, потому что Женька Сидорцев привез ему из Антарктиды китовьи, а Саня Житнюк доставил из Пенджикента человеческие, но не простые, а окаменевшие, девятого века. Вечно он приставал к окружающим, требуя показать мелочь, — искал какие-то особенные медяки. И вечно он хватал чужие письма,

клянчил конверты с печатями.

И при всем при том дело свое он знал. У себя в ИЗРАНе он давно уже был старшим, числился членом двадцати разнообразных комиссий, как союзных, так и международных, постоянно шастал за рубеж на всякие конгрессы и вообще был без пяти минут доктор. Из всех своих знакомых больше всего он уважал Вечеровского, потому что Вечеровский был лауреат, а Валька до дрожи мечтал стать лауреатом. Сто раз он рассказывал Малянову, как нацепит медаль и пойдет в таком виде на свиданку. И всегда он был треплом. Рассказывал он блестяще, самые обычные житейские события превращались у него в драмы а ля Грэм Грин. Или, скажем, Ле Карре. Но врал он, как это ни странно, очень редко и ужасно смущался, когда на этом редком вранье его ловили. Ирка его не любила, непонятно за что, тут была какая-то тайна. Было у Малянова подозрение, что в молодые годы, когда Бобка еще не родился, Вайнгартен пытался подбить ей клинья, ну и что-то у них там, слава богу, не заладилось. Вообще насчет клиньев он был мастак, но не какой-нибудь там сальный или примитивно похотливый, а веселый, энергичный, заранее готовый как к победам, так и к поражениям мастак. Для него каждая свиданка была приключением, независимо от того, чем она кончалась. Светка, женщина исключительно красивая, но склонная к меланхолии, давно махнула на него рукой, тем более что он в ней души не чаял и постоянно дрался из-за нее в общественных местах. Он вообще любил подраться, ходить с ним в ресторан было сущим наказанием... Словом, жил он ровно, весело, удачливо и без каких-нибудь особых потрясений.

Странные события с ним начались, оказывается, еще две недели назад, когда серия опытов, заложенная в прошлом году, стала вдруг давать результаты совершенно неожиданного и даже сенсационного свойства. («Вы этого, отцы, понять не можете, это связано с обратной транскриптазой, она же РНК-зависимая ДНК-полимераза, она же просто ревертаза, это такой фермент в составе онкорнавирусов, и это, я вам прямо скажу, отцы, пахнет нобелевкой...») В лаборатории Вайнгартена, кроме него самого, никто этих результатов оценить не сумел. Большинству, как это всегда бывает, было до лампочки, а отдельные творческие единицы решили просто, что серия провалилась. Время между тем летнее, и все рвутся в отпуска. Вайнгартен же, естественно, никому отпуска не подписывает. Возникает скандальчик — обиды, местком, партбюро. И в разгар этого скандальчика Вайнгартену на одном из совещаний полуофициально сообщают, что есть такое мнение: назначить товарища Вайнгартена Валентина Артуровича директором новейшего супермодернового

биологического центра, строительство которого сейчас заканчивается в Добролюбове.

От этого сообщения голова Вайнгартена В. А. пошла кругом, но он тем не менее сообразил, что такое директорство, во-первых, пока еще журавль в небе, а когда и если превратится в синицу в руках, то, во-вторых, вышибет Вайнгартена В. А. из творческой работы по крайней мере года на полтора, а то и на два. В то время как нобелевка, отцы, это нобелевка.

Поэтому пока Вайнгартен просто обещал подумать, а сам вернулся в лабораторию к своей загадочной обратной транскриптазе и к незатихающему скандальчику.

Не прошло и двух дней, как его вызвал к себе шеф-академик и, расспросив о текущей работе («Я держал язык за зубами, отцы, я был предельно сдержан...»), предложил ему оставить эту сомнительную чепуху, а заняться такой-то и такой-то темой, имеющей большое народнохозяйственное значение, а потому сулящей неисчислимые материальные и духовные блага, за что он, шеф-академик, ручается головой.

Ошеломленный всеми этими ни с того ни с сего распахнувшимися горизонтами, Вайнгартен имел неосторожность расхвастаться дома, да не просто дома, а перед своей тещей, которую он зовет кавторангом, потому что она действительно капитан второго ранга в отставке. И небо над ним потемнело. («Отцы, с этого вечера мой дом превратился в лесопилку. Меня непрерывно пилили и требовали, чтобы я соглашался немедленно, причем сразу на всё...»)

А лаборатория тем временем, несмотря на скандальчики, продолжала выдавать на-гора результаты один другого поразительнее. Тут умирает тетка, чрезвычайно дальняя родственница по отцу, и, улаживая дела о наследстве, Вайнгартен обнаруживает на чердаке ее дома в Кавголове ящик, набитый монетами советского чекана, вышедшими из употребления в шестьдесят первом году. Надо знать Вайнгартена, чтобы поверить: как только он нашел этот ящик, его перестали интересовать все прочие явления жизни, вплоть до надвигающейся нобелевки включительно. Он засел дома и четверо суток перебирал содержимое ящика, глухой к звонкам из института и к пилящим речам кавторанга. В этом ящике он обнаружил замечательные экземпляры. О, великолепные! Но дело было не в этом.

Когда, покончив с монетами, он вернулся в лабораторию, ему стало ясно, что открытие уже, можно сказать, свершилось. Конечно, оставалась еще масса неясного; конечно, все это надлежало еще оформить — тоже, между прочим, работа немаленькая, — но сомнений больше уже не было:

открытие вылупилось. Вайнгартен закрутился как белка в колесе. Он разом покончил со всеми скандалами в лаборатории («Отцы, выгнал всех в отпуск к чертовой матери!..»), он в двадцать четыре часа вывез кавторанга с девчонками на дачу, отменил все встречи и все свидания и только было засел дома для нанесения последнего, решающего удара, как наступил позавчерашний день.

Позавчера, едва Вайнгартен принялся за работу, в квартире объявился этот самый рыжий — маленький медно-красный человечек с очень бледным личиком, втиснутый в наглухо застегнутый черный костюм какого-то древнего покроя. Он вышел из детской и, пока Валька беззвучно открывал и закрывал рот, ловко присел перед ним на край стола и начал говорить. Без всяких предисловий он объявил, что некая внеземная цивилизация уже давно внимательно и с беспокойством следит за его, Вайнгартена В. А., научной деятельностью. Что последняя работа упомянутого Вайнгартена вызывает у них особую тревогу. Что он, рыжий человечек, уполномочен предложить Вайнгартену В. А. немедленно свернуть упомянутую работу, а все материалы по ней уничтожить.

Вам совершенно не нужно знать, зачем и почему мы этого требуем, объявил рыжий человечек. Вы должны знать только, что мы уже пытались принять меры к тому, чтобы все произошло естественным путем. Вам ни в коем случае не следует заблуждаться, будто предложение вам поста директора, другой перспективной темы, находка ящика с монетами и даже пресловутый скандальчик в вашей лаборатории являются событиями чисто случайными. Мы пытались остановить вас. Однако, поскольку удалось вас только притормозить, и то ненадолго, мы вынуждены были применить такую крайнюю меру, как настоящий визит. Вам надлежит знать, впрочем, что все сделанные вам предложения остаются в силе и вы вольны принять любое из них, если наше требование будет удовлетворено. Более того, в этом последнем случае мы намерены помочь вам удовлетворить и ваши маленькие, вполне понятные желания, проистекающие из слабостей, свойственных человеческой природе. В качестве залога позвольте вручить вам этот небольшой презент...

С этими словами рыжий выхватил прямо из воздуха и бросил на стол перед Вайнгартеном толстый пакет, как выяснилось впоследствии — набитый великолепными марками, совокупную ценность которых человек, не являющийся филателистом-профессионалом, представить себе просто не может.

Вайнгартен, продолжал рыжий человечек, ни в коем случае не должен полагать, что он является единственным землянином, оказавшимся в сфере

внимания сверхцивилизации. Среди знакомых Вайнгартена есть по крайней мере три человека, деятельность которых подвергается в данный момент пресечению. Он, рыжий человечек, может назвать такие имена, как Малянов Дмитрий Алексеевич, астроном, Губарь Захар Захарович, инженер, и Снеговой Арнольд Павлович, химико-физик. Вайнгартену В. А. давалось на обдумывание трое суток, начиная с этого момента, после чего сверхцивилизация будет считать себя вправе применить некие зловещие «меры третьей степени».

— Пока он мне все это излагал, — говорил Вайнгартен, страшно тараща глаза и выпячивая челюсть, — я, отцы, думал только об одном: как этот гад проник в квартиру без ключа. Тем более что дверь у меня была на задвижке... Неужели, думаю, это Светкин хахаль, которому стало невмоготу под диваном? Ну, думаю, сейчас я тебя отметелю... Но пока я все это думал, этот рыжий гад кончил свои речи и... — Вайнгартен сделал эффектную паузу.

— Вылетел в окно... — сказал Малянов сквозь зубы.

— Вот тебе! — Вайнгартен, не стесняясь ребенка, сделал малопристойный жест. — Никуда он не вылетал. Он просто исчез!

— Валька... — сказал Малянов.

— Я тебе говорю, старик, вот так он сидел передо мной на столе... я как раз примерялся въехать ему по сопатке, не вставая... и вдруг его нет! Как в кино, знаешь? — Вайнгартен схватил последний кусок осетрины и затолкал его в пасть. — Моам? — сказал он. — Моам муам?.. — Он с усилием проглотил и, моргая заслезившимися глазами, продолжал: — Это я, отцы, сейчас отошел немножко, а тогда сижу в кресле, глаза закрыл, вспоминаю его слова, а у самого все внутри дрожит мелкой дрожью, как поросячий хвост... Думал, прямо тут же и помру... Никогда со мной такого не бывало. Добрался кое-как до тещиной комнаты, хватил валерьянки — не помогает. Смотрю — у нее бром стоит. Я брому хватил...

— Подожди, — сказал Малянов с раздражением. — Хватит трепаться. Ей-богу, мне сейчас не до трепа... Что было на самом деле? Только, пожалуйста, без этих рыжих пришельцев!

— Отец, — сказал Вайнгартен, выкатывая глаза до последнего предела. — Отец, вот те крест, честное пионерское! — Он неумело перекрестился с ярко выраженным католическим акцентом. — Мне самому было не до шуток...»

12. «...собирал марки, и довольно энергично. Остатки юношеской коллекции Вайнгартен когда-то отобрал у Малянова с довольным

урчанием. Так что кое-что в марках он понимал. И на какое-то время лишился языка. Да, конечно, в королевской коллекции все это было. У господина Стулова в Нью-Йорке кое-что из этого было тоже. Но если, скажем, взять госколлекцию... не говоря уже о простых коллекционерах...

— Фальшивки, — сказал Малянов наконец. Вайнгартен презрительно молчал. — Ну, тогда новоделы...

— Дурак ты, — сказал Вайнгартен коротко и спрятал книжку.

Малянов не нашелся, что сказать. Ему вдруг пришло в голову: если бы все это было враньем или даже _просто_ правдой, а не _страшной_ правдой, Вайнгартен сделал бы наоборот. Он сначала показал бы эти марки, а уже потом развел бы вокруг них более или менее достоверный трёп.

— Ну и что теперь делать? — спросил он, чувствуя, как сердце его опять куда-то проваливается.

Никто ему не ответил. Вайнгартен налил себе рюмку, выпил в одиночестве и закусил последней рольмопсиной. Губарь тупо следил, как его странный сын сосредоточенно, с очень серьезным бледным лицом играет рюмками. Потом Вайнгартен снова принялся рассказывать, уже безо всяких шуточек, словно бы устало, едва шевеля губами. Как он кинулся звонить Губарю, а Губарь не отвечал; как он позвонил Малянову, и ему стало ясно, что Снеговой действительно существует на свете; как он перепугался, когда Малянов ушел открывать Лидочке и долго не брал трубку; как он не спал всю эту ночь, бродил по комнатам и думал, думал, думал, глотал бром и снова думал; как он позвонил Малянову сегодня и понял, что на него уже тоже вышли, а потом к нему пришел Губарь со своими неприятностями...»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

13. «...узнал о Губаре, что он с детства был большой лентяй и прогульщик. И с тех же пор был сексуально озабочен. Десятилетку он не кончил, ушел из девятого класса, работал санитаром, потом шофером на дерьмовозе, потом лаборантом в ИЗРАНе, где и познакомился с Валькой, а сейчас работает в ящике над каким-то гигантским, очень секретным проектом, связанным с обороной. Специального образования Захар никогда никакого не получал, но с детства страстно увлекался радиолюбительством, электронику чувствовал душой, спинным мозгом и в ящике своем очень круто пошел вверх, хотя отсутствие диплома мешало ему страшно.

Он запатентовал несколько изобретений, и сейчас у него два или три были в работе, и он решительно не знает, из-за какого из них у него начались эти неприятности. Предполагает, что из-за прошлогоднего: что-то он там изобрел, связанное с «полезным использованием феддингов». Предполагает, но не уверен.

Впрочем, главным стержнем его жизни всегда были женщины. Они липли к нему как мухи. А когда они к нему почему-то переставали липнуть, он начинал к ним липнуть сам. Он уже был однажды женат, вынес из этого брака самые неприятные воспоминания и многочисленные уроки и с тех пор соблюдает в этом вопросе чрезвычайную осторожность. Короче говоря, бабник он был фантастический, и по сравнению с ним Вайнгартен, скажем, выглядел аскетом, анахоретом и стоиком. Но при всем том он никак не был грязным типом. К женщинам своим он относился с уважением и даже с восхищением и, по всей видимости, рассматривал себя всего лишь как скромный источник удовольствия для них. Никогда он не заводил двух возлюбленных одновременно, никогда не впутывался ни в склоки, ни в скандалы, никогда, по-видимому, никого из женщин не обижал. Так что в этой области у него со времен неудачной женитьбы все обстояло благополучно. До самого последнего времени.

Сам он считает, что неприятности, связанные с пришельцами, начались у него с появления какой-то гнусной сыпи на ногах. С этой сыпью он сразу же побежал к врачу, потому что всегда тщательно следил за своим здоровьем, отношение к болезням у него было европейское. Врач его успокоил, дал какие-то пилюли, сыпь прошла, но началось нашествие женщин. Они шли к нему косяками — все женщины, с которыми он когда-либо имел дело. Они толклись у него в квартире по двое, по трое, а в

течение одного страшного дня их было даже пятеро одновременно. Причем он решительно не мог понять, чего они от него хотят. Более того, у него создалось впечатление, что они и сами этого не знают. Они ругали и поносили его, они валялись у него в ногах, выпрашивая что-то непонятное, они дрались между собой как бешеные кошки, они перебили у него всю посуду, раскололи голубую японскую мойку, попортили мебель. Они закатывали истерики, они пытались травиться, некоторые угрожали отравить его, они были неутомимы и невероятно требовательны в любви. А ведь многие из них давным-давно уже были замужем, любили своих мужей и детей, и мужья тоже приходили к Губарю и тоже вели себя непонятно. (В этой части своего рассказа Губарь был особенно невнятен.)

Короче говоря, жизнь его превратилась в кромешный ад, он потерял шесть кило веса, его закидало сыпью теперь уже по всему телу, о работе не могло быть никакой речи, и он оказался вынужден взять отпуск за свой счет, хотя сидел кругом в долгах. (В первые дни он пытался укрыться от нашествия в своем ящике, но очень быстро понял, что такой образ действия приведет только к невероятной огласке всех его чисто личных неприятностей. Здесь он тоже был достаточно невнятен.)

Этот кромешный ад длился без перерыва десять дней и вдруг прекратился позавчера. Он только-только сдал с рук на руки какую-то несчастную ее мужу, мрачному сержанту милиции, как заявилась вдруг женщина с ребенком. Он помнил эту женщину. Лет шесть назад он познакомился с нею при следующих обстоятельствах. Они ехали в переполненном автобусе и оказались рядом. Он посмотрел на нее, и она ему понравилась. Простите, сказал он, нет ли у вас листочка бумаги и карандаша? Да, пожалуйста, ответила она, извлекая просимое из сумочки. Огромное вам спасибо, сказал он. А теперь напишите, ради бога, ваш телефон и как вас зовут... Они очень мило провели время на Рижском взморье и как-то незаметно расстались, казалось бы, с тем, чтобы больше не встречаться, довольные друг другом и не имеющие друг к другу никаких претензий.

И вот теперь она явилась к нему, и привела этого мальчика, и сказала, что это его сын. Она уже три года была замужем за очень хорошим и, мало того, за очень известным человеком, которого беззаветно любила и уважала. Она не могла объяснить Губарю, зачем она пришла. Она плакала всякий раз, когда он пытался это выяснить. Она ломала руки, и видно было, что она считает свое поведение подлым и преступным. Но она не уходила. Эти сутки, которые она провела у Губаря в его разгромленной квартире, были, пожалуй, самыми страшными. Она вела себя как сомнамбула, она все

время говорила что-то, и Губарь понимал отдельные слова, но был совершенно не в силах понять общего смысла. А вчера утром она вдруг словно очнулась. Она за руку вытащила Губаря из постели, привела его в ванную, пустила там воду из всех кранов и шепотом принялась рассказывать на ухо Захару какие-то совершенно невероятные вещи.

По ее словам (в интерпретации Губаря) получалось, что с древнейших времен существует на Земле некий тайный полумистический Союз Девяти. Это какие-то чудовищно засекреченные мудрецы, то ли чрезвычайно долгоживущие, то ли вообще бессмертные, и занимаются они двумя вещами: во-первых, они копят и осваивают все достижения всех без исключения наук на нашей планете, а во-вторых, следят за тем, чтобы те или иные научно-технические новинки не превратились у людей в орудие самоистребления. Они, эти мудрецы, почти всеведущи и практически всемогущи. Укрыться от них невозможно, секретов для них не существует, бороться против них не имеет никакого смысла. И вот этот-то самый Союз Девяти взялся сейчас за Захара Губаря. Почему именно за него — она не знает. Что Губарю теперь делать — она тоже не знает. Об этом он должен догадаться сам. Она знает только, что все последние неприятности Губаря — это предупреждение. И она сама тоже послана как предупреждение. А чтобы Захар помнил об этом предупреждении, ей приказано оставить при нем мальчика. Кто ей приказал — она не знает. Она вообще больше ничего не знает. И не хочет знать. Она хочет только, чтобы с мальчиком не случилось ничего плохого. Она умоляет Губаря не сопротивляться, пусть Губарь двадцать раз подумает, прежде чем решится что-нибудь предпринять. А сейчас она должна идти.

Плача, уткнувшись лицом в носовой платок, она ушла, и Губарь остался с мальчиком. Один на один. Что там у них было до трех часов дня, он рассказать не пожелал. Что-то было. (Мальчик по этому поводу выразился кратко: «Чего там, я ему вогнал ума куда следует...») В три часа Губарь не выдержал и в панике сначала позвонил, а потом побежал к Вайнгартену, своему самому близкому и уважаемому другу.

— Я так ничего и не понял, — признался он в заключение. — Я вот Валю выслушал, вас выслушал, Митя... Все равно ничего не понимаю. Не увязывается это как-то... и не верится. Может быть, все дело в жаре? Ведь такой жары, говорят, двести пятьдесят лет не было. Вот и сошли все с ума, каждый по-своему... и мы, может быть...

— Ты подожди, Захар, — сказал Вайнгартен, досадливо морщась. — Ты человек конкретный, ты лучше со своими гипотезами пока не лезь...

— Да что там гипотезы! — с тоской сказал Губарь. — Мне без всяких

гипотез ясно, что ничего мы здесь с вами не придумаем. Заявить надо куда следует, вот что я вам скажу...

Вайнгартен посмотрел на него уничтожающе.

— И куда же, по-твоему, следует заявлять в таких вот случаях? Ну-с?

— Откуда я знаю? — сказал Губарь уныло. — Должны же быть какие-то организации... В органы, например, надо заявить...

Тут мальчик отчетливо хихикнул, и Губарь замолчал. Малянов представил себе, как Вайнгартен приходит куда следует и рассказывает вдумчивому следователю свою былину о рыжем карлике в удушливо-черном костюме. Губарь в этой ситуации выглядел тоже достаточно забавно. А что касается самого Малянова...

— Нет, ребята, — сказал он. — Вы, конечно, как хотите, а мне там делать нечего. У меня тут через площадку человек умер при странных обстоятельствах, а я как-никак последний, кто его видел живым... И вообще, мне ходить незачем — за мной, кажется, и сами придут.

Вайнгартен сейчас же налил ему рюмку коньяку, и Малянов выпил ее залпом, не почувствовав ни вкуса никакого, ни запаха. Вайнгартен сказал со вздохом:

— Да, отцы. Советоваться нам не с кем. Тут того и гляди в психушку угодишь. Придется нам самим разбираться. Давай, Митька. У тебя голова ясная. Давай излагай.

Малянов потер пальцами лоб.

— Голова у меня на самом деле как пробкой набита, — проговорил он. — Излагать мне нечего. Это же все бред какой-то. Я только одно понимаю: тебе прямо сказали — сворачивай свою тему. Мне ничего не сказали, но устроили такую жизнь...

— Правильно! — прервал его Вайнгартен. — Факт первый. Кому-то наша работа пришлась не по душе. Вопрос: кому? Имей наблюдение: ко мне приходил пришелец, — Вайнгартен стал загибать пальцы, — к Захару — агент Союза Девяти... Кстати, ты слыхал про Союз Девяти? У меня лично в памяти что-то крутится, где-то я об этом читал, но где... совершенно не помню. Так. К тебе вообще никто не приходит... То есть приходят, конечно, но, так сказать, в скрытом виде. Какой отсюда следует вывод?

— Ну? — сказал Малянов мрачно.

— Отсюда следует вывод, что на самом деле нет никаких пришельцев и никаких древних мудрецов, а есть нечто третье, какая-то сила, которой мы с нашей работой стали поперек дороги...

— Ерунда все это, — сказал Малянов. — Бред и бред. Не годится ни к

черту. Ты сам подумай. У меня — звезды в газопылевом облаке. У тебя — эта самая ревертаза. А у Захара и вовсе — техническая электроника. — Он вдруг вспомнил. — И Снеговой про это говорил... Знаешь, что он сказал? Где, сказал, имение, а где вода... Я только теперь понял, что он имел в виду. Это, значит, он, бедняга, тоже над этим голову ломал... Или, может быть, по-твоему, здесь три разные силы действуют? — ядовито спросил он.

— Нет, отец, ты подожди! — сказал Вайнгартен с напором. — Ты не торопись!

У него был такой вид, словно он давно уже во всем разобрался и сейчас все окончательно разъяснит, если, конечно, его не будут перебивать и вообще мешать ему. Но он ничего не разъяснил — замолчал и уставился выпученными глазами в пустую банку из-под рольмопса.

Все молчали. Потом Губарь сказал тихо:

— А я вот все о Снеговом... Это ведь надо же... Ведь ему, наверное, тоже приказали какую-нибудь работу прекратить, а как он мог прекратить? Он же был человек военный... у него тема...

— П`исать хочу! — объявил странный мальчик и, когда Губарь со вздохом повел его в сортир, добавил на весь дом: — И какать!

— Нет, отец, ты не торопись... — снова вдруг заговорил Вайнгартен. — Ты себе представь на минуту, что есть на Земле группа существ, достаточно могущественных, чтобы вытворять эти штуки, которые они вытворяют... Пусть это будет хотя бы тот же самый Союз Девяти... Для них важно что? Закрывать определенные темы с определенной перспективой. Откуда ты знаешь? Может, сейчас в Питере еще сто человек голову себе ломают, как и мы... А по всей Земле — сто тысяч. И, как мы, боятся признаться... Кто боится, кто стыдится... А кому-то, наоборот, это и по душе пришлось! Лакомые ведь кусочки подбрасывают-то...

— Мне лакомых кусочков не подбрасывали, — сказал Малянов угрюмо.

— И тоже не случайно! Ты ведь болван, бессребреник... Ты даже сунуть на лапу кому следует и когда следует не умеешь... Для тебя ведь мир полон непреодолимых препятствий! В ресторане все столики заняты — препятствие. За билетами очередь — препятствие. Женщину твою кто-нибудь клеит...

— Ну ладно, хватит! Поехал проповеди читать...

— Не-ет! — сказал Вайнгартен, охотно прекратив проповедь. — Ты это брось, старик. Все это вполне разумные предположения. Мощь у них, правда, получается необычайная, фантастическая... но ведь есть же на свете, черт возьми, гипноз, внушение... может быть, даже, черт возьми,

телепатическое внушение! Нет, отец, ты представь себе: существует на Земле раса — древняя, разумная, может быть, и вовсе даже не человеческая — соперники наши. Вот они ждали, терпели, собирали информацию, готовились. И сейчас решили нанести удар. Заметь, не открытой атакой, а гораздо умнее. Они понимают, что трупы горами наваливать — вздор, варварство, да и опасно это для них же самих. Вот они и решили — осторожно, скальпелем, по центральной нервной, по основе всех основ, по перспективным исследованиям. Понял?

Малянов слышал и не слышал его. Вязкая дурнота подкатывала к горлу, хотелось заткнуть уши, уйти, лечь, вытянуться, завалить голову подушкой. Это был страх. И не просто страх, а Черный Страх. Беги отсюда. Спасайся. Брось все, скройся, заройся, затони... «Ну, ты! — прикрикнул он на себя. — Опомнись, идиот! Нельзя так — пропадешь...» И он сказал с усилием:

— Понял. Чушь собачья.

— Почему чушь?

— Потому что это сказочка... — Голос у него сделался хриплый, и он откашлялся. — Для детей старшего возраста. Напиши роман и отнеси в «Костер». Чтобы в конце пионер Вася все эти происки разоблачил и всех бы победил... и водрузил над Землею что-нибудь славное...

— Так, — сказал Вайнгартен очень спокойно. — События с нами имели место?

— Ну, имели.

— События фантастические?

— Ну, предположим, фантастические.

— Так как же ты, отец, фантастические события хочешь объяснить без фантастических гипотез?

— А я про это ничего не знаю, — сказал Малянов. — Это у вас события фантастические. А вы, может, вторую неделю запоем пьете... У меня никаких фантастических событий не было. Я непьющий...

Тут Вайнгартен налился кровью, ударил кулаком по столу и заорал, что Малянов, черт возьми, должен им верить, что если мы, черт возьми, друг другу не будем верить, тогда вообще все к черту пойдет! У этих гадов, может быть, весь расчет на то, что мы друг другу не будем верить, что мы перед ними окажемся каждый сам по себе и они будут из нас веревки вить, как захотят!..

Он так бешено орал и брызгался, что Малянов даже перепугался. Он даже про Черный Страх как-то забыл. Ну ладно, говорил он. Ну, брось ты, что ты разоряешься, бормотал он, ну, сболтнул, ну, извини, каялся он.

Губарь, вернувшийся из уборной, смотрел на них со страхом.

Наоравшись, Вайнгартен вскочил, вытащил из холодильника бутылку минеральной воды, зубами сорвал колпачок и присосался прямо к горлышку. Пузырящаяся вода текла по его щетинистым толстым щекам и мгновенно проступала потом на лбу и на голых волосатых плечах.

— Я ведь, собственно, что имел в виду? — сказал Малянов примирительно. — Не люблю я, когда невероятные вещи пытаются объяснить невероятными причинами. Ну, принцип экономии мышления, знаешь? Так ведь до чего угодно договориться можно...

— Предложи что-нибудь другое, — непримиримо сказал Вайнгартен, засовывая пустую бутылку под стол.

— Не могу. Мог бы — предложил бы. У меня башка со страху совсем не работает. Мне только кажется, что если они действительно такие всемогущие, так могли бы обойтись гораздо более простыми средствами.

— Какими, например?

— Ну, я не знаю... Ну, тебя отравить тухлыми консервами... Захара... ну, я не знаю... ну, током долбануть в тысячу вольт... заразить чем-нибудь... Да и вообще зачем все эти смертоубийства, ужасы? Если уж они такие всемогущие телепаты, ну внушили бы нам, что мы всё забыли дальше арифметики. Или, скажем, выработали у нас условный рефлекс: как мы сядем за работу, так у нас понос... или грипп — сопли текут, башка трещит... Экзема... Мало ли что... Все тихо, мирно, никто бы ничего и не заметил...

Вайнгартен только и ждал, когда Малянов кончит.

— Вот что, Митька, — сказал он. — Ты должен понять одну вещь...

Но Захар не дал ему договорить.

— Одну минуточку! — умоляюще сказал он, растопыривая руки, словно желая развести Малянова с Вайнгартеном по разным углам. — Дайте мне, пока я вспомнил!.. Ну подожди, Валя, дай мне сказать! Это насчет головной боли... Митя, вы же сказали... Понимаете, лежал я в прошлом году в больнице...

Одним словом, лежал он в прошлом году в больнице, в академичке, потому что у него обнаружилось что-то там такое с кровью, и познакомился он в палате с неким Глуховым Владленом Семеновичем, востоковедом. Востоковед лежал в предынфарктном состоянии, но это все неважно. А важно то, что они вроде бы подружились и впоследствии изредка встречались. Так вот, еще два месяца назад этот самый Глухов пожаловался Губарю, что огромная его, Глухова, работа, для которой он материал набирал чуть ли не десять лет, идет сейчас коту под хвост из-за очень

странной идиосинкразии, которая у Глухова вдруг обнаружилась. А именно: стоило Глухову сесть писать это самое исследование, как у него начинала зверски болеть голова, до рвоты, до обмороков...

— Причем он вполне мог о своей работе думать, — продолжал Захар, — читать материалы, даже, по-моему, рассказывать про нее мог... впрочем, этого я не помню, врать не буду... Но вот писать — это было невозможно. Я вот сейчас, после ваших, Митя, слов...

— Адрес его знаешь? — отрывисто спросил Вайнгартен.

— Знаю.

— Телефон у него есть?

— Есть... Знаю...

— Давай вызывай его сюда. Это наш человек.

Малянов вскочил.

— Иди ты к черту! — сказал он. — Ты с ума сошел! Неудобно же! Может, у него просто болезнь такая...

— У всех у нас эта болезнь, — сказал Вайнгартен.

— Валька, он же востоковед! Он вообще из другой оперы!

— Из той же, отец. Уверяю тебя, из той же самой оперы!

— Да нет, не надо! — сопротивлялся Малянов. — Захар, сидите, не слушайте его... Насосался как зюзя...

Страшно и невозможно было представить себе, как приходит в эту жаркую прокуренную кухню абсолютно нормальный посторонний человек и окунается в атмосферу сумасшествия, страха и алкоголя.

— Давайте лучше вот что сделаем, — убеждал Малянов. — Давайте Вечеровского позовем. Ей-богу, будет больше пользы!

Вайнгартен не возражал и против Вечеровского. Правильно, говорил он. Насчет Вечеровского — это идея. Вечеровский — башка! Захар, иди звони своему Глухову, а потом мы Вечеровскому позвоним...

Малянов очень не хотел никаких Глуховых. Он умолял, он орал, что хозяин в этом доме он, что он их всех к черту выгонит. Но против Вайнгартена не попрешь. Захар отправился звонить Глухову, и мальчик сейчас же слез с табурета и, как приклеенный, последовал за ним...»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

14. «...сын Захара, устроившись на тахте в углу, время от времени принимался услаждать общество чтением избранных мест из популярной медицинской энциклопедии, которую Малянов подсунул ему второпях по ошибке, вместо Брема. Вечеровский, особенно элегантный по контрасту с потным и расхлюстанным Вайнгартеном, с любопытством слушал и разглядывал странного мальчика, высоко задирая рыжие брови. Он еще почти ничего не сказал по существу — задал несколько вопросов, показавшихся Малянову (да и не одному только Малянову) нелепыми. Например, он ни с того ни с сего спросил Захара, часто ли Захар конфликтует с начальством, а Глухова — любит ли тот сидеть у телевизора. (Выяснилось, что Захар вообще никогда ни с кем не конфликтует, такой уж у него характер, и что Глухов у телевизора сидеть — да, любит, и даже не просто любит, а предпочитает.)

Малянову Глухов очень понравился. Вообще-то Малянов не любил новых людей в старых компаниях, ему всегда было страшно, что они начнут вести себя как-нибудь не так и за них будет неловко. Но с Глуховым оказалось все в порядке. Был он какой-то удивительно уютный и невредный — маленький, тощенький, курносый, с красноватыми глазками за сильными большими очками. По приходе он с удовольствием выпил предложенный Вайнгартеном стаканчик водки и заметно огорчился, узнав, что это последний. Когда его подвергли перекрестному допросу, он выслушивал каждого очень внимательно, по-профессорски склонив голову к правому плечу и скосив глаза направо же. Нет-нет, отвечал он, как бы извиняясь. Нет, ничего подобного со мной не было. Помилуйте, я даже представить себе такого не могу... Тема? Боюсь, очень далекая от вас: «Культурное влияние США на Японию. Опыт количественного и качественного анализа»... Да, по-видимому, какая-то идиосинкразия, я говорил с крупными медиками — случай, по их словам, редчайший... В общем, с Глуховым, по-видимому, получился пустой номер, но все равно, хорошо было, что он здесь. Он был какой-то очень от мира сего: с аппетитом выпил и хотел еще, с детским удовольствием ел икру, чай предпочитал цейлонский, а читать больше всего любил детективы. На странного Захарова мальчика он смотрел с опасливым недоумением, время от времени неуверенно посмеиваясь, бредовые рассказы выслушал с огромным сочувствием, то и дело принимался чесать обеими руками у себя

за ушами, бормоча: «Да, это поразительно... Невероятно!..» Словом, с Глуховым все было Малянову ясно. Ни новой информации от него, ни, тем более, советов ждать не приходилось.

Вайнгартен, как всегда в присутствии Вечеровского, несколько уменьшился в объеме. Он даже стал как-то приличнее выглядеть, не орал больше и никого не называл отцами и стариками. Впрочем, последние зерна черной икры сожрал все-таки он.

Захар вообще не говорил ни слова, если не считать коротких ответов на неожиданные вопросы Вечеровского. Даже историю его собственных злоключений ему не пришлось рассказывать — за него рассказал Вайнгартен. И странного своего сына он перестал увещевать вовсе и только болезненно улыбался, выслушивая назидательные цитаты о болезнях разных деликатных органов.

И вот они сидели и молчали. Прихлебывали остывший чай. Курили. Горело дрожащее золото окон в Доме быта, серпик молодой луны висел в темно-синем небе, с улицы доносилось отчетливое сухое потрескивание, — должно быть, опять жгли старые ящики. Вайнгартен зашуршал сигаретной пачкой, заглянул в нее, смял и спросил вполголоса: «Сигареты у кого есть еще?» — «Вот, пожалуйста...» — торопливо и тоже вполголоса отозвался Захар. Глухов кашлянул и позвенел ложечкой в стакане.

Малянов посмотрел на Вечеровского. Тот сидел в кресле, вытянув и скрестив ноги, и внимательно изучал ногти на правой руке. Малянов посмотрел на Вайнгартена. Вайнгартен раскуривал сигарету и поверх огонька смотрел на Вечеровского. И Захар смотрел на Вечеровского. И Глухов. Малянову вдруг стало смешно. Елки-палки, а чего мы, собственно, от него ждем? Ну, математик. Ну, крупный математик. Ну, допустим даже, очень крупный математик — мировая величина. Ну и что? Как дети, ей-богу. Заблудились в лесу и с надеждой моргают на дядю: уж он-то нас выведет.

— Вот, собственно, и все соображения, которые у нас имеются, — плавно произнес Вайнгартен. — Как видите, наметились по крайней мере две позиции... — Он говорил, обращаясь как бы ко всем, но смотрел при этом только на Вечеровского. — Митька считает, что следует все это пытаться объяснить в рамках известных нам явлений природы... Я же полагаю, что мы имеем дело с вмешательством совершенно неизвестных нам сил. Так сказать, подобное — подобным, фантастическое — фантастическим...

Эта тирада прозвучала невероятно напыщенно. Ведь нет чтобы просто и честно сказать: дядя, голубчик, заблудились, выведи... Нет, ему,

понимаете, резюме нужно, мы-де и сами не лыком шиты... Ну и сиди теперь как дурак. Малянов взял чайник и пошел от Валькиного срама на кухню. Он не слышал, о чем шла речь, пока наливал воду и ставил чайник на газ. Когда он вернулся, Вечеровский неторопливо говорил, внимательно разглядывая ногти теперь уже на левой руке:

— ...И поэтому я склоняюсь все-таки к вашей точке зрения, Валя. Действительно, фантастическое, по-видимому, надлежит объяснять фантастическим. Я полагаю, что все вы оказались в сфере внимания... м-м-м... назовем это сверхцивилизацией. По-моему, это уже устоявшийся термин для обозначения иного разума, на много порядков более могущественного, нежели человеческий...

Вайнгартен, глубоко затягиваясь и выпуская дым, мерно кивал с необычайно важным и сосредоточенным видом.

— Почему им понадобилось останавливать именно ваши исследования, — продолжал Вечеровский, — вопрос не только сложный, но и праздный. Существо дела состоит в том, что человечество, само того не подозревая, вызвало на себя контакт и перестало быть самодовлеющей системой. По-видимому, сами того не подозревая, мы наступили на мозоль некоей сверхцивилизации, и эта сверхцивилизация, по-видимому, поставила своей целью регулировать отныне наш прогресс по своему усмотрению...

— Да Фил, да подожди! — сказал Малянов. — Неужели даже ты не понимаешь? Какая, к черту, сверхцивилизация? Что это за сверхцивилизация, которая тычется в нас, как слепой котенок? Зачем вся эта бессмыслица? Этот мой следователь, да еще с коньяком... Бабы эти Захаровы... Где основной принцип разума: целесообразность, экономичность?..

— Это частности, Дима, — тихо сказал Вечеровский. — Зачем мерить внечеловеческую целесообразность человеческими мерками? И потом, представь себе: с какой силой ты бьешь себя по щеке, чтобы убить несчастного комара? Ведь таким ударом можно было бы убить всех комаров в округе разом.

Вайнгартен вставил:

— Или, например: какова целесообразность постройки моста через реку с точки зрения щуки?

— Ну, не знаю, — сказал Малянов. — Нелепо это все как-то.

Вечеровский подождал немного и, увидев, что Малянов заткнулся, продолжал:

— Я хотел бы подчеркнуть вот что. При такой постановке вопроса

ваши личные неприятности и проблемы отходят на второй план. Речь теперь идет уже о судьбе человечества... — Он помедлил. — Ну, возможно, не о судьбе в роковом смысле этого слова, однако, во всяком случае, о его достоинстве. Так что перед нами стоит задача защитить не просто вашу, Валя, теорию ревертазы, но судьбу всей нашей планетной биологии вообще... Или я ошибаюсь?

Впервые в присутствии Вечеровского Вайнгартен раздулся до своих нормальных размеров. Он самым энергичным образом кивнул, но сказал совсем не то, что ожидал Малянов. Он сказал:

— Да, несомненно. Мы все понимаем, что речь идет не о нас лично. Речь идет о сотнях исследований. Может быть, о тысячах... Да что я говорю — о перспективных направлениях вообще!

— Так! — энергично сказал Вечеровский. — Значит, предстоит драка. Их оружие — тайна; следовательно, наше оружие — гласность. Что мы должны сделать в первую очередь? Известить о событиях своих знакомых, которые обладают, с одной стороны, достаточной фантазией, чтобы поверить нам, а с другой стороны — достаточным авторитетом, чтобы убедить своих коллег, занимающих командные высоты в науке. Таким образом, мы косвенно выходим на контакт с правительством, получаем доступ к средствам массовой информации и можем авторитетно информировать все человечество. Первое ваше движение было совершенно правильным — вы обратились ко мне. Лично я беру на себя попытку убедить нескольких крупных математиков, являющихся одновременно крупными администраторами. Сначала, естественно, я свяжусь с нашими, а потом и с зарубежными...

Он необычайно оживился, выпрямился в кресле и все говорил, говорил, говорил. Он называл имена, звания, должности, он очень четко определил, к кому должен обратиться Малянов, к кому — Вайнгартен. Можно было подумать, что он уже несколько дней сидел над составлением подробного плана действий. Но чем больше он говорил, тем большее уныние охватывало Малянова. И когда Вечеровский с каким-то совсем уже неприличным пылом перешел ко второй части своей программы, к апофеозу, в котором объединенное всеобщей тревогой человечество в едином строю сплоченными мощностями всей планеты дает отпор сверхцивилизованному супостату, — вот тут Малянов почувствовал, что с него хватит, поднялся, пошел на кухню и заварил новый чай. Вот тебе и Вечеровский. Вот тебе и башка. Видимо, тоже здорово перепугался, бедняга. Да, брат, это тебе не про телепатию спорить. А вообще-то мы сами виноваты: Вечеровский то, Вечеровский се, Вечеровский башка... А

Вечеровский — просто человек. Умный человек, конечно, крупный человек, но не более того. Пока речь идет об абстракциях — он силен, а вот как жизнь-матушка подопрет... Обидно только, что он почему-то сразу принял сторону Вальки, а меня даже толком выслушать не пожелал... Малянов взял чайники и вернулся в комнату.

А в комнате, естественно, Вайнгартен делал компот из Вечеровского. Потому что, знаете ли, пиетет пиететом, а когда человек несет околесицу, то уж тут никакой пиетет ему не поможет.

...Уж не воображает ли Вечеровский, что имеет дело с полными идиотами? Может быть, у него, Вечеровского, и есть в запасе пара авторитетных и в то же время полоумных академиков, которые после полубанки способны встретить такую вот информацию с энтузиазмом. Лично у него, Вайнгартена, подобных академиков нет. У него, Вайнгартена, есть старый друг Митька Малянов, от которого он, Вайнгартен, мог бы ожидать определенного сочувствия, тем более что сам Малянов ходит в пострадавших. И что же — встретил он его, Вайнгартена, рассказ с энтузиазмом? С интересом? С сочувствием, может быть? Черта с два! Первое же, что он сказал, — это что Вайнгартен врет. И между прочим, он, Малянов, по-своему прав. Ему, Вайнгартену, даже страшно подумать — обращаться с таким рассказом к своему шефу, скажем, хотя шеф, между прочим, человек еще вовсе не старый, отнюдь не закоснелый и сам склонен к некоему благородному сумасшествию в науке. Неизвестно, как там обстоят дела у Вечеровского, но он, Вайнгартен, совершенно не имеет целью провести остаток дней своих даже в самой роскошной психолечебнице...

— Санитары приедут и заберут! — сказал тут Захар жалобно. — Это ж ясно. И вам-то еще ничего, а мне ведь сексуального маньяка вдобавок приклеят...

— Подожди, Захар! — сказал Вайнгартен с раздражением. — Нет, Фил, честное слово, я вас просто не узнаю! Ну, предположим даже, что разговоры о клиниках — это некоторое преувеличение. Но ведь мы тут же кончимся как ученые, немедленно! Рожки да ножки останутся от нашего реноме! А потом, черт побери, если предположить даже, что нам удалось бы найти одного-двух сочувствующих из академии, — ну как они пойдут с этим бредом в правительство? Кто на это рискнет? Это же черт знает как человека должно прожечь, чтобы он на это рискнул! А уж человечество наше, наши дорогие сопланетники... — Вайнгартен махнул рукой и глянул на Малянова своими маслинами. — Налей-ка погорячее, — сказал он. — Гласность... Гласность — это, знаете ли, палка о двух концах... — И он

принялся шумно пить чай, то и дело проводя волосатой рукой по потному носу.

— Ну, кому еще налить? — спросил Малянов.

На Вечеровского он старался не смотреть. Налил Захару, налил Глухову. Налил себе. Сел. Ужасно было жалко Вечеровского и ужасно неловко за него. Правильно Валька сказал: реноме ученого — это вещь очень нежная. Одна неудачная речь — и где оно, твое реноме, Филипп Павлович?

Вечеровский скорчился в кресле, опустив лицо в ладони. Это было невыносимо. Малянов сказал:

— Понимаешь, Фил, все твои предложения... эта твоя программа действий... теоретически это все, наверное, правильно. Но нам-то сейчас не теория нужна. Нам сейчас нужна такая программа, которую можно реализовать в конкретных реальных условиях. Ты вот говоришь: «объединенное человечество». Понимаешь, для твоей программы, наверное, подошло бы какое-нибудь человечество, но только не наше — не земное, я имею в виду. Наше ведь ни во что такое не поверит. Оно ведь знаешь когда в сверхцивилизацию поверит? Когда эта сверхцивилизация снизойдет до нашего же уровня и примется с бреющего полета валить на нас бомбы. Вот тут мы поверим, вот тут мы объединимся, да и то, наверное, не сразу, а сначала, наверное, сгоряча друг другу пачек накидаем.

— В точности так! — сказал Вайнгартен неприятным голосом и коротко хохотнул.

Все помолчали.

— А у меня и вовсе шеф — женщина, — сказал Захар. — Очень милая, умная, но как я ей буду все это рассказывать? Про себя...

И опять все надолго замолчали, прихлебывая чай. Потом Глухов проговорил негромко:

— Чаек какой — просто прелесть! Умелец вы, Дмитрий Алексеевич. Давно такого не пил... Да-да-да... Конечно, все это трудно, неясно... А с другой стороны — небо, месяц, смотрите, какой... чаек, сигаретка... Что еще, на самом деле, человеку надо? По телевизору — многосерийный детектив, очень недурной... Не знаю, не знаю... Вы вот, Дмитрий Алексеевич, что-то там насчет звезд, насчет междузвездного газа... А какое вам, собственно, до этого дело? Если подумать, а? Подглядывание какое-то, а? Вот вам и по рукам — не подглядывай... Пей чаек, смотри телевизор... Небо ведь не для того, чтобы подглядывать. Небо ведь — оно чтобы любоваться.

И тут Захаров мальчик вдруг звонко и торжествующе объявил:

— Ты хитрец!

Малянов подумал было, что это он про Глухова. Оказалось — нет. Мальчик, по-взрослому прищурясь, смотрел на Вечеровского и грозил ему измазанным в шоколаде пальцем. «Тише, тише...» — с беспомощным укором пробормотал Губарь, а Вечеровский вдруг отнял ладони от лица и принял свою первоначальную позу — развалился в кресле, вытянув и скрестив длинные ноги. Рыжее лицо его усмехалось.

— Итак, — сказал он, — я рад констатировать, что гипотеза товарища Вайнгартена заводит нас в тупик, видимый невооруженным глазом. Легко видеть, что в точно такой же тупик заводят нас гипотезы легендарного Союза Девяти, таинственного разума, скрывающегося в безднах Мирового океана, и вообще любой _разумно_ действующей силы. Было бы очень хорошо, если бы вы все сейчас только одну минуту помолчали и подумали, чтобы убедиться в справедливости моих слов.

Малянов бессмысленно болтал ложечкой в стакане и думал: вот стервец, это же надо, как он всех нас купил! Зачем? Что за спектакль?.. Вайнгартен глядел прямо перед собой, глаза его постепенно выкатывались; толстые, залитые потом щеки угрожающе подрагивали. Глухов растерянно глядел на всех по очереди, а Захар просто терпеливо ждал: видимо, драматизм минуты молчания прошел мимо него.

Потом Вечеровский заговорил снова:

— Обратите внимание. Для объяснения фантастических событий мы попытались привлечь соображения — хотя и фантастические, но тем не менее лежащие внутри сферы наших современных представлений. Это не дало нам ничего. Абсолютно ничего. Валя показал нам это чрезвычайно убедительно. Поэтому, очевидно, вовсе не имеет смысла... я бы сказал — _тем_ _более_ не имеет смысла привлекать какие бы то ни было соображения, лежащие вне сферы современных представлений. Скажем, гипотезу бога... или... или иные. Вывод?

Вайнгартен судорожно вытер лицо полой рубашки и принялся лихорадочно хлебать чай. Малянов спросил с обидой:

— Ты что же это, нарочно нас разыграл?

— А что мне оставалось делать? — отозвался Вечеровский, задирая свои проклятые рыжие брови до самого потолка. — Самому вам доказывать, что ходить по начальству бессмысленно? Что вообще бессмысленно ставить вопрос так, как вы его ставите? «Союз Девяти или тау-китяне...» Да какая вам разница? О чем здесь спорить? Какой бы вы ответ ни дали, никакой практической программы действий вы из этого ответа не извлечете. Сгорел у вас дом, или разбило его ураганом, или

унесло наводнением — вам надо думать не о том, что именно случилось с домом, а о том, где теперь жить, как теперь жить, что делать дальше...

— Ты хочешь сказать... — начал Малянов.

— Я хочу сказать, — проговорил Вечеровский жестко, — что ничего ИНТЕРЕСНОГО с вами не произошло. Нечем здесь интересоваться, нечего здесь исследовать, нечего здесь анализировать. Все ваши поиски причин есть просто праздное любопытство. Не о том вам надо думать, каким именно прессом вас давят, а о том, как вести себя под давлением. А думать об этом — гораздо сложнее, чем фантазировать насчет царя Ашоки, потому что отныне каждый из вас — ОДИН. Никто вам не поможет. Никто вам ничего не посоветует. Никто за вас ничего не решит. Ни академики, ни правительство, ни даже все прогрессивное человечество... Ну об этом Валя достаточно хорошо говорил.

Он поднялся, налил себе чаю и снова вернулся в кресло — невыносимо уверенный, подтянутый, элегантно небрежный, как на дипломатическом приеме. Он и чашку-то держал — словно какой-нибудь там занюханный пэр на файф-о-клоке у королевы...

Мальчик процитировал на весь дом:

— «Если больной пренебрегает советами врачей, неаккуратно лечится, злоупотребляет алкоголем, то примерно через пять-шесть лет вторичный период сменяется третичным периодом болезни — последним...»

Захар вдруг сказал с тоской:

— Ну почему? Ну почему именно со мной, с нами?..

Вечеровский с легким стуком поставил чашку на блюдечко, а блюдечко на стол рядом с собой.

— Потому что век наш весь в черном, — объяснил он, промакивая серовато-розовые, как у лошади, губы белоснежным платочком. — Он носит цилиндр высокий, и все-таки мы продолжаем бежать, а затем, когда бьет на часах бездействия час и час отстраненья от дел повседневных, тогда приходит к нам раздвоенье, и мы ни о чем не мечтаем...

— Тьфу на тебя, — сказал Малянов, а Вечеровский разразился довольным, сытым марсианским уханьем.

Вайнгартен выкопал из переполненной пепельницы чинарик подлиннее, сунул его в толстые губы, чиркнул спичкой и некоторое время сидел так, отрешенно скосив глаза на огонек.

— Действительно... — произнес он. — Не все ли равно, какая именно сила... если она заведомо превышает человеческую... — Он закурил. — Тля, на которую упал кирпич, или тля, на которую упал двугривенный... Только я не тля. Я могу выбирать.

Захар смотрел на него с надеждой, но Вайнгартен замолчал. Выбирать, подумал Малянов. Легко сказать — выбирать...

— Легко сказать — выбирать! — начал было Захар, но тут заговорил Глухов, и Захар с надеждой уставился на него.

— Да ясно же! — сказал Глухов с необычайной проникновенностью. — Неужели не ясно, что выбирать? Жизнь надо выбирать! Что же еще? Не телескопы же ваши, не пробирки же... Да пусть они ими подавятся, телескопами вашими! Диффузными газами!.. Жить надо, любить надо, природу ощущать надо — ощущать, а не ковыряться в ней! Когда я сейчас смотрю на дерево, на куст, я чувствую, я знаю — это мой друг, мы существуем друг для друга, мы друг другу нужны...

— Сейчас? — громко спросил Вечеровский.

Глухов запнулся.

— Простите, — пробормотал он.

— А ведь мы с вами знакомы, Владлен Семенович, — сказал Вечеровский. — Помните? Эстония, школа матлингвистики... финская баня, пиво...

— Да-да, — сказал Глухов, опустив глаза. — Да.

— Вы были тогда совсем другим, — сказал Вечеровский.

— Ну, так когда это было... — сказал Глухов. — Бароны, знаете ли, стареют...

— Бароны также и воюют, — сказал Вечеровский. — Не так уж давно это было.

Глухов молча развел руками.

Малянов ничего не понял в этой интермедии, но что-то в ней было, что-то неприятное, неспроста они все это друг другу говорили. А Захар, видимо, понял, понял как-то по-своему, какую-то обиду для себя он почувствовал в этом небольшом разговоре, какое-то оскорбление, что ли, потому что вдруг с необычайной резкостью, чуть ли не со злобой почти выкрикнул, обращаясь к Вечеровскому:

— Снегового-то они убили! Вам, Филипп Павлович, легко рассуждать, вас-то они за горло не взяли, вам хорошо!..

Вечеровский кивнул.

— Да, — сказал он. — Мне хорошо. Мне хорошо, и вот Владлену Семеновичу тоже хорошо. Правда, Владлен Семенович?

Маленький уютный человек с красными кроличьими глазами за сильными стеклами старомодных очков в стальной оправе снова молча развел руками. Потом он встал и, ни на кого не глядя, проговорил:

— Прошу прощения, друзья мои, но мне пора идти. Уже поздно...»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

15. «...Может быть, хочешь переночевать у меня? — спросил Вечеровский.

Малянов мыл посуду и обдумывал это предложение. Вечеровский не торопил его с ответом. Он снова удалился в большую комнату, некоторое время двигался там, затем вернулся с кучей мусора в подмокшей газете и сунул мусор в ведро. Затем он взял тряпку и принялся вытирать кухонный стол.

Вообще-то после всех сегодняшних событий и разговоров оставаться одному Малянову было как-то не в жилу. А с другой стороны, бросать квартиру и уходить было как-то неловко и, прямо скажем, стыдно. Получается, что они меня все-таки выживают, подумал он. А я терпеть не могу ночевать в чужих домах, даже у друзей. Даже у Вечеровского. Он вдруг совершенно явственно ощутил аромат кофе. Хрупкая, как розовый лепесток, розовая чашечка, и в ней — волшебный напиток «а ля Вечеровский». Но если подумать, не на ночь же его пить... Кофе можно выпить утром.

Он домыл последнее блюдце, поставил его в сушилку, кое-как затер лужу на линолеуме и пошел в большую комнату. Вечеровский уже сидел там в кресле, развернувшись лицом к окну. Небо за окном было розовое с золотом; молодой месяц, словно на минарете, торчал в точности над крышей двенадцатиэтажника. Малянов взял свое кресло, тоже развернул к окну и тоже уселся. Теперь их с Вечеровским разделял стол, на котором Фил навел порядок: книги лежали аккуратной стопкой, недельной пыли и следа не осталось, все три карандаша и ручка аккуратно выстроились рядом с календарем. Вообще, пока Малянов возился с посудой, Вечеровский успел навести в комнате совершенно необычайный блеск — только что не пропылесосил, — но при всем том сам ухитрился остаться элегантным, подтянутым, без единого пятнышка на кремовых одеждах. Он даже ухитрился не вспотеть, что было уже совершенной фантастикой. А вот у Малянова, хоть он и был в Иркином фартуке, все брюхо было мокрое, прямо как у Вайнгартена. Если у жены брюхо после мытья посуды мокрое, значит, муж пьяница. А если у мужа?..

Они молчали и смотрели, как в двенадцатиэтажнике одно за другим гаснут окна. Появился Калям, тихонько мявкнул, вскочил Вечеровскому на колени, устроился и заурчал. Вечеровский тихо гладил его длинной узкой

ладонью, не отрывая глаз от огней за окном.

— Он линяет, — предупредил Малянов.

— Неважно, — отозвался Вечеровский тихонько.

Они опять замолчали. Теперь, когда рядом не было потного красного Вайнгартена, совершенно убитого ужасом Захара с его кошмарным ребенком и такого обыкновенного и в то же время загадочного Глухова, когда рядом был только Вечеровский, бесконечно спокойный, бесконечно уверенный в себе и не ожидающий ни от кого никаких сверхъестественных решений, — теперь все прошедшее казалось не то чтобы сном, а скорее некоей эксцентрической повестью, и если это даже действительно произошло, то давно, и не происходило, собственно, а только начало происходить, а потом перестало. Малянов ощутил даже смутный интерес к этому полулитературному персонажу: получил он в конце концов свои пятнадцать лет или все...»

16. «...вспомнил Снегового, и пистолет в пижаме, и печать на двери.

— Слушай, — сказал я. — Неужели они Снегового убили?

— Кто? — не сразу отозвался Вечеровский.

— Н-ну... — начал я и замолчал.

— Снеговой, судя по всему, застрелился, — сказал Вечеровский. — Не выдержал.

— Чего не выдержал?

— Давления. Сделал свой выбор.

Это была не эксцентрическая повесть. Я опять ощутил то же знакомое оцепенение внутри, забрался в кресло с ногами и обхватил колени. Сжался так, что хрустнули мускулы. Это ведь я, это ведь со мной происходит. Не с Иваном-царевичем, не с Иванушкой-дурачком, а со мной. Вечеровскому хорошо...

— Слушай, — сказал я сквозь зубы. — Что там у тебя с Глуховым? Странно вы с ним как-то говорили.

— Он меня разозлил, — отозвался Вечеровский.

— Чем?

Вечеровский помолчал.

— Не смеет оставаться один, — сказал он.

— Не понимаю, — сказал я, подумав.

— Меня злит не то, как он сделал свой выбор, — проговорил Вечеровский медленно, словно размышляя вслух. — Но зачем все время оправдываться? И он не просто оправдывается, он еще пытается завербовать других. Ему стыдно быть слабым среди сильных, ему хочется,

чтобы и другие стали слабыми. Он думает, что тогда ему станет легче. Может быть, он и прав, но меня такая позиция бесит...

Я слушал его, раскрыв рот, а когда он замолчал, спросил осторожно:

— Ты хочешь сказать, что Глухов тоже... под давлением?

— Он _был_ под давлением. Теперь он просто раздавлен.

— Подожди, подожди... Позволь!

Он медленно повернул ко мне лицо.

— А ты не понял? — спросил он.

— Откуда? Он же говорил... Я же своими ушами слышал... Да просто видно, наконец, простым глазом, что человек ни сном ни духом... Это же очевидно!

Впрочем, теперь это уже не казалось мне таким очевидным. Скорее, пожалуй, наоборот.

— Значит, ты не понял, — произнес Вечеровский, разглядывая меня с любопытством. — Гм... А вот Захар понял. — Он впервые за вечер достал трубку и кисет и принялся неторопливо набивать трубку. — Странно, что ты не понял... Впрочем, ты был в явно растрепанных чувствах. А между тем посуди сам: человек любит детективы, человек любит посидеть у телевизора, сегодня как раз очередная серия этого убогого фильма... и вдруг он срывается с насиженного места, мчится к совершенно незнакомым людям — для чего? Чтобы пожаловаться на свои головные боли? — Он чиркнул спичкой и принялся раскуривать трубку. Желто-красный огонек заплясал в его сосредоточенно скошенных глазах. Потянуло медвяным дымком. — А потом — я ведь его сразу узнал. Точнее, не сразу... Он очень сильно переменился. Это ведь был этакий живчик — энергичный, крикливый, ядовитый... никакого руссоизма, никаких рюмочек. Сначала я его просто пожалел, но когда он принялся рекламировать свое новое мировоззрение, это меня взбесило.

Он замолк и занялся исключительно своей трубкой.

Я снова изо всех сил сжался в комок. Вот, значит, как это выглядит. Человека просто расплющило. Он остался жив, но он уже не тот. Вырожденная материя... Вырожденный дух. Что же они с ним делали? Не выдержал... Елки-палки, но ведь бывают, наверное, такие давления, что никакой человек не выдержит...

— Значит, ты и Снегового осуждаешь? — спросил я.

— Я никогда не осуждаю, — возразил Вечеровский.

— Н-ну... Ты же бесишься вот... по поводу Глухова...

— Ты меня не понял, — с легким нетерпением сказал Вечеровский. — Меня бесит вовсе не выбор Глухова. Какое я имею право беситься по

поводу выбора, который делает человек, оставшийся один на один, без помощи, без надежды... Меня раздражает поведение Глухова _после_ выбора. Повторяю: он стыдится своего выбора и поэтому — только поэтому! — старается соблазнить других в свою веру. То есть, по сути, усиливает и без того неодолимую силу. Понимаешь меня?

— Умом — понимаю, — сказал я.

Я хотел добавить еще о том, что и Глухова можно вполне понять, а поняв — простить, что на самом деле Глухов вообще вне сферы анализа, он в сфере милосердия, но я вдруг почувствовал, что не могу больше говорить. Меня трясло. Без помощи и без надежды... Без помощи и без надежды... Почему я? За что? Что я им сделал?.. Надо было поддерживать разговор, и я сказал, стискивая зубы после каждого слова:

— В конце концов, существуют такие давления, которых никакому человеку не выдержать...

Вечеровский ответил что-то, но я не услышал его или не понял. До меня вдруг дошло, что еще вчера я был человеком, членом социума, у меня были свои заботы и свои неприятности, но пока я соблюдал законы, установленные социумом, — а это вовсе не так уж трудно, это уже успело войти в привычку, — пока я соблюдал эти законы, меня от всех мыслимых опасностей надежно охраняли милиция, армия, профсоюзы, общественное мнение, друзья, семья, наконец, и вот что-то сместилось в окружающем мире, и я превратился в одинокого пескаря, затаившегося в щели, а вокруг ходят и реют чудовищные неразличимые тени, которым даже и зубастых пастей не надо — достаточно легкого движения плавника, чтобы стереть меня в порошок, расплющить, обратить в ничто... И мне дано понять, что, пока я сижу в этой щели, меня не тронут. Даже еще страшнее: меня отделили от человечества, как отделяют овцу от стада, и волокут куда-то, неизвестно куда, неизвестно зачем, а стадо, не подозревая об этом, спокойно идет своим путем и уходит все дальше и дальше... Если бы это были какие-нибудь воинственные пришельцы, если бы это была страшная, разрушительная агрессия из Космоса, из недр океана, из четвертого измерения — насколько мне было бы легче! Я был бы одним из многих, мне нашлось бы место, мне нашлось бы дело, я был бы в рядах! А так я буду погибать у всех на глазах, и никто ничего не заметит, а когда я погибну, когда меня сотрут в порошок, все очень удивятся и пожмут плечами. Слава богу, что хоть Ирки здесь нет. Слава богу, что хоть ее это не касается... Бред! Бред! Чушь собачья! Я изо всех сил потряс головой и рванул себя за волосы. И весь этот кошмар из-за того, что я занимаюсь диффузной материей?!

— По-видимому, да, — сказал Вечеровский.

Я с ужасом взглянул на него, но потом ощутил, что мой вопль еще отдается в моих собственных ушах.

— Слушай, Фил, в этом нет никакого смысла! — сказал я с отчаянием.

— С человеческой точки зрения — никакого, — сказал Вечеровский. — Но люди ведь как раз ничего не имеют против твоих занятий.

— А кто имеет?

— Опять двадцать пять за рыбу деньги! — произнес Вечеровский, и это было так непохоже на него, что я расхохотался. Нервно. Истерически. И услышал в ответ довольное марсианское уханье.

— Слушай, — сказал я. — Ну их всех к черту. Давай чаю попьем!

Я очень боялся, что Вечеровский сейчас скажет, что ему пора, что завтра ему принимать экзамены, что нужно заканчивать главу и все такое, и я торопливо добавил:

— Давай, а? Я там коробку конфет утаил каких-то. Чего их, думаю, скармливать Вайнгартену... Давай!

— С удовольствием, — сказал Вечеровский и с готовностью встал.

— Знаешь, вот так думаешь, думаешь, — говорил я, пока мы шли на кухню, пока я наливал и ставил на газ чайник. — Вот так думаешь, думаешь, в глазах же черно становится. Нельзя так, нельзя. Такие вот штуки и загубили Снеговового, я теперь это точно понимаю. Сидел он у себя в квартире один как перст, все лампы зажег, но что с этого толку? Эту черноту лампами не высветишь. Думал он вот так, думал, а потом щелкнуло что-то в голове — и конец... Чувство юмора терять нельзя, вот что. Это ведь на самом деле смешно: такая мощь, такие энергии — и все это, чтобы воспретить человеку разобраться, что бывает, когда звезда попадает в облако пыли... Нет, правда, ты в это вдумайся, Фил! Смешно ведь, верно?

Вечеровский смотрел на меня с каким-то непривычным выражением.

— Ты знаешь, Дима, — произнес он, — вот юмористический аспект положения мне как-то в голову не приходил.

— Нет, правда... Как представишь себе... Вот собираются они там и начинают считать: на исследование кольчатых червей мы бросим сто мегаватт, на проталкивание такого-то проекта — семьдесят пять гигаватт, а на запрещение Малянова хватит и десятки. А кто-нибудь там возражает: десятки-де мало. Надо ведь телефонными звонками его заморочить — раз. Коньяку ему с бабой подсунуть — два... — Я сел и стиснул руки между коленями. — Нет, как хочешь, — это смешно.

— Да, — согласился Вечеровский. — Это довольно смешно... Не

очень. Воображение у тебя, Дима, все-таки убогое. Даже странно, как ты до своих пузырей додумался.

— Какие пузыри! — сказал я. — Не было никаких пузырей. И не будет. Бросьте меня колоть, гражданин начальник, ничего не видел, ничего не слышал, маруха Нинка подтвердит, не было меня там... И вообще у меня плановая тема — ИК-спектрометр, а все остальное — интеллигентская вылазка, Галилеев комплекс...

Мы помолчали. Тихонько засипел чайник и, приготовляясь закипеть, начал делать «пф-пф-пф».

— Ну, ладно, — сказал я. — Убогое воображение. Пожалуйста. Но согласись: если от всех этих неприятных деталей отвлечься, чертовски интересно все получается. Все-таки получается, что они существуют. Столько болтали, столько гадали, столько врали... блюдечки дурацкие выдумывали, баальбекские веранды, а они все-таки существуют. Только, конечно, совсем не так они существуют, как мы думали... Я, между прочим, всегда был уверен, что, когда они наконец объявятся, они будут совершенно непохожи на все то, что про них навыдумывали...

— Кто это — они? — рассеянно спросил Вечеровский. Он раскуривал погасшую трубку.

— Пришельцы, — сказал я. — Или, выражаясь по науке, сверхцивилизация.

— А-а, — сказал Вечеровский. — Понимаю. Действительно, еще никто не додумался, что они будут похожи на милиционера с аберрациями поведения.

— Ладно, ладно, — сказал я. Я поднялся и стал выставлять на стол все для чая. — У меня воображение убогое, а у тебя его, видно, и вовсе нет.

— Пожалуй, — согласился Вечеровский. — Я совершенно не в состоянии вообразить то, чего, по-моему, не существует. Флогистон, например, он же теплород... или, скажем, всемирный эфир... Нет-нет, ты завари свежий, пожалуйста... и не жалей заварки.

— Сам знаю, — огрызнулся я. — Так что ты там насчет флогистона?

— Я никогда не верил во флогистон. И я никогда не верил в сверхцивилизации. И флогистон, и сверхцивилизации — все это слишком человеческое. Как у Бодлера. Слишком человеческое, следовательно — животное. Не от разума. От неразумия.

— Позволь! — сказал я, стоя с заварочным чайником в одной руке и с пачкой цейлонского в другой. — Но ты же сам признал, что мы имеем дело со сверхцивилизацией...

— Отнюдь, — сказал Вечеровский невозмутимо, — точнее — отнюдь

нет. Это вы признали, что имеете дело со сверхцивилизацией. А я воспользовался этим обстоятельством просто для того, чтобы наставить вас на путь истинный...

В большой комнате грянул телефон. Я вздрогнул и уронил крышку от чайника.

— Ч-черт... — пробормотал я, глядя то на Вечеровского, то на дверь.

— Иди, иди, — спокойно сказал Вечеровский, поднимаясь. — Я заварю.

Я не сразу взял трубку. Было страшно. Звонить было некому, особенно в это время. Может быть, пьяный Вайнгартен? Сидит там один... Я взял трубку.

— Да?

Голос пьяного Вайнгартена сказал:

— Ну конечно, не спит... Привет, жертва сверхразума! Как ты там?

— О'кэй, — сказал я с огромным облегчением. — А ты?

— У нас тут полный порядок... — сообщил Вайнгартен. — З-заехали в «Авс...»... «Австорию»... В «Аустерию», понял?.. Взяли полбанки — показалось мало. Тогда взяли еще полбанки... Понесли эти две полбанки... иначе говоря, одну целую банку... и вот теперь прекрасно себя чувствуем. Приезжай!

— Да нет, — сказал я. — Мы тут с Вечеровским. Чай пьем.

— Кто чай пьет — тот отчается, — объявил Вайнгартен и захохотал. — Ну, ладно. Если что — звони...

— Я не понимаю, ты один или с Захаром?

— Мы втроем, — сказал Вайнгартен. — Очень мило... Значит, если что — приезжай. Эж... эждем... — И он положил трубку.

Я вернулся на кухню. Вечеровский разливал чай.

— Вайнгартен? — спросил он.

— Да. Все-таки приятно, что в этом сумасшествии хоть что-то остается по-прежнему. Инвариантность относительно сумасшествия. Никогда раньше не думал, что пьяный Вайнгартен — это так хорошо.

— Что он тебе сказал? — осведомился Вечеровский.

— Он сказал: кто пьет чай, тот отчается.

Вечеровский удовлетворенно заухал. Он любил Вайнгартена. Очень по-своему, но любил. Он считал Вайнгартена анфан терибль — большим, потным, шумным анфан терибль.

— Подожди, — сказал я. — А где же конфеты? А!

Я залез в холодильник и вытащил роскошную коробку «Пиковой дамы».

— Видал?
— О! — сказал Вечеровский с уважением.
Мы почали коробку.
— Привет от сверхцивилизации, — сказал я. — Да! Так что ты там говорил? Совсем меня с толку сбил... Да! Ты что же, даже после всего утверждаешь...
— Умгу... — сказал Вечеровский. — Утверждаю. Я всегда знал, что никаких сверхцивилизаций не существует. А теперь, после всего, как ты выразился, — я догадываюсь, _почему_ не существует.
— Подожди, подожди... — Я поставил чашку. — Почему и так далее — это все теория, а ты мне вот что скажи... Если это не сверхцивилизация... если это не пришельцы в самом широком смысле слова, тогда кто? — Я разозлился. — Ты знаешь что-нибудь или просто языком треплешь, парадоксами развлекаешься? Один человек застрелился, из другого сделали медузу... Что ты нам голову морочишь?
Нет, даже невооруженным глазом видно было, что Вечеровский не развлекается парадоксами и не морочит нам голову. Лицо у него вдруг сделалось серое, утомленное, и проступило на нем какое-то огромное, доселе тщательно скрываемое, а теперь вырвавшееся на волю напряжение... или, может быть, упрямство — жесткое яростное упрямство. Он даже на себя перестал быть похож. У него-то ведь лицо, в общем, скорее вялое, с этакой сонной аристократической тухлецой, а тут оно все словно окаменело. И мне опять стало страшно. В этот момент я впервые подумал, что Вечеровский сидит здесь вовсе не потому, что хочет меня морально поддержать. И вовсе не поэтому он приглашал меня переночевать у него, а давеча — посидеть у него и поработать. И хотя мне было очень страшно, я вдруг испытал прилив жалости к нему, ни на чем, собственно, не основанной жалости, только на каких-то смутных ощущениях основанной, да на том, как вдруг переменилось его лицо.
И тут я вспомнил ни с того ни с сего, что года три назад Вечеровского положили в больницу, но ненадолго, скоро выписали...»

17. «...неизвестная ранее форма доброкачественной опухоли. Только через год. А я обо всем этом узнал вообще только прошлой осенью, а ведь встречался с ним каждый божий день, пил у него кофеек, слушал его марсианское уханье, жаловался ему, что фурункулы одолели. И ничего, ничегошеньки не подозревал...
И вот сейчас, охваченный этой неожиданной жалостью, я не удержался и сказал, хотя и знал заранее, что говорить это бессмысленно, толку от

этого никакого не будет.

— Фил, — сказал я, — а ты что, тоже под давлением?

Конечно, он не обратил на мой вопрос никакого внимания. Просто не услышал меня. Напряжение ушло с его лица, снова утонуло в аристократической одутловатости, рыжие веки наползли на глаза, и он усиленно засопел потухшей трубкой.

— Я вовсе не морочу вам голову, — сказал он. — Вы сами себе морочите голову. Это же вы придумали свою сверхцивилизацию, и никак вы не поймете, что это слишком просто — современная мифология, и не более того.

У меня мурашки поползли по коже. Еще сложнее? Еще, значит, хуже? Куда же больше?..

— Ты ведь астроном, — продолжал он укоризненно. — Ты ведь должен знать про основной парадокс ксенологии...

— Ну, знаю, — сказал я. — Всякая цивилизация в своем развитии с высокой вероятностью...

— И так далее, — прервал он меня. — Мы неизбежно должны наблюдать следы их деятельности, но мы этих следов не наблюдаем. Почему? Потому что сверхцивилизаций не бывает. Потому что превращение цивилизаций в сверхцивилизацию почему-то не происходит.

— Ну да, — сказал я. — Разум губит себя в ядерных войнах. Чушь все это.

— Конечно, чушь, — спокойно согласился он. — Тоже слишком просто, слишком примитивно, в сфере привычных представлений...

— Подожди, — сказал я. — Что ты затвердил как попугай: примитивно, примитивно... Конечно, ядерная война — это примитивно. На самом деле все, наверное, совсем не так просто... Генетические болезни... какая-нибудь усталость от бытия... целевая переориентация... Об этом же целая литература существует. Я, например, считаю, что проявления сверхцивилизаций носят космический характер, мы просто не умеем отличить их от природных космических явлений. Или, пожалуйста, наш случай — чем не проявление?

— Человеческое, слишком человеческое, — проговорил Вечеровский. — Они обнаружили, что земляне на пороге Космоса, и, опасаясь соперничества, решили это прекратить. Так?

— Почему бы и нет?

— Да потому, что это — роман. Вернее, целая литература в ярких дешевых обложках. Это все попытки натянуть фрачную пару на осьминога. Причем даже не просто на осьминога, а на осьминога, которого на самом

деле не существует...

Вечеровский отодвинул чашку, поставил локоть на стол и, подперши подбородок кулаком, задрав рыжие брови, стал глядеть куда-то поверх моей головы.

— Смотри, как у нас забавно получается, — сказал он. — Казалось бы, два часа назад обо всем договорились: неважно, какая сила на вас действует, важно — как вести себя под давлением. Но вот я вижу, что ты об этом совершенно не думаешь, ты упорно снова и снова возвращаешься к попыткам идентифицировать эту силу. И при этом упорно возвращаешься к гипотезе сверхцивилизации. Ты даже готов забыть и уже забыл собственные свои маленькие возражения против этой гипотезы. И я в общем понимаю, почему это с тобой происходит. Где-то в подсознании у тебя сидит идейка, что любая сверхцивилизация — это все-таки цивилизация, а две цивилизации всегда сумеют между собой как-то договориться, найти некий компромисс, накормить волков и сохранить овец... И уж в самом худшем случае — сладко покориться этой враждебной, но импозантной силе, благородно отступить перед противником, достойным победы, а там — чем черт не шутит! — может быть, и получить награду за свою разумную покорность... Не выкатывай, пожалуйста, на меня глаза. Я ведь говорю: это у тебя в подсознании. И разве только у тебя? Это же очень, очень человеческое. От бога отказались, но на своих собственных ногах, без опоры, без какого-нибудь мифа-костыля стоять еще не умеем. А придется! Придется научиться. Потому что у вас, в вашем положении, не только друзей нет. Вы до такой степени одиноки, _что_ _у_ _вас_ _и_ _врага_ _нет_! Вот чего вы никак не хотите понять.

Вечеровский замолчал. Я пытался переварить эту неожиданную речь, пытался найти аргументы, чтобы возражать, оспаривать, с пеной у рта доказывать... что? Не знаю. Он был прав: уступить достойному противнику — это не позор. То есть это не он так думает. Это я так думаю. То есть не думаю, а только сейчас подумал — после того, как он об этом сказал. Но ведь у меня и на самом деле было ощущение, что я — генерал разбитой армии и брожу под градом ядер в поисках генерала-победителя, чтобы отдать ему шпагу. И при этом меня не столько угнетает само поражение, сколько то проклятое обстоятельство, что я никак не могу найти этого супостата.

— Как же так — нет врага? — сказал я наконец. — Кому-то ведь это понадобилось!

— А кому понадобилось, — с этакой ленцой произнес Вечеровский, — чтобы вблизи поверхности Земли камень падал с ускорением в девять и

восемьдесят один?

— Не понимаю, — сказал я.

— Но ведь он падает именно так?

— Да...

— И сверхцивилизацию ты сюда не притягиваешь за уши? Чтобы объяснить этот факт...

— Подожди... При чем здесь...

— Кому же все-таки понадобилось, чтобы камень падал именно с таким ускорением? Кому?

Я налил себе чаю. В общем-то, мне как будто оставалось сложить два и два, но я все равно ничего не понимал.

— Ты хочешь сказать, что мы имеем дело с каким-то стихийным бедствием, что ли? С явлением природы?

— Если угодно, — сказал Вечеровский.

— Ну, знаешь ли, голубчик!.. — Я развел руками, задел стакан и залил весь стол. — Ч-черт...

Пока я вытирал стол, Вечеровский по-прежнему лениво продолжал:

— А ты все-таки постарайся отказаться от эпициклов, попробуй все-таки поставить в центр не Землю, а Солнце. Ты сразу почувствуешь, насколько все упростится.

Я бросил мокрую тряпку в мойку.

— То есть у тебя есть своя гипотеза, — сказал я.

— Да, есть.

— Изложи. Кстати, почему ты не изложил ее сразу? Когда здесь был Вайнгартен.

Вечеровский подвигал бровями.

— Видишь ли... Всякая новая гипотеза обладает тем недостатком, что вызывает всегда массу споров. А мне вовсе не хотелось спорить. Мне хотелось только убедить вас, что вы поставлены перед неким выбором и выбор этот должны сделать в одиночку, сами. По-видимому, мне это не удалось. А между тем моя гипотеза, пожалуй, могла бы оказаться дополнительным аргументом, потому что суть ее... точнее, единственный практический вывод из нее состоит как раз в том, что у вас сейчас нет не только друзей, но даже и противника. Так что, может быть, я и ошибся. Может быть, мне следовало пойти на утомительную дискуссию, но зато тогда вы яснее бы представляли себе свое истинное положение. А дела, на мой взгляд, обстоят следующим образом...

Нельзя сказать, чтобы я не понял его гипотезу, но не могу сказать, что я осознал ее до конца. Не могу сказать, что его гипотеза убедила меня, но, с

другой стороны, все происходившее с нами в нее укладывалось. Более того, в нее укладывалось вообще все, что происходило, происходит и будет происходить во Вселенной, и в этом, если угодно, заключается и слабость этой гипотезы. Было в ней что-то от утверждения, что веревка есть вервие простое.

Вечеровский вводил понятие Гомеостатического Мироздания (он употреблял именно это архаическое и поэтическое слово). «Мироздание сохраняет свою структуру» — это была его основная аксиома. По его словам, законы сохранения энергии и материи вообще были частными проявлениями закона сохранения структуры. Закон неубывания энтропии противоречит гомеостазису мироздания и поэтому является законом частичным, а не всеобщим. Дополнительным по отношению к этому закону является закон непрерывного воспроизводства разума. Сочетание и противоборство этих двух частичных законов и обеспечивают всеобщий закон сохранения структуры.

Если бы существовал только закон неубывания энтропии, структурность мироздания исчезла бы, воцарился бы хаос. Но, с другой стороны, если бы существовал или хотя бы возобладал только непрерывно совершенствующийся и всемогущий разум, заданная гомеостазисом структура мироздания тоже нарушилась бы. Это, конечно, не означало бы, что мироздание стало бы хуже или лучше, оно бы просто стало другим — вопреки принципу гомеостатичности, ибо у непрерывно развивающегося разума может быть только одна цель: изменение природы Природы. Поэтому сама суть Гомеостазиса Мироздания состоит в поддержании равновесия между возрастанием энтропии и развитием разума. Поэтому нет и не может быть сверхцивилизаций, ибо под сверхцивилизацией мы подразумеваем именно разум, развившийся до такой степени, что он уже преодолевает закон неубывания энтропии в космических масштабах. И то, что происходит сейчас с нами, есть ни что иное, как первые реакции Гомеостатического Мироздания на угрозу превращения человечества в сверхцивилизацию. Мироздание защищается.

Не спрашивай меня, говорил Вечеровский, почему именно Малянов и Глухов оказались ласточками грядущих катаклизмов. Не спрашивай меня, какова физическая природа сигналов, потревоживших гомеостазис в том уголке мироздания, где Глухов и Малянов затеяли свои сакраментальные исследования. Вообще не спрашивай меня о механизмах действия Гомеостатического Мироздания — я об этом ничего не знаю, так же как никто ничего не знает, например, о механизмах действия закона сохранения энергии. Просто все процессы происходят так, что энергия сохраняется.

Просто все процессы происходят так, чтобы через миллиард лет эти работы Малянова и Глухова, слившись с миллионами и миллионами других работ, не привели бы к концу света. Имеется в виду, естественно, не конец света вообще, а конец того света, который мы наблюдаем сейчас, который существовал уже миллиард лет назад и которому Малянов и Глухов, сами того не подозревая, угрожают своими микроскопическими попытками преодолеть энтропию...

Вот так примерно — не знаю уж, правильно или не совсем правильно, а может быть, и вовсе неправильно, — я его понял. Я даже спорить с ним не стал. И без того дело было дрянь, а уж в таком аспекте оно представлялось настолько безнадежным, что я просто не знал, что сказать, как к этому относиться и зачем вообще жить. Господи! Малянов Д. А. версус Гомеостатическое Мироздание! Это даже не тля под кирпичом. Это даже не вирус в центре Солнца...

— Слушай, — сказал я. — Если это все так, какого черта тут вообще разговаривать? Да провались они, мои М-полости... Выбор! Да какой тут может быть выбор?

Вечеровский медленным движением снял очки и принялся водить мизинцем по натертой горбинке носа. Он очень долго, изнурительно долго молчал. А я ждал. Потому что шестым чувством понимал: не может Вечеровский бросить меня вот так, на съедение своему гомеостазису, никогда бы этого не сделал, никогда бы мне всего этого не рассказал, если бы не существовал какой-то выход, какой-то вариант, какой-то все-таки, черт возьми, выбор. И вот он кончил сандалить свой нос, снова надел очки и тихонько произнес:

— Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор всё тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы...

— Ну? — сказал я.

— Повторить? — спросил Вечеровский.

— Ну, повтори.

Он повторил. Мне захотелось заплакать. Я торопливо поднялся, налил чайник и снова поставил его на газ.

— Хорошо, что чай на свете есть, — сказал я. — Давно бы уже пьяный под столом валялся...

— Я все-таки предпочитаю кофе, — сказал Вечеровский.

И тут я услышал, как в замке входной двери поворачивается ключ. Я, наверное, стал белый, а может быть, даже синий, потому что Вечеровский вдруг тревожно подался ко мне и тихо проговорил:

— Спокойно, Дима, спокойно... Я с тобой.

Я едва слышал его.

Там, в прихожей, открылась вторая дверь, зашуршала одежда, послышались быстрые шаги, отчаянно завопил Калям, и — я все еще сидел как деревянный — запыхавшийся Иркин голос произнес: «Калямушка...» И сразу же:

— Димка!

Не помню, как меня вынесло в коридор. Я схватил Ирку в охапку, стиснул ее, прижался (Ирка, Ирка!), вдохнул запах знакомых духов. У нее были мокрые щеки, и она тоже бормотала что-то странное: «Ты живой, господи... Что я только не думала! Димка!» Потом мы опомнились. Во всяком случае, я опомнился. То есть до меня окончательно дошло, что это она, и дошло, что она бормочет. И мой аморфный деревенящий ужас сменился вполне конкретным житейским испугом. Я поставил ее на ноги, отстранился, вгляделся в заплаканное лицо (оно было даже не подмазано) и спросил:

— Что случилось, Ирка? Почему ты здесь? Бобка?

По-моему, она меня не слушала. Она цеплялась за мои руки, лихорадочно шарила мокрыми глазами по моему лицу и все повторяла:

— Я же чуть с ума не сошла... Я думала, что уже и не успею... Что же это такое...

Не разнимая рук, мы протиснулись в кухню, я усадил ее на свою табуретку, а Вечеровский молча налил ей крепкого чаю прямо из заварочного чайника. Она жадно выпила, расплескав половину на пыльник. На ней лица не было. Она так осунулась, что я с трудом ее узнавал. Глаза были красные, волосы растрепаны, торчали космами. Тут меня затрясло, и я привалился задом к мойке.

— С Бобкой что-нибудь? — проговорил я, еле ворочая языком.

— С Бобкой? — повторила она бессмысленно. — При чем здесь Бобка? Я из-за тебя чуть с ума не сошла... Что здесь произошло? — закричала она вдруг. — Ты болел? — Глаза ее снова обежали меня. — Ты же здоров как бык!

Я почувствовал, что нижняя челюсть у меня отвисла, и захлопнул рот. Ничего было не понять. Вечеровский очень спокойно спросил:

— Ты получила что-нибудь дурное про Диму?

Ирка перестала обследовать меня глазами и поглядела на него. Потом она вдруг сорвалась с места, выбежала в прихожую и сейчас же вернулась, на ходу копаясь в сумочке.

— Вы посмотрите... посмотрите, что я получила... — Гребенка, патрон

с помадой, какие-то листики и коробочки, деньги сыпались на пол. — Господи, где же это... Да! — Она швырнула сумку на стол, сунула трясущуюся руку в карман пыльника — не сразу попала — и выхватила смятую телеграмму. — Вот!

Я схватил телеграмму. Пробежал. Ничего не понял. «...УСПЕТЬ СНЕГОВОЙ...» Еще раз пробежал глазами, потом от отчаяния — вслух:

— «ДИМОЙ ПЛОХО ТОРОПИТЕСЬ УСПЕТЬ СНЕГОВОЙ». Как — Снеговой? — сказал я. — Почему Снеговой?

Вечеровский осторожно отобрал у меня телеграмму.

— Отправлено сегодня утром, — сказал он. — Все заверки, насколько я понимаю, в порядке...

— Когда отправлена? — спросил я громко, как глухой.

— Сегодня утром. В девять часов двадцать две минуты.

— Господи! Да что же он — подшутил надо мной так? — сказала...»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

18. «...чем у меня. Билет на аэровокзале она, конечно, не достала. Прорвалась, размахивая телеграммой, к начальнику, тот выдал ей какую-то бумажку, но толку от этой бумажки было чуть — и самолетов в порту не было, а когда они появлялись, то летели не туда. В конце концов, отчаявшись, она села в самолет, который доставил ее в Харьков. Там все началось сначала, но плюс ко всему в Харькове шел проливной дождь, и только под вечер ей удалось добраться до Москвы на грузовом самолете, который вез холодильники и гробы. В Москве дело пошло легче. Из Домодедова она помчалась в Шереметьево, и в конце концов ей удалось добраться до Ленинграда в пилотской кабине. За все это время она не съела ни крошки, и половину всего этого времени она проревела. Даже засыпая, она жалобно грозилась, что завтра же с утра отправится на почту, призовет на помощь милицию и уж выяснит, чья это работа, какие гады это натворили. Я, естественно, поддакивал, что да, конечно, мы этого так не оставим, за такие штучки нужно морду бить, и даже не морду бить, а просто сажать, и, конечно, я не стал ей говорить, что почта такие телеграммы без соответствующих справок не принимает, что пошутить таким вот образом в наше время, слава богу, просто невозможно и что, скорее всего, эту телеграмму вообще никто не посылал, а телетайп на почте в Одессе отпечатал ее совершенно самостоятельно.

Я заснуть не мог. Собственно, было уже утро. На улице было совсем светло, и в комнате, несмотря на задернутые шторы, тоже было светло. Некоторое время я лежал неподвижно, гладил Каляма, растянувшегося между нами, и слушал тихое ровное дыхание Ирки. Она всегда спала очень крепко и с большим аппетитом. Не было на свете таких неприятностей, которые могли бы вызвать у нее бессонницу. По крайней мере, до сих пор не было...

Тошное маетное оцепенение, которое навалилось на меня с того момента, когда я прочитал и понял наконец телеграмму, не покидало меня. Все мускулы были сведены словно судорогой, и внутри, в груди и в животе, лежал огромный бесформенный холодный ком. Иногда этот ком принимался ворочаться, и тогда меня начинала бить дрожь.

Сначала, когда Ирка вдруг замолкла на полуслове и я услышал ее ровное сонное дыхание, мне на мгновение стало легче: я был не один, более того — со мной рядом был самый, наверное, родной и любимый

человек. Но холодная жаба в груди шевельнулась, и я ужаснулся этому чувству облегчения и подумал: до чего же это я докатился, до чего они меня укатали, что я способен радоваться Иркиному здесь присутствию, радоваться, что Ирка оказалась в одном со мною окопе под ураганным огнем. Не-ет, завтра же, завтра же за билетом! И — обратно ее в Одессу... через головы всех очередей, всех раскидаю, зубами прогрызу дорогу к кассе...

Бедная моя девочка, сколько ей пришлось пережить из-за этих гадов, из-за меня, из-за этой вонючей диффузной материи, которая вся, сколько ее есть, не стоит одной Иркиной морщинки. И до нее они добрались. Мало им было меня топтать — до нее добрались тоже... Зачем? Ирка-то им зачем понадобилась? Сволочи слеподырые, лупят по площадям, на кого бог пошлет... Я сел. Если с Иркой что-нибудь случится, я себе этого не прощу. Да нет, ничего с нею не случится. Это они просто меня запугивают. Нервы мои бедные на катушку наматывают — не одним способом, так другим. Не мытьем, так катаньем...

Ни с того ни с сего мне представился вдруг мертвый Снеговой — как он идет в огромной полосатой пижаме по Московскому, грузный, холодный, с запекшейся дырой в большом черепе; как он входит в почтовое отделение и встает в очередь к телеграфному окошку: в правой руке у него пистолет, в левой — телеграмма; и никто вокруг ничего не замечает, приемщица берет у него из мертвых пальцев телеграмму, выписывает квитанцию и, не вспомнив о деньгах, произносит: «Следующий».

Я потряс головой; чтобы отогнать видение, тихонько слез с тахты и, как был, в одних трусах прошлепал на кухню. Здесь было уже совсем светло, на дворе вовсю гомонили воробьи и шаркала метла дворника. Я взял Иркину сумочку, порылся, нашел мятую пачку с двумя поломанными сигаретами и, севши за стол, закурил. Давно я не курил. Года два, наверное, а может быть, и три... Всё силу воли доказывал. Да, брат Малянов. Теперь тебе понадобится вся твоя сила воли. Ч-черт, актер ведь я никудышный и врать толком не умею. А Ирке ничего не надо знать. Ни к чему ей все это. Это я должен пережить сам, сам должен с этим справиться. Тут мне никто не поможет, ни Ирка, никто.

А при чем тут, собственно, помощь? — подумал я вдруг. Разве о помощи речь? Просто я никогда не говорил Ирке о своих неприятностях, если этого можно было избежать. Я не люблю ее огорчать. Очень люблю радовать и терпеть не могу огорчать. Если бы не вся эта бодяга, с какой радостью я бы ей сейчас рассказал про М-полости, она бы сразу все поняла, у нее голова ясная, хотя она не теоретик и все время жалуется на

свою дурость... А сейчас что я ей скажу? Тоска, тоска...

Вообще-то неприятности неприятностям рознь. Бывают неприятности разных уровней. Бывают совсем мелкие, на которые не грех и пожаловаться, даже приятно. Ирка скажет: подумаешь, чепуха какая, — и сразу же станет легче. Если неприятности покрупнее, то говорить о них просто не по-мужски. Я ни маме о них никогда не говорю, ни Ирке. Но потом, вообще-то говоря, идут неприятности уже такого масштаба, что с ними становится даже как-то неясно. Во-первых, хочу я этого или не хочу, а Ирка попала под огонь вместе со мной. Тут какая-то чушь получается, несправедливость. В меня бьют, как в бубен, но я хоть понимаю — за что, догадываюсь — кто... и вообще знаю, что меня бьют. Целятся. Что это не глупые шутки и не удары судьбы. По-моему, все-таки лучше знать, что в тебя целятся. Правда, люди бывают всякие, и большинство все-таки предпочло бы не знать. Но Ирка, по-моему, не такая. Она отчаянная, я ее знаю. Она когда чего-нибудь боится, то прямо-таки опрометью бросается именно навстречу своему страху. Нечестно как-то получается — не рассказать ей. И вообще. Мне надо выбор делать. (Я, между прочим, об этом еще и не пытался думать, а думать придется. Или я уже выбрал? Сам еще об этом ничего не знаю, а уже выбрал...) И вот если выбирать... Ну, сам выбор, предположим, это дело только мое. Как захотим, так и сделаем. Но вот как насчет последствий? Выберу одно — начнут в нас кидать уже не простые бомбы, а атомные. Выберу другое... Интересно, понравился бы Ирке Глухов? В общем-то ведь милый, приятный человек, тихий, кроткий... Телевизор можно было бы наконец купить на радость Бобке, на лыжах бы ходили каждую субботу, в кино... В общем, так или иначе, а получается, что все это касается не только одного меня. И под бомбами сидеть плохо, и за медузой замужем через десять лет супружества вдруг оказаться — тоже не сахар... А может быть, как раз ничего? Откуда я знаю, за что меня Ирка любит? То-то и оно, что не знаю. Между прочим, она этого, может быть, тоже не знает...

Я докурил, привстал с табуретки и сунул окурок в помойное ведро. Рядом с помойным ведром лежал паспорт. Очень мило. Все собрали до последней бумажки, до последнего медяка, а паспорт — вот он. Я взял черно-зеленую книжицу и рассеянно заглянул на первую страницу. Сам не знаю — зачем. Меня окатило холодным потом. Сергеенко Инна Федоровна. Год рождения — 1939... Что такое? Фотография была Иркина... Нет, не Иркина. Какая-то женщина, похожая на Ирку, но не Ирка. Какая-то Сергеенко Инна Федоровна.

Я осторожно положил паспорт на край стола, поднялся и на цыпочках

прокрался в комнату. Меня окатило ледяным потом вторично. У женщины, которая лежала под простыней, сухая кожа туго обтягивала лицо, и были обнажены верхние зубы, белые, острые — то ли в улыбке, то ли в страдальческом оскале. Это ведьма была там, под простыней. Не помня себя, я схватил ее за голое плечо и потряс. Ирка мгновенно проснулась, распахнула свои глазищи и невнятно проговорила: «Димкин, ты чего? Болит что-нибудь?..» Господи, Ирка! Конечно, Ирка. Что за бред? «Я храпела, да?» — спросила Ирка сонным голосом и заснула снова.

Я на цыпочках вернулся на кухню, отодвинул от себя подальше этот паспорт, выволок из пачки последнюю сигарету и снова закурил. Да. Вот так мы теперь живем. Такая вот у нас теперь будет жизнь. Отныне.

Ледяное животное внутри поворочалось еще немного и затихло. Я стер с лица противный пот, спохватился и снова полез в Иркину сумку. Иркин паспорт был там. Малянова Ирина Ермолаевна. Год рождения — 1933. Ч-черт... Ну, хорошо, а это-то зачем им понадобилось? Ведь все же не случайно. И паспорт этот, и телеграмма, и с каким трудом Ирка добиралась, и даже то, что она летела в одном самолете с гробами — все ведь это не случайно... Или случайно? Слеподыры же, матушка-природа, стихия безмозглая... Вот это, между прочим, очень хорошо подтверждает Вечеровского. Потому что если это на самом деле Гомеостатическое Мироздание сокрушает микрокрамолу, то это так и должно выглядеть... Как человек, который охотится за мухой с полотенцем, — страшные свистящие удары, разрезающие воздух, летят с полок сбитые вазы, обрушивается торшер, гибнут ни в чем не повинные ночные мотыльки; задрав хвост, удирает под диван кошка, которой наступили на лапу... Массированность и малоприцельность. Я ведь вообще ничего не знаю. Может быть, сейчас где-нибудь за Муринским Ручьем дом обрушился — целились в меня, а попали в дом, а мне и невдомек, на мою долю только этот паспорт и достался. И неужели это только из-за того, что я давеча подумал об М-полостях? Только представил себе, как я мог бы рассказать о них Ирке...

Слушай, я, наверное, так не смогу жить. Трусом я себя никогда не считал, но так вот жить, чтобы ни минуты покоя не было, чтобы от собственной жены шарахаться, принявши ее за ведьму... А Вечеровский Глухова теперь в упор не видит. Значит, и меня не станет видеть. Все придется изменить. Все будет другое. Другие друзья, другая работа, другая жизнь... Семья, может быть, тоже другая... С тех пор все тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы. Глухие... Глухов... И будет стыдно смотреть на себя по утрам в зеркало, когда бреешься. В зеркале будет очень маленький и очень тихий Малянов.

То есть, конечно, можно будет привыкнуть и к этому, ко всему на свете, наверное, можно привыкнуть. И к любой утрате. Но какая это все-таки будет немаленькая утрата, если подумать! Ведь я десять лет шел к этому. Даже не десять лет — всю жизнь. С детства, со школьного кружка, с самодельных телескопов, с подсчетов чисел Вольфа по чьим-то наблюдениям... М-полости мои — я ведь о них, собственно, ничего не знаю: что там у меня могло бы получиться, что бы могло получиться из этого у тех, кто заинтересовался бы этим после меня, продолжил бы, развил, добавил свое и передал бы дальше, в следующий век... Наверное, что-то немаленькое могло бы получиться, что-то немаленькое я утрачиваю, если оно оказывается зародышем потрясений, против которых восстает сама Вселенная. Миллиард лет — большой срок. За миллиард лет из комочка слизи вырастает цивилизация...

Но ведь растопчут. Сначала жить не дадут, замордуют, сведут с ума, а если это не поможет — просто растопчут... Мать моя, мамочка! Шесть часов. Солнце уже вовсю жарит.

И тут, я сам не знаю почему, холодное животное в груди исчезло. Я поднялся, спокойно ступая, пошел в комнату, залез в свой стол, вытащил свои бумаги и взял ручку. А потом вернулся в кухню, расположился, сел и стал работать.

Думать по-настоящему я, конечно, не мог — голова была как ватой набита, веки жгло, — но я старательно и тщательно перебрал черновики, выкинул все, что было уже не нужно, остальное расположил по порядку, взял общую тетрадь и стал все переписывать начисто, не торопясь, с аппетитом, аккуратно, тщательно выбирая слова — так, словно я писал окончательный вариант статьи или отчета.

Многие не любят этого этапа работы, а я люблю. Мне нравится оттачивать терминологию, не спеша и со вкусом обдумывать наиболее изящные и экономичные обозначения, вылавливать блох, засевших в черновиках, вычерчивать графики, оформлять таблицы. Это благородная черная работа ученого — подведение итогов, время полюбоваться собой и делом рук своих.

И я любовался собой и делом рук своих, пока не возникла вдруг рядом со мной Ирка, обняла меня голой рукой за шею и прижалась теплой щекой к моей щеке.

— А? — произнес я и распрямил спину.

Это была моя обычная Ирка, совсем не то несчастное пугало, какой она явилась вчера. Она была розовая, свежая, ясноглазая и веселая. Жаворонок. Ирка у меня жаворонок. Я — сова, а она — жаворонок. Где-то

я слышал про такую классификацию. Жаворонки ложатся рано, легко и с удовольствием засыпают, так же легко и с удовольствием просыпаются и сейчас же начинают петь, и никакая мерихлюндия на свете не заставит их проваляться, скажем, до полудня.

— Ты что, опять совсем не ложился? — спросила она и, не дожидаясь ответа, пошла к балконной двери. — Чего это они там разгалделись?

Только тут я сообразил, что во дворе у нас стоит какой-то необычный галдеж — толковище того типа, какое бывает на месте происшествия, когда милиция уже подъехала, а «скорая помощь» еще в пути.

— Димка! — завопила Ирка. — Ты посмотри! Вот чудеса-то!

У меня упало сердце. Знаю я эти чудеса. Я выскочил...»

19. «...пить кофе. И тут Ирка бодро заявила, что все получилось прекрасно. В конце концов все на свете получается прекрасно. За эти десять дней Одесса успела надоесть ей хуже горькой редьки, потому что нынешним летом туда понаехало столько народу, сколько никогда еще не бывало, и вообще она соскучилась и возвращаться в Одессу не собирается, тем более что билета сейчас наверняка не достать, а мама все равно намеревалась в Ленинград в конце августа, вот она Бобку и привезет. А сейчас она, Ирка, вернется на работу — прямо сейчас, вот кофе попьет и вернется, — а в отпуск поедем вместе, как когда-то собирались, в марте или в апреле: в Кировск поедем, кататься на горных лыжах.

Потом мы съели яичницу с помидорами. Пока я готовил яичницу с помидорами, Ирка облазила всю квартиру в поисках сигарет, не нашла и вдруг погрустнела, затуманилась, сварила еще кофе и спросила про Снегового. Я рассказал ей, что знал со слов Игоря Петровича, тщательно обойдя все острые углы и постаравшись представить эту историю как очевидный несчастный случай. Пока я все это рассказывал, вспомнилась мне красотка Лидочка, и я совсем было раскрыл рот, но вовремя спохватился.

Ирка что-то говорила о Снеговом, вспоминала что-то, углы рта у нее печально опустились («...теперь вот и сигаретку не у кого попросить!»), а я пил маленькими глоточками кофе и думал, что непонятно, как мне сейчас быть; что пока я не решил, рассказывать Ирке про все или не рассказывать; пожалуй, не стоит заводить разговор ни о Лидочке, ни о столе заказов, потому что и с Лидочкой, и со столом заказов все обстоит чрезвычайно неясно, а точнее говоря — очень даже ясно, потому что вот уже сколько времени прошло, а Ирка еще ни словечком не упомянула ни о своей подружке, ни о своем заказе. Конечно, Ирка могла забыть. Во-первых,

треволнения, а во-вторых, она всегда все забывает, но лучше все-таки, от греха подальше, эти скользкие темы не затрагивать. Впрочем, маленький пробный шарик пустить, может быть, и стоит.

И, выбрав удобный момент, когда Ирка перестала говорить о Снеговом и перешла к более веселым предметам — как Бобка сверзился в канаву, а за ним сверзилась и теща, — я спросил небрежным голосом:

— Ну а как Лидочка твоя поживает?

Мой маленький пробный шарик получился на поверку несколько великоват и щербат. Ирка вытаращила глаза.

— Какая Лидочка?

— Да эта, твоя... школьная...

— А, Пономарева? А чего это ты ее вдруг вспомнил?

— Да так... — промямлил я. — Вспомнилось как-то. — Не подумал я о таком контрвопросе. — Одесса, броненосец «Потемкин»... Шаланды, полные кефали... Ну вспомнилось просто, и все! Что ты пристала?

Ирка несколько раз моргнула, глядя на меня, затем сказала:

— Мы встретились. Она красивая такая стала, от мужиков отбоя нет...

Возникла пауза. Ч-черт, терпеть не могу врать... Ничего себе — пробный шарик получился! Мне же и по лбу. Под испытующим взглядом Ирки я поставил на блюдце пустую чашку и, сказавши фальшивым голосом: «Как там наше дерево?» — отошел к балконной двери и выглянул. Ладно, так или иначе, но с Лидочкой все стало ясно, теперь уже окончательно. Н-ну, а как же наше дерево?

Дерево было на месте. Толпа подрассосалась. Собственно, около дерева стояли только Кефир, трое дворников, водопроводчик и двое милиционеров. Тут же была и желтая патрульная «ПМГ». Все (кроме машины, конечно) смотрели на дерево и, видимо, обменивались соображениями, как теперь быть и что все это означает. Один из милиционеров, снявши фуражку, утирал бритую голову носовым платком. Во дворе уже стало жарковато, и к привычному запаху нагретого асфальта, пыли и бензинчика примешивался какой-то новый запах — лесной, странный. Бритый милиционер вдруг надел фуражку, спрятал платок и, присев на корточки, принялся копаться пальцем в вывороченной земле. Я поспешно отошел от балкона.

Ирка уже была в ванной. Я быстро убрал и помыл посуду. Спать хотелось ужасно, но я знал, что заснуть не смогу. Я теперь вообще, наверное, не смогу заснуть до тех пор, пока не кончится эта история. Я позвонил Вечеровскому. Уже услыхав гудки, я сообразил, что Вечеровского быть дома не должно, что он сегодня принимает экзамены у аспирантов,

но, прежде чем я успел додумать это до конца, он снял трубку.

— Ты дома? — спросил я глупо.

— Да как тебе сказать... — ответил Вечеровский.

— Ладно, ладно, — сказал я. — Дерево видел?

— Да.

— Как ты полагаешь?

— Думаю, что да, — сказал Вечеровский.

Я покосился в сторону ванной и, понизив голос, проговорил:

— По-моему, это я.

— Да?

— Угу. Я тут решил черновики привести в порядок.

— Привел?

— Не совсем. Сейчас сяду и попробую закончить.

Вечеровский помолчал.

— А зачем? — спросил он.

Я замялся.

— Н-не знаю... Захотелось вдруг переписать все начисто... Не знаю. От тоски, наверное. Жалко. А ты что, никуда сегодня не пойдешь?

— Кажется, нет. Как Ира?

— Щебечет, — сказал я. Рот у меня невольно растянулся в улыбке. — Ты же знаешь Ирку. Как с гуся вода.

— Ты ей рассказал?

— Что ты! Конечно, нет.

— А почему, собственно, «конечно»?

Я крякнул.

— Понимаешь, Фил, я вот сам все думаю — рассказать или нет? И не знаю. Не могу сообразить.

— Если не знаешь, что делать, — произнес Вечеровский, — не делай ничего.

Я хотел ему сказать, что уж это и без него известно, но тут Ирка в ванной выключила душ, и я поспешно сказал:

— Ну, ладно, я пошел работать. Если что — звони, буду дома.

Ирка оделась, подмазалась, чмокнула меня в нос и ускакала. Я лег на кушетку ничком, положив голову на руки, и стал думать. Калям немедленно пришел, взобрался на меня и улегся вдоль хребта. Он был мягкий, жаркий и влажный. И тут я заснул. Это было как обморок. Сознание пропало, а потом вдруг снова появилось. Каляма на моей спине уже не было, а в дверь звонили. Нашим условным звонком: та — та-та — та-та. Я скатился с кушетки. Голова была ясная, и чувствовал я себя каким-

то необычайно боевым. Какой-то был я весь готовый к смерти и к посмертной славе. Я понимал, что начинается новый цикл, но страха больше не было — одна отчаянная злая решимость.

Впрочем, за дверью оказался всего-навсего Вайнгартен. Совершенно невозможная вещь: он был еще более потный, всклокоченный, вытаращенный и расхлюстанный, чем вчера.

— Что это за дерево? — прямо с порога осведомился он. И опять же невозможная вещь: эти слова он произнес шепотом.

— Можно вслух, — сказал я. — Заходи.

Он вошел, ступая осторожно и озираясь, сунул под вешалку две тяжелые авоськи с гигантскими редакторскими папками и вытер мокрой ладонью мокрую шею.

Я за хвост втащил Каляма в прихожую и захлопнул дверь.

— Ну? — сказал Вайнгартен.

— Как видишь, — ответил я. — Пошли в комнату.

— Дерево это — твоя работа?

— Моя.

Мы уселись — я за стол, он — в кресло рядом. Из-под расстегнутой внизу нейлоновой курточки у него выпер огромный волосатый живот, плохо прикрытый пляжной сетчатой майкой. Он сопел, отдувался, вытирался, потом принялся изгибаться в кресле, вытаскивая из заднего кармана пачку с сигаретами. При этом он вполголоса ругался черными словами, ни к кому в особенности не обращаясь.

— Борьба, значит, продолжается... — сказал он наконец, выпуская толстые струи дыма из волосатых ноздрей. — Лучше, значит, умереть стоя, чем жить, трам-тарарам, на коленях... Идиот! — заорал он. — Ты хоть вниз спускался? Диван ты двуногий! Ты хоть посмотрел, как его выперло? Ведь это взрыв был! А если бы у тебя под задницей? Трам-тарарам, и трам, и тарарам!..

— Ты чего орешь? — сказал я. — Валерьянки тебе дать?

— Водки нет? — спросил он.

— Нет.

— Ну, вина...

— Ничего нет. Что это ты мне притащил?

— Нобелевку свою! — заорал он. — Нобелевку притащил! Да только не тебе, идиоту... У тебя и своих хлопот хватит!.. — Он принялся яростно расстегивать свою курточку сверху, оторвал пуговицу и выругался. — Идиотов нынче мало, — объявил он. — В наше время, старик, большинство совершенно справедливо полагает, что лучше быть богатым и

здоровым, чем бедным и больным. Нам много не надо: вагончик хлеба, вагончик икры, и пусть даже икра будет черная при белом хлебе... Это тебе не девятнадцатый век, отец, — сказал он задушевно. — Девятнадцатый век давно умер, похоронен, и все, что от него осталось, — это миазмы, отец, и не более того. Я всю ночь не спал. Захар храпит, мальчишка его чудовищный тоже, а я не сплю, прощаюсь с пережитками девятнадцатого века в своем сознании. Двадцатый век, старик, — это расчет и никаких эмоций! Эмоции, как известно, — это недостаточность информации, не более того. Гордость, честь, потомки — все это дворянский лепет. Атос, Портос и Арамис. Я так не могу. Я так не умею, трам-тарарам! Проблема ценностей? Пожалуйста. Самое ценное, что есть в мире, — это моя личность, моя семья и мои друзья. Остальное пусть катится всё к чертовой матери. Остальное — за пределами моей ответственности. Драться? Ради бога. За себя. За семью, за друзей. До последнего, без пощады. Но за человечество? За достоинство землянина? За галактический престиж? К чертовой матери! Я не дерусь за слова! У меня заботы поважнее! А ты — как хочешь. Но идиотом быть не советую.

Он вскочил и, огромный как дирижабль, унесся на кухню. Из крана над мойкой с ревом устремилась вода.

— Вся наша деловая жизнь, — проорал он из кухни, — есть последовательная цепь сделок! Нужно быть полным идиотом, чтобы заключать невыгодные сделки! Это знали даже в девятнадцатом веке... — Он замолчал, и стало слышно, как он гулко глотает. Потом кран затих, и Вайнгартен снова появился в комнате, утирая рот. — Вечеровский тебе не посоветует ни черта, — объявил он. — Это не человек, а робот. Причем робот не из двадцать первого века, а из девятнадцатого. Если бы в девятнадцатом веке умели делать роботов, делали бы вот таких Вечеровских... Пожалуйста, можете считать меня человеком низменным. Не возражаю. Но пришить себя не дам! Никому. Ни за что. Живой пес лучше мертвого льва, и тем более живой Вайнгартен гораздо лучше мертвого Вайнгартена. Такова точка зрения Вайнгартена, а также его семьи и его друзей, я полагаю...

Я его не перебивал. Я его, мордатого, четверть века знаю, причем четверть не какого-нибудь века, а двадцатого. Он так орет, потому что разложил все по полочкам. Перебивать его сейчас бессмысленно — не услышит. Пока Вайнгартен не разложил все по полочкам, вы можете с ним спорить на равных, как с самым обыкновенным человеком, причем сплошь и рядом его можно даже переубедить. Но Вайнгартен, разложивший все по полочкам, превращается в магнитофон. Тогда он орет и становится

безобразно циничен — это у него, наверное, от тяжелого детства.

Поэтому я молча его слушал, ждал, когда кончится лента, и мне казалось странным только то, что он слишком часто упоминает о живых и мертвых Вайнгартенах. Не испугался же он, в конце концов, — он ведь не я. Я всякого Вайнгартена повидал: Вайнгартена влюбленного, Вайнгартена в охоте, Вайнгартена — грубого хама, Вайнгартена, излупцованного до неподвижности. И только одного Вайнгартена я не видел никогда: Вайнгартена испуганного. Я дождался, когда он на несколько секунд выключился, чтобы покопаться в сигаретной пачке, и спросил на всякий случай:

— Тебя что, испугали?

Он немедленно оставил сигаретную пачку и протянул мне через стол большую влажную дулю. Он словно ждал моего вопроса. Ответ у него заранее был записан на пленку — не только в жестах, но и verbatim тоже.

— Вот тебе — меня испугали, — сказал он, маневрируя дулей у меня перед носом. — Это тебе не девятнадцатый век. Это в девятнадцатом веке пугали. А в двадцатом этими глупостями не занимаются. В двадцатом веке хороший товар покупают. Меня не испугали, а купили, понял, старикашка? Ничего себе — выбор! Или тебя раздавят в лепешку, или тебе дадут новенький институт, из-за которого два членкора уже друг друга до смерти загрызли. Да я в институте этом десять нобелевок сделаю, понял? Правда, и товар не плох. Право, так сказать, первородства. Право Вайнгартена на свободу научного любопытства. Неплохой, неплохой товар, старик, не спорь со мной. Но — лежалый! Девятнадцатого века! В двадцатом веке все равно этой свободы ни у кого нет. Ты с этой свободой всю жизнь можешь просидеть в лаборантах, колбы перетирать. Институт — это тебе не чечевичная похлебка! Я там заложу десять идей, двадцать идей, а если им одна-две снова не понравятся — что ж, опять поторгуемся! Сила солому ломит, старик. Давай-ка не будем плевать против ветра. Когда на тебя прет тяжелый танк, а у тебя, кроме башки на плечах, никакого оружия нет, надо уметь вовремя отскочить...

Он еще некоторое время орал, курил, хрипло кашлял, подскакивал к пустому бару и заглядывал в него, разочарованно отскакивал и снова орал, потом затих, угомонился, лег в кресло и, закинув мордастую голову на спинку, принялся делать страшные рожи в потолок.

— Ну, ладно, — сказал я. — А нобелевку свою ты все-таки куда прешь? Тебе ведь в котельную надо, а ты ко мне на пятый этаж взгромоздился...

— К Вечеровскому, — сказал он.

Я удивился.

— На кой ляд твоя нобелевка Вечеровскому?

— Не знаю. У него спроси.

— Подожди, — сказал я. — Он что, звонил тебе?

— Нет. Я ему.

— Ну?

— Что — ну? Что — ну? — Он выпрямился в кресле и принялся застегивать курточку. — Позвонил ему сегодня утром и сказал, что выбираю журавля в руках.

— Ну?

— Что — ну? Ну... он тогда и говорит, неси, говорит, все материалы ко мне.

Мы помолчали.

— Не понимаю, зачем ему твои материалы, — сказал я.

— Потому что он — Дон Кихот! — рявкнул Вайнгартен. — Потому что жареный петух его еще в маковку не клевал! Потому что не хлебнул еще горячего до слез!

Я вдруг понял.

— Слушай, Валька, — сказал я. — Не надо. Да ну его к черту, он же с ума сошел! Они же его в землю вколотят по самую маковку! Зачем это надо?

— А что? — жадно спросил Вайнгартен. — А как?

— Да сожги ты ее к черту, свою ревертазу! Вот давай прямо сейчас и сожжем... в ванне... А?

— Жалко, — сказал Вайнгартен и стал глядеть в сторону. — Сил нет, как жалко... Работа ведь — первый класс. Экстра. Люкс.

Я заткнулся. А его вдруг снова вынесло из кресла, он принялся бегать по комнате, в коридор и обратно, и опять закрутилась его магнитофонная лента. Стыдно — да! Честь страдает — да! Уязвлена гордость, особенно когда об этом никому не говоришь. Но ведь если подумать — гордость есть идиотизм и ничего больше. С души воротит. Ведь подавляющее большинство людей в нашей ситуации думать бы не стали ни секундочки. И про нас они скажут: идиоты! И правильно скажут! Что нам, не приходилось отступать? Да тысячу раз приходилось! И еще тысячу раз придется! И не перед богами — перед паршивым чиновником, перед гнидой, которую к ногтю взять и то срамно...

Тут я разозлился, что он бегает передо мной, потеет и оправдывается, и сказал ему, что отступать — это одно, а он не отступает — он драпает, капитулирует он. Ох, как он взвился! Здорово я его задел. Но мне было

нисколько не жалко. Это ведь я не его тыкал в нервное сплетение, это я себя тыкал... В общем, мы разругались, и он ушел. Забрал свои сетки и ушел к Вечеровскому. На пороге он сказал, что еще вернется попозже, но тут я ему преподнес, что Ирка объявилась, и он совсем увял. Он не любит, когда его недолюбливают.

Я сел за стол, снова вытащил свои бумаги и принялся работать. То есть не работать, конечно, а оформлять. Первое время я все ждал, что под столом у меня разорвется какая-нибудь бомба или в окно заглянет синяя рожа с веревкой на шее. Но ничего этого не происходило, я увлекся, и тут снова позвонили в дверь.

Я не сразу пошел открывать. Сперва сходил на кухню и взял молоток для отбивания мяса — страшная такая штучка: с одной стороны там этакий шипастый набалдашник, а с другой — топорик. Если что — рубану между глаз, и амба... Я человек мирный, ни ссор, ни драк не люблю, не Вайнгартен, но с меня хватит. Хватит с меня.

Я открыл дверь. Это оказался Захар.

— Здрасьте, Митя, извините, ради бога, — произнес он с какой-то искусственной развязностью.

Я невольно посмотрел вниз. Но там никого больше не оказалось. Захар был один.

— Заходите, заходите, — сказал я. — Очень рад.

— Понимаете, решил заглянуть к вам... — все в том же искусственном тоне, который совершенно не вязался с его стеснительной улыбкой и интеллигентнейшим общим обликом, продолжал он. — Вайнгартен куда-то подевался, черт бы его побрал... Звоню ему весь день — нет. А тут вот собрался к Филипп... э... Палычу, дай, думаю, загляну, может быть, он у вас...

— Филипп Павлович?

— Да нет, Валентин... Вайнгартен.

— Он тоже пошел к Филиппу Павловичу, — сказал я.

— Ах так! — с огромной радостью произнес Захар. — Давно?

— Да с час назад...

Лицо у него вдруг на мгновение застыло — он увидел молоток у меня в руке.

— Обед готовите? — произнес он и, не дожидаясь ответа, поспешно добавил: — Ну что ж, не буду вам мешать, пойду... — Он двинулся было обратно к двери, но остановился. — Да, я совсем забыл... То есть не забыл в общем-то, а просто не знаю... Филипп Палыч... Какая у него квартира?

Я сказал.

— Ага, ага... А то он, понимаете ли, позвонил мне, а я... как-то, знаете ли, забыл... за разговором...

Он еще попятился и открыл дверь.

— Понятно, понятно, — сказал я. — А где же ваш мальчик?

— А у меня все кончилось! — радостно выкрикнул он, шагнул через порог и...»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

20. «...подвигнуть меня на генеральную уборку этого свинарника. Я еле отбился. Договорились, что я сяду заканчивать работу, а Ирка, раз уже ей совсем нечего делать, раз уже ей, понимаешь, так неймется, раз уж она совсем не в состоянии полежать в ванночке с последним номером «Иностранной литературы», — пусть разберет белье и займется Бобкиной комнатой. А я беру на себя большую комнату, но не сегодня, а завтра. Морген, морген, нур нихт хойте. Но уж до блеска, чтобы ни одной пылинки.

Я расположился за своим столом, и некоторое время все было тихо и мирно. Я работал, и работал с удовольствием, но с каким-то непривычным удовольствием. Никогда раньше я ничего подобного не испытывал. Я ощущал странное угрюмое удовлетворение, я гордился собой и уважал себя. Мне казалось, что так должен чувствовать себя солдат, оставшийся с пулеметом, чтобы прикрывать отступление товарищей: он один, он знает, что останется здесь навсегда, что никогда ничего не увидит больше, кроме грязного поля, перебегающих фигурок в чужих мундирах и низкого унылого неба, и знает также, что это правильно, что иначе нельзя, и гордится этим. И некий сторож у меня в мозгу, пока я работал, внимательно и чутко прослушивал и просматривал все вокруг, помнил, что ничего не кончилось, все продолжается и что тут же под рукой, в ящике стола, лежит устрашающий молоток с топориком и шипастым набалдашником. И в какой-то момент этот сторож заставил меня поднять голову, потому что в комнате что-то произошло.

Собственно, ничего особенного не произошло. Перед столом стояла Ирка и молча смотрела на меня. И в то же время, несомненно, что-то произошло, что-то совсем уж неожиданное и дикое, потому что глаза у Ирки были квадратные, а губы припухли. Я не успел слова сказать, как Ирка бросила передо мной, прямо на мои бумаги, какую-то розовую тряпку, и я машинально взял эту тряпку и увидел, что это лифчик.

— Что это такое? — спросил я, совершенно обалдев, глядя то на Ирку, то на лифчик.

— Это лифчик, — чужим голосом произнесла Ирка и, повернувшись ко мне спиной, ушла на кухню.

Холодея от ужасных предчувствий, я вертел в руках розовую кружевную тряпку и ничего не понимал. Что за черт? При чем здесь

лифчик? И вдруг я вспомнил обезумевших женщин, навалившихся на Захара. Мне стало страшно за Ирку. Я отшвырнул лифчик, вскочил и бросился на кухню.

Ирка сидела на табуретке, опершись локтями на стол и обхватив голову руками. Между пальцами правой руки у нее дымилась сигарета.

— Не прикасайся ко мне, — произнесла она спокойно и страшно.

— Ирка! — жалобно сказал я. — Иришка! Тебе плохо?

— Животное... — непонятно сказала она, оторвала руку от волос и поднесла к губам дрожащую сигарету. Я увидел, что она плачет.

...«Скорую помощь»? Не поможет, не поможет, при чем здесь «скорая помощь»... Валерьянки? Брому? Господи, лицо-то у нее какое... Я схватил стакан и налил воды из-под крана.

— Теперь все понятно... — сказала Ирка, судорожно затягиваясь и отстраняя локтем стакан. — И телеграмма эта понятна, и все... Докатились... Кто она?

Я сел и отхлебнул из стакана.

— Кто? — тупо спросил я.

На секунду мне показалось, что она хочет меня ударить.

— Это надо же, какая благородная скотина, — проговорила она с отвращением. — Не захотел, значит, осквернять супружеское ложе... Ах, как благородно... У сына в комнате развлекался...

Я допил воду и попытался поставить стакан, но рука меня не слушалась. Врача! — металось у меня в голове. Ирка моя, маленькая, врача!

— Ладно, — сказала Ирка. Она больше не смотрела на меня. Она смотрела в окно и курила, поминутно затягиваясь. — Ладно, не будем. Ты сам всегда говорил, что любовь — это договор. У тебя всегда это очень красиво получалось: любовь, честность, дружба... Только уж могли бы проследить, чтобы лифчики за собой не забывали... Может быть, там еще и трусики найдутся, если поискать?

У меня словно шаровая молния лопнула в голове. Я сразу все понял.

— Ирка! — сказал я. — Господи, как ты меня напугала...

Конечно, это было совсем не то, что она ожидала услышать, потому что она вдруг повернула ко мне лицо, бледное милое заплаканное лицо, и посмотрела на меня с таким ожиданием, с такой надеждой, что я сам чуть не разревелся. Она хотела только одного: чтобы все сейчас же разъяснилось, чтобы все это оказалось чепухой, ошибкой, нелепым совпадением.

И это был последний камушек. Я больше уже не мог. Я больше не

захотел держать это при себе. И я обрушил на нее всю лавину ужаса и сумасшествия последних двух дней.

Не знаю, наверное, вначале мой рассказ звучал как анекдот. Скорее всего, так оно и было, но я говорил и говорил, ни на что не обращая внимания, не давая ей возможности вставить язвительное замечание, кое-как, без всякого порядка, плюнув на хронологию, и я видел, как выражение недоверия и надежды на ее лице сменилось сначала изумлением, затем беспокойством, затем страхом и, наконец, жалостью...

Мы уже сидели в большой комнате перед распахнутым окном — она в кресле, а я на ковре рядом, прижавшись щекой к ее колену, — и тут оказалось, что за окном — гроза, фиолетовая туча развалилась над крышами, хлещет ливень, и свирепые молнии ввинчиваются в темя двенадцатиэтажника, уходя в него без остатка. Крупные холодные брызги шлепались в подоконник, залетали в комнату, порывы ветра вздували желтые шторы, а мы сидели неподвижно, и она тихонько гладила меня по волосам. А я испытывал огромное облегчение. Выговорился. Избавился от половины тяжести. И теперь отдыхал, прижав лицо к ее гладкому загорелому колену. Гром грохотал почти непрерывно, и разговаривать было трудно, да, в общем-то, мне и не хотелось больше разговаривать.

Потом она сказала:

— Димка. Ты только не должен на меня оборачиваться. Ты должен так решать, как будто меня нет. Потому что я все равно буду с тобой всегда. Что бы ты ни решил.

Я крепче прижался к ней. Собственно, я знал, что она так скажет, и толку от этих ее слов, собственно, никакого не было, но все равно я был ей благодарен.

— Ты меня прости, — продолжала она, помолчав, — но в голове у меня это никак не укладывается... Нет, я верю тебе, верю... только как-то уж очень страшно все это получается... Может быть, все-таки какое-то другое объяснение поискать... более... ну, что ли... попроще что-нибудь, попонятнее...

— Мы искали, — сказал я.

— Нет, я, наверное, не то говорю... Вечеровский, конечно, прав... Не в том прав, что это... как он говорит... Гомеостатическая Вселенная... он в том прав, что дело-то не в этом. Действительно, какая разница? Если Вселенная, то нужно сдаваться, а если пришельцы, то нужно бороться? В общем, ты меня не слушай. Это я просто так говорю... от обалдения...

Она зябко передернулась. Я приподнялся, втиснулся рядом с ней в кресло и обнял ее. Сейчас мне хотелось только одного — на разные лады

повторять, как мне страшно. Как мне страшно за себя, как мне страшно за нее, как мне страшно за нас обоих вместе... Но это, конечно, было бессмысленно и даже, наверное, жестоко.

Мне казалось, что, если бы ее не было на свете, я бы точно знал, как мне поступить. Но она была. И я знал, что она гордится мною, всегда гордилась. Я ведь человек довольно скучный и не слишком-то удачливый, однако гордиться можно и мною тоже. Я был когда-то хорошим спортсменом, всегда умел работать, голова у меня варит, и в обсерватории я на хорошем счету, и в дружеских компаниях я на хорошем счету, умею веселиться, умею острить, спорить умею... И она всем этим гордилась. Пусть немножко, но все-таки гордилась. Я же видел, как она смотрит на меня иногда... Просто не знаю, как бы она в действительности отнеслась к моему превращению в медузу. Наверное, я и любить-то не смогу ее по-настоящему, даже на это не буду способен...

И, словно в ответ на мои мысли, она вдруг сказала, оживившись:

— А помнишь, мы когда-то с тобой радовались, что все экзамены теперь позади и ничего сдавать больше не придется до самой смерти? Оказывается, не все. Оказывается, остается еще один.

— Да, — сказал я, а сам подумал: только это такой экзамен, что никто не знает, пятерку лучше получить или двойку. И вообще неизвестно, за что здесь ставят пятерку, а за что — двойку.

— Димка, — прошептала она, повернув ко мне лицо. — А ведь, наверное, ты действительно какую-то великую штуку выдумал, если они так за тебя взялись... На самом-то деле тебе гордиться надо... и вообще всем вам... Ведь сама госпожа Вселенная на вас внимание обратила!

— Гм... — сказал я, а сам подумал: Вайнгартену с Губарем гордиться уже вообще нечем, а что касается меня, то это дело пока под большим вопросом.

И опять-таки, словно подслушав мои мысли, она произнесла:

— И совсем неважно, какое решение ты примешь. Важно, что ты оказался способен на такое открытие... Ты мне хоть расскажешь, о чем там речь? Или это тоже нельзя?

— Не знаю, — сказал я, а сам подумал: что же это она — утешает меня, или действительно так думает, или сама, бедняжка, напугана до того, что подталкивает меня на капитуляцию, или просто золотит пилюлю, которую мне — она уже это знает — придется проглотить? Или, может быть, наоборот, толкает меня на драку, дотлевающую гордость мою ворошит...

— Свиньи они, — сказала она тихо. — Только им все равно нас не

разлучить. Правда? У них это не получится. Верно, Димка?

— Конечно, — сказал я, а сам подумал: об этом и речь, маленькая. Сейчас — только об этом.

Гроза уходила. Туча, неторопливо свертываясь, уплывала на север, открывая затянутое серой мглой небо, с которого лился уже не ливень, а сыпал мелкий серенький дождик.

— Дождик я привезла, — сказала Ирка. — А я-то думала, мы с тобой в Солнечное закатимся в субботу...

— До субботы еще далеко, — сказал я. — Может, и закатимся...

Все было сказано. Теперь надо было говорить о Солнечном, о книжных полках для Бобки, о стиральной машине, которая опять сдохла. Обо всем этом мы и поговорили. И была иллюзия обычного вечера, и чтобы продлить и усилить эту иллюзию, было решено выпить чайку. Была вскрыта свежая пачка цейлонского, заварочный чайник тщательнейше, по науке, прополоснут горячей водой, на стол водружена торжественно коробка «Пиковой дамы», и потом мы оба стояли над чайником и внимательно следили за водой, чтобы не пропустить момент ключевого кипения, и произносились традиционные шутки, и, расставляя чашки и блюдца, я тихонько взял со стола сакраментальный бланк стола заказов, и записку насчет Лидочки, и паспорт Сергеенко И. Ф., смял их и незаметно сунул в помойное ведро.

И мы прекрасно попили чайку — это был настоящий чай, «чай как напиток», — разговаривали о чем угодно, кроме самого главного, а я все думал, о чем сейчас думает Ирка, потому что у нее был такой вид, словно она уже успела забыть весь этот ужас, сказала мне все, что думает по этому поводу, и теперь с облегчением забыла, снова оставив меня один на один с моим выбором.

Потом она сказала, что будет сейчас гладить и чтобы я при этом сидел рядом и рассказывал ей про что-нибудь веселое. И я стал убирать посуду, и в это время раздался звонок в дверь.

Негромко напевая: «Лучше гор могут быть только горы...» — я направился в прихожую, бросив один только косой взгляд в сторону Ирки (она совершенно спокойно вытирала стол сухой чистой тряпкой). Уже поворачивая замок, я вспомнил о своем молотке, но мне показалось смешным и неловким возвращаться за ним в большую комнату, и я распахнул дверь.

Высокий, совсем молодой парень в мокром плаще и с мокрыми светлыми волосами равнодушно объявил: «Телеграмма, прошу расписаться...» Я взял у него огрызок карандаша и, приложив квитанцию к

стене, написал дату и время по его подсказке, затем расписался, вернул карандаш и квитанцию, поблагодарил и закрыл дверь. Я знал, что ничего хорошего ждать нельзя. Тут же в прихожей, под яркой пятисотсвечовой лампой, я развернул телеграмму и прочитал ее.

Телеграмма была от тещи. «ВЫЛЕТАЕМ С БОБКОЙ ЗАВТРА ВСТРЕЧАЙТЕ РЕЙС 425 БОБКА МОЛЧИТ НАРУШАЕТ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ЦЕЛУЮ МАМА». И ниже была приклеена полоска: «ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ТАК». Я прочитал телеграмму и перечитал ее, затем очень медленно сложил ее вчетверо, погасил свет и пошел по коридору. Ирка уже ждала меня, прижавшись спиной к двери в ванную. Я протянул ей телеграмму, сказал: «Мама с Бобкой приезжают завтра...» — и направился прямо к своему столу. На моих черновиках все еще валялся Лидочкин лифчик. Я аккуратно переложил его на подоконник, собрал листки, разложил их по порядку и сунул в общую тетрадь. Затем я достал новенькую папку для бумаг, вложил туда все, завязал тесемки и, не присаживаясь, написал на обложке чертежным шрифтом «Д. Малянов. К вопросу о взаимодействии звезд с диффузной материей в Галактике». Перечитал, подумал и густо зачеркнул «Д. Малянов». Потом я взял папку под мышку и пошел вон. Ирка все стояла у двери в ванную, прижав телеграмму к груди. Когда я проходил мимо нее, она сделала слабое движение рукой, то ли пытаясь задержать меня, то ли благословить. Я сказал не глядя: «Я к Вечеровскому. Скоро вернусь».

По лестнице я поднимался неторопливо, ступенька за ступенькой, то и дело поправляя папку, съезжавшую у меня из-под мышки. Свет на лестнице почему-то не включили, было сумрачно, и стояла тишина, слышно было только, как плещет вода, стекающая с крыши за открытыми окнами. На площадке шестого этажа, где в нише у мусоропровода целовались давеча те двое, я остановился и посмотрел вниз, во двор. Огромное дерево влажно поблескивало черной листвой, и двор был пуст, и блестели рябые от дождя лужи.

Я никого не встретил на лестнице, только между седьмым и восьмым этажами сидел, скорчившись на ступеньках, какой-то маленький жалкий человечек, положивши рядом с собою серую старомодную шляпу. Я осторожно обошел его и стал подниматься дальше, и вдруг он сказал:

— Не ходите туда, Дмитрий Алексеевич...

Я остановился и посмотрел на него. Это был Глухов.

— Не ходите туда сейчас, — повторил он. — Не надо.

Он встал, подобрал свою шляпу, с трудом распрямился, держась за

поясницу, и я увидел, что лицо у него вымазано чем-то черным — то ли грязью, то ли сажей, — смешные очки перекошены, а маленький рот плотно сжат, словно он терпит сильную боль. Он поправил очки и сказал, едва шевеля губами:

— Еще одна папка. Белая. Еще один флаг капитуляции.

Я молчал. Он слабо похлопал шляпой по колену, словно отряхивая пыль, затем принялся чистить ее рукавом. Он тоже молчал, но не уходил. Я ждал, что он еще скажет.

— Понимаете, — проговорил он наконец, — капитулировать всегда неприятно. В прошлом веке, говорят, даже стрелялись, чтобы не капитулировать. Не потому, что боялись пыток или концлагеря, и не потому, что боялись проговориться под пытками, а просто было стыдно.

— В нашем веке это тоже случалось, — сказал я. — И не так уж редко.

— Да, конечно, — легко согласился он. — Конечно. Ведь человеку очень неприятно осознать, что он совсем не такой, каким всегда раньше себе казался. Он все хочет оставаться таким, каким был всю жизнь, а это невозможно, если капитулируешь. Вот ему и приходится... И все равно разница есть. В нашем веке стреляются потому, что стыдятся перед другими — перед обществом, перед друзьями... А в прошлом веке стрелялись потому, что стыдились перед собой. Понимаете, в наше время почему-то считается, что сам с собой человек всегда договорится. Наверное, это так и есть. Не знаю, в чем здесь дело. Не знаю, что произошло... Может быть, потому что мир стал сложнее? Может быть, потому что теперь, кроме таких понятий, как гордость, честь, существует еще множество других вещей, которые могут служить для самоутверждения...

Он выжидательно посмотрел на меня, и я пожал плечами и сказал:

— Не знаю. Может быть.

— Я тоже не знаю, — сказал он. — Казалось бы, опытный капитулянт, сколько времени думаю об этом, только об этом, сколько убедительных доводов перебрал... Вот уж и успокоишься вроде бы, и убедишь себя, и вдруг заноет... Конечно, двадцатый век, девятнадцатый век — разница есть. Но раны остаются ранами. Они заживают, рубцуются, и вроде бы ты о них уже забыл вовсе, а потом переменится погода, они и заноют. Уж так-то всегда было, во все века.

— Я понимаю, — сказал я. — Я все это понимаю. Но ведь есть раны и раны. Иногда чужие раны больнее...

— Ради бога! — прошептал он. — Я ведь совсем не к тому... Я бы никогда не осмелился. Я просто так говорю. Ни в коем случае не

подумайте, что я вас отговариваю, что я вам что-то советую... где уж мне... Вы знаете, я все думаю... вот такие, как мы, — что это такое? То ли мы действительно так хорошо воспитаны временем, страной, то ли мы, наоборот, — атавизм, троглодиты? Почему мы так мучаемся? Я не могу разобраться.

Я молчал. Он вялым, расслабленным движением нахлобучил свою смешную шляпу и сказал:

— Ну что ж, прощайте, Дмитрий Алексеевич. Мы, наверное, никогда больше с вами не увидимся, но все равно было очень приятно с вами познакомиться. И чай вы отлично умеете заваривать...

Он покивал мне и стал спускаться по лестнице.

— Вы ведь можете лифт вызвать, — сказал я ему в спину.

Он не обернулся и не ответил. Я стоял и слушал, как он шаркает по ступенькам, спускаясь все ниже и ниже, слушал до тех пор, пока глубоко внизу не заскрипела, распахиваясь, дверь. Затем дверь бухнула, и снова стало тихо.

Я поправил папку под мышкой, миновал последнюю площадку и, придерживаясь за перила, одолел последний пролет. У дверей Вечеровского я постоял, прислушиваясь. Кто-то там был. Бубнили голоса. Незнакомые. Наверное, надо было бы вернуться и прийти попозже, но у меня не было сил на это. Надо было кончать. И кончать немедленно.

Я надавил звонок. Голоса продолжали бубнить. Я подождал, снова надавил звонок и не отпускал кнопку до тех пор, пока не послышались шаги и голос Вечеровского спросил:

— Кто там?

Почему-то я даже не удивился, хотя Вечеровский сроду открывал дверь всем на свете, ни о чем не спрашивая. Как я. Как все мои знакомые.

— Это я. Открой.

— Подожди, — отозвался он, и на некоторое время наступила тишина.

Теперь уже и голосов не было слышно, только далеко внизу кто-то грохотал люком мусоропровода. Я вспомнил, что Глухов сказал мне не ходить сюда сейчас. «Не ходите туда, Уормолд. Вас хотят отравить». Откуда это? Что-то страшно знакомое... Ладно, бог с ним. А идти мне больше некуда. И некогда. За дверью снова послышались шаги, щелкнул замок, и дверь распахнулась.

Я невольно отшатнулся и отступил на шаг. Такого Вечеровского я еще не видел никогда.

— Заходи, — сказал он хрипло и посторонился, давая мне дорогу...»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

21. «...Ты все-таки принес, — сказал Вечеровский.

— Бобка, — сказал я и положил свою папку на край стола.

Он кивнул и грязной рукой размазал сажу на грязной щеке.

— Я этого ждал, — сказал он. — Правда, не так быстро.

— Кто у тебя? — спросил я, понизив голос.

— Никого, — ответил он. — Нас двое. Мы и Вселенная. — Он посмотрел на свои грязные ладони и поморщился. — Извини, я все-таки умоюсь...

Он ушел, а я присел на ручку кресла и огляделся. У комнаты был такой вид, словно здесь взорвался картуз черного пороха. Пятна черной копоти на стенах. Тоненькие ниточки копоти, плавающие в воздухе. И какой-то желтый неприятный налет на потолке. И неприятный химический запах, кислый и едкий. Паркет изуродован обугленными вдавлинами странной округлой формы. И огромная обугленная вдавлина на подоконнике, словно на нем разводили костер. Да, здорово Вечеровскому досталось.

Я посмотрел на стол. Стол был завален. Посередине была раскрыта одна из огромных редакторских папок Вайнгартена, а другая лежала сбоку с завязанными тесемками. И еще лежала старомодная, сильно потертая папка с крышкой под мрамор, с ярлыком, на котором было напечатано на машинке: «США — ЯПОНИЯ. Культурное воздействие. Материалы». И были разбросаны листки, изрисованные какими-то, как я понял, электронными схемами, и на одном было написано корявым старушечьим почерком: «Губарь З. З.», а ниже — печатными буквами: «Феддинги». А с краю лежала моя новенькая белая папка. Я взял ее и положил себе на колени.

Вода в ванной перестала шуметь, и немного погодя Вечеровский позвал:

— Дима, иди сюда. Кофе будем пить.

Однако, когда я пришел на кухню, никакого кофе там не было, а стояли посередине стола бутылка коньяка и два бокала уникальной формы. Вечеровский успел не только умыться, но и переодеться. Изящный пиджак свой с огромной прожженной дырой под нагрудным карманом и кремовые брюки, измазанные копотью, он сменил на мягкий замшевый домашний костюм. Без галстука. Отмытое лицо его было необычайно бледным, отчего четче обычного проступали многочисленные веснушки, прядь мокрых

рыжих волос свисала на огромный шишковатый лоб. И было в его лице еще что-то непривычное, кроме этой бледности. И только приглядевшись, я понял, что брови и ресницы у него сильны опалены. Да, Вечеровскому досталось основательно.

— Для успокоения нервов, — сказал он, разливая коньяк. — Прозит!

Это был «Ахтамар», очень редкий в наших широтах армянский коньяк с легендой. Я отпил глоток и просмаковал. Прекрасный коньяк. Я отпил еще глоток.

— Спасибо, Дима, — сказал Вечеровский.

— За что? — спросил я.

— Ты не задаешь вопросов, — сказал Вечеровский, глядя на меня сквозь бокал. — Это, наверное, трудно. Или нет?

— Нет, — сказал я. — У меня нет никаких вопросов. Ни к кому. — Я поставил локоть на свою белую папку. — Ответ — есть. Да и то один-единственный... Слушай, ведь они тебя убьют.

Привычно задрав опаленные брови, он отпил из бокала.

— Не думаю. Промахнутся.

— Торопиться им некуда. В конце концов попадут.

— А ля гер ком а ля гер, — возразил он и поднялся. — Ну вот. Теперь, когда нервы успокоены, мы можем выпить кофе и все обсудить.

Я смотрел ему в сутулую спину, как он, шевеля лопатками, ловко орудует своими кофейными причиндалами.

— Мне нечего обсуждать, — сказал я. — У меня — Бобка.

И эти мои собственные слова вдруг словно включили во мне что-то. С того момента, как я прочитал телеграмму, все мысли и чувства были у меня как бы анестезированы, а сейчас вдруг разом разморозились, заработали вовсю — вернулись ужас, стыд, отчаяние, ощущение бессилия, и я с невыносимой ясностью осознал, что вот именно с этого мгновения между мною и Вечеровским навсегда пролегла дымно-огненная непереходимая черта, у которой я остановился на всю жизнь, а Вечеровский пошел дальше, и теперь он пойдет сквозь разрывы, пыль и грязь неведомых мне боев, скроется в ядовито-алом зареве, и мы с ним будем едва здороваться, встретившись случайно на лестнице... А я останусь по сю сторону черты вместе с Вайнгартеном, с Захаром, с Глуховым — попивать чаек, или пивко, или водочку, закусывая пивком, толковать об интригах и перемещениях, копить деньжата на «Запорожец» и тоскливо и скучно корпеть над чем-то там плановым... Да и Вайнгартена с Захаром я никогда больше не увижу. Нам нечего будет сказать друг другу, неловко будет встречаться, тошно будет глядеть друг на друга и придется покупать водку

или портвейн, чтобы скрыть неловкость, чтобы не так тошнило... Конечно, останется у меня Ирка, и Бобка будет жив-здоров, но он уже никогда не вырастет таким, каким я хотел бы его вырастить. Потому что теперь у меня не будет права хотеть. Потому что он больше никогда не сможет мной гордиться. Потому что я буду тем самым папой, который «тоже когда-то мог сделать большое открытие, но ради тебя...». Да будь она проклята, та минута, когда всплыли в моей дурацкой башке эти проклятые М-полости!

Вечеровский поставил передо мной чашечку с кофе, а сам уселся напротив и точным изящным движением опрокинул в свой кофе остаток коньяка из бокала.

— Я собираюсь уехать отсюда, — сказал он. — Из института, скорее всего, уйду. Заберусь куда-нибудь подальше, на Памир. Я знаю, там нужны метеорологи на осенне-зимний период.

— А что ты понимаешь в метеорологии? — спросил я тупо, а сам подумал: от ЭТОГО ты ни на каком Памире не укроешься, тебя и на Памире отыщут.

— Дурацкое дело не хитрое, — возразил Вечеровский. — Там никакой особой квалификации не требуется.

— Ну и глупо, — сказал я.

— Что именно? — осведомился Вечеровский.

— Глупая затея, — сказал я. Я не глядел на него. — Кому какая будет польза, если ты из большого математика превратишься в обыкновенного дежурного? Думаешь, они тебя там не найдут? Найдут как миленького!

— А что ты предлагаешь? — спросил Вечеровский.

— Выброси все это в мусоропровод, — тяжело ворочая языком, сказал я. — И вайнгартеновскую ревертазу, и весь этот «культурный обмен», и это... — Я толкнул к нему свою папку по гладкой поверхности стола. — Все выброси и занимайся своим делом!

Вечеровский молча смотрел на меня сквозь мощные окуляры, помаргивая опаленными ресницами, затем надвинул на глаза остатки бровей — уставился в свою чашечку.

— Ты же уникальный специалист, — сказал я. — Ты же первый в Европе.

Вечеровский молчал.

— У тебя есть твоя работа! — заорал я, чувствуя, что у меня что-то сжимается в горле. — Работай! Работай, черт тебя подери! Зачем тебе понадобилось связываться с нами?

Вечеровский длинно и громко вздохнул, повернулся ко мне боком и оперся спиной и затылком о стену.

— Значит, ты так и не понял... — проговорил он медленно, и в голосе его звучало необычайное и совершенно неуместное самодовольство и удовлетворение. — Моя работа... — Он, не поворачивая головы, покосился в мою сторону рыжим глазом. — За мою работу они меня лупят почем зря уже вторую неделю. Вы здесь совсем ни при чем, бедные мои барашки, котики-песики. Все-таки я умею владеть собой, а?

— Провались ты, — сказал я и поднялся, чтобы уйти.

— Сядь! — сказал он строго, и я сел.

— Налей в кофе коньяк, — сказал он, и я налил.

— Пей, — сказал он, и я осушил чашечку, не чувствуя никакого вкуса.

— Пижон, — сказал я. — Есть в тебе что-то от Вайнгартена.

— Есть, — согласился он. — И не только от Вайнгартена. От тебя, от Захара, от Глухова... Больше всего — от Глухова. — Он осторожно налил себе еще кофе. — Больше всего — от Глухова, — повторил он. — Жажда спокойной жизни, жажда безответственности... Станем травой и кустами, станем водой и цветами... Я тебя, вероятно, раздражаю?

— Да, — сказал я.

Он кивнул.

— Это естественно. Но тут ничего не поделаешь. Я хочу все-таки объяснить тебе, что происходит. Ты, кажется, вообразил, что я собираюсь с голыми руками идти против танка. Ничего подобного. Мы имеем дело с законом природы. Воевать против законов природы — глупо. А капитулировать перед законом природы — стыдно. В конечном счете — тоже глупо. Законы природы надо изучать, а изучив, использовать. Вот единственно возможный подход. Этим я и собираюсь заняться.

— Не понимаю, — сказал я.

— Сейчас поймешь. До нас этот закон не проявлялся никак. Точнее, мы ничего об этом не слыхали. Хотя, может быть, не случайно Ньютон впал в толкование Апокалипсиса, а Архимеда зарубил пьяный солдат... Но это, разумеется, домыслы... Беда в том, что этот закон проявляется единственным образом — через невыносимое давление. Через давление, опасное для психики и даже для самой жизни. Но тут уж, к сожалению, ничего не поделаешь. В конце концов, это не так уж уникально в истории науки. Примерно то же самое было с изучением радиоактивности, грозовых разрядов, с учением о множественности обитаемых миров... Может быть, со временем мы научимся отводить это давление в безопасные области, а может быть, даже использовать в своих целях... Но сейчас ничего не поделаешь, приходится рисковать — опять же не в первый и не в последний раз в истории науки. Я хотел бы, чтобы ты это понял: что, по

сути, ничего принципиально нового и необычайного в этой ситуации нет.

— Зачем мне это понимать? — спросил я угрюмо.

— Не знаю. Может быть, тебе станет легче. И потом, я еще хотел бы, чтобы ты понял: это не на один день и даже не на один год. Я думаю, даже не на одно столетие. Торопиться некуда. — Он усмехнулся. — Впереди еще миллиард лет. Но начинать можно и нужно уже сейчас. А тебе... ну что ж, что ж, тебе придется подождать. Пока Бобка перестанет быть ребенком. Пока ты привыкнешь к этой идее. Десять лет, двадцать лет — роли не играет.

— Еще как играет, — сказал я, чувствуя на лице своем отвратительную кривую усмешку. — Через десять лет я стану ни на что не годен. А через двадцать лет мне будет на все наплевать.

Он ничего не сказал, пожал плечами и принялся набивать трубку. Мы молчали. Да, конечно, он хотел мне помочь. Нарисовать какую-то перспективу, доказать, что я не такой уж трус, а он — никакой не герой. Что мы просто два ученых и нам предложена тема, только по объективным обстоятельствам он может сейчас заняться этой темой, а я — нет. Но легче мне не стало. Потому что он уедет на Памир и будет там возиться с вайнгартеновской ревертазой, с Захаровыми феддингами, со своей заумной математикой и со всем прочим, а в него будут лупить шаровыми молниями, насылать на него привидения, приводить к нему обмороженных альпинистов, в особенности альпинисток, обрушивать на него лавины, коверкать вокруг него пространство и время, и в конце концов они таки ухайдакают его там. Или не ухайдакают. И может быть, он установит закономерности появления шаровых молний и нашествий обмороженных альпинисток... А может быть, вообще ничего этого не будет, а будет он тихо корпеть над нашими каракулями и искать, где, в какой точке пересекаются выводы из теории М-полостей и выводы из количественного анализа культурного влияния США на Японию, и это, наверное, будет очень странная точка пересечения, и вполне возможно, что в этой точке он обнаружит ключик к пониманию всей этой зловещей механики, а может быть, и ключик к управлению ею... А я останусь дома, встречу завтра Бобку с тещей, и мы все вместе пойдем покупать книжные полки.

— Угробят они тебя там, — сказал я безнадежно.

— Не обязательно, — сказал он. — И потом, ведь я там буду не один... и не только там... и не только я...

Мы смотрели друг другу в глаза, и за толстыми стеклами очков его не было ни напряжения, ни натужного бесстрашия, ни пылающего самоотречения — одно только рыжее спокойствие и рыжая уверенность в

том, что все должно быть именно так и только так.

И он ничего не говорил больше, но мне казалось, что он говорит. Торопиться некуда, говорит он. До конца света еще миллиард лет, говорит он. Можно много, очень много успеть за миллиард лет, если не сдаваться и понимать, понимать и не сдаваться. И еще мне казалось, что он говорит: «Он умел бумагу марать под треск свечки! Ему было за что умирать у Черной речки...» И раздавалось у меня в мозгу его удовлетворенное уханье, словно уханье уэллсовского марсианина.

И я опустил глаза. Я сидел скорчившись, прижимая к животу обеими руками свою белую папку, и повторял про себя — в десятый раз, в двадцатый раз повторял про себя: "...с тех пор все тянутся передо мной глухие кривые окольные тропы..."».

ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ

— Как живете, караси?
— Ничего себе, мерси.

В. Катаев. «Радиожираф»

...Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы...

Откровение Иоанна Богослова

(_Апокалипсис_)

Часть первая МУСОРЩИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Баки были ржавые, помятые, с отставшими крышками. Из-под крышек торчали обрывки газет, свешивалась картофельная шелуха. Это было похоже на пасть неопрятного, неразборчивого в еде пеликана. На вид они казались неподъемно тяжелыми, но на самом деле вдвоем с Ваном ничего не стоило рывком вздернуть такой бак к протянутым рукам Дональда и утвердить на краю откинутого борта. Нужно было только беречь пальцы. После этого можно было поправить рукавицы и немного подышать носом, пока Дональд ворочает бак, устанавливая его в глубине кузова.

Из распахнутых ворот тянуло сырым ночным холодом, под сводом подворотни покачивалась на обросшем грязью шнуре голая желтая лампочка. В ее свете лицо Вана было как у человека, замученного желтухой, а лица Дональда не было видно в тени его широкополой техасской шляпы. Серые облупленные стены, исполосованные горизонтальными бороздами; темные клочья пыльной паутины под сводами; непристойные женские изображения в натуральную величину; а около дверей в дворницкую — беспорядочная толпа пустых бутылок и банок из-под компота, которые Ван собирал, аккуратно рассортировывал и сдавал в утиль...

Когда остался последний бак, Ван взял совок и метлу и принялся собирать мусор, оставшийся на асфальте.

— Да бросьте вы копаться, Ван, — раздраженно произнес Дональд. — Каждый раз вы копаетесь. Все равно ведь чище не будет.

— Дворник должен быть метущий, — наставительно заметил Андрей, крутя кистью правой руки и прислушиваясь к своим ощущениям: ему показалось, что он немного растянул сухожилие.

— Ведь все равно же опять навалят, — сказал Дональд с ненавистью. — Мы и обернуться не успеем, а уже навалят больше прежнего.

Ван ссыпал мусор в последний бак, утрамбовал совком и захлопнул крышку.

— Можно, — сказал он, оглядывая подворотню. В подворотне теперь было чисто. Ван посмотрел на Андрея и улыбнулся. Потом он поднял лицо к Дональду и проговорил: — Я только хотел бы напомнить вам...

— Давайте, давайте! — нетерпеливо прикрикнул Дональд.

Раз-два. Андрей и Ван рывком подняли бак. Три-четыре. Дональд подхватил бак, крякнул, ахнул и не удержал. Бак накренился и боком грохнулся на асфальт. Содержимое вылетело из него метров на десять, как из пушки. Активно опорожняясь на ходу, он с громом покатился во двор. Гулкое эхо спиралью ушло к черному небу между стенами.

— Мать вашу в бога, в душу и святаго духа, — сказал Андрей, едва успевший отскочить. — Руки ваши дырявые!..

— Я только хотел напомнить, — кротко проговорил Ван, — что у этого бака отломана ручка.

Он взял метлу и совок и принялся за дело, а Дональд присел на корточки на краю кузова и опустил руки между колен.

— Проклятье... — пробормотал он глухо. — Проклятая подлость.

С ним было явно что-то не в порядке в последние дни, а в эту ночь — в особенности. Поэтому Андрей не стал ему говорить, что он думает о профессорах и об их способности заниматься настоящим делом. Он сходил за баком, а потом, вернувшись к грузовику, снял рукавицы и вытащил сигареты. Из пустого бака смердело нестерпимо, и он торопливо закурил и только после этого предложил сигарету Дональду. Дональд молча покачал головой. Надо было поднимать настроение. Андрей кинул горелую спичку в бак и сказал:

— Жили-были в одном городишке два ассенизатора — отец и сын. Канализации у них там не было, а просто ямы с жижицей. И они это дерьмо вычерпывали ведром и заливали в свою бочку, причем отец, как более опытный специалист, спускался в яму, а сын сверху подавал ему ведро. И вот однажды сын это ведро не удержал и обрушил обратно на батю. Ну, батя утерся, посмотрел на него снизу вверх и сказал ему с горечью: «Чучело ты, — говорит, — огородное, тундра! Никакого толку в тебе не видно. Так всю жизнь наверху и проторчишь».

Он ожидал, что Дональд хотя бы улыбнется. Дональд вообще-то был человек веселый, общительный, никогда не унывал. Было в нем что-то от студента-фронтовика. Однако сейчас Дональд только покашлял и глухо сказал: «Всех ям не выгребешь». А Ван, возившийся возле бака, реагировал и вовсе странно. Он вдруг с интересом спросил:

— А почем оно у вас?

— Что — почем? — не понял Андрей.

— Дерьмо. Дорого?

Андрей неуверенно хохотнул.

— Да как тебе сказать... Смотря чье...

— Разве оно у вас разное? — удивился Ван. — У нас — одинаковое. А

чье у вас самое дорогое?

— Профессорское, — немедленно сказал Андрей. Просто невозможно было удержаться.

— А! — Ван высыпал в бак очередной совок и покивал. — Понятно. Но у нас в сельской местности не было профессоров, поэтому цена была одна — пять юаней за ведро. Это — в Сычуани. А в Цзянси, например, цены доходили до семи и даже до восьми юаней.

Андрей наконец понял. Ему вдруг захотелось спросить, правда ли, что китаец, пришедший в гости на обед, обязан потом опорожниться на огороде хозяина, однако спрашивать это было, конечно, неловко.

— А как у нас сейчас, я не знаю, — продолжал Ван. — Последнее время я не жил в деревне... А почему профессорское ценится у вас дороже?

— Это я пошутил, — сказал Андрей виновато. — У нас этим делом вообще не торгуют.

— Торгуют, — сказал Дональд. — Вы даже этого не знаете, Андрей.

— А вы даже это знаете, — огрызнулся Андрей.

Еще месяц назад он ввязался бы с Дональдом в яростный спор. Его ужасно раздражало, что американец то и дело рассказывает о России такие вещи, о которых он, Андрей, и понятия не имеет. Андрей был тогда искренне уверен, что Дональд просто берет его на пушку или повторяет злопыхательскую болтовню Херста. «Да шли бы вы с вашей херстовиной!» — отмахивался он. Но потом появился этот недоносок Изя Кацман, и Андрей спорить перестал, огрызался только. Черт их знает, откуда они всего этого набрались. И бессилие свое он объяснял тем обстоятельством, что он-то пришел сюда из пятьдесят первого года, а эти двое — из шестьдесят седьмого.

— Счастливый вы человек, — сказал вдруг Дональд, поднялся и пошел к бакам у кабины.

Андрей пожал плечами и, стараясь избавиться от неприятного осадка, вызванного этим разговором, надел рукавицы и принялся сгребать вонючий мусор, помогая Вану. Ну, и не знаю, думал он. Подумаешь, дерьма-то. А что ты знаешь об интегралах? Или, скажем, о постоянной Хаббла? Мало ли кто чего не знает...

Ван запихивал в бак последние остатки мусора, когда в воротах с улицы появилась ладная фигура полицейского Кэнси Убукаты.

— Сюда, пожалуйста, — сказал он кому-то через плечо и двумя пальцами откозырял Андрею. — Привет, мусорщики!

Из уличной тьмы в круг желтоватого света вступила девушка и остановилась рядом с Кэнси. Была она совсем молоденькая, лет двадцати,

не больше, и совсем маленькая, едва по плечо маленькому полицейскому. На ней был грубый свитер с широченным воротом и узкая короткая юбка, на бледном мальчишеском личике ярко выделялись густо намазанные губы, длинные светлые волосы падали на плечи.

— Не пугайтесь, — вежливо улыбаясь, сказал ей Кэнси. — Это всего лишь наши мусорщики. В трезвом состоянии совершенно безопасны... Ван, — позвал он. — Это Сельма Нагель, новенькая. Приказано поселить у тебя в восемнадцатом номере. Восемнадцатый свободен?

Ван, снимая на ходу рукавицы, подошел к ним.

— Свободен, — сказал он. — Давно уже свободен. Здравствуйте, Сельма Нагель. Я — дворник, меня зовут Ван. Если что-нибудь понадобится, вот — дверь в дворницкую, приходите сюда.

— Давай ключ, — сказал Кэнси. — Пойдемте, я вас провожу, — сказал он девушке.

— Не надо, — проговорила она устало. — Сама найду.

— Как угодно, — сказал Кэнси и снова откозырял. — Вот ваш чемодан.

Девушка взяла у Кэнси чемодан, а у Вана — ключ, мотнула головой, отбрасывая упавшие на глаза волосы, и спросила:

— Который подъезд?

— Прямо, — сказал Ван. — Вон тот, под освещенным окном. Пятый этаж. Может быть, вы хотите есть? Чаю?

— Нет, не хочу, — сказала девушка, снова тряхнула головой и, цокая каблуками по асфальту, пошла прямо на Андрея.

Он отступил, пропуская ее. Когда она проходила, он ощутил крепкий запах духов и еще какой-то парфюмерии. И он все смотрел ей вслед, пока она шла по желтому освещенному кругу, юбка у нее была совсем короткая, чуть длиннее свитера, а ноги были голые, белые, и Андрею показалось, что они светятся, когда она вышла из-под арки в темноту двора, и в этой темноте был виден только ее белый свитер и белые мелькающие ноги.

Потом заныла, завизжала и грохнула дверь, и тогда Андрей снова машинально достал сигареты и закурил, представляя, как эти нежные белые ноги ступают по лестнице, ступенька за ступенькой... гладкие икры, ямочки под коленями, обалдеть можно... Как она поднимается выше и выше, этаж за этажом, и останавливается перед дверью восемнадцатой квартиры — как раз напротив шестнадцатой квартиры... ч-черт, надо хоть белье постельное переменить, три недели уже не менял, наволочка серая сделалась, как портянка... А какое у нее лицо? Надо же — совсем не помню, какое у нее лицо. Только ноги и запомнил.

Он вдруг осознал, что молчат все, даже женатый Ван, и в ту же секунду заговорил Кэнси:

— У меня есть двоюродный дядя, полковник Маки. Бывший полковник бывшей императорской армии. Сначала он был адъютантом господина Осимы и два года просидел в Берлине. Потом его назначили исполняющим обязанности нашего военного атташе в Чехословакии, и он присутствовал при вступлении немцев в Прагу...

Ван кивнул Андрею, они рывком подняли бак и благополучно переправили его в кузов.

— ...Потом, — продолжал Кэнси неторопливо, закуривая сигаретку, — он немного повоевал в Китае, по-моему, где-то на юге, на Кантонском направлении. Потом он командовал дивизией, высадившейся на Филиппинах, и был одним из организаторов знаменитого «марша смерти» пяти тысяч американских военнопленных — извините меня, Дональд... Потом его направили в Маньчжурию и назначили начальником Сахалянского укрепрайона, где он, между прочим, в целях сохранения секретности загнал в шахту и взорвал восемь тысяч китайских рабочих... извини меня, Ван... Потом он попал к русским в плен, и они, вместо того чтобы повесить его или, что то же самое, передать его Китаю, всего-навсего упрятали его на десяток лет в концлагерь...

Пока Кэнси все это рассказывал, Андрей успел слазить в кузов, помог там Дональду расставить баки, поднял и закрепил борт грузовика, снова спрыгнул на землю, угостил Дональда сигаретой, и теперь они втроем стояли перед Кэнси и слушали его. Дональд Купер, длинный, сутулый, в выцветшем комбинезоне, длинное лицо со складками возле рта, острый подбородок, поросший редкой седой щетиной; и Ван, широкий, приземистый, почти без шеи, в стареньком, аккуратно заштопанном ватнике, широкое бурое лицо, курносый носик, благожелательная улыбка, темные глаза в щелках припухших век; и Андрея вдруг пронизала острая радость при мысли, что все эти люди из разных стран и даже из разных времен собрались здесь вместе и делают одно, очень нужное дело, каждый на своем посту.

— ...Теперь он уже старый человек, — закончил Кэнси. — И он утверждает, что самые лучшие женщины, каких он когда-либо знал, — это русские женщины. Эмигрантки в Харбине.

Он замолчал, уронил окурок и старательно растер его подошвой блестящего штиблета.

Андрей сказал:

— Какая же она русская? Сельма, да еще Нагель.

— Да, она шведка, — сказал Кэнси. — Но все равно. Это был рассказ по ассоциации.

— Ладно, поехали, — сказал Дональд и полез в кабину.

— Слушай, Кэнси, — сказал Андрей, берясь за дверцу. — А кем ты был раньше?

— Контролером на литейном заводе, а до того — министром коммунального...

— Да нет, не здесь, а там...

— А-а, там? Там я был литсотрудником в издательстве «Хаякава».

Дональд завел двигатель, и старенький грузовик затрясся и залязгал, испуская густые клубы синего дыма.

— У вас правый подфарник не горит! — крикнул Кэнси.

— Он у нас сроду не горел, — отозвался Андрей.

— Так почините! Еще раз увижу — оштрафую!

— Понасажали вас на нашу голову...

— Что? Не слышу!

— Бандитов, говорю, лови, а не шоферов! — проорал Андрей, стараясь перекричать лязг и дребезг. — Дался тебе наш подфарник! И когда только вас всех разгонят, дармоедов!

— Скоро! — крикнул Кэнси. — Теперь уже скоро — не пройдет и ста лет!

Андрей погрозил ему кулаком, махнул Вану и ввалился на сиденье рядом с Дональдом. Грузовик рванулся вперед, чиркнул бортом по стене в арке ворот, выкатился на Главную улицу и круто повернул направо.

Устраиваясь поудобнее, так, чтобы пружина, вылезшая из сиденья, не колола в зад, Андрей искоса поглядел на Дональда. Дональд сидел прямо, положив левую руку на баранку, а правую — на рычаг переключения скоростей, надвинув шляпу на глаза и выставив острый подбородок, и гнал во всю мочь. Он всегда ездил так, «с максимально разрешенной скоростью», не думая даже тормозить перед частыми выбоинами на асфальте, и на каждой такой выбоине в кузове тяжело ухали баки с мусором, дребезжал проржавевший капот, а сам Андрей, как ни старался упираться ногами, подлетал и падал в точности на острие проклятой пружины. Только раньше все это сопровождалось веселой перебранкой, а сейчас Дональд молчал, тонкие губы его были крепко сжаты, на Андрея он не смотрел вовсе, и потому чудился в этой обычной тряске какой-то злой умысел.

— Что это с вами, Дон? — спросил Андрей наконец. — Зубы болят?

Дональд коротко дернул плечом и ничего не ответил.

— Правда, вы какой-то сам не свой последние дни. Я же вижу. Может быть, я вас обидел как-нибудь нечаянно?

— Бросьте, Андрей, — проговорил Дональд сквозь зубы. — При чем здесь вы?

И опять Андрею почудилось в этих словах какое-то недоброжелательство и даже что-то обидное, оскорбительное: где уж тебе, сопляку, меня, профессора, обидеть?.. Но тут Дональд заговорил снова:

— Я ведь не зря сказал вам, что вы счастливый. Вам и в самом деле можно только позавидовать. Все это идет как-то мимо вас. Или сквозь вас. А по мне это идет, как паровой каток. Ни одной целой кости не осталось.

— О чем вы? Ничего не понимаю.

Дональд молчал, искривив губы. Андрей посмотрел на него, невидящими глазами поглядел вперед на дорогу, снова покосился на Дональда, почесал себе макушку и расстроенно сказал:

— Честное слово, ничего не понимаю. Так вроде все хорошо идет...

— Потому я вам и завидую, — жестко сказал Дональд. — И хватит об этом. Не обращайте внимания.

— То есть как не обращать внимания? — сказал Андрей, совсем расстроившись. — Как это я могу не обращать внимания? Мы здесь все вместе... вы, я, ребята... Конечно, дружба — это большое слово, слишком большое... ну, просто товарищи... Я бы, например, рассказал, если что... Ведь никто же не откажется помочь! Ну, сами скажите: если бы со мной что-нибудь случилось и я бы попросил у вас помощи, вы бы мне отказали? Ведь не отказали бы, верно?

Правая рука Дональда оторвалась от рычага и легонько потрепала Андрея по плечу. Андрей замолчал. Его переполняли чувства. Снова все было хорошо, все было в порядке. Дональд был в порядке. Просто обычная хандра. Может же быть у человека хандра? Просто у него самолюбие взыграло. Все-таки как-никак профессор социологии, а тут баки с мусором, а до этого он был грузчиком на складе. Конечно, ему это неприятно и обидно, тем более что никому об этих обидах не расскажешь — никто его сюда не гнал, и жаловаться неудобно... Это только сказать просто: выполняй хорошо любое дело, на которое тебя поставили... Ну и ладно. И хватит об этом. Сам справится.

А грузовичок уже катился по диабазу, скользкому от осевшего тумана, и здания по сторонам стали ниже, дряхлее, и цепочки фонарей, протянувшиеся вдоль улицы, стали тусклее и реже. Цепочки эти впереди сходились в туманное расплывчатое пятно, на мостовой и на тротуарах не было ни души, даже дворники почему-то не попадались, только на углу

Семнадцатого переулка, перед приземистой неуклюжей гостиницей, известной более под названием «Клопиный вольер», стояла телега с понурой лошадью, и в телеге кто-то спал, закутавшись с головой в брезент. Было четыре часа ночи — время самого крепкого сна, и ни одно окно не светилось в черных этажах.

Впереди слева из подворотни высунулся грузовик. Дональд помигал ему фарами, промчался мимо, а грузовик, такой же мусорщик, вывернув на дорогу, попытался их перегнать, но не на таковских напал, где ему было тягаться с Дональдом, — так, посветил фарами через заднее окно и отстал безнадежно. Еще одного мусорщика они обогнали в Горелых кварталах, и вовремя, потому что сразу за Горелыми кварталами начался булыжник, и Дональду пришлось-таки снизить скорость, чтобы старикашка невзначай не развалился.

Здесь стали попадаться встречные машины, уже пустые, — они шли со свалки и больше никуда не торопились. Потом от фонаря впереди отделилась неясная фигура, вышла на мостовую, и Андрей, сунув руку под сиденье, вытащил было тяжелую монтировку, но оказалось, что это полицейский, который попросил подбросить его до Капустного переулка. Ни Андрей, ни Дональд не знали, где это, и тогда полицейский, здоровенный мордастый дядька со светлыми лохмами, беспорядочно торчащими из-под форменной фуражки, сказал, что покажет.

Он встал на подножку рядом с Андреем и, держась за раму, всю дорогу недовольно крутил носом, словно бог весть что унюхал, хотя от самого от него так и шибало застаревшим потом, и Андрей вспомнил, что эта часть Города уже отключена от водопровода.

Некоторое время ехали молча, полицейский насвистывал из оперетки, а потом ни с того ни с сего сообщил, что на углу Капустного и Второй Левой нынче в полночь кокнули какого-то беднягу, все золотые зубы повыдергивали.

— Плохо работаете, — зло сказал ему Андрей.

Такие случаи выводили его из себя, а тон у полицейского был такой, что так и надавал бы ему по шее: сразу было видно, что ему совершенно безразличны и убийство, и убитый, и убийцы.

Полицейский озадаченно повернул широкую ряшку и спросил:

— Ты, что ли, меня учить будешь, как работать?

— Может быть, и я, — сказал Андрей.

Полицейский нехорошо прищурился, посвистел и сказал:

— Учителей-то, учителей!.. Куда ни харкни — везде учитель. Стоит и учит. Мусор уже возит, а все учит.

— Я тебя не учу... — начал было Андрей, повысив голос, но полицейский говорить ему не дал.

— Вот вернусь сейчас в участок, — спокойно сообщил он, — и позвоню к тебе в гараж, что у тебя подфарник правый не горит. Подфарник у него, понимаешь, не горит, а туда же — учит полицию, как работать. Молокосос.

Дональд вдруг рассмеялся сухим скрипучим смехом. Полицейский тоже ржанул и сказал совсем уже миролюбиво:

— Я один на сорок домов, понял? И оружие запретили носить. Чего же ты от нас хочешь? Тебя скоро дома резать начнут, не то что в переулках.

— Так а чего же вы? — ошеломленно сказал Андрей. — Протестовали бы, требовали бы...

— «Протестовали», — повторил полицейский язвительно. — «Требовали»... Новичок, что ли? Эй, шеф, — позвал он Дональда. — Притормози-ка. Мне здесь.

Он спрыгнул с подножки и вразвалку, не оглядываясь, направился в темную щель между покосившимися деревянными домами, где в отдалении горел одинокий фонарь, а под фонарем стояла кучка людей.

— Да что они, ей-богу, сдурели, что ли? — возмущенно сказал Андрей, когда машина снова тронулась. — Как это так — в городе полно шпаны, а полиция без оружия! Не может этого быть. У Кэнси же кобура на боку, что он в ней — сигареты носит?

— Бутерброды, — сказал Дональд.

— Ничего не понимаю, — сказал Андрей.

— Было разъяснение, — сказал Дональд. — «В связи с участившимися случаями нападения гангстеров на полицейских с целью захвата оружия»... и так далее.

Некоторое время Андрей размышлял, изо всех сил упираясь ногами, чтобы не подбрасывало над сиденьем. Булыжник практически уже кончился.

— По-моему, это ужасно глупо, — сказал он наконец. — А по-вашему?

— И по-моему тоже, — отозвался Дональд, неловко закуривая одной рукой.

— И вы об этом так спокойно говорите?

— Я уже свое отбеспокоился, — сказал Дональд. — Это очень старое разъяснение, вас еще здесь не было.

Андрей почесал макушку, наморщился. Черт его знает, может, и был какой-то смысл в этом разъяснении? В конце концов, полицейский-одиночка действительно соблазнительная приманка для этих гадов. Если

уж изымать оружие, то изымать надо, конечно, у всех. И конечно, дело не в этом дурацком разъяснении, а в том, что полиции мало и облав мало, а надо было бы устроить одну хорошенькую облаву и вымести всю эту нечисть одним махом. Население привлечь. Я бы, например, пожалуйста, пошел... Дональд бы, конечно, пошел... Надо будет написать мэру. Потом мысли его приняли вдруг новое направление.

— Слушайте, Дон, — сказал он. — Вот вы социолог. Я, конечно, считаю, что социология — это никакая не наука... я вам уже говорил... и вообще не метод. Но вы, конечно, много знаете, гораздо больше меня. Вот вы мне объясните: откуда в нашем Городе вся эта дрянь? Как они сюда попали — убийцы, насильники, ворье... Неужели Наставники не понимали, кого сюда приглашают?

— Понимали, наверное, — равнодушно ответил Дональд, с ходу проскакивая страховидную яму, наполненную черной водой.

— Так зачем же тогда?..

— Вором не рождаются. Вором становятся. А потом, как известно: «Откуда нам знать, что нужно Эксперименту? Эксперимент есть Эксперимент...» — Дональд помолчал. — Футбол есть футбол, мяч круглый, поле квадратное, пусть победит достойнейший...

Фонари кончились, жилая часть города осталась позади. Теперь по сторонам разбитой дороги тянулись заброшенные развалины — остатки нелепых колоннад, просевшие в скверные фундаменты, подпертые балками стены с зияющими дырами вместо окон, бурьян, штабеля гниющих бревен, заросли крапивы и колючек, чахлые, полузадушенные лианами деревца среди нагромождений почерневшего кирпича. А потом впереди опять возникло туманное сияние, Дональд свернул вправо, осторожно разминулся со встречным пустым грузовиком, пробуксовал в глубоких колеях, забитых грязью, и наконец затормозил вплотную к красным огонькам последнего в очереди мусорщика. Он заглушил двигатель и посмотрел на часы. Андрей тоже посмотрел на часы. Было около половины пятого.

— Часок простоим, — бодро сказал Андрей. — Пошли посмотрим, кто там впереди.

Сзади подошла и остановилась еще одна машина.

— Идите один, — сказал Дональд, откинулся на спинку сиденья и сдвинул поля шляпы на лицо.

Тогда Андрей тоже откинулся на спинку, поправил под собой пружину и закурил. Впереди полным ходом шла разгрузка — лязгали крышки баков, высокий голос учетчика кричал: «...восемь... десять...», на столбе покачивалась тысячесвечовая лампа под плоской жестяной тарелкой.

Потом вдруг заорали сразу в несколько глоток: «Куда, куда, мать твою?.. Сдай назад! Сам ты жопа слепая!.. По зубам захотел?..» Справа и слева громоздились горы мусора, слежавшегося в плотную массу, ночной ветерок наносил ужасную тухлятину.

Знакомый голос вдруг сказал над ухом:

— Здорово, говновозы! Как идет великий Эксперимент?

Это был Изя Кацман, в натуральную величину, — встрепанный, толстый, неопрятный и, как всегда, неприятно жизнерадостный.

— Слыхали? Есть проект окончательного решения проблемы преступности. Полиция упраздняется! Вместо нее будут по ночам выпускать на улицы сумасшедших. Бандитам и хулиганам конец — теперь только сумасшедший решится ночью выйти из дома!

— Неостроумно, — сказал Андрей сухо.

— Неостроумно? — Изя встал на подножку и просунул голову в кабину. — Наоборот! Чрезвычайно остроумно! Никаких же дополнительных расходов. Водворение сумасшедших на место постоянного жительства по утрам возлагается на дворников...

— За что дворникам выдается дополнительный паек в размере литра водки, — подхватил Андрей, чем и привел Изю в необъяснимый восторг: Изя принялся хихикать, издавая странные горловые звуки, брызгать и мыть ладони воздухом.

Дональд вдруг глухо выругался, распахнул свою дверцу, спрыгнул и исчез в темноте. Изя тут же перестал хихикать и обеспокоенно спросил:

— Что это с ним?

— Не знаю, — мрачно сказал Андрей. — Наверное, его от тебя затошнило... А вообще-то он уже несколько дней такой.

— Правда? — Изя поверх кабины глядел в ту сторону, куда ушел Дональд. — Жалко. Он хороший человек. Только очень уж неприспособленный.

— А кто приспособленный?

— Я приспособленный. Ты приспособленный. Ван приспособленный... Дональд давеча все возмущался: почему, чтобы свалить мусор, надо стоять в очереди? На кой хрен здесь учетчик? Что он учитывает?

— Ну и правильно возмущался, — сказал Андрей. — Действительно же, кретинизм какой-то.

— Но ведь ты же не нервничаешь по этому поводу, — возразил Изя. — Ты прекрасно понимаешь, что учетчик — человек подневольный. Поставили его учитывать, вот он и учитывает. А поскольку он учитывать не успевает, образуется, сами понимаете, очередь. А очередь — она и есть

очередь... — Изя снова забулькал и забрызгал. — Конечно, на месте начальства Дональд проложил бы здесь хорошую дорогу со съездами для сброса мусора, а учетчика, здоровенного бугая, отправил бы в полицию ловить бандитов. Или на передовую, к фермерам...

— Ну, — сказал Андрей нетерпеливо.

— Что — ну? Дональд ведь не начальство!

— Ну, а начальство почему так не сделает?

— А зачем ему? — радостно вскричал Изя. — Сам подумай! Мусор вывозится? Вывозится! Вывоз учитывается? Учитывается! Систематически? Систематически. Месяц окончится, будет представлен отчет: вывезено на столько-то баков говна больше, чем в прошлом месяце. Министр доволен, мэр доволен, все довольны, а что Дональд недоволен, так его сюда никто не гнал — доброволец!..

Грузовик впереди выбросил клуб синего дыма и проехал вперед метров на пятнадцать. Андрей торопливо пересел за руль, выглянул. Дональда нигде не было видно. Тогда он с опаской включил двигатель и кое-как продвинулся на те же пятнадцать метров, трижды заглохнув по дороге. Изя при этом шел рядом, испуганно шарахаясь каждый раз, когда машина принималась дергаться. Потом он принялся рассказывать что-то про Библию, но Андрей слушал плохо — он был весь мокрый от пережитого напряжения.

Под яркой лампой по-прежнему лязгали баки и стоял мат. В крышу кабины что-то ударилось и отскочило, но Андрей не обратил на это внимания. Сзади подошел со своим напарником, гаитянским негром, здоровенный Оскар Хайдеман, попросил закурить. Негр, по имени Сильва, почти невидимый в темноте, скалил белые зубы.

Изя пустился с ними в разговоры, причем Сильву он называл почему-то тонтон-макутом, а Оскара расспрашивал о каком-то Туре Хейердале. Сильва строил страшные рожи, изображал пальцами очки, делал вид, что строчит из автомата, Изя хватался за живот и делал вид, что сражен на месте, — Андрей ничего не понимал, и Оскар, по-видимому, тоже: очень скоро выяснилось, что он путает Гаити с Таити.

По крыше снова что-то прокатилось, и вдруг здоровенный ком слипшегося мусора ударился в капот и разлетелся в клочья.

— Эй! — крикнул Оскар в темноту. — Прекратите!

Впереди вновь заорали в двадцать глоток, плотность брани достигла вдруг немыслимого предела. Что-то происходило. Изя жалобно ойкнул и, схватившись за живот, согнулся пополам — теперь уже не в шутку. Андрей открыл дверцу, высунулся было наружу, и сейчас же в голову ему ударила

пустая консервная банка — не больно, но очень оскорбительно. Сильва пригнулся и скользнул в темноту. Андрей, прикрывая голову и лицо, озирался.

Ничего не было видно. Из-за куч мусора слева градом сыпались ржавые банки, куски гнилого дерева, старые кости, даже обломки кирпичей. Послышался звон разбиваемого стекла. Дикий возмущенный рев взлетел над колонной. «Какая сволочь там развлекается?!» — ревели чуть ли не хором. Зарычали включенные двигатели, вспыхнули фары. Некоторые грузовики принялись судорожно елозить взад-вперед: видимо, водители пытались развернуть их так, чтобы осветить мусорные хребты, откуда летели уже целые кирпичи и пустые бутылки. Еще несколько человек, пригнувшись как Сильва, ринулись в темноту.

Мельком Андрей заметил, что Изя с искривленным плачущим лицом скорчился возле заднего ската и ощупывает живот. Тогда Андрей нырнул в кабину, выхватил из-под сиденья монтировку и снова выскочил наружу. По башкам сволочей, по башкам! Видно было, как с десяток мусорщиков на четвереньках, цепляясь руками, остервенело карабкаются по склону. Кому-то из водителей удалось-таки поставить машину поперек, и свет фар озарил неровный гребень, ощетиненный обломками старой мебели, взлохмаченный тряпьем и обрывками бумаги, сверкающий битым стеклом, и над гребнем — высоко задранный ковш экскаватора на фоне черного неба. И что-то там шевелилось на ковше, что-то большое, серое с серебристым отливом. Андрей замер, вглядываясь, и в ту же минуту отчаянный вопль перекрыл всю разноголосицу:

— Это дьяволы! Дьяволы! Спасайтесь!..

И сейчас же со склона кубарем, на карачках, через голову, поднимая столбы пыли, в вихре рваного тряпья и бумажных лохмотьев, посыпались люди, — обезумевшие глаза, разинутые рты, размахивающие руки. Кто-то, обхватив руками голову, спрятав голову между сжатыми локтями, продолжая панически визжать, пронесся мимо Андрея, поскользнулся в колее, упал, снова вскочил и изо всех сил побежал дальше, по направлению к городу. Кто-то, хрипло дыша, втиснулся между радиатором Андреева грузовика и кузовом передней машины, застрял там, зацепился, принялся рваться и тоже заорал не своим голосом. Стало вдруг тише, только ворчали двигатели, и тут хлестко, словно удары бича, звонко защелкали выстрелы. И Андрей увидел — на гребне, в голубоватом свете фар — высокого тощего человека, который стоял спиной к машинам, держа пистолет в обеих руках, и раз за разом палил куда-то в темноту за гребень.

Он выстрелил пять или шесть раз в полной тишине, а потом из

темноты возник тысячеголосый нечеловеческий вой, злобный, мяукающий и тоскливый, как будто двадцать тысяч мартовских котов заорали одновременно в мегафоны, и тощий человек попятился, оступился, нелепо взмахнул руками и съехал на спине по склону. Андрей тоже попятился в предчувствии чего-то невыносимо страшного, и он увидел, как гребень вдруг зашевелился.

Серебристо-серые, невероятные, чудовищно уродливые призраки закишели вдруг там, засверкали тысячами кроваво светящихся глаз, заблестели миллионами яростно оскаленных влажных клыков, замахали лесом невообразимо длинных мохнатых лап. Пыль густой стеной взлетела над ними в свете фар, и сплошной ливень обломков, камней, бутылок, комков дряни обрушился на колонну.

Андрей не выдержал. Он нырнул в кабину, вжался в самый дальний угол и выставил перед собой монтировку, обмирая, как в кошмаре. Он абсолютно ничего не соображал, и когда какое-то темное тело заслонило открытую дверь, он заорал, не слыша собственного голоса, и принялся тыкать железом в мягкое, страшное, сопротивляющееся, лезущее на него, и тыкал до тех пор, пока жалобный вопль Изи: «Идиот, это же я!» не привел его в чувство. И тогда Изя влез в кабину, захлопнул за собой дверь и неожиданно спокойным голосом объявил:

— Ты знаешь, что это такое? Это обезьяны. Вот суки!

Сначала Андрей не понял его, потом понял, но не поверил.

— Ну да? — сказал он, вылез на подножку и выглянул из-за кабины.

Точно: это были обезьяны. Очень крупные, очень волосатые, очень свирепые на вид, но не дьяволы и не привидения, а всего лишь обезьяны. Андрея обдало жаром от стыда и облегчения, и в ту же секунду что-то тяжелое и твердое ахнуло его прямо по уху, да так, что другим ухом он ахнулся о крышу кабины.

— Все по машинам! — взревел где-то впереди властный голос. — Прекратить панику! Это павианы! Ничего страшного! По машинам и задний ход!..

В колонне стоял ад кромешный. Стреляли глушители, вспыхивали и гасли фары, двигатели ревели вразнос, сизый дым клубами поднимался к беззвездному небу. Из тьмы вдруг вынырнуло какое-то залитое черным и блестящим лицо, чьи-то руки схватили Андрея за плечи, встряхнули, как щенка, сунули боком в кабину, и тут же передний грузовик сдал назад и с хрустом врезался в радиатор, а грузовик сзади дернулся вперед и ударил в кузов, как в бубен, так, что там загремели потревоженные баки, а Изя дергал за плечо и приставал: «Ты машину водить умеешь или нет? Андрей!

Умеешь?», а из сизого дыма кто-то вопил истошно: «Убили! Спасите!», а властный голос все ревел: «Прекратить панику! Задняя машина, задний ход! Живо!», а сверху, справа, слева градом сыпалось твердое, лязгало по капоту, гремело по бакам, со звоном било в стекла, и непрерывно ныли и гудели сигналы, и все нарастал и нарастал гнусный мяукающий вой.

Изя вдруг сказал: «Ну, я пошел...» и, заранее прикрывая руками голову, вылез наружу. Он чуть не попал под машину, промчавшуюся по направлению к городу, — среди подпрыгивающих баков промелькнуло перекошенное лицо учетчика. Потом Изя исчез, и появился Дональд — без шляпы, ободранный, весь в грязи, — швырнул на сиденье пистолет, сел за руль, включил двигатель и, высунувшись из кабины, дал задний ход.

Видимо, какой-то порядок все-таки установился: панические вопли утихли, моторы ревели слаженно, и вся колонна понемногу пятилась назад. Даже каменно-бутылочный град, казалось, несколько поутих. Павианы прыгали и расхаживали по мусорному гребню, но вниз не спускались — только орали там, разевая собачьи пасти, и издевательски поворачивали к колонне лоснящиеся в свете фар ягодицы.

Грузовик катился все быстрее, снова пробуксовал в грязевой яме, выскочил на шоссе, развернулся. Дональд со скрежетанием переключил скорость, дал газ и, захлопнув дверцу, откинулся на сиденье. Впереди прыгали во мраке красные огоньки удирающих во весь дух машин.

Оторвались, с облегчением подумал Андрей и осторожно ощупал ухо. Ухо распухло и пульсировало. Надо же — павианы! Павианы-то откуда? Да такие здоровенные... да в таких количествах!.. Сроду у нас тут не было никаких павианов... если не считать, конечно, Изю Кацмана. И почему именно павианы? Почему не тигры?.. Он поерзал на сиденье, и в это время грузовик тряхнуло. Андрей подлетел и с размаху опустился на что-то твердое, незнакомое. Он сунул руку под зад и вытащил пистолет. Секунду он смотрел на него, не понимая. Пистолет был черный, небольшой, с коротким стволом и рифленой рукоятью. Потом Дональд вдруг сказал:

— Осторожнее. Дайте сюда.

Андрей отдал пистолет и некоторое время смотрел, как Дональд, изогнувшись, засовывает оружие в задний карман комбинезона. Его вдруг прошиб пот.

— Так это вы там... палили? — спросил он сипло.

Дональд не ответил. Он мигал единственной уцелевшей фарой, обгоняя очередной грузовик. Через перекресток, перед самым радиатором, пронеслись, изогнув хвосты, несколько павианов, но Андрею было уже не до них.

— Откуда у вас оружие, Дон?

Дональд опять не ответил, только сделал странный жест рукой — попытался надвинуть на глаза несуществующую шляпу.

— Вот что, Дон, — сказал тогда Андрей решительно. — Мы сейчас же едем в мэрию, вы сдадите пистолет и объясните, как он к вам попал.

— Бросьте чепуху молоть, — отозвался Дональд, сморщившись. — Дайте лучше сигарету.

Андрей машинально достал пачку.

— Это не чепуха, — сказал он. — Я не хочу ничего знать. Вы молчали — ладно, это ваше личное дело. И вообще я вам доверяю... Но в городе только у бандитов есть оружие. Я ничего такого не хочу сказать, но в общем я вас не понимаю... в общем, оружие надо сдать и все объяснить. И нечего делать вид, будто все это чепуха. Я же вижу, какой вы последнее время. Лучше пойти и сразу все рассказать.

Дональд на секунду повернул голову и посмотрел Андрею в лицо. Непонятно, что у него было в глазах — то ли насмешка, то ли страдание, — но он показался Андрею очень старым в этот момент, совсем дряхлым и каким-то загнанным. Андрей ощутил смущение и растерянность, но тут же взял себя в руки и твердо повторил:

— Сдать и все рассказать. Все!

— Вы понимаете, что обезьяны идут на город? — спросил Дональд.

— Ну и что? — растерялся Андрей.

— Действительно — ну и что? — сказал Дональд и неприятно рассмеялся.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Обезьяны уже были в городе. Они носились по карнизам, гроздьями висели на фонарных столбах, жуткими косматыми толпами плясали на перекрестках, липли к окнам, швырялись булыжниками, вывороченными из мостовой, гонялись за обезумевшими людьми, которые в одном белье выскочили на улицу.

Несколько раз Дональд останавливал машину, чтобы взять в кузов беженцев. Баки давно выкинули вон. Одно время перед грузовиком мчалась галопом осатаневшая лошадь, запряженная в телегу, а в телеге этой уже никто не спал, укутавшись в брезент, — там приседал и раскачивался, размахивал длинными волосатыми ручищами и пронзительно вопил здоровенный серебристый павиан. Андрей видел, как телега с треском врезалась в фонарный столб, лошадь с оборванными постромками понеслась дальше, а павиан лихо перелетел на ближайшую водосточную трубу и исчез на крыше.

На площади перед мэрией кипела паника. Подъезжали и отъезжали автомобили, бегали полицейские, бродили потерянные люди в исподнем, у подъезда какого-то чиновника прижали к стене, требовательно кричали на него, а он отпихивался тростью и отмахивался портфелем.

— Бардак, — сказал Дональд и выпрыгнул из машины.

Они вбежали в здание и сразу же потеряли друг друга в непроворотной толпе людей в штатском, людей в полицейской форме и людей в нижнем белье. Стоял многоголосый гомон, от табачного дыма ело глаза.

— Поймите! Не могу же я вот так — в одних подштанниках!

— ...Немедленно открыть арсенал и раздать оружие... Черт вас побери, ну хотя бы полицейским раздать оружие!..

— Где шеф полиции? Только что здесь крутился...

— У меня жена там осталась, вы можете это понять? И теща-старуха!

— Слушайте, да ничего страшного. Обезьяны — они и есть обезьяны...

— Представляешь, просыпаюсь я, а на подоконнике кто-то сидит...

— А шеф полиции где? Дрыхнет, толстая задница?

— Был у нас в переулке один фонарь. Повалили.

— Ковалевский! В двенадцатую комнату, быстро!

— Однако согласитесь, что в одних подштанниках...

— Кто умеет водить машину? Шофера! Все на площадь, к рекламной тумбе!

— Да где, черт побери, шеф полиции? Сбежал, что ли, сучара?

— Значит, так. Бери ребят — и в литейные мастерские. Там возьмешь эти... ну, штыри такие, для парковой ограды... Все бери, все! И сразу сюда...

— Как я гвоздану по этой волосатой морде, — даже руку отшиб, ей-богу... А он орет: «Господи! Что ты делаешь? Это же я — Фредди!..» Тьфу ты, пропасть...

— А духовые ружья годятся?

— В семьдесят второй квартал — три машины! В семьдесят третий квартал — пять машин...

— Извольте распорядиться, чтобы им выдали обмундирование второго срока. Только под расписку, чтобы потом вернули!

— Слушайте, у них хвосты есть? Или мне показалось?..

Андрея толкали, тискали, прижимали к стенам коридора, оттоптали все ноги, и он сам толкался, протискивался, отпихивал. Сначала он искал Дональда, чтобы в качестве свидетеля защиты присутствовать при покаянии и сдаче оружия, потом до него дошло, что нашествие павианов — дело, видимо, очень серьезное, раз поднялась такая кутерьма, и он немедленно пожалел, что грузовики водить не умеет, где находятся литейные мастерские с таинственными штырями — не знает, обеспечить кого-нибудь обмундированием второго срока — не может, и получается, что он тут как бы никому и не нужен. Он попытался, по крайней мере, сообщить о том, что видел своими глазами — может быть, эти сведения окажутся полезными, — но одни его не слушали вовсе, а другие, стоило ему начать, перебивали и принимались рассказывать сами.

С горечью он убедился, что знакомых лиц в этом круговороте мундиров и подштанников не было, мелькнул только черный Сильва с головой, обмотанной кровавой тряпкой, да тут же и исчез, — а между тем что-то явно предпринималось, кто-то кого-то организовывал и куда-то посылал, голоса становились все громче, тон их становился все увереннее, подштанники стали понемногу исчезать, а мундиров стало, наоборот, заметно больше, на какое-то мгновение Андрею даже почудился мерный грохот сапог и строевая песня, но оказалось, что это просто уронили переносимый сейф, и он скатился, грохоча, по ступенькам и застрял в дверях продовольственного отдела...

Тут Андрей увидел знакомое лицо — чиновника, бывшего сослуживца по бухгалтерии Палаты Мер и Весов. Андрей, распихивая встречных, догнал его, прижал к стене и единым духом выложил, что вот он, Андрей Воронин, — помните, мы вместе работали? — ныне грузчик-ассенизатор, никого найти не могу, направьте меня куда-нибудь в дело, ведь наверняка

же нужны люди... Чиновник некоторое время слушал, очумело моргая и делая слабые конвульсивные попытки вырваться, а потом вдруг оттолкнул Андрея, заорал: «Куда я вас направлю? Вы что, не видите — я бумаги несу на подпись!» и почти убежал по коридору.

Андрей сделал еще несколько попыток принять участие в организованных действиях, но все от него отказывались и отмахивались, все страшно спешили, не было буквально ни одного человека, который просто спокойно стоял бы на месте и, скажем, составлял бы списки добровольцев. Тогда Андрей ожесточился и принялся распахивать все двери подряд, надеясь найти хоть какое-нибудь ответственное лицо, которое не бегает, не кричит и не размахивает руками, — из самых общих соображений было ясно, что должен же где-то здесь быть некий штаб, откуда и направляется вся эта кипучая деятельность.

Первая комната оказалась пуста. Во второй — один человек в подштанниках громко кричал в телефонную трубку, а второй, чертыхаясь, натягивал на себя узкий канцелярский халат. Из-под халата выглядывали полицейские бриджи и чиненые-перечиненые полицейские же штиблеты без шнурков. Заглянув в третий кабинет, Андрей получил по глазам чем-то розовым с пуговицами и тотчас же отпрянул, успев заметить только весьма дородные и явно женские телеса. Зато в четвертой комнате оказался Наставник.

Он сидел на подоконнике с ногами, обхватив руками колени, и смотрел в черноту за стеклом, озаряемую летящим светом фар. Когда Андрей вошел, он повернул к нему доброе румяное лицо, как всегда немного вздернул брови и улыбнулся. И увидев эту улыбку, Андрей сразу успокоился. Злость его и ожесточение прошли, и стало ясно, что в конце концов все обязательно образуется, станет на свои места и вообще окончится благополучно.

— Вот, — сказал он, разводя руки и улыбаясь в ответ. — Оказался никому не нужен. Машину водить не умею, где находится гимназиум — не знаю... Суматоха, ничего не понять...

— Да, — сочувственно согласился Наставник. — Ужасная суматоха. — Он спустил ноги с подоконника, засунул под себя ладони и поболтал ногами, как ребенок. — Даже неприлично. Стыдно даже. Серьезные взрослые люди, в большинстве своем опытные... Значит, не хватает организованности! Правильно, Андрей? Значит, какие-то важные вопросы пущены на самотек. Неподготовленность... недостаток дисциплины... Ну и бюрократизм, конечно.

— Да! — сказал Андрей. — Конечно! Я, знаете, что решил? Не буду я

больше никого искать, и не буду я ничего выяснять, а возьму какую-нибудь палку и пойду. Присоединюсь к какому-нибудь отряду. А если не примут — сам. Там ведь женщины остались... и дети...

На каждое его слово Наставник коротко кивал, он больше не улыбался, лицо у него теперь было серьезное и сочувственное.

— Вот только одно... — сказал Андрей, сморщившись. — Как с Дональдом?

— С Дональдом? — переспросил Наставник, приподнимая брови. — Ах, с Дональдом Купером? — Он засмеялся. — Вы, конечно, решили, что Дональд Купер уже арестован и покаялся в своих преступлениях... Ничего подобного. Дональд Купер как раз сейчас организует отряд добровольцев для отражения этого бесстыдного нашествия, и, конечно, никакой он не гангстер и никаких преступлений не совершал, а пистолет выменял на черном рынке за старинные часы с репетиром. Что делать? Он всю жизнь проходил с оружием в кармане — привык!

— Ну, конечно! — сказал Андрей, чувствуя огромное облегчение. — Ясно же! Я ведь и сам не верил, просто я считал, что... Ладно! — Он повернулся, чтобы идти, но остановился. — Скажите... если не секрет, конечно... Скажите, зачем все это? Обезьяны! Откуда они? Что они должны доказать?

Наставник вздохнул и слез с подоконника.

— Вы опять задаете мне вопросы, Андрей, на которые...

— Нет! Я все понимаю! — проникновенно сказал Андрей, прижимая руку к груди. — Я только...

— Подождите. Вы опять задаете мне вопросы, на которые я просто не умею ответить. Поймите вы это, наконец: НЕ УМЕЮ!.. Эрозия построек, помните? Превращение воды в желчь... Впрочем, это было еще до вас... Теперь вот — павианы... Помните, вы все у меня допытывались, как это так: люди разных национальностей, а говорят все на одном языке и даже не подозревают этого. Помните, как это вас поражало, как вы недоумевали, пугались даже, как доказывали Кэнси, что он говорит по-русски, а Кэнси доказывал вам, что это вы сами говорите по-японски, помните? А теперь вот вы привыкли, теперь эти вопросы вам и в голову не приходят. Одно из условий Эксперимента. Эксперимент есть Эксперимент, что здесь еще можно сказать? — Он улыбнулся. — Ну, идите, идите, Андрей. Ваше место — там. Действие прежде всего. Каждый на своем месте, и каждый — все, что может!

И Андрей вышел, и даже не вышел, а выскочил в коридор, теперь уже совсем опустевший, и скатился по парадной лестнице на площадь, и сразу

же увидел деловитую, несуетливую толпу вокруг грузовика под фонарем и не колеблясь вмешался в эту толпу, протолкался вперед, ему сунули в руки тяжелое металлическое копье, и он почувствовал себя вооруженным, сильным и готовым к решительному бою.

Неподалеку кто-то — очень знакомый голос! — зычно командовал строиться в колонну по три, и Андрей, держа копье на плече, побежал туда и нашел себе место между грузным латиноамериканцем в подтяжках поверх ночной сорочки и тощим белобрысым интеллигентом в помятом костюме, который страшно нервничал — то и дело снимал свои очки, дышал на стекла, протирал носовым платочком и снова водружал на нос, поправляя двумя пальцами.

Отряд был невелик, всего человек тридцать. А командовал, оказывается, Фриц Гейгер, что было, с одной стороны, достаточно обидно, но, с другой стороны, нельзя было не признать, что в данной ситуации Фриц Гейгер, хотя и является бывшим фашистским недобитком, но оказался как-никак на своем, так сказать, месте.

Как и полагается бывшему унтер-офицеру вермахта, в выражениях он не стеснялся, и слушать его было довольно противно. «Па-а-др-равняйсь! — орал он на всю площадь, словно командовал полком на строевых учениях. — Эй, вы, там, в шлепанцах! Да, вы! Подберите брюхо!.. А вы что там раскорячились, как корова после случки? Вас не касается? Пики — к ноге!.. Не на плечо, а к ноге, я сказал, — вы, баба в подтяжках! Смир-р-рна! За мной, шагом... Ат-ставить! Шагом... арш!» Кое-как двинулись. Андрею сразу же наступили сзади на ногу, он споткнулся, толкнул плечом интеллигента, и тот, конечно, выронил в очередной раз протираемые очки. «Кар-р-рова!» — сказал ему Андрей, не сдержавшись. «Осторожнее! — завопил интеллигент высоким голосом. — Ради бога!..» Андрей помог ему найти очки, а когда Фриц налетел на них, захлебываясь от ярости, Андрей послал его к чертовой матери.

Вдвоем с интеллигентом, не перестававшим благодарить и спотыкаться, они догнали колонну, прошли еще метров двадцать и получили приказ «по машинам». Машина, впрочем, была всего одна — мощный спецгрузовик для перевозки цементного раствора. Когда погрузились, выяснилось, что под ногами чавкает и хлюпает. Человек в шлепанцах грузно перелез обратно через борт и объявил высоким голосом, что на ЭТОЙ машине лично он никуда не поедет. Фриц приказал ему вернуться в кузов. Человек еще более высоким голосом возразил, что он в шлепанцах и у него промокли ноги. Фриц помянул супоросую свинью. Человек в промокших шлепанцах, нисколько не испугавшись, возразил, что

ОН-то как раз не свинья, что свинья, возможно, и согласилась бы ехать в этой грязи, — он приносит глубокие извинения всем, согласившимся ехать в этом свинарнике, но... Тут из кузова вылез вдруг латиноамериканец, презрительно сплюнул Фрицу под ноги и, сунув большие пальцы под подтяжки, неторопливо зашагал прочь.

Наблюдая все это, Андрей испытывал определенное злорадство. Не то чтобы он одобрял поведение человека в шлепанцах и тем более поступок мексиканца — несомненно, оба они поступили не по-товарищески и вообще вели себя как обыватели, — но было крайне любопытно посмотреть, что теперь будет делать наш битый унтер и как он выберется из создавшейся ситуации.

Андрей был вынужден признать, что битый унтер выбрался из ситуации с честью. Не говоря ни слова, Фриц повернулся на каблуке, вскочил на подножку рядом с шофером и скомандовал: «Поехали!» Грузовик тронулся, и в ту же минуту включили солнце.

С трудом удерживаясь на ногах, поминутно хватаясь за соседей, Андрей, вывернув шею, наблюдал, как на своем обычном месте медленно разгорается малиновый диск. Сначала диск дрожал, словно пульсируя, становясь все ярче и ярче, наливался оранжевым, желтым, белым, потом он на мгновение погас и сейчас же вспыхнул во всю силу так, что смотреть на него стало невозможно.

Начался новый день. Непроглядно черное беззвездное небо сделалось мутно-голубым, знойным, пахнуло жарким, как из пустыни, ветром, и Город возник вокруг как бы из ничего — яркий, пестрый, исполосованный синеватыми тенями, огромный, широкий... Этажи громоздились над этажами, здания громоздились над зданиями, и ни одно здание не было похоже на другое, и стала видна раскаленная Желтая Стена, уходящая в небо справа, а слева, в просветах над крышами, возникла голубая пустота, как будто там было море, и сразу же захотелось пить. Многие по привычке сейчас же посмотрели на часы. Было ровно восемь.

Ехали недолго. Видимо, обезьяньи полчища еще не добрались сюда — улицы были тихи и пустынны, как всегда в этот ранний час. Кое-где в домах распахивались окна, заспанные люди сонно потягивались, равнодушно поглядывая на грузовик. Женщины в чепчиках вывешивали на подоконники матрасы, на одном из балконов усердно занимался зарядкой жилистый старик с развевающейся бородой и в полосатых трусах. Сюда паника еще не докатилась, но ближе к Шестнадцатому кварталу стали попадаться первые беженцы, встрепанные, не столько испуганные, сколько злые, некоторые с узлами за спиной. Эти люди, увидев грузовик,

останавливались, махали руками, кричали что-то. Грузовик с ревом повернул на Четвертую Левую, чуть не сбив престарелую пару, катившую перед собой двухколесную тележку с чемоданами, и остановился. Все сразу увидели павианов.

Павианы держались на Четвертой Левой как у себя дома — в джунглях или где они там живут. Загнув крючками хвосты, они ленивыми толпами бродили с тротуара на тротуар, весело прыгали по карнизам, раскачивались на фонарях, сосредоточенно искались, забравшись на рекламные тумбы, зычно перекликались, гримасничали, дрались и непринужденно занимались любовью. Шайка серебристых громил разносила продуктовый ларек, двое хвостатых хулиганов приставали к побелевшей от ужаса женщине, обмершей в подъезде, а какая-то мохнатая красотка, расположившись в будке регулировщика, кокетливо показывала Андрею язык. Теплый ветер нес вдоль улицы клубы пыли, перья из перин, листки бумаги, клочья шерсти и уже устоявшиеся запахи зверинца.

Андрей растерянно посмотрел на Фрица. Гейгер, сощурившись, с видом завзятого полководца озирал поле предстоящих действий. Шофер выключил двигатель, и наступившая тишина наполнилась дикими, совершенно не городскими звуками — ревом и мявом, низким бархатным курлыканьем, рыганьем, чавканьем, хрюканьем... Тут осажденная женщина вдруг завизжала изо всех сил, и Фриц приступил к делу.

— Выходи! — скомандовал он. — Живо, живо! Развернуться в цепь... В цепь, я сказал, а не в кучу! Вперед! Бейте их, гоните! Чтоб ни одной твари здесь не осталось! Бить по головам и по хребту! Не колоть, а бить! Вперед, живо! Не останавливаться, эй, вы, там!..

Андрей выскочил одним из первых. В цепь он разворачиваться не стал, а, перехватив свой железный дрын поудобнее, устремился прямо на помощь женщине. Хвостатые хулиганы, завидев его, залились дьявольским хохотом и вприпрыжку умчались вверх по улице, издевательски виляя лоснящимися ягодицами. Женщина продолжала визжать, изо всех сил зажмурившись и сжав кулаки, но теперь ей ничего больше не грозило, и Андрей, оставив ее, направился к бандитам, которые грабили ларек.

Это были могучие, видавшие виды экземпляры, особенно один, с угольно-черным хвостом, — он сидел на бочке, запускал в нее по плечо длиннющую мохнатую лапу, извлекал соленые огурцы и смачно хрупал ими, время от времени поплевывая на своих дружков, азартно отдиравших фанерную стену ларька. Заметив приближающегося Андрея, чернохвостый перестал жевать и плотоядно ухмыльнулся. Андрею эта ухмылка крайне не понравилась, но отступать было невозможно. Он взмахнул железным

шестом, заорал: «Пшел!» и бросился вперед.

Чернохвостый оскалился еще пуще — клыки у него были, как у кашалота, — лениво соскочил с бочки, отошел на несколько шагов в сторону и принялся выкусывать под мышкой. «Пшел, зараза!» — заорал Андрей еще громче и с размаху ударил железом по бочке. Тогда чернохвостый метнулся в сторону и одним прыжком оказался на карнизе второго этажа. Ободренный трусостью противника, Андрей подскочил к ларьку и грохнул своим ломом по стенке. Стенка дала трещину, приятели чернохвостого прыснули в разные стороны. Поле боя очистилось, Андрей огляделся.

Боевые порядки Фрица распались. Бойцы растерянно бродили по опустевшей улице, заглядывали в подворотни, останавливались и, задрав головы, смотрели на павианов, усеявших карнизы домов. Вдалеке, вращая над головой палкой, пылил по мостовой давешний интеллигент, преследуя какую-то хромую обезьяну, неторопливо трусившую в двух шагах перед ним. Воевать было не с кем, даже Фриц растерялся. Он стоял возле грузовика, хмурился и кусал палец.

Притихшие было павианы, ощутив себя в безопасности, снова принялись обмениваться репликами, чесаться и заниматься любовью. Наиболее наглые спускались пониже, с явной руганью гримасничали и оскорбительно показывали зады. Андрей снова увидел чернохвостого: тот был уже на другой стороне улицы, сидел на фонаре и заливался смехом. К фонарю с угрожающим видом направился маленький чернявый человек, похожий на грека. Он размахнулся и изо всей силы запустил железным штырем в чернохвостого. Раздался звон и дребезг, посыпалось стекло, чернохвостый от неожиданности подскочил на метр, чуть не сорвался, но ловко ухватился хвостом, принял прежнюю позу и вдруг, выгнув спину, обдал грека струей жидкого кала. У Андрея подступило к горлу, и он отвернулся. Поражение было полным, придумать что бы то ни было не представлялось возможным. Тогда Андрей подошел к Фрицу и спросил негромко:

— Ну, что будем делать?

— Хрен его знает, — злобно сказал Фриц. — Огнемет бы сюда...

— Может, кирпичей привезти? — спросил, подойдя, прыщавый парень в комбинезоне. — Я с кирпичного. Машина есть, в полчаса обернемся...

— Нет, — авторитетно произнес Фриц. — Кирпичи не годятся. Все стекла перебьем, а потом они же нас этими же кирпичами... Нет. Тут надо бы какую-нибудь пиротехнику... Ракеты, петарды... Эх, фосгену бы десяток баллонов!

— Откуда в городе петарды? — произнес презрительный бас. — А что касается фосгена, то, по-моему, уж лучше павианы...

Вокруг начальства начала собираться толпа. Один чернявый грек остался в стороне — изрыгая нечеловеческие проклятия, он отмывался у водоразборной колонки.

Краем глаза Андрей наблюдал, как чернохвостый и его приятели бочком-бочком снова подбираются к ларьку. Тут и там в окнах домов стали появляться бледные от пережитых страхов и красные от раздражения лица аборигенов, в основном женские. «Ну, чего вы там стали? — сердито кричали из окон. — Прогоните же их, вы, мужчины!.. Смотрите, ларек грабят!.. Мужчины, чего же вы стоите? Эй, ты, белобрысый! Командуй, что ли?.. Что вы стоите, как столбы?.. Господи, у меня дети плачут! Сделайте же так, чтобы мы могли выйти!.. Мужчины называется! Обезьян испугались!..» Мужчины угрюмо и пристыженно огрызались. Настроение было подавленное.

— Пожарников! Пожарников надо вызывать! — твердил презрительный бас, предпочитавший павианов фосгену. — С лестницами, с брандспойтами...

— Да бросьте вы, откуда у нас столько пожарников...

— Пожарники — на Главной.

— Может, факелы какие-нибудь запалить? Может, они огня испугаются!

— Черт! Какого дьявола у полицейских отобрали оружие? Пусть раздадут!

— А не двинуть ли нам, ребята, по домам? Я как подумаю, что у меня жена там сейчас одна...

— Это вы бросьте. У всех жены. Эти женщины — тоже чьи-то жены.

— Так-то оно так...

— Может, на крыши взобраться? С крыш их чем-нибудь... того...

— Чем ты их достанешь, балда? Палкой своей, что ли?

— У, гады! — заревел вдруг с ненавистью презрительный бас, разбежался и с натугой метнул свой лом в многострадальный ларек. Фанерную стенку пробило насквозь, шайка чернохвостого глянула с удивлением, помедлила и снова принялась за огурцы и картошку. Женщины в окнах издевательски захохотали.

— Ну что ж, — сказал кто-то рассудительно. — Во всяком случае, мы своим присутствием задерживаем их здесь, стесняем их, так сказать, действия. И то хорошо. Пока мы здесь, они побоятся продвинуться дальше в глубину...

Все принялись озираться и загомонили. Рассудительного быстро заставили замолчать. Во-первых, выяснилось, что павианы продвигаются-таки в глубину, невзирая на присутствие здесь рассудительного. А во-вторых, если бы даже они и не продвигались, то что же он, рассудительный, — собрался ночевать здесь? Жить здесь? Спать здесь? Какать и писать здесь?..

Тут послышалось неторопливое цоканье копыт, тележный скрип, все посмотрели вверх по улице и замолчали. По мостовой неторопливо приближалась пароконная телега. На телеге боком, свесив ноги в грубых кирзовых сапогах, дремал крупный мужчина в выгоревшей гимнастерке русского военного образца и в выгоревших же бриджах хэ-бэ. Склоненная голова мужчины была сплошь покрыта спутанным русым волосом. В огромных коричневых руках он вяло держал вожжи. Лошади — одна гнедая, другая серая в яблоках — переступали лениво и тоже, кажется, дремали на ходу.

— На рынок едет, — сказал кто-то почтительно. — Фермер.

— Да, ребята, фермерам горюшка мало — когда еще до них эта сволочь доберется...

— Между прочим, как представлю я себе павианов на посевах!..

Андрей с любопытством приглядывался. Фермера он видел впервые за все время своего пребывания в Городе, хотя слыхал об этих людях немало — были они, якобы, угрюмы и диковаты, жили далеко в диких местах, вели там суровую борьбу с болотами и джунглями, в город наезжали только для сбыта продуктов своего хозяйства и, в отличие от горожан, никогда не меняли профессии.

Телега медленно приближалась, возница, вздрагивая опущенной головой, время от времени, не просыпаясь, чмокал губами, несильно дергая вожжи, и вдруг обезьяны, настроенные до того довольно миролюбиво, пришли в необычайное злобное возбуждение. То ли их раздражили лошади, то ли им надоело, наконец, присутствие посторонних толп на их улице, но они вдруг загомонили, заметались, засверкали клыками, а несколько самых решительных вскарабкались по водостокам на крышу и принялись ломать там черепицу.

Один из первых обломков угодил вознице прямо между лопаток. Фермер вздрогнул, выпрямился и широко раскрытыми налитыми глазами обвел окрестности. Первым, кого он заметил, был все тот же очкастый интеллигент, который устало возвращался из своей безрезультатной погони и одиноко маячил позади телеги. Не говоря ни слова, фермер бросил вожжи (лошади сразу остановились), соскочил с телеги и, разворачиваясь на ходу,

ринулся было к обидчику, но тут другой кусок черепицы угодил интеллигенту по темечку. Интеллигент охнул, выронил шест и присел на корточки, обхватив руками голову. Фермер озадаченно остановился. Вокруг него на мостовую с треском падали куски черепицы, разлетаясь в оранжевую крошку.

— Отряд, в укрытие! — браво скомандовал Фриц и устремился в ближайшую подворотню. Все кинулись кто куда, врассыпную, Андрей прижался к стене в мертвой зоне и с интересом следил за фермером, который в полном обалдении озирался по сторонам и, по-видимому, ничегошеньки не соображал. Затуманенный взор его скользил по карнизам и водосточным трубам, облепленным беснующимися павианами, он зажмурился и затряс головой, а потом снова широко раскрыл глаза и громко произнес:

— Ядрит твою налево!

— В укрытие! — кричали ему со всех сторон. — Эй, борода! Сюда давай! По кумполу же получишь, обалдуй болотный!..

— Что же это такое? — громко вопросил фермер, обращаясь к интеллигенту, ползающему на карачках в поисках очков. — Это кто же такие здесь, вы не скажете?

— Обезьяны, разумеется, — сердито ответствовал интеллигент. — Неужели вы сами не видите, сударь?

— Ну и порядочки тут у вас, — ошеломленно произнес фермер, только теперь окончательно проснувшись. — И вечно вы тут что-нибудь выдумаете...

Этот сын болот был настроен теперь философски и добродушно. Он убедился, что нанесенная ему обида не может, собственно, считаться таковой, и теперь был просто несколько ошарашен зрелищем мохнатых орд, прыгающих по карнизам и фонарям. Он только укоризненно покачивал головой и скреб в бороде. Но тут интеллигент нашел, наконец, свои очки, подобрал шест и опрометью кинулся в укрытие, так что фермер остался посреди мостовой один-одинешенек — единственная и достаточно соблазнительная мишень для волосатых снайперов. Крайняя невыгодность такой позиции не замедлила себя обнаружить. Дюжина крупных осколков с треском лопнула у его ног, а обломки помельче забарабанили по патлатой голове и по плечам.

— Да что ж это такое! — взревел фермер. Новый осколок стукнул его в лоб. Фермер замолчал и стремглав бросился к своей телеге.

Это было как раз напротив Андрея, и Андрей подумал сначала, что фермер упадет сейчас боком на телегу, махнет по всем по двум и умчится к

себе на болота, подальше от этого опасного места. Но бородач и не думал махать по всем по двум. Бормоча: «З-за-ра-зы, пр-роститутки...», он с лихорадочной поспешностью и очень ловко расшпиливал свой воз. Андрею за его широкой спиной не было видно, что он там делает, но женщины в доме напротив все видели — они вдруг разом завизжали, захлопнули окна и скрылись. Андрей глазом моргнуть не успел. Бородач ловко присел на корточки, и над его головой поднялся к крышам толстый, масляно отсвечивающий ствол в дырчатом металлическом кожухе.

— А-атставить! — заорал Фриц, и Андрей увидел, как он громадными прыжками несется откуда-то справа прямиком к телеге.

— Ну, гады, ну, заразы... — бормотал бородач, совершая какие-то замысловатые и очень сноровистые движения руками, сопровождавшиеся скользящими металлическими щелчками и позвякиваниями. Андрей весь напрягся в предчувствии грохота и огня, и обезьяны на крыше, видимо, тоже что-то почуяли. Они перестали швыряться, присели на хвосты и, беспокойно вертя собачьими головами, принялись трескуче обмениваться какими-то своими соображениями.

Но Фриц был уже рядом с телегой. Он схватил бородача за плечо и повелительно повторил:

— Отставить!

— Подожди! — досадливо бормотал бородач, дергая плечом. — Да подожди, дай я их срежу, сволочь хвостатую...

— Я приказал — отставить! — гаркнул Фриц.

Тогда бородач поднял на него лицо и медленно поднялся.

— Чего такое? — спросил он, с неимоверным презрением растягивая слова. Ростом он был с Фрица, но заметно шире его и в плечах, и пониже спины.

— Откуда у вас оружие? — резко спросил Фриц. — Предъявите документы!

— Ах ты сопляк! — с грозным удивлением сказал бородач. — Документы ему! А вот этого не хочешь, вошь белобрысая?

Фриц не обратил внимания на неприличный жест. Продолжая глядеть бородачу прямо в глаза, он гаркнул на всю улицу:

— Румер! Воронин! Фрижа! Ко мне!

Услыхав свою фамилию, Андрей удивился, но тут же оттолкнулся от стены и неторопливо подошел к телеге. С другой стороны мелкой трусцой приближался приземистый вислоплечий Румер, в прошлом — профессиональный боксер, и бежал со всех ног дружок Фрица, маленький, тощий Отто Фрижа, золотушный юноша с сильно оттопыренными ушами.

— Давайте, давайте... — недобро усмехаясь, приговаривал фермер, наблюдая все эти военные приготовления.

— Я еще раз настоятельно прошу вас предъявить документы, — с ледяной вежливостью повторил Фриц.

— А шел бы ты в жопу, — лениво ответствовал бородач. Смотрел он теперь главным образом на Румера, а руку как бы невзначай положил на кнутовище весьма внушительного кнута, искусно сплетенного из сыромятной кожи.

— Ребята, ребята! — предостерегающе сказал Андрей. — Слушай, солдат, брось, не спорь, мы из мэрии...

— Барал я вашу мэрию, — ответствовал солдат, недобрым взглядом измеряя Румера с головы до пят.

— Ну, в чем тут дело? — осведомился тот негромко и очень хрипло.

— Вы отлично знаете, — сказал Фриц бородачу, — что оружие в черте города запрещено. Тем более — пулемет. Если у вас есть разрешение, прошу предъявить.

— А кто вы такие — разрешение у меня спрашивать? Что вы мне — полиция? Гестапо какое-нибудь?

— Мы — добровольный отряд самообороны.

Бородач ухмыльнулся.

— Ну и обороняйтесь, если вы из обороны, кто вам мешает?

Назревало нормальное, основательное, вдумчивое толковище. Отряд постепенно собирался вокруг телеги. Даже аборигены мужского пола вылезли из подъездов — кто с каминными щипцами, кто с кочергой, а кто и с ножкой от стула. С любопытством разглядывали бородача, зловещий пулемет, стоявший на брезенте торчком, что-то округлое и стеклянное, поблескивающее из-под брезента. Принюхивались — фермер был окружен своеобразной атмосферой запахов: пот, чесночная колбаса, спиртное...

Андрей же с каким-то умилением, удивлявшим его самого, разглядывал выцветшую, пропотевшую под мышками гимнастерку с одинокой (и то незастегнутой) бронзовой пуговичкой на вороте, знакомо сдвинутую на правую бровь пилотку со следом пятиконечной звезды, могучие кирзовые сапоги-говнодавы — только бородища, пожалуй, казалась здесь неуместной, не вписывалась в образ... И тут ему пришло в голову, что у Фрица все это должно было вызывать совсем иные ассоциации и ощущения. Он посмотрел на Фрица. Тот стоял прямой, сжав губы в тонкую линию, собравши нос в презрительные морщины, и старался заледенить бородача взглядом серо-стальных, истинно арийских глаз.

— Нам разрешения не полагаются, — лениво говорил между тем бородач, поигрывая кнутом. — Нам вообще ни хрена не полагается, только кормить вас, дармоедов, нам полагается...

— Ну хорошо, — гундел в задних рядах бас. — А пулемет-то откуда?

— А что — пулемет? Смычка, значит, города и деревни. Я тебе — четверть первача, ты мне — пулемет, все честно-благородно...

— Ну нет, — гундел бас. — Пулемет все-таки — это вам не игрушка, не молотилка какая-нибудь там...

— А мне вот кажется, — вмешался рассудительный, — что фермерам как раз оружие разрешено!

— Оружие никому не разрешено! — пискнул Фрижа и сильно покраснел.

— Ну и глупо! — откликнулся рассудительный.

— Ясное дело, что глупо, — сказал бородач. — Посидел бы ты у нас на болотах, да ночью, да еще когда гон идет...

— У кого гон? — с живейшим интересом осведомился интеллигент, протискавшийся со своими очками в первый ряд.

— У кого надо, у того и гон, — ответил ему фермер пренебрежительно.

— Нет, нет, позвольте... — заторопился интеллигент. — Ведь я биолог, и мне до сих пор не удается...

— Помолчите, — сказал ему Фриц. — А вам, — продолжал он, обращаясь к бородачу, — я предлагаю следовать за мной. Во избежание напрасного кровопролития предлагаю!

Взгляды их скрестились. И ведь надо же, почуял как-то прекрасный бородач, по каким-то одному ему заметным черточкам понял, с кем приходится иметь дело. Борода его раскололась ехидной ухмылкой, и он произнес противным, оскорбительно-тоненьким голосом:

— Млеко-яйки? Гитлер капут!

Ни черта не боялся он кровопролития — ни напрасного, никакого.

Фрица словно ударили в подбородок. Он откинул голову, бледное лицо сделалось пунцовым, на скулах выступили желваки. На мгновение Андрею показалось, что он сейчас бросится на бородача, и Андрей даже подался вперед, чтобы встать между ними, но Фриц сдержался. Кровь снова отлила от его лица, и он сухо объявил:

— Это к делу не относится. Извольте следовать за мной.

— Да отстаньте вы от него, Гейгер! — сказал бас. — Ясно же, что это фермер. Виданное ли это дело — к фермерам приставать!

И все вокруг закивали и забормотали, что да, явный фермер, уедет и

пулемет с собою заберет, не гангстер же он какой-нибудь, в самом-то деле.

— Нам павианов отражать надо, а мы тут в полицию играем, — добавил рассудительный.

Напряжение сразу вдруг разрядилось. Все вспомнили о павианах. Оказывается, павианы вновь разгуливали, где хотели, и держались как у себя в джунглях. Выяснилось также, что местному населению, по-видимому, надоело ждать решительных действий отряда самообороны. Население, по-видимому, решило, что толку от этого отряда не будет и надо как-то устраиваться самим. И уже женщины с кошелками, деловито поджав губы, спешили по своим утренним делам, причем многие держали в руках веники и палки от швабр, чтобы отмахиваться от самых настырных обезьян. С витрины магазина снимали ставни, а ларечник ходил вокруг своего разгромленного ларька, кряхтел, почесывал спину и явно что-то такое прикидывал. На автобусной остановке выросла очередь, а вот и первый автобус появился вдали. Нарушая постановление городского управления, он громко сигналил, разгоняя павианов, не знакомых с правилами уличного движения.

— Да, господа мои, — сказал кто-то. — Видимо, придется нам и к этому приспособиться. По домам, что ли, командир?

Фриц угрюмо исподлобья оглядывал улицу.

— Ну что ж... — произнес он обыкновенным человеческим голосом. — По домам так по домам.

Он повернулся и, сунув руки в карманы, первым направился к грузовику. Отряд потянулся за ним. Чиркали спички и зажигалки, кто-то обеспокоенно спрашивал, как же быть с опозданием на службу, хорошо бы справку какую-нибудь получить... Рассудительный и тут нашелся: сегодня все на службу опоздают, какие там еще справки. Толковище вокруг телеги рассосалось. Остались только Андрей да очкастый биолог, который твердо положил себе выяснить, у кого же все-таки на болотах бывает гон.

Бородач, разбирая и вновь упаковывая пулемет, снисходительно пояснял, что гон на болотах бывает, брат, у краснух, а краснухи, брат, это вроде крокодилов. Видал крокодилов? Ну вот, только шерстью обросшие. Красной такой шерстью, жесткой. И когда у них гон идет, тут уж, браток, держись подальше. Во-первых, они здоровые, что твои быки, а во-вторых, ничего во время этого дела не замечают — дом не дом, сарай не сарай, все разносят в щепки...

Глаза у интеллигента горели, он жадно слушал, поминутно поправляя очки растопыренными пальцами. Фриц позвал из грузовика: «Эй, вы едете или нет? Андрей!» Интеллигент оглянулся на грузовик, посмотрел на часы,

жалобно застонал и принялся бормотать извинения и благодарности. Потом он схватил бородача за руку, изо всех сил потряс и убежал. А Андрей остался.

Он и сам не знал, почему остается. У него случилось что-то вроде приступа ностальгии. И не то чтобы он соскучился по русской речи — ведь все кругом говорили по-русски; и не то чтобы этот бородач казался ему воплощением родины, вовсе нет. Но было в нем что-то такое, по чему Андрей основательно истосковался, что-то такое, чего он не мог получить ни от строгого язвительного Дональда, ни от веселого, горячего, но все-таки какого-то чужого Кэнси, ни от Вана, всегда доброго, всегда благожелательного, но очень уж забитого. Ни тем более от Фрица, мужика по-своему замечательного, но как-никак вчерашнего смертельного врага... Андрей и не подозревал, что так истосковался по этому загадочному «чему-то».

Бородач искоса взглянул на него и спросил:

— Земляк, что ли?

— Ленинградец, — сказал Андрей, ощущая неловкость, и, чтобы как-то затушевать эту неловкость, достал сигареты и предложил бородачу.

— Вон как... — сказал тот, вытаскивая сигарету из пачки. — Земляки, выходит. А я, браток, вологодский. Череповец — слыхал? Охцы-мохцы Череповцы...

— А как же! — страшно обрадовался Андрей. — Там же сейчас металлургический комбинат отгрохали, огромнейший заводище!

— Ой ты? — сказал бородач довольно равнодушно. — И его, значит, тоже в оборот взяли... Ну ладно. А ты что здесь делаешь? Как зовут-то?

Андрей назвался.

— А я, видишь ты, крестьянствую, — продолжал бородач. — Фермер, по-здешнему. Юрий Константинович, фамилия — Давыдов. Выпить хочешь?

Андрей замялся.

— Рановато как будто... — сказал он.

— Ну, может, и рановато, — согласился Юрий Константинович. — Мне ведь еще на рынок надо. Я, понимаешь, вчера вечером приехал и — прямо в мастерские, мне там давно пулемет обещали. Ну, то, се, опробовали машинку, сгрузил я им, значит, окорока, четверть самогону, гляжу — солнце выключили... — Рассказывая все это, Давыдов кончил упаковывать свой воз, разобрал вожжи, сел боком в телегу и тронул лошадей. Андрей пошел рядом.

— Да-а, — продолжал Юрий Константинович. — Выключили тут,

значит, солнце. А он мне и говорит: «Пойдем, говорит, я тут одно место знаю». Поехали мы туда, выпили, закусили. С водкой сам знаешь в городе как, а у меня самогон. Они, видишь ты, музычку ставят, а я выпивку. Ну, бабы, конечно... — Давыдов пошевелил бородой от воспоминаний, затем продолжал, понизив голос: — У нас, браток, на болотах с бабами очень туго. Есть, понимаешь, одна вдова, ну, ходим к ней... у ней муж в запрошлом году утонул... Ну и знаешь же, как получается, — сходить-то сходишь, деваться некуда, а потом — то ты ей молотилку почини, то с урожаем подсоби, то культиватор... А, з-зараза! — Он вытянул кнутом павиана, увязавшегося за телегой. — В общем, житуха у нас там, браток, приближенная к боевым условиям. Без оружия никак нельзя. А кто этот тут у вас, белобрысый? Немец?

— Немец, — сказал Андрей. — Бывший унтер-офицер, под Кенигсбергом попал в плен, а из плена — сюда...

— То-то я смотрю — морда противная, — сказал Давыдов. — Они, глистоперы, меня до самой Москвы гнали, в госпиталь загнали, ползадницы начисто снесли. Ну, а потом я им тоже дал. Танкист я, понял? В последний раз уже под Прагой горел... — Он опять покрутил бородой. — Ну ты скажи, какая судьба! Надо же, где встретились!

— Да нет, он мужик ничего, деловой, — сказал Андрей. — И смелый. Выпендриваться, правда, любит, но работник хороший, энергичный. Для Эксперимента он, по-моему, очень полезный человек. Организатор.

Давыдов некоторое время молчал, почмокивая на лошадей.

— Приезжает это к нам на болота один на прошлой неделе, — заговорил он наконец. — Ну, собрались мы у Ковальского — это тоже фермер, поляк, километрах в десяти от меня, дом у него хороший, большой. Да-а... Собрались, значит. Ну, и этот начинает нам баки вертеть: есть ли у нас правильное понимание задач Эксперимента. А сам он из мэрии, из сельхозотдела. Ну, и мы видим, конечно, что ведет он к тому, что ежели, скажем, есть у нас правильное понимание, то хорошо бы, значит, налог повысить... А ты женатый? — спросил он вдруг.

— Нет, — сказал Андрей.

— Я это к тому, что переночевать бы мне сегодня где-нибудь. У меня еще завтра утром здесь одно дело назначено.

— Ну конечно! — сказал Андрей. — Какой может быть разговор? Приезжайте, ночуйте, места у меня сколько угодно, буду только рад...

— Ну и я буду рад, — сказал Давыдов, улыбаясь. — Как-никак, а земляки все-таки.

— Адрес запишите, — сказал Андрей. — Есть у вас на чем записать?

— Говори так, — сказал Давыдов. — Я запомню.

— Адрес простой: улица Главная, дом сто пять, квартира шестнадцать. Со двора. Если меня вдруг не будет, загляните к дворнику, там китаец есть такой, Ван, я у него ключ оставлю.

Очень Давыдов нравился Андрею, хотя, по-видимому, взгляды их не во всем совпадали.

— Ты какого года? — спросил Давыдов.

— Двадцать восьмого.

— А из России когда?

— В пятьдесят первом. Всего четыре месяца назад.

— Ага. А я из России в сорок седьмом сюда подался... Скажи-ка ты мне, Андрюха, как там на деревне — лучше стало?

— Ну конечно! — сказал Андрей. — Все восстановили, цены каждый год снижают... Сам я в деревне, правда, после войны не был, но если судить по кино, по книгам, живут теперь в деревне богато.

— Гм... Кино, — с сомнением произнес Давыдов. — Кино, понимаешь, это такое дело...

— Нет, ну почему же... В городе, в магазинах-то все есть. Карточки отменили давно. Откуда берется? Из деревни ведь...

— Это точно, — сказал Давыдов. — Из деревни... А я, понимаешь, пришел с фронта — жены нет, померла. Сын без вести пропал. На деревне — пустота. Ладно, думаю, это мы поправим. Войну кто выиграл? Мы! Значит, теперь наша сила. Предлагают мне председателем. Согласился. На деревне одни бабы, так что и жениться не надо было. Сорок шестой кое-как протянули, ну, думаю, теперь полегче станет... — Он вдруг замолчал и молчал долго, словно бы позабыв про Андрея. — Счастье для всего человечества! — проговорил он неожиданно. — Ты как — в это веришь?

— Конечно.

— Вот и я поверил. Нет, думаю, деревня — это дело мертвое. Это ошибка какая-то, думаю. До войны — за грудь, после войны — за горло. Нет, думаю, так они нас задавят. И жизнь ведь, понимаешь, беспросветная, как генеральские погоны. Я уж было пить начал, а тут — Эксперимент. — Он тяжело вздохнул. — Значит, ты полагаешь, получится у них Эксперимент?

— Почему это — у них? У нас!

— Ну, пускай у нас. Получится или нет?

— Должен получиться, — сказал Андрей твердо. — Все зависит только от нас.

— Что от нас зависит — мы делаем. Там делали, здесь делаем...

Вообще-то, конечно, грех жаловаться. Жизнь хотя и тяжелая, но не в пример. Главное — сам ты, сам, понял? А если приедет какой-нибудь — уронишь его, бывает, в нужник, и вася-кот!.. Партийный? — спросил он вдруг.

— Комсомолец. Вы, Юрий Константинович, что-то уж больно мрачно настроены. Эксперимент есть Эксперимент. Трудно, ошибок много, но иначе, наверное, и невозможно. Каждый — на своем посту, каждый — все, что может.

— А ты на каком же посту?

— Мусорщик, — гордо сказал Андрей.

— Большой пост, — сказал Давыдов. — А специальность у тебя есть?

— Специальность у меня очень специальная, — сказал Андрей. — Звездный астроном.

Он произнес это стеснительно и искоса поглядел на Давыдова, ожидая насмешки, но Давыдов, наоборот, страшно заинтересовался.

— В сам-деле, астроном? Слушай, браток, так ты ж должен знать, куда это нас занесло. Планета это какая-нибудь или, скажем, звезда? У нас, на болотах то есть, каждый вечер по этому вопросу сцепляются — до драк доходит, ей-богу! Насосутся самогонки и давай, кто во что горазд... Есть такие, знаешь, что считают: мы здесь вроде как в аквариуме сидим — тут же, на Земле. Здоровенный такой аквариум, только в нем вместо рыб — люди. Ей-богу! А ты как считаешь — с научной точки зрения?

Андрей почесал в затылке и засмеялся. У него в квартире по этому же поводу дело тоже доходило чуть ли не до драк — и без всякой самогонки. А насчет аквариума буквально теми же словами, хихикая и брызгая, не раз распространялся Изя Кацман.

— Как тебе, понимаешь... — начал он. — Сложно все это. Непонятно. А с научной точки зрения я тебе только одно скажу: вряд ли это другая планета, и тем более — звезда. По-моему, все здесь искусственное, и к астрономии никакого отношения не имеет.

Давыдов покивал.

— Аквариум, — сказал он убежденно. — И солнце здесь вроде лампочки, и стена эта желтая до небес... Слушай-ка, вот этим проулком я на рынок попаду или нет?

— Попадешь, — сказал Андрей. — Адрес мой не забыл?

— Не забыл, вечером жди...

Давыдов хлестнул по лошадям, присвистнул, и телега, грохоча, скрылась в проулке. Андрей направился домой. Вот славный мужик, думал он растроганно. Солдат! В Эксперимент он, конечно, не пошел, а от

трудностей убежал, но тут я ему не судья. Он — раненый, хозяйство было разрушено, мог он дрогнуть?.. Да и здесь, видно, житье у него тоже не сахар. Да и не один он здесь такой, дрогнувший, много здесь таких...

По Главной уже вовсю разгуливали павианы. То ли Андрей к ним пригляделся, то ли они сами как-то переменились, но они уже вовсе не казались такими наглыми или, тем более, страшными, как несколько часов назад. Они мирно устраивались кучками на солнцепеке, тараторили, искались, а когда мимо них проходили люди, протягивали мохнатые лапы с черными ладошками и просительно помаргивали слезящимися глазами. Было похоже, как будто в городе объявилось вдруг огромное количество нищих.

У ворот своего дома Андрей увидел Вана. Ван сидел на тумбе, печально сгорбившись, опустив меж колен натруженные руки.

— Баки потеряли? — спросил он, не поднимая головы. — Посмотри, что делается...

Андрей заглянул в подворотню и ужаснулся. Навалено было, казалось, до самой лампочки. Только к двери дворницкой вела узенькая тропиночка.

— Господи! — сказал Андрей и засуетился. — Я сейчас... подожди... сейчас сбегаю... — Он судорожно пытался припомнить, по каким улицам они с Дональдом гнали вчера ночью и в каком месте беженцы вышвырнули баки из кузова.

— Не надо, — безнадежным голосом сказал Ван. — Уже приезжала комиссия. Переписали номера баков, обещали к вечеру привезти. К вечеру они, конечно, не привезут, но, может быть, хотя бы к утру, а?

— Ты понимаешь, Ван, — сказал Андрей, — это был такой ад кромешный, стыдно вспоминать...

— Я знаю. Мне Дональд рассказал, как это было.

— Дональд уже дома? — оживился Андрей.

— Да. Он сказал, чтобы я к нему никого не пускал. Он сказал, что у него болят зубы. Я дал ему бутылку водки, и он ушел.

— Вот как... — проговорил Андрей, снова оглядывая кучи мусора.

И вдруг ему до такой степени, невыносимо, почти до истерики, до крика, захотелось помыться, сбросить вонючий комбинезон, забыть о том, что завтра придется лопатой разворачивать все это добро... Все вокруг стало липким и зловонным, и Андрей, не говоря больше ни слова, бросился через двор, на свою лестницу, наверх, через три ступеньки, дрожа от нетерпения, добрался до квартиры, вытащил из-под резинового коврика ключ, распахнул дверь, и душистая одеколонная прохлада приняла его в свои ласковые объятия.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прежде всего он разделся. Догола. Скомкал комбинезон и белье, швырнул все в ящик с грязным барахлом. Грязь в грязь. Затем, стоя голышом посередине кухни, он огляделся и содрогнулся от нового отвращения. Кухня была завалена грязной посудой. В углах громоздились тарелки, затянутые голубоватой паутиной плесени, милосердно скрывавшей какие-то черные комья. Стол был заставлен мутными захватанными бокалами, стаканами и банками из-под консервированных фруктов. Мойка была забита чашками и блюдцами. А на табуретках тихо смердели потемневшие кастрюли, засаленные сковородки, дуршлаги и котелки. Он приблизился к мойке и пустил воду. О счастье! Вода была горячая! И он принялся за дело.

Перемывши всю посуду, он схватился за швабру. Он действовал истово и с энтузиазмом, как будто смывал грязь со своего собственного тела. Однако на все пять комнат его не хватило. Он ограничился кухней, столовой и спальней. В остальные комнаты он только заглянул с некоторым недоумением — никак он не мог привыкнуть и понять, зачем одному человеку столько комнат, да еще таких безобразно огромных и затхлых. Он поплотнее прикрыл двери туда и заставил их стульями.

Теперь надо было бы смотаться в лавку, купить что-нибудь на вечер. Давыдов придет, да и из обычной кодлы кто-нибудь завалится наверняка... Но сначала он решил помыться. Вода шла уже почти холодная, и все-таки это было прекрасно. Потом он застелил на постели свежие простыни. А когда он увидел на своей постели чистое белье, хрустящие накрахмаленные наволочки, когда он ощутил запах свежести, исходивший от них, ему вдруг страшно захотелось полежать чистым телом в этой давно забытой чистоте, и он рухнул так, что взвыли дурные пружины и затрещало старое полированное дерево.

Да, это было прекрасно! Это было прохладно, душисто, скрипуче, и справа, в пределах досягаемости, обнаружилась пачка сигарет и спички, а слева, в тех же пределах, — полочка с избранными детективами. Немного огорчало, что в пределах досягаемости не оказалось пепельницы, а полочку он, оказывается, забыл протереть от пыли, но это уже были совершенные пустяки. Он выбрал «Десять негритят» Агаты Кристи, закурил и принялся читать.

Когда он проснулся, было еще светло. Он прислушался. В квартире и в доме стояла тишина, только вода, обильно капавшая из неисправных

кранов, создавала странный звуковой узор. Кроме того, вокруг было чисто, и это тоже было странно и в то же время неизъяснимо приятно. Потом в дверь постучали. Ему представился Давыдов, могучий, загорелый, пахнущий сеном и свежим перегаром, как он стоит на лестничной площадке, держа лошадей под уздцы, с бутылкой самогона наготове. Снова постучали, и он проснулся окончательно.

— Иду! — заорал он, вскочил и забегал по спальне, ища трусы. Ему попались под руку полосатые пижамные штаны, забытые прежними хозяевами, и он торопливо натянул их. Резинка была слабая, и штаны пришлось придерживать сбоку.

Противу ожидания за парадной дверью не слышалось добродушного мата, не ржали кони и не булькала жидкость. Заранее улыбаясь, Андрей отодвинул засов, распахнул дверь, крякнул и отступил на шаг, вцепившись в проклятую резинку и второй рукой тоже. Перед ним стояла давешняя Сельма Нагель, новенькая из восемнадцатого номера.

— Сигареты у вас не найдется? — спросила она без всякой приветливости.

— Да... пожалуйста... заходите... — пробормотал Андрей, пятясь.

Она вошла и прошла мимо него, обдав его запахом какой-то неслыханной парфюмерии. Она прошла в столовую, а он захлопнул дверь и с отчаянным криком «Одну минуточку, подождите, я сейчас!» бросился в спальню. Ай-яй-яй, говорил он себе. Ай-яй-яй, как же это я так... Впрочем, на самом деле он нисколько не стыдился, а был даже рад, что вот его застали такого чистого, умытого, широкоплечего, с гладкой кожей и прекрасно развитыми бицепсами и трицепсами — даже одеваться жалко. Однако одеться было все-таки необходимо, он полез в чемодан, покопался там и натянул гимнастические брюки и синюю застиранную спортивную куртку с переплетенными буквами «ЛУ» на спине и на груди. В таком виде он и явился перед хорошенькой Сельмой Нагель: грудь колесом, плечи разведены, походка с оттяжечкой, в протянутой руке — пачка сигарет.

Хорошенькая Сельма Нагель равнодушно взяла сигарету, чиркнула зажигалкой и закурила. На Андрея она даже и не смотрела, и вид у нее был такой, словно на все на свете ей наплевать. Вообще-то при дневном свете она и не казалась такой уж хорошенькой. Лицо у нее было скорее неправильное и грубоватое даже, нос коротковат и вздернут, скулы слишком широкие, а большой рот намазан слишком густо. Однако ножки ее, основательно обнаженные, были превыше всех и всяческих похвал. Остальное, к сожалению, разглядеть было невозможно — черт знает, кто научил ее носить такую мешковатую одежду. Свитер. Да еще с таким

ошейником. Как у водолаза.

Она сидела в глубоком кресле, положив одну прекрасную ногу на другую прекрасную ногу, и равнодушно осматривалась, держа сигарету по-солдатски, огоньком в ладонь. Андрей развязно, но изящно присел на край стола и тоже прикурил.

— Меня зовут Андрей, — сказал он.

Она обратила свой равнодушный взгляд на него. И глаза у нее были не такие, какими казались давеча ночью. Глаза были большие, но вовсе не черные, а бледно-голубые, почти прозрачные.

— Андрей, — повторила она. — Поляк?

— Нет, русский. А вас зовут Сельма Нагель, вы из Швеции.

Она покивала.

— Из Швеции... Так это вас вчера в участке лупили?

Андрей опешил.

— В каком участке? Никто меня не лупил.

— Слушай, Андрей, — сказала она. — Почему у меня здесь машинка не работает? — Она вдруг поставила на колено маленькую лакированную коробочку, чуть больше спичечного коробка. — На всех диапазонах один треск и вой, никакого кайфа.

Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник.

— Вот это да! — пробормотал он. — Неужели детекторный?

— Откуда я знаю? — Она отобрала у него приемник, раздалось хрипение, треск разрядов и заунывное подвывание. — Не работает, и все. А ты что, никогда таких не видел?

Андрей помотал головой. Потом сказал:

— Вообще-то он и не должен у тебя работать. Здесь всего одна радиостанция, так она транслирует прямо в сеть.

— Господи, — сказала Сельма. — А что ж тогда здесь делать? И ящика нет...

— Какого ящика?

— Ну, телика... Ти-ви!..

— А... Да, это у нас планируется не скоро.

— Ну и тоска!..

— Можно патефон завести, — предложил Андрей стеснительно. Ему было неловко. Действительно, что это такое — ни радио, ни телевидения, ни кино...

— Патефон? Это еще что такое?

— Не знаешь, что такое патефон? — удивился Андрей. — Ну,

граммофон. Ставишь пластинку...

— А, проигрыватель... — сказала Сельма без всякого воодушевления. — А магнитофона нет?

— Вот еще, — сказал Андрей. — Что я тебе — радиоузел, что ли?

— Дикий ты какой-то, — объявила Сельма Нагель. — Одно слово — русский. Ну ладно, граммофон ты свой слушаешь, водку, наверное, пьешь, а еще что ты делаешь? Мотоцикл гоняешь? Или у тебя даже мотоцикла нет?

Андрей рассердился.

— Я сюда не мотоциклы гонять приехал. Я здесь для того, чтобы работать. А вот ты, интересно, что здесь собираешься делать?

— Работать он приехал... — сказала Сельма. — Ты скажи, за что тебя в участке лупили? За наркоту?

— Да не лупили меня в участке! Откуда ты это взяла? И вообще у нас в полиции никого не бьют, это тебе не Швеция.

Сельма присвистнула.

— Ну-ну, — сказала она насмешливо. — Значит, мне померещилось.

Она сунула окурок в пепельницу, закурила новую сигарету, поднялась и, как-то забавно пританцовывая, прошлась по комнате.

— А кто тут до тебя жил? — спросила она, останавливаясь перед огромным овальным портретом какой-то сиреневой дамы с болонкой на коленях. — У меня, например, — явный сексуальный маньяк. По углам порнография, на стенах — использованные презервативы, а в шкафу — целая коллекция женских подвязок. Даже не поймешь, то ли он фетишист, то ли он лизунчик...

— Врешь, — сказал Андрей, обмирая. — Врешь ты все, Сельма Нагель.

— Зачем это мне врать? — удивилась Сельма. — А кто жил? Не знаешь?

— Мэр! Мэр нынешний там жил, понятно?

— А, — сказала Сельма равнодушно. — Понятно.

— Что — понятно? — сказал Андрей. — Что это тебе понятно?! — вскричал он, накаляясь. — Что ты вообще можешь здесь понимать?! — Он замолчал. Об этом нельзя было говорить. Это надо было пережить внутри себя.

— Лет ему, наверное, под пятьдесят, — с видом знатока объявила Сельма. — Старость на носу, бесится человек. Климакс! — Она усмехнулась и снова уставилась на портрет с болонкой.

Наступило молчание. Андрей, стиснув зубы, переживал за мэра. Мэр

был обширный, представительный, с необычайно располагающим лицом, сплошь благородно седой. Он прекрасно говорил на собраниях городского актива — о воздержании, о гордом аскетизме, о силе духа, о внутреннем заряде стойкости и морали. А когда они встречались на лестничной площадке, он обязательно протягивал для пожатия большую теплую сухую руку и с неизменной вежливостью и предупредительностью осведомлялся, не мешает ли Андрею по ночам стук его, мэра, пишущей машинки...

— Не верит! — сказала вдруг Сельма. Она, оказывается, больше не смотрела на портрет, она с каким-то сердитым любопытством разглядывала Андрея. — Не веришь — не надо. Мне вот только все это отмывать противно. Нельзя тут кого-нибудь нанять, что ли?

— Нанять... — тупо повторил Андрей. — Фиг тебе! — сказал он злорадно. — Сама отмоешь. Тут белоручкам делать нечего.

Некоторое время они молча разглядывали друг друга со взаимной неприязнью. Потом Сельма пробормотала, отведя глаза:

— Черт меня сюда принес! Что мне тут делать?

— Ничего особенного, — сказал Андрей. Он пересилил свою неприязнь. Человеку надо было помочь. Он уже навидался тут новичков. Всяких. — Что все, то и ты. Пойдешь на биржу, заполнишь книжку, бросишь в приемник... Там у нас установлена распределяющая машина. Ты кем была на том свете?

— Фокстейлером, — сказала Сельма.

— Кем?

— Ну, как тебе объяснить... Раз-два, ножки врозь...

Андрей опять обмер. Врет, пронеслось у него в голове. Все ведь брешет, девка. Идиота из меня делает.

— И хорошо зарабатывала? — саркастически спросил он.

— Дурак, — сказала она почти ласково. — Это же не для денег. Просто интересно. Скука же...

— Как же так? — сказал Андрей горестно. — Куда же твои родители смотрели? Ты же молодая, тебе бы учиться и учиться...

— Зачем? — спросила Сельма.

— Как — зачем? В люди вышла бы... Инженером бы стала, учителем... Могла бы вступить в компартию, боролась бы за социализм...

— Боже мой, боже мой... — хрипло прошептала Сельма, как подрубленная упала в кресло и уронила лицо в ладони. Андрей испугался, но в то же время ощутил и гордость, и чудовищную свою ответственность.

— Ну что ты, что ты... — сказал он, неловко придвигаясь к ней. — Что было, то было. Все. Не расстраивайся. Может быть, и хорошо, что так у

тебя получилось: здесь ты все наверстаешь. У меня полно друзей, все — настоящие люди... — Он вспомнил Изю и сморщился. — Поможем. Вместе будем драться. Здесь ведь дела до черта! Беспорядка много, неразберихи, просто дряни — каждый честный человек на счету. Ты представить себе не можешь, сколько сюда всякого барахла набежало! Не спрашиваешь его, конечно, но иногда так и тянет спросить: ну чего тебя сюда принесло, на кой ляд ты здесь кому нужен?..

Он совсем было уже решился по-дружески, даже по-братски, потрепать Сельму по плечу, но тут она спросила, не отрывая ладоней от лица:

— Значит, не все здесь такие?

— Какие?

— Как ты. Идиоты.

— Ну знаешь!

Андрей соскочил со стола и пошел кругами по комнате. Вот ведь буржуйка. Шлюха, а туда же. Интересно ей, видите ли... Впрочем, прямота Сельмы ему даже импонировала. Прямота всегда хороша. Лицом к лицу, через баррикаду. Это не то что Изя, скажем: ни нашим ни вашим — скользкий, как червяк, и везде просочится...

Сельма хихикнула у него за спиной.

— Ну чего забегал? — сказала она. — Я же не виновата, что ты такой идиотик. Ну, извини.

Не давая себе оттаять, Андрей решительно рубанул ладонью воздух.

— Вот что, — сказал он. — Ты, Сельма, очень запущенный человек, и отмывать тебя придется долго. И ты не воображай, пожалуйста, что я обиделся лично на тебя. Это с теми, кто тебя до такого довел, у меня да — личные счеты. А с тобой — никаких. Ты здесь — значит ты наш товарищ. Будешь работать хорошо — будем хорошими друзьями. А работать хорошо — придется. Здесь у нас, знаешь, как в армии: не умеешь — научим, не хочешь — заставим! — Ему очень нравилось, как он говорит, — так и вспоминались выступления Леши Балдаева, комсомольского вожака факультета, перед субботниками. Тут он обнаружил, что Сельма наконец отняла ладони от лица и смотрит на него с испуганным любопытством. Он одобряюще подмигнул ей. — Да-да, заставим, а ты как думала? У нас, бывало, на стройку уж такие сачки приезжали — поначалу только и норовят в ларек да в лесок. И ничего! Как миленькие! Труд, знаешь, даже обезьяну очеловечивает...

— А здесь у вас всегда обезьяны по улицам бродят? — спросила Сельма.

— Нет, — сказал Андрей, помрачнев. — Только с сегодняшнего дня. В честь твоего прибытия.

— Очеловечивать их будете? — вкрадчиво осведомилась Сельма.

Андрей через силу ухмыльнулся.

— Это уж как придется, — сказал он. — Может быть, действительно придется очеловечивать. Эксперимент есть Эксперимент.

При всей издевательской сумасбродности мысль эта показалась ему не лишенной какого-то рационального зерна. Надо будет вечером этот вопрос поднять, мелькнуло у него в голове. Но тут же у него возникла и другая мысль.

— Ты что вечером собираешься делать? — спросил он.

— Не знаю. Как придется. А что здесь у вас делают?

Раздался стук в дверь. Андрей посмотрел на часы. Было уже семь, сборище начиналось.

— Сегодня ты — у меня, — сказал он Сельме решительно. С этим разболтанным существом действовать можно было только решительно. — Веселья особенного не обещаю, но с интересными людьми познакомишься. Идет?

Сельма пожала плечиком и стала оправлять волосы. Андрей пошел открывать. В дверь стучали уже каблуком. Это был Изя Кацман.

— У тебя что — женщина? — спросил он прямо с порога. — Когда ты, наконец, звонок поставишь, хотел бы я знать?

Как всегда, в первые минуты появления на сборище Изя был аккуратно причесан, при крахмальном воротничке и при сверкающих манжетах. Узкий отглаженный галстук с высокой точностью располагался на линии нос — пупок. Но все равно, Андрей предпочел бы сейчас увидеть Дональда или Кэнси.

— Заходи, заходи, трепло, — сказал он. — Что это с тобой сегодня — раньше всех заявился?

— А я знал, что у тебя женщина, — ответствовал Изя, потирая руки и хихикая, — и поспешил взглянуть.

Они вошли в столовую, и Изя широкими шагами устремился к Сельме.

— Изя Кацман, — представился он бархатным голосом. — Мусорщик.

— Сельма Нагель, — лениво отозвалась Сельма, протягивая руку. — Шлюха.

Изя даже закряхтел от наслаждения и бережно поцеловал протянутую руку.

— Между прочим! — сказал он, поворачиваясь к Андрею и снова к Сельме. — Вы слыхали? Совет районных уполномоченных рассматривает

проект решения, — он поднял палец и повысил голос, — «Об упорядочении положения, создавшегося в связи с наличием в городской черте больших скоплений собакоголовых обезьян»... Уф! Предлагается всех обезьян зарегистрировать, снабдить металлическими ошейниками и бляхами с собственными именами, а затем приписать к учреждениям и частным лицам, которые впредь и будут за них ответственны! — Он захихикал, захрюкал и с протяжными тоненькими стонами принялся бить кулаком правой руки в раскрытую ладонь левой. — Грандиозно! Все дела заброшены, на всех заводах срочно изготовляют ошейники и бляхи. Господин мэр лично берет под свою опеку трех половозрелых павианов и призывает население последовать его примеру. Ты возьмешь себе павианиху, Андрей? Сельма будет против, но таково требование Эксперимента! Как известно, Эксперимент есть Эксперимент. Надеюсь, вы не сомневаетесь, Сельма, что Эксперимент есть именно эксперимент — не экскремент, не экспонент, не перманент, а именно Эксперимент?..

Андрей сказал, с трудом прорвавшись сквозь бульканье и стоны:

— Ну, пошел, пошел трепаться!..

Этого он больше всего опасался. На свежего человека такой вот нигилизм и наплевизм должен был производить самое разрушительное действие. Конечно, куда как заманчиво бродить вот так из дома в дом, хихикать и оплевывать все направо и налево, вместо того чтобы, стиснув зубы...

Изя перестал хихикать и возбужденно прошелся по комнате.

— Может быть, это и трепотня, — сказал он. — Возможно. Но ты, Андрей, как всегда ни черта не понимаешь в психологии руководства. В чем, по-твоему, назначение руководства?

— Руководить! — сказал Андрей, принимая вызов. — Руководить, а не трепаться, между прочим, и не болтать. Координировать действия граждан и организаций...

— Стоп! Координировать действия — с какой целью? Что является конечной целью этого координирования?

Андрей пожал плечами.

— Это же элементарно. Всеобщее благо, порядок, создание оптимальных условий для движения вперед...

— О! — Изя опять вскинул палец. Рот его приоткрылся, глаза выкатились. — О! — повторил он и снова замолчал. Сельма смотрела на него с восхищением. — Порядок! — провозгласил Изя. — Порядок! — Глаза его выкатились еще больше. — А теперь представь, что во вверенном тебе городе появляются бесчисленные стада павианов. Изгнать их ты не

можешь — кишка тонка. Кормить их централизованно ты тоже не можешь — не хватает жратвы, резервов. Павианы попрошайничают на улицах — вопиющий беспорядок: у нас нет и не может быть попрошаек! Павианы гадят, за собой не убирают, и никто за ними убирать не намерен. Какой отсюда напрашивается вывод?

— Ну, уж во всяком случае, не ошейники надевать, — сказал Андрей.

— Правильно! — сказал Изя с одобрением. — Конечно, не ошейники надевать. Первый же напрашивающийся деловой вывод: скрыть существование павианов. Сделать вид, что их вовсе нету. Но это, к сожалению, тоже невозможно. Их слишком много, а правление у нас пока еще до отвращения демократическое. И вот тут появляется блестящая в своей простоте идея: упорядочить присутствие павианов! Хаос, безобразие узаконить и сделать таким образом элементом стройного порядка, присущего правлению нашего доброго мэра! Вместо нищенствующих и хулиганящих стад и шаек — милые домашние животные. Мы же все любим животных! Королева Виктория любила животных. Дарвин любил животных. Даже Берия, говорят, любил некоторых животных, не говоря уже о Гитлере...

— Наш король Густав тоже любит животных, — вставила Сельма. — У него — кошки.

— Прекрасно! — воскликнул Изя, ударяя кулаком в ладонь. — У короля Густава — кошки, а у Андрея Воронина — персональный павиан. А если он очень любит животных, то даже два павиана...

Андрей плюнул и отправился на кухню проверить запасы. Пока он копался в шкафчиках, разворачивая и осторожно нюхая какие-то запыленные пакеты с черствыми потемневшими остатками, голос Изи в столовой непрерывно гудел и слышался звонкий смех Сельмы, а также неизбежное хрюканье и бульканье самого Изи.

Жрать было нечего: куль картошки, начавшей уже прорастать, сомнительная банка с кильками и совершенно каменной консистенции буханка хлеба. Тогда Андрей залез в ящик кухонного стола и пересчитал наличность. Наличности было — как раз до получки и при условии, что он будет соблюдать экономию и не приглашать гостей, а, наоборот, похаживать в гости. В гроб они меня загонят, подумал Андрей мрачно. К черту, хватит. Всех выпотрошу. Что я им — кухмистерская, что ли? Павианы!

Тут в дверь снова постучали, и Андрей, зловеще ухмыляясь, отправился открывать. Мимоходом он отметил, что Сельма сидит на столе, подсунув под себя ладони, накрашенный рот — до ушей, сучка и сучка, а Изя разглагольствует перед нею, размахивая павианьими лапами, и уже

никакого лоска в нем нет: узел галстука под правым ухом, волосы дыбом, а манжеты — серые.

Оказалось, что прибыли экс-унтер-офицер вермахта Фриц Гейгер с личным дружком — рядовым того же вермахта Отто Фрижей.

— Явились? — приветствовал их Андрей со зловещей улыбкой.

Фриц немедленно воспринял это приветствие как выпад против достоинства немецкого унтер-офицера и окаменел лицом, а Отто, человек мягкий и неопределенных душевных очертаний, только щелкнул каблуками и искательно улыбнулся.

— Что за тон? — холодно осведомился Фриц. — Может быть, нам уйти?

— Ты жрать принес что-нибудь? — спросил Андрей.

Фриц сделал глубокомысленное движение нижней челюстью.

— Жрать? — переспросил он. — М-м, как тебе сказать... — И он вопросительно посмотрел на Отто. Отто сейчас же, стеснительно улыбаясь, вытащил из кармана галифе плоскую бутылку и протянул ее Андрею. Как пропуск — этикеткой наружу.

— Ну, это ладно... — смягчаясь, сказал Андрей и взял бутылку. — Но учтите, ребята, жрать абсолютно нечего. Может быть, у вас деньги есть хотя бы?

— Может быть, ты нас все-таки впустишь в дом? — осведомился Фриц. Голова его была слегка повернута ухом вперед: он прислушивался к взрывам женского смеха в столовой.

Андрей впустил их в прихожую и сказал:

— Деньги. Деньги на бочку!

— Даже здесь нам не удается избежать репараций, Отто, — сказал Фриц, раскрывая портмоне. — На! — Он сунул Андрею несколько бумажек. — Дай Отто какую-нибудь кошелку и скажи, что купить, — он сбегает.

— Погоди, не так быстро, — сказал Андрей и повел их в столовую. Пока щелкали каблуки, склонялись прилизанные прически и гремели солдатские комплименты, Андрей оттащил Изю в сторону и, не давая ему опомниться, обшарил все его карманы, чего Изя, впрочем, кажется, и не заметил, — он только вяло отбивался и все рвался закончить начатый анекдот. Забравши все, что удалось обнаружить, Андрей отошел и пересчитал репарации. Получалось не так чтобы уж очень много, но и не мало. Он огляделся. Сельма по-прежнему сидела на столе и болтала ногами. Меланхолия ее исчезла, она была весела. Фриц закуривал ей сигаретку, Изя, давясь и повизгивая, готовил новый анекдот, а Отто,

красный от напряженности и неуверенности в своих манерах, заметно шевелил большими ушами, торча среди комнаты по стойке смирно.

Андрей поймал его за рукав и потащил на кухню, приговаривая: «Без тебя, без тебя обойдутся...» Отто не возражал, он был даже, кажется, доволен. Очутившись на кухне, он сразу принялся действовать. Отобрал у Андрея корзину для овощей, вытряхнул из нее мусор в ведро (чего Андрей никогда не догадался бы сделать), быстро и аккуратно выстелил днище старыми газетами, мгновенно нашел кошелку, которую Андрей потерял еще в прошлом месяце, со словами: «Может, томатный соус попадется...» уложил в кошелку банку из-под компота, предварительно сполоснув ее, сунул туда же несколько сложенных газет про запас («Вдруг у них тары не будет...»), так что вся деятельность Андрея свелась к перекладыванию денег из кармана в карман, нетерпеливому переступанию с ноги на ногу и заунывному: «Да ладно тебе... Да будет... Ну пошли, что ли...»

— А ты тоже пойдешь? — благоговейно удивился Отто, закончив сборы.

— Да, а что?

— Да я и сам могу, — сказал Отто.

— Ну, сам, сам... Вдвоем быстрее. Ты встанешь к прилавку, я — в кассу...

— Это верно, — сказал Отто. — Да. Конечно.

Они вышли через черный ход и спустились по черной лестнице. По дороге спугнули павиана — бедняга бомбой вылетел в окно, так что они даже испугались за его жизнь, но оказалось — ничего, висит на пожарной лестнице и скалит клыки.

— Объедков бы ему дать, — сказал Андрей задумчиво. — У меня там объедков для целого стада...

— Сходить? — с готовностью предложил Отто.

Андрей только посмотрел на него и, сказавши: «Вольно!», пошел дальше. На лестнице уже пованивало. Вообще-то здесь и раньше всегда пованивало, но теперь появился некий новый душок, и, спустившись пролетом ниже, они обнаружили источник, и не один.

— Да, прибавится Вану работенки, — сказал Андрей. — Не дай бог теперь в дворники попасть. Ты кем сейчас работаешь?

— Товарищем министра, — уныло ответствовал Отто. — Третий день уже.

— Какого министра? — поинтересовался Андрей.

— Этого... профессионального обучения.

— Тяжело?

— Ничего не понимаю, — тоскливо сказал Отто. — Бумаг очень много, приказы, докладные записки... сметы, бюджет... И никто у нас там ничего не понимает. Все бегают, друг у друга спрашивают... Подожди, ты куда?

— В магазин.

— Нет. Пойдем к Гофштаттеру. У него и дешевле, и немец все-таки...

Пошли к Гофштаттеру. Гофштаттер держал на углу Главной и Староперсидского некую помесь зеленной с бакалейной. Андрей бывал здесь пару раз и каждый раз уходил несолоно хлебавши: продуктов у Гофштаттера было мало, и он сам выбирал себе покупателей.

Магазин был пуст, на полках стройными рядами тянулись одинаковые баночки с розовым хреном. Андрей вошел первым, и Гофштаттер, поднявши от кассы одутловатое бледное лицо, сейчас же сказал: «Закрываю». Но тут подоспел Отто, зацепившийся корзиной за дверную ручку, и одутловатое бледное лицо расплылось в улыбке. Закрытие лавки было, конечно, отложено. Отто и Гофштаттер удалились в недра заведения, где сейчас же зашуршали и заскрипели передвигаемые ящики, затарахтела ссыпаемая картошка, звякнуло наполненное стекло, зазвучали приглушенные голоса...

Андрей от нечего делать озирался. Да, частная торговлишка господина Гофштаттера представляла собой жалкое зрелище. И весы, конечно, не прошли соответствующего контроля, и с санитарией было неважно. Впрочем, это меня не касается, подумал Андрей. Когда все будет устроено как надо, эти гофштаттеры попросту вылетят в трубу. Да они, можно сказать, и сейчас уже вылетели. Во всяком случае, любого-каждого он уже не в силах обслуживать. Ишь замаскировался, хрену везде понаставил. Надо бы на него Кэнси напустить — развел тут черный рынок, националист паршивый. «Только для немцев»...

Отто выглянул из недр и шепотом сказал: «Деньги, быстренько!» Андрей торопливо передал ему ком смятых бумажек. Отто не менее торопливо отслюнил несколько штук, остальное вернул Андрею и снова исчез в недрах. Через минуту он появился за прилавком с руками, оттянутыми полной кошелкой и полной корзинкой. Позади него замаячила лунообразная физиономия Гофштаттера. Отто обливался потом и не переставал улыбаться, а Гофштаттер добродушно приговаривал: «Заходите, заходите, молодые люди, всегда вам рад, всегда рад истинным немцам... А господину Гейгеру особенный привет... На следующей неделе мне обещали подвезти немного свинины. Скажите господину Гейгеру, я ему оставлю килограмма три...» — «Так точно, господин Гофштаттер, — откликался

Отто, — все будет передано в точности, не беспокойтесь, господин Гофштаттер... И не забудьте, пожалуйста, передать большой привет фройлен Эльзе — от нас и в особенности от господина Гейгера...» Они гудели все это дуэтом до самого порога лавки, где Андрей отобрал у Отто тяжеленную кошелку, битком набитую ядреной чистой морковью, крепкой свеклой и сахарным луком, из-под которых торчало залитое сургучом горлышко бутылки и поверх которых бурно выпирал наружу всякий там порей, сельдерей, укроп и прочая петрушка.

Когда они свернули за угол, Отто поставил корзину на тротуар, вытащил большой клетчатый платок и, задыхаясь, принялся обтирать лицо, приговаривая:

— Подожди... Передохнуть надо... Ф-фу...

Андрей закурил сигарету и протянул пачку Отто.

— Где такую морковочку брали? — осведомилась, проходя мимо, женщина в кожаном мужском пальто.

— Все, все, — поспешно сказал ей Отто. — Последнюю взяли. Там уже закрыто... Черт, умаял меня лысый дьявол... — сообщил он Андрею. — Чего я ему там плел! Оторвет мне Фриц башку, когда узнает... Да я и не помню уже, что я там плел...

Андрей ничего не понимал, и Отто вкратце объяснил ему ситуацию.

Господин Гофштаттер, зеленщик из Эрфурта, всю жизнь был преисполнен надежд, и всю жизнь ему не везло. Когда в тридцать втором году какой-то еврей пустил его по миру, открыв напротив большой современный зеленной магазин, Гофштаттер осознал себя истинным немцем и вступил в штурмовой отряд. В штурмовом отряде он было сделал карьеру и в тридцать четвертом году уже собственноручно бил упомянутого еврея по морде и совсем было подобрался к его предприятию, но тут грянуло разоблачение Рема, и Гофштаттера вычистили. А он к тому времени был уже женат, и уже подрастала у него очаровательная белокурая Эльза. Несколько лет он кое-как перебивался, потом его взяли в армию, и он начал было завоевание Европы, но под Дюнкерком попал под бомбы собственной авиации и получил в легкие здоровенный осколок, так что вместо Парижа оказался в военном госпитале в Дрездене, где провалялся до сорок четвертого, и совсем было уже выписался, когда совершился знаменитый налет союзных армад, уничтоживший Дрезден в одну ночь. От пережитого ужаса у него выпали все волосы, и он немножко тронулся, по его же собственным рассказам. Так что, попав снова в родной Эрфурт, он просидел в подвале своего домика самое что ни на есть горячее время, когда еще можно было удрать на Запад. Когда же он решился, наконец,

выйти на свет божий, все было уже кончено. Зеленную лавку ему, правда, разрешили, но ни о каком расширении дела не могло быть и речи. В сорок шестом у него умерла жена, он в помрачении рассудка поддался на уговоры Наставника и, плохо понимая, что он, собственно, выбирает, переселился с дочерью сюда. Здесь он немного отошел, хотя до сих пор, кажется, подозревает, что попал в большой специализированный концлагерь где-то в Средней Азии, куда сослали всех немцев из Восточной Германии. С черепушкой у него так и не восстановилось окончательно. Он обожает истинных немцев, уверен, что у него на них особенный нюх, смертельно боится китайцев, арабов и негров, присутствия которых здесь не понимает и объяснить не может, но более всего он почитает и уважает господина Гейгера. Дело в том, что во время одного из первых своих визитов к Гофштаттеру блестящий Фриц, пока Отто наполнял кошелки, кратко, по-военному, приволокнулся за белокурой Эльзой, осатаневшей без перспектив на приличное замужество. И с тех пор в душе сумасшедшего лысого Гофштаттера зародилась слепящая надежда, что этот великолепный ариец, опора фюрера и гроза евреев, выведет в конце концов несчастное семейство Гофштаттеров из бурно кипящих вод в тихую заводь.

— ...Фрицу что! — жаловался Отто, ежеминутно меняя руки, отмотанные корзиной. — Он у Гофштаттеров бывает раз, ну два в месяц, когда у нас жрать нечего, — пощупает эту дуру, и делов-то... А я сюда каждую неделю хожу, и по два раза, и по три раза в неделю... Ведь Гофштаттер-то дурак, дурак, а человек деловой, знаешь, какие он связи завязал с фермерами, — продукты у него первый сорт и недорого... Изоврался я вконец! Вечную привязанность Фрица к Эльзе я ему обеспечь. Неумолимый конец международного еврейства я ему обеспечь. Неуклонное движение войск великого райха к этой зеленной лавке я ему обеспечь... Я уже сам запутался и его, по-моему, до полного уж сумасшествия довел. Совестно же все-таки: сумасшедшего старика до полного сумасшествия довожу. Вот сейчас он спрашивает меня: что, мол, эти павианы должны означать? А я, не подумавши, ляпнул: десант, говорю, арийская, говорю, хитрость. Так ты не поверишь — он меня обнял и присосался что к твоей бутылке...

— А Эльза что? — с любопытством спросил Андрей. — Она-то ведь не сумасшедшая?

Отто залился пунцовым румянцем и зашевелил ушами.

— Эльза... — Он откашлялся. — Тоже работаю, как лошадь. Ей-то ведь все равно: Фриц, Отто, Иван, Абрам... Тридцать лет девке, а Гофштаттер к ней подпускает только Фрица да меня.

— Ну и сволочи же вы с Фрицем, — сказал Андрей искренне.

— Дальше некуда! — согласился Отто печально. — И ведь что самое ужасное: совершенно я не представляю, как мы из этой истории выпутаемся. Слабый я, бесхарактерный.

Они замолчали, и до самого дома Отто только пыхтел, меняя руки над корзиной. Подниматься наверх он не стал.

— Ты это отнеси и поставь воду в большой кастрюле, — сказал он. — А мне давай деньги, я смотаюсь в магазин, может, консервов каких-нибудь достану. — Он помялся, отводя глаза. — И ты, это... Фрицу... не надо. А то он из меня душу вытрясет. Фриц, он знаешь какой, — любит, чтобы все было шито-крыто. Да и кто не любит?

Они расстались, и Андрей попер корзинку и кошелку по черной лестнице. Корзина была такая тяжеленная, словно нагрузил ее Гофштаттер чугунными ядрами. Да, брат, думал Андрей с ожесточением. Какой уж тут Эксперимент, если такие дела делаются. Много ты с этим Отто да с этим Фрицем наэкспериментируешь. Надо же, суки какие — ни чести, ни совести. А откуда? — подумал он с горечью. Вермахт. Гитлерюгенд. Шваль. Нет, я с Фрицем поговорю! Этого так оставлять нельзя — морально же гниет человек на глазах. А человек из него получиться может! Должен! В конце концов, он мне тогда, можно сказать, жизнь спас. Ткнули бы мне перышко под лопатку — и баста. Все обгадились, все лапки кверху, один Фриц... Нет, это человек! За него драться надо...

Он поскользнулся на следах павианьей деятельности, выматерился и стал смотреть под ноги.

Едва очутившись на кухне, он понял, что в квартире все изменилось. В столовой гундел и сипел патефон. Слышался звон посуды. Шаркали ноги танцующих. И покрывая все эти звуки, раскатывался знакомый басовитый голосок Юрия свет-Константиновича: «Ты, браток, насчет экономии всякой и социологии — не нужно. Обойдемся. А вот свобода, браток, это другой разговор. За свободу и хребет поломать можно...»

На газовой плите уже била ключом вода в большой кастрюле, на кухонном столе лежал готовый, заново отточенный нож, и упоительно пахло жареным мясом из духовки. В углу кухни стояли, оперевшись друг на друга, два тучных рогожных мешка, а сверху на них — промасленный, прожженный ватник, знакомый кнут и какая-то сбруя. Знакомый пулемет стоял тут же — собранный, готовый к употреблению, с плоской вороненой обоймой, торчащей из казенника. Под столом масляно поблескивала четвертная бутыль с приставшей кукурузной шелухой и соломинками.

Андрей бросил корзину и кошелку.

— Эй, бездельники! — заорал он. — Вода кипит!

Бас Давыдова смолк, а в дверях появилась раскрасневшаяся, с блестящими глазами Сельма. За ее плечом верстой торчал Фриц. Видимо, они только что танцевали, и ариец пока не думал снимать здоровенные свои красные лапищи с талии Сельмы.

— Привет тебе от Гофштаттера! — сказал Андрей. — Эльза беспокоится, что ты не заходишь... Ведь ребеночку уже скоро месяц!

— Дурацкие шутки! — объявил Фриц с отвращением, однако лапы убрал. — Где Отто?

— И правда, вода кипит! — сообщила Сельма с удивлением. — Что теперь с ней делать?

— Бери нож, — сказал Андрей, — и начинай чистить картошку. А ты, Фриц, по-моему, очень любишь картофельный салат. Так вот займись, а я пойду выполнять роль хозяина.

Он двинулся было в столовую, но в дверях его перехватил Изя Кацман. Физиономия его сияла от восторга.

— Слушай! — прошептал он, хихикая и брызгаясь. — Откуда ты взял такого замечательного типа? У них там на фермах, оказывается, настоящий Дикий Запад! Американская вольница!

— Русская вольница ничем не хуже американской, — сказал Андрей с неприязнью.

— Ну да! Ну да! — закричал Изя. — «Когда еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот-переворот, а кто захочет захватить наш Бердичев, тому фурункул вскочит на живот!..»

— Это ты брось, — сказал Андрей сурово. — Это я не люблю... Фриц, отдаю тебе Сельму и Кацмана под командование, работайте, да побыстрее, жрать охота — сил нет... Да не орите здесь — Отто будет стучаться, он за консервами побежал.

Поставив все таким образом на свои места, Андрей поспешил в столовую и там прежде всего обменялся крепким рукопожатием с Юрием Константиновичем. Юрий Константинович, все такой же краснолицый и крепко пахнущий, стоял посередине комнаты, расставив ноги в кирзовых сапогах, засунув ладони под солдатский ремень. Глаза у него были веселые и слегка бешеные — такие глаза Андрей часто наблюдал у людей бесшабашных, любящих хорошо поработать, крепко выпить и ничего на свете не страшащихся.

— Вот! — сказал Давыдов. — Пришел-таки я, как обещал. Бутыль видел? Тебе. Картошка еще тебе — два мешка. Давали мне за них, понимаешь, одну вещь. Нет, думаю, на хрен мне все это. Отвезу лучше

хорошему человеку. Они тут в своих хоромах каменных живут, как гниют, белого света не видят... Слушай, Андрей, вот я тут Кэнси говорю, японцу, плюньте, говорю, ребята! Ну чего вы здесь еще не видели? Собирайте своих детишек, баб, девок, айда все к нам...

Кэнси, все еще в форме после дежурства, но в мундире нараспашку, неловко орудуя одной рукой, расставлял на столе разнокалиберную посуду. Левая рука у него была обмотана бинтом. Он улыбнулся и покивал Давыдову.

— Этим и кончится, Юра, — сказал он. — Вот будет еще нашествие кальмаров, и тогда мы все как один подадимся к вам на болота.

— Да чего вам ждать этих... как их... Плюньте вы на этих камаров. Вот завтра поеду поутру порожняком, телега пустая, три семьи свободно можно погрузить. Ты ведь не семейный? — обратился он к Андрею.

— Бог спас, — сказал Андрей.

— А девушка эта кто тебе? Или она не твоя?

— Она новенькая. Сегодня ночью прибыла.

— Так чего лучше? Барышня приятная, обходительная. Забирай и поехали, а? У нас там воздух. У нас там молоко. Ты ведь молока, наверное, уже год не пил свежего. Я вот все спрашиваю, почему в магазинах у вас молока нет? У меня у одного три коровы, я это молоко и государству сдаю, и сам ем, и свиней кормлю, и на землю лью... Вот у нас поселишься, понимаешь, проснешься поутру в поле идти, а она тебе, твоя-то, крынку парного, прямо из-под коровы, а? — Он крепко замигал обоими глазами по очереди, захохотал, ахнул Андрея по плечу и, твердо скрипя половицами, прошелся по комнате — остановил патефон и вернулся. — А воздух какой? У вас здесь и воздуха не осталось, зверинец у вас здесь, вот и весь ваш воздух... Кэнси, да что ты все стараешься? Девку позови, пусть поставит посуду.

— Она там картошку чистит, — сказал Андрей, улыбаясь. Потом спохватился и стал помогать Кэнси. Очень свой человек был Давыдов. Очень близкий. Будто знакомы уже целый год. А что, если и верно — махнуть на болота? Молоко не молоко, а жизнь там, наверное, действительно здоровее. Ишь он какой стоит, как памятник!

— Стучит там кто-то, — сообщил Давыдов. — Открыть или сам откроешь?

— Сейчас, — сказал Андрей и пошел к парадному. За дверью оказался Ван — уже без ватника, в синей саржевой рубахе до колен, с вафельным полотенцем вокруг головы.

— Баки привезли! — сказал он, радостно улыбаясь.

— Ну и хрен с ними, — ответствовал Андрей не менее радостно. — Баки подождут. Ты почему один? А Мэйлинь где?

— Она дома, — сказал Ван. — Устала очень. Спит. Сын немного захворал.

— Ну заходи, чего стоишь... Пойдем, я тебя с хорошим человеком познакомлю.

— А мы уже знакомы, — сказал Ван, входя в столовую.

— А, Ваня! — обрадованно закричал Давыдов. — И ты тоже тут! Нет, — сказал он, обращаясь к Кэнси. — Знал я, что Андрей — хороший парень. Видишь, все у него хорошие люди собираются. Тебя вот взять, или еврейчика этого... как его... Ну, теперь у нас пойдет пир горой! Пойду посмотрю, чего они там копаются. Там и делать-то нечего, а они, понимаешь, развели работу...

Ван быстро оттеснил Кэнси от стола и принялся аккуратно и ловко переставлять приборы. Кэнси свободной рукой и зубами поправлял повязку. Андрей сунулся ему помогать.

— Что-то Дональд не идет, — сказал он озабоченно.

— Заперся у себя, — отозвался Ван. — Не велел беспокоить.

— Чего-то он хандрит, ребята, последнее время. Ну и бог с ним. Слушай, Кэнси, что это у тебя с рукой?

Кэнси ответил, слегка скривив лицо:

— Павиан цапнул. Такая сволочь — до кости прокусил.

— Ну да? — поразился Андрей. — А мне показалось, они вроде мирные...

— Ну, знаешь, мирные... Когда тебя поймают и начнут тебе ошейник клепать...

— Какой ошейник?

— Приказ пятьсот семь. Всех павианов перерегистрировать и снабдить ошейником с номером. Завтра будем раздавать их населению. Ну, мы штук двадцать окольцевали, а остальных перегнали на соседний участок, пусть там разбираются. Ну, чего ты стоишь с открытым ртом?.. Рюмки давай, рюмок не хватает...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда выключили солнце, вся компания была порядочно уже на взводе. В мгновенно наступившей темноте Андрей вылез из-за стола и, сшибая ногами какие-то кастрюли, стоящие на полу, добрался до выключателя.

— Н-не пугайтесь, милая фройлейн, — бубнил у него за спиной Фриц. — Это здесь всегда...

— Да будет свет! — провозгласил Андрей, старательно выговаривая слова.

Под потолком вспыхнула пыльная лампочка. Свет был жалкий, как в подворотне. Андрей обернулся и оглядел собрание.

Все было очень хорошо. Во главе стола на высокой кухонной табуретке восседал, слегка покачиваясь, Юрий Константинович Давыдов, полчаса назад ставший для Андрея раз и навсегда дядей Юрой. В крепко сжатых зубах дяди Юры дымилась атлетическая козья нога, в правой руке он сжимал граненый стакан, полный благородного первача, а заскорузлым указательным пальцем левой водил перед носом сидящего рядом Изи Кацмана, который был уже вовсе без галстука и без пиджака, а на подбородке и на груди его сорочки явственно обнаруживались следы мясного соуса.

По правую руку от дяди Юры скромно сидел Ван — перед ним стояла самая маленькая тарелочка с маленьким кусочком и лежала самая щербатая вилка, а бокал для первача он взял себе с отбитым краем. Голова его совсем ушла в плечи, лицо с закрытыми глазами было поднято и блаженно улыбалось: Ван наслаждался покоем.

Быстроглазый разрумянившийся Кэнси с аппетитом закусывал кислой капустой и что-то живо рассказывал Отто, героически сражавшемуся с осоловением и в минуты одержанных побед громко восклицавшему: «Да! Конечно! Да! О да!»

Сельма Нагель, шведская шлюха, была прямо-таки красавица. Она сидела в кресле, перекинув ноги через мягкий подлокотник, и сверкающие эти ноги находились как раз на уровне груди бравого унтера Фрица, так что глаза у Фрица горели, и весь он шел красными пятнами от возбуждения. Он лез к Сельме с полным стаканом и все норовил выпить с нею на брудершафт, а Сельма отпихивала его своим бокалом, хохотала, болтала ногами и время от времени стряхивала волосатую ласковую лапу Фрица со своих коленок.

Только стул Андрея по другую сторону от Сельмы был пуст, и был печально пуст стул, поставленный для Дональда. Жалко как — Дональда нет, подумал Андрей. Но! Выдержим, перенесем и это! И не с таким нам приходилось справляться... Мысли его несколько путались, но общий настрой был мужественный, с легким налетом трагизма. Он вернулся на свое место, взял стакан и заорал:

— Тост!

Никто не обратил на него внимания, только Отто дернул головой, словно кусаемая слепнями лошадь, и отозвался: «Да! О да!»

— Я сюда приехал, потому что поверил! — громко басил дядя Юра, не давая хихикающему Изе убрать его сучковатый палец у себя из-под носа. — А поверил потому, что больше верить было не во что. А русский человек должен во что-то верить, понял, браток? Если ни во что не верить, ничего, кроме водки, не останется. Даже чтобы бабу любить, нужно верить. В себя нужно верить, без веры, браток, и палку хорошую не бросишь...

— Ну да, ну да! — откликался Изя. — Если у еврея отнять веру в бога, а у русского — веру в доброго царя, они становятся способны черт знает на что...

— Нет... Подожди! Евреи — это дело особое...

— Главное, Отто, не напрягайтесь, — говорил в то же время Кэнси, с удовольствием хрустя капустой. — Все равно никакого обучения нет и просто быть не может. Сами подумайте, зачем нужно профессиональное обучение в Городе, где каждый то и дело меняет профессию?

— О да! — ответствовал Отто, на секунду проясняясь. — То же самое я говорил господину министру.

— И что же министр? — Кэнси взял стакан первача и сделал несколько маленьких глотков — словно чай пил.

— Господин министр сказал, что это чрезвычайно интересная мысль, и предложил мне составить разработку. — Отто шмыгнул носом, глаза его налились слезами. — А я вместо этого пошел к Эльзе...

— ...И когда танк оказался на расстоянии двух метров от меня, — гундел Фриц, проливая первач на белые ноги Сельмы, — я вспомнил все!.. Вы не поверите, фройлейн, все прожитые годы прошли передо мною... Но я — солдат! С именем фюрера...

— Да нет давно вашего фюрера! — втолковывала ему Сельма, плача от смеха. — Сожгли его, вашего фюрера!..

— Фройлейн! — произнес Фриц, угрожающе выпячивая челюсть. — В сердце каждого истинного немца фюрер жив! Фюрер будет жить века! Вы — арийка, фройлейн, вы меня поймете: когда р-русский танк... в трех метрах... я, с именем фюрера!..

— Да надоел ты со своим фюрером! — заорал на него Андрей. — Ребята! Ну, сволочи же, слушайте же тост!

— Тост? — спохватился дядя Юра. — Давай! Вали, Андрюха!

— За псютздесдам! — вдруг выпалил Отто, отстраняя от себя Кэнси.

— Да заткнись ты! — гаркнул Андрей. — Изя, перестань ты скалиться! Я серьезно говорю! Кэнси, черт тебя подери!.. Я считаю, ребята,

что мы должны выпить... мы уже пили, но как-то мимоходом, а надо основательно, по-серьезному выпить за наш Эксперимент, за наше благородное дело и в особенности...

— За вдохновителя всех наших побед, товарища Сталина! — заорал Изя.

Андрей сбился.

— Нет... слушай... — пробормотал он. — Чего ты меня перебиваешь? Ну, и за Сталина, конечно... Черт, сбил меня совсем... Я хотел, чтобы мы за дружбу выпили, дурак!

— Ничего, ничего, Андрюха! — сказал дядя Юра. — Тост хороший, за Эксперимент надо выпить, за дружбу тоже надо выпить. Хлопцы, берите стаканы, за дружбу выпьем и чтобы все было хорошо.

— А я за Сталина выпью! — упрямилась Сельма. — И за Мао Цзе-дуна. Эй, Мао Цзе-дун, слышишь? За тебя пью! — крикнула она Вану.

Ван вздрогнул, жалобно улыбаясь, взял стакан и пригубил.

— Цзе-дун? — спросил Фриц угрожающе. — К-то такой?

Андрей залпом осушил свой стакан и, слегка оглушенный, торопливо тыкал вилкой в закуску. Все разговоры доносились сейчас до него словно из другой комнаты. Сталин... Да, конечно. Какая-то связь должна быть... Как это мне раньше в голову не приходило! Явления одного масштаба — космического. Должна быть какая-то связь и взаимосвязь... Скажем, такой вопрос: выбрать между успехом Эксперимента и здоровьем товарища Сталина... Что лично мне как гражданину, как бойцу... Правда, Кацман говорит, что Сталина не стало, но это не существенно. Предположим, что он жив. И предположим, что передо мной такой выбор: Эксперимент или дело Сталина... Нет, чепуха, не так. Продолжать дело Сталина под сталинским руководством или продолжать дело Сталина в совершенно других условиях, в необычных, в не предусмотренных никакой теорией — вот как ставится вопрос...

— А откуда ты взял, что Наставники продолжают дело Сталина? — донесся вдруг до него голос Изи, и Андрей понял, что уже некоторое время говорит вслух.

— А какое еще дело они могут делать? — удивился он. — Есть только одно дело на Земле, которым стоит заниматься, — построение коммунизма! Это и есть дело Сталина.

— Двойка тебе по «Основам», — отозвался Изя. — Дело Сталина — это построение коммунизма в одной отдельно взятой стране, последовательная борьба с империализмом и расширение социалистического лагеря до пределов всего мира. Что-то я не вижу, как ты

можешь эти задачи осуществить здесь.

— Ску-учно! — заныла Сельма. — Музыку давайте! Танцевать хочу!

Но Андрей уже ничего не видел и не слышал.

— Ты догматик! — гаркнул он. — Талмудист и начетчик! И вообще метафизик. Ничего, кроме формы, ты не видишь. Мало ли какую форму принимает Эксперимент! А содержание у него может быть только одно, и конечный результат только один: установление диктатуры пролетариата в союзе с трудящимися фермерами...

— И с трудовой интеллигенцией! — вставил Изя.

— С какой там еще интеллигенцией... Тоже мне говна-пирога — интеллигенция!..

— Да, правда, — сказал Изя. — Это из другой эпохи.

— Интеллигенция вообще импотентна! — заявил Андрей с ожесточением. — Лакейская прослойка. Служит тем, у кого власть.

— Банда хлюпиков! — рявкнул Фриц. — Хлюпики и болтуны, вечный источник расхлябанности и дезорганизации!

— Именно! — Андрей предпочел бы, чтобы его поддержал, скажем, дядя Юра, но и в поддержке Фрица была полезная сторона. — Вот, пожалуйста: Гейгер. Вообще-то — классовый враг, а позиция полностью совпадает с нашей. Вот и получается, что с точки зрения любого класса интеллигенция — это дерьмо. — Он скрипнул зубами. — Ненавижу... Терпеть не могу этих бессильных очкариков, болтунов, дармоедов. Ни внутренней силы у них нет, ни веры, ни морали...

— Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет! — металлическим голосом провозгласил Фриц.

— Э, нет! — сказал Андрей. — Тут мы с тобой расходимся. Это ты брось! Культура есть великое достояние освободившегося народа. Тут надо диалектически...

Где-то рядом гремел патефон, пьяный Отто, спотыкаясь, танцевал с пьяной Сельмой, но Андрея это не интересовало. Начиналось самое лучшее, то самое, за что он больше всего на свете любил эти сборища. Спор.

— Долой культуру! — вопил Изя, прыгая с одного свободного стула на другой, чтобы подобраться поближе к Андрею. — К нашему Эксперименту она отношения не имеет. В чем задача Эксперимента? Вот вопрос! Вот ты мне что скажи.

— Я уже сказал: создать модель коммунистического общества!

— Да на кой ляд Наставникам модель коммунистического общества, посуди ты сам, голова садовая!

— А почему нет? Почему?

— Я все-таки полагаю так, — сказал дядя Юра, — что Наставники — это не настоящие люди. Что они, как это сказать, другой породы, что ли... Посадили они нас в аквариум... или как бы в зоосад... и смотрят, что из этого получается.

— Это вы сами придумали, Юрий Константинович? — с огромным интересом повернулся к нему Изя.

Дядя Юра пощупал правую скулу и неопределенно ответил:

— В спорах родилось.

Изя даже стукнул кулаком по столу.

— Поразительная штука! — сказал он с азартом. — Почему? Откуда? У самых различных людей, причем мыслящих в общем-то вполне конформистски, почему рождается такое представление — о нечеловеческом происхождении Наставников? Представление, что Эксперимент проводится какими-то высшими силами.

— Я, например, спросил прямо, — вмешался Кэнси. — «Вы пришельцы?» Он от прямого ответа уклонился, но фактически и не отрицал.

— А мне было сказано, что они люди другого измерения, — сказал Андрей. О Наставнике говорить было неловко, как о семейном деле с посторонними людьми. — Но я не уверен, что я правильно понял... Может быть, это было иносказание...

— А я не желаю! — заявил вдруг Фриц. — Я — не насекомое. Я — сам по себе. А-а! — Он махнул рукой. — Да разве я попал бы сюда, если бы не плен?

— Но почему? — говорил Изя. — Почему? Я тоже ощущаю все время какой-то внутренний протест и сам не понимаю, в чем здесь дело. Может быть, их задачи в конечном счете близки к нашим...

— А я тебе о чем толкую! — обрадовался Андрей.

— Не в этом смысле, — нетерпеливо отмахнулся Изя. — Не так это все прямолинейно, как у тебя. Они пытаются разобраться в человечестве, понимаешь? Разобраться! А для нас проблема номер один — то же самое: разобраться в человечестве, в нас самих. Так, может быть, разбираясь сами, они помогут разобраться и нам?

— Ах нет, друзья! — сказал Кэнси, мотая головой. — Ах, не обольщайтесь. Готовят они колонизацию Земли и изучают на нас с вами психологию будущих рабов...

— Ну почему, Кэнси? — разочарованно произнес Андрей. — Почему такие страшные предположения? По-моему, просто нечестно так о них

думать...

— Да я, наверное, так и не думаю, — отозвался Кэнси. — Просто у меня какое-то странное чувство... Все эти павианы, превращения воды, всеобщий кабак изо дня в день... В одно прекрасное утро еще смешение языков нам устроят... Они словно систематически готовят нас к какому-то жуткому миру, в котором мы должны будем жить отныне, и присно, и во веки веков. Это как на Окинаве... Я был тогда мальчишкой, шла война, и у нас в школе окинавским ребятам запрещалось разговаривать на своем диалекте. Только по-японски. А когда какого-нибудь мальчика уличали, ему вешали на шею плакат: «Не умею правильно говорить». Так и ходил с этим плакатом.

— Да, да, понимаю... — проговорил Изя, с остановившейся улыбкой дергая и пощипывая бородавку на шее.

— А я — не понимаю! — объявил Андрей. — Все это — извращенное толкование, неверное... Эксперимент есть Эксперимент. Конечно, мы ничего не понимаем. Но ведь мы и не должны понимать! Это же основное условие! Если мы будем понимать, зачем павианы, зачем сменность профессий... такое понимание сразу обусловит наше поведение, Эксперимент потеряет чистоту и провалится. Это же ясно! Ты как считаешь, Фриц?

Фриц покачал белобрысой головой.

— Не знаю. Меня это не интересует. Меня не интересует, чего там ОНИ хотят. Меня интересует, чего Я хочу. А я хочу навести порядок в этом бардаке. Вообще, кто-то из вас говорил, я уже не помню, что, может быть, и вся задача Эксперимента состоит в том, чтобы отобрать самых энергичных, самых деловых, самых твердых... Чтобы не языками трепали, и не расползались как тесто, и не философии бы разводили, а гнули бы свою линию. Вот таких они отберут — таких, как я, или, скажем, ты, Андрей, — и бросят обратно на Землю. Потому что раз мы здесь не дрогнули, то и там не дрогнем...

— Очень может быть! — глубокомысленно сказал Андрей. — Я это тоже вполне допускаю.

— А вот Дональд считает, — тихонько сказал Ван, — что Эксперимент уже давным-давно провалился.

Все посмотрели на него. Ван сидел в прежней позе покоя — втянув голову в плечи и подняв лицо к потолку; глаза его были закрыты.

— Он сказал, что Наставники давно запутались в собственной затее, перепробовали все, что можно, и теперь уже сами не знают, что делать. Он сказал: полностью обанкротились. И все теперь просто катится по инерции.

Андрей в полной растерянности полез в затылок — чесаться. Вот так Дональд! То-то он сам не свой ходит... Другие тоже молчали. Дядя Юра медленно сворачивал очередную козью ножку, Изя с окаменевшей улыбкой щипал и терзал бородавку, Кэнси опять принялся за капусту, а Фриц, не отрываясь, глядел на Вана, выдвигая и снова ставя на место челюсть. Вот так и начинается разложение, мелькнуло у Андрея в голове. Вот с таких вот разговоров. Непонимание рождает неверие. Неверие — смерть. Очень, очень опасно. Наставник говорил прямо: главное — поверить в идею до конца, без оглядки. Осознать, что непонимание — это непременнейшее условие Эксперимента. Естественно, это самое трудное. У большинства здесь нет настоящей идейной закалки, настоящей убежденности в неизбежности светлого будущего. Что сегодня может быть как угодно тяжело и плохо, и завтра — тоже, но послезавтра мы обязательно увидим небо в звездах, и на нашей улице наступит праздник...

— Я — человек неученый, — сказал вдруг дядя Юра, любовно заклеивая языком новую козью ногу. — У меня четыре класса образования, если хотите знать, и я тут уже Изе говорил, что сюда я, прямо скажем, попросту удрал... Как вот ты... — Он указал козьей ногой на Фрица. — Только тебе из плена дорога открылась, а мне, значит, из колхоза. Я, если войны не считать, всю жизнь в деревне прожил и всю жизнь света не видел. А здесь вот — увидел! Что они там со своим Экспериментом мудрят — прямо скажу, братки, не моего это ума дело, да и не так уж интересно. Но я здесь — свободный человек, и пока мою эту свободу не тронули, я тоже никого не трону. А вот если тут которые найдутся, чтобы наше нынешнее положение фермерское переменить, то тут я вам в точности обещаю: мы от вашего города камня на камне не оставим. Мы вам, мать вашу так, не павианы. Мы вам, мать вашу так, ошейники себе на горло положить не дадим!.. Вот такие вот пироги, браток, — сказал он, обращаясь непосредственно к Фрицу.

Изя рассеянно хихикнул, и снова воцарилось неловкое молчание. Андрея речь дяди Юры несколько удивила, и он решил, что у Юрия Константиновича жизнь, видимо, сложилась особенно тяжело, и если он говорит, что света он не видел, значит, есть у него на то особые основания, о которых расспрашивать его и тем более сейчас было бы бестактно. Поэтому он только сказал:

— Рано мы, наверное, поднимаем все эти вопросы. Эксперимент длится не так уж долго, работы — невпроворот, надо работать и верить в правоту...

— Это откуда ты взял, что Эксперимент длится недолго? — перебил

его Изя с усмешкой. — Эксперимент длится лет сто, не меньше. То есть он длится наверняка гораздо больше, но просто за сто лет я ручаюсь.

— А ты откуда знаешь?

— Ты на север далеко заходил? — спросил Изя.

Андрей смешался. Он понятия не имел, что здесь вообще есть север.

— Ну, север! — нетерпеливо сказал Изя. — Условно считаем, что направление на солнце, та сторона, где болота, поля, фермеры, — это юг, а противоположная сторона, в глубину Города, — север. Ты ведь дальше мусорных свалок нигде и не был... А там еще город и город, там огромные кварталы, целехонькие дворцы... — Он хихикнул. — Дворцы и хижины. Сейчас там, конечно, никого нет, потому что воды нет, но когда-то жили, и было это «когда-то», я тебе скажу, довольно давно. Я там такие документы в пустых домах обнаружил, что ой-ей-ей! Слыхал про такого монарха, Велиария Второго? То-то! А он, между прочим, там царствовал. Только в те времена, когда он там царствовал, здесь, — он постучал ногтем по столу, — здесь были болота и вкалывали на этих болотах крепостные... или рабы. И было это не меньше, чем сто лет назад...

Дядя Юра качал головой и цокал языком. Фриц спросил:

— А еще дальше на север?

— Дальше я не ходил, — сказал Изя. — Но я знаю людей, которые заходили очень далеко — километров на сто — сто пятьдесят, а многие уходили и не возвращались.

— Ну и что там?

— Город. — Изя помолчал. — Правда, и врут про те места тоже безбожно. Поэтому я и говорю только о том, что сам разузнал. Верные сто лет. Понял, друг мой Андрюша? Сто лет. За сто лет на любой эксперимент плюнуть можно.

— Ну ладно, ну подожди... — пробормотал Андрей, потерявшись. — Но ведь не плюнули же! — оживился он. — Раз набирают новых и новых людей, значит, не бросили, не отчаялись! Просто очень трудная задача поставлена. — Новая мысль пришла ему в голову, и он оживился еще больше. — И вообще: откуда ты знаешь, какой у них масштаб времени? Может быть, наш год для них — секунда?..

— Да ничего я этого не знаю, — сказал Изя, пожимая плечами. — Я пытаюсь тебе объяснить, в каком мире ты живешь, — вот и все.

— Ладно! — прервал его дядя Юра решительно. — Хватит нам из пустого в порожнее переливать!.. Эй, малый! Как тебя... Отто! Брось девку, и тащи ты нам... Нет, окосел он. Разобьет он мне бутыль, схожу сам...

Он слез с табурета, взял со стола опустевший кувшин и отправился на

кухню. Сельма бухнулась на свое место, снова задрала ноги выше головы и капризно толкнула Андрея в плечо.

— Вы долго еще будете эту бодягу тянуть? Развели скучищу... Эксперимент, эксперимент... Дай закурить!

Андрей дал ей закурить. Неожиданно оборвавшийся разговор взбаламутил в нем какой-то неприятный осадок — что-то было недоговорено, что-то было не так понято, не дали ему объяснить, не получилось единства... И Кэнси вот сидит какой-то грустный, а с ним это бывает редко... Слишком много мы о себе думаем, вот что! Эксперимент Экспериментом, а каждый норовит гнуть какую-то свою линию, цепляется за свою позицию, а надо-то вместе, вместе надо!..

Тут дядя Юра бухнул на стол новую порцию, и Андрей махнул на все рукой. Выпили по стакану, закусили, Изя выдал анекдот — грохнули. Дядя Юра тоже выдал анекдот, чудовищно неприличный, но очень смешной. Даже Ван смеялся, а Сельма просто скисла от хохота. «В крынку... — захлебывалась она, утирая глаза ладонями. — В крынку не лезет!..» Андрей ахнул кулаком по столу и затянул любимую мамину:

А хто пье, тому наливайтэ,
А хто не пье, тому нэ давайтэ,
А мы будэм питы, тай Бога хвалиты,
И за нас, и за вас, и за нэньку старэньку,
Шо вывчила нас горилочку пить помалэньку...

Ему подтягивали, кто как может, а потом Фриц, бешено вылупив глаза, проорал на пару с Отто какую-то незнакомую, но отличную песню про дрожащие кости старого дряхлого мира — великолепную боевую песню. Глядя, как Андрей с воодушевлением пытается подтягивать, Изя Кацман хихикал и булькал, потирая руки, и тут дядя Юра вдруг, уставясь своими ерническими светлыми глазами на голые ляжки Сельмы, заревел медвежьим голосом:

А по деревне пойдетё,
Играетё и поетё,
А мое сердце беспокоетё
И спать не даетё!..

Успех был полный, и дядя Юра продолжил:

А девки, сами знаетё,
Да чем заманиваетё:
Сулитё, не даетё,
Всё обманываетё...

Тут Сельма сняла ноги с подлокотника, отпихнула Фрица и сказала с обидой:

— Ничего я вам не сулю, нужны вы мне все...

— Да я ж вообще... — сказал дядя Юра, сильно смутившись. — Это песня такая. Сама ты мне больно нужна...

Чтобы замять инцидент, выпили еще по стакану. Голова у Андрея пошла кругом. Он смутно сознавал, что возится с патефоном и что сейчас уронит его, и патефон действительно упал на пол, но нисколько не пострадал, а напротив, начал играть даже как будто бы громче. Потом он танцевал с Сельмой, и бока у Сельмы оказались теплые и мягкие, а груди — неожиданно крепкие и большие, что было чертовски приятным сюрпризом: обнаружить нечто прекрасно оформленное под этими бесформенными складками колючей шерсти. Они танцевали, и он держал ее за бока, а она взяла его ладонями за щеки и сказала, что он — очень славный мальчик и очень ей нравится, и в благодарность он сказал ей, что любит ее, и всегда любил, и теперь ее от себя никуда не отпустит... Дядя Юра грохал кулаком по столу, провозглашал: «Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать...», обнимал совершенно уже сникшего Вана и крепко лобызал его троекратно по русскому обычаю. Потом Андрей оказался посередине комнаты, а Сельма снова сидела за столом, кидала в раскисшего Вана хлебными шариками и называла его Мао Цзе-дуном. Это навело Андрея на идею спеть «Москва — Пекин», и он тут же исполнил эту прекрасную песню с необычайным азартом и задором, и потом вдруг оказалось, что они с Изей Кацманом стоят друг против друга и, страшно округлив глаза, все более и более понижая голоса в зловещем шепоте, повторяют, выставив указательные пальцы: «С-слушают нас!.. С-слушшают нас-с!..» Далее они с Изей оказались каким-то образом втиснутыми в одно кресло, а перед ними на столе, болтая ногами, сидел Кэнси, и Андрей горячо втолковывал ему, что здесь он готов на любую работу, здесь — любая работа дает особое удовлетворение, что он замечательно чувствует себя, работая мусорщиком...

— Вот я — мусор...щик! — выговаривал он с трудом. — Мусорг... мусоргщик!

А Изя, плюясь ему в ухо, долдонил что-то неприятное, обидное что-то:

якобы он, Андрей, на самом деле просто испытывает сладострастное унижение от того, что он мусорщик («...да, я мусорг...щик!»), что вот он такой умный, начитанный, способный, годный на гораздо большее, тем не менее терпеливо и с достоинством, не в пример другим-прочим, несет свой тяжкий крест... Потом появилась Сельма и сразу его утешила. Она была мягкая и ласковая, и делала все, что он хотел, и не перечила ему, и тут в его ощущениях образовался сладостный опустошающий провал, а когда он вынырнул из этого провала, губы у него были распухшие и сухие, Сельма уже спала на его кровати, и он отеческим движением поправил на ней юбку, накинул на нее одеяло, привел в порядок свой собственный туалет и, стараясь ступать бодро, снова вышел в столовую, споткнувшись по дороге о вытянутые ноги несчастного Отто, который спал на стуле в чудовищно неудобной позе человека, убитого выстрелом в затылок.

На столе возвышалась уже сама четвертная бутыль, а все участники веселья сидели, подперев взлохмаченные головы, и дружно тянули вполголоса: «Там в степи-и глухой за-амерзал ямщик...», и из бледных арийских глаз Фрица катились крупные слезы. Андрей присоединился было к хору, но тут раздался стук в дверь. Он открыл — какая-то закутанная в платок женщина в нижней юбке и ботинках на босу ногу спросила, здесь ли дворник. Андрей растолкал Вана и объяснил ему, где он, Ван, находится и что от него требуется. «Спасибо, Андрей», — сказал Ван, внимательно его выслушав, и, вяло шаркая подошвами, удалился. Оставшиеся допели «ямщика», и дядя Юра предложил выпить, «щоб дома нэ журылись», но тут выяснилось, что Фриц спит и чокаться поэтому не может. «Ну всё, — сказал дядя Юра. — Это, значит, будет последняя...» Но прежде чем они выпили по последней, Изя Кацман, ставший вдруг странно серьезным, исполнил соло еще одну песню, которую Андрей не совсем понял, а дядя Юра, кажется, понял вполне. В этой песне был рефрен «Аве, Мария!» и совершенно жуткая, словно с другой планеты, строфа:

Упекли пророка в республику Коми,
А он и перекинься башкою в лебеду.
А следователь-хмурик получил в месткоме
Льготную путевку на месяц в Теберду...

Когда Изя кончил петь, некоторое время было молчание, а затем дядя Юра вдруг со страшным треском обрушил пудовый кулак на столешницу, длинно и необычайно витиевато выматерился, после чего схватил стакан и припал к нему без всяких тостов. А Кэнси, по какой-то одному ему

понятной ассоциации, чрезвычайно неприятным визгливым и яростным голосом спел другую, явно маршевую, песню, в которой говорилось о том, что если все японские солдаты примутся разом мочиться у Великой Китайской стены, то над пустыней Гоби встанет радуга; что сегодня императорская армия в Лондоне, завтра — в Москве, а утром в Чикаго будет пить чай; что сыны Ямато расселись по берегам Ганга и удочками ловят крокодилов... Потом он замолчал, попытался закурить, сломал несколько спичек и вдруг рассказал об одной девочке, с которой он дружил на Окинаве, — ей было четырнадцать лет, и она жила в доме напротив. Однажды пьяные солдаты изнасиловали ее, а когда отец пришел жаловаться в полицию, явились жандармы, взяли его и девочку, и больше Кэнси их никогда не видел...

Все молчали, когда в столовую заглянул Ван, окликнул Кэнси и поманил его к себе.

— Вот такие-то дела... — сказал дядя Юра уныло. — И ведь смотри: что на Западе, что у нас в России, что у желтых — везде ведь одно. Власть неправедная. Нет уж, братки, я там ничего не потерял. Я уж лучше тут...

Вернулся бледный озабоченный Кэнси и принялся искать свой ремень. Мундир у него уже был застегнут на все пуговицы.

— Что-нибудь случилось? — спросил Андрей.

— Да. Случилось, — отрывисто сказал Кэнси, оправляя кобуру. — Дональд Купер застрелился. Около часа назад.

Часть вторая СЛЕДОВАТЕЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У Андрея вдруг ужасно заболела голова. Он с отвращением раздавил в переполненной пепельнице окурок, выдвинул средний ящик стола и заглянул, нет ли там каких-нибудь пилюль. Пилюль не было. Поверх старых перепутанных бумаг лежал огромный армейский пистолет, по углам пряталась всякая канцелярская мелочь в обтрепанных картонных коробочках, валялись огрызки карандашей, табачный мусор, несколько сломанных сигарет. От всего этого головная боль только усилилась. Андрей с треском задвинул ящик, подпер голову руками так, чтобы ладони закрывали глаза, и сквозь щелки между пальцами стал смотреть на Питера Блока.

Питер Блок, по прозвищу Копчик, сидел в отдалении на табурете, смиренно сложив на костлявых коленях красные лапки, и равнодушно мигал, время от времени облизываясь. Голова у него явно не болела, но зато ему, видимо, хотелось пить. И вероятно, курить тоже. Андрей с усилием оторвал ладони от лица, налил себе из графина тепловатой воды и, преодолев легкий спазм, выпил полстакана. Питер Блок облизнулся. Серые глаза его были по-прежнему невыразительны и пусты. Только на тощей грязноватой шее, торчащей из расстегнутого воротничка сорочки, длинно съехал книзу и снова подскочил к подбородку могучий хрящеватый кадык.

— Ну? — сказал Андрей.

— Не знаю, — хрипло ответил Копчик. — Не помню ничего такого.

Сволочь, подумал Андрей. Животное.

— Как же это у вас получается? — сказал он. — Бакалею в Шерстяном переулке обслуживали; когда обслуживали — помните, с кем обслуживали — помните. Хорошо. Кафе Дрейдуса обслуживали, когда и с кем — тоже помните. А вот лавку Гофштаттера почему-то забыли. А ведь это ваше последнее дело, Блок.

— Не могу знать, господин следователь, — возразил Копчик с отвратительнейшей почтительностью. — Это кто-то на меня, извиняюсь, клепает. У меня, как мы после Дрейдуса завязали, как мы, значит, избрали путь окончательного исправления и полезного трудоустройства, так, значит, у меня никаких дел такого рода больше и не было.

— Гофштаттер-то вас опознал.

— Я очень извиняюсь, господин следователь, — теперь в голосе Копчика явственно слышалась ирония. — Но ведь господин Гофштаттер того-с, это кому угодно известно. Все у него, значит, перепуталось. В лавке у него я бывал, это точно — картошечки там купить, лучку... Я и раньше замечал, что у него, извиняюсь, в черепушке не все хорошо, знал бы, как дело обернется, перестал бы к нему ходить, а то вот, надо же...

— Дочь Гофштаттера вас тоже опознала. Это вы ей угрожали ножом, вы персонально.

— Не было этого. Было кое-что, но совсем не то. Вот она ко мне с ножом к горлу приставала — это было! Зажала меня однажды в кладовке у них — еле ноги унес. У нее же сдвиг на половой почве, от нее все мужики в околотке по углам прячутся... — Копчик снова облизнулся. — Главное, говорит мне: заходи, говорит, в кладовую, сам, говорит, капусту выбирай...

— Это я уже слышал. Повторите лучше еще раз, что вы делали и где вы были в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое. Подробно, начиная с момента выключения солнца.

Копчик возвел глаза к потолку.

— Значит, так, — начал он. — Когда солнце выключилось, я сидел в пивной на углу Трикотажного и Второй, играл в карты. Потом Джек Ливер позвал меня в другую пивную, мы пошли, завернули по дороге к Джеку, хотели прихватить его шмару, да задержались, стали там пить. Джек насосался, и шмара его уложила в постель, а меня выгнала. Я пошел домой спать, но был сильно нагрузившись и по дороге сцепился с какими-то, трое их было, тоже пьяные, никого из них не знаю, впервые в жизни увидел. Они мне так навешали, что я уж больше ничего и не помню, утром только очухался у самого обрыва, еле домой добрался. Лег я спать, а тут за мной пришли...

Андрей полистал дело и нашел листок медицинской экспертизы. Листок был уже слегка засален.

— Подтверждается только то, что вы были пьяны, — сказал он. — Медэкспертиза не подтверждает, что вы были избиты. Следов избиения у вас на теле не обнаружено.

— Аккуратно, значит, работали ребята, — сказал Копчик с одобрением. — Были у них, значит, чулки с песком... У меня до сих пор все ребра болят... а меня в госпиталь отказываются... Вот сдохну у вас тут — будете все за меня отвечать...

— Трое суток у вас ничего не болело, а как только предъявили вам акт экспертизы — сразу заболело...

— Как же — не болело? Сил никаких не было, как болело, терпежу не

стало, вот и жаловаться начал.

— Перестаньте врать, Блок, — устало сказал Андрей. — Срамно слушать...

Его уже тошнило от этого гнусного типа. Бандит, гангстер, попался буквально с поличным — и никак его не возьмешь... Опыта у меня не хватает, вот что. Другие таких вот раскалывают в два счета... А Копчик между тем горестно завздыхал, жалобно искривил лицо, закатил зрачки под лоб и, слабо постанывая, заерзал на сиденье, вознамерившись, по-видимому, половчее грянуться в обморок, чтобы ему дали стакан воды и отправили спать в камеру. Андрей сквозь щели между пальцами с ненавистью следил за этими омерзительными манипуляциями. Ну, давай, давай, думал он. Попробуй мне только пол заблевать — я тебя, сукиного сына, одной промокашкой заставлю все подобрать...

Дверь распахнулась, и в кабинет уверенной походкой вошел старший следователь Фриц Гейгер. Скользнув равнодушным взглядом по скорченному Копчику, он приблизился к столу и присел боком на бумаги. Не спрашивая, вытряхнул из Андреевой пачки несколько сигарет, одну сунул в зубы, остальные аккуратно уложил в тонкий серебряный портсигар. Андрей чиркнул спичкой, Фриц затянулся, кивнул в знак благодарности и выпустил в потолок струю дыма.

— Шеф велел взять у тебя дело Черных Сороконожек, — сказал он негромко. — Если не возражаешь, конечно. — Он еще более понизил голос и значительно сморщил губы. — По-видимому, шефу здорово всыпал Главный прокурор. Он сейчас всех к себе вызывает и дает накачку. Жди — скоро и до тебя доберется...

Он еще раз затянулся и посмотрел на Копчика. Копчик, вытянувший было шею подслушать, о чем шепчется начальство, тотчас опять съежился и издал жалобный стон. Фриц спросил:

— С этим ты, кажется, покончил?

Андрей помотал головой. Ему было стыдно. За последнюю декаду Фриц уже второй раз приходил забрать у него дело.

— Да ну? — удивился Фриц. Несколько секунд он оценивающе разглядывал Копчика, потом сказал вполголоса: — Ты позволишь? — и, не дожидаясь ответа, соскочил со стола.

Он подошел к подследственному вплотную и участливо наклонился над ним, держа сигарету на отлете.

— Все болит? — сочувственно осведомился он.

Копчик застонал утвердительно.

— Пить хочется?

Копчик снова застонал и протянул дрожащую лапку.

— И курить, наверное, тоже хочется?

Копчик недоверчиво приоткрыл один глаз.

— У него все болит, у бедняги! — громко сказал Фриц, не оборачиваясь, впрочем, к Андрею. — Жалко же смотреть, как мучается человек. Здесь у него болит... и здесь у него болит... и вот здесь у него болит...

Повторяя эти слова на разные лады, Фриц делал короткие непонятные движения рукой, свободной от сигареты, и жалобное мычание Копчика вдруг прервалось, сменилось какими-то крякающими и словно бы удивленными ахами, а лицо его побелело.

— Встать, сволочь! — неожиданно заорал Фриц во все горло и отступил на шаг.

Копчик немедленно вскочил, и тогда Фриц нанес ему страшный режущий удар в живот. Копчика согнуло пополам, а Фриц раскрытой ладонью с глухим стуком ударил его снизу в подбородок. Копчик качнулся назад, опрокинул табуретку и упал на спину.

— Встать! — снова заревел Фриц.

Копчик, всхлипывая и задыхаясь, торопливо возился на полу. Фриц подскочил к нему, схватил за ворот и рывком вздернул на ноги. Лицо Копчика было теперь совсем белое, с прозеленью, глаза выкатились, обезумели, он обильно потел.

Андрей, гадливо морщась, опустил глаза и принялся шарить дрожащими пальцами в пачке, силясь ухватить сигарету. Надо было что-то делать, но непонятно — что. С одной стороны, действия Фрица были омерзительны и бесчеловечны, но с другой стороны, не менее омерзителен и бесчеловечен был этот явный бандит, грабитель, нагло издевающийся над правосудием, фурункул на теле общества...

— По-моему, ты недоволен обращением? — звучал между тем вкрадчивый голос Фрица. — Мне кажется, ты даже собираешься жаловаться. Так вот, зовут меня Фридрих Гейгер. Старший следователь Фридрих Гейгер...

Андрей заставил себя поднять глаза. Копчик стоял, вытянувшись, всем корпусом откинувшись назад, а Фриц, вплотную к нему, слегка нагнувшись, грозно нависал, уперев руки в бока.

— Можешь жаловаться — мое нынешнее начальство ты знаешь... А вот кто был моим начальником раньше, тебе известно? Некто рейхсфюрер эс-эс Генрих Гиммлер! Слыхал такую фамилию? А знаешь ли ты, где я работал раньше? В учреждении, именуемом гестапо! А знаешь, чем я

прославился в этом учреждении?..

Зазвонил телефон. Андрей снял трубку.

— Следователь Воронин слушает, — сказал он сквозь зубы.

— Мартинелли, — отозвался глуховатый, с одышкой, голос. — Зайдите ко мне, Воронин. Немедленно.

Андрей положил трубку. Он понимал, что у шефа его ожидает колоссальный втык, но он был рад сейчас уйти из этого кабинета — подальше от обезумевших глаз Копчика, от свирепо выдвинутой челюсти Фрица, от этой сгущающейся атмосферы застенка. Зачем это он... гестапо, Гиммлер...

— Меня шеф к себе вызывает, — сказал он не своим, скрипучим каким-то голосом, машинально выдвинул ящик стола и вложил пистолет в кобуру, чтобы быть по форме.

— Желаю удачи, — отозвался Фриц, не оборачиваясь. — Я здесь побуду, не беспокойся.

Андрей, все убыстряя шаг, пошел к двери и бомбой выскочил в коридор. Под сумрачными сводами стояла прохладная пахучая тишина, на длинной садовой скамейке под строгим взглядом дежурного охранника сидели неподвижно несколько обшарпанных типов мужского пола. Андрей прошел мимо ряда прикрытых дверей в следственные камеры, миновал лестничную площадку, где несколько молоденьких, последнего набора, следователей, непрерывно дымя папиросами, азартно объясняли друг другу свои дела, поднялся на третий этаж и постучал в кабинет шефа.

Шеф был мрачен. Толстые щеки его обвисли, редкие зубы были угрожающе оскалены, он тяжело, с присвистом, дышал через рот и смотрел на Андрея исподлобья.

— Сядьте, — проворчал он.

Андрей сел, положил руки на колени и уставился в окно. Окно было забрано решеткой, за стеклом была непроглядная тьма. Часов одиннадцать уже, подумал он. Сколько же времени я потратил на этого мерзавца...

— Сколько у вас дел? — спросил шеф.

— Восемь.

— Сколько намерены закончить к концу квартала?

— Одно.

— Плохо.

Андрей промолчал.

— Плохо работаете, Воронин. Плохо! — сипло сказал шеф. Его мучила одышка.

— Я знаю, — сказал Андрей покорно. — Никак не могу войти в колею.

— А пора бы! — Шеф повысил голос до свистящего шипения. — Столько времени у нас работаете, а всего три жалких дела закрыли. Не выполняете свой долг перед Экспериментом, Воронин. А ведь вам есть у кого поучиться, есть с кем посоветоваться... Посмотрите, например, как работает ваш приятель, я имею в виду... э... я имею в виду Фридриха... э-э... У него, конечно, свои недостатки, но вам незачем перенимать у него именно недостатки. Можно перенимать и достоинства, Воронин. Вы пришли к нам вместе, а он уже закрыл одиннадцать дел.

— Я так не умею, — угрюмо сказал Андрей.

— Учиться. Надо учиться. Все мы учимся. Ваш... э-э... Фридрих тоже не с юридических курсов сюда пришел, а работает, и неплохо работает... Вот он уже старший следователь. Есть мнение, что пора его сделать заместителем начальника уголовного сектора... Да. А вот вами, Воронин, недовольны. Например, как у вас продвигается дело о Здании?

— Никак не продвигается, — сказал Андрей. — Это же не дело. Это — так, чушь, мистика какая-то...

— Почему же мистика, раз есть свидетельские показания? Раз есть потерпевшие? Люди-то пропадают, Воронин!

— Я не понимаю, как можно вести дело, построенное на легендах и слухах, — угрюмо сказал Андрей.

Шеф с натугой, с посвистом покашлял.

— Шевелить мозгами надо, Воронин, — просипел он. — Слухи, легенды — да. Мистическая оболочка — да. А зачем? Кому понадобилось? Откуда взялись слухи? Кто породил? Кто распространяет? Зачем? И главное — куда пропадают люди? Вы меня понимаете, Воронин?

Андрей собрался с духом и сказал:

— Понимаю вас, шеф. Но это дело не по мне. Я предпочитаю заниматься просто уголовщиной. Город кишит мерзавцами...

— А я предпочитаю разводить помидоры! — сказал шеф. — Обожаю помидоры, а здесь их почему-то не достать ни за какие деньги... Вы на службе, Воронин, и никого не интересует, что вы там предпочитаете, вам поручено дело о Здании — извольте его вести. То, что вы неумеха, я и сам вижу. При других обстоятельствах я бы дела о Здании вам бы не поручил. А при нынешних обстоятельствах поручаю. Почему? Потому что вы — наш человек, Воронин. Потому что вы здесь не номер отбываете, а сражаетесь! Потому что прибыли сюда не для себя, а для Эксперимента. Таких людей мало, Воронин. И поэтому я расскажу вам сейчас то, что служащим вашего ранга знать не полагается.

Шеф откинулся в кресло и некоторое время молчал, еще сильнее

свистя грудью и совсем уже оскалившись.

— Мы боремся с гангстерами, с рэкетирами, с хулиганами, это все знают, это хорошо, это нужно. Но опасность номер один — это не они, Воронин. Во-первых, существует здесь такое явление природы, именуется Антигород. Слыхали? Нет, не слыхали. И правильно. Не должны были слышать. И чтобы никто от вас этого не слышал! Служебная тайна с двумя нулями. Антигород. Есть сведения, что к северу существуют какие-то поселения, одно, два, несколько — неизвестно. А им о нас все известно! Возможно нашествие, Воронин. Очень опасно. Конец нашему Городу. Конец Эксперименту. Имеет место шпионаж, имеют место попытки саботажа, диверсии, распространение панических и порочащих слухов. Ситуация понятна, Воронин? Вижу — понятна. Далее. Здесь, в самом Городе, рядом с нами, среди нас живут люди, прибывшие сюда не ради Эксперимента — по другим, более или менее корыстным мотивам. Нигилисты, внутренние затворники, изверившиеся элементы, анархисты. Активных среди них мало, но даже пассивные представляют опасность. Подрыв морали, разрушение идеалов, попытки настраивать одни слои населения против других, разрушающий скептицизм. Пример: ваш хороший знакомый, некий Кацман...

Андрей вздрогнул. Шеф тяжело взглянул на него сквозь припухшие веки, помолчал и повторил:

— Иосиф Кацман. Любопытный человек. Есть сведения, что часто удаляется в сторону севера, пребывает там некоторое время и возвращается обратно. При этом манкирует своими прямыми обязанностями, но это уже нас не касается. Далее. Разговоры. Это вам должно быть известно.

Андрей невольно кивнул и тут же, спохватившись, сделал каменное лицо.

— Дальше. Самое важное для вас. Замечен вблизи Здания. Дважды. Один раз видели, как он оттуда выходил. Полагаю, я привел хороший пример и удачно связал его с делом о Здании. Этим делом необходимо заняться, Воронин. Это дело, Воронин, я сейчас никому не могу поручить. Есть люди, в такой же степени верные, как и вы, и гораздо более толковые, но они заняты. Все. Все до одного. И — выше головы. Так что форсируйте дело о Здании, Воронин. От остальных дел я вас постараюсь избавить. Завтра в шестнадцать ноль-ноль явитесь ко мне и доложите ваш план. Идите.

Андрей поднялся.

— Да! Совет. Советую вам обратить внимание на дело о Падающих Звездах. Настоятельно. Может быть связь. Это дело ведет сейчас Чачуа,

зайдите к нему, ознакомьтесь. Посоветуйтесь.

Андрей неловко поклонился и направился к выходу.

— Еще одно! — сказал шеф, и Андрей остановился у самой двери. — Имейте в виду: делом о Здании специально интересуется Главный прокурор. Специально! Так что, кроме вас, этим занимается и будет заниматься еще кто-то из прокуратуры. Постарайтесь обойтись без упущений, связанных с вашими личными склонностями или наоборот. Идите, Воронин.

Андрей прикрыл за собою дверь и прислонился к стене. Внутри себя он ощущал какую-то неясную пустоту, неопределенность какую-то. Он ожидал втыка, шершавого начальственного фитиля, может быть, даже увольнения или перевода в полицию. Вместо этого его вроде бы даже похвалили, выделили из прочих, доверили дело, которое считается первостепенно важным. Всего год назад, когда он был еще мусорщиком, служебный втык бросил бы его в пучину горестей, а ответственное поручение вознесло бы на вершину ликования и горячечного энтузиазма. А сейчас внутри стояли какие-то неопределенные сумерки, и он осторожно пытался разобраться в себе, а заодно — нащупать те неизбежные осложнения и неудобства, которые, конечно же, должны были возникнуть в этой новой ситуации.

Изя Кацман... Болтун. Трепло. Язык нехороший, ядовитый. Циник. И в то же время — никуда не денешься — бессребреник, добряк, совершенно, до глупости, бескорыстный и даже житейски беспомощный... И дело о Здании. И Антигород. Ч-черт... Ладно, разберемся...

Он вернулся в свой кабинет и с некоторым недоумением обнаружил там Фрица. Фриц сидел за его столом, курил его сигареты и внимательно перелистывал его дела, извлеченные из его сейфа.

— Ну что, получил на полную катушку? — осведомился он, поднимая глаза на Андрея.

Андрей, не отвечая, взял сигарету, закурил и несколько раз сильно затянулся. Потом он огляделся, где бы сесть, и увидел пустой табурет.

— Слушай, а этот где?

— В яме, — ответил Фриц пренебрежительно. — Отправил его на ночь в яму, велел не давать жрать, пить и курить. Раскололся он, как миленький, полное признание, и еще двоих назвал, о ком мы не знали. Но напоследок надобно проучить слизняка. Протокол я тебе... — Он перебросил с места на место несколько папок. — Протокол я подшил, сам найдешь. Завтра можешь передавать в прокуратуру. Там он сообщил кое-что любопытное, когда-нибудь пригодится...

Андрей курил и смотрел на это длинное холеное лицо, на быстрые водянистые глаза, невольно любовался уверенными движениями больших, истинно мужских рук. Фриц вырос за последнее время. В нем уже ничего почти не осталось от надутого молодого унтера. Туповатая наглость сменилась направленной уверенностью, он уже больше не обижался на шутки, не каменел лицом и вообще не вел себя как осел. Одно время он зачастил было к Сельме, потом у них получился какой-то там скандальчик, да и Андрей сказал ему несколько слов. И Фриц спокойно отошел.

— Ты чего на меня уставился? — с доброжелательным интересом осведомился Фриц. — Все не можешь опомниться от клистира? Ничего, дружище, клистир начальника — именины сердца для подчиненного!

— Слушай-ка, — сказал Андрей. — Зачем это ты развел тут оперетту? Гиммлер, гестапо... Что это за новости в следственной практике?

— Оперетту? — Фриц вздернул правую бровь. — Это, дружище, действует, как выстрел! — Он захлопнул раскрытое дело и вылез из-за стола. — Я удивляюсь, почему ты до этого не допер. Уверяю тебя, если бы ты сказал ему, что работал в че-ка или в гэ-пэ-у, да еще пощелкал бы у него перед носом туалетными ножницами, он бы тут тебе сапоги целовал... Знаешь, я отобрал у тебя несколько дел, а то тут такой завал, что ты и за год не раскопаешь... Так я их у тебя заберу, а потом сочтемся как-нибудь.

Андрей с благодарностью посмотрел на него, и Фриц дружески подмигнул ему в ответ. Дельный парень — Фриц. И хороший товарищ. Что ж, может быть, так и нужно работать? Какого черта церемониться с этой швалью! И в самом же деле, их там на Западе запугали полуподвалами че-ка до полусмерти, а с такой грязной падалью, как этот Копчик, все средства хороши...

— Ну, вопросы есть? — спросил Фриц. — Нет? Тогда я пошел.

Он забрал папки под мышку и выбрался из-за стола.

— Да! — спохватился Андрей. — Слушай, а ты дело о Здании случайно не забрал? Ты его оставь!..

— Дело о Здании? Голубчик, мой альтруизм так далеко не распространяется. Дело о Здании ты уж сам как-нибудь...

— Угу, — сказал Андрей с угрюмой решительностью. — Сам... Между прочим, — вспомнил он. — Что это за дело — о Падающих Звездах? Название знакомое, а в чем там суть, что это за звезды такие — не помню...

Фриц наморщил лоб, потом с любопытством взглянул на Андрея.

— Есть такое дело, — произнес он. — Неужели тебе его поручили? Тогда ты пропал. Оно же у Чачуа. Совершенная безнадюга.

— Нет, — со вздохом сказал Андрей. — Никто мне его не поручал.

Просто шеф рекомендовал ознакомиться. Это серия каких-то ритуальных убийств? Или нет?

— Да нет, не совсем так. Хотя, может быть, и так. Это дело, дружище, тянется уже несколько лет. Под Стеной находят время от времени людей, разбившихся вдребезги, явно упавших со Стены, с большой высоты...

— То есть как это — со Стены? — удивился Андрей. — Разве на нее можно взобраться? Она же гладкая... И зачем? У нее и верха-то не видно...

— В том-то и дело! Сначала была идея, что там, наверху, тоже есть город, вроде нашего, и сбрасывают этих людей к нам с ихнего обрыва, ну, как у нас можно сбросить в пропасть. Но потом раза два удалось опознать трупы: оказалось — наши, местные жители... Как они туда забрались, совершенно непонятно. Пока остается только предполагать, что это какие-то отчаянные скалолазы — пытались выбраться из Города наверх... Но с другой стороны... В общем, дело это какое-то темное. Мертвое дело, если хочешь знать мое мнение. Ну ладно, мне пора.

— Спасибо. Счастливо, — сказал Андрей, и Фриц ушел.

Андрей переместился в свое кресло, убрал все папки, кроме дела о Здании, в сейф и посидел немного, подперев голову руками. Потом снял телефонную трубку, набрал номер и стал ждать. К телефону, как всегда, долго никто не подходил, потом трубку сняли, и басистый, явно нетрезвый мужской голос осведомился: «Х-алло?» Андрей молчал, прижимая трубку к уху. «Халло! Халлоу?» — рычал пьяный голос, потом замолчал, и было слышно только тяжелое дыхание и отдаленный голос Сельмы, выводивший жалобную песенку, завезенную сюда дядей Юрой:

Ставай, ставай, Катя,
Корабли стоя-ать!
Два корабля синих,
Один голубой...

Андрей повесил трубку, покряхтел, растирая щеки, пробормотал с горечью: «Шлюха паршивая, неисправимая...» и раскрыл папку.

Дело о Здании было начато еще в те времена, когда Андрей был мусорщиком и знать ничего не знал о мрачных кулисах Города. В 16-м, 18-м и 32-м участках начали вдруг систематически пропадать люди. Пропадали они совершенно бесследно, и не было в этих исчезновениях никакой системы, никакого смысла, никакой закономерности. Оле Свенссон, 43-х лет, рабочий бумажной фабрики, вышел вечером за хлебом и не вернулся, в хлебной лавке не появлялся. Стефан Цибульский, 25-ти

лет, полицейский, ночью исчез с поста, на углу Главной и Алмазного найдена его портупея — и все, больше никаких следов. Моника Лерье, 55-ти лет, швея, вывела на прогулку перед сном своего шпица, шпиц вернулся здоровый и веселый, а швея исчезла. И так далее, и так далее — всего более сорока исчезновений.

Довольно быстро обнаружились свидетели, которые утверждали, что накануне исчезновения пропавшие люди заходили в некий дом, по описаниям — вроде один и тот же, но странность заключалась в том, что относительно местоположения этого дома разные свидетели давали разные показания. Иосиф Гумбольдт, 63-х лет, парикмахер, на глазах у лично знавшего его Лео Палтуса вошел в трехэтажное, красного кирпича здание на углу Второй Правой и Серокаменного переулка, и с тех пор Иосифа Гумбольдта не видел никто. Некий Теодор Бух показал, что исчезнувший впоследствии Семен Заходько, 32-х лет, фермер, вошел в точно такое же по описанию здание, но уже на Третьей Левой улице, неподалеку от костела. Давид Мкртчян рассказал, как встретил в Глинобитном переулке своего давнего приятеля по работе Рэя Додда, 41-го года, ассенизатора, — они постояли, болтая об урожае, семейных делах и прочих нейтральных вещах, а затем Рэй Додд сказал: «Погоди минутку, мне нужно зайти в одно место, я постараюсь быстро, а если через пять минут не выйду, ты иди, значит, я задержался...» Он вошел в какое-то здание красного кирпича с окнами, замазанными мелом. Мкртчян ждал его четверть часа, не дождался и пошел своей дорогой, что же касается Рэя Додда, то он исчез бесследно и навсегда...

Красный кирпичный дом фигурировал в показаниях всех свидетелей. Одни утверждали, что он трехэтажный, другие — что четырех. Одни обратили внимание на окна, замазанные мелом, другие — на окна, забранные решетками. И не было двух свидетелей, которые указали бы одно и то же место его расположения.

По городу поползли слухи. В очередях за молоком, в парикмахерских, в локалях зловещим шепотом передавалась из уст в уста новенькая, с иголочки, легенда о страшном Красном Здании, которое само собой бродит по городу, пристраивается где-нибудь между обычными домами и, жутко приоткрыв пасти дверей, притаившись, ждет неосторожных. Появились друзья родственников знакомых, которым удалось спастись, вырваться из ненасытной кирпичной утробы. Они рассказывали ужасные вещи и в доказательство предъявляли шрамы и переломы, полученные в прыжках со второго, третьего и даже четвертого этажей. Согласно всем этим слухам и легендам, дом внутри был пуст — там не подстерегали вас ни грабители,

ни маньяки-садисты, ни кровососущие мохнатые твари. Но каменные кишки коридоров вдруг сжимались и норовили расплющить жертву; под ногами распахивались черные провалы люков, дышащие ледяным кладбищенским зловонием; неведомые силы гнали человека по мрачным сужающимся ходам и тоннелям до тех пор, пока он не застревал, забивал себя в последнюю каменную щель, — а в пустых комнатах с ободранными обоями, среди осыпавшихся с потолка пластов штукатурки жутко догнивали раскрошенные кости, торчащие из-под заскорузлого от крови тряпья...

Поначалу это дело даже заинтересовало Андрея. Он отметил на карте города крестиками те места, где видели Здание, пытался найти какую-нибудь закономерность в расположении этих крестиков, добрый десяток раз выезжал обследовать эти места и каждый раз обнаруживал на месте Здания либо заброшенный палисадник, либо пустоту между домами, либо даже обыкновенный жилой дом, ничего общего не имеющий ни с тайнами, ни с загадками.

Смущало то обстоятельство, что Красное Здание ни разу не видели при солнечном свете; смущало, что не менее половины свидетелей видели Здание, находясь в состоянии более или менее сильного алкогольного опьянения; смущали мелкие, но почти обязательные несообразности чуть ли не в каждом показании; особенно же смущала полная бессмысленность и дикость происходящего.

Изя Кацман как-то изрек по этому поводу, что миллионный город, лишенный систематической идеологии, должен неизбежно обзавестись собственными мифами. Это звучало убедительно, но люди-то ведь пропадали на самом деле! Конечно, пропасть в городе было немудрено. Достаточно было сбросить человека с обрыва, и концы, таким образом, оказывались в воде совершенно. Однако кому и зачем нужно было сбрасывать в пропасть каких-то парикмахеров, пожилых швей, мелких лавочников? Людей без денег, без репутации, практически без врагов? Кэнси однажды высказал совершенно здравое предположение, что Красное Здание, если оно действительно существует, является, по всей видимости, составным элементом Эксперимента, а поэтому искать ему объяснения не имеет смысла — Эксперимент есть Эксперимент. В конце концов Андрей тоже остановился на этой точке зрения. Работы было невпроворот, дело о Здании насчитывало уже более тысячи листов, и Андрей засунул его на самое дно сейфа, изредка только извлекая, чтобы подшить очередное свидетельское показание.

Сегодняшний разговор с шефом открывал, однако, совершенно новые

перспективы. Если в городе действительно есть люди, которые поставили перед собою (или получили от кого-то) задачу создать среди населения атмосферу паники и террора, то очень многое в деле о Здании становилось понятным. Несообразности в показаниях так называемых свидетелей легко объясняются в этом случае искажением слухов при передаче. Исчезновения людей превращаются в обыкновенные убийства с целью уплотнения атмосферы террора. В хаосе болтовни, опасливых шепотов и вранья надлежало теперь искать постоянно действующие источники, центры распространения зловещего тумана...

Андрей взял лист чистой бумаги и принялся медленно, слово за словом, пункт за пунктом набрасывать черновик плана. Через некоторое время у него получилось следующее.

Главная задача: выявление источников слухов, арест этих источников и выявление руководящего центра. Основные средства: повторный допрос всех свидетелей, дававших ранее показания в трезвом виде; выявление по цепочке и допрос лиц, утверждавших, будто они были в Здании; выявление возможных связей между этими лицами и свидетелями... Учитывать: а) агентурные данные; б) несообразности в показаниях...

Андрей покусал карандаш, пощурился на лампу и вспомнил еще одно: связаться с Петровым. Этот Петров в свое время плешь переел Андрею. У него пропала жена, и он почему-то решил, что ее поглотило Красное Здание. С тех пор он забросил все свои дела и занялся поисками этого Здания — писал бесчисленные записки в прокуратуру, которые аккуратно переправлялись в следственный отдел и попадали к Андрею, рыскал ночами по городу, несколько раз забираем был в полицию по подозрению в нечестных намерениях, буянил там, за что его сажали на десять суток, выходил и снова принимался за поиски.

Андрей выписал повестки ему, а также еще двум свидетелям, отдал эти повестки дежурному с наказом доставить немедленно, а сам отправился к Чачуа.

Чачуа, громадный разжиревший кавказец, почти без лба, но зато с гигантским носом, возлежал у себя в кабинете на диване в окружении разбухших папок с делами и спал. Андрей растолкал его.

— Э! — хрипло сказал Чачуа, пробуждаясь. — Что случилось?

— Ничего не случилось, — сердито сказал Андрей. Терпеть он не мог такой вот расхлябанности в людях. — Дай дело о Падающих Звездах.

Чачуа сел, лицо его засветилось радостью.

— Забираешь? — спросил он, хищно двигая феноменальным своим носом.

— Не радуйся, не радуйся, — сказал Андрей. — Только посмотреть.

— Слушай, зачем тебе смотреть? — горячо заговорил Чачуа. — Забирай у меня это дело совсем! Ты — красивый, молодой, энергичный, тебя шеф всем в пример ставит. Ты это дело быстро распутаешь — слазаешь на Желтую Стену и моментально распутаешь! Что тебе стоит?..

Андрей засмотрелся на его нос. Огромный, горбатый, на переносице покрытый сетью багровых жилок, с торчащими из ноздрей пучками черных жестких волос, нос этот жил своей, отдельной от Чачуа, жизнью. Видно было, что он знать ничего не хотел о заботах следователя Чачуа. Он хотел, чтобы все вокруг пили большими бокалами ледяное кахетинское, заедали сочащимися шашлыками и влажной хрустящей зеленью, чтобы плясали, захватив края рукавов в пальцы, выкрикивая азартно «асса!». Он хотел зарываться в душистые белокурые волосы и нависать над обнаженными пышными грудями... О, он многого хотел, этот великолепный жизнелюбивый нос-гедонист, и все его многочисленные желания откровенно отражались в его независимых движениях, в перемене окраски и в разнообразных звуках, издаваемых им!..

— ...А закончишь это дело, — говорил Чачуа, закатывая маслины глаз под низкий лоб, — бож-же мой! Какая тебе будет слава! Какой почет! Ты думаешь, Чачуа стал бы предлагать тебе это дело, если бы сам мог лазать по Желтой Стене? Ни за что Чачуа не стал бы предлагать тебе этого дела! Это же золотая жила! И я предлагаю его только тебе. Многие приходили и просили его у меня. Нет, думал я. Никому из вас с ним не справиться. Один только Воронин справится, думал я...

— Ну ладно, ладно, — сказал Андрей с досадой. — Завел свою говорильню. Давай папку. Нет у меня времени тут с тобой песни петь.

Чачуа, не переставая болтать, жаловаться и хвастаться, лениво поднялся, шаркая по замусоренному полу, подошел к сейфу и принялся в нем рыться, а Андрей смотрел на его широченные жирные плечи и думал, что Чачуа, наверное, один из лучших следователей в отделе, он просто блестящий следователь, у него самый высокий процент раскрытых дел, а вот дело о Падающих Звездах ему продвинуть так и не удалось, это дело никому продвинуть не удалось — ни Чачуа, ни его предшественнику, ни предшественнику предшественника...

Чачуа достал кучу пухлых засаленных папок, и они вместе пролистали последние страницы, и Андрей тщательно переписал себе на отдельный листок имена и адреса тех двоих, которых удалось опознать, а также те немногие особые приметы, которые удалось установить у некоторых из неопознанных жертв.

— Какое дело! — восклицал Чачуа, прищелкивая языком. — Одиннадцать трупов! А ты отказываешься. Нет, Воронин, не знаешь ты, где твое счастье. Вы, русские, всегда были идиётами — и на том свете идиётами были, и на этом остались!.. А зачем тебе это? — спросил он вдруг с интересом.

Андрей, как мог связно, объяснил ему свои намерения. Чачуа быстро схватил самую суть, но никакого особого восторга не выказал.

— Попробуй, попробуй... — сказал он вяло. — Сомневаюсь. Что такое твое Здание, и что такое моя Стена? Здание — это выдумка, а Стена — вот она, километр отсюда... Нет, Воронин, не разобраться нам с этим делом...

Впрочем, когда Андрей был уже около двери, Чачуа сказал ему вслед:

— Ну, а если там что-нибудь — ты сразу мне...

— Ладно, — сказал Андрей. — Конечно.

— Послушай, — сказал Чачуа, сосредоточенно морща жирный лоб и двигая носом. Андрей, приостановившись, выжидательно смотрел на него. — Давно хотел тебя спросить... — Лицо его стало серьезным. — Слушай, там у вас в семнадцатом году в Петрограде заварушка была. Чем кончилась, а?

Андрей плюнул и вышел, хлопнув дверью, под раскатистый хохот страшно довольного кавказца. Опять Чачуа поймал его на этот дурацкий анекдот. Хоть совсем с ним не разговаривай.

В коридоре перед кабинетом его ждал сюрприз. На скамье сидел какой-то насмерть перепуганный, взъерошенный, с заспанными глазами человечек, зябко кутающийся в пальто. Дежурный за столиком с телефоном вскочил и браво гаркнул:

— Свидетель Эйно Саари по вашему вызову доставлен, господин следователь!

Андрей обалдело воззрился на него.

— По какому моему вызову?

Дежурный тоже несколько обалдел.

— Вы же сами... — сказал он обиженно. — Полчаса назад... Вручили мне повестки, велели доставить немедленно...

— Господи, — сказал Андрей. — Повестки! Повестки я велел вам доставить немедленно, черт вас подери! На завтра, на десять утра! — Он взглянул на бледно улыбающегося Эйно Саари и на белые тесемки кальсон, свисающие у него из-под брючин, затем снова посмотрел на дежурного. — И остальных сейчас привезут? — спросил он.

— Так точно, — угрюмо сказал дежурный. — Как мне было сказано, так я и сделал.

— Я на вас рапорт подам, — сказал Андрей, еле сдерживаясь. — Переведут вас на улицу — сумасшедших по утрам загонять, — наплачетесь вы у меня тогда... Ну что ж, — произнес он, обращаясь к Саари. — Раз уж так получилось, заходите...

Он указал Эйно Саари на табурет, сел за стол и взглянул на часы. Было начало первого ночи. Надежда хорошенько выспаться перед завтрашним тяжелым днем печально испарилась.

— Ну ладно, — проговорил он со вздохом, раскрыл дело о Здании, перелистал огромную кипу протоколов, донесений, отношений и экспертиз, отыскал лист с прежними показаниями Саари (43-х лет, саксофонист 2-го городского театра, разведен) и еще раз пробежал глазами. — Ладно, — повторил он. — Мне, собственно, требуется кое-что уточнить относительно ваших показаний, которые вы давали в полиции месяц назад.

— Пожалуйста, пожалуйста, — сказал Саари, с готовностью наклоняясь вперед и каким-то женским движением придерживая на груди распахивающееся пальто.

— Вы показали, что ваша знакомая, Элла Стремберг, на ваших глазах вошла в двадцать три часа сорок минут восьмого сентября нынешнего года в так называемое Красное Здание, имевшее тогда находиться на улице Попугаев в промежутке между гастрономическим магазином номер сто пятнадцать и аптекой Штрема. Вы подтверждаете это показание?

— Да, да, подтверждаю. Все было совершенно так. Только вот насчет даты... Точной даты я уже не помню, все-таки месяц с лишним прошел...

— Это неважно, — сказал Андрей. — Тогда вы помнили, да и с другими показаниями это совпадает... Теперь у меня к вам просьба: опишите снова и поподробнее это самое так называемое Красное Здание...

Саари склонил голову набок и задумался.

— Значит, таким образом, — сказал он. — Три этажа. Старый кирпич, темно-красный, как казарма, вы понимаете меня? Окна, знаете ли, такие узкие, высокие. На нижнем этаже все они закрашены мелом и, как сейчас помню, не освещены... — Он опять немного подумал. — Вы знаете, насколько я помню, там вообще не было ни одного освещенного окна. Ну, и... вход. Каменные ступени, две или три... Тяжелая такая дверь... медная такая старинная ручка, резная. Элла ухватилась за эту ручку и с таким, знаете ли, усилием потянула дверь на себя... Номера дома я не заметил, не помню, был ли номер... Словом, общий облик старинного казенного здания, что-нибудь конца прошлого века.

— Так, — сказал Андрей. — А скажите, вам часто приходилось бывать на этой улице Попугаев?

— В первый раз. И, собственно, в последний. Живу я довольно далеко оттуда, в тех краях не бываю, а в этот раз как-то так получилось, что я решил Эллу проводить. У нас была вечеринка, я за ней... м-м-м... ну, немножко ухаживал и пошел ее провожать. Мы очень мило беседовали по дороге, потом она вдруг сказала: «Ну, пора расставаться», поцеловала меня в щеку, и не успел я опомниться, как она уже нырнула в этот дом. Я, признаться, подумал тогда, что она там живет...

— Понятно, — сказал Андрей. — На вечеринке вы, вероятно, пили?

Саари сокрушенно хлопнул себя ладонями по коленям.

— Нет, господин следователь, — сказал он. — Ни капли. Пить мне нельзя — врачи не рекомендуют.

Андрей сочувственно покивал.

— А вы не помните случайно, были у этого здания печные трубы?

— Да, конечно, помню. Должен вам сказать, вид этого здания как-то поражает воображение, так что оно и сейчас как бы стоит у меня перед глазами. Там была такая черепичная крыша и три довольно высокие трубы. Из одной, помнится, шел дым, и я подумал еще тогда, как у нас все-таки много еще сохранилось домов с печным отоплением...

Момент настал. Андрей осторожно положил карандаш поперек протоколов, чуть подался вперед и пристально, значительно сощуренными глазами уставился на Эйно Саари, саксофониста:

— В ваших показаниях имеют место несообразности. Во-первых, как обнаружила экспертиза, вы, находясь на улице Попугаев, никак не могли видеть ни крыши, ни печных труб трехэтажного здания.

У Эйно Саари, завравшегося саксофониста, отвисла челюсть, глаза растерянно забегали.

— Далее. Как установлено следствием, улица Попугаев в ночное время не освещается вообще, и поэтому совершенно непонятно, каким образом в кромешной ночной темноте, за триста метров до ближайшего фонаря, вы различили такую массу деталей: цвет здания, старинный кирпич, медную ручку на двери, форму окон и, наконец, дым из трубы. Я хотел бы узнать, как вы объясняете эти несообразности.

Некоторое время Эйно Саари беззвучно открывал и закрывал рот. Потом он судорожно глотнул всухую и проговорил:

— Ничего не понимаю... Вы меня совсем растеряли... Мне это просто и в голову не приходило...

Андрей выжидательно молчал.

— Действительно, как я об этом раньше не подумал... Ведь на этой улице Попугаев было совершенно темно! Не то что домов — тротуара под

ногами не видно было... И крыша... Я же стоял у самого дома, у крыльца... но я совершенно отчетливо помню и крышу, и кирпичи, и дым из трубы — такой белый ночной дымок, как будто освещенный луной...

— Да, странно, — произнес Андрей деревянным голосом.

— И ручка на дверях... Такая медная, отполированная многими прикосновениями... этакое хитрое сплетение цветов, листиков... Я бы мог ее сейчас нарисовать, если бы умел рисовать... И в то же время темнота была абсолютная — я лица Эллы не различал, только по голосу чувствовал, что она улыбается, когда...

В расширенных глазах Эйно Саари появилась какая-то новая мысль. Он прижал руки к груди.

— Господин следователь! — сказал он отчаянным голосом. — У меня в голове сейчас сумятица, но я отчетливо понимаю, что свидетельствую против себя, навожу вас на подозрения. Но я — человек честный, родители мои были честнейшие, глубоко религиозные люди... Все, что я вам сейчас говорю, есть полная и чистейшая правда! Все именно так и было. Просто раньше мне это не приходило в голову. Была кромешная тьма, я стоял у самого дома, и в то же время я помню каждый кирпичик, а черепичную крышу вижу так, будто она вот тут, рядом со мной... и три трубы... И дымок.

— Гм... — сказал Андрей и постучал пальцами по столу. — А может быть, вы не сами все это видели? Может быть, кто-нибудь вам об этом рассказывал?.. До случая с госпожой Стремберг вам приходилось слышать о Красном Здании?

Глаза Эйно Саари вновь смятенно забегали.

— Н-н-н... не припоминаю... — проговорил он. — Потом — да. Уже когда Элла пропала, когда я ходил в полицию... когда был уже объявлен розыск... потом было много разговоров. Но до этого... Господин следователь! — сказал он торжественно. — Я не могу поклясться, что я ничего не слышал о Красном Здании раньше, до исчезновения Эллы, но я могу поклясться, что ничего не помню об этом.

Андрей взял ручку и принялся писать протокол. Одновременно он говорил нарочито монотонным, казенным голосом, который по идее должен был навеять на подследственного суконную тоску и ощущение неизбежного рока, движимого безупречной машиной правосудия.

— Вы сами должны понимать, господин Саари, что следствие не может удовлетвориться вашими показаниями. Элла Стремберг исчезла бесследно, и последний человек, который ее видел, — вы, господин Саари. Красное Здание, которое вы здесь так подробно описали, на улице

Попугаев не существует. Описание Красного Здания, которое вы даете, неправдоподобно, ибо противоречит элементарным физическим законам. Наконец, как известно следствию, Элла Стремберг жила в совершенно другом районе, далеко от улицы Попугаев. Это само по себе, конечно, не есть улика против вас, но вызывает дополнительные подозрения. Я вынужден задержать вас впредь до выяснения ряда обстоятельств... Прошу прочесть и подписать протокол.

Эйно Саари, не говоря ни слова, приблизился к столу и, не читая, поставил свою подпись на каждом листке протокола. Карандаш дрожал у него в пальцах, узкий подбородок отвис и тоже трясся. Потом он, шаркая ногами, вернулся к табурету, сел обессиленно и, стиснув руки, сказал:

— Хочу еще раз подчеркнуть, господин следователь, что, давая показания... — Голос у него сорвался, он снова глотнул. — Давая показания, я сознавал, что поступаю себе во вред. Я мог бы что-нибудь выдумать, наврать... Я мог бы вообще не участвовать в розыске — никто ведь не знал, что я ушел провожать Эллу...

— Это ваше заявление, — сказал Андрей равнодушным голосом, — уже фактически содержится в протоколе. Если вы не виновны, вам ничего не грозит. Сейчас вас препроводят в камеру предварительного заключения. Вот вам бумага и карандаш. Вы можете оказать помощь следствию, да и себе самому, если самым подробным образом напишете, кто, когда и при каких обстоятельствах говорил с вами о Красном Здании. Безразлично — до исчезновения Эллы Стремберг или после. Самым подробным образом: кто — имя, адрес; когда — точная дата, время суток; при каких обстоятельствах — где, по какому поводу, с какой целью, в каком тоне. Вы меня поняли?

Эйно Саари кивнул и беззвучно сказал «да». Андрей, пристально глядя ему в глаза, продолжал:

— Я уверен, что все подробности о Красном Здании вы узнали где-то на стороне. Сами вы его, может быть, даже и не видели. И я настоятельно рекомендую вам вспомнить: кто снабдил вас этими подробностями — кто, когда, при каких обстоятельствах. И с какой целью.

Он звонком вызвал дежурного, и саксофониста увели. Андрей потер руки, наколол протокол и подшил его в дело, спросил горячего чая и вызвал следующего свидетеля. Он был доволен собой. Все-таки воображение и знание элементарной геометрии — полезные вещи. Завравшийся Эйно Саари был ущучен по всем правилам науки.

Следующий свидетель, вернее, свидетельница, Матильда Гусакова (62-х лет, вязание на дому, вдова) представляла собой, по крайней мере по идее,

гораздо более простой случай. Это была могучая старуха с маленькой, сплошь седой головкой, румяными щечками и хитрыми глазами. Она нисколько не выглядела заспанной или испуганной, а наоборот, кажется, была очень довольна приключением. В прокуратуру она явилась со своей корзинкой, мотками разноцветной шерсти, набором спиц, а в кабинете немедленно взгромоздилась на табурет, надела очки и заработала спицами.

— Следствию стало известно, госпожа Гусакова, — начал Андрей, — что некоторое время назад вы в кругу своих друзей рассказывали о происшествии с неким Франтишеком, который якобы попал в так называемое Красное Здание, претерпел там разнообразные приключения и с трудом вырвался на свободу. Было такое?

Престарелая Матильда усмехнулась, ловко выхватила одну спицу, пристроила другую и сказала, не поднимая глаз от вязанья:

— Было, было такое. Рассказывала я, и не раз, только вот откуда это стало известно следствию, хотела бы я знать... У меня вроде бы знакомых среди судейских нет...

— Должен вам сообщить, — доверительно сказал Андрей, — что в настоящее время ведется следствие по поводу так называемого Красного Здания, и мы чрезвычайно заинтересованы войти в контакт хотя бы с одним человеком, который в этом здании побывал...

Матильда Гусакова его не слушала. Она положила вязанье на колени и задумчиво смотрела в стену.

— Кто же это мог сообщить? — проговорила она. — У Лизы все свои, разве что Кармен где-нибудь натрепалась после... болтливая старуха... У Фриды? — Она покачала головой. — Нет, не может быть, чтобы у Фриды. Вот к Любе ходит один... противный такой старикашка, глазки у него так и бегают, и вечно он пьет за Любин счет... Вот уж не ожидала!.. И здесь, оказывается, надо соображать, кто да с кем... При немцах сидели — рот на замке. После сорок восьмого — опять помалкивай да посматривай. Только немножко рот открыли золотой весной — на тебе, русские на танках прибыли, опять заткнись, опять помалкивай... Сюда подалась — и тут, значит, та же картина...

— Позвольте, пани Гусакова, — прервал ее Андрей. — Вы, по-моему, превратно рассматриваете ситуацию. Вы ведь, насколько я понимаю, не совершили никакого преступления. Мы рассматриваем вас только как свидетеля, как помощника, который...

— Э, голубчик! Какие уж тут помощники? Полиция есть полиция.

— Да нет же! — Андрей для убедительности прижал руку к сердцу. — Мы ищем банду преступников! Они похищают людей и, судя по всему,

убивают их. Человек, который побывал в их лапах, может оказать следствию неоценимую услугу!

— Да вы что, голубчик, — сказала старуха, — вы что, верите в это самое Красное Здание?

— А вы разве не верите? — спросил Андрей, несколько опешив.

Старуха не успела ответить. Дверь кабинета приоткрылась, из коридора прорвался гомон возбужденных голосов, и в щель просунулась коренастая черноголовая фигура, которая кричала в коридор: «Да, срочно! Срочно надо!» Андрей нахмурился, но тут фигуру вновь втянули в коридор, и дверь захлопнулась.

— Простите, нас отвлекли, — сказал Андрей. — Вы, кажется, хотели сказать, что сами не верите в это Красное Здание?

Не переставая работать спицами, престарелая Матильда пожала одним плечом.

— Ну какой же взрослый человек может в это поверить? Дом, видите ли, у них бегает с места на место, внутри у него все двери с зубами, поднимаешься по лестнице вверх — оказываешься в подвале... Конечно, в здешних местах все может случиться, Эксперимент есть Эксперимент, но это уж все-таки слишком... Нет, не верю. За кого это вы меня принимаете, чтобы я в такие басни верила? Конечно, в каждом городе есть дома, которые глотают людей, наверное, и в нашем без таких домов не обходится, но вряд ли дома эти бегают с места на место... да и лестницы там, как я понимаю, самые обыкновенные.

— Позвольте, пани Гусакова, — сказал Андрей. — А зачем же тогда вы эти басни всем рассказываете?

— А почему же не рассказывать, если люди слушают? Скучно же людям, особенно старикам, вроде нас...

— Так вы это что — сами выдумали?

Престарелая Матильда открыла рот, чтобы ответить, но тут у Андрея над самым ухом отчаянно заверещал телефон. Андрей чертыхнулся и схватил трубку.

— Андрю-шоно-чек... — произнес в трубке совершенно пьяный голос Сельмы. — Я их всех выпел-ра... выпер-ла. Ты чего не идешь?

— Извини, — сказал Андрей, покусывая губу и косясь на старуху. — Я сейчас очень занят, я тебе...

— А я не же-ла-ю! — заявила Сельма. — Я тебя люблю, я тебя жду. Я у тебя пьянень-ка-я, голень-ка-я, мне холод-но...

— Сельма, — понизив голос, сказал Андрей в самую трубку. — Не валяй дурака. Я очень занят.

— Все равно ты такой девочки не... не найдешь в этом нуж... нужнике. Я вот тут свернулась калачиком... совсем-совсем голень... голенькая...

— Я приеду через полчаса, — проговорил Андрей торопливо.

— Ду-ра-чок! Через пол... полчаса я спать уже буду... Кто ж через полчаса приезжает?

— Ну ладно, Сельма, ну пока, — сказал Андрей, проклиная тот день и час, когда он дал этой распутной девке телефон своего кабинета.

— Ну и пошел к черту! — заорала вдруг Сельма и дала отбой. Так небось грохнула трубку, что весь телефон разнесла. Андрей, сжав зубы от бешенства, осторожно положил свою трубку и несколько секунд сидел, не смея поднять глаза. Мысли у него разбегались. Потом он откашлялся.

— Ну так, — сказал он. — Угу... Значит, рассказывали вы просто так, от скуки... — Он вспомнил наконец свой последний вопрос. — Значит, прикажете вас так понимать, что вы сами выдумали всю эту историю с Франтишеком?

Старуха снова открыла было рот, чтобы ответить, и снова ничего не получилось. Дверь распахнулась, на пороге возник дежурный и браво отрапортовал:

— Прошу прощения, господин следователь! Доставленный свидетель Петров требует, чтобы вы допросили его немедленно, поскольку он имеет сообщить...

Глаза у Андрея застлала мутная пелена. Он изо всех сил хватил обоими кулаками по столу и заорал так, что у самого в ушах зазвенело:

— Черт вас подери, дежурный! Вы что, устава не знаете? Куда вы претесь со своим Петровым? Вы что, у себя в сортире? Кр-ругом — марш!

Дежурный исчез, как не был. Андрей, чувствуя, что губы у него трясутся от ярости, налил себе онемевшими руками воды из графина и выпил. В горле у него саднило от дикого рева. Он исподлобья поглядел на старуху. Престарелая Матильда знай себе вязала, как ни в чем не бывало.

— Прошу прощения, — пробурчал он.

— Ничего, молодой человек, — успокоила его Матильда. — Я на вас не в обиде. Так вот вы спросили, может, я сама все это выдумала. Нет, голубчик, не сама. Где мне такое выдумать! Надо же: лестницы — идешь вверх, а попадаешь вниз... Мне бы такое и во сне не приснилось. Как мне рассказали, так и я рассказала...

— А кто именно вам рассказал?

Старуха, не переставая вязать, покачала головой.

— Вот этого уж я не упомню. В очереди рассказывала одна женщина. Франтишек этот якобы зять одной ее знакомой. Тоже врала, конечно. В

очереди такого иной раз наслышишься, что ни в каких газетах не прочтешь...

— А когда это примерно было? — спросил Андрей, понемногу приходя в себя и уже досадуя, что погорячился и взял слишком круто в лоб.

— Месяца два назад, наверное... а может, и три.

Да, испортил я допрос, думал Андрей с горечью. Испортил я, к чертям собачьим, допрос из-за этой стервы и из-за этого болвана-дежурного. Нет, я этого так не оставлю, я его, дубину стоеросовую, припеку. Он у меня попляшет. Он у меня побегает за психами по утреннему холодку... Ну ладно, а со старухой-то что теперь делать? Заперлась ведь старуха, не хочет имен называть...

— А вы уверены, пани Гусакова, — приступил он снова, — что так уж совсем не помните имени той женщины?

— Не помню, голубчик, совсем не помню, — весело откликнулась престарелая Матильда, не переставая бойко сверкать спицами.

— А может быть, подруги ваши помнят?..

Движение спиц несколько замедлилось.

— Вы ведь называли им это имя, верно? — продолжал Андрей. — Вполне ведь возможно, что у них память окажется получше?

Матильда опять пожала одним плечом и ничего не ответила. Андрей откинулся на спинку стула.

— Вот ведь какое у нас с вами получается положение, пани Гусакова. Имя той женщины вы то ли забыли, то ли просто не хотите нам сказать. А подружки ваши его помнят. Значит, придется нам вас немного здесь задержать, чтобы не могли вы предупредить ваших подружек, и держать мы вас будем вынуждены до тех пор, пока либо вы сами, либо кто-нибудь из ваших подружек не вспомнит, от кого вы слыхали эту историю.

— Воля ваша, — сказала пани Гусакова смиренно.

— Так-то оно так, — произнес Андрей. — Но вот пока вы будете вспоминать, а мы будем возиться с вашими подружками, люди-то будут продолжать исчезать, бандиты будут радоваться и потирать руки, и все это будет происходить от вашего странного предубеждения против органов следствия.

Престарелая Матильда ничего не ответила. Она только упрямо поджала сморщенные губы.

— Вы поймите, до чего все это нелепо получается, — продолжал втолковывать Андрей. — Мало того, что нам приходится и днем, и ночью возиться с отребьем, с гадами, с мерзавцами, — приходит честный человек и ни в какую не желает нам помочь. Ну что это такое? Дико ведь! Да и

бессмысленна эта ваша, простите, детская затея. Вы не вспомните — ваши подружки вспомнят, а все равно мы имя этой женщины узнаем, до Франтишека доберемся, и он нам поможет взять все это гнездо. Если только его раньше не укокошат бандиты как опасного свидетеля... А ведь если его убьют, виноваты будете и вы, пани Гусакова! Не по суду, конечно, не по закону, а по совести, по человечеству виноваты!

Вложивши в эту маленькую речь весь заряд своей убежденности, Андрей утомленно закурил сигарету и стал ждать, незаметно поглядывая на циферблат часов. Он положил себе ждать ровно три минуты, а потом, если вздорная старуха так и не расколется, отправить ее, старую корягу, в камеру, хоть и будет это совсем противозаконно. Но, в конце концов, надо же все-таки форсировать это проклятое дело... Сколько можно с каждой старухой возиться? Ночь в камере иногда производит на людей прямо-таки волшебное воздействие... Ну, а если возникнут какие-нибудь неприятности по поводу превышения полномочий... не возникнут, не станет она жаловаться, не похоже... ну, а если все-таки возникнут, так, в конце концов, Главный прокурор лично в этом деле заинтересован и, надо полагать, не выдаст. Ну, влепят выговор. Что я им — ради благодарностей работаю? Пусть лепят. Только бы дело это проклятое хоть немножко продвинуть... хоть чуть-чуть...

Он курил, вежливо разгоняя клубы дыма, секундная стрелка бодро бежала по циферблату, а пани Гусакова все молчала и только тихонько позвякивала своими спицами.

— Так, — сказал Андрей, когда истекла четвертая минута. Он решительным жестом вдавил окурок в переполненную пепельницу. — Вынужден вас задержать. За сопротивление следствию. Воля ваша, пани Гусакова, но, по-моему, это ребячество какое-то... Подпишите вот протокол, и вас препроводят в камеру.

Когда престарелую Матильду увели (на прощание она пожелала ему спокойной ночи), Андрей вспомнил, что ему так и не принесли горячего чая. Он высунулся в коридор, длинно и резко напомнил дежурному о его обязанностях и приказал ввести свидетеля Петрова.

Свидетель Петров, коренастый, почти квадратный, черный, как ворона, а на вид — совершеннейший бандит, мафиози девяносто шестой пробы, — прочно уселся на табуретку и, не говоря ни слова, стал злобно исподлобья глядеть, как Андрей прихлебывает чай.

— Ну что же вы, Петров? — сказал ему Андрей благодушно. — Рвались сюда, скандалили, работать мне мешали, а теперь вот молчите...

— А чего с вами, дармоедами, разговаривать? — сказал Петров

злобно. — Раньше надо было жопой пошевелить, теперь уже поздно.

— А что же это такое экстренное произошло? — осведомился Андрей, пропуская «дармоедов» и все прочее мимо ушей.

— А то произошло, что пока вы здесь болтовней занимались, устав свой говённый соблюдали, я Здание видел!

Андрей осторожно положил ложечку в стакан.

— Какое здание? — спросил он.

— Да вы что, в самом деле? — моментально взбесился Петров. — Вы что, шутки со мной шутите? Какое здание... Красное! То самое! Стоит, сволочь, прямо на Главной, и люди туда заходят, а вы тут чаек попиваете... Каких-то старух дурацких терзаете...

— Минуточку, минуточку!.. — сказал Андрей, вынимая из папки план города. — Где вы видели? Когда?

— Да вот сейчас, когда везли меня сюда... Я этому идиоту говорю: «Останови!», а он гонит... Здесь дежурному говорю: давай скорее туда наряд полиции — он тоже не мычит не телится...

— Где вы его видели? В каком месте?

— Синагогу знаете?

— Да, — сказал Андрей, находя на карте синагогу.

— Так вот между синагогой и кинотеатриком — есть там такой занюханный.

На карте между синагогой и кинотеатром «Новый Иллюзион» значился сквер с фонтаном и детской площадкой. Андрей покусал кончик карандаша.

— Когда же это вы его видели? — спросил он.

— Двенадцать двадцать было, — сказал Петров угрюмо. — А сейчас уже — пожалуйста, почти час. Станет оно вас дожидаться... Я, бывало, через пятнадцать, через двадцать минут прибегал, его уже не было, а тут... — Он безнадежно махнул рукой.

Андрей снял трубку и приказал:

— Мотоцикл с коляской и одного полицейского. Немедленно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мотоцикл с треском мчался по Главной улице, подпрыгивая на разбитом асфальте. Андрей, скорчившись, прятал лицо за ветровым щитком коляски, но его все равно пробирало насквозь. Надо было захватить шинель.

Время от времени с тротуаров навстречу мотоциклу выскакивали, кривляясь и приплясывая, синие от холода психи, орали что-то неслышное за шумом двигателя — полицейский мотоциклист притормаживал тогда, ругаясь сквозь зубы, увертывался от цепких протянутых рук, прорывался сквозь цепи полосатых балахонов и тут же снова разгонял машину так, что Андрея отбрасывало назад.

Кроме сумасшедших, никого на улице больше не было. Только однажды им повстречалась медленно катящаяся патрульная машина с оранжевой мигалкой на крыше, да на площади перед мэрией они увидели неуклюже бегущего огромного лохматого павиана. Павиан бежал опрометью, а за ним с гиканьем и пронзительными воплями гнались небритые люди в полосатых пижамах. Андрей, повернув голову, увидел, как они настигли-таки павиана, повалили, растянули в разные стороны за задние и передние лапы и принялись мерно раскачивать под жуткую загробную песню.

Мчались навстречу редкие фонари, черные кварталы, словно вымершие, без единого огонька, потом впереди показалась смутная желтоватая громада синагоги, и Андрей увидел Здание.

Оно стояло прочно и уверенно, будто всегда, многие десятилетия, занимало это пространство между стеной синагоги, изрисованной свастиками, и задрипанным кинотеатриком, оштрафованным на прошлой неделе за показ порнографических фильмов в ночное время, — стояло на том самом месте, где еще вчерашним днем росли чахлые деревца, бил худосочный фонтанчик в неподобающе громадной неряшливой цементной чаше, а на веревочных качелях висли и визжали разномастные ребятишки.

Оно было действительно красное, кирпичное, четырехэтажное, и окна нижнего этажа были забраны ставнями, и несколько окон на втором и третьем этажах светились желтым и розовым, а крыша была крыта оцинкованной жестью, и рядом с единственной трубой укреплена была странная, с несколькими поперечинами антенна. К двери действительно вело крыльцо из четырех каменных ступенек, блестела медная ручка, и чем

дольше Андрей смотрел на это здание, тем явственнее раздавалась у него в ушах какая-то торжественная и мрачная мелодия, и мельком он вспомнил, что многие из свидетелей показывали, будто в Здании играет музыка...

Андрей поправил козырек фуражки, чтобы не заслонял глаза, и взглянул на полицейского мотоциклиста. Угрюмый толстяк сидел нахохлившись, втянув голову в поднятый воротник, и сонно курил, держа сигарету в зубах.

— Видишь его? — спросил Андрей вполголоса.

Толстяк неловко повернул голову и отогнул воротник.

— А?

— Дом, говорю, видишь? — спросил Андрей, раздражаясь.

— Не слепой, — отозвался полицейский угрюмо.

— А раньше его видел здесь?

— Нет, — сказал полицейский. — Здесь не видел. В других местах — видел. А что? Здесь ночью и не такое увидишь...

Музыка у Андрея в ушах ревела с трагической силой, так что он даже плохо слышал полицейского. Происходили какие-то огромные похороны, тысячи и тысячи людей плакали, провожая своих близких и любимых, и ревущая музыка не давала им успокоиться, забыться, отключить себя...

— Жди меня здесь, — сказал Андрей полицейскому, но полицейский не ответил, что, впрочем, было и не удивительно, ибо он со своим мотоциклом остался на той стороне улицы, а Андрей стоял на каменном крыльце перед высокой дубовой дверью с медной ручкой.

Тогда Андрей посмотрел направо вдоль Главной улицы в туманную мглу, налево вдоль Главной улицы в туманную мглу, простился со всем этим на всякий случай и положил руку в перчатке на вычурно-резную блестящую медь.

За дверью оказалась небольшая спокойная прихожая, неярко освещенная желтоватым светом, гроздья шинелей, пальто и плащей свисали с разлапистой, как пальма, вешалки. Под ногами был потертый ковер с бледными неопределенными узорами, а прямо впереди — широкая мраморная лестница с красной мягкой дорожкой, прижатой к ступеням металлическими, хорошо начищенными прутьями. Были еще какие-то картины на стенах, и было еще что-то за дубовым барьером справа, и был кто-то рядом, кто почтительно отобрал у Андрея папку и шепнул: «Наверх, пожалуйста...» Ничего этого Андрей разобрать не мог, ему ужасно мешал козырек фуражки, который все время съезжал на самые глаза, так что Андрей мог видеть только то, что было у него под ногами. На середине лестницы он подумал, что надо было бы сдать проклятую фуражку в

гардероб этому раззолоченному типу в галунах и с бакенбардами до пояса, но теперь было уже поздно, а здесь все было устроено так, что все надо было делать вовремя или не делать совсем, и каждый ход свой, каждое свое действие возвращать назад было уже нельзя. И он со вздохом облегчения шагнул через последнюю ступеньку и снял фуражку.

Как только он появился в дверях, все встали, но он ни на кого не глядел. Он видел только своего партнера, невысокого пожилого мужчину в костюме полувоенного образца, в блестящих хромовых сапожках, мучительно на кого-то похожего и в то же время совершенно незнакомого.

Все неподвижно стояли вдоль стен, белых мраморных стен, украшенных золотом и пурпуром, задрапированных яркими разноцветными знаменами... нет, не разноцветными, все было красное с золотом, только красное и только с золотом, и с бесконечно далекого потолка свисали огромные пурпурно-золотые полотнища, словно материализовавшиеся ленты какого-то невероятного северного сияния, все стояли вдоль стен с высокими полукруглыми нишами, а в нишах прятались в сумраке горделиво-скромные бюсты, мраморные, гипсовые, бронзовые, золотые, малахитовые, нержавеющей стали... холодом могил веяло из этих ниш, все мерзли, все украдкой потирали руки и ежились, но все стояли навытяжку, глядя прямо перед собой, и только пожилой человек в полувоенной форме, партнер, противник, медленно, неслышными шагами расхаживал в пустом пространстве посередине зала, слегка наклонив массивную седеющую голову, заложив руки за спину, сжимая левой рукой кисть правой. И когда Андрей вошел, и когда все встали и уже стояли некоторое время, и когда под сводами зала уже затих, запутавшись в пурпуре и золоте, едва слышный вздох как бы облегчения, человек этот еще продолжал прохаживаться, а потом вдруг, на полушаге, остановился и очень внимательно, без улыбки поглядел на Андрея, и Андрей увидел, что волосы у него на большом черепе редкие и седые, лоб низкий, пышные усы — тоже редкие и аккуратно подстриженные, а равнодушное лицо — желтоватое, с неровной, как бы изрытой кожей.

В представлениях не было нужды, и не было нужды в приветственных речах. Они сели за инкрустированный столик, у Андрея оказались черные, а у пожилого партнера — белые, не белые, собственно, а желтоватые, и человек с изрытым лицом протянул маленькую безволосую руку, взял двумя пальцами пешку и сделал первый ход. Андрей сейчас же двинул навстречу свою пешку, тихого надежного Вана, который всегда хотел только одного — чтобы его оставили в покое, — и здесь ему будет обеспечен некоторый, впрочем, весьма сомнительный и относительный,

покой, здесь, в самом центре событий, которые развернутся, конечно, которые неизбежны, и Вану придется туго, но именно здесь его можно будет подпирать, прикрывать, защищать — долго, а при желании — бесконечно долго.

Две пешки стояли друг напротив друга, лоб в лоб, они могли коснуться друг друга, могли обменяться ничего не значащими словами, могли просто тихо гордиться собой, гордиться тем, что вот они, простые пешки, обозначили собою ту главную ось, вокруг которой будет теперь разворачиваться вся игра. Но они ничего не могли сделать друг другу, они были нейтральны друг к другу, они были в разных боевых измерениях — маленький желтый бесформенный Ван с головой, привычно втянутой в плечи, и плотный, по-кавалерийски кривоногий мужичок в бурке и в папахе, с чудовищными пушистыми усами, со скуластым лицом и жесткими, слегка раскосыми глазами.

Снова на доске было равновесие, и это равновесие должно было продлиться довольно долго, потому что Андрей знал, что партнер его — человек гениальной осторожности, всегда полагавший, что самое ценное — это люди, а значит, Вану в ближайшее время ничто не может угрожать, и Андрей отыскал в рядах Вана и чуть-чуть улыбнулся ему, но сейчас же отвел глаза, потому что встретился с внимательным и печальным взглядом Дональда.

Партнер думал, неторопливо постукивая мундштуком длинной папиросы по инкрустированной перламутром поверхности столика, и Андрей снова покосился на замершие ряды вдоль стен, но теперь он уже смотрел не на своих, а на тех, кем распоряжался его соперник. Там почти не было знакомых лиц: какие-то неожиданно интеллигентного вида люди в штатском, с бородами, в пенсне, в старомодных галстуках и жилетках, какие-то военные в непривычной форме, с многочисленными ромбами в петлицах, при орденах, привинченных на муаровые подкладки... Откуда он набрал таких, с некоторым удивлением подумал Андрей и снова посмотрел на выдвинутую вперед белую пешку. Эта пешка была ему, по крайней мере, хорошо знакома — человек легендарной некогда славы, который, как шептались взрослые, не оправдал возлагавшихся на него надежд и теперь, можно сказать, сошел со сцены. Он, видно, и сам знал это, но не особенно горевал — стоял, крепко вцепившись в паркет кривыми ногами, крутил гигантские свои усы, исподлобья поглядывал по сторонам, и от него остро несло водкой и конским потом.

Партнер поднял над доскою руку и переставил вторую пешку. Андрей закрыл глаза. Этого он никак не ожидал. Как же это так — прямо сразу?

Кто это? Красивое бледное лицо, вдохновенное и в то же время отталкивающее каким-то высокомерием, голубоватое пенсне, изящная вьющаяся бородка, черная копна волос над светлым лбом — Андрей никогда раньше не видел этого человека и не мог сказать, кто он, но был он, по-видимому, важной персоной, потому что властно и кратко разговаривал с кривоногим мужичком в бурке, а тот только шевелил усами, шевелил желваками на скулах и все отводил в сторону слегка раскосые глаза, словно огромная дикая кошка перед уверенным укротителем.

Но Андрею не было дела до их отношений — решалась судьба Вана, судьба маленького, всю свою жизнь мучившегося Вана, совсем уже втянувшего голову в плечи, уже готового к самому худшему и безнадежно покорного в своей готовности, и тут могло быть только одно из трех: либо Вана, либо Ван, либо все оставить так, как есть, подвесить жизни этих двоих в неопределенности — на высоком языке стратегии это называлось бы «непринятый ферзевый гамбит» — и такое продолжение было известно Андрею, и он знал, что оно рекомендуется в учебниках, знал, что это азбука, но он не мог вынести и мысли о том, что Ван еще в течение долгих часов игры будет висеть на волоске, покрываясь холодным потом предсмертного ужаса, а давление на него будет все наращиваться и наращиваться, пока, наконец, чудовищное напряжение в этом пункте не сделается совершенно невыносимым, гигантский кровавый нарыв прорвется, и от Вана не останется и следа.

Я этого не выдержу, подумал Андрей. И в конце концов, я совсем не знаю этого человека в пенсне, какое мне до него дело, почему это я должен жалеть его, если даже мой гениальный партнер думал всего несколько минут, прежде чем решился предложить эту жертву... И Андрей снял с доски белую пешку и поставил на ее место свою, черную, и в то же мгновение увидел, как дикая кошка в бурке вдруг впервые в жизни взглянула укротителю прямо в глаза и оскалила в плотоядной ухмылке желтые прокуренные клыки. И сейчас же какой-то смуглый, оливково-смуглый, не по-русски, не по-европейски даже выглядящий человек скользнул между рядами к голубому пенсне, взмахнул огромной ржавой лопатой, и пенсне голубой молнией брызнуло в сторону, а человек с бледным лицом великого трибуна и несостоявшегося тирана слабо ахнул, ноги его подломились, и небольшое ладное тело покатилось по выщербленным древним ступеням, раскаленным от тропического солнца, пачкаясь в белой пыли и ярко-красной липкой крови... Андрей перевел дыхание, проглотил мешающий комок в горле и снова посмотрел на доску.

А там уже две белые пешки стояли рядом, и центр был прочно

захвачен стратегическим гением, и, кроме того, из глубины прямо в грудь Вану нацелился зияющий зрачок неминуемой гибели — тут нельзя было долго размышлять, тут дело было уже не только в Ване: одно-единственное промедление, и белый слон вырвется на оперативный простор — он давно уже мечтает вырваться на оперативный простор, этот высокий статный красавец, украшенный созвездиями орденов, значков, ромбов, нашивок, гордый красавец с ледяными глазами и пухлыми, как у юноши, губами, гордость молодой армии, гордость молодой страны, преуспевающий соперник таких же высокомерных, усыпанных орденами, значками, нашивками гордецов западной военной науки. Что ему Ван? Десятки таких Ванов он зарубил собственной рукой, тысячи таких Ванов, грязных, вшивых, голодных, слепо уверовавших в него, по одному его слову, яростно матерясь, в рост шли на танки и пулеметы, и те из них, которые чудом остались в живых, теперь уже холеные и отъевшиеся, готовы были идти и сейчас, готовы были повторить все сначала...

Нет, этому человеку нельзя было отдавать ни Вана, ни центра. И Андрей быстро двинул вперед пешку, стоявшую на подхвате, не глядя, кто это, и думая только об одном: прикрыть, подпереть Вана, защитить его хотя бы со спины, показать великому танкисту, что Ван, конечно, в его власти, но дальше Вана ему не пройти. И великий танкист понял это, и заблестевшие было глаза его снова сонно прикрылись красивыми тяжелыми веками, но он забыл, видимо, как точно так же забыл и вдруг каким-то страшным внутренним озарением понял Андрей, что здесь все решают не они — не пешки и слоны, и даже не ладьи и не ферзи. И чуть только маленькая безволосая рука медленно поднялась над доской, как Андрей, уже понявший, что сейчас произойдет, сипло каркнул: «Поправляю...» в соответствии с благородным кодексом игры и так поспешно, что даже пальцы свело судорогой, поменял местами Вана и того, кто его подпирал. Удача бледно улыбнулась ему: подпирал Вана, а теперь заменил Вана Валька Сойфертис, с которым Андрей шесть лет просидел за одной партой и который все равно уже умер в сорок девятом году во время операции по поводу язвы желудка.

Брови гениального партнера медленно приподнялись, коричневатые с крапинками глаза удивленно-насмешливо прищурились. Конечно, ему был смешон и непонятен такой бессмысленный как с тактической, так, тем более, и со стратегической точки зрения поступок. Продолжая движение маленькой слабой руки, он остановил ее над слоном, помедлил еще несколько секунд, размышляя, затем пальцы его уверенно сомкнулись на лакированной головке фигуры, слон устремился вперед, тихонько стукнул о

черную пешку, сдвинул ее и утвердился на ее месте. Гениальный стратег еще медленно выносил битую пешку за пределы поля, а кучка людей в белых халатах, деловитых и сосредоточенных, уже окружила хирургическую каталку, на которой лежал Валька Сойфертис, — в последний раз мелькнул перед глазами Андрея темный, изглоданный болезнью профиль, и каталка исчезла в дверях операционной...

Андрей взглянул на великого танкиста и увидел в его серых прозрачных глазах тот же ужас и тягостное недоумение, которое ощущал и сам. Танкист, часто мигая, смотрел на гениального стратега и ничего не понимал. Он привык мыслить в категориях передвижений в пространстве огромных машинных и человеческих масс, он, в своей наивности и простодушии, привык считать, что все и навсегда решат его бронированные армады, уверенно прущие через чужие земли, и многомоторные, набитые бомбами и парашютистами летающие крепости, плывущие в облаках над чужими землями, он сделал все возможное для того, чтобы эта ясная мечта могла быть реализована в любой необходимый момент... Конечно, он позволял себе иногда известные сомнения в том, что гениальный стратег так уж гениален и сумеет однозначно определить этот необходимый момент и необходимые направления бронированных ударов, и все же он ни в какую не понимал (и так и не успел понять), как можно было приносить в жертву именно его, такого талантливого, такого неутомимого и неповторимого, как можно было принести в жертву все то, что было создано такими трудами и усилиями...

Андрей быстро снял его с доски, с глаз долой, и поставил на его место Вана. Люди в голубых фуражках протиснулись между рядами, грубо схватили великого танкиста за плечи и за руки, отобрали оружие, с хрустом ударили по красивому породистому лицу и поволокли в каменный мешок, а гениальный стратег откинулся на спинку стула, сыто зажмурился и, сложив руки на животе, покрутил большими пальцами. Он был доволен. Он отдал слона за пешку и был очень доволен. И тогда Андрей вдруг понял, что в его, стратега, глазах все это выглядит совсем иначе: он ловко и неожиданно убрал мешающего ему слона да еще получил пешку в придачу — вот как это выглядело на самом деле...

Великий стратег был более чем стратегом. Стратег всегда крутится в рамках своей стратегии. Великий стратег отказался от всяких рамок. Стратегия была лишь ничтожным элементом его игры, она была для него так же случайна, как для Андрея — какой-нибудь случайный, по прихоти сделанный ход. Великий стратег стал великим именно потому, что понял (а может быть, знал от рождения): выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть

по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться и от них. Кто сказал, что свои фигуры менее опасны, чем фигуры противника? Вздор, свои фигуры гораздо более опасны, чем фигуры противника. Кто сказал, что короля надо беречь и уводить из-под шаха? Вздор, нет таких королей, которых нельзя было бы при необходимости заменить каким-нибудь конем или даже пешкой. Кто сказал, что пешка, прорвавшаяся на последнюю горизонталь, обязательно становится фигурой? Ерунда, иногда бывает гораздо полезнее оставить ее пешкой — пусть постоит на краю пропасти в назидание другим пешкам...

Проклятая фуражка все съезжала и съезжала Андрею на глаза, и ему все труднее становилось следить за тем, что происходит вокруг. Он слышал, однако, что чинная тишина в зале перестала существовать, слышался звон посуды, гомон многих голосов, звуки настраиваемого оркестра. Потянуло кухонным чадом. Кто-то пискляво объявлял на весь дом: «Жогж! Я чегтовски пгоголодался! Вели скогее подать мне гюмку кюгасо и а-ня-няс!..»

— Прошу прощения, — произнес кто-то над самым ухом с казенной вежливостью, протискиваясь между Андреем и доской, — мелькнули черные фалды, начищенные лаковые штиблеты, высоко вздетая белая рука с нагруженным подносом проплыла над головой. И еще какая-то белая незнакомая рука поставила у локтя Андрея бокал шампанского.

Гениальный стратег обстучал, наконец, и обмял свою папиросу до такой степени, что ее стало можно курить. И он закурил — синеватый дымок поплыл у него из волосатых ноздрей, путаясь в пышных редковатых усах.

А игра тем временем шла. Андрей судорожно защищался, отступал, маневрировал, и ему пока удавалось сделать так, что гибли только и без того уже мертвые. Вот унесли Дональда с простреленным сердцем и положили на столик рядом с бокалом его пистолет и предсмертную записку: «Приходя — не радуйся, уходя — не грусти. Пистолет отдайте Воронину. Когда-нибудь пригодится»... Вот уже брат с отцом снесли по обледенелой лестнице и сложили в штабель трупов во дворе тело бабушки, Евгении Романовны, зашитое в старые простыни... Вот и отца похоронили в братской могиле где-то на Пискаревке, и угрюмый водитель, пряча небритое лицо от режущего ветра, прошелся асфальтовым катком взад и вперед по окоченевшим трупам, утрамбовывая их, чтобы в одну могилу поместилось побольше... А великий стратег щедро, весело и злорадно расправлялся со своими и чужими, и все его холеные люди в бородках и

орденах стреляли себе в виски, выбрасывались из окон, умирали от чудовищных пыток, проходили, перешагивая друг через друга, в ферзи и оставались пешками...

И Андрей все мучительно пытался понять, что же это за игра, в которую он играет, какая цель ее, каковы правила, и зачем все это происходит, и до самых глубин души продирал его вопрос: как же это он попал в противники великого стратега, он, верный солдат его армии, готовый в любую минуту умереть за него, готовый убивать за него, не знающий никаких иных целей, кроме его целей, не верящий ни в какие средства, кроме указанных им средств, не отличающий замыслов великого стратега от замыслов Вселенной. Он жадно, не ощутивши никакого вкуса, вылакал шампанское, и тогда вдруг ослепительное озарение обрушилось на него. Ну конечно же, он никакой не противник великого стратега! Ну конечно же, вот в чем дело! Он его союзник, верный его помощник, вот оно — главное правило этой игры! Играют не соперники, играют именно партнеры, союзники, игра идет в одни-единственные ворота, никто не проигрывает, все только выигрывают... кроме тех, конечно, кто не доживет до победы...

Кто-то коснулся его ноги и проговорил под столом: «Будьте любезны, передвиньте ножку...» Андрей посмотрел под ноги. Там темнела блестящая лужа, и около нее возился на карачках лысенький карлик с большой высохшей тряпкой, покрытой темными пятнами. Андрея замутило, и он снова стал смотреть на доску. Он уже пожертвовал всеми мертвыми, теперь у него оставались только живые. Великий стратег по ту сторону столика с любопытством следил за ним и даже, кажется, кивал одобрительно, обнажая в вежливой улыбке маленькие редкие зубы, и тут Андрей почувствовал, что он больше не может. Великая игра, благороднейшая из игр, игра во имя величайших целей, которые когда-либо ставило перед собой человечество, но играть в нее дальше Андрей не мог.

— Выйти... — сказал он хрипло. — На минутку.

Это получилось у него так тихо, что он сам едва расслышал себя, но все сразу посмотрели на него. Снова в зале наступила тишина, и козырек фуражки почему-то больше не мешал ему, и он мог теперь ясно, глаза в глаза, увидеть всех своих, всех, кто пока еще оставался в живых.

Мрачно глядел на него, потрескивая цигаркой, огромный дядя Юра в своей распахнутой настежь, выцветшей гимнастерочке; пьяно улыбалась Сельма, развалившаяся в кресле с ногами, задранными так, что видна была попка в кружевных розовых трусиках; серьезно и понимающе смотрел Кэнси, а рядом с ним — взлохмаченный, как всегда зверски небритый, с

отсутствующим взглядом Володька Дмитриев; а на высоком старинном стуле, с которого только что поднялся и ушел в очередную свою и последнюю таинственную командировку Сева Барабанов, восседал теперь брезгливо сморщенный, со своим аристократическим горбатым носом Борька Чистяков, словно готовый спросить: «Ну что ты орешь, как больной слон?» — все были здесь, все самые близкие, самые дорогие, и все смотрели на него, и все по-разному, и в то же время было в их взглядах и что-то общее, какое-то общее их к нему отношение: сочувствие? доверие? жалость? Нет, не это, и он так и не понял, что именно, потому что вдруг увидел среди хорошо знакомых и привычных лиц какого-то совсем незнакомого человека, какого-то азиата с желтоватым лицом и раскосыми глазами, нет, не Вана, какого-то изысканного, даже элегантного азиата, и еще ему показалось, что за спиной этого незнакомца прячется кто-то совсем маленький, грязный, оборванный, наверное, беспризорный ребенок...

И он встал, резко, со скрипом отодвинув от себя стул, и отвернулся от них всех, и, сделав какой-то неопределенный жест в сторону и в адрес великого стратега, поспешно пошел вон из зала, протискиваясь между чьими-то плечами и животами, отстраняя кого-то с дороги, и, словно чтобы успокоить его, кто-то пробубнил неподалеку: «Ну что ж, это правилами допускается, пусть подумает, поразмыслит... Нужно только остановить часы...»

Совершенно обессиленный, мокрый от пота, он выбрался на лестничную площадку и сел прямо на ковер, недалеко от жарко полыхающего камина. Фуражка снова сползла ему на глаза, так что он даже и не пытался разглядеть, что это там за камин и что за люди сидят около камина, он только чувствовал своим мокрым и словно бы избитым телом мягкий сухой жар, и видел подсохшие, но все еще липкие пятна на своих ботинках, и слышал сквозь уютное потрескивание пылающих поленьев, как кто-то неторопливо, со вкусом, прислушиваясь к собственному бархатному голосу, рассказывает:

— ...Представляете себе — красавец, в плечах косая сажень, кавалер трех орденов Славы, а полный бант этих орденов, надо вам сказать, давали не всякому, таких было меньше даже, чем Героев Советского Союза. Ну, прекрасный товарищ, учился отлично и все такое. И была у него, надо вам сказать, одна странность. Бывало, придет он на вечеринку на хате у сынка какого-нибудь генерала или маршала, но чуть все разбредутся шерочка с машерочкой, он потихоньку в прихожую, фуражечку набекрень и — привет. Думали сначала, что есть у него какая-то постоянная любовь. Так нет — то

и дело встречали его ребята в публичных местах — ну, в парке Горького, в клубах там разных — с какими-то отъявленными лахудрами, да все с разными! Я вот тоже однажды повстречал. Смотрю — ну и выбрал! — ни кожи ни рожи, чулки вокруг тощих конечностей винтом, размалевана — сказать страшно... а тогда, между прочим, нынешней косметики ведь не было — чуть ли не ваксой сапожной девки брови подводили... В общем, как говорится, явный мезальянс. А он — ничего. Ведет ее нежно под ручку и что-то ей там вкручивает, как полагается. А уж она-то — прямо тает, и гордится, и стыдится — полные штаны удовольствия... И вот однажды в холостой компании мы и пристали к нему: давай выкладывай, что у тебя за извращенные вкусы, как тебе с этими б...ми ходить не тошно, когда по тебе сохнут лучшие красавицы... А надо вам сказать, что был у нас в академии педагогический факультет, привилегированная такая штучка, туда только из самых высоких семей девиц набирали... Ну, он сначала отшучивался, а потом сдался и рассказал нам такую удивительную вещь. Я, говорит, товарищи, знаю, что во мне, так сказать, все угодья: и красив, и ордена, и хвост колом. И сам, говорит, о себе это знаю, и записочек много на этот счет получал. Но был тут у меня, говорит, один случай. Увидел я вдруг несчастье женщин. Всю войну они никакого просвета не видели, жили впроголодь, вкалывали на самой мужской работе — бедные, некрасивые, понятия даже не имеющие, что это такое — быть красивой и желанной. И я, говорит, положил себе дать хоть немногим из них такое яркое впечатление, чтобы на всю жизнь им было о чем вспоминать. Я, говорит, знакомлюсь с такой вот вагоновожатой, или с работницей с «Серпа и молота», или с несчастненькой учительницей, которой и без войны-то на особое счастье рассчитывать не приходилось, а теперь, когда столько мужиков перебили, и вообще ничего в волнах не видно. Провожу я с ними два-три вечера, говорит, а потом исчезаю, прощаюсь, конечно, вру, что еду в длительную командировку или еще что-нибудь такое правдоподобное, и остаются они с этим светлым воспоминанием... Хоть какая-то, говорит, светлая искорка в их жизни. Не знаю, говорит, как это получается с точки зрения высокой морали, но есть у меня ощущение, что я таким образом хоть как-то частичку нашего общего мужского долга выполняю... Рассказал он нам все это, мы обалдели. Потом, конечно, спорить принялись, но впечатление это все на нас произвело необыкновенное. Вскоре он, впрочем, куда-то исчез. Тогда многие у нас так вот исчезали: приказ командования, а в армии не спрашивают, куда и зачем... Больше я его не видел...

И я, подумал Андрей. И я его больше не видел. Было два письма — одно маме, одно мне. И было извещение маме: «Ваш сын, Сергей

Михайлович Воронин, погиб с честью при выполнении боевого задания командования». В Корее это было. Под розовым акварельным небом Кореи, где впервые великий стратег попробовал свои силы в схватке с американским империализмом. Он вел там свою великую игру, а Сережа там остался со своим полным набором орденов Славы...

Не хочу, подумал Андрей. Не хочу я этой игры. Может быть, так все и должно быть, может, без этой игры и нельзя. Может быть. Даже наверняка. Но я не могу... Не умею. И учиться даже не хочу... Ну что же, подумал он с горечью. Значит, я просто плохой солдат. Вернее сказать, я просто солдат. Всего-навсего солдат. Тот самый, который размышлять не умеет и потому должен повиноваться слепо. И я никакой не партнер, не союзник великого стратега, а крошечный винтик в его колоссальной машине, и место мое не за столом в его непостижимой игре, а рядом с Ваном, с дядей Юрой, с Сельмой... Я маленький звездный астроном средних способностей, и если бы мне удалось доказать, что существует какая-то связь между широкими парами и потоками Схилта, это было бы для меня уже очень и очень много. А что касается великих решений и великих свершений...

И тут он вспомнил, что он уже не звездный астроном, что он — следователь прокуратуры, что ему удалось добиться немалого успеха: с помощью специально подготовленной агентуры особой сыскной методикой засечь это таинственное Красное Здание и проникнуть в него, раскрыть его зловещие тайны, создать все предпосылки для успешного уничтожения этого злокачественного явления нашей жизни...

Приподнявшись на руках, он сполз ступенькой ниже. Если я сейчас вернусь к столу, из Здания мне уже не вырваться. Оно меня поглотит. Это же ясно: оно уже многих поглотило, на то есть свидетельские показания. Но дело не только в этом. Дело в том, что я должен вернуться в свой кабинет и распутать этот клубок. Вот мой долг. Вот что я сейчас обязан сделать. Все остальное — мираж...

Он сполз еще на две ступеньки. Надо освободиться от миража и вернуться к делу. Здесь все не случайно. Здесь все отлично продумано. Это чудовищный иллюзион, сооруженный провокаторами, которые стремятся разрушить веру в конечную победу, растлить понятия морали и долга. И не случайно, что по одну сторону Здания этот грязный кинотеатрик под названием «Новый Иллюзион». Новый! В порнографии ничего нового нет, а он — новый! Все понятно! А по другую сторону что? Синагога...

Он быстро-быстро пополз по ступенькам вниз и добрался до двери, на которой было написано «Выход». Уже взявшись за дверную ручку, уже навалившись, уже преодолевая сопротивление скрипящей пружины, он

вдруг понял, что общего было в выражении глаз, устремленных на него там, наверху. Упрек. Они знали, что он не вернется. Он сам еще об этом и не догадывался, а они уже знали точно...

Он вывалился на улицу, жадно хватил огромный глоток сырого туманного воздуха и с замирающим от счастья сердцем увидел, что здесь все по-прежнему: туманная мгла направо вдоль Главной улицы, туманная мгла налево вдоль Главной улицы, а напротив, на той стороне, рукой подать — мотоцикл с коляской и совсем заснувший полицейский водитель, погрузившийся в воротник с головой. «Дрыхнет жиряга, — с умилением подумал Андрей. — Умаялся». И тут голос внутри него вдруг громко произнес: «Время!», и Андрей застонал, заплакал от отчаяния, только сейчас вспомнив главное, самое страшное правило игры. Правило, придуманное специально против таких вот интеллигентных хлюпиков и чистоплюев: тот, кто прервал партию, тот сдался; тот, кто сдался, теряет все свои фигуры.

С воплем «Не надо!» Андрей повернулся и протянул руку к медной ручке. Но было уже поздно. Дом уходил. Он медленно пятился задом в непроглядную тьму мрачных задворков синагоги и «Нового Иллюзиона». Он уползал с явственным шорохом, скрежетом, скрипом, дребезжа стеклами, покряхтывая балками перекрытий. С крыши сорвалась черепица и разбилась о каменную ступеньку.

Андрей изо всех сил давил на медную ручку, но она словно срослась с деревом двери, а дом двигался все быстрее и быстрее, и Андрей уже бежал, почти волочился за ним, как за отходящим поездом, он рвал и дергал ручку и вдруг споткнулся обо что-то, упал, скрюченные пальцы его сорвались с гладких медных завитков, он ударился обо что-то головой, очень больно, искры посыпались из глаз, и хрустнуло что-то в черепе, но он еще видел, как дом, пятясь, на ходу гася свои окна, свернул за желтую стену синагоги, исчез, снова появился, словно выглянул двумя своими последними горящими окнами, а потом и эти окна погасли, и наступила тьма.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Он сидел на скамейке перед дурацкой цементной чашей фонтана и прижимал влажный, уже степлившийся платок к здоровенной, страшной на ощупь гуле над правым глазом. Света белого он не видел, голову ломило так, что он опасался, не лопнул ли череп, саднили разбитые колени, ушибленный локоть онемел, но, по некоторым признакам, обещал в

ближайшем будущем еще заявить о себе. Впрочем, все это, может быть, было даже и к лучшему. Все это придавало происходящему отчетливо выраженную грубую реальность. Не было никакого Здания, не было Стратега и темной липкой лужи под столом, не было шахмат, не было никакого предательства, а просто брел человек в темноте, зазевался да и загремел через низенький цементный барьер прямо в идиотскую чашу, треснувшись дурацкой своей башкой и всем прочим о сырое цементное дно...

То есть, Андрей, конечно, прекрасно понимал, что на самом деле все было совсем не так просто, но приятно было думать, что, может быть, все-таки именно брел, именно зацепился и треснулся — тогда все получалось даже забавно и во всяком случае удобно. Что же мне теперь делать, думал он туманно. Ну, нашел я это Здание, ну, побывал, увидел своими глазами... А дальше? Не забивайте мне голову, больную мою голову теперь не забивайте всеми этими разглагольствованиями о слухах, мифах и прочей пропаганде. Это раз. Не забивайте... Впрочем, виноват — кажется, это я сам всем забивал голову. Надо немедленно выпустить этого... как его... с флейтой. Интересно, эта его Элла — тоже там играла в шахматы?.. Сволочь, как голова болит...

Платок совсем степлился, Андрей, кряхтя, поднялся, подковылял к фонтану и, перегнувшись через край, подержал влажную тряпку в ледяной струйке. В гулю кто-то горячо и яростно толкался изнутри. Вот тебе и миф. Он же мираж... Он отжал платок, снова приложил его к больному месту и посмотрел через улицу. Толстяк по-прежнему спал. Зараза жирная, подумал Андрей с озлоблением. Службу он несет. Я тебя зачем с собой брал? Дрыхнуть я тебя сюда брал? Меня тут сто раз могли кокнуть... Конечно, а эта скотина, выспавшись, заявилась бы завтра утром в прокуратуру и доложила бы как ни в чем не бывало: господин, мол, следователь как зашли ночью в Красное Здание, так больше наружу и не вышли... Некоторое время Андрей представлял себе, как славно было бы набрать сейчас ведро ледяной воды, подобраться к толстому гаду и вылить ему все ведро за шиворот. То-то бы взвился. Это как на сборах ребята развлекались: задрыхнет кто-нибудь, а ему за шнурок привяжут к причинному месту ботинок, а потом этот огромный грязный говнодав поставят на морду. Тот спросонья озвереет и этот ботинок запускает в пространство с бешеной силой. Очень было смешно.

Андрей вернулся к скамейке и обнаружил, что у него появился сосед. Какой-то маленький тощенький человечек, весь в черном, даже рубашка черная, сидел, положивши ногу на ногу, держа на колене старомодную

шляпу-котелок. Наверное, сторож при синагоге. Андрей тяжело опустился рядом с ним, осторожно прощупывая сквозь влажный платок границы гули.

— Ну хорошо, — сказал человечек ясным старческим голосом. — А что будет дальше?

— Ничего особенного, — сказал Андрей. — Всех выловим. Я этого дела так не оставлю.

— А дальше? — настаивал старик.

— Не знаю, — сказал Андрей, подумав. — Может быть, еще какая-нибудь гадость появится. Эксперимент есть Эксперимент. Это — надолго.

— Это — навечно, — заметил старик. — В согласии с любой религией это — навечно.

— Религия здесь ни при чем, — возразил Андрей.

— Вы и сейчас так думаете? — удивился старик.

— Конечно. И всегда так думал.

— Хорошо, не будем пока об этом. Эксперимент есть Эксперимент, веревка — вервие простое... здесь многие так себя утешают. Почти все. Этого, между прочим, ни одна религия не предусмотрела. Но я-то о другом. Зачем даже здесь нам оставлена свобода воли? Казалось бы, в царстве абсолютного зла, в царстве, на вратах которого начертано: «Оставь надежду...»

Андрей подождал продолжения, не дождался и сказал:

— Вы все это себе как-то странно представляете. Это не есть царство абсолютного зла. Это скорее хаос, который мы призваны упорядочить. А как мы сможем его упорядочить, если не будем обладать свободой воли?

— Интересная мысль, — произнес старик задумчиво. — Мне это никогда не приходило в голову. Значит, вы полагаете, что нам дан еще один шанс? Что-то вроде штрафного батальона — смыть кровью свои прегрешения на переднем крае извечной борьбы добра со злом...

— Да при чем здесь — «со злом»? — сказал Андрей, понемногу раздражаясь. — Зло — это нечто целенаправленное...

— Вы — манихеец! — прервал его старик.

— Я — комсомолец! — возразил Андрей, раздражаясь еще больше и чувствуя необыкновенный прилив веры и убежденности. — Зло — это всегда явление классовое. Не бывает зла вообще. А здесь все перепутано, потому что — Эксперимент. Нам дан хаос. И либо мы не справимся, вернемся к тому, что было там — к классовому расслоению и прочей дряни, — либо мы оседлаем хаос и претворим его в новые, прекрасные формы человеческих отношений, именуемые коммунизмом...

Некоторое время старик ошарашенно молчал.

— Надо же, — произнес он наконец с огромным удивлением. — Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить... Коммунистическая пропаганда — здесь! Это даже не схизма, это... — Он помолчал. — Впрочем, ведь идеи коммунизма сродни идеям раннего христианства...

— Это ложь! — возразил Андрей сердито. — Поповская выдумка. Раннее христианство — это идеология смирения, идеология рабов. А мы — бунтари! Мы камня на камне здесь не оставим, а потом вернемся туда, обратно, к себе, и все перестроим так, как перестроили здесь!

— Вы — Люцифер, — проговорил старик с благоговейным ужасом. — Гордый дух! Неужели вы не смирились?

Андрей аккуратно перевернул платок холодной стороной и подозрительно посмотрел на старичка.

— Люцифер?.. Так. А кто вы, собственно, такой?

— Я — тля, — кратко ответствовал старик.

— Гм... — Спорить было трудно.

— Я — никто, — уточнил старик. — Я был никто там, и здесь я тоже никто. — Он помолчал. — Вы вселили в меня надежду, — объявил он вдруг. — Да, да, да! Вы не представляете себе, как странно, как странно... как радостно было слушать вас! Действительно, раз свобода воли нам оставлена, то почему должно быть обязательно смирение, терпеливые муки?.. Нет, эту встречу я считаю самым значительным эпизодом за все время моего пребывания здесь...

Андрей с неприязненной внимательностью оглядывал его. Издевается, старый хрен... Нет, не похоже... Сторож синагоги?.. Синагога!

— Прошу прощенья, — вкрадчиво осведомился он. — Вы давно здесь сидите? Я имею в виду — на этой скамеечке?

— Нет, не очень. Сначала я сидел на табуретке вон в той подворотне, там есть табуретка... А когда Дом удалился, я перешел на скамеечку.

— Ага, — сказал Андрей. — Значит, вы видели Дом?

— Конечно! — с достоинством ответил старик. — Его трудно не видеть. Я сидел, слушал музыку и плакал.

— Плакал... — повторил Андрей, мучительно пытаясь сообразить, что к чему. — Скажите, вы еврей?

Старик вздрогнул.

— Господи, нет! Что за вопрос? Я католик, верный и — увы! — недостойный сын римско-католической церкви... Разумеется, я ничего не имею против иудаизма, но... А почему вы об этом спросили?

— Так, — сказал Андрей уклончиво. — К синагоге, значит, вы не имеете никакого отношения?

— Пожалуй, нет, — сказал старик. — Если не считать того, что я часто сижу в этом скверике и иногда сюда приходит сторож... — Он стесненно захихикал. — Мы с ним ведем религиозные диспуты...

— А как же Красное Здание? — спросил Андрей, закрывая глаза от боли в черепе.

— Дом? Ну, когда приходит Дом, мы, естественно, здесь сидеть не можем. Тогда нам приходится подождать, пока он уйдет.

— Значит, вы видите его не в первый раз?

— Разумеется, нет. Редкую ночь он не приходит... Правда, сегодня он был здесь дольше, чем обычно...

— Погодите, — сказал Андрей. — А вы знаете, что это за дом?

— Его трудно не узнать, — тихо сказал старик. — Раньше, в той жизни, я не раз видел его изображения и описания. Он подробно описан в откровениях святого Антония. Правда, этот текст не канонизирован, но сейчас... Нам, католикам... Словом, я читал это. «И еще являлся мне дом, живой и движущийся, и совершал непристойные движения, а внутри через окна я видел в нем людей, которые ходили по комнатам его, спали и принимали пищу...» Я не ручаюсь за точность цитирования, но это очень близко к тексту... И, разумеется, Иероним Босх... Я бы назвал его святым Иеронимом Босхом, я многим обязан ему, он подготовил меня к этому... — Он широко повел рукой вокруг себя. — Его замечательные картины... Господь, несомненно, допустил его сюда. Как и Данте... Между прочим, существует рукопись, которую приписывают Данте, в ней тоже упоминается этот дом. Как это там... — Старик закрыл глаза и поднял растопыренную пятерню ко лбу. — Э-э-э... «И спутник мой, простерши руку, сухую и костлявую...» М-м-м... Нет... «Кровавых тел нагих сплетенье в покоях сумрачных...» М-м-м...

— Погодите, — сказал Андрей, облизывая сухие губы. — Что вы мне несете? При чем здесь святой Антоний и Данте? Вы к чему, собственно, клоните?

Старик удивился.

— Я ни к чему не клоню, — сказал он. — Вы ведь спросили меня про Дом, и я... Я, конечно, должен благодарить Бога за то, что Он в предвечной мудрости и бесконечной доброте своей еще в прежнем существовании моем просветил меня и дал мне подготовиться. Я очень и очень многое узнаю здесь, и у меня сжимается сердце, когда я думаю о других, кто прибыл сюда и не понимает, не в силах понять, где они оказались. Мучительное непонимание сущего и вдобавок мучительные воспоминания о грехах своих. Возможно, это тоже великая мудрость Творца: вечное

сознание грехов своих без осознания возмездия за них... Вот, например, вы, молодой человек, — за что Он низвергнул вас в эту пучину?

— Не понимаю, о чем вы говорите, — пробормотал Андрей угрюмо. «Религиозных фанатиков нам здесь еще только и не хватало», — подумал он.

— Да вы не стесняйтесь, — сказал старик ободряюще. — Здесь скрывать это не имеет смысла, ибо Суд уже состоялся... Я, например, грешен перед народом своим — я был предателем, доносчиком, я видел, как мучили и убивали людей, которых я выдавал слугам сатаны. Меня повесили в тысяча девятьсот сорок четвертом. — Старик помолчал. — А вы когда умерли?

— Я не умирал... — произнес Андрей, холодея.

Старик покивал с улыбкой.

— Да, многие так думают, — сказал он. — Но это заблуждение. История знает случаи, когда людей брали живыми на небо, но никто никогда не слыхал, чтобы их — в наказание! — живыми ссылали в преисподнюю.

Андрей слушал, обалдело воззрившись на него.

— Вы просто забыли, — продолжал старик. — Была война, бомбы падали на улицах, вы бежали в бомбоубежище, и вдруг — удар, боль, и все исчезло. А потом — видение ангела, говорящего ласково и иносказательно, и вы — здесь... — Он снова понимающе покивал, выпятив губу. — Да-да, несомненно, именно так вот и возникает ощущение свободы воли. Теперь я понимаю: это инерция. Просто инерция, молодой человек. Вы говорили так убежденно, что несколько даже поколебали меня... Организация хаоса, новый мир... Нет-нет, это просто инерция. Это должно со временем пройти. Не забудьте, преисподняя вечна, возврата нет, а вы ведь еще только в первом круге...

— Вы... серьезно? — Голос Андрея дал маленького петуха.

— Вы же все это знаете сами, — ласково сказал старик. — Вы отлично все это знаете! Просто вы — атеист, молодой человек, и не хотите себе признаться, что ошибались всю свою — пусть даже недолгую — жизнь. Вас учили ваши бестолковые и невежественные учителя, что впереди — ничто, пустота, гниение; что ни благодарности, ни возмездия за содеянное ждать не приходится. И вы принимали эти жалкие идеи, потому что они казались вам такими простыми, такими очевидными, а главным образом потому, что вы были совсем молоды, обладали прекрасным здоровьем тела и смерть была для вас далекой абстракцией. Сотворивши зло, вы всегда надеялись уйти от наказания, потому что наказать вас могли только такие

же люди, как вы. А если вам случалось сотворить добро, вы требовали от таких же, как вы, немедленной награды. Вы были смешны. Сейчас вы, конечно, понимаете это — я вижу это по вашему лицу... — Он вдруг засмеялся. — У нас в подполье был один инженер, материалист, мы часто спорили с ним о загробной жизни. Господи, как он издевался надо мною! «Папаша, — говорил он, — в раю мы с вами закончим этот бессмысленный спор...» И вы знаете, я все ищу его здесь, ищу и никак не могу найти. Может быть, в его шутке была правда, может быть, он и в самом деле пошел в рай — как мученик. Смерть его воистину была мучительна... А я — здесь.

— Ночные диспуты о жизни и смерти? — проквакал вдруг над ухом знакомый голос, и скамейка затряслась. Изя Кацман, по обыкновению растерзанный и взлохмаченный, с размаху плюхнулся по другую сторону от Андрея и, придерживая левой рукой огромную светлую папку, сейчас же принялся правой терзать свою бородавку. Как и всегда, он был в состоянии какого-то восторженного возбуждения.

Андрей сказал, стараясь, чтобы получилось по возможности небрежно:

— Вот этот пожилой господин полагает, что все мы находимся в аду.

— Пожилой господин абсолютно прав, — немедленно возразил Изя и захихикал. — Во всяком случае, если это и не ад, то нечто совершенно неотличимое по своим проявлениям. Однако согласитесь, пан Ступальский, вы ведь так и не нашли в моей прижизненной карьере ни одного проступка, за который стоило меня сюда отправить! Я даже не прелюбодействовал — до такой степени я был глуп.

— Пан Кацман, — заявил старик, — я вполне допускаю, что вы и сами не знаете ничего об этом своем роковом проступке!

— Возможно, возможно, — легко согласился Изя. — Судя по твоему виду, — обратился он к Андрею, — ты побывал в Красном Здании. Ну, и как тебе там?

И вот тут Андрей окончательно пришел в себя. Словно лопнула и растаяла эта липкая полупрозрачная пленка кошмара, утихла боль в голове, теперь он резко и ясно различал все вокруг себя, и Главная улица перестала быть мглистой и туманной, и полицейский с мотоциклом вовсе, оказывается, не спал, а прохаживался по тротуару, светя красным огоньком сигареты и поглядывая в сторону скамейки. «Господи, — подумал Андрей почти с ужасом. — Что я здесь делаю? Я ведь следователь, время ведь уходит, а я занимаюсь здесь болтовней с этим психом, а ведь здесь Кацман... Кацман? Он-то как здесь оказался?»

— Откуда ты знаешь, где я был? — спросил он отрывисто.

— Нетрудно догадаться, — сказал Изя, хихикая. — Ты бы посмотрел на себя в зеркало...

— Я тебя серьезно спрашиваю! — сказал Андрей, повышая голос.

Старик вдруг поднялся.

— Спокойной ночи, панове, — произнес он, плавно подвигав котелком над головой. — Добрых сновидений.

Андрей не обратил на него внимания. Он смотрел на Изю. А Изя, щипля бородавку и слегка подпрыгивая на месте, смотрел вслед удаляющемуся старичку, осклабясь до ушей и уже заранее давясь и кряхтя.

— Ну? — сказал Андрей.

— Какая фигура! — с восхищением прошипел Изя. — Ах, какая фигура! Ты дурак, Воронин, ты как всегда ничего не знаешь! Ты знаешь, кто это такой? Это же знаменитый пан Ступальский, Иуда-Ступальский! Он выдал гестапо в Лодзи двести сорок восемь человек, дважды его уличали, дважды он как-то выкручивался и подставлял вместо себя кого-нибудь другого. Уже после освобождения его окончательно прищучили, судили судом скорым и правым, но он и тут вывернулся! Господа Наставники сочли полезным вынуть его из петли и переправить сюда. Для букета. Здесь он живет в сумасшедшем доме, изображает психа, а сам продолжает активно работать по своей любимой специальности... Ты думаешь, он случайно оказался здесь, на скамеечке, как раз рядом с тобой? Знаешь, на кого он теперь работает?

— Заткнись! — сказал Андрей, усилием воли раздавив в себе привычное любопытство и интерес, которые одолевали его во время Изиных рассказов. — Меня все это не интересует. Как ты здесь оказался? Откуда, черт возьми, ты знаешь, что я был в Здании?

— А я и сам там был, — спокойно сказал Изя.

— Так, — сказал Андрей. — И что же там происходило?

— Ну, это тебе видней, что там происходило. Откуда мне знать, что там происходило с твоей точки зрения?

— А что там происходило с твоей точки?

— А вот это уж тебя совершенно не касается, — сказал Изя, поправляя на коленях свою объемистую папку.

— Папку ты взял там? — спросил Андрей, протягивая руку.

— Нет, — сказал Изя. — Не там.

— Что в ней?

— Послушай, — сказал Изя. — Какое тебе дело? Что ты ко мне привязался?

Он еще не понимал, что происходит. Впрочем, Андрей и сам еще не вполне понимал, что происходит, и лихорадочно раздумывал, как действовать дальше.

— А знаешь, что в этой папке? — сказал Изя. — Я раскопал старую мэрию, это километрах в пятнадцати отсюда. Копался там весь день, солнце погасло, темнотища, как у негра в заднице, никакого освещения там, сам понимаешь, уже лет двадцать нету... Плутал я там, плутал, еле выбрался на Главную — кругом развалины, дикие голоса какие-то орут...

— Так, — сказал Андрей. — Ты что, не знаешь, что в старых развалинах рыться запрещено?

Азартное выражение исчезло из глаз Изи. Он внимательно посмотрел на Андрея. Кажется, он начал понимать.

— Ты что, — продолжал Андрей, — инфекцию в Город затащить хочешь?

— Что-то мне твой тон не нравится, — сказал Изя, криво улыбаясь. — Как-то ты не так со мной разговариваешь.

— А ты мне весь не нравишься! — сказал Андрей. — Ты зачем мне голову забивал, будто Красное Здание — это миф? Ты же знал, что это не миф. Ты же мне врал. Зачем?

— Это что — допрос? — спросил Изя.

— А ты как думаешь? — сказал Андрей.

— Я думаю, что ты себе голову сильно зашиб. Я думаю, тебе надо умыться холодненькой водичкой и вообще прийти в себя.

— Дай сюда папку, — сказал Андрей.

— А пошел ты на хер! — сказал Изя, вставая. Он сильно побледнел.

Андрей тоже встал.

— Поедешь со мной, — сказал он.

— И не подумаю, — сказал Изя отрывисто. — Предъяви ордер на арест.

Тогда Андрей, леденея от ненависти, не спуская с Изи глаз, медленно расстегнул кобуру и вытащил пистолет.

— Идите вперед, — приказал он.

— Идиот... — пробормотал Изя. — Совершенно свихнулся...

— Молчать! — гаркнул Андрей. — Вперед!

Он ткнул Изю стволом в бок, и Изя послушно заковылял через улицу. Видимо, у него были стерты ноги, он сильно хромал.

— От стыда же подохнешь, — сказал он через плечо. — Проспишься — от стыда сгоришь...

— Не разговаривать!

Они подошли к мотоциклу, полицейский ловко откинул полог в коляске, и Андрей показал туда стволом пистолета.

— Садитесь.

Изя молча и очень неуклюже уселся. Полицейский быстро вскочил в седло, Андрей сел позади него, сунув пистолет в кобуру. Двигатель взревел, застрелял, мотоцикл развернулся и, подскакивая на выбоинах, помчался обратно к прокуратуре, распугивая психов, утомленно и бессмысленно бродивших по сырой от выпавшей росы улице.

Андрей старался не смотреть на Изю, скорчившегося в коляске. Первый запал прошел, и он испытывал теперь что-то вроде неловкости — как-то все произошло слишком уж быстро, слишком торопливо, впопыхах, как в том анекдоте про медведя, который катал зайца в люльке без дна. Ладно, разберемся...

В предбаннике прокуратуры Андрей, не глядя на Изю, приказал полицейскому зарегистрировать задержанного и доставить его наверх к дежурному, а сам, шагая через три ступеньки, поднялся к себе в кабинет.

Было около четырех часов — самое горячее время. В коридорах стояли у стен или сидели на длинных, отполированных задами скамьях подследственные и свидетели, вид у всех был одинаково безнадежный и сонный, все почти судорожно зевали и таращились осоловело. Дежурные время от времени вопили от своих столиков на весь дом: «Не разговаривать! Не переговариваться!» Из-за обитых дерматином дверей следственных камер доносился стук пишущих машинок, бубнящие голоса, слезливые вопли. Было душно, нечисто, сумрачно. Андрея замутило — захотелось вдруг заскочить в буфет и выпить чего-нибудь бодрящего: чашку крепкого кофе или хотя бы просто рюмку водки. И тут он увидел Вана.

Ван сидел на корточках, прислонившись к стене спиной, в позе бесконечно терпеливого ожидания. На нем была своеобычная ватная стеганка, голова втянута в плечи, так что ворот стеганки оттопыривал уши, круглое безволосое лицо спокойно. Он дремал.

— Ты что тут делаешь? — спросил Андрей удивленно.

Ван открыл глаза, легко поднялся и сказал, улыбнувшись:

— Арестован. Жду вызова.

— Как арестован? За что?

— Саботаж, — сказал Ван тихонько.

Здоровенный детина в испачканном плаще, дремавший рядом, тоже открыл глаза, вернее — один глаз, потому что другой заплыл у него фиолетовым фингалом.

— Какой саботаж?! — поразился Андрей.

— Уклонение от права на труд...

— Статья сто двенадцать, параграф шесть, — деловито пояснил детина с фингалом. — Шесть месяцев болотной терапии — и все дела.

— Помолчите, — сказал ему Андрей.

Детина посветил на него своим фингалом, ухмыльнулся (Андрей тотчас вспомнил и ясно ощутил собственную гулю на лбу) и прохрипел миролюбиво:

— Можно и помолчать. Почему не помолчать, когда все ясно без слов?

— Не разговаривать! — грозно заорал издали дежурный. — Кто там к стене прислоняется? А ну отслонись!

— Подожди, — сказал Андрей Вану. — Тебя куда вызвали? Сюда? — Он указал на дверь двадцать второй камеры, пытаясь припомнить, чей это кабинет.

— Точно, — прохрипел детина с готовностью. — В двадцать вторую нас. Полтора часа уже стенку подпираем.

— Подожди, — снова сказал Андрей Вану и толкнул дверь.

За столом восседал Генрих Румер, младший следователь и личный телохранитель Фридриха Гейгера, бывший боксер среднего веса и мюнхенский букмекер. Андрей спросил: «Можно к тебе?», но Румер не отозвался. Он был очень занят. Он что-то рисовал на большом листе ватмана, склоняя то к одному плечу, то к другому свою звероподобную физиономию с расплющенным носом, он пыхтел и даже постанывал от напряжения. Андрей прикрыл за собою дверь и подошел к столу вплотную. Румер перерисовывал порнографическую открытку. Ватман и открытка были расчерчены на клеточки. Работа была в самом начале, на ватман пока наносились лишь общие контуры. Труд предстоял титанический.

— Чем это ты занимаешься на службе, скотина? — укоризненно спросил Андрей.

Румер заметно вздрогнул и поднял глаза.

— А, это ты... — проговорил он с видимым облегчением. — Чего тебе?

— Это ты так работаешь? — горестно сказал Андрей. — Тебя там люди ждут, а ты...

— Кто ждет? — встрепенулся Румер. — Где?

— Подследственные твои ждут! — сказал Андрей.

— А-а... Ну и что?

— Ничего, — сказал Андрей со злостью. Наверное, надо было как-то пристыдить этого типа, напомнить зверюге, что ведь Фриц за него ручался, честным своим именем ручался за кретина ленивого, за обормота, но

Андрей почувствовал, что сейчас это выше его сил.

— Кто это тебе в лоб засветил? — с профессиональным интересом спросил Румер, разглядывая Андрееву гулю. — Красиво кто-то засветил...

— Неважно, — сказал Андрей нетерпеливо. — Я к тебе вот за чем: дело Ван Лихуна у тебя?

— Ван Лихуна? — Румер перестал разглядывать гулю и задумчиво запустил палец в правую ноздрю. — А что такое? — осторожно спросил он.

— У тебя или нет?

— А ты почему спрашиваешь?

— Потому что он сидит там перед твоей дверью и ждет, пока ты здесь свинством занимаешься!

— Почему это — свинством? — обиделся Румер. — Ты посмотри, титьки какие! М-м-мух! А?

Андрей брезгливо отстранил фотографию.

— Давай сюда дело, — потребовал он.

— Какое дело?

— Дело Ван Лихуна давай сюда!

— Да нет у меня такого дела! — сердито сказал Румер. Он выдвинул средний ящик стола и заглянул в него. Андрей тоже заглянул в ящик. В ящике действительно было пусто.

— Где вообще все твои дела? — спросил Андрей, сдерживаясь.

— Тебе-то что? — сказал Румер агрессивно. — Ты мне не начальник.

Андрей решительно сорвал телефонную трубку. В поросячьих глазках Румера мелькнула тревога.

— Постой, — сказал он, торопливо прикрывая телефонный аппарат огромной лапищей. — Ты это куда? Зачем?..

— Вот я сейчас позвоню Гейгеру, — сказал Андрей зло. — Даст он тебе по мозгам, идиоту...

— Подожди, — бормотал Румер, пытаясь отобрать у него телефонную трубку. — Что ты, в самом деле... Зачем звонить Гейгеру? Что мы — вдвоем с тобой это дело не уладим? Ты, главное, объясни толком, чего тебе надо?

— Я хочу взять себе дело Ван Лихуна.

— Это китайца, что ли? Дворника?

— Да!

— Ну, так бы и сказал с самого начала! Нет на него никакого дела. Только что доставили. Я с него первичный допрос снимать буду.

— За что его задержали?

— Профессию не хочет менять, — сказал Румер, деликатно таща к

себе телефонную трубку вместе с Андреем. — Саботаж. Третий срок дворником сидит. Статью сто двенадцать знаешь?..

— Знаю, — сказал Андрей. — Но это случай особый. Вечно они что-нибудь напутают. Где сопроводиловка?

Шумно сопя, Румер отобрал наконец у него трубку, положил ее на место, снова полез в стол — в правый ящик, — покопался там, заслонив содержимое гигантскими плечами, вытянул бумажку и, обильно потея, протянул ее Андрею. Андрей пробежал бумагу глазами.

— Тут не сказано, что он направляется именно к тебе, — объявил он.

— Ну и что?

— А то, что я его забираю к себе, — сказал Андрей и сунул бумажку в карман.

Румер забеспокоился.

— Так он же на меня записан! У дежурного.

— Так вот позвони дежурному и скажи, что Ван Лихуна взял себе Воронин. Пусть перепишет.

— Это уж ты сам ему позвони, — сказал Румер важно. — Чего это я ему буду звонить? Ты забираешь, ты и звони. А мне расписку давай, что забрал.

Через пять минут все формальности были закончены. Румер спрятал расписку в ящик, посмотрел на Андрея, посмотрел на фотографию.

— Титьки какие! — сказал он. — Вымя!

— Плохо ты кончишь, Румер, — пообещал ему Андрей, выходя.

В коридоре он молча взял Вана под локоть и повлек за собой. Ван покорился, ни о чем не спрашивая, и Андрею пришло в голову, что вот так же безмолвно и безропотно он шел бы и на расстрел, и на пытку, и на любое унижение. Андрей не понимал этого. Было в этом смирении что-то животное, недочеловеческое, но в то же время возвышенное, вызывающее необъяснимое почтение, потому что за смирением этим угадывалось сверхъестественное понимание какой-то очень глубокой, скрытой и вечной сущности происходящего, понимание извечной бесполезности, а значит, и недостойности противодействия. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Строчка лживая, несправедливая, унизительная, но в данном случае она почему-то казалась уместной.

У себя в кабинете Андрей усадил Вана на стул — не на табурет для подследственных, а на стул секретаря сбоку от стола, — уселся сам и сказал:

— Ну, что там у тебя с ними произошло? Рассказывай.

И Ван сейчас же принялся рассказывать своим размеренным

повествовательным голосом:

— Неделю назад ко мне в дворницкую явился районный уполномоченный по трудоустройству и напомнил мне, что я грубо нарушаю закон о праве на разнообразный труд. Он был прав, я действительно грубо нарушал этот закон. Три раза мне приходили повестки с биржи, и три раза я выбрасывал их в мусор. Уполномоченный объявил мне, что дальнейшее манкирование грозит большими для меня неприятностями. Тогда я подумал: ведь бывают же случаи, когда машина оставляет человека на прежней работе. В тот же день я отправился на биржу и вложил свою трудовую книжку в распределительную машину. Мне не повезло. Я получил назначение директором обувного комбината. Но я заранее решил, что на новую службу не пойду, и остался дворником. Сегодня вечером за мной пришли двое полицейских и привели сюда. Вот как все было.

— Поня-атно, — протянул Андрей. Ничего ему было не понятно. — Слушай, хочешь чаю? Здесь можно попросить чаю с бутербродами. Бесплатно.

— Это будет большое беспокойство, — возразил Ван. — Не стоит.

— Какое там беспокойство!.. — сердито сказал Андрей и заказал по телефону два стакана чая и бутерброды. Потом он положил трубку, посмотрел на Вана и осторожно спросил: — Я все-таки не совсем понимаю, Ван, почему ты не захотел стать директором комбината? Это уважаемая должность, ты бы получил новую профессию, принес бы много пользы, ты ведь очень исполнительный и трудолюбивый человек... А я знаю этот комбинат — вечно там воровство, целыми ящиками обувь выносят... При тебе этого бы не было. И потом, там гораздо выше зарплата, а у тебя все-таки жена, ребенок... В чем дело?

— Да, я думаю, тебе это трудно понять, — сказал Ван задумчиво.

— А чего тут понимать? — сказал Андрей нетерпеливо. — Ясно же, что лучше быть директором комбината, чем всю жизнь разгребать мусор... Или, тем более, вкалывать шесть месяцев на болотах...

Ван покачал круглой головой.

— Нет, не лучше, — сказал он. — Лучше всего быть там, откуда некуда падать. Ты этого не поймешь, Андрей.

— Почему же обязательно падать? — спросил Андрей, растерявшись.

— Не знаю — почему. Но это обязательно. Или приходится прилагать такие усилия удержаться, что лучше уж сразу упасть. Я знаю, я все это прошел.

Полицейский с заспанным лицом принес чаю, откозырял, качнувшись,

и боком выдвинулся в коридор. Андрей поставил перед Ваном стакан в потемневшем подстаканнике, придвинул тарелку с бутербродами. Ван поблагодарил, отхлебнул из стакана и взял самый маленький бутерброд.

— Ты просто боишься ответственности, — сказал Андрей расстроенно. — Извини, конечно, но это не совсем честно по отношению к другим.

— Я всегда стараюсь делать людям только добро, — спокойно возразил Ван. — А что касается ответственности, то на мне лежит величайшая ответственность. Моя жена и ребенок.

— Это верно, — сказал Андрей, снова несколько растерявшись. — Это, конечно, так. Но, согласись, Эксперимент требует от каждого из нас...

Ван внимательно слушал и кивал. Когда Андрей кончил, он сказал:

— Я тебя понимаю. Ты по-своему прав. Но ведь ты пришел сюда строить, а я сюда бежал. Ты ищешь борьбы и победы, а я ищу покоя. Мы очень разные, Андрей.

— Что значит — покоя? Ты же на себя клевещешь! Если бы ты искал покоя, то нашел бы тепленькое местечко и жил бы себе припеваючи. Здесь ведь полным-полно тепленьких местечек. А ты выбрал себе самую грязную, самую непопулярную работу, и работаешь ты честно, не жалеешь ни сил, ни времени... Какой уж тут покой!

— Душевный, Андрей, душевный! — сказал Ван. — В мире с собой и со Вселенной.

Андрей побарабанил пальцами по столу.

— И что же, ты так всю жизнь и намерен пробыть дворником?

— Не обязательно дворником, — сказал Ван. — Когда я сюда попал, я был сначала грузчиком на складе. Потом машина назначила меня секретарем мэра. Я отказался, и меня отправили на болота. Я отработал шесть месяцев, вернулся и по закону, как наказанный, получил самую низкую должность. Но потом машина опять стала выталкивать меня наверх. Я пошел к директору биржи и объяснил ему все, как тебе. Директор биржи был еврей, он попал сюда из лагеря уничтожения, и он меня очень хорошо понял. Пока он оставался директором, меня не беспокоили. — Ван помолчал. — Месяца два назад он исчез. Говорят, его нашли убитым, ты, вероятно, это знаешь. И все началось сначала... Ничего, я отработаю на болотах и снова вернусь в дворники. Сейчас мне будет гораздо легче — мальчик уже большой, а на болотах мне поможет дядя Юра...

Тут Андрей поймал себя на том, что смотрит на Вана во все глаза, совершенно неприлично, как будто это не Ван сидел перед ним, а какое-то диковинное существо. Впрочем, Ван ведь и в самом деле был диковинкой.

Господи, подумал Андрей. Какую же надо прожить жизнь, чтобы докатиться до такой философии? Нет, я ему должен помочь. Просто обязан. Как?..

— Ну хорошо, — сказал он наконец. — Как хочешь. Только на болота тебе ехать совершенно незачем. Ты не знаешь случайно, кто теперь директором биржи?

— Отто Фрижа, — сказал Ван.

— Что? Отто? Так в чем же дело?..

— Да. Я бы к нему пошел, конечно, но он ведь совсем маленький, он ничего не понимает и всего боится.

Андрей схватил телефонную книгу, нашел номер, снял трубку. Ждать пришлось долго: видимо, Отто спал, как сурок. Наконец он отозвался прерывающимся, испуганно-сердитым голосом:

— Директор Отто Фрижа слушает.

— Здравствуй, Отто, — сказал Андрей. — Это Воронин говорит, из прокуратуры.

Наступило молчание. Слышно было, как Отто несколько раз откашлялся. Потом он проговорил осторожно:

— Из прокуратуры? Слушаю вас.

— Ты что — не проснулся? — сердито сказал Андрей. — Это Эльза тебя так укатала? Андрей говорит! Воронин!

— Ах, Андрей?! — совсем другим голосом сказал Отто. — Что ты, в самом деле, среди ночи? Фу ты, сердце как колотится... Что тебе?

Андрей объяснил ситуацию. Как он и ожидал, все свершилось без сучка без задоринки. Отто был со всем и полностью согласен. Да, он всегда считал, что Ван находится на своем месте. Да, он безусловно полагал, что директор комбината из Вана все равно не получится. Он очевидно и недвусмысленно восхищен стремлением Вана остаться на столь незавидной должности («Побольше бы нам таких людей, а то все лезут вверх, что твои горные егеря!..»), он с негодованием отвергает самое идею отправки Вана на болота, а что касается закона, то он полон священного негодования относительно идиотов и бюрократических кретинов, подменяющих здоровый дух закона его мертвенной буквой. В конце концов, закон существует, чтобы ограничить поползновения разных ловкачей пролезть вверх, а людей, желающих остаться внизу, он никак касаться не должен и не касается. Директор биржи совершенно ясно понимал все это. «Да! — повторял он. — О да, конечно!»

Правда, у Андрея осталось смутное, смешное и досадное впечатление, что Отто согласился бы на любое его, Андрея Воронина, предложение —

например, назначить Вана мэром или, наоборот, посадить его в карцер. Отто всегда питал к Андрею болезненно-благодарные чувства, потому, наверное, что Андрей был единственным человеком в их компании (а может быть, и во всем городе), который относился к Отто по-человечески... Впрочем, в конце концов, важнее всего было дело.

— Я распоряжусь, — в десятый раз повторял Отто. — Ты можешь быть совершенно спокоен, Андрей. Я дам указание, и Вана больше никто никогда не тронет.

На том и порешили. Андрей положил трубку и принялся писать Вану пропуск на выход.

— Ты прямо сейчас пойдешь? — спросил он, не переставая писать. — Или подождешь до солнца? Смотри, сейчас опасно на улицах...

— Благодарю вас, — пробормотал Ван. — Благодарю вас...

Андрей удивленно поднял голову. Ван стоял перед ним и мелко-мелко кланялся, сложив ладони перед грудью.

— Да брось ты эти китайские церемонии, — проворчал Андрей с досадой и неловкостью. — Что я тебе — благодеяние, что ли, оказал? — Он протянул Вану пропуск. — Я спрашиваю, ты прямо сейчас пойдешь?

Ван принял пропуск с очередным поклоном.

— Я думаю, мне лучше пойти сразу, — сказал он, как бы извиняясь. — Прямо сейчас. Мусорщики, наверное, уже приехали...

— Мусорщики... — повторил Андрей. Он посмотрел на тарелку с бутербродами. Бутерброды были большие, свежие, с отличной ветчиной. — Погоди-ка, — сказал он, вытащил из ящика старую газету и принялся заворачивать бутерброды. — Возьмешь домой, для Мэйлинь...

Ван слабо сопротивлялся, бормотал что-то о чрезмерном беспокойстве, но Андрей сунул пакет ему за пазуху, обнял за плечи и повел к двери. Он чувствовал себя страшно неловко. Все было не так. И Отто, и Ван как-то странно реагировали на его действия. Он ведь только хотел сделать все по справедливости, чтобы все было правильно и разумно, а получилось черт знает что — благотворительность какая-то, кумовство, блат... Он торопливо искал какие-то слова, сухие, деловые, подчеркивающие официальность и законность ситуации... И вдруг ему показалось, что нашел. Он остановился, поднял подбородок и, глядя на Вана сверху вниз, холодно сказал:

— Господин Ван, от имени прокуратуры приношу вам глубочайшие извинения за незаконный привод. Ручаюсь, что это больше никогда не повторится.

И тут ему стало совсем неудобно. Чушь какая-то. Во-первых, привод

не был, строго говоря, незаконным. Был он, прямо скажем, вполне законным. А во-вторых, следователь Воронин ни за что ручаться не мог, не имел такого права... И тут он вдруг увидел глаза Вана — странный и очень знакомый своей странностью взгляд, и он вдруг все вспомнил, и его обдало жаром при этом воспоминании.

— Ван, — проговорил он, внезапно охрипнув. — Я хочу тебя спросить, Ван.

Он замолчал. Глупо было спрашивать, бессмысленно. И уже нельзя было не спросить. Ван выжидательно смотрел на него снизу вверх.

— Ван, — сказал он, откашлявшись. — Где ты был сегодня в два часа ночи?

Ван не удивился.

— Как раз в два часа за мной пришли, — сказал он. — Я мыл лестницы.

— А до этого?

— А до этого я собирал мусор, мне помогала Мэйлинь, потом она пошла спать, а я пошел мыть лестницы.

— Да, — сказал Андрей. — Так я и думал. Ладно, до свиданья, Ван. Прости, что так получилось... Или нет, подожди, я тебя провожу...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Прежде чем вызвать Изю, Андрей все продумал заново.

Во-первых, он запретил себе относиться к Изе с предубеждением. То, что Изя циник, всезнайка и болтун, то, что он готов высмеять — и высмеивает — все на свете, что он неопрятен, брызгает, когда разговаривает, мерзко хихикает, живет с вдовой как альфонс и неизвестно каким образом зарабатывает себе на жизнь, — все это в данном случае не должно было играть никакой роли.

Надлежало также выкорчевать без остатка примитивную мысль, что Кацман есть простой распространитель панических слухов о Красном Здании и о прочих мистических явлениях. Красное Здание — реальность. Загадочная, фантастическая, непонятно зачем и кому понадобившаяся, но — реальность. (Тут Андрей полез в аптечку и, глядясь в маленькое зеркальце, помазал сочащуюся гулю зеленкой.) В этом плане Кацман — прежде всего свидетель. Что он делал в Красном Здании? Как часто там бывает? Что может о нем рассказать? Какую папку он оттуда вынес? Или папка действительно не оттуда? Действительно из старой мэрии?..

Стоп, стоп! Кацман неоднократно проговаривался... нет, не проговаривался, конечно, а просто рассказывал о своих экскурсиях на север. Что он там делал? Антигород тоже где-то на севере! Нет, Кацмана я задержал правильно, хоть и впопыхах. Так ведь оно всегда и бывает: все начинается с простого любопытства, сунет человек свой любопытный нос куда не следует, а потом и пикнуть не успел, как его уже завербовали... Почему он никак не хотел отдать мне эту папку?.. Папка явно оттуда. И Красное Здание оттуда! Тут шеф явно что-то недодумал. Ну, это-то понятно — у него не было фактов. И ему не пришлось там побывать. Да, распространение слухов — это страшная штука, но Красное Здание пострашнее любого слуха. И страшно даже не то, что люди исчезают в нем навсегда, — страшно, что иногда они оттуда выходят! Выходят, возвращаются, живут среди нас. Как Кацман...

Андрей чувствовал, что ухватился сейчас за главное, но ему недоставало смелости проанализировать все до конца. Он знал только, что Андрей Воронин, который вошел в дверь с медной ручкой, был совсем не тот Андрей Воронин, который вышел из этой двери. Что-то сломалось в нем там, что-то утратилось безвозвратно... Он стиснул зубы: «Ну нет, здесь вы просчитались, господа хорошие. Не надо было вам меня выпускать. Нас так просто не сломаешь... не купишь... не разжалобишь...»

Он криво ухмыльнулся, взял чистый лист бумаги и написал на нем крупными буквами: «КРАСНОЕ ЗДАНИЕ — КАЦМАН. КРАСНОЕ ЗДАНИЕ — АНТИГОРОД. АНТИГОРОД — КАЦМАН». Вот как все это получается. Нет, шеф. Нам не распространителей слухов искать надо. Нам надо искать тех, кто вернулся из Красного Здания живым и невредимым — искать их, вылавливать, изолировать... или устанавливать тщательнейшее наблюдение... Он написал: «Побывавшие в Здании — Антигород». Так что пани Гусаковой придется-таки рассказать все, что она знает про своего Франтишека. А флейтиста, наверное, можно выпустить. Впрочем, ладно, не о них речь... Может быть, шефу позвонить? Спросить благословения на переориентировку? Рановато, пожалуй. Вот если мне удастся расколоть Кацмана... Он снял трубку.

— Дежурный? Задержанного Кацмана ко мне в тридцать шестую.

...А расколоть его не только должно, но и можно. Папка. Тут уж он не открутится... У Андрея мелькнула на мгновение мысль, что не совсем этично ему заниматься делом Кацмана, с которым неоднократно выпивалось и вообще... Но он одернул себя.

Дверь отворилась, и задержанный Кацман, осклабясь и засунув руки в лоснящиеся карманы, разболтанной походочкой вступил в камеру.

— Садитесь, — сухо сказал Андрей, показав подбородком на табурет.

— Благодарю вас, — отозвался задержанный, осклабляясь еще шире. — Я вижу, вы еще не очухались...

Все ему, мерзавцу, было как с гуся вода. Он уселся, дернул бородавку на шее и с любопытством оглядел кабинет.

И тут Андрей похолодел. Папки при задержанном не было.

— Где папка? — сказал он, стараясь говорить спокойно.

— Какая папка? — нагло осведомился Кацман.

Андрей сорвал трубку.

— Дежурный! Где папка задержанного Кацмана?

— Какая папка? — тупо спросил дежурный. — Сейчас посмотрю... Кацман... Ага... У задержанного Кацмана изъяты: носовых платков — два, кошелек пустой, подержанный...

— Папка там есть в описи? — гаркнул Андрей.

— Папки нет, — отозвался дежурный замирающим голосом.

— Принесите мне опись, — хрипло сказал Андрей и повесил трубку. Потом он исподлобья поглядел на Кацмана. От ненависти у него шумело в ушах. — Еврейские штучки... — сказал он, сдерживаясь. — Где ты девал папку, сволочь?

Кацман откликнулся немедленно:

— «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила: где ты девал папку?»

— Ничего... — сказал Андрей, тяжело дыша носом. — Это тебе не поможет, шпионская морда...

На лице Изи мелькнуло изумление. Впрочем, через секунду он уже вновь ухмылялся своей отвратительно-издевательской ухмылкой.

— Ну как же, как же! — сказал он. — Председатель организации «Джойнт» Иосиф Кацман, к вашим услугам. Не бейте меня, я и так все скажу. Пулеметы спрятаны в Бердичеве, место посадки обозначим кострами...

Вошел испуганный дежурный, неся перед собой в далеко вытянутой руке листок описи.

— Нету тут папки, — пробормотал он, кладя листок перед Андреем на край стола и отступая. — Я в регистратуру звонил, там тоже...

— Хорошо, идите, — сказал Андрей сквозь зубы.

Он взял чистый бланк допроса и, не поднимая глаз, спросил:

— Имя? Фамилия? Отчество?

— Кацман Иосиф Михайлович.

— Год рождения?

— Тридцать шестой.
— Национальность?
— Да, — сказал Кацман и хихикнул.
Андрей поднял голову.
— Что — да?
— Слушай, Андрей, — сказал Изя. — Я не понимаю, что это с тобой сегодня происходит, но имей в виду, ты на мне всю свою карьеру испортишь. Предупреждаю по старой дружбе...
— Отвечайте на вопросы! — произнес Андрей сдавленным голосом. — Национальность?
— Ты лучше вспомни, как у врача Тимашук орден отобрали, — сказал Изя.
Но Андрей не знал, кто такая врач Тимашук.
— Национальность!
— Еврей, — сказал Изя с отвращением.
— Гражданство?
— Эс-эс-эс-эр.
— Вероисповедание?
— Без.
— Партийная принадлежность?
— Без.
— Образование?
— Высшее. Пединститут имени Герцена. Ленинград.
— Судимости имели?
— Нет.
— Земной год отбытия?
— Тысяча девятьсот шестьдесят восьмой.
— Место отбытия?
— Ленинград.
— Причина отбытия?
— Любопытство.
— Стаж пребывания в Городе?
— Четыре года.
— Нынешняя профессия?
— Статистик управления коммунального хозяйства.
— Перечислите прежние профессии.
— Разнорабочий, старший архивариус Города, конторщик городской бойни, мусорщик, кузнец. Кажется, все.
— Семейное положение?

— Прелюбодей, — ответствовал Изя, ухмыляясь.

Андрей положил ручку, закурил и некоторое время рассматривал задержанного сквозь голубой дымок. Изя был осклаблен, Изя был взлохмачен, Изя был нагл, но Андрей хорошо знал этого человека, и он видел, что Изя нервничает. По-видимому, ему было из-за чего нервничать, хотя от папки он сумел избавиться, прямо скажем, ловко. По-видимому, он понимал теперь уже, что берутся за него по-настоящему, и поэтому глаза его нервно щурились, а уголки осклабленного рта подрагивали.

— Вот что, подследственный, — сказал Андрей с хорошо отработанной сухостью. — Я настоятельно рекомендую вам вести себя прилично перед лицом следствия, если вы не хотите ухудшить своего положения.

Изя перестал улыбаться.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда я требую, чтобы мне было предъявлено обвинение и объявлена статья, по которой произведено задержание. Кроме того, я требую адвоката. С этой минуты без адвоката я не скажу ни слова.

Андрей внутренне ухмыльнулся.

— Вы задержаны по статье двенадцатой у-пэ-ка о профилактическом задержании лиц, дальнейшее пребывание которых на свободе может представлять социальную опасность. Вы обвиняетесь в незаконной связи с враждебными элементами, в сокрытии или уничтожении вещественных доказательств в момент задержания... а также в нарушении постановления муниципалитета, запрещающего выход за городскую черту из санитарных соображений. Это постановление вы нарушали систематически... А что касается адвоката, то прокуратура может предоставить вам адвоката лишь по истечении трех суток с момента задержания. В соответствии с той же статьей у-пэ-ка, двенадцатой... Кроме того, поясняю: вы можете заявлять протесты, вносить жалобы и подавать апелляции только после того, как удовлетворительно ответите на вопросы предварительного следствия. Все та же статья двенадцатая. Вам все понятно?

Он внимательно следил за Изиным лицом и видел, что Изе все понятно. Было совершенно ясно, что Изя будет отвечать на вопросы и ждать истечения трех суток. При упоминании об этих трех сутках Изя довольно откровенно перевел дух. Прелестно...

— Теперь, когда вы получили разъяснение, — сказал Андрей и снова взял ручку, — продолжим. Ваше семейное положение?

— Холост, — сказал Изя.

— Домашний адрес?

— Что? — спросил Изя. Он явно думал о другом.

— Ваш домашний адрес? Где проживаете?

— Вторая Левая, девятнадцать, квартира семь.

— Что вы можете сказать по существу предъявленного обвинения?

— Пожалуйста, — сказал Изя. — Насчет враждебных элементов: сумасшедший бред. Первый раз слышу, что бывают какие-то враждебные элементы, считаю это провокационной выдумкой следствия. Вещественные доказательства... Никаких вещественных доказательств при мне не было и быть не могло, потому что никаких преступлений я не совершал. Поэтому я ничего не мог ни скрыть, ни уничтожить. А что касается постановления муниципалитета, то я — старый работник городского архива, продолжаю там работать на общественных началах, имею допуск ко всем архивным материалам, а значит, и к тем, которые находятся за чертой города. Все.

— Что вы делали в Красном Здании?

— Это мое личное дело. Вы не имеете права вторгаться в мои личные дела. Докажите сначала, что они имеют отношение к составу преступления. Статья четырнадцатая у-пэ-ка.

— Вы бывали в Красном Здании неоднократно?

— Да.

— Можете назвать людей, которых там встречали?

Изя ужасно осклабился.

— Могу. Только следствию это не поможет.

— Назовите этих людей.

— Пожалуйста. Из нового времени: Петэн, Квислинг, Ван Цзинвэй, Биляк...

Андрей поднял руку.

— Попрошу в первую очередь называть людей, которые являются гражданами нашего города.

— А зачем это понадобилось следствию? — агрессивно осведомился Изя.

— Я не обязан давать вам отчет. Отвечайте на вопросы.

— Я не желаю отвечать на дурацкие вопросы. Вы ни черта не понимаете. Вы воображаете, что раз я встретил там кого-то, значит, он там и на самом деле был. А это не так.

— Не понимаю. Объясните, пожалуйста.

— А я и сам не понимаю, — сказал Изя. — Это что-то вроде сна. Бред взбудораженной совести.

— Так. Вроде сна. Вы были сегодня в Красном Здании?

— Ну, был.

— Где находилось Красное Здание, когда вы в него вошли?

— Сегодня? Сегодня там, у синагоги.

— Меня вы там видели?

Изя опять осклабился.

— Вас я вижу каждый раз, когда захожу туда.

— В том числе сегодня?

— В том числе.

— Чем я занимался?

— Непотребством, — сказал Изя с удовольствием.

— Конкретно?

— Вы совокуплялись, господин Воронин. Совокуплялись сразу со многими девочками и одновременно проповедовали кастратам высокие принципы. Втолковывали им, что занимаетесь этим делом не для собственного удовольствия, а для блага всего человечества.

Андрей стиснул зубы.

— А вы чем занимались? — спросил он, помолчав.

— А вот этого я вам не скажу. Имею право.

— Вы лжете, — сказал Андрей. — Вы там не видели меня. Вот ваши собственные слова: «Судя по твоему виду, ты побывал в Красном Здании...» Следовательно, там вы меня не видели. Зачем вы лжете?

— И не думаю, — легко сказал Изя. — Просто мне было стыдно за вас, и я решил дать вам понять, что вас там не видел. А теперь, конечно, другое дело. Теперь я обязан говорить правду.

Андрей откинулся и забросил руку за спинку стула.

— Вы же говорите, что это вроде сна. Тогда какая разница, видели вы меня во сне или не видели? Зачем что-то там давать понять?..

— Да нет, — сказал Изя. — Я просто постеснялся вам сказать, что именно думаю о вас иногда. И зря постеснялся.

Андрей с сомнением покачал головой.

— Ну ладно. А папку вы тоже вынесли из Красного Здания? Так сказать, из собственного сна?

Лицо Изи застыло.

— Какая папка? — сказал он нервно. — О какой папке вы все время спрашиваете? Не было у меня никакой папки.

— Бросьте, Кацман, — проговорил Андрей, томно прикрывая глаза. — Папку видел я, папку видел полицейский, папку видел этот старик... пан Ступальский. На суде вам все равно придется давать объяснения... Не отягощайте!

Изя с застывшим лицом шарил глазами по стенам. Он молчал.

— Предположим, что папка не из Красного Здания, — продолжал Андрей. — Тогда, значит, вы получили ее за городской чертой? От кого? Кто вам ее дал, Кацман?

Изя молчал.

— Что было в этой папке? — Андрей встал и прошелся по кабинету, заложив руки за спину. — У человека в руках папка. Человека задерживают. На пути в прокуратуру человек избавляется от папки. Тайно. Почему? По-видимому, в папке содержатся документы, которые этого человека компрометируют... Вы следите за ходом моих рассуждений, Кацман? Папка получена за городской чертой. Какие документы, полученные за городской чертой, могут скомпрометировать жителя нашего города? Какие, скажите, Кацман?

Изя, нещадно терзая бородавку, смотрел в потолок.

— Только не пытайтесь выкручиваться, Кацман, — предупредил Андрей. — Не пытайтесь продать мне какую-нибудь очередную басню. Я вас вижу насквозь. Что было в папке? Списки? Адреса? Инструкции?

Изя вдруг ударил себя ладонью по колену.

— Слушай, идиот! — заорал он. — Что за чушь ты мелешь? Кто тебе все это внушил, простая твоя душа? Какие списки, какие адреса? Майор ты Пронин задрипанный! Ты же знаешь меня три года, знаешь, что я копаюсь в руинах, изучаю историю Города. Какого черта ты все время клеишь мне какой-то идиотский шпионаж? Кто здесь может шпионить, сам подумай? Зачем? Для кого?

— Что было в папке?! — гаркнул Андрей изо всех сил. — Перестаньте вилять и отвечайте прямо: что было в папке?

И тут Изя сорвался. Глаза его выкатились и налились кровью.

— Иди ты к ... матери со своими папками! — завизжал он фальцетом. — Не буду я тебе ничего говорить! Дурак ты, идиот, жандармская морда!..

Он визжал, брызгался, ругался матом, показывал дули, и тогда Андрей достал лист чистой бумаги, написал сверху: «Показания подследственного И. Кацмана относительно виденной у него и впоследствии бесследно пропавшей папки», дождался, пока Изя утихомирится, и сказал по-доброму:

— Вот что, Изя. Я тебе неофициально говорю. Дело твое дрянь. Я знаю, что ты вляпался в эту историю по легкомыслию и из-за дурацкого своего любопытства. Тебя уже полгода держат под прицелом, если хочешь знать. И я тебе советую: садись сюда вот и пиши все, как есть. Много я тебе обещать не могу, но все, что в моих силах, для тебя сделаю. Садись и пиши. Я вернусь через полчаса.

Стараясь не глядеть на притихшего от изнеможения Изю, противный сам себе из-за своего лицемерия, подбадривая себя, что в данном случае цель несомненно оправдывает средства, он запер ящики стола, поднялся и вышел.

В коридоре он поманил к себе помощника дежурного, поставил его у дверей, а сам направился в буфет. На душе у него было гадко, во рту — вязко и мерзко, будто дерьма наелся. Допрос получился какой-то кривобокий, неубедительный. Версию Красного Здания он прогадил целиком и полностью, не надо было сейчас с этим связываться. Папку — единственную реальную зацепку! — позорнейше упустил, за такие ляпы в шею надо гнать из прокуратуры... Фриц небось бы не упустил, Фриц бы сразу понял, где собака зарыта. Сентиментальность проклятая. Как же — вместе пили, вместе трепались, свой, советский... А какой был случай — сразу всех сгрести! Шеф тоже хорош: слухи, сплетни... Тут целая сеть под носом работает, а я должен источники слухов искать...

Андрей подошел к стойке, взял рюмку водки, выпил с гадливостью. Куда же он все-таки дел эту папку? Неужели просто выбросил на мостовую? Наверное... Не съел же он ее. Послать кого-нибудь поискать? Поздно. Психи, павианы, дворники... Нет, неправильно, неправильно у нас поставлена работа! Почему такая важная информация, как наличие Антигорода, является секретом даже от работников следствия? Да об этом в газете нужно писать каждый день, плакаты по улицам развешивать, показательные процессы нужны! Я бы этого Кацмана давным-давно бы уже раскусил... Конечно, с другой стороны, и свою голову надо на плечах иметь. Раз есть такое грандиозное мероприятие, как Эксперимент, раз в него втянуты люди самых разных классов и политических убеждений, значит, неизбежно должно возникнуть расслоение... противоречия... движущие противоречия, если угодно... антагонистическая борьба... Должны рано или поздно выявиться противники Эксперимента, люди классово несогласные с ним, а значит, и те, кого они перетягивают на свою сторону, — деклассированный элемент, морально неустойчивые, нравственно разложившиеся, вроде Кацмана... космополиты всякие... естественный процесс. Мог бы и сам сообразить, как все это должно развиваться...

Маленькая крепкая ладонь легла ему на плечо, и он обернулся. Это был репортер уголовной хроники «Городской газеты» Кэнси Убуката.

— О чем задумался, следователь? — спросил он. — Распутываешь запутанное дело? Поделись с общественностью. Общественность любит запутанные дела. А?

— Привет, Кэнси, — сказал Андрей устало. — Водки выпьешь?

— Да, если будет информация.

— Ничего тебе не будет, кроме водки.

— Хорошо, давай водку без информации.

Они выпили по рюмке и закусили вялым соленым огурцом.

— Я только что от вашего шефа, — сказал Кэнси, выплюнув хвостик. — Он у вас очень гибкий человек. Одна кривая идет вверх, другая кривая падает вниз, оборудование одиночных камер унитазами заканчивается — и ни одного слова по интересующему меня вопросу.

— А что тебя интересует? — спросил Андрей рассеянно.

— Сейчас меня интересуют исчезновения. За последние пятнадцать дней в городе исчезли без следа одиннадцать человек. Может быть, ты что-нибудь знаешь об этом?

Андрей пожал плечами.

— Знаю, что исчезли. Знаю, что не найдены.

— А кто ведет дело?

— Вряд ли это одно дело, — сказал Андрей. — А лучше спроси у шефа.

Кэнси покачал головой.

— Что-то слишком часто последнее время господа следователи отсылают меня то к шефу, то к Гейгеру... Что-то слишком много тайн развелось в нашей маленькой демократической общине. Вы, случаем, не превратились тут между делом в тайную полицию? — Он заглянул в пустую рюмку и пожаловался. — Что толку иметь друзей среди следователей, если никогда ничего не можешь узнать?

— Дружба дружбой, а служба службой.

Они помолчали.

— Между прочим, знаешь, Вана арестовали, — сказал Кэнси. — Предупреждал же я его, не послушался, упрямец.

— Ничего, я уже все уладил, — сказал Андрей.

— Как так?

Андрей с удовольствием рассказал, как ловко и быстро он все уладил. Навел порядок. Восстановил справедливость. Приятно было рассказывать об этом единственном удачном деле за целый дурацкий невезучий день.

— Гм, — сказал Кэнси, дослушав до конца. — Любопытно... «Когда я приезжаю в чужую страну, — процитировал он, — я никогда не спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю только, исполняются ли они...»

— Что ты этим хочешь сказать? — осведомился Андрей, нахмурившись.

— Я хочу сказать, что закон о праве на разнообразный труд, насколько мне известно, не содержит никаких исключений.

— То есть ты считаешь, что Вана надо было закатать на болота?

— Если этого требует закон — да.

— Но это же глупо! — сказал Андрей, раздражаясь. — На кой черт Эксперименту плохой директор комбината вместо хорошего дворника?

— Закон о праве на разнообразный труд...

— Этот закон, — прервал его Андрей, — придуман на благо Эксперименту, а не во вред ему. Закон не может все предусмотреть. У нас, у исполнителей закона, должны быть свои головы на плечах.

— Я представляю себе исполнение закона несколько иначе, — сухо сказал Кэнси. — И уж во всяком случае эти вопросы решаешь не ты, а суд.

— Суд укатал бы его на болота, — сказал Андрей. — А у него жена и ребенок.

— Dura lex, sed lex, — сказал Кэнси.

— Эту поговорку придумали бюрократы.

— Эту поговорку, — сказал Кэнси веско, — придумали люди, которые стремились сохранить единые правила общежития для пестрой человеческой вольницы.

— Вот-вот, для пестрой! — подхватил Андрей. — Единого закона для всех нет и быть не может. Нет единого закона для эксплуататора и эксплуатируемого. Вот если бы Ван отказывался перейти из директоров в дворники...

— Это не твое дело — трактовать закон, — холодно сказал Кэнси. — Для этого существует суд.

— Да ведь суд не знает и знать не может Вана, как знаю я!

Кэнси, криво улыбаясь, помотал головой.

— Господи, ну и знатоки сидят у нас в прокуратуре!

— Ладно-ладно, — проворчал Андрей. — Ты еще статью напиши. Растяпа следователь освобождает преступного дворника.

— И написал бы. Вана жалко. Тебя, дурака, мне нисколько не жалко.

— Так ведь и мне Вана жалко! — сказал Андрей.

— Но ты же следователь, — возразил Кэнси. — А я — нет. Я законами не связан.

— Знаешь что, — сказал Андрей. — Отстань ты от меня Христа ради. У меня и без тебя голова кругом идет.

Кэнси поднял глаза и усмехнулся.

— Да, я вижу. Это у тебя на лбу написано. Облава была?

— Нет, — сказал Андрей. — Просто споткнулся. — Он поглядел на

часы. — Еще по рюмке?

— Спасибо, хватит, — сказал Кэнси, поднимаясь. — Я не могу выпивать так много с каждым следователем. Я пью только с теми, кто дает информацию.

— Ну и черт с тобой, — сказал Андрей. — Вон Чачуа появился. Пойди спроси его насчет «Падающих Звезд». У него там бо-ольшие успехи, он сегодня хвастался... Только учти: он очень скромный, будет отнекиваться, но ты не отставай, накачай его как следует, матерьялец получишь — во!

Кэнси, раздвигая стулья, двинулся к Чачуа, уныло склонившемуся над тощей котлеткой, а Андрей, мстительно ухмыльнувшись, неторопливо пошел к выходу. Хорошо бы подождать, посмотреть, как Чачуа будет орать, подумал он. Жалко, времени нет... Н-ну-с, господин Кацман, как там у вас дела? И не дай вам бог, господин Кацман, снова вола вертеть. Я этого не потерплю, господин Кацман...

В камере тридцать шесть весь мыслимый свет был включен. Господин Кацман стоял, прислонившись плечом к раскрытому сейфу, и жадно листал какое-то дело, привычно терзая бородавку и неизвестно чему осклабляясь.

— Какого черта! — проговорил Андрей, потерявшись. — Кто тебе разрешил? Что за манера, черт побери!..

Изя поднял на него бессмысленные глаза, осклабился еще больше и сказал:

— Никогда я не думал, что вы столько понаворотили вокруг Красного Здания.

Андрей вырвал у него папку, с лязгом захлопнул железную дверцу и, взяв за плечо, толкнул Изю к табурету.

— Сядьте, Кацман, — сказал он, сдерживаясь из последних сил. В глазах у него все плыло от ярости. — Вы написали?

— Слушай, — сказал Изя. — Вы здесь все просто идиоты!.. Вас тут сидит сто пятьдесят кретинов, и вы никак не можете понять...

Но Андрей уже не смотрел на него. Он смотрел на листок с надписью «Показания подследственного И. Кацмана...». Никаких показаний там не было, там красовался рисунок пером — мужской орган в натуральную величину.

— Сволочь, — сказал Андрей и задохнулся. — Скотина.

Он сорвал телефонную трубку и трясущимся пальцем набрал номер.

— Фриц? Воронин говорит... — Свободной рукой он рванул на себе ворот. — Ты мне очень нужен. Зайди ко мне сейчас же, пожалуйста.

— В чем дело? — недовольно спросил Гейгер. — Я домой собираюсь.

— Я тебя очень прошу! — Андрей повысил голос. — Зайди ко мне!

Он повесил трубку и посмотрел на Изю. Он сейчас же обнаружил, что не может на него смотреть, и стал смотреть сквозь него. Изя булькал и хихикал на своей табуретке, потирал ладони и непрерывно говорил, разглагольствовал о чем-то с отвратительной самодовольной развязностью, что-то о Красном Здании, о совести, о дураках-свидетелях, — Андрей не слушал и не слышал. Решение, которое он принял, переполняло его страхом и каким-то дьявольским весельем. Все в нем плясало от возбуждения, он ждал и все никак не мог дождаться, что вот сейчас откроется дверь, мрачный злой Фриц шагнет в комнату, и как изменится тогда это отвратительное самодовольное лицо, исказится ужасом, позорным страхом... Особенно если Фриц явится с Румером. Одного вида Румера будет достаточно, его зверской волосатой хари с раздавленным носом... Андрей вдруг почувствовал холодок на спине. Он весь был в испарине. В конце концов, еще можно переиграть. Еще можно сказать: «Все в порядке, Фриц, все уладилось, извини за беспокойство...»

Дверь распахнулась, и вошел хмурый и недовольный Фриц Гейгер.

— Ну, в чем дело? — осведомился он и тут же увидел Изю. — А, привет! — сказал он, заулыбавшись. — Что это вы затеяли посреди ночи? Спать пора, утро скоро...

— Слушай, Фриц! — завопил Изя радостно. — Ну объясни хоть ты этому болвану! Ты же здесь большое начальство...

— Молчать, подследственный! — заорал Андрей, грохнув кулаком по столу.

Изя замолк, а Фриц мгновенно подобрался и посмотрел на Изю уже как-то по-другому.

— Эта сволочь издевается над следствием, — сказал Андрей сквозь зубы, стараясь унять дрожь во всем теле. — Эта сволочь запирается. Возьми его, Фриц, и пусть он скажет, что у него спрашивают.

Прозрачные нордические глаза Фрица широко раскрылись.

— А что у него спрашивают? — с деловитым весельем осведомился он.

— Это неважно, — сказал Андрей. — Дашь ему бумагу, он сам напишет. И пусть он скажет, что было в папке.

— Ясно, — сказал Фриц и повернулся к Изе.

Изя все еще не понимал. Или не верил. Он медленно потирал ладони и неуверенно осклаблялся.

— Ну что ж, мой еврей, пойдем? — ласково сказал Фриц. Угрюмости и хмурости его как не бывало. — Пошевеливайся, мой славный!

Изя все медлил, и тогда Фриц взял его за воротник, повернул и

подтолкнул к двери. Изя потерял равновесие и схватился за косяк. Лицо его побелело. Он понял.

— Ребята, — сказал он севшим голосом. — Ребята, подождите...

— Если что, мы будем в подвале, — бархатно промурлыкал Фриц, улыбнулся Андрею и выпихнул Изю в коридор.

Все. Ощущая противный тошный холодок внутри, Андрей прошелся по кабинету, гася лишний свет. Все. Он сел за стол и некоторое время сидел, уронив голову в ладони. Он был весь в испарине, как перед обмороком. В ушах шумело, и сквозь этот шум он все время слышал беззвучный и оглушительный, тоскливый, отчаянный, севший голос Изи: «Ребята, подождите... Ребята, подождите...» И еще была торжественно ревущая музыка, топот и шарканье по паркету, звон посуды и невнятное шамканье: «...гюмку кюгасо и а-ня-няс!..» Он оторвал руки от лица и бессмысленно уставился в изображение мужского органа. Потом взял листок и принялся рвать его на длинные узкие полоски, бросил бумажную лапшу в мусорную корзину и снова спрятал лицо в руки. Все. Надо было ждать. Набраться терпения и ждать. Тогда все оправдается. Пропадет дурнота, и можно будет вздохнуть с облегчением.

— Да, Андрей, иногда приходится идти и на это, — услышал он знакомый спокойный голос.

С табуретки, где несколько минут назад сидел Изя, теперь, положив ногу на ногу и сцепив тонкие белые пальцы на колене, смотрел на Андрея Наставник, грустный, с усталым лицом. Он тихонько кивал головой, уголки рта его были скорбно опущены.

— Во имя Эксперимента? — хрипло спросил Андрей.

— И во имя Эксперимента тоже, — сказал Наставник. — Но прежде всего — во имя себя самого. Дороги в обход нет. Надо было пройти и через это. Нам ведь нужны не всякие люди. Нам нужны люди особого типа.

— Какого?

— Вот этого-то мы и не знаем, — сказал Наставник с тихим сожалением. — Мы знаем только, какие люди нам не нужны.

— Такие, как Кацман?

Наставник одними глазами показал: да.

— А такие, как Румер?

Наставник усмехнулся.

— Такие, как Румер, это — не люди. Это живые орудия, Андрей. Используя таких, как Румер, во имя и на благо таких, как Ван, дядя Юра... понимаешь?

— Да. Я тоже так считаю. И ведь другого пути нет, верно?

— Верно. Пути в обход нет.

— А Красное Здание? — спросил Андрей.

— Без него тоже нельзя. Без него каждый мог бы незаметно для себя сделаться таким, как Румер. Разве ты еще не почувствовал, что Красное Здание необходимо? Разве сейчас ты такой же, какой был утром?

— Кацман сказал, что Красное Здание — это бред взбудораженной совести.

— Что ж, Кацман умен. Я надеюсь, с этим ты не будешь спорить?

— Конечно, — сказал Андрей. — Именно поэтому он и опасен.

И Наставник опять показал глазами: да.

— Господи, — проговорил Андрей с тоской. — Если бы все-таки точно знать, в чем цель Эксперимента! Так легко запутаться, так все смешалось... Я, Гейгер, Кэнси... Иногда мне кажется, я понимаю, что между нами общего, а иногда — какой-то тупик, несуразица... Ведь Гейгер — бывший фашист, он и сейчас... Он и сейчас бывает мне крайне неприятен — не как человек, а именно как тип, как... Или Кэнси. Он же что-то вроде социал-демократа, пацифист какой-то, толстовец... Нет, не понимаю.

— Эксперимент есть Эксперимент, — сказал Наставник. — Не понимание от тебя требуется, а нечто совсем иное.

— Что?!

— Если бы знать...

— Но ведь все это во имя большинства? — спросил Андрей почти с отчаянием.

— Конечно, — сказал Наставник. — Во имя темного, забитого, ни в чем не виноватого, невежественного большинства...

— Которое надо поднять, — подхватил Андрей, — просветить, сделать хозяином земли! Да-да, это я понимаю. Ради этого можно на многое пойти... — Он помолчал, собирая мучительно разбегающиеся мысли. — А тут еще этот Антигород, — сказал он нерешительно. — Ведь это же опасно, верно?

— Очень, — сказал Наставник.

— А тогда, если я даже не совсем уверен насчет Кацмана, все равно я поступил правильно. Мы не имеем права рисковать.

— Безусловно! — сказал Наставник. Он улыбался. Он был доволен Андреем, Андрей это чувствовал. — Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не ошибки опасны — опасна пассивность, ложная чистоплотность опасна, приверженность к ветхим заповедям! Куда могут вести ветхие заповеди? Только в ветхий мир.

— Да! — взволнованно сказал Андрей. — Это я очень понимаю. Это

как раз то, на чем мы все должны стоять. Что такое личность? Общественная единица! Ноль без палочки. Не о единицах речь, а об общественном благе. Во имя общественного блага мы должны принять на свою ветхозаветную совесть любые тяжести, нарушить любые писаные и неписаные законы. У нас один закон: общественное благо.

Наставник поднялся.

— Ты взрослеешь, Андрей, — сказал он почти торжественно. — Медленно, но взрослеешь!

Он приветственно поднял руку, неслышно прошел по комнате и исчез за дверью.

Некоторое время Андрей бездумно сидел, откинувшись на спинку стула, курил и смотрел, как голубой дым медленно крутится вокруг голой желтой лампы под потолком. Он поймал себя на том, что улыбается. Он больше не чувствовал усталости, исчезла сонливость, мучившая его с вечера, хотелось действовать, хотелось работать, и досада брала при мысли, что вот придется все-таки сейчас пойти и несколько часов проспать, чтобы не ходить потом вареным.

Он нетерпеливым движением придвинул телефон, снял трубку и сейчас же вспомнил, что телефона в подвале нет. Тогда он поднялся, запер сейф, проверил, заперты ли ящики стола, и вышел в коридор.

Коридор был пуст, дежурный полицейский кивал носом за своим столиком.

— Спите на посту! — укоризненно бросил ему Андрей, проходя мимо.

В здании царила гулкая тишина, как всегда в это время, за несколько минут до включения солнца. Сонная уборщица лениво возила по цементному полу сырую тряпку. Окна в коридорах были распахнуты, вонючие испарения сотен человеческих тел рассеивались и выползали в темноту, вытесняемые холодным утренним воздухом.

Грохоча каблуками по скользкой железной лестнице, Андрей спустился в подвал, небрежным взмахом руки усадил на место подскочившего было охранника и распахнул низкую железную дверь.

Фриц Гейгер, без куртки, в сорочке с закатанными рукавами, насвистывая полузнакомый маршик, стоял возле ржавого рукомойника и обтирал волосатые мосластые руки одеколоном. Больше в комнате никого не было.

— А, это ты, — сказал Фриц. — Это хорошо. Я как раз собирался подняться к тебе... Дай сигаретку, у меня все кончились.

Андрей протянул ему пачку. Фриц извлек сигарету, размял ее, сунул в рот и с усмешкой посмотрел на Андрея.

— Ну? — не выдержал Андрей.

— Что — ну? — Фриц закурил, с наслаждением затянулся. — Пальцем в небо ты попал — ну. Никакой он не шпион — даже не пахнет.

— То есть как? — проговорил Андрей, обмирая. — А папка?

Фриц хохотнул, зажав сигарету в углу большого рта, и вылил на широкую ладонь новую порцию одеколона.

— Еврейчик наш — бабник сверхъестественный, — сказал он наставительно. — В папке у него были любовные письма. От бабы он шел — разругался и любовные письма отобрал. А он свою вдову боится до мокрых штанов и, сам понимаешь, не будь дурак, от папочки этой постарался избавиться в первый же удобный момент. Говорит, бросил ее по дороге в канализационный люк... И очень жалко! — продолжал Фриц еще более наставительно. — Папочку эту, господин следователь Воронин, надо было сразу же отобрать — компромат получился бы первостатейный, мы бы нашего еврея вот где держали бы!.. — Фриц показал, где они держали бы нашего еврея. На костяшках пальцев виднелись свежие ссадины. — Впрочем, протокольчик он нам подписал, так что шерсти клок мы все-таки получили...

Андрей нащупал стул и сел. Ноги не держали его. Он снова огляделся.

— Ты вот что... — сказал Фриц, опуская завернутые рукава и возясь с запонками. — Я вижу, у тебя шишка на лбу. Так вот, пойди к врачу и эту шишку запротоколируй. Румеру я уже нос разбил и отправил в медкабинет. Это на всякий случай. Подследственный Кацман во время допроса напал на следователя Воронина и младшего следователя Румера и нанес им телесные повреждения. Так что, вынужденные к обороне... и так далее. Понял?

— Понял, — пробормотал Андрей, машинально ощупывая гулю. Он еще раз огляделся. — А где... он? — спросил он с трудом.

— Да Румер, горилла этакая, опять перестарался, — с досадой сказал Фриц, застегивая куртку. — Сломал ему руку, вот здесь... Пришлось отправить в больницу.

Часть третья РЕДАКТОР

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В городе издавна выходили четыре ежедневные газеты, но Андрей прежде всего взялся за пятую, которая начала выходить совсем недавно, недели за две до наступления «тьмы египетской». Газетка эта была маленькая, всего на двух полосах, — не газета, собственно, а листок, — и выпускала этот листок партия Радикального возрождения, выделившаяся из левого крыла партии радикалов. Листок «Под знаменем Радикального возрождения» был ядовитый, агрессивный, злобный, но люди, издававшие его, были всегда великолепно информированы и, как правило, очень хорошо знали, что происходит в Городе вообще и в правительстве в частности.

Андрей просмотрел заголовки: «Фридрих Гейгер предупреждает: вы погрузили Город во тьму, но мы не дремлем!»; «Радикальное возрождение — единственная действенная мера против коррупции»; «А все-таки, мэр, куда делось зерно с городских складов?»; «Плечом к плечу — вперед! Встреча Фридриха Гейгера с вождями крестьянской партии»; «Мнение рабочих сталелитейного: скупщиков зерна — на фонарь!»; «Так держать, Фриц! Мы с тобой! Митинг домашних хозяек-эрвисток»; «Снова павианы?». Карикатура: задастый мэр, восседая на куче зерна, — надо понимать, того самого, которое исчезло с городских складов, — раздает оружие мрачным личностям уголовного вида. Подпись: «А ну-ка, объясните им, ребятки, куда девалось зерно!»

Андрей бросил листок на стол и почесал подбородок. Откуда у Фрица столько денег на штрафы? Господи, до чего все надоело! Он встал, подошел к окну, выглянул. В жирной сырой тьме, еле подсвеченной уличными фонарями, грохотали телеги, слышался сиплый мат, надсадный прокуренный кашель, время от времени звонко ржали лошади. Второй день в окутанный мраком город съезжались фермеры.

В дверь постучались, вошла секретарша с пачкой гранок. Андрей досадливо отмахнулся:

— Убукате, Убукате отдайте...

— Господин Убуката у цензора, — робко возразила секретарша.

— Не будет же он там ночевать, — раздраженно сказал Андрей. — Вернется, тогда и отдадите...

— Но метранпаж...

— Все! — грубо сказал Андрей. — Ступайте.

Секретарша ретировалась. Андрей зевнул, сморщился от боли в затылке, вернулся к столу, закурил. Голова трещала, во рту было мерзко. И вообще все было мерзко, темно, слякотно. Тьма египетская... Откуда-то издалека донеслись выстрелы — слабое потрескивание, словно ломали сухие сучья. Андрей снова поморщился и взял «Эксперимент» — правительственную газету на шестнадцати полосах.

МЭР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЭРВИСТОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ СПИТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО ВИДИТ ВСЕ!

ЭКСПЕРИМЕНТ ЕСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ. Мнение нашего научного обозревателя по поводу солнечных явлений.

ТЕМНЫЕ УЛИЦЫ И ТЕМНЫЕ ЛИЧНОСТИ. Комментарий политического консультанта муниципалитета к последней речи Фридриха Гейгера.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР. Алоиз Тендер приговорен к расстрелу за ношение оружия.

«У НИХ ТАМ ЧТО-ТО ИСПОРТИЛОСЬ. НИЧЕГО, ПОЧИНЯТ», — говорит мастер-электрик Теодор У. Питерс.

БЕРЕГИТЕ ПАВИАНОВ, ОНИ — ВАШИ ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ! Резолюция последнего собрания общества покровительства животным.

ФЕРМЕРЫ — НАДЕЖНЫЙ КОСТЯК НАШЕГО ОБЩЕСТВА. Встреча мэра с вождями крестьянской партии.

ВОЛШЕБНИК ИЗ ЛАБОРАТОРИИ НАД ОБРЫВОМ. Сообщения о последних работах по бессветовому выращиванию растений.

СНОВА «ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»?

У НАС ЕСТЬ БРОНЕВИКИ. Интервью с полицей-президентом.

ХЛОРЕЛЛА НЕ ПАЛЛИАТИВ, А ПАНАЦЕЯ.

АРОН ВЕБСТЕР СМЕЕТСЯ, АРОН ВЕБСТЕР ПОЕТ! Пятнадцатый благотворительный концерт знаменитого комика...

Андрей сгреб всю эту кучу бумаги, скатал в ком и зашвырнул в угол. Все это казалось нереальным. Реальной была тьма, двенадцатый день стоявшая над Городом, реальностью были очереди перед хлебными магазинами, реальностью был этот зловещий стук расхлябанных колес под окнами, вспыхивающие в темноте красные огоньки цигарок, глухое металлическое позвякивание под брезентом в деревенских колымагах. Реальностью была стрельба, хотя до сих пор никто толком не знал, кто стреляет и в кого... И самой скверной реальностью было тупое похмельное гудение в бедной голове и огромный шершавый язык, который не

помещался во рту и который хотелось выплюнуть. Портвейн с сырцом — с ума сошли, и больше ничего! Ей-то что, валяется себе под одеялом, отсыпается, а ты тут пропадай... Скорее бы все это разваливалось уже к чертовой матери, что ли... Надоело небо коптить, и шли бы они в глубокую задницу со своими экспериментами, наставниками, эрвистами, мэрами, фермерами, зерном этим вонючим... Тоже мне, экспериментаторы великие — солнечного света обеспечить не могут. А сегодня еще в тюрьму идти, тащить Изе передачу... Сколько ему еще сидеть осталось? Четыре месяца... Нет, шесть. Сука Фриц, его бы энергию да на мирные цели! Вот ведь не унывает человек. Все ему в жилу. Из прокуратуры выперли — партию создал, планы какие-то строит, борьба с коррупцией, да здравствует возрождение, с мэром вот сцепился... А хорошо бы сейчас пойти в мэрию, взять господина мэра за седой благородный загривок, ахнуть мордой об стол: «Где хлеб, зараза? Почему солнце не горит?» и под жопу — ногой, ногой, ногой...

Дверь распахнулась, ахнув о стену, и вошел Кэнси, маленький, стремительный, и сразу видно, что в ярости — глаза щелками, мелкие зубы оскалены, смоляная шевелюра дыбом. Андрей мысленно застонал. Опять сейчас потащит с кем-нибудь воевать, подумал он с тоской.

Кэнси подошел и шваркнул об стол перед Андреем пачку гранок, исполосованных красным карандашом.

— Я этого печатать не буду! — объявил он. — Это саботаж!

— Ну, что у тебя опять? — спросил Андрей уныло. — С цензором поцапался, что ли? — Он взял гранки и уставился в них, ничего не понимая, да и не видя ничего, кроме красных линий и загогулин.

— Подборка писем — из одного письма! — яростно сказал Кэнси. — Передовицу нельзя — слишком острая. Комментарий к выступлению мэра нельзя — слишком вызывающ. Интервью с фермерами нельзя — больной вопрос, несвоевременно... Я так работать не могу, Андрей, воля твоя. Ты должен что-то сделать. Они убивают газету, эти сволочи!

— Ну подожди... — морщась, сказал Андрей. — Подожди, дай разобраться...

Большой ржавый болт ввинтился ему вдруг в затылок, в ямку у основания черепа. Он закрыл глаза и тихонько застонал.

— Стонами тут не поможешь! — сказал Кэнси, падая в кресло для посетителей и нервно закуривая. — Ты стонешь, я стенаю, а стонать должна эта сволочь, а не мы с тобой...

Дверь снова распахнулась. Цензор — жирный, потный, весь в красных пятнах, — загнанно дыша, ввалился в комнату и уже с порога пронзительно

закричал:

— Я отказываюсь работать в таких условиях! Я, господин главный редактор, не мальчишка! Я — государственный служащий! Я здесь не для собственного удовольствия сижу! Я похабную ругань от ваших подчиненных выслушивать не намерен! И чтобы обзывались!..

— Да вас душить надо, а не обзывать! — прошипел из своего кресла Кэнси, сверкая глазами, как змея. — Вы саботажник, а не государственный служащий!

Цензор окаменел, переводя налитые глазки с него на Андрея и обратно. Потом он вдруг сказал очень спокойно и даже торжественно:

— Господин главный редактор! Я объявляю формальный протест!

Тут Андрей сделал наконец над собой чудовищное усилие, хлопнул ладонью по столу и сказал:

— Я попрошу всех замолчать. Всех! Сядьте, пожалуйста, господин Паприкаки.

Господин Паприкаки сел напротив Кэнси и, теперь уже ни на кого не глядя, вытащил из кармана большой клетчатый носовой платок и принялся вытирать потную шею, щеки, затылок, кадык.

— Значит, так... — сказал Андрей, перебирая гранки. — Мы подготовили подборку из десяти писем...

— Это тенденциозная подборка! — немедленно объявил господин Паприкаки.

Кэнси сейчас же взвился:

— У нас за вчерашний день девятьсот писем насчет хлеба! — заорал он. — И все — вот такого содержания, если не хлеще!..

— Минуточку! — сказал Андрей, повысив голос, и снова хлопнул ладонью по столу. — Дайте говорить мне! А если вам неугодно, выйдите оба в коридор и препирайтесь там... Так вот, господин Паприкаки, наша подборка основана на тщательном анализе поступивших в редакцию писем. Господин Убуката совершенно прав: мы располагаем корреспонденцией, гораздо более резкой и невыдержанной. Но в подборку мы включили как раз самые спокойные и сдержанные письма. Письма людей не просто голодных или напуганных, а понимающих сложность положения. Более того, мы даже включили в подборку одно письмо, прямо поддерживающее правительство, хотя это — единственное такое из семи тысяч, которые мы...

— Против этого письма я ничего не имею, — прервал его цензор.

— Еще бы, — сказал Кэнси. — Вы же сами его и написали.

— Это ложь! — взвизгнул цензор так, что ржавый винт снова вонзился Андрею в затылок.

— Ну, не вы, так кто-нибудь другой из вашей шайки, — сказал Кэнси.

— Сами вы шантажист! — выкрикнул цензор, снова покрываясь пятнами. Это был странный возглас, и на некоторое время воцарилось молчание.

Андрей перебрал гранки.

— До сих пор мы неплохо с вами срабатывались, господин Паприкаки, — сказал он примирительно. — Я уверен, что и сейчас нам следует найти некоторый компромисс...

Цензор замотал щеками.

— Господин Воронин! — сказал он проникновенно. — При чем здесь я? Господин Убуката — человек невыдержанный, ему только бы сорвать злость, а на ком — ему безразлично. Но вы-то понимаете, что я действую строго в соответствии с полученными инструкциями. В городе назревает бунт. Фермеры в любую минуту готовы начать резню. Полиция ненадежна. Вы что же, хотите крови? Пожаров? У меня дети, я ничего этого не хочу. Да и вы этого не хотите! В такие дни пресса должна способствовать смягчению ситуации, а не обострению ее. Такова установка, и, должен сказать, я с нею совершенно согласен. А если бы даже и был не согласен, все равно обязан, это моя обязанность... Вот вчера арестовали цензора «Экспресса» за попустительство, за пособничество подрывным элементам...

— Я вас прекрасно понимаю, господин Паприкаки, — сказал Андрей с наивозможнейшей сердечностью. — Но вы же видите, в конце концов, что подборка вполне умеренная. Поймите, именно потому, что времена тяжелые, мы не можем поддакивать правительству. Именно потому, что грозит выступление деклассированных элементов и фермеров, мы должны сделать все, чтобы правительство взялось за ум. Мы исполняем свой долг, господин Паприкаки!

— Подборку я не подпишу, — тихо сказал Паприкаки.

Кэнси шепотом выматерился.

— Мы будем вынуждены выпустить газету без вашей санкции, — сказал Андрей.

— Очень хорошо, — сказал Паприкаки с тоской. — Очень мило. Просто очаровательно. На газету наложат штраф, а меня арестуют. И тираж арестуют. И вас тоже арестуют.

Андрей взял листок «Под знаменем Радикального возрождения» и помахал им перед носом цензора.

— А почему не арестовывают Фрица Гейгера? — спросил он. — Сколько цензоров этой газетки арестовано?

— Не знаю, — сказал Паприкаки с тихим отчаянием. — Какое мне до этого дело? И Гейгера когда-нибудь арестуют, допрыгается...

— Кэнси, — сказал Андрей. — Сколько у нас в кассе? На штраф хватит?

— Соберем между сотрудниками, — деловито сказал Кэнси и поднялся. — Я даю метранпажу команду начать тираж. Выкрутимся как-нибудь...

Он пошел к двери, цензор тоскливо смотрел ему вслед, вздыхал и сморкался.

— Сердца у вас нет... — бормотал он. — И ума нет. Молокососы...

На пороге Кэнси остановился.

— Андрей, — сказал он. — На твоем месте я бы все-таки сходил в мэрию и нажал там на все рычаги, какие только можно.

— Какие там рычаги... — мрачно проговорил Андрей.

Кэнси сейчас же вернулся к столу.

— Пойди к заместителю политконсультанта. В конце концов, он тоже русский. Ты же с ним водку пил.

— Я ему и морду бил, — сказал Андрей угрюмо.

— Ничего, он не обидчивый, — сказал Кэнси. — И потом, я точно знаю, что он берет.

— Кто в мэрии не берет? — сказал Андрей. — Разве в этом дело? — Он вздохнул. — Ладно, схожу. Может, узнаю что-нибудь... А с Паприкаки что будем делать? Он же сейчас звонить побежит... Побежите ведь, а?

— Побегу, — согласился Паприкаки без всякого энтузиазма.

— А я его сейчас свяжу и завалю за шкаф! — сказал Кэнси, сверкнув всеми зубами от удовольствия.

— Ну, зачем... — сказал Андрей. — Зачем это сразу: свяжу, завалю... Запри его в архиве, там телефона нет.

— Это будет насилие, — заметил Паприкаки с достоинством.

— А если вас арестуют, это не будет насилие?

— Так я же не возражаю! — сказал Паприкаки. — Я просто так... отметил...

— Иди, иди, Андрей, — сказал Кэнси нетерпеливо. — Я тут без тебя все сделаю, не беспокойся.

Андрей с кряхтением поднялся, волоча ноги, побрел к вешалке, взял плащ. Берет куда-то запропастился, он поискал внизу, среди каких-то галош, забытых посетителями в старые добрые времена, не нашел, матюкнулся и вышел в приемную. Худосочная секретарша вскинула на него испуганные серенькие глазки. Шлюшка задрипанная. Как ее звать-

то?..

— Я в мэрию, — мрачно сказал он.

В редакции все шло вроде бы как обычно. Орал кто-то по телефону, писал кто-то, примостившись с краю стола, кто-то рассматривал мокрые фотографии, кто-то пил кофе, метались мальчишки-курьеры с папками и бумагами, было накурено, намусорено, заведующий литературным отделом, феноменальный осел в золотом пенсне, бывший чертежник из какого-то квазигосударства наподобие Андорры, высокопарно вещал тоскующему автору: «Вы здесь где-то переусердствовали, где-то не хватило у вас чувства меры, материал оказался крепче вас и лабильнее...» «Ногой, ногой, ногой», — думал Андрей, проходя. Ему вдруг вспомнилось, как все это было мило его сердцу, как ново, увлекательно, — совсем недавно! — казалось таким перспективным, нужным, важным... «Шеф, одну минутку», — крикнул ему Денни Ли, завотделом писем, и устремился было следом, но Андрей, не оборачиваясь, только отмахнулся назад. «Ногой, ногой, ногой...»

Выйдя из подъезда, он остановился и поднял воротник плаща. По улице по-прежнему грохотали телеги — и все в одну сторону, к центру города, к мэрии. Андрей засунул руки поглубже в карманы и, ссутулившись, двинулся в том же направлении. Минуты через две он заметил, что идет рядом с чудовищной колымагой с колесами в человеческий рост. Колымагу влекли два гигантских битюга, притомившихся, видно, с дальней дороги. Поклажи в колымаге видно не было за высокими дощатыми бортами, зато хорошо был виден возница на передке — даже не столько сам возница, сколько его колоссальный брезентовый плащ с треугольным капюшоном. От самого возницы усматривалась только борода, торчащая вперед, и сквозь скрип колес и перестук копыт слышались издаваемые им непонятные звуки: то ли он лошадей своих ободрял, то ли лишние газы выпускал по деревенскому простодушию.

И этот в город, думал Андрей. Зачем? Что им тут всем нужно? Хлеба они здесь не достанут, да и не нужен им хлеб, есть у них хлеб. И вообще все у них есть, не то что у нас, у горожан. Даже оружие есть. Неужели действительно хотят устроить резню, махновщину? Может быть. Только какая им от этого польза? По квартирам шарпать?.. Ничего не понятно.

Он вспомнил интервью с фермерами, и как Кэнси был этим интервью разочарован, хотя сам же его и брал — опросил чуть ли не полсотни мужиков на площади перед мэрией. «А как народ, так и мы»; «Надоело, понимаешь, на болотах сидеть, дай, думаю, съезжу...»; «И не говорите,

господин хороший, чего народ прет, куда прет, зачем? Сами удивляемся...»; «Ну, вижу я — все в город. И я — в город. Что я — рыжий, что ли?»; «...Автомат-то? А как же нам без автомата? У нас без автомата шагу ступить нельзя...»; «...Вышел это я утром коров доить, гляжу — едут. Семка Костылин едет, Жак-Француз едет, этот, как его... ах, ядрит твою, все время я его забываю, за Вшивым Бугром живет... тоже едет! Я спрашиваю, ребята, мол, куда? Да вот, говорят, солнца седьмой день нету, надо бы в город съездить...»; «А вы у начальства спросите. Начальство — оно все знает...»; «Так говорили же, что трактора автоматические давать будут! Чтобы самому дома сидеть, поясницу чесать, а он бы за тебя чтобы работал... Третий год обещают...».

Уклончиво, смутно, неясно. Зловеще. То ли они просто хитрят, то ли сбивает их в кучу какой-то инстинкт, а может быть, и организация какая-нибудь тайная, хорошо замаскированная... Тогда что же — Жакерия? Антоновщина?.. В чем-то их понять можно: солнца нет двенадцатый день, урожай гибнет, что будет — неясно. Вот их и сорвало с насиженных мест...

Андрей миновал небольшую тихую очередь в мясной магазин, потом другую — в хлебный. Стояли в основном женщины, у многих на рукавах были почему-то белые повязки. Андрей, конечно, сразу вспомнил про Варфоломеевскую ночь и тут же подумал, что на самом деле сейчас не ночь, а день, час дня, а лавки до сих пор закрыты. На углу, под неоновой вывеской ночного кафе «Квисисана», кучкой стояли трое полицейских. Вид у них был какой-то странный — неуверенный, что ли? Андрей замедлил шаг, прислушиваясь.

— Что ж нам теперь, в драку лезть прикажете? Так их больше раза в два...

— А пойдем и так и доложим: не пройти туда, и все тут.

— А он скажет: «Как это не пройти? Вы — полиция».

— Ну полиция, ну и что? Мы полиция, а они — милиция...

Милиция еще какая-то, подумал Андрей, проходя. Не знаю я никакой милиции... Он миновал еще одну очередь, свернул на Главную. Впереди уже виднелись яркие ртутные фонари Центральной площади, обширное пространство которой все было занято чем-то серым, шевелящимся, окутанным не то паром, не то дымом, но тут его остановили.

Рослый молодой человек, собственно, юнец даже, переросток, в плоской кепке с козырьком, надвинутым на самые глаза, заступил дорогу и спросил негромко:

— Вы куда, сударь?

Руки он держал под бока, на обоих рукавах у него были белые повязки,

а у стены позади него стояло еще несколько человек самого разнообразного вида, и все тоже с белыми повязками на рукавах.

Краем глаза Андрей заметил, что дядёк в брезентовом плаще проследовал дальше со своей колымагой беспрепятственно.

— Я в мэрию, — сказал Андрей, вынужденный остановиться. — А в чем дело?

— В мэрию? — громко повторил юнец и оглянулся через плечо на своих. Еще двое отделились от стены и подошли к Андрею.

— А позвольте спросить, зачем вам в мэрию? — осведомился коренастый, небритый, в промасленном комбинезоне и в каскетке с буквами «джи» и «эм». У него было энергичное мускулистое лицо и недобрые шарящие глаза.

— Кто вы такие? — спросил Андрей, нащупывая в кармане медный пестик, который вот уже четвертый день таскал с собой по причине неспокойного времени.

— Мы — добровольная милиция, — ответил коренастый. — Что вам понадобилось в мэрии? Кто вы такой?

— Я — главный редактор «Городской газеты», — сердито сказал Андрей, стискивая пестик. Ему очень не нравилось, что за разговором юнец зашел к нему слева, а третий добровольный милиционер, тоже парень, по всему видно, крепкий, сопел над ухом справа. — Иду в мэрию с протестом против действий цензуры.

— А, — сказал коренастый с неопределенным выражением. — Понятно. Только зачем вам в мэрию? Арестовали бы цензора и выпускали бы свою газету на здоровье.

Андрей решил пока держаться нагло.

— А вы меня не учите, — сказал он. — Цензора мы и без ваших советов арестовали. И вообще, позвольте мне пройти.

— Представитель прессы... — проворчал тот, что сопел над правым ухом.

— А чего? Пусть идет, — снисходительно разрешил юнец слева.

— Пусть, — сказал коренастый. — Пусть идет. Только пусть потом на нас не пеняет... Оружие у вас есть?

— Нет, — сказал Андрей.

— Зря, — сказал коренастый, отступая в сторону. — Проходите...

Андрей прошел. За спиной его коренастый сказал петушиным голосом: «Жасмин — хорошенький цветочек! Он пахнет очень хорошо...», и милиционеры засмеялись. Андрей знал этот стишок, и ему захотелось сердито обернуться, но он только ускорил шаг.

На Главной оказалось довольно много народу. Держались они в основном вдоль стен, кучками стояли в подворотнях, все были с белыми повязками. Некоторые торчали прямо посередине мостовой — подходили к проезжающим фермерам, что-то говорили им, и фермеры ехали дальше. Магазины все были закрыты, но очередей возле них здесь уже не было. Около булочной пожилой милиционер с узловатой тростью втолковывал какой-то одинокой старушенции: «Я вам совершенно наверняка говорю, мадам. Магазины сегодня не откроются. Я сам владелец бакалеи, мадам, я знаю, что говорю...» Старушенция визгливо отвечала в том смысле, что умрет здесь, на этих ступеньках, но очереди своей не бросит...

Старательно подавляя в себе нарастающее чувство тревоги и какой-то ирреальности окружающего — все было как в кино, — Андрей добрался до площади. Горловина Главной, выходящая на площадь, была плотно забита телегами, повозками, арбами, колымагами, возами. Здесь воняло конским потом, свежим навозом, мотали головами разномастные лошади, зычно перекликались сыны болот, вспыхивали цигарки. Несло дымом — где-то недалеко палили костер. Из-под арки вышел, застегиваясь на ходу, толстый усач в техасской шляпе — едва не налетел на Андрея, чертыхнулся благодушно и пошел пробираться между телегами, рявкающим голосом выкликая какого-то Сидора: «Сюда давай, Сидор! Во двор давай, там можно! Под ноги только смотри, не вляпайся!..»

Андрей покусал губу и пошел дальше. У самого входа на площадь телеги стояли уже на тротуаре. Многие были распряжены, стреноженные кони вприскочку бродили кругом, уныло обнюхивая асфальт. В телегах спали, курили, ели, слышалось аппетитное бульканье и причмокивание. Андрей взобрался на какое-то крыльцо и посмотрел поверх становища. До мэрии было шагов пятьсот, но это был лабиринт. Трещали и дымились костры, сизые от ртутных фонарей дымы тянулись поверх фургонов и колымаг и, как в гигантский дымоход, втягивались в Главную улицу. Какая-то сволочь с жужжанием уселась Андрею на щеку и впилась, словно булавку вонзила. Андрей с омерзением пришлепнул что-то крупное, колючее, сочно хрустнувшее под ладонью. Понатащили с болот, сердито подумал он. Из приоткрытой парадной отчетливо тянуло аммиаком. Андрей соскочил на тротуар и решительно двинулся в лошадино-тележный лабиринт, на первых же шагах угодив в мягкое и рассыпчатое.

Тяжелое округлое здание мэрии возвышалось над площадью, как пятиэтажный бастион. Почти все окна были темны, только в некоторых горел свет, и еще тускло и желтовато светились выведенные наружу колодцы лифтов. Лагерь фермеров окружал здание кольцом, между

телегами и мэрией пролегало пустое пространство, освещенное яркими фонарями на фигурных чугунных столбах. Под фонарями толклись фермеры, почти все с оружием, а напротив них, у входа в мэрию, стояла шеренга полицейских — судя по знакам различия, преимущественно сержантов и офицеров.

Андрей уже проталкивался через вооруженную толпу, когда его окликнули. Он остановился и завертел головой.

— Да здесь я, вот он я! — гаркнул знакомый голос, и Андрей увидел наконец дядю Юру.

Дядя Юра вперевалочку приближался к нему, заранее отводя ладонь для рукопожатия — все в той же гимнастерочке, в пилотке набекрень, и известный Андрею пулемет висел у него на широком ремне через плечо.

— Здорово, Андрюха, городская твоя душа! — провозгласил он, с треском ударяя своей жесткой ладонью в ладонь Андрея. — А я тут все тебя ищу, буча идет, нет, думаю, не может быть, чтобы нашего Андрюхи тут не было! Он — парень заводной, думаю, обязательно где-нибудь тут же крутится...

Дядя Юра был основательно на взводе. Он стащил пулемет с плеча, оперся на ствол подмышкой, как на костыль, и продолжал с той же горячностью:

— Я туда, я сюда — нет Андрюхи. Ах ты, ядрит твою, думаю, что же это такое? Фриц твой белобрысый — этот здесь. Толкается среди мужиков, речи произносит... А тебя нет как нет!

— Подожди, дядя Юра, — сказал Андрей. — Ты-то чего сюда приперся?

— Права качать! — ухмыльнулся дядя Юра. Борода его раздвинулась веником. — Исключительно для этой цели сюда прибыл, но ничего у нас тут, видно, не получится. — Он сплюнул и растер огромным сапожищем. — Народ — вша. Сами не знают, чего пришли. То ли просить пришли, то ли требовать пришли, а может, не то и не другое, а просто по городской жизни соскучились — постоим здесь, засрем ваш город, да и назад, по домам. Говно народ. Вот... — Он обернулся и помахал кому-то рукой. — Вот, к примеру, возьми Стася Ковальского, дружка моего... Стась! Стась, т-твою... Иди сюда!

Стась подошел — худой сутулый мужик с унылыми вислыми усами и редкой шевелюрой. От него так и шибало самогоном. На ногах он держался исключительно инстинктивно, однако то и дело воинственно вскидывал голову, хватался за странный автомат-коротышку, висящий у него на шее, и, с огромным трудом приподнимая веки, угрожающе оглядывался по

сторонам.

— Вот — Стась... — продолжал дядя Юра. — Ведь воевал же, Стась, воевал, ну скажи! Нет, ты скажи: воевал? — требовал дядя Юра, горячо обхватив Стася за плечи и качаясь вместе с ним.

— Хэ! Хо!.. — откликнулся Стась, всем своим видом стараясь показать, что воевал, что еще как воевал, слов нет выразить, как воевал.

— Он пьяный сейчас, — объяснил дядя Юра. — Он не может, когда солнца нет... О чем это я? Да! Ты спроси его, дурака, чего он здесь топчется? Оружие есть. Ребята боевые есть. Ну, чего еще, спрашивается?

— Подожди, — сказал Андрей. — Чего вы хотите?

— Так я же тебе и говорю! — проникновенно сказал дядя Юра, выпуская Стася, которого сразу же по длинной дуге унесло в сторону. — Я тебе втолковываю! Один раз давануть на гадов — и все! У них же пулеметов нет! Сапогами затопчем, шапками закидаем... — Он вдруг замолчал, снова вскинул на спину пулемет. — Пошли.

— Куда?

— Выпьем. Надо допивать все к чертовой матери и ехать отсюда по домам. Чего, в самом деле, время тратить? У меня там картошка гниет... Пошли.

— Нет, дядя Юра, — сказал Андрей извиняющимся голосом. — Не могу сейчас. Мне в мэрию надо.

— В мэрию? Пошли! Стась! Стась, т-твою...

— Да подожди, дядя Юра! Ты же... того... не пустят тебя.

— М-меня? — взревел дядя Юра, сверкнув глазами. — А ну, пошли! Посмотрим, кто там меня не пустит. Стась!..

Он обхватил Андрея за плечи и поволок через пустое, ярко освещенное пространство прямо на шеренгу полицейских.

— Ты пойми, — горячо бормотал он прямо в ухо упирающемуся Андрею. — Страшно, понял? Никому не говорил, тебе скажу. Жутко! А если оно теперь вовсе не загорится больше, а? Затащили нас сюда и бросили... Нет, пусть объяснят, пусть правду скажут, суки, а так жить нельзя. Я спать перестал, понял? Такого со мной и на фронте не бывало... Ты думаешь, я пьяный? Ни хрена я не пьяный — это страх, страх во мне ходит!..

У Андрея озноб пошел по спине от этого горячечного бормотания. Он остановился шагах в пяти от шеренги (ему казалось, что на площади все стихло и все смотрят на него — и полицейские, и фермеры) и, стараясь говорить внушительно, произнес:

— Ты вот что, дядя Юра. Я сейчас схожу, улажу один вопрос насчет

моей газеты, а ты меня здесь подожди. Потом пойдем ко мне и обо всем как следует поговорим.

Дядя Юра изо всех сил замотал бородой.

— Нет, я с тобой. Мне тоже надо один вопрос уладить...

— Да не пустят тебя! И меня из-за тебя не пустят!

— Пойдем, пойдем... — приговаривал дядя Юра. — Как так — не пустят? Почему? Мы — тихо, благородно...

Они были уже совсем рядом с шеренгой, дородный капитан полиции в щегольской форме, с расстегнутой кобурой слева на поясе шагнул им навстречу и холодно осведомился:

— Вам куда, господа?

— Я главный редактор «Городской газеты», — сказал Андрей, тихонько отпихивая дядю Юру, чтобы не обнимался. — Я должен встретиться с господином политическим консультантом.

— Попрошу документы, — обтянутая лайкой ладонь протянулась к Андрею.

Андрей достал удостоверение, отдал капитану и покосился на дядю Юру. К его удивлению, дядя Юра стоял теперь спокойно, пошмыгивал носом и то и дело поправлял ремень своего пулемета, хотя никакой надобности в этом не было. Глаза его, вроде бы и не пьяные совсем, неторопливо шарили по шеренге.

— Можете пройти, — вежливо сказал капитан, возвращая удостоверение. — Хотя должен вам сказать... — Он не окончил и обратился к дяде Юре: — А вы?

— Это со мной, — поспешно сказал Андрей. — В некотором роде представитель... э-э... части фермеров.

— Документы!

— Какие у мужика могут быть документы? — сказал дядя Юра с горечью.

— Без документов не могу.

— Почему же это нельзя без документов? — совсем огорчился дядя Юра. — Без какой-то бумажки паршивой я, значит, уже и не человек?

Кто-то жарко задышал Андрею в затылок. Это Стась Ковальский, все еще воинственно взбрыкивая и пошатываясь, подпирал теперь тыл. По освещенному пространству вяло, словно бы нехотя, подтягивались еще какие-то люди.

— Господа, господа, не скапливаться! — нервно сказал капитан. — Да проходите же, сударь! — зло прикрикнул он на Андрея. — Господа, назад! Скапливаться запрещено!..

— То есть если у меня бумажки какой-то исчириканной нет, — сокрушался дядя Юра, — то уже мне, значит, ни проходу, ни проезду...

— Дай ему в рыло! — неожиданно ясным голосом предложил сзади Стась.

Капитан схватил Андрея за рукав плаща и резко рванул на себя, так что Андрей сразу же очутился за спинами шеренги. Шеренга быстро сомкнулась, заслоняя от него фермеров, столпившихся перед капитаном, и он, не дожидаясь дальнейшего развития событий, быстро зашагал к сумрачному, слабо освещенному порталу. За спиной гудели:

— Хлеб им давай, мясо им давай, а как пройти куда-нибудь...

— Па-апрашу не скапливаться! Имею приказ арестовывать...

— Почему представителя не пропускаешь, а?

— Солнце! Солнце, сволочи, когда обратно зажжете?

— Господа, господа! Ну при чем тут я?

По беломраморной лестнице навстречу Андрею, звеня подковками, сыпались новые полицейские. Эти были вооружены винтовками с примкнутыми штыками. Сдавленный голос скомандовал: «Баллоны приготовить!» Андрей дошел до верха лестницы и оглянулся. Освещенное пространство было теперь усеяно людьми. Фермеры, кто медленно, а кто и бегом, двигались от своего стойбища к большой черной куче образовавшегося толковища.

Андрей с усилием оттянул на себя дверь — тяжелую, высокую, обитую медью — и вошел в вестибюль. Здесь тоже было полутемно, и стоял резкий явственный запах казармы. В роскошных креслах, на диванах и прямо на полу спали вповалку полицейские, укрывшись шинелями. На слабо освещенной галерее, тянувшейся под потолком вдоль трех стен вестибюля, маячили какие-то фигуры. Андрей не разобрал, было ли у них оружие.

По мягкой ковровой дорожке он взбежал на второй этаж, где располагался отдел прессы, и двинулся по широкому коридору. Его вдруг охватило сомнение. Что-то слишком тихо было сегодня в этом огромном здании. Обычно здесь толклась масса народу, стрекотали пишущие машинки, гремели телефонные звонки, гул стоял от разговоров и начальственных окриков, а сейчас ничего этого не было. Некоторые кабинеты были распахнуты настежь, там стояла тьма, да и в самом коридоре горела только каждая четвертая лампа.

Предчувствие его не обмануло: кабинет политконсультанта оказался заперт, а в кабинете заместителя сидели два каких-то незнакомых человека в одинаковых серых пальто, застегнутых до подбородка, в одинаковых

котелках, надвинутых на глаза.

— Прошу прощения, — сердито сказал Андрей. — Где я могу найти господина политконсультанта или его заместителя?

Головы в котелках неторопливо повернулись к нему.

— А зачем вам? — спросил тот, что был поменьше ростом.

Лицо этого человека показалось вдруг Андрею не таким уж незнакомым, да и голос тоже. И почему-то стало неприятно и странно от того, что этот человек находится здесь. Нечего ему здесь было делать... Андрей насупился и, стараясь говорить отрывисто и решительно, объяснил, кто он и что ему нужно.

— Да вы заходите, — произнес полузнакомый человек. — Что это вы стоите там в дверях?

Андрей вошел и огляделся, но он ничего не видел: перед глазами все время маячило только это гладко выбритое скопческое лицо. Где же я его видел? Неприятная какая-то личность... и опасная... Зря я сюда зашел, только время теряю.

Маленький человек в котелке тоже пристально его рассматривал. Было тихо. Высокие окна затянуты были тяжелыми портьерами, и шум снаружи едва доносился сюда. Маленький человек в котелке вдруг легко вскочил и подошел к Андрею вплотную. Серые глазки его, почти без ресниц, мигали, а от верхней пуговицы пальто подскочил к самому подбородку и снова ушел вниз могучий хрящеватый кадык.

— Главный редактор?.. — проговорил маленький человек, и тут Андрей наконец узнал его и в обессиливающем томлении, теряя ощущение ног под собою, понял, что узнан сам.

Скопческое лицо ощерилось, показывая редкие дурные зубы, маленький человек присел, и Андрей ощутил жестокую боль в животе, словно у него лопнули внутренности, и сквозь тошную муть в глазах увидел вдруг навощенный пол... Бежать, бежать... Целый фейерверк вспыхнул у него в мозгу, и над ним закачался, медленно поворачиваясь, далекий темный потолок, испещренный трещинами... из наваливающейся душной тьмы выскакивали раскаленные добела пики и втыкались в ребра... убьет... убьет же!.. Голова вдруг распухла и, обдирая уши, полезла в какую-то узкую вонючую щель, а громовой голос неторопливо говорил: «Спокойнее, Копчик, спокойнее, не все сразу...» Андрей закричал изо всех сил, теплая густая каша наполнила его рот, он захлебнулся, и его вырвало.

В комнате никого не было. Огромная портьера была отдернута, окно распахнуто, тянуло сырым холодным воздухом, и слышался какой-то отдаленный рев. Андрей с трудом поднялся на четвереньки и пополз вдоль

стены. К двери. Прочь отсюда...

В коридоре его снова вырвало. Он полежал немного в блаженном изнеможении, затем попробовал подняться на ноги. Плохо мне, подумал он. Ох, как мне плохо. Он сел и ощупал лицо. Лицо было влажное и липкое, и тут он обнаружил, что смотрит только одним глазом. Болели ребра, трудно было дышать. Болели челюсти, и ужасной, невыносимой болью сводило низ живота. Сволочь, Копчик. Изуродовал меня... Андрей заплакал. Он сидел на полу в пустом коридоре, прислонившись спиной к золоченым завитушкам, и плакал. Ничего не мог с собой сделать. Плача, он с трудом задрал полу плаща и полез рукой под брючный ремень. Болело ужасно, но не там, а выше. Весь живот болел. Трусы были мокрые.

Кто-то, тяжело бухая сапогами, прибежал из глубины коридора и остановился над ним. Какой-то полицейский — красный, распаренный, без фуражки, с растерянными глазами. Постоял несколько секунд словно бы в нерешительности и вдруг опрометью бросился бежать дальше, а из глубины коридора уже бежал второй, на ходу сдирая с себя китель.

Тут до Андрея дошло, что там, откуда они бежали, стоит ревущий многоголосый гомон. Тогда он с усилием поднялся и, придерживаясь за стену, поплелся на этот гомон, все еще всхлипывая, со страхом ощупывая лицо и то и дело останавливаясь, чтобы постоять, согнувшись и держась за живот.

Он добрался до лестницы и ухватился за скользкие мраморные перила. Внизу в огромном вестибюле ворочалась густая человеческая каша. Совершенно непонятно было, что там делается. Прожекторные лампы, установленные вдоль галереи, озаряли холодным слепящим светом это месиво, в котором мелькали разномастные бороды, форменные фуражки, золотые шнуры витых полицейских аксельбантов, примкнутые штыки, растопыренные пятерни, бледные лысины, и от всего этого поднимался к потолку теплый влажный смрад.

Андрей закрыл глаза, чтобы не видеть всего этого, и ощупью, перебирая руками по перилам, кое-как, задом, боком, стал спускаться, сам не понимая, зачем он это делает. Несколько раз он останавливался, чтобы отдышаться и постонать, открывал глаза, глядел вниз, ему снова становилось невмоготу от этого зрелища, он опять зажмуривался и опять принимался перебирать руками по перилам. Уже внизу руки его ослабели окончательно, он сорвался и прокатился по последним ступенькам до мраморной лестничной площадки, украшенной гигантскими бронзовыми плевательницами. Сквозь муть и гомон он услышал вдруг надсадный хриплый рев: «Гляди, да это же Андрюха!.. Ребята, там наших насмерть

убивают!..» Открыв глаза, он увидел совсем рядом дядю Юру, всклокоченного, в растерзанной гимнастерке, глаза дикие, выкаченные, борода растопырена, и он увидел, как дядя Юра поднял на вытянутых руках свой пулемет и, не переставая реветь быком, ударил длинной очередью по галерее, по прожекторам, по стеклам двусветного зала...

Потом были какие-то отрывочные впечатления, потому что сознание приливало и отливало вместе с приливами и отливами боли и дурноты. Сначала он обнаружил себя в центре вестибюля. Он, оказывается, упрямо полз на карачках к далекой распахнутой двери, перебираясь через неподвижные тела, оскользаясь руками в мокром и холодном. Кто-то однообразно стонал совсем рядом, приговаривая: «О господи, о господи, господи...» На ковре было полно осколков стекла, стреляных гильз, обломков штукатурки. В распахнутую дверь ворвались с ревом и бежали прямо на него какие-то страшные люди с горящими факелами в руках...

Потом он очутился снаружи, в портале. Он сидел, расставив ноги, упираясь ладонями в холодный камень, и на коленях у него лежала винтовка без затвора. Пахло свежим дымом, где-то на краю сознания грохотал пулемет, дико визжали лошади, а он монотонно твердил вслух, втолковывая самому себе: «Тут меня растопчут, тут меня обязательно растопчут...»

Но его не растоптали. Он очнулся уже на мостовой, в стороне от лестницы. Он прижимался щекой к шершавому граниту, над ним светила ртутная лампа, винтовки не было, и тела, кажется, тоже не было, он словно бы висел в пустоте со щекой, прижатой к граниту, а на площади перед ним, как на сцене, разыгрывалась некая диковинная трагедия.

Он увидел, как вдоль цепи фонарей, окаймлявших площадь, вдоль кольца сцепившихся телег и повозок со звоном и лязгом мчится бронеавтомобиль, его пулеметная башня ходит из стороны в сторону, обильно плюясь огнем, светящиеся трассы мечутся по всей площади, а перед броневиком, задрав голову, галопом скачет лошадь, волоча оборванные постромки... И вдруг из гущи телег, наперерез броневику, выкатился фургон, крытый брезентом, лошадь бешено рванулась в сторону и разбилась о фонарный столб, а броневик резко затормозил, его занесло, и тут на открытое пространство выбежал длинный человек в черном, взмахнул рукой и плашмя упал на асфальт. Под броневиком вспыхнуло пламя, раскатился гулкий удар, и железная махина грузно осела назад. Человек в черном уже снова бежал. Он обогнул броневик, сунул что-то в смотровую амбразуру водителя и отскочил в сторону, и тогда Андрей увидел, что это Фриц Гейгер, а амбразура озарилась изнутри, в броневике

грохнуло, и из амбразуры вылетел длинный коптящий язык пламени. Фриц, пригнувшись, на полусогнутых ногах и растопырив длинные, до земли, руки, боком, как краб, двигался вокруг машины, и тут бронированная дверца распахнулась, на асфальт вывалился охваченный пламенем лохматый тюк и с пронзительным воем стал кататься, рассыпая искры...

Потом снова был обморок, словно занавес опустился, и какие-то свирепые голоса, и нечеловеческие визги, и топот множества ног. От горящего броневика несло вонью раскаленного железа и бензина. Фриц Гейгер в окружении толпы людей с белыми повязками на рукавах, возвышаясь над ними на целую голову, выкрикивал команды, резко взмахивал, показывая в разные стороны, длинными руками, лицо и белобрысые растрепанные волосы были у него покрыты копотью. Другие люди с белыми повязками облепили фонари перед входом в мэрию, лезли зачем-то наверх и спускали оттуда, сверху, длинные, мотающиеся под ветром веревки. Кого-то волокли по лестнице, отбивающегося, дрыгающего ногами, кто-то все визжал высоким бабьим голосом так, что закладывало уши, и вдруг лестница вся покрылась народом, замелькали черные бородатые лица, залязгало оружие. Визг прекратился, темное тело поползло вверх вдоль фонарного столба, судорожно дергаясь и извиваясь. Из толпы ударили выстрелы, дергающиеся ноги обмякли, вытянулись, и темное тело начало медленно крутиться в воздухе.

А потом Андрей очнулся уже от ужасной тряски. Голова его моталась на жестких пахучих узлах, он куда-то ехал, везли его куда-то, и знакомый остервенелый голос выкрикивал: «Н-но! Н-но, лярва, т-твою!.. Пошла!» А прямо перед ним на фоне черного неба горела мэрия. Жаркие языки вырывались из окон, сыпали искры в черноту, и видно было, как слегка покачиваются, свешиваясь с фонарных столбов, длинные вытянутые тела.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вымытый и переодетый, с повязкой через правый глаз, Андрей полулежал в кресле и угрюмо смотрел, как дядя Юра и Стась Ковальский, у которого голова была тоже обмотана бинтом, жадно хлебают прямо из кастрюли какое-то дымящееся варево. Заплаканная Сельма сидела рядом с ним, судорожно вздыхала и все пыталась взять его за руку. Волосы ее были растрепаны, краска с ресниц измазала щеки, лицо было опухшее и все горело красными пятнами. И дико выглядел на ней легкомысленный прозрачный халатик, спереди весь мокрый от мыльной воды.

— ...Это он забить тебя хотел, — объяснял Стась, не переставая хлебать. — Нарочно тебя так, понимаешь, аккуратно обрабатывал, чтобы надольше хватило. Я эту штуку знаю, меня голубые гусары тоже вот так же обрабатывали. Только я весь курс, понимаешь, прошел — уже меня ногами топтать стали, да тут, слава божьей матери, оказалось, что я не тот, другого им надо было...

— Нос сломали — это ерунда, — подтверждал дядя Юра. — Нос не это самое... и сломанный сойдет... А ребро... — Он махнул рукой с ложкой. — Я их сколько себе ломал, ребер этих. Главное — кишки целы, печенки-селезенки...

Сельма судорожно вздохнула и снова попыталась взять Андрея за руку. Он посмотрел на нее и сказал:

— Хватит реветь. Поди переоденься, и вообще...

Она послушно встала и вышла в другую комнату. Андрей пошарил во рту языком, нащупал еще что-то твердое и вытолкнул на палец.

— Пломбу выбил, — проговорил он.

— Ну да? — удивился дядя Юра.

Андрей показал. Дядя Юра присмотрелся и покачал головой. Стась тоже покачал головой и сказал:

— Редкий случай. А только я, когда отлеживался, — три месяца, знаешь ли, отлеживался, — так я все больше зубы сплевывал. Баба мне ребра парила каждый день. Умерла потом, а я вот видишь — жив. И хоть бы хрен.

— Три месяца! — сказал дядя Юра с презрением. — Мне когда задницу оторвало под Ельней, я полгода по госпиталям мотался. Это же жуткая вещь, браток, когда ягодицу оторвет. Там, понимаешь, в ягодице, все главные сосуды сплетаются. А мне по касательной как шваркнет болванкой!.. Ребята, спрашиваю, что же это такое, где же задница-то? А мне, веришь, штаны содрало начисто по самые голенища, как не было штанов... в голенищах еще что-то осталось, а сверху — ну ничего!.. — Он облизал ложку. — Федьке Чепареву тогда голову оторвало, — сообщил он. — Той же болванкой и оторвало...

Стась тоже облизал ложку, и некоторое время они сидели молча и глядели в кастрюлю. Потом Стась деликатно кашлянул и снова запустил ложку в пар. Дядя Юра последовал его примеру.

Вернулась Сельма. Андрей взглянул на нее и отвел глаза. Вырядилась, дура. Серьги свои гигантские нацепила, декольте, намазалась опять, как шлюха... Шлюха и есть... Не мог он на нее смотреть, ну ее к черту совсем. Сначала этот срам в прихожей, а потом срам в ванной, когда она, рыдая в

голос, стягивала с него обмоченные трусы, а он глядел на сине-черные пятна у себя на животе и боках и опять плакал — от жалости к себе и от бессилия... И конечно же пьяна, опять пьяна, каждый божий день она пьяна, и сейчас, пока переодевалась, обязательно хлебнула из горлышка...

— Врач этот... — сказал дядя Юра задумчиво. — Ну, лысый этот, который сейчас приходил, — где это я его видел?

— Очень может быть, у нас и видели, — сказала Сельма, улыбаясь обольстительно. — Он в соседнем подъезде живет. Кем он сейчас работает, Андрей?

— Кровельщиком, — мрачно сказал Андрей.

Она напропалую спала с этим лысым доктором, весь дом знал. Он и не скрывался особенно. Да и никто не скрывался, впрочем.

— Как так — кровельщиком? — поразился Стась, не донеся ложку до усов.

— А вот так, — сказал Андрей. — Крыши кроет, баб кроет... — Он с кряхтением поднялся, полез в комод и вытащил сигареты. Опять двух пачек не хватало.

— Баб-то ладно... — ошарашенно бормотал Стась, потряхивая ложкой над кастрюлей. — Крыши-то как? А ежели он сорвется? Врач ведь...

— А они вечно что-нибудь в Городе придумают, — ядовито сказал дядя Юра. Он сунул было ложку за голенище, но спохватился и положил ее на стол. — Это как у нас в Тимофеевке, сразу после войны, прислали в один колхоз председателем грузина, политрука бывшего...

Зазвенел телефон. Сельма взяла трубку.

— Да, — сказала она. — Д-да... Нет, он болен, не может подойти...

— Дай сюда трубку, — сказал Андрей.

— Это из газеты, — сказала Сельма шепотом, прикрывши микрофон ладонью.

Андрей протянул руку.

— Дай трубку! — повторил он, повысив голос. — И не имей привычки за других расписываться!

Сельма отдала ему трубку и схватила пачку сигарет. Руки у нее тряслись, губы — тоже.

— Воронин слушает, — сказал Андрей.

— Андрей? — Это был Кэнси. — Куда ты провалился? Я тебя всюду ищу. Что делать? В городе фашистский переворот.

— Почему — фашистский? — ошеломленно спросил Андрей.

— Ты придешь в редакцию? Или ты правда болен?

— Приду, конечно, приду, — сказал Андрей. — Ты объясни...

— У нас списки, — торопливо проговорил Кэнси. — Спецкоры и все такое прочее... Архивы...

— Понял, — сказал Андрей. — Только почему ты думаешь, что фашистский?

— Я не думаю, я знаю, — нетерпеливо сказал Кэнси.

Андрей стиснул зубы, закряхтел.

— Подожди, — сказал он с раздражением. — Не пори горячку... — Он лихорадочно соображал. — Ладно, ты все подготовь, а я сейчас выхожу.

— Давай, — сказал Кэнси. — Только осторожнее на улицах.

Андрей бросил трубку и повернулся к фермерам.

— Ребята, — сказал он, — ехать надо. Подвезете до редакции?

— Отчего же, подвезем... — отозвался дядя Юра. Он уже поднимался из-за стола, на ходу заклеивая козью ножку. — Давай-ка, Стась, вставай, нечего тут рассиживаться. Мы тут с тобой рассиживаемся, а они там, понимаешь, власть берут.

— Да, — сокрушенно согласился Стась, тоже поднимаясь. — Ерунда какая-то получается. Всю головку вроде бы сняли, всех поперевешали, а солнца все равно ни хрена нет... Еж твою двадцать, куда это я машинку свою сунул?..

Он шарил по всем углам, отыскивая свой уродец-автомат, дядя Юра, попыхивая козьей ножкой, неторопливо натягивал поверх гимнастерки рваный ватник, и Андрей тоже было поднялся одеваться, но натолкнулся на Сельму. Сельма стояла, загораживая ему дорогу, очень бледная и очень решительная.

— Я с тобой! — заявила она тем самым особенным наглым высоким голосом, которым обычно затевала свару.

— Пусти, — сказал Андрей, пытаясь отстранить ее здоровой рукой.

— Я тебя никуда не пущу, — сказала Сельма. — Или ты берешь меня с собой, или ты остаешься дома!

— Уйди с дороги! — заорал Андрей, срываясь. — Тебя только там не хватало, дура!

— Не пу-щу! — сказала Сельма с ненавистью.

Тогда Андрей, не разворачиваясь, но очень сильно ударил ее ладонью по щеке. Наступила тишина. Сельма не шевельнулась, только белое лицо ее с вытянутыми в ниточку губами снова пошло красными пятнами. Андрей опомнился.

— Извини, — сказал он сквозь зубы.

— Не пущу... — повторила Сельма совсем тихо.

Дядя Юра пару раз кашлянул и сказал как бы в сторону:

— Вообще-то в такое время женщине одной в квартире... нехорошо, пожалуй...

— Это точно, — подхватил Стась. — Нехорошо сейчас одной, а с нами никто не тронет, мы — фермеры...

А Андрей все стоял перед Сельмой и смотрел на нее. Он пытался хоть сейчас и хоть что-нибудь понять в этой женщине и, как всегда, ничего не понимал. Она была шлюха, шлюха природная, шлюха божьей милостью — это он понимал. Это он понял давно. Она любила его, полюбила с первого же дня — это он тоже знал, и знал, что это нисколько ей не мешает. И одной в квартире остаться сейчас ей было все равно что плюнуть, она вообще никогда ничего не боялась. Это тоже ему было прекрасно известно. Все в отдельности о себе и о ней он знал и понимал, а вот все вместе...

— Ладно, — сказал он. — Одевайся.

— Ребра-то болят? — осведомился дядя Юра, стремясь увести разговор куда-нибудь подальше в сторону.

— Ничего, — буркнул Андрей. — Терпеть можно. Перетопчемся.

Стараясь ни с кем не встречаться глазами, он сунул в карман сигареты, спички и остановился перед буфетом, где в самом дальнем углу под грудой салфеток и полотенец лежал у него пистолет Дональда. Брать или не брать? Он представил себе разные сцены и обстоятельства, в которых пистолет мог бы пригодиться, и решил не брать. Ну его к черту, обойдусь как-нибудь. Воевать я, во всяком случае, ни с кем не собираюсь...

— Ну, пошли, что ли? — сказал Стась.

Он уже стоял у двери и осторожно продевал перебинтованную голову в ремень автомата. Сельма стояла рядом с ним в длинном своем грубом свитере, который она натянула прямо поверх декольте. На руке у нее был плащ.

— Пошли, — скомандовал дядя Юра, громыхнув об пол прикладом пулемета.

— Серьги сними, — буркнул Андрей Сельме и вышел на лестницу.

Они стали спускаться. На лестничных площадках шушукались в темноте жильцы, испуганно замолкали и сторонились, различив вооруженных людей. Кто-то сказал: «Это Воронин...» — и сейчас же окликнул:

— Господин редактор, вы не скажете, что в городе происходит?

Андрей не успел ничего ответить, потому что на спрашивающего зашикали со всех сторон, а кто-то зловещим шепотом проговорил: «Не видишь, дурак, повели человека!..» Сельма истерически хихикнула.

Они вышли во двор, погрузились в телегу, и Сельма накинула на плечи

Андрея плащ. Дядя Юра вдруг сказал: «Тихо!» — и все стали прислушиваться.

— Палят где-то, — негромко сказал Стась.

— Длинными очередями, — добавил дядя Юра. — Не жалеют боеприпаса... И где они его берут? Десяток патронов — пол-литра самогонки, а он — во как чешет... Н-но! — заорал он. — Застоялась!

Телега с грохотом вкатилась под арку. На ступенях дворницкой стоял с метлой и совком маленький Ван.

— Гляди-ка — Ваня! — воскликнул дядя Юра. — Тпр-р-р! Здорово, Ваня! Ты что здесь, а?

— Подметаю, — отозвался Ван, улыбаясь. — Здравствуйте.

— Брось, брось подметать! — сказал дядя Юра. — Что ты, в самом деле! Поехали с нами, мы тебя министром, понимаешь, сделаем, в чесуче ходить будешь, на «Победе» раскатывать!

Ван вежливо засмеялся.

— Ладно, дядя Юра, — нетерпеливо сказал Андрей. — Поехали, поехали!..

У него сильно болел бок, в телеге сидеть было неудобно, и он уже жалел, что не пошел пешком. Незаметно для себя он привалился к Сельме.

— Ну ладно, Ваня, не хочешь — не надо, — решил дядя Юра. — Но насчет министра — приготовься! Причешись, понимаешь, шею помой... — Он взмахнул вожжами. — Н-но!

С грохотом выкатились на Главную.

— А чья это телега, не знаешь? — спросил вдруг Стась.

— Хрен его знает, — отозвался дядя Юра, не оборачиваясь. — Лошадь вроде бы этого крохобора... ну, по-над самым обрывом живет, рыжий такой, конопатый... канадец, что ли...

— Ну? — сказал Стась. — Во матерится, наверное.

— Нет, — сказал дядя Юра. — Убили его.

— Ну? — сказал Стась и замолчал.

Главная улица была пуста и затянута тяжелым ночным туманом, хотя по часам было пять пополудни. Впереди туман имел красноватый оттенок и беспокойно мерцал. Время от времени там ярко вспыхивали пятна белого света — то ли прожектора, то ли мощные фары, — и оттуда, глухо сквозь туман, перекрывая иногда грохот колес и перестук копыт, доносилась пальба. Что-то там происходило.

В домах по сторонам улицы многие окна были освещены, однако большей частью только в верхних этажах, выше второго. Очередей возле запертых магазинов и лавок не было, но Андрей заметил, что в некоторых

подворотнях и подъездах стоит народ — осторожно выглядывают, снова прячутся, а самые отчаянные выходят на тротуар и смотрят туда, где мерцает и трещит в тумане. Кое-где на мостовой неподвижно лежали какие-то словно бы темные мешки. Андрей не сразу понял, что это, и только через некоторое время с удивлением убедился, что это мертвые павианы. В скверике возле темной школы паслась одинокая лошадь.

Телега грохотала и тряслась, все молчали. Сельма тихонько нащупала руку Андрея, и он, отдавшись боли и усталости, совсем привалился к ее теплому свитеру и закрыл глаза. Плохо мне, думал он. Ох и плохо... Что это Кэнси там горячку порет, какой там еще фашистский переворот?.. Просто остервенели все от страха, от злости, от безнадежности... Эксперимент есть Эксперимент...

Тут вдруг телегу дернуло, и сквозь грохот колес послышался такой дикий и пронзительный визг, что Андрей тут же очнулся, мгновенно весь покрывшись потом, выпрямился и очумело завертел головой.

Дядя Юра ожесточенно матерился, изо всех сил натягивая вожжи, чтобы удержать лошадь, рвущуюся куда-то вбок, а слева по тротуару, испуская нечеловеческие и в то же время совсем человеческие, полные боли и ужаса визги, неслось что-то горящее, какой-то комок пламени, оставляя за собой брызги огня, и прежде, чем Андрей успел опомниться, понять, Стась ловко соскочил с телеги и от живота, в две коротких очереди срезал из автомата этот живой факел — только стекла зазвенели в какой-то витрине. Огненный комок, кувыркаясь, прокатился по тротуару, жалобно пискнул в последний раз и замер.

— Отмучился, бедняга, — сказал Стась хрипло, и Андрей наконец понял, что это был павиан, горящий павиан. Чушь какая-то... Теперь он лежал, свесившись с тротуара, продолжая медленно гореть, и тяжелый смрад распространялся от него по улице.

Дядя Юра снова тронул лошадь, телега покатилась, и Стась пошел рядом, положив руку на дощатый борт. Андрей, вытягивая шею, смотрел вперед, в мерцающий, сделавшийся очень светлым и розовым туман. Да, что-то там происходило, что-то совершенно непонятное — какой-то вой доносился оттуда, стрельба, рокот моторов, и время от времени яркие малиновые вспышки возникали там и сейчас же гасли.

— Слышь, Стась, — сказал вдруг дядя Юра, не оборачиваясь. — Сбегай-ка, браток, вперед, глянь, что там делается. А я за тобой потихонечку-полегонечку...

— Ладно, — сказал Стась и, взяв свой чудо-автомат под мышку, трусцой побежал вперед, держась стены дома. Очень скоро его не стало

видно в мерцающем тумане, а дядя Юра все придерживал и придерживал лошадь, пока она совсем не остановилась.

— Сядь поудобнее, — шепнула Сельма.

Андрей дернул плечом.

— Да ничего такого не было, — продолжала шептать Сельма. — Это же управляющий был, он по всем квартирам ходил, спрашивал, не прячет ли кто оружие...

— Замолчи, — сказал Андрей сквозь зубы.

— Честное слово, — шептала Сельма. — Он же только на одну минутку зашел, он уже уходить собирался...

— Так без штанов и собирался? — холодно осведомился Андрей, отчаянно пытаясь отогнать отвратительное воспоминание: он, обессиленно вися на дяде Юре и Стасе, смотрит в прихожей собственной квартиры на какого-то белоглазого коротышку, воровато запахивающего халат, из-под которого виднеются фланелевые кальсоны. И отвратительно невинное, пьяное лицо Сельмы из-за плеча коротышки. И как выражение невинности сменяется на этом лице испугом, а потом — отчаянием.

— Но он же так и ходил по квартирам — в халате! — шептала Сельма.

— Слушай, заткнись, — сказал Андрей. — Заткнись, ради бога. Я тебе не муж, ты мне не жена, какое мне до всего этого дело?..

— Но я же тебя люблю, хороший мой! — шептала Сельма с отчаянием. — Только одного тебя...

Дядя Юра гулко закашлялся.

— Едет кто-то, — произнес он.

В тумане впереди возник огромный темный силуэт, надвинулся, приближаясь, вспыхнули фары — это был грузовик, мощный самосвал. Клокоча мотором, он остановился шагах в двадцати от телеги. Послышался крикливый голос, подающий команды, какие-то люди полезли через борта и понуро разбрелись по мостовой. Хлопнула дверца, еще одна темная фигура отделилась от грузовика, постояла немного, а потом неторопливо направилась прямо к телеге.

— Сюда идет, — сообщил дядя Юра. — Ты, это, Андрей... ты в разговоры не ввязывайся. Я говорить буду.

Человек подошел к телеге. Это был, видимо, так называемый милиционер в кургузом пальтишке с белыми повязками на рукавах. На плече у него, дулом вниз, висела винтовка.

— А, фермеры, — сказал милиционер. — Здорово, ребята.

— Здорово, если не шутишь, — откликнулся дядя Юра, помолчав.

Милиционер помялся, покрутил головой, как бы в нерешительности,

потом сказал стеснительно:

— Хлебца на продажу нету?

— Хлебца тебе, — сказал дядя Юра.

— Ну, может, мясо есть, картошечка...

— Картошки тебе, — сказал дядя Юра.

Милиционер совсем застеснялся, шмыгнул носом, вздохнул, посмотрел в сторону своего грузовика и вдруг с каким-то облегчением заорал: «Да вон, вон еще валяется! Задницы слепые! Вон горелое лежит!», после чего сорвался с места и, шумно топая плоскостопыми ногами, убежал по мостовой. Видно было, как он размахивает руками и распоряжается, а понурые люди, слабо и невнятно огрызаясь, волокут что-то темное, с натугой раскачивают и швыряют в ковш самосвала.

— Картошки ему, — ворчал дядя Юра. — Мяса!..

Грузовик тронулся и проехал мимо, совсем рядом. От него ужасно понесло паленой шерстью и горелым мясом. Ковш был загружен доверху, жуткие скрюченные силуэты проплыли на фоне слабо освещенной стены дома, и вдруг Андрей почувствовал, что у него мороз пошел по коже: из этой жуткой груды, явственно белея, торчала человеческая рука с растопыренными пальцами. Понурые люди в ковше, хватаясь друг за друга и за борта, толпились возле кабины. Их было человек пять-шесть, какие-то приличного вида люди в шляпах.

— Похоронная команда, — сказал дядя Юра. — Это правильно. Сейчас их на свалку, и — вася-кот... Эге, а вон и Стась нам машет! Н-но!

В освещенном тумане впереди виднелась длинная нескладная фигура Стася. Когда телега поравнялась с ним, дядя Юра вдруг наклонился с передка, вглядываясь, и почти с испугом спросил:

— Ты что это, браток? Что это с тобой?

Стась, не отвечая, попытался вспрыгнуть на телегу боком, сорвался, громко скрипнул зубами, потом взялся обеими руками за борт и принялся что-то бормотать сдавленным голосом.

— Что он? — спросила Сельма шепотом.

Телега медленно катилась туда, где все громче рокотали моторы и хлопали выстрелы, а Стась, держась руками за телегу, шел рядом, словно не в силах взобраться, пока дядя Юра, наклонившись, не втащил его на передок.

— Да ты что? — в голос, громко спросил дядя Юра. — Ехать-то можно? Да говори ты толком, что ты болбочешь?

— Матерь божья, — сказал Стась ясным голосом. — Да зачем же они это делают? Это кто же такое приказал?

— Тпр-р-р! — сказал дядя Юра на весь город.

— Нет, ты ехай, ехай, — сказал Стась. — Ехать можно. Смотреть только не надо... Пани, — он повернулся к Сельме, — вам смотреть совсем не надо, отвернитесь, вон туда смотрите... а лучше вообще не смотрите.

У Андрея перехватило горло, он поглядел на Сельму и увидел ее расширенные, на все лицо глаза.

— Давай, Юра, давай... — бормотал Стась. — Да гони ты ее, стерву, что ты плетешься! Быстро ехай! — заорал он. — Вскачь! Вскачь!..

Лошадь помчалась вскачь, дома слева кончились, туман вдруг отступил, рассеялся, и открылся Павианий бульвар — источник шума, несомненно, находился здесь. Шеренга грузовиков с двигателями, работающими вхолостую, охватывала бульвар полукольцом. В грузовиках и между грузовиками стояли люди с белыми повязками, а по бульвару среди горящих деревьев и кустов бегали с воплями и визгами люди в полосатых пижамах и совершенно обезумевшие павианы. Все они спотыкались, падали, карабкались на деревья, срывались с ветвей, пытались спрятаться в кустах, а люди с белыми повязками стреляли, не переставая, из винтовок и пулеметов. Множество неподвижных тел усеивало бульвар, некоторые дымились и тлели. С одного из грузовиков с длинным шипением излилась огненная струя, клубящаяся черным дымом, и еще одно дерево, облепленное черными гроздьями обезьян, вспыхнуло огромным факелом. И кто-то завопил нестерпимо высоким фальцетом, перекрывая все шумы: «Я здоровый! Это ошибка! Я нормальный! Это ошибка!..»

Все это, трясясь и подпрыгивая, отдаваясь острой болью в ребрах, опалив жаром и обдав вонью, оглушив и ударив по глазам, пронеслось мимо и через минуту осталось позади, мерцающий туман вновь сомкнулся, но дядя Юра еще долго гнал лошадь, отчаянно гикая и размахивая вожжами. Это черт знает что, тупо твердил про себя Андрей, обессиленно привалившись к Сельме. Это же черт знает что такое! Они же сумасшедшие, они ополоумели от крови... Безумцы овладели Городом, кровавые безумцы овладели, теперь всему конец, они же не остановятся, они же потом возьмутся за нас...

Телега вдруг остановилась.

— Ну нет, — сказал дядя Юра, поворачиваясь всем телом. — Это дело надо того... — Он пошарил в телеге среди мешков, достал большую бутылку, зубами вытащил пробку, сплюнул и принялся глотать прямо из горлышка. Потом он передал бутылку Стасю, вытер рот и сказал: — Истребляете, значит... Эксперимент... Ладно. — Он достал из нагрудного кармана свернутую газету, аккуратно оторвал угол и полез за табаком. —

Круто берете. Ох, круто! Крутенько!..

Стась протянул бутылку Андрею, Андрей помотал головой. Сельма взяла бутылку, отхлебнула два раза и вернула Стасю. Все молчали. Дядя Юра дымил и трещал цигаркой, бурчал горлом, как огромный пес, потом вдруг повернулся и разобрал вожжи.

До поворота на Стульчаковый оставался всего один квартал, когда туман впереди снова озарился светом и послышался нестройный шум многих голосов. На перекрестке, прямо посредине улицы, освещенная прожекторными лампами, кишела, гудела и колыхалась огромная толпа. Перекресток был забит, проехать было невозможно.

— Митинг какой-то, — сказал дядя Юра, обернувшись.

— Это уж как водится, — уныло согласился Стась. — Если уж взялись расстреливать, значит, тут же и митинги... Объехать никак нельзя?

— Погоди, браток, а зачем нам объезжать? — сказал дядя Юра. — Надо послушать, что люди говорят. Может, насчет солнца чего скажут... Гляди, здесь наших полно.

Гул затих, и над толпой, усиленный микрофонами, раздался надсадный яростный голос:

— ...И еще раз повторяю: беспощадно! Мы очистим Город!.. от грязи!.. от нечисти!.. от всех и всяческих тунеядцев!.. Воров — на фонарь!..

— А-а-а! — проревела толпа.

— Взяточников — на фонарь!..

— А-а-а!

— Кто выступает против народа, будет висеть на фонаре!

— А-а-а!

Теперь Андрей разглядел говорившего. В самом центре толпы возвышался клепаный борт какой-то военной машины, а над бортом, вцепившись в него обеими руками, озаренный голубым светом прожектора, качался взад-вперед всем своим длинным, затянутым в черное туловищем и разевал в крике запекшийся рот бывший унтер-офицер вермахта, а ныне руководитель партии Радикального возрождения Фридрих Гейгер.

— И это будет только начало! Мы установим в Городе наш, истинно народный, истинно человеческий порядок! Нам нет дела до всяких там Экспериментов! Мы не морские свинки! Мы не кролики! Мы — люди! Наше оружие — разум и совесть! Мы никому не позволим! Распоряжаться нашей судьбой! Мы сами распорядимся нашей судьбой! Судьба народа — в руках народа! Судьба людей — в руках людей! Народ доверил свою судьбу мне! Свои права! Свое будущее! И я клянусь! Я оправдаю это доверие!..

— А-а-а!

— Я буду беспощаден! Во имя народа! Я буду жесток! Во имя народа! Я не допущу никакой розни! Хватит борьбы между людьми! Никаких коммунистов! Никаких социалистов! Никаких капиталистов! Никаких фашистов! Хватит бороться друг с другом! Будем бороться друг ЗА друга!..

— А-а-а!

— Никаких партий! Никаких национальностей! Никаких классов! Каждого, кто проповедует рознь, — на фонарь!

— А-а-а!

— Если бедные будут продолжать драться против богатых! Если коммунисты будут продолжать драться против капиталистов! Если черные будут продолжать драться против белых! Нас растопчут! Нас уничтожат!.. Но если мы! Встанем плечом к плечу! Сжимая в руках оружие! Или отбойный молоток! Или рукоятки плуга! Тогда не найдется такой силы, которая могла бы нас сокрушить! Наше оружие — единство! Наше оружие — правда! Какой бы тяжелой она ни была! Да, нас заманили в ловушку! Но, клянусь богом, зверь слишком велик для этой ловушки!..

— А! — рявкнула было толпа и ошеломленно смолкла. Вспыхнуло солнце.

Впервые за двенадцать дней вспыхнуло солнце, запылало золотым диском на своем обычном месте, ослепило, обожгло серые выцветшие лица, нестерпимо засверкало в стеклах окон, оживило и зажгло миллионы красок — и черные дымы над дальними крышами, и пожухлую зелень деревьев, и красный кирпич под обвалившейся штукатуркой...

Толпа дико взревела, и Андрей завопил вместе со всеми. Творилось что-то невообразимое. Летели в воздух шапки, люди обнимались, плакали, кто-то принялся палить в воздух, кто-то в диком восторге швырял кирпичами в прожектора, а Фриц Гейгер, возвышаясь над всем этим, как Господь Бог, сказавший «да будет свет», длинной черной рукой указывал на солнце, выкатив глаза и гордо задрав подбородок. Потом голос его снова возник над толпой.

— Вы видите?! Они уже испугались! Они дрожат перед вами! Перед нами! Поздно, господа! Поздно! Вы снова хотите захлопнуть ловушку? Но люди уже вырвались из нее! Никакой пощады врагам человечества! Спекулянтам! Тунеядцам! Расхитителям народного добра! Солнце снова с нами! Мы вырвали его из черных лап! Врагов человечества! И мы больше никогда! Не отдадим его! Никогда! И никому!..

— А-а-а!

Андрей опомнился. Стася в телеге не было. Дядя Юра, широко расставив ноги, стоял на передке, потрясал пулеметом и, судя по

налившемуся кровью затылку, тоже ревел нечленораздельное. Сельма плакала, колотя Андрея кулачками по спине.

Ловко, холодно подумал Андрей. Тем хуже для нас. Чего я тут сижу? Мне бежать надо, а я сижу... Преодолевая боль в боку, он поднялся и выпрыгнул из телеги. Вокруг ревела и шевелилась толпа. Андрей полез напролом. Первое время он еще берегся, пытался защититься локтями, да разве в такой каше убережешься!.. Покрытый потом от боли и подступающей тошноты, он лез, толкался, наступал на ноги, даже бодался и наконец выбрался-таки в Стульчаковый переулок. И все это время вдогонку ему гремел голос Гейгера:

— Ненависть! Ненависть поведет нас! Хватит фальшивой любви! Хватит иудиных поцелуев! Предателей человечества! Я сам подаю пример святой ненависти! Я взорвал броневик кровавых жандармов! У вас на глазах! Я приказал повесить воров и гангстеров! У вас на глазах! Я железной метлой выметаю нечисть и нелюдей из нашего Города! У вас на глазах! Я не жалел себя! И я получил священное право не жалеть других!..

Андрей ткнулся в подъезд редакции. Дверь была заперта. Он злобно ударил в нее ногой, задребезжали стекла. Он принялся стучать изо всех сил, шепча ужасные ругательства. Дверь отворилась. На пороге стоял Наставник.

— Входи, — сказал он, посторонившись.

Андрей вошел. Наставник запер за ним дверь на засов и повернулся. Лицо у него было мучнисто-бледное, с темными кругами под глазами, и он то и дело облизывал губы. У Андрея сжалось сердце — никогда раньше он не видел Наставника в таком подавленном состоянии.

— Неужели все так плохо? — спросил Андрей упавшим голосом.

— Да уж... — Наставник бледно улыбнулся. — Уж чего тут хорошего.

— А солнце? — сказал Андрей. — Зачем вы его выключали?

Наставник стиснул руки и прошелся взад-вперед по вестибюлю.

— Да не выключали мы его! — проговорил он с тоской. — Авария. Вне всякого плана. Никто не ожидал.

— Никто не ожидал... — повторил Андрей с горечью. Он стянул плащ и бросил его на пыльный диван. — Если б не выключилось солнце, ничего бы этого не было...

— Эксперимент вышел из-под контроля, — пробормотал Наставник, отвернувшись.

— Вышел из-под контроля... — снова повторил Андрей. — Вот уж никогда не думал, что Эксперимент может выйти из-под контроля.

Наставник посмотрел на него исподлобья.

— Н-ну... В известном смысле ты прав... Можно смотреть на это и таким образом... Вышедший из-под контроля Эксперимент — это тоже Эксперимент. Возможно, кое-что придется несколько изменить... заново откорректировать. Так что ретроспективно — ретроспективно! — эта тьма египетская будет рассматриваться уже как неотъемлемая, запрограммированная часть Эксперимента.

— Ретроспективно... — еще раз повторил Андрей. Глухая злоба охватила его. — А что вы теперь прикажете делать нам? Спасаться?

— Да. Спасаться. И спасать.

— Кого спасать?

— Всех, кого можно спасти. Все, что еще можно спасти. Ведь не может же быть, чтобы некого и нечего было спасать!

— Мы будем спасаться, а Фриц Гейгер будет проводить Эксперимент?

— Эксперимент остался Экспериментом, — возразил Наставник.

— Ну да, — сказал Андрей. — От павианов до Фрица Гейгера.

— Да. До Фрица Гейгера, и через Фрица Гейгера, и невзирая на Фрица Гейгера. Не пускать же из-за Фрица Гейгера пулю в лоб! Эксперимент должен продолжаться... Жизнь ведь продолжается, несмотря ни на какого Фрица Гейгера. Если ты разочаровался в Эксперименте, то подумай о борьбе за жизнь...

— О борьбе за существование, — криво усмехнувшись, проговорил Андрей. — Какая уж теперь жизнь!

— Это будет зависеть от вас.

— А от вас?

— От нас мало что зависит. Вас много, вы все здесь решаете, а не мы.

— Раньше вы говорили по-другому, — сказал Андрей.

— Раньше и ты был другой! — возразил Наставник. — И тоже говорил по-другому!

— Боюсь, что я свалял дурака, — медленно проговорил Андрей. — Боюсь, что я был просто глуп.

— Боишься ты не только этого, — с каким-то лукавством заметил Наставник.

У Андрея замерло сердце, как это бывает, когда падаешь во сне. И он грубо сказал:

— Да, боюсь. Всего боюсь. Пуганая ворона. Вас когда-нибудь били сапогом в промежность?.. — Новая мысль пришла ему в голову. — Да вы ведь и сами побаиваетесь? А?

— Конечно! Я же говорю тебе, что Эксперимент вышел из-под контроля...

— Э, бросьте! Эксперимент, Эксперимент... Не в Эксперименте дело. Сначала павианов, потом — нас, а потом и вас, так ведь?..

Наставник ничего не ответил. Самое ужасное заключалось в том, что Наставник не сказал на это ни слова. Андрей все ждал, но Наставник только молча бродил по вестибюлю, бессмысленно передвигал с места на место кресла, стирал рукавом пыль со столиков и даже не глядел на Андрея.

В дверь постучали — сначала кулаком, а потом сразу стали бить ногой. Андрей отодвинул засов — перед ним стояла Сельма.

— Ты меня бросил! — сказала она возмущенно. — Я еле пробилась!

Андрей стесненно оглянулся. Наставник исчез.

— Извини, — проговорил Андрей. — Мне было не до тебя.

Ему было трудно говорить. Он старался подавить в себе ужас от одиночества и ощущения беззащитности. Он с дребезгом захлопнул дверь и торопливо задвинул засов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Редакция была пуста. Видимо, сотрудники разбежались, когда началась пальба около мэрии. Андрей проходил по комнатам, равнодушно оглядывая разбросанные бумаги, опрокинутые стулья, неопрятную посуду с остатками бутербродов и чашки с остатками кофе. Из глубины редакции доносилась громкая бравурная музыка, это было странно. Сельма тащилась следом, держа его за рукав. Она все говорила что-то, что-то сварливое, но Андрей ее не слушал. Зачем я сюда приперся, думал он. Все же удрали, дружно, как один, и правильно сделали, сидел бы сейчас дома, лежал бы в постели, гладил бы свой несчастный бок и дремал, и наплевать на все...

Он вошел в отдел городской хроники и увидел Изю.

Сначала он не понял, что это Изя. За дальним, в углу, столом, согнувшись над раскрытой подшивкой, стоял, упираясь широко расставленными руками, неряшливо, ступеньками остриженный посторонний человек в подозрительной серой хламиде без пуговиц, и только через мгновение, когда человек этот вдруг знакомо осклабился и принялся знакомым жестом щипать себя за бородавку на шее, Андрей понял, что перед ним Изя.

Некоторое время Андрей стоял в дверях и смотрел на него. Изя не слышал, как он вошел. Изя вообще ничего не слышал и не замечал — во-первых, он читал, а во-вторых, прямо у него над головой висел

репродуктор, и оттуда неслись громовые бряцания победного марша. Потом Сельма ужасно завопила: «Да ведь это же Изя!» — и ринулась вперед, оттолкнув Андрея.

Изя быстро поднял голову и, осклабившись еще шире, распахнул руки.

— Ага! — заорал он радостно. — Явились!..

Пока он обнимался с Сельмой, пока звучно и с аппетитом чмокал ее в щеки и в губы, пока Сельма вопила что-то неразборчивое и восторженное и ерошила его уродливые волосы, Андрей приблизился к ним, стараясь побороть в себе острую мучительную неловкость. Режущее чувство вины и предательства, которое едва не свалило его с ног в то утро в подвале, за последний год притупилось и почти забылось, но сейчас снова пронзило его, и он, приблизившись, несколько секунд колебался, прежде чем рискнул протянуть руку. Он нашел бы совершенно естественным, если бы Изя не заметил этой его руки или даже сказал бы что-нибудь презрительное и уничтожающее — сам он наверняка поступил бы именно так. Но Изя, освободившись от объятий Сельмы, с жаром схватил его руку, пожал и с огромным интересом спросил:

— Где это тебя так разукрасили?

— Побили, — кратко ответил Андрей. Изя поразил его. Хотелось очень много ему сказать, но он спросил только: — А ты откуда здесь взялся?

Вместо ответа Изя перебросил несколько страниц подшивки и, преувеличенно жестикулируя, прочел с пафосом:

— «...Никакими доводами разума невозможно объяснить ту ярость, с которой правительственная пресса нападает на партию Радикального возрождения. Но если мы вспомним, что именно эрвисты — эта крошечная молодая организация — наиболее бескомпромиссно выступают против каждого случая коррупции...»

— Брось, — сморщившись сказал Андрей, но Изя только повысил голос:

— «...беззакония, административной глупости и беспомощности; если мы вспомним, что именно эрвисты подняли «дело вдовы Баттон»; если мы вспомним, что эрвисты первыми предупредили правительство о бесперспективности болотного налога...» Белинский! Писарев! Плеханов! Ты сам это сочинил или твои идиотики?

— Ладно, ладно... — сказал Андрей, уже раздражаясь, и попытался отнять у Изи подшивку.

— Нет, погоди! — кричал Изя, грозя пальцем и таща подшивку к себе. — Вот тут еще один перл!.. Где это? Вот. «Наш Город богат честными

людьми, как и всякий город, населенный тружениками. Однако если говорить о политических группировках, то разве что лишь Фриц Гейгер может претендовать на высокое звание...»

— Хватит! — заорал Андрей, но Изя вырвал у него подшивку, забежал за ликующую Сельму и, шипя и брызгаясь, продолжал оттуда:

— «...Не будем говорить о речах, будем говорить о делах! Фридрих Гейгер отказался от поста министра информации; Фридрих Гейгер голосовал против закона, предусматривающего крупные льготы для заслуженных деятелей прокуратуры; Фридрих Гейгер был единственным видным деятелем, возражающим против создания регулярной армии, в которой ему предлагалась высокая должность...» — Изя зашвырнул подшивку под стол и принялся потирать руки. — Ты всегда был потрясающим ослом в политике! Но за эти последние месяцы ты поглупел просто катастрофически. Поделом тебе начистили чайник! Глаз-то хоть цел?

— Глаз цел, — медленно сказал Андрей. Он только сейчас заметил, что Изя как-то неловко двигает левой рукой и три пальца на этой руке у него не сгибаются вовсе.

— Да выключи ты его к чертовой матери! — заорал Кэнси, появляясь в дверях. — А, Андрей, ты уже здесь... Это хорошо. Здравствуй, Сельма! — Он стремительно пересек комнату и вырвал вилку репродуктора из розетки.

— Зачем? — закричал Изя. — Я хочу слышать речи моих вождей! Пусть гремят боевые марши!..

Кэнси только бешено глянул на него.

— Андрей, пойдем, я тебе расскажу, что мы сделали, — сказал он. — И нужно подумать, что делать дальше.

Лицо и руки его были покрыты копотью. Он устремился в глубь редакции, и Андрей пошел за ним. Только сейчас он почувствовал, что в помещениях основательно попахивает горелой бумагой. Изя с Сельмой шли позади.

— Всеобщая амнистия! — шипя и булькая, повествовал Изя. — Великий вождь открыл двери узилищ! Ему понадобилось место для других заключенных... — Он заухал и застонал. — Всех уголовников выпустили до единого, а я ведь, как известно, уголовник! Даже бессрочников выпустили...

— Худой стал, — говорила Сельма с жалостью. — Все на тебе висит, облезлый ты сделался какой-то...

— Так ведь последние дни — три дня — ни жрать не давали, ни умываться...

— Так ты, наверное, есть хочешь?

— Да нет, ни черта, я тут нажрался...

Они вошли в кабинет Андрея. Здесь стояла ужасающая жара. Солнце било прямо в стекла, и жарко пылал камин. Перед камином сидела на корточках шлюшка-секретарша, тоже чумазая, как и Кэнси, и старательно ворочала кочергой в груде горящей бумаги. Все в кабинете было покрыто копотью и черными клочьями бумажного пепла.

Увидев Андрея, секретарша вскочила и улыбнулась ему испуганно и заискивающе. Вот уж не ожидал, что она останется, подумал Андрей. Он сел за свой стол и виновато, через силу, покивал ей и улыбнулся в ответ.

— ...Списки всех спецкоров, списки и адреса членов редколлегии, — деловито перечислял Кэнси. — Оригиналы всех политических статей, оригиналы еженедельных обзоров...

— Статьи Дюпена надо сжечь, — сказал Андрей. — Он у нас был главный антиэрвист, по-моему...

— Уже сжег, — нетерпеливо сказал Кэнси. — И Дюпена, и на всякий случай Филимонова...

— Что вы суетитесь? — сказал Изя весело. — Да ведь вас на руках носить будут!

— Это как сказать, — мрачно проговорил Андрей.

— Да чего там «как сказать»? Хочешь пари? На сто щелбанов!

— Да подожди, Изя! — сказал Кэнси. — Заткнись ты, ради бога, хоть на десять минут!.. Всю переписку с мэрией я уничтожил, а переписку с Гейгером пока оставил...

— Протоколы редколлегии! — спохватился Андрей. — За прошлый месяц...

Он торопливо полез в нижний ящик стола, достал папку и протянул ее Кэнси. Тот, скривившись, перебросил несколько листков.

— Да-а-а... — сказал он, качая головой. — Это я забыл... Вот как раз выступление Дюпена... — Он шагнул к камину и швырнул папку в огонь. — Перемешивайте, перемешивайте! — раздраженно приказал он секретарше, которая слушала начальство, приоткрывши рот.

В дверях появился заведующий отделом писем, потный и очень возбужденный. На руках перед собой он тащил кипу каких-то папок, прижимая их сверху подбородком.

— Вот... — пропыхтел он, с грохотом сваливая кипу возле камина. — Тут какие-то социологические опросы, я даже разбираться не стал... Вижу — фамилии, адреса... Господи, шеф, что с вами?

— Привет, Денни, — сказал Андрей. — Спасибо, что вы остались.

— Глаз цел? — спросил Денни, вытирая со лба пот.

— Цел, цел... — успокоил его Изя. — Вы все не то уничтожаете, — объявил он. — Вас ведь никто не тронет: вы — желтоватая оппозиционная либеральная газетка. Вы просто перестанете быть оппозиционными и либеральными...

— Изя, — сказал Кэнси. — Я тебя в последний раз прошу: перестань трепаться, иначе я тебя выкину вон.

— Да не треплюсь я! — сказал Изя с досадой. — Дай кончить! Вы письма, письма уничтожайте! Вам же писали, наверное, умные люди...

Кэнси воззрился на него.

— Ч-черт! — прошипел он и выскочил из кабинета. Денни устремился следом, продолжая на ходу вытирать лицо и шею.

— Ничего не понимаете! — сказал Изя. — Вы же тут все — кретины. А опасность грозит только умным людям.

— Что кретины — то кретины... — сказал Андрей. — Это ты прав.

— Ага! Умнеешь! — воскликнул Изя, размахивая искалеченной рукой. — Зря. Это опасно! Вот в этом-то и заключается вся трагедия. Сейчас очень много людей поумнеет, но поумнеет недостаточно. Они не успеют понять, что сейчас надо как раз притворяться дурачком...

Андрей посмотрел на Сельму. Сельма глядела на Изю с восторгом. И секретарша тоже глядела на Изю с восторгом. А Изя стоял, расставив ноги в тюремных башмаках, небритый, грязный, расхлюстанный, рубашка из штанов вылезла, на ширинке не хватало пуговиц, — стоял во всей своей красе, такой же, как всегда, нисколечко не изменившийся, — и разглагольствовал, и поучал. Андрей вылез из-за стола, подошел к камину, присел рядом с секретаршей и, отобрав у нее кочергу, принялся ворошить и перекапывать неохотно горящую бумагу.

— ...А поэтому, — поучал Изя, — уничтожать надо вовсе не просто те бумаги, где ругают нашего вождя. Ругать тоже можно по-разному. Уничтожать же надо бумаги, написанные умными людьми!..

В кабинет просунулся Кэнси и крикнул:

— Слушайте, помог бы кто-нибудь... Девочки, что вы здесь зря околачиваетесь, а ну идите за мной!

Секретарша сейчас же вскочила и, на ходу поправляя перекрутившуюся юбчонку, выбежала вон. Сельма постояла, словно ожидая, что ее остановят, потом вдавила окурок в пепельницу и тоже вышла.

— ...А вас никто не тронет! — продолжал разглагольствовать Изя, ничего не видя и не слыша, как глухарь на току. — Вас еще поблагодарят, подбросят вам бумаги, чтобы вы повысили тираж, повысят вам оклады и

расширят штат... И только потом, если вам вздумается вдруг брыкаться, только тогда вас возьмут за штаны и уж тут несомненно припомнят вам все — и вашего Дюпена, и вашего Филимонова, и все ваши либерально-оппозиционные бредни... Но только зачем вам брыкаться? Вы и не подумаете брыкаться, наоборот!..

— Изя, — сказал Андрей, глядя в огонь. — Почему ты тогда не сказал мне, что у тебя было в папке?

— Что?.. В какой папке?.. Ах, в той...

Изя вдруг как-то сразу притих, подошел к камину и присел рядом с Андреем на корточки. Некоторое время они молчали. Потом Андрей сказал:

— Конечно, я был тогда ослом. Полнейшим болваном. Но ведь сплетником-то и трепачом я уж никак не был. Это уж ты должен был тогда понять...

— Во-первых, ты не был болваном, — сказал Изя. — Ты был хуже. Ты был оболваненный. С тобой ведь по-человечески разговаривать было нельзя. Я знаю, я ведь и сам долгое время был таким... А потом — при чем тут сплетни? Такие вещи, согласись, простым гражданам знать ни к чему. Этак все, к чертовой матери, вразнос может пойти...

— Что? — сказал Андрей растерянно. — Из-за твоих любовных записочек?..

— Каких любовных записочек?

Некоторое время они изумленно глядели друг другу в глаза. Потом Изя осклабился:

— Господи, ну конечно же... С чего это я взял, что он тебе все это расскажет? Зачем это ему — рассказывать? Он же у нас орел, вождь! Кто владеет информацией, тот владеет миром, — это он хорошо у меня усвоил!..

— Ничего не понимаю, — пробормотал Андрей почти с отчаянием. Он чувствовал, что сейчас узнает еще что-то мерзкое об этом и без того мерзком деле. — О чем ты говоришь? Кто — он? Гейгер?

— Гейгер, Гейгер, — покивал Изя. — Наш великий Фриц... Значит, любовные записочки были у меня в папке? Или, может быть, компрометирующие фотографии? Ревнивая вдова и бабник Кацман... Правильно, такой протокол я тоже им подписал...

Изя, кряхтя, поднялся и принялся ходить по кабинету, потирая руки и хихикая.

— Да, — сказал Андрей. — Так он мне и сказал. Ревнивая вдова. Значит, это было вранье?

— Ну конечно, а ты как думал?

— Я поверил, — сказал Андрей коротко. Он стиснул зубы и с остервенением заворочал кочергой в камине. — А что там было на самом деле? — спросил он.

Изя молчал. Андрей оглянулся. Изя стоял, медленно потирая руки, и с застывшей улыбкой глядел на него остекленевшими глазами.

— Интересно получается... — проговорил он неуверенно. — Может, он просто забыл? То есть не то чтобы забыл... — Он вдруг сорвался с места и снова присел на корточки рядом с Андреем. — Слушай, я тебе ничего не скажу, понял? И если тебя спросят, то так и отвечай: ничего не сказал, отказался. Сказал только, что дело касается одной большой тайны Эксперимента, сказал, что опасно эту тайну знать. И еще показал несколько запечатанных конвертов и, подмигивая, объяснил, что конверты эти раздаст верным людям и что конверты эти будут вскрыты в случае его, Кацмана, ареста или, скажем, неожиданной кончины. Понимаешь? Имен верных людей не назвал. Вот так и скажешь, если спросят.

— Хорошо, — медленно сказал Андрей, глядя в огонь.

— Это будет правильно... — проговорил Изя, тоже глядя в огонь. — Только вот если тебя бить будут... Румер — это, знаешь, сволочь какая... — Его передернуло. — А может, и не спросит никто. Не знаю. Это все надо обдумать. Так, сразу, и не сообразишь.

Он замолчал. Андрей все размешивал жаркую, переливающуюся красными огоньками кучу, и через некоторое время Изя снова принялся подбрасывать в камин пачки бумаг.

— Сами папки не бросай, — сказал Андрей. — Видишь, плохо горят... А ты не боишься, что ту папку найдут?

— А чего мне бояться? — сказал Изя. — Это Гейгер пусть боится... Да и не найдут ее теперь, если сразу не нашли. Я ее в люк бросил, а потом все гадал: попал или промахнулся... А за что тебе вломили? Ты же, по-моему, с Фрицем в прекрасных отношениях...

— Это не Фриц, — сказал Андрей неохотно. — Просто не повезло.

В комнату с шумом ввалились женщины и Кэнси — они тащили на растянутом плаще целую груду писем. За ними, по-прежнему вытираясь, шел Денни.

— Ну, теперь, кажется, все, — сказал он. — Или вы еще тут что-нибудь придумали?

— Ну-ка, подвиньтесь! — потребовал Кэнси.

Плащ был положен у камина, и все принялись кидать письма в огонь. В камине сразу загудело. Изя запустил здоровую руку в недра этой кучи разноцветной исписанной бумаги, извлек какое-то письмо и, заранее

осклабляясь, принялся жадно читать.

— Кто это сказал, что рукописи не горят? — отдуваясь, проговорил Денни. Он уселся за стол и закурил сигарету. — Прекрасно горят, по-моему... Ну и жара. Окна открыть, что ли?

Секретарша вдруг пискнула, вскочила и выбежала вон, приговаривая: «Забыла, совсем забыла!..»

— Как ее зовут? — торопливо спросил Андрей у Кэнси.

— Амалия! — буркнул Кэнси. — Сто раз тебе говорил... Слушай, я сейчас Дюпену позвонил...

— Ну?

Вернулась секретарша с охапкой блокнотов.

— Это всё — ваши распоряжения, шеф, — пропищала она. — Я совсем про них забыла. Тоже, наверное, надо сжечь?

— Конечно, Амалия, — сказал Андрей. — Спасибо, что вспомнили. Сжигайте, Амалия, сжигайте... Так что Дюпен?

— Я хотел его предупредить, — сказал Кэнси, — что все в порядке, все следы уничтожены. А он страшно удивился, какие следы? Разве он что-нибудь такое писал? Он только что закончил подробную корреспонденцию о героическом штурме мэрии, а сейчас работает над обзором: «Фридрих Гейгер и народ».

— Сука, — сказал Андрей вяло. — Впрочем, все мы суки...

— Говори за себя, когда говоришь такие вещи! — огрызнулся Кэнси.

— Ну, извини, — вяло сказал Андрей. — Ну, не все суки. Большинство.

Изя вдруг захихикал.

— Вот пожалуйста — умный человек! — провозгласил он, потрясая листочком. — «Совершенно очевидно, — процитировал он, — что люди, подобные Фридриху Гейгеру, ждут только какой-нибудь большой беды, пусть даже кратковременного, но чувствительного нарушения равновесия, чтобы развязать страсти и на волне смуты выскочить на поверхность...» Кто это пишет? — Он посмотрел на обороте. — А, ну еще бы!.. В огонь, в огонь! — Он скомкал листок и швырнул в камин.

— Слушай, Андрей, — сказал Кэнси. — Не пора ли подумать о будущем?

— А чего о нем думать, — проворчал Андрей, орудуя кочергой. — Проживем как-нибудь, перетопчемся...

— Я не о нашем будущем говорю! — сказал Кэнси. — Я говорю о будущем газеты, о будущем Эксперимента!..

Андрей посмотрел на него с удивлением. Кэнси был такой же, как

всегда. Словно ничего не произошло. Словно ничего вообще не происходило за последние тошные месяцы. Он даже казался еще более готовым к драке, чем обычно. Хоть сейчас в драку — во имя законности и идеалов. Как взведенный курок. А может быть, с ним действительно ничего не происходило?..

— Ты говорил со своим Наставником? — спросил Андрей.

— Говорил, — ответил Кэнси с вызовом.

— Ну и что? — спросил Андрей, преодолевая обычную неловкость, как всегда при разговоре о Наставниках.

— Это никого не касается и не имеет никакого значения. При чем здесь Наставники? У Гейгера тоже есть Наставник. У каждого бандита в Городе есть Наставник. Это не мешает каждому думать собственной головой.

Андрей вытащил из пачки сигарету, размял и, щурясь от жара, прикурил от раскаленной кочерги.

— Надоело мне все, — сказал он тихо.

— Что тебе надоело?

— Да все... По-моему, бежать нам надо отсюда, Кэнси. Ну их всех к черту.

— Как это — бежать? Ты что это?

— Надо сниматься, пока не поздно, и мотать на болота, к дяде Юре, подальше от всего этого кабака. Эксперимент вышел из-под контроля, мы с тобой вернуть его под контроль не можем, а значит, нечего и рыпаться. На болотах у нас, по крайней мере, будет оружие, у нас будет сила...

— Ни на какие болота я не поеду! — объявила вдруг Сельма.

— А тебе никто и не предлагает, — сказал Андрей, не оборачиваясь.

— Андрей, — сказал Кэнси. — Это же дезертирство.

— По-твоему — дезертирство, а по-моему — разумный маневр. И вообще как хочешь. Ты меня спросил, что я думаю о будущем, я тебе отвечаю: здесь мне делать нечего. Редакцию все равно разгонят, а нас пошлют дохлых павианов убирать. Под конвоем. И это еще в лучшем случае...

— А вот еще один умный человек! — провозгласил Изя с восхищением. — Слушайте: «Я — старый подписчик вашей газеты, и я, в общем и целом, одобряю ее курс. Но почему вы постоянно выступаете в защиту Ф. Гейгера? Может быть, вы недостаточно информированы? Я совершенно точно знаю, что Гейгер имеет досье на всех сколько-нибудь заметных лиц в Городе. Его люди пронизывают весь муниципальный аппарат. Вероятно, они есть и в вашей газете. Уверяю вас, эрвистов совсем

не так мало, как вы думаете. Мне известно, что у них есть и оружие...» — Изя посмотрел на оборот письма. — Ах, вот это кто... «Имени моего прошу не публиковать...» В огонь, в огонь!

— Можно подумать, что ты знаешь в городе всех умных людей, — сказал Андрей.

— Между прочим, их не так уж и много, — возразил Изя, снова запуская руку в бумажную кучу. — Я уж не говорю о том, что умные люди редко пишут в газеты.

Наступило молчание. Денни, накурившись всласть, тоже подобрался к камину и принялся бросать бумагу в огонь большими охапками.

— Ворочайте, ворочайте, шеф! — сказал он. — Больше жизни! Дайте-ка мне кочергу...

— По-моему, это просто трусость — удирать сейчас из города, — сказала Сельма с вызовом.

— Сейчас каждый честный человек на счету, — подхватил Кэнси. — Если мы уйдем, кто же останется? Дюпенам прикажешь отдать газету?

— Ты останешься, — сказал Андрей устало. — Сельму вот можешь взять в газету... или Изю...

— Ты же хорошо знаком с Гейгером, — прервал его Кэнси. — Ты мог бы использовать свое влияние...

— Нет у меня на него никакого влияния, — сказал Андрей. — А если и есть, то не хочу я его использовать. Я таких вещей не умею и не терплю.

И снова все замолчали, только гудело пламя в каминной трубе.

— Хоть бы они ехали скорее, что ли, — проворчал Денни, бросая в огонь последнюю кипу писем. — Выпить хочется — сил нет, а выпить нечего...

— Они так сразу не приедут, — немедленно возразил Изя. — Они сначала позвонят! — Он швырнул в камин письмо, которое читал, и прошелся по кабинету. — Вы этого, Денни, не знаете и не понимаете. Это ритуал! Процедура, отработанная в трех странах, отработанная до тонкости, проверенная... Девочки, а нет ли здесь чего-нибудь пожрать? — спросил он вдруг.

Тощая Амалия немедленно вскочила и с писком: «Сейчас, сейчас!..» исчезла в приемной.

— Кстати, — ни с того ни с сего вспомнил Андрей. — А где цензор?

— Он очень хотел остаться, — сказал Денни. — Но господин Убуката выпихнул его вон. Он ужасно кричал, этот цензор. «Куда я пойду? — кричал он. — Вы меня убиваете!» Пришлось даже дверь запереть на засов, чтобы не пускать его. Сначала он бился всем телом, а потом отчаялся и

ушел... Слушайте, я все-таки открою окно. Сил моих нет, как жарко...

Вернулась секретарша и, застенчиво улыбаясь бледными, без косметики, губами, вручила Изе бумажный промасленный пакет с какими-то пирожками.

— М-м! — вскричал Изя и сейчас же принялся чавкать.

— Ребра болят? — тихонько спросила Сельма, наклонившись к уху Андрея.

— Нет, — сказал Андрей коротко, поднялся и, отстранив ее, подошел к столу. И в этот момент зазвонил телефон. Все повернули головы и уставились на белый аппарат. Телефон звонил.

— Ну, Андрей! — нетерпеливо сказал Кэнси.

Андрей поднял трубку.

— Да.

— Редакция «Городской газеты»? — осведомился деловой голос.

— Да, — сказал Андрей.

— Господина Воронина попрошу.

— Я.

В трубку подышали, затем раздались гудки отбоя. С сильно бьющимся сердцем Андрей осторожно положил трубку.

— Это они, — сказал он.

Изя прочавкал что-то неразборчивое, ожесточенно кивая головой. Андрей сел. Все смотрели на него — напряженно улыбающийся Денни, насупленный и взъерошенный Кэнси, жалко-испуганная Амалия и бледная подобравшаяся Сельма. И Изя смотрел на него, жуя и осклабляясь, вытирая замасленные пальцы о полы куртки.

— Ну, чего вы уставились? — раздраженно сказал Андрей. — А ну, мотайте все отсюда.

Никто не двинулся с места.

— Чего ты волнуешься? — сказал Изя, рассматривая последний пирожок. — Все будет тихо-мирно, как говорит дядя Юра. Тихо-мирно, честно-благородно... Только не надо делать резких движений. Это как с кобрами...

За окном послышалось тарахтение автомобильного двигателя, скрип тормозов, пронзительный голос скомандовал: «Кайзер, Величенко, за мной! Мирович, оставаться здесь!..» — и сейчас же в дверь внизу ударили кулаком.

— Я пойду открою, — сказал Денни, а Кэнси подскочил к камину и принялся изо всех сил ворошить груду дымящейся золы. Пепел полетел по всей комнате.

— Резких движений не делайте! — крикнул Изя вслед Денни.

Дверь внизу содрогалась и жалобно дребезжала стеклами. Андрей поднялся, заложил руки за спину и, стиснув их изо всех сил, встал посредине комнаты. Давешнее ощущение дурного томления и слабости в ногах снова охватило его. Стук и грохот внизу прекратились, послышались недовольные голоса, а затем множество ног затопотало в пустых помещениях. Словно их там целый батальон, мелькнуло в голове у Андрея. Он попятился и оперся задом о стол. Колени у него отвратительно дрожали. Бить не позволю, подумал он с отчаянием. Пусть лучше убивают. Пистолет я не взял... Зря не взял... А может, правильно, что не взял?..

В дверь прямо напротив него решительно шагнул полный невысокий человек в хорошем пальто с белыми повязками на рукавах и в огромном берете с каким-то значком. На ногах у него были великолепно начищенные сапоги, а пальто было слабо и очень некрасиво стянуто широким ремнем, на котором слева тяжело отвисала новенькая желтая кобура. За ним ввалились еще какие-то люди, но Андрей их не видел. Он как зачарованный смотрел в одутловатое бледное лицо с расплывчатыми чертами и с маленькими закисшими глазками. Конъюнктивит у него, что ли, подумалось где-то на самом краю сознания. И выбрит так, что вроде бы даже блестит, как лакированный...

Человек в берете быстро оглядел комнату и уставился прямо на Андрея.

— Господин Воронин? — с вопросительной интонацией провозгласил он высоким пронзительным голосом.

— Я, — с трудом выдавил из себя Андрей, обеими руками вцепившись в край стола.

— Главный редактор «Городской газеты»?

— Да.

Человек в берете умело, но небрежно откозырял двумя пальцами.

— Имею честь, господин Воронин, — высокопарно произнес он, — вручить вам личное послание президента Фридриха Гейгера!

Очевидно, он намеревался ловким движением выхватить личное послание из-за пазухи, но что-то там за что-то зацепилось, и ему пришлось довольно долго копаться в недрах своего пальто, слегка перекосившись на правый бок с таким видом, словно его одолевали насекомые. Андрей смотрел на него обреченно и ничего не понимал — все было как-то не так. Не этого он ожидал. А может быть, пронесет, мелькнуло у него в голове, но он сейчас же суеверно отогнал эту мысль.

Наконец послание было извлечено, и человек в берете протянул его

Андрею с недовольным и несколько обиженным видом. Андрей взял хрустнувший запечатанный конверт. Это был обыкновенный почтовый конверт, длинный, голубоватого цвета, со стилизованным изображением сердца, украшенного птичьими крылышками. Знакомым крупным почерком на конверте было написано: «Главному редактору «Городской газеты» Андрею Воронину лично, конфиденциально. Ф. Гейгер, президент». Андрей надорвал конверт и вытащил обыкновенный листок почтовой бумаги с синим обрезом.

«Милый Андрей! Прежде всего позволь от всего сердца поблагодарить тебя за ту помощь и поддержку, которые я непрерывно чувствовал со стороны твоей газеты на протяжении последних решающих месяцев. Теперь, как видишь, ситуация в корне переменилась. Уверен, что новая терминология и некоторые неизбежные эксцессы не смутят тебя: слова и средства переменились, но цели остались прежними. Бери газету в свои руки — ты назначен ее бессменным и полномочным главным редактором и издателем. Набирай себе сотрудников по собственному выбору, расширяй штат, требуй новые типографские мощности — даю тебе полный карт-бланш. Податель сего письма — младший адъютор Раймонд Цвирик — назначен в твою газету политическим представителем моего управления информации. Мужик он, как ты сам убедишься, невеликого ума, но дело свое знает хорошо и, особенно на первых порах, поможет тебе войти в курс общей политики. В случае возможных конфликтов обращайся, разумеется, непосредственно ко мне. Желаю успеха. Покажем этим слюнявым либералам, как надо работать. Дружески, твой Фриц».

Андрей прочитал личное и конфиденциальное послание дважды, потом опустил руку с письмом и огляделся. Опять все смотрели на него — бледные, решительные, напряженные. Только Изя сиял, как начищенный самовар, и тайком от окружающих отпускал в пространство воображаемые щелбаны. Младший адъютор (что бы это могло значить, черт побери, слово какое-то знакомое... адъютор, коадъютор... что-то из истории... или из «Трех мушкетеров»), младший адъютор Раймонд Цвирик тоже смотрел на него — смотрел строго, но покровительственно. А у дверей переминались с ноги на ногу и опять же смотрели на него какие-то непонятные типы с карабинами и белыми повязками на рукавах.

— Так... — проговорил Андрей, складывая письмо и пряча его в конверт. Он не знал, с чего начать.

Тогда начал младший адъютор:

— Это ваши сотрудники, господин Воронин? — деловито осведомился он, слегка поведя рукой из стороны в сторону.

— Да, — сказал Андрей.

— Гм... — с сомнением произнес господин Раймонд Цвирик, глядя в упор на Изю, но тут Кэнси вдруг резко спросил его:

— А кто вы, собственно, такой?

Господин Раймонд Цвирик взглянул на него, а затем изумленно повернулся к Андрею. Андрей прокашлялся.

— Господа, — проговорил он. — Позвольте вам представить: господин Цвирик, младший коадъютор...

— Адъютор! — с негодованием поправил Цвирик.

— Что?.. Ах да, адъютор. Не коадъютор, а просто адъютор... (Сельма вдруг ни с того ни с сего прыснула и зажала себе рот ладонью.) Младший адъютор, политический представитель в нашей газете. Отныне.

— Представитель чего? — непримиримо спросил Кэнси.

Андрей полез было снова в конверт, но Цвирик еще более негодующим тоном объявил:

— Политический представитель управления информации!

— Ваши документы! — резко сказал Кэнси.

— Что?! — Закисшие глазки господина Цвирика возмущенно замигали.

— Документы, полномочия — есть у вас что-нибудь, кроме вашей дурацкой кобуры?

— Кто это?! — пронзительно вскричал господин Цвирик, снова поворачиваясь к Андрею. — Кто этот человек?!

— Это господин Кэнси Убуката, — торопливо сказал Андрей. — Заместитель главного редактора... Кэнси, не надо никаких полномочий. Он же передал мне письмо от Фрица...

— Какого еще Фрица? — сказал Кэнси брезгливо. — При чем здесь какой-то Фриц?

— Резких движений! — воззвал Изя. — Умоляю вас, не делайте резких движений!

Цвирик вертел головой между Изей и Кэнси. Лицо его уже больше не лоснилось, оно медленно заливалось багровым.

— Я вижу, господин Воронин, — произнес он наконец, — ваши сотрудники не очень хорошо представляют себе, что именно произошло сегодня!.. Или наоборот! — Он все возвышал голос. — Представляют, но в каком-то странном, извращенном свете! Я вижу здесь горелую бумагу, я вижу угрюмые лица, и я не вижу никакой готовности приступить к работе. В час, когда весь Город, весь наш народ...

— А это кто? — перебил его Кэнси, указывая на типов с карабинами.

— Это что, новые сотрудники?

— Представьте себе — да! Господин БЫВШИЙ заместитель главного редактора! Это новые сотрудники. Я не могу вам обещать, что они...

— Это мы еще посмотрим, — незнакомым скрипучим голосом произнес Кэнси и шагнул к Цвирику. — На каком основании...

— Кэнси! — сказал Андрей беспомощно.

— На каком основании вы здесь испаряетесь? — продолжал Кэнси, не обращая на Андрея никакого внимания. — Кто вы такой? Как вы смеете так себя вести? Почему вы не предъявляете документы? Вы просто вооруженные бандиты, которые проникли сюда с целью ограбления!..

— Заткнись, желтожопый! — дико завопил вдруг Цвирик, хватаясь за кобуру.

Андрей качнулся вперед, чтобы стать между ними, но тут его сильно толкнули в плечо, и перед Цвириком оказалась Сельма.

— Как ты смеешь выражаться при женщинах, сволочь! — заорала она. — Зараза ты толстожопая! Бандюга!

Андрей совсем потерялся. Разом ужасно закричали и Цвирик, и Кэнси, и Сельма. Мельком Андрей заметил, что типы в дверях, неуверенно переглядываясь, стали брать карабины на изготовку, а возле них вдруг оказался Денни Ли, держа за ножку тяжелый редакторский табурет с железным сиденьем, но страшнее и невероятнее всех была шлюшка Амалия, которая, как-то хищно сгорбившись и выставив длинные белые зубы, очень жуткие на осунувшемся, как у мертвой, лице, крадучись подбиралась к Цвирику, занося над своим правым плечом, словно клюшку для гольфа, дымящуюся кочергу... «Я тебя, сук-киного сына, запомнил! — неистово кричал Кэнси. — Ты деньги для школ разворовывал, стервец, а теперь в коадъюторы вылез?!» — «Я вас всех с дерьмом смешаю! Дерьмо у меня будете жрать! Враги человечества!..» — «Молчи, б...ская харя! Молчи, пока цел!..» — «Резких движений! Умоляю!..» Андрей, как зачарованный, не в силах пошевелиться, следил за вздымающейся кочергой. Он чувствовал, он знал, что сейчас произойдет ужасное и непоправимое, и это ужасное уже не остановить.

— На фонарь вас! — налившись кровью, дико вопил младший адъютор, размахивая огромным автоматическим пистолетом. За всем этим гамом и шумом он успел как-то вытащить свой пистолет и теперь бестолково им размахивал и беспрерывно пронзительно орал, и тут Кэнси подскочил к нему, схватил за отвороты пальто, а он стал отпихиваться обеими руками, и вдруг грянул выстрел и сразу же другой и третий. Бесшумно мелькнула в воздухе кочерга, и все замерли.

Цвирик один стоял посредине кабинета, лицо его из багрового быстро делалось серым. Одной рукой он потирал ушибленное кочергой плечо, другая, трясущаяся, все еще была вытянута вперед. Пистолет валялся на полу. Типы в дверях, одинаково разинув рты, стояли с опущенными карабинами.

— Я не хотел... — дребезжащим голосом произнес Цвирик.

Громко ударился об пол выпавший из руки Денни табурет, и только тогда Андрей понял, куда все смотрят. Все смотрели на Кэнси, который как-то странно, медленно-медленно, закидывался назад, прижимая обе ладони к нижней части груди.

— Я не хотел... — повторял Цвирик плачущим голосом. — Видит бог, я не хотел!..

Ноги у Кэнси подломились, и он мягко, почти беззвучно повалился около камина в кучу пепла и золы и, издавши невнятный мучительный звук, с трудом подтянул колени к животу.

И тогда Сельма, страшно вскрикнув, впилась ногтями в толстое, лоснящееся, грязно-белое лицо Цвирика, а все остальные с топотом кинулись к лежащему, заслонили его, сгрудились над ним, а потом Изя выпрямился, повернул к Андрею неестественно перекошенное, с удивленно задранными бровями лицо и пробормотал:

— Он мертвый... Убит...

Грянул телефонный звонок. Ничего не соображая, Андрей, как во сне, протянул руку и взял трубку.

— Андрей? Андрей! — Это был Отто Фрижа. — Ты жив-здоров? Слава богу, я так за тебя беспокоился! Ну, теперь все будет хорошо. Теперь Фриц, если что, нас в обиду не даст...

Он говорил еще что-то — про колбасу, про масло, — Андрей больше его не слушал.

Сельма, сидя на корточках и обхватив голову руками, плакала навзрыд, а младший адъютор Раймонд Цвирик, размазывая по серым щекам кровь из сочащихся глубоких царапин, все повторял и повторял, как испорченный механизм:

— Я не хотел... Клянусь богом, я не хотел...

Часть четвертая ГОСПОДИН СОВЕТНИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вода лилась тепловатая и гнусная на вкус. Воронка душа была расположена неестественно высоко, рукой не достать, и вялые струи поливали все что угодно, только не то, что нужно. Сток, по обыкновению, забило, и под ногами поверх решетки хлюпало. И вообще было отвратительно, что приходится ждать. Андрей прислушался: в раздевалке все еще бубнили и галдели. Кажется, поминалось его имя. Андрей скривился и принялся двигать спиной, стараясь поймать струю на хребет, — поскользнулся, схватился за шершавую бетонную стенку, выругался вполголоса. Черт бы их всех драл, могли бы все-таки догадаться — устроить отдельную душевую для правительственных сотрудников. Торчи тут теперь, как корень...

На двери перед самым носом было нацарапано: «Посмотри направо», Андрей машинально посмотрел направо. Там было нацарапано: «Посмотри назад». Андрей спохватился. Знаем, знаем, в школе еще учили, сами писали... Он выключил воду. В раздевалке было тихо. Тогда он осторожно приоткрыл дверь и выглянул. Слава богу, ушли...

Он вышел, ковыляя по грязноватому кафелю и брезгливо поджимая пальцы, и направился к своей одежде. Краем глаза он уловил какое-то движение в углу, покосился и обнаружил чьи-то заросшие черным волосом тощие ягодицы. Так и есть, обычная картина: стоит голый коленками на скамейке и глазеет в щель, где женская раздевалка. Аж закоченел весь от внимательности.

Андрей взял полотенце и стал вытираться. Полотенце было дешевенькое, казенное, пропахшее карболкой, воду оно не то чтобы впитывало, а как бы размазывало по коже.

Голый все глазел. Поза у него была неестественная, как у висельника, — дыру в стене провертел, видимо, подросток, низко и неудобно. Потом ему там смотреть стало, вероятно, не на что. Он шумно перевел дух, сел, спустив ноги, и увидел Андрея.

— Оделась, — сообщил он. — Красивая женщина.

Андрей промолчал. Он натянул брюки и принялся обуваться.

— Опять мозоль сорвал — пожалуйста... — снова сообщил голый, рассматривая свою ладонь. — Который раз уже. — Он развернул полотенце

и с сомнением оглядел его с обеих сторон. — Я вот чего не понимаю, — продолжал он, вытирая голову. — Неужели нельзя сюда экскаватор пригнать? Ведь всех нас можно одним-единственным экскаватором заменить. Ковыряемся лопатами, как эти...

Андрей пожал плечами и проворчал что-то, самому себе непонятное.

— А? — спросил голый, выставляя ухо из полотенца.

— Я говорю, экскаваторов всего два в Городе, — сказал Андрей раздраженно. На правом ботинке лопнул шнурок, и уйти от разговора было теперь невозможно.

— Вот я и говорю — пригнали бы один сюда! — возразил голый, энергично растирая свою цыплячью волосатую грудку. — А то — лопатами... Лопатой, если угодно, надо уметь работать, а откуда, спрашиваю я, нам уметь, если мы из горплана?

— Экскаваторы нужны в другом месте, — проворчал Андрей. Проклятый шнурок никак не завязывался.

— В каком же это другом? — немедленно прицепился голый из горплана. — У нас же здесь, как я понимаю, Великая Стройка. А где же тогда экскаваторы? На Величайшей, что ли? Не слыхал про такую.

На черта ты мне сдался с тобой спорить, подумал Андрей злобно. И чего я, в самом деле, с ним спорю? Соглашаться с ним надо, а не спорить. Поддакнул бы ему пару раз, он бы и отвязался... Нет, не отвязался бы он все равно, о голых бабах бы принялся рассуждать — как ему полезно на них любоваться. Недотыкомка.

— Что вы ноете, в самом деле? — сказал он, выпрямляясь. — Всего-то час в сутки просят вас поработать, а вы уже разнылись, будто вам карандаш в задний проход завинчивают... Мозоль он, видите ли, сорвал! Травма производственная...

Голый человек из горплана ошеломленно смотрел на него, приоткрыв рот. Тощий, волосатый, с подагрическими коленками, с косым брюшком...

— Ведь для себя же! — продолжал Андрей, с ожесточением затягивая галстук. — Ведь не на дядю — на себя самого просят поработать! Нет, опять они недовольны, опять им все неладно. До Поворота, небось, дерьмо возил, а теперь в горплане служит, а все-таки ноет...

Он надел пиджак и принялся скатывать комбинезон. И тут человек из горплана подал наконец голос.

— Позвольте, сударь! — вскричал он обиженно. — Да я же совсем не в том смысле! Я только имел в виду рациональность, эффективность... Странно даже! Я, если угодно, сам мэрию брал!.. Я и говорю вам, что если это Великая Стройка, то все самое лучшее и должно быть сюда... И вы на

меня не извольте кричать!..

— А-а, разговаривать тут с вами... — сказал Андрей и, на ходу заворачивая комбинезон в газету, пошел из раздевалки.

Сельма уже ждала его, сидя на скамеечке поодаль. Она задумчиво курила, глядя в сторону котлована, привычно положив ногу на ногу, — свежая и розовая после душа. Андрея неприятно кольнуло, что этот волосатый недоносок, очень может быть, пускал слюни и глазел в щель именно на нее. Он подошел, остановился рядом и положил ладонь ей на прохладную шею.

— Пойдем?

Она подняла на него глаза, улыбнулась и потерлась щекой о его руку.

— Давай докурим, — предложила она.

— Давай, — согласился он, сел и тоже закурил.

В котловане копошились сотни людей, летела земля с лопат, вспыхивало солнце на отточенном железе. Груженные грунтом подводы вереницей тянулись по противоположному склону, у штабелей бетонных плит скапливалась очередная смена. Ветер крутил красноватую пыль, доносил обрывки маршей из репродукторов, установленных на цементных столбах, раскачивал огромные фанерные щиты с выцветшими лозунгами: «Гейгер сказал: надо! Город ответил: сделаем!», «Великая Стройка — удар по нелюдям!», «Эксперимент — над экспериментаторами!».

— Отто обещал — сегодня ковры будут, — сказала Сельма.

— Это хорошо, — обрадовался Андрей. — Бери самый большой. Положим в гостиной на полу.

— Я хотела тебе в кабинет. На стену. Помнишь, я еще в прошлом году говорила, как только мы въехали?..

— В кабинет? — задумчиво произнес Андрей. Он представил себе свой кабинет, ковер и оружие. Это выглядело. — Правильно, — сказал он. — Оч хор. Давай в кабинет.

— Только Румеру обязательно позвони, — сказала Сельма. — Пусть даст человека.

— Сама позвони, — сказал Андрей. — Мне некогда будет... А впрочем, ладно, позвоню. Куда тебе его прислать? Домой?

— Нет, прямо на базу. Ты к обеду будешь?

— Буду, наверное. Между прочим, Изя давно напрашивается зайти.

— Ну и очень хорошо! Сегодня же на вечер и зови. Сто лет мы уже не собирались. И Вана надо позвать, вместе с Мэйлинь...

— Умгу, — сказал Андрей. Насчет Вана он как-то не подумал. — А кроме Изи ты из наших кого-нибудь собираешься позвать? — спросил он

осторожно.

— Из наших? Полковника можно позвать... — нерешительно проговорила Сельма. — Он славный... Вообще, если кого-нибудь и звать сегодня из наших, то в первую очередь Дольфюсов. Мы у них уже два раза были, неудобно.

— Если бы без жены... — сказал Андрей.

— Без жены невозможно.

— Знаешь что, — сказал Андрей, — ты им пока не звони, а вечером посмотрим. — Ему было совершенно ясно, что Ван и Дольфюсы никак не сочетаются. — Может, лучше Чачуа позовем?

— Гениально! — сказала Сельма. — Мы его на Дольфюсиху напустим. Всем будет хорошо. — Она бросила окурок. — Пошли?

Из котлована, направляясь к душевой, потянулась, пыля, очередная толпа Великих Строителей — потных, громогласных, регочущих работяг с Литейного.

— Пошли, — сказал Андрей.

По заплеванной песчаной аллейке между двумя рядами жиденьких свежепосаженных липок они вышли на автобусную остановку, где еще стояли два битком набитых облупленных автобуса. Андрей поглядел на часы: до отправления автобусов оставалось семь минут. Из переднего автобуса раскрасневшиеся бабы выпихивали какого-то пьяного. Пьяный хрипло орал, и бабы тоже орали высокими истеричными голосами.

— С хамами поедем или пешком? — спросил Андрей.

— А у тебя время есть?

— Есть. Пошли, над обрывом пройдемся. Там попрохладней.

Сельма взяла его под руку, они свернули налево, в тень старого пятиэтажного дома, обстроенного лесами, и по мощенной булыжником улочке направились к обрыву.

Район был здесь глухой, заброшенный. Пустые ободранные домишки стояли вкривь и вкось, мостовые проросли травой. До Поворота и сразу после в этих местах было небезопасно появляться не только ночью, но и днем — кругом здесь были притоны, малины, хавиры, селились здесь самогонщики, скупщики краденого, профессиональные охотники за золотом, проститутки-наводчицы и прочая сволочь. Потом за них взялись: одних выловили и отправили в поселения на болотах — батрачить у фермеров, других — мелкую шпану — просто разогнали кого куда, кое-кого в суматохе поставили к стенке, а все, что нашлось здесь ценного, реквизировали в пользу города. Кварталы опустели. Поперваначалу еще ходили здесь патрули, потом их сняли за ненадобностью, а в самое

последнее время было всенародно объявлено, что трущобы эти подлежат сносу, а на их месте, вдоль всего обрыва в пределах городской черты, будет разбита парковая полоса — развлекательно-прогулочный комплекс.

Сельма и Андрей обогнули последнюю развалюху и пошли вдоль обрыва по колено в высокой сочной траве. Здесь было прохладно — из пропасти накатывал волнами влажный холодный воздух. Сельма чихнула, и Андрей обнял ее за плечи. Гранитный парапет еще не дотянули до этих мест, и Андрей инстинктивно старался держаться подальше от края обрыва — шагах в пяти-шести.

Над обрывом каждый человек чувствовал себя странно. Причем у всех, по-видимому, возникало здесь одинаковое ощущение, будто мир, если глядеть на него отсюда, явственно делится на две равные половины. К западу — неоглядная сине-зеленая пустота — не море, не небо даже — именно пустота синевато-зеленоватого цвета. Сине-зеленое Ничто. К востоку — неоглядная, вертикально вздымающаяся желтая твердь с узкой полоской уступа, по которому тянулся Город. Желтая Стена. Желтая абсолютная Твердь.

Бесконечная Пустота к западу и бесконечная Твердь к востоку. Понять эти две бесконечности не представлялось никакой возможности. Можно было только привыкнуть. Те, кто привыкнуть не мог или не умел, на обрыв старались не ходить, а поэтому здесь редко кого можно было встретить. Сейчас сюда выходили разве что влюбленные парочки, да и то, главным образом, по ночам. По ночам в пропасти что-то светилось слабым зеленоватым светом, будто там, в бездне, что-то тихо гнило из века в век. На фоне этого свечения черный лохматый край обрыва виден был прекрасно, а трава здесь всюду была на удивление высокая и мягкая...

— А вот когда мы построим дирижабли, — сказала вдруг Сельма, — мы тогда как — подниматься будем вверх или опускаться в этот обрыв?

— Какие дирижабли? — рассеянно спросил Андрей.

— Как — какие? — удивилась Сельма, и Андрей спохватился.

— А, аэростаты! — сказал он. — Вниз. Вниз, конечно. В обрыв.

Среди большинства горожан, ежедневно отрабатывающих свой час на Великой Стройке, было распространено мнение, будто строится гигантский завод дирижаблей. Гейгер полагал, что такое мнение следует пока всячески поддерживать, ничего при этом, однако, прямо не утверждая.

— А почему вниз? — спросила Сельма.

— Ну, видишь ли... Мы пробовали поднимать воздушные шары — без людей, конечно. Что-то там с ними наверху происходит — они взрываются по непонятной причине. Выше километра еще ни один не поднялся.

— А что там, внизу, может быть? Как ты думаешь?

Андрей пожал плечами.

— Представления не имею.

— Эх ты, ученый! Господин советник.

Сельма подобрала в траве обломок какой-то старой доски с кривым ржавым гвоздем и швырнула в пропасть.

— По кумполу там кому-нибудь, — сказала она.

— Не хулигань, — сказал Андрей миролюбиво.

— А я такая, — сказала Сельма. — Забыл?

Андрей посмотрел на нее сверху вниз.

— Нет, не забыл, — сказал он. — Хочешь, в траву завалю сейчас?

— Хочу, — сказала Сельма.

Андрей огляделся. На крыше ближайшей развалюхи, свесив ноги, курили двое каких-то в кепках. Тут же рядом, покосившись на груде мусора, стояла грубо сколоченная тренога с чугунной бабой на корявой цепи.

— Глазеют, — сказал он. — Жаль. Я бы тебе показал, госпожа советница.

— Давай вали ее, чего время теряешь! — пронзительно крикнули с крыши. — Лопух молодой!..

Андрей притворился, что не слышит.

— Ты сейчас прямо домой? — спросил он.

Сельма посмотрела на часы.

— В парикмахерскую надо зайти, — сказала она.

У Андрея вдруг появилось незнакомое будоражащее ощущение. Он вдруг как-то очень явственно осознал, что вот он — советник, ответственный работник личной канцелярии президента, уважаемый человек, что у него есть жена, красивая женщина, и дом — богатый, полная чаша, — и что вот жена его идет сейчас в парикмахерскую, потому что вечером они будут принимать гостей, не пьянствовать беспорядочно, а держать солидный прием, и гости будут не кто-нибудь, а люди все солидные, значительные, нужные, самые нужные в городе. Это было ощущение неожиданно осознанной зрелости, собственной значимости, ответственности, что ли. Он был взрослым человеком, вполне определившимся, самостоятельным, семейным. Он был зрелый мужчина, твердо стоящий на собственных ногах. Не хватало только детей — все остальное у него было как у настоящих взрослых...

— Здравия желаю, господин советник! — произнес почтительный голос.

Оказывается, они уже вышли из заброшенного квартала. Слева потянулся гранитный парапет, под ноги легли узорные бетонные плиты, справа и впереди поднялась белесая громада Стеклянного Дома, а на пути стоял, вытянувшись и приложив два пальца к козырьку форменной фуражки, молодой опрятный негр-полицейский в голубоватой форме внешней охраны.

Андрей рассеянно кивнул ему и сказал Сельме:

— Извини, ты что-то говорила, я задумался...

— Я говорю: не забудь позвонить Румеру. Мне ведь теперь человек понадобится не только для ковра. Вина надо принести, водки... Полковник любит виски, а Дольфюс — пиво... Я возьму, пожалуй, сразу ящик...

— Да! Пусть в сортире плафон сменят! — сказал Андрей. — А ты сделай мясо по-бургундски. Амалию тебе прислать?..

Они расстались у поперечной дорожки, ведущей к Стеклянному Дому. Сельма пошла дальше, а Андрей, проводив ее (с удовольствием) глазами, свернул и направился к западному подъезду.

Обширная, выложенная бетонными плитами площадь вокруг здания была пуста, лишь кое-где виднелись голубые мундиры охраны. Под густыми деревьями, окаймлявшими площадь, торчали, как всегда, зеваки из новичков — жадно ели глазами вместилище власти, — а пенсионеры с тросточками давали им пояснения.

У подъезда стоял уже драндулет Дольфюса, капот был, как всегда, поднят, из двигателя выпячивалась затянутая в сверкающий хром нижняя часть шофера. И тут же смердел грязный, прямо с болот, грузовик фермерского вида — над бортами неопрятно торчали красно-синие конечности какой-то ободранной говядины. Над говядиной вились мухи. Хозяин грузовика, фермер, ругался в дверях с охраной. Ругались они, видимо, довольно давно: уже дежурный начальник охраны был здесь и трое полицейских, и еще двое неторопливо приближались, поднимаясь по широким ступеням с площади.

Фермер показался Андрею знакомым — длинный, как жердь, тощий мужик с обвисшими усами. От него пахло потом, бензином и перегаром. Андрей показал свой пропуск и прошел в вестибюль, успевши уловить, однако, что мужик требовал лично президента Гейгера, а охрана внушала ему, что здесь служебный вход и что ему, мужику, надлежит обогнуть здание и попытать счастья в бюро приемной. Голоса спорящих постепенно возвышались.

Андрей поднялся в лифте на пятый этаж и вступил в дверь, на которой красовалась черно-золотая надпись: «Личная канцелярия президента по

вопросам науки и техники». Сидевшие у входа курьеры встали, когда он вошел, и одинаковым движением спрятали за спины дымящиеся окурки. Больше в белом широком коридоре никого не было видно, однако из-за дверей, совсем как когда-то в редакции, доносились телефонные звонки, деловые диктующие голоса, треск пишущих машинок. Канцелярия работала на полном ходу. Андрей распахнул дверь с табличкой «Советник А. Воронин» и вступил в свою приемную.

Здесь тоже поднялись ему навстречу: толстый, вечно потеющий начальник геодезического сектора Кехада; апатичный, скорбный видом, белоглазый заведующий отделом кадров Варейкис; вертлявая стареющая тетка из финансового управления и какой-то незнакомый мальчишка спортивного вида — надо думать, новичок, ожидающий представления. А из-за своего столика с машинкой у окна проворно поднялась, улыбаясь ему, его личный секретарь Амалия.

— Здравствуйте, здравствуйте, господа, — громко сказал Андрей, изображая самую благодушную улыбку. — Прошу прощения! Проклятые автобусы набиты битком, пришлось пешкодралить от самой стройки...

Он принялся пожимать руки: потную лапищу Кехады, вялый плавник Варейкиса, горсть сухих костей финансовой тетки (Какого черта она ко мне приперлась? Что ей тут могло понадобиться?) и чугунную лопату насупившегося новичка.

— Я думаю, даму мы пропустим вперед... — говорил он. — Мадам, прошу вас... — Это финансовой тетке. — Что-нибудь срочное есть? — Это вполголоса Амалии. — Благодарю вас... — Он взял протянутую телефонограмму и распахнул дверь в кабинет. — Прошу, мадам, прошу...

На ходу разворачивая телефонограмму, он прошел к столу, глядя в бумагу, показал тетке рукой на кресло, потом сел сам и положил телефонограмму перед собой.

— Слушаю вас.

Тетка затарахтела. Андрей, улыбаясь уголками губ, внимательно ее слушал, постукивая карандашиком по телефонограмме. Все было ему ясно с первых же слов.

— Простите, — прервал он ее через полторы минуты. — Я вас понял. Собственно, у нас не принято принимать людей по протекции. Однако в вашем случае мы, несомненно, имеем дело с неким исключением. Если ваша дочь действительно настолько интересуется космографией, что занималась ею самостоятельно, еще в школе... Позвоните, прошу вас, моему заведующему кадрами. Я поговорю с ним. — Он встал. — Несомненно, такие амбиции у молодежи надлежит всячески

приветствовать и поощрять... — Он проводил ее до двери. — Это вполне в духе нового времени... Не благодарите меня, мадам, я просто выполнил свой долг. Всего наилучшего...

Он вернулся к столу и перечитал телефонограмму: «Президент приглашает г-на советника Воронина в свой кабинет к 14.00». Все. По какому делу? Зачем? Что с собой иметь? Странно... Скорее всего, Фриц просто соскучился и хочет потрепаться. Четырнадцать ноль-ноль — это время обеденного перерыва. Значит, обедаем у президента... Он снял трубку внутреннего телефона.

— Амалия, давайте Кехаду.

Дверь отворилась, и вошел Кехада, ведя за собой за рукав спортивного юнца.

— Хочу представить вам, господин советник, — начал он прямо с порога, — вот этого молодого человека... Дуглас Кетчер... Он — новичок, прибыл всего месяц назад, и ему скучно сидеть на одном месте.

— Ну, — сказал Андрей, засмеявшись, — нам всем скучно сидеть на одном месте. Очень рад, Кетчер. Откуда вы родом? Из какого времени?

— Даллас, штат Техас, — неожиданно глубоким басом проговорил юнец, стеснительно улыбаясь. — Шестьдесят третий год.

— Что-нибудь кончали?

— Нормальный колледж. Потом много ходил с геологами. Разведка нефти.

— Отлично, — сказал Андрей. — Это то, что нам нужно. — Он поиграл карандашом. — Вы, возможно, не знаете этого, Кетчер, но у нас здесь принято спрашивать: почему? Вы бежали? Или вы искали приключений? Или вас заинтересовал Эксперимент?..

Дуглас Кетчер насупился, взял в кулак правой руки большой палец левой, посмотрел в окно.

— Можно сказать, что я бежал, — пробубнил он.

— У них там президента застрелили, — пояснил Кехада, утирая лицо платком. — Прямо у него в городе...

— Ах, вот как! — сказал Андрей понимающе. — Вы каким-то образом попали под подозрение?

Юнец замотал головой, а Кехада сказал:

— Нет, не в этом дело. Это длинная история. Они возлагали на этого президента большие надежды, он был у них кумиром... словом — психология.

— Проклятая страна, — изрек юнец. — Ничто им не поможет.

— Так-так, — сказал Андрей, сочувственно кивая. — Но вы знаете,

что Эксперимент мы больше не признаем?

Юнец пожал могучими плечами.

— Мне это все равно. Мне здесь нравится. Только я не люблю сидеть на одном месте. В городе мне скучновато. А мистер Кехада предложил мне пойти в экспедицию...

— Я хочу послать его для начала в группу Сона, — сказал Кехада. — Парень он крепкий, кое-какой опыт у него есть, а найти людей для работы в джунглях вы знаете, как трудно.

— Ну что ж, — сказал Андрей. — Я очень рад, Кетчер. Вы мне нравитесь. Надеюсь, так будет и впредь.

Кетчер неловко кивнул и поднялся. Кехада тоже встал, отдуваясь.

— Еще одно, — сказал Андрей, поднимая палец. — Хочу предупредить вас, Кетчер, Город и Стеклянный Дом заинтересованы в том, чтобы вы учились. Нам не нужны простые исполнители, их у нас хватает. Мы нуждаемся в подготовленных кадрах. Уверен, что из вас может получиться отличный инженер-нефтяник... Как у него с индексом, Кехада?

— Восемьдесят семь, — сказал Кехада, ухмыляясь.

— Ну, вот видите... У меня есть основания быть уверенным в вас.

— Постараюсь, — буркнул Дуглас Кетчер и посмотрел на Кехаду.

— У нас все, — сказал Кехада.

— У меня тоже все, — сказал Андрей. — Всего наилучшего... И запустите ко мне Варейкиса.

Как обычно, Варейкис не вошел, а вдвинулся в кабинет по частям, то и дело оглядываясь в щель приоткрытой двери. Потом он плотно закрыл дверь, неслышно подковылял к столу и сел. Скорбь на его лице обозначилась яснее, углы губ совсем опустились.

— Чтобы не забыть, — сказал Андрей. — Тут была эта баба из финансового управления...

— Знаю, — тихо сказал Варейкис. — Дочка.

— Да. Так вот, я не возражаю.

— К Кехаде, — не то спросил, не то приговорил Варейкис.

— Нет, думаю, лучше к расчетчикам.

— Хорошо, — сказал Варейкис и вытащил из внутреннего кармана пиджака блокнот. — Инструкция ноль-семнадцать, — сказал он совсем тихо.

— Да?

— Закончен очередной конкурс, — так же тихо сказал Варейкис. — Выявлено восемь сотрудников с индексом интеллигентности ниже положенных семидесяти пяти.

— Почему семидесяти пяти? По инструкции предельный индекс шестьдесят семь.

— Согласно разъяснению личной канцелярии президента по кадрам, — губы Варейкиса едва шевелились, — предельный индекс интеллигентности для сотрудников личной канцелярии президента по науке и технике составляет семьдесят пять.

— Ах, вот как... — Андрей почесал темя. — Гм... Ну что ж, это логично.

— Кроме того, — продолжал Варейкис, — пятеро из этих восьми не дотягивают и до шестидесяти семи. Вот список.

Андрей взял список, просмотрел. Полузнакомые имена и фамилии, двое мужчин и шестеро женщин...

— Позвольте, — сказал он, нахмурившись. — Амалия Торн... Это же моя Амалия! Что еще за фокусы?

— Пятьдесят восемь, — сказал Варейкис.

— А в прошлый раз?

— В прошлый раз меня здесь еще не было.

— Она же секретарь! — сказал Андрей. — Мой. Мой личный секретарь!

Варейкис уныло молчал. Андрей еще раз проглядел список. Рашидов... Это, кажется, геодезист... Кто-то его хвалил. Или ругал?.. Татьяна Постник. Оператор. А, это такая с кудряшками, милая такая мордашка, что-то у нее с Кехадой было... хотя нет, это другая...

— Ладно, — сказал он. — С этим я разберусь, и мы еще поговорим. Хорошо, если бы вы по своей линии запросили разъяснений по поводу таких должностей, как секретарша, оператор... по поводу вспомогательного персонала. Не можем же мы предъявлять к ним такие же требования, как к научным сотрудникам. В конце концов, у нас и курьеры числятся...

— Слушаю, — сказал Варейкис.

— Что-нибудь еще? — спросил Андрей.

— Да. Инструкция ноль-ноль-три.

Андрей сморщился.

— Не помню.

— Пропаганда Эксперимента.

— А, — сказал Андрей. — Ну?

— Имеют место систематические сигналы по поводу следующих лиц.

Варейкис положил перед Андреем еще один листок бумаги. В списке было всего три фамилии. Все мужчины. Все трое — начальники секторов. Основных. Космографии, социальной психологии и геодезии. Салливен,

Бутц и Кехада. Андрей побарабанил пальцами по списку. Экая напасть, подумал он. Опять двадцать пять за рыбу деньги. Впрочем, спокойствие. Не будем зарываться. Эту дубину все равно ничем не прошибешь, а мне с ним еще работать и работать...

— Неприятно, — произнес он. — Очень неприятно. Полагаю, информация проверена? Ошибок нет?

— Перекрестная и неоднократно подтвердившаяся информация, — бесцветным голосом сказал Варейкис. — Салливен утверждает, что Эксперимент над Городом продолжается. По его словам, Стеклянный Дом, пусть даже помимо своей воли, продолжает осуществлять линию Эксперимента. Утверждает, что Поворот есть всего лишь один из этапов Эксперимента...

Святые слова, подумал Андрей. Изя то же самое говорит, и Фрицу это очень не нравится. Только Изе разрешается, а Салливену, бедняге, нельзя.

— Кехада, — продолжал Варейкис. — При подчиненных восхищается научно-технической мощью гипотетических экспериментаторов. Принижает ценность деятельности президента и президентского совета. Дважды уподоблял эту деятельность мышиной возне в картонной коробке из-под обуви...

Андрей слушал, опустив глаза. Лицо он держал каменным.

— Наконец, Бутц. Неприязненно отзывается лично о президенте. В нетрезвом виде назвал существующее политическое руководство диктатурой посредственности над кретинами.

Андрей не удержался — крякнул. Черт их за язык тянет, с раздражением подумал он, отталкивая от себя листок. Элита называется — сами себе на голову гадят...

— И все-то вы знаете, — сказал он Варейкису. — И все-то вам известно...

Не надо было этого говорить. Глупо. Варейкис, не мигая, скорбно глядел ему в лицо.

— Прекрасно работаете, Варейкис, — сказал Андрей. — Я за вами как за каменной стеной... Полагаю, эта информация, — он постучал ногтем по листку, — уже переправлена по обычным каналам?

— Будет переправлена сегодня, — сказал Варейкис. — Я был обязан предварительно поставить в известность вас.

— Прекрасно, — бодро сказал Андрей. — Переправляйте. — Он сколол булавкой оба листочка и положил их в синий бювар с надписью «На доклад президенту». — Посмотрим, что решит по этому поводу наш Румер...

— Поскольку информация такого рода поступает не впервые, — сказал Варейкис, — я полагаю, что господин Румер будет рекомендовать снять этих людей с ведущих постов.

Андрей посмотрел на Варейкиса, стараясь сфокусировать глаза где-то подальше за его спиной.

— Вчера я был на просмотре новой картины, — сказал он. — «Голые и боссы». Мы ее одобрили, так что скоро она пойдет широким экраном. Очень, очень советую вам ее посмотреть. Там, знаете ли, так...

Он принялся неторопливо и подробно излагать Варейкису содержание этой чудовищной пошлятины, которая, впрочем, действительно очень понравилась Фрицу, да и не ему одному. Варейкис молча слушал, время от времени кивая в самых неожиданных местах — как бы спохватываясь. Лицо его по-прежнему не выражало ничего, кроме уныния и скорби. Видно было, что он уже давно потерял нить и ничегошеньки не понимает. В самый кульминационный момент, когда до Варейкиса явно дошло, что ему придется выслушать все до самого конца, Андрей прервал себя, откровенно зевнул и сказал благодушно:

— Ну и так далее, в том же духе. Обязательно посмотрите... Кстати, какое впечатление произвел на вас молодой Кетчер?

Варейкис заметно встрепенулся.

— Кетчер? Пока у меня такое впечатление, что с ним все в порядке.

— У меня тоже, — сказал Андрей. Он взялся за телефонную трубку. — У вас есть еще что-нибудь ко мне, Варейкис?

Варейкис поднялся.

— Нет, — сказал он. — Больше ничего. Разрешите идти?

Андрей благосклонно покивал ему и сказал в трубку:

— Амалия, кто там еще?

— Эллизауэр, господин советник.

— Какой еще Эллизауэр? — спросил Андрей, наблюдая, как Варейкис осторожно, по частям выдвигается из кабинета.

— Заместитель начальника транспортного отдела. По поводу темы «Аквамарин».

— Пусть подождет. Принесите почту.

Амалия появилась на пороге через минуту, и всю эту минуту Андрей, покряхтывая, растирал себе бицепсы и шевелил поясницей, все приятно ныло после часа усердной работы с лопатой в руках, и он, как всегда, рассеянно думал, какая это, в сущности, хорошая зарядка для человека, ведущего по преимуществу сидячий образ жизни.

Амалия плотно прикрыла за собой дверь и, простучав по паркету

высокими каблуками, остановилась рядом с ним, положив на стол папку с корреспонденцией. Он привычно обнял ее узкие твердые бедра, обтянутые прохладным шелком, похлопал по ляжке, а другой рукой открыл папку.

— Ну-с, что тут у нас? — бодро сказал он.

Амалия так и таяла у него под ладонью, она даже дышать перестала. Смешная девка и верная, как пес. И дело знает. Он посмотрел на нее снизу вверх. Как всегда в минуты ласки, лицо у нее сделалось бледное и испуганное, и когда глаза их встретились, она нерешительно положила узкую горячую ладонь ему на шею под ухом. Пальцы у нее дрожали.

— Ну что, малышка? — сказал он ласково. — Есть в этом хламе что-нибудь важное? Или мы с тобой сейчас запрем дверь и переменим позу?

Это у них было такое кодовое обозначение для развлечений в кресле и на ковре. Про Амалию он никогда не мог бы рассказать, какова она в постели. В постели он с ней ни разу не был.

— Тут проект финансовой сметы... — слабым голоском произнесла Амалия. — Потом всякие заявления... Ну, и личные письма, я их не вскрывала.

— И правильно сделала, — сказал Андрей. — Вдруг там от какой-нибудь красотки...

Он отпустил ее, и она слабо вздохнула.

— Посиди, — сказал он. — Не уходи, я быстро.

Он взял первое попавшееся письмо, разорвал конверт, пробежал, сморщился. Оператор Евсеенко сообщал про своего непосредственного шефа Кехаду, что тот «допускает высказывания в адрес руководства и лично господина советника». Андрей знал этого Евсеенко хорошо. Странный на редкость был человек и на редкость невезучий — несчастный во всех своих начинаниях. В свое время он поразил воображение Андрея, когда хвалил военное время сорок второго года под Ленинградом. «Хорошо тогда было, — говорил он с какой-то даже мечтательностью в голосе. — Живешь, ни о чем не думаешь, а если чего надо — скажешь солдатам, они достанут...» Отвоевался он капитаном и за всю войну убил одного-единственного человека — собственного политрука. Они тогда выходили из окружения, Евсеенко увидел, что политрука взяли немцы и обшаривают ему карманы. Тогда он выпалил в них из-за кустов, убил политрука и убежал. Очень он себя за этот поступок хвалил: они бы его запытали. Ну что с ним, дураком, делать? Шестой донос уже пишет. И ведь не Румеру пишет, не Варейкису, а мне. Забавнейший психологический выверт. Если написать Варейкису или Румеру, Кехаду привлекут. А я Кехаду не трону, все про него знаю, но не трону, потому что ценю и прощаю, это всем

известно. Вот и получается, что и гражданский долг вроде бы выполнен, и человека не загубили... Экий урод все-таки, прости господи!..

Андрей смял письмо, выбросил в корзину и взял следующее. Почерк на конверте показался ему знакомым, очень характерный почерк. Обратного адреса не было. Внутри конверта оказался листок бумаги, текст был напечатан на машинке — копия, и не первая, — а внизу была приписка от руки. Андрей прочитал, ничего не понял, перечитал еще раз, похолодел и взглянул на часы. Потом сорвал трубку с белого телефона и набрал номер.

— Советника Румера, срочно! — гаркнул он не своим голосом.

— Советник Румер занят.

— Говорит советник Воронин! Я сказал — срочно!

— Простите, господин советник. Советник Румер у президента...

Андрей швырнул трубку и, отпихнув оторопевшую Амалию, бросился к двери. Уже схватившись за пластмассовую ручку, он понял, что поздно, все равно уже не успеть. Если все это правда, конечно. Если это не идиотский розыгрыш...

Он медленно подошел к окну, взялся за обшитый бархатом поручень и стал смотреть на площадь. Там было пусто, как всегда. Маячили голубые мундиры, в тени под деревьями торчали зеваки, старушка проковыляла, толкая перед собой детскую коляску. Проехал автомобиль. Андрей ждал, вцепившись в поручень.

Амалия подошла к нему сзади, тихонько коснулась плеча.

— Что случилось? — спросила она шепотом.

— Отойди, — сказал он, не оборачиваясь. — Сядь в кресло.

Амалия исчезла. Андрей снова поглядел на часы. На его часах уже прошла лишняя минута. Конечно, подумал он. Не может быть. Идиотский розыгрыш. Или шантаж... И в этот момент из-под деревьев появился и неторопливо двинулся через площадь какой-то человек. Он казался совсем маленьким с этой высоты и с этого расстояния, и Андрей не узнавал его. Он помнил, что тот был худощавый и стройный, а этот выглядел грузным, разбухшим, и только в самую последнюю минуту до Андрея дошло — почему. Он зажмурился и попятился от окна.

На площади грохнуло — гулко и коротко. Дрогнули и задребезжали рамы, и сейчас же где-то внизу с раздражающим дребезгом посыпались стекла. Задавленно вскрикнула Амалия, а на площади внизу завопили истошными голосами...

Отстраняя одной рукой рвущуюся не то к нему, не то к окну Амалию, Андрей заставил себя открыть глаза и смотреть. Там, где был человек,

стоял желтоватый столб дыма, и за дымом ничего не было видно. Со всех сторон к этому месту бежали голубые мундиры, а поодаль, под деревьями, быстро росла толпа. Все было кончено.

Андрей, не чувствуя ног, вернулся к столу, сел и снова взял письмо.

«Всем сильным ублюдочного мира сего!

Я ненавижу ложь, но правда ваша еще хуже лжи. Вы превратили Город в благоустроенный хлев, а граждан Города — в сытых свиней. Я не хочу быть сытой свиньей, но я не хочу быть и свинопасом, а третьего в вашем чавкающем мире не дано. В своей правоте вы самодовольны и бездарны, хотя когда-то многие из вас были настоящими людьми. Есть среди вас и мои бывшие друзья, к ним я обращаюсь в первую очередь. Слова не действуют на вас, и я подкрепляю их своей смертью. Может быть, вам станет стыдно, может быть — страшно, а может быть — просто неуютно в вашем хлеву. Это все, на что мне осталось надеяться. Господь да покарает вашу скуку! Это не мои слова, но я под ними с восторгом подписываюсь — Денни Ли».

Все это было напечатано на машинке, под копирку, третья или даже четвертая копия. А ниже шла приписка от руки:

«Милый Воронин, прощай! Я взорвусь сегодня в тринадцать ноль-ноль на площади перед Стеклянным Домом. Если письмо не опоздает, можешь посмотреть, как это произойдет, но не надо мне мешать — будут только лишние жертвы. Твой бывший друг и заведующий отделом писем твоей бывшей газеты — Денни».

Андрей поднял глаза и увидел Амалию.

— Помнишь Денни? — сказал он. — Денни Ли, завписьмами...

Амалия молча кивнула, потом лицо ее вдруг словно скомкало ужасом.

— Не может быть! — сказала она хрипло. — Неправда...

— Взорвался... — сказал Андрей, с трудом шевеля губами. — Динамитом, наверное, обвязался. Под пиджаком.

— Зачем? — сказала Амалия. Она закусила губу, глаза ее налились слезами, слезы побежали по маленькому белому лицу, повисли на подбородке.

— Не понимаю, — сказал Андрей беспомощно. — Ничего не понимаю... — Он бессмысленно уставился в письмо. — Виделись же недавно... Ну, ругались, ну, спорили... — Он снова посмотрел на Амалию. — Может, он приходил ко мне на прием? Может, я его не принял?

Амалия, закрыв лицо руками, трясла головой.

И вдруг Андрей почувствовал злость. Даже не злость, а бешеное раздражение, какое испытал сегодня в раздевалке после душа. Какого

дьявола! Какого еще им рожна?! Чего им не хватает, этой швали?.. Идиот! Что он этим доказал? Свиньей он не хочет быть, свинопасом он не хочет быть... Скучно ему! Ну и катись к такой матери со своей скукой!..

— Перестань реветь! — заорал он на Амалию. — Вытри сопли и ступай к себе.

Он отшвырнул от себя бумаги, вскочил и снова подошел к окну.

На площади чернела огромная толпа. В центре этой толпы было пустое серое пространство, оцепленное голубыми мундирами, и там копошились люди в белых халатах. Карета «скорой помощи» надрывно завывала сиреной, пытаясь расчистить себе дорогу...

...Ну и что же ты все-таки доказал? Что не хочешь с нами жить? А зачем это было доказывать и кому? Что ненавидишь нас? Зря. Мы делаем все, что нужно. Мы не виноваты, что они свиньи. Они были свиньями и до нас, и после нас они останутся свиньями. Мы можем только накормить их и одеть, и избавить от животных страданий, а духовных страданий у них сроду не было и быть не может. Что мы — мало сделали для них? Посмотри, каким стал город. Чистота, порядок, прошлого бардака и в помине нет, жратвы — вволю, тряпок — вволю, скоро и зрелищ будет вволю, дай только срок, — а что им еще нужно?.. А ты, ты что сделал? Вот отскребут сейчас санитары кишки твои от асфальта — вот и все твои дела... А нам работать и работать, целую махину ворочать, потому что все, чего мы пока добились, это только начало, это все еще нужно сохранить, милый мой, а сохранивши — приумножить... Потому что на Земле, может быть, и нет над людьми ни Бога, ни дьявола, а здесь — есть... Демократ ты вонючий, народник-угодник, брат моих братьев...

Но перед глазами у него все стоял Денни, каким он был в последнюю их встречу, месяц или два назад, — усохший весь какой-то, замученный, словно больной, и тайный какой-то ужас прятался в его потухших печальных глазах, — и как он сказал в самом конце беспорядочного и бестолкового спора, уже поднявшись и бросив на серебряное блюдечко смятые бумажки: «Господи, ну чего ты расхвастался передо мной? Живот он кладет на алтарь... Для чего? Людей накормить от пуза! Да разве же это задача? В задрипанной Дании это уже умеют делать много лет. Ладно, пусть я не имею права, как ты выражаешься, распинаться от имени всех. Пусть не все, но мы-то с тобой точно знаем, что людям не это надо, что по-настоящему нового мира так не построишь!..» — «А как же, мать твою туда и сюда, его строить? Как?!» — заорал тогда Андрей, но Денни только махнул рукой и не стал больше разговаривать.

Зазвонил белый телефон. Андрей нехотя вернулся к столу и взял

трубку.

— Андрей? Это Гейгер говорит.

— Здравствуй, Фриц.

— Ты его знал?

— Да.

— И что ты об этом думаешь?

— Истерик, — сказал Андрей сквозь зубы. — Слякоть.

Гейгер помолчал.

— Письмо ты получил от него?

— Да.

— Странный человек, — сказал Гейгер. — Ну ладно. Жду тебя к двум.

Андрей положил трубку, и телефон зазвонил снова. На этот раз звонила Сельма. Она была очень встревожена. Слух о взрыве уже докатился до Белого Двора, по дороге, разумеется, исказился до неузнаваемости, и теперь на Белом Дворе царила тихая паника.

— Да цело, цело все, — сказал Андрей. — И я цел, и Гейгер цел, и Стеклянный Дом цел... Ты Румеру звонила?

— Какой, к черту, Румер? — возмутилась Сельма. — Я без памяти из салона прибежала — Дольфюсиха туда ворвалась, вся белая, штукатурка сыплется, и вопит, что на Гейгера было покушение и полдома снесло...

— Ну ладно, — сказал Андрей нетерпеливо. — Мне некогда.

— Ты можешь мне сказать, что произошло?

— Один маньяк... — Андрей остановился, спохватившись. — Болван какой-то тащил взрывчатку через площадь и уронил, наверное.

— Это точно не покушение? — настойчиво спросила Сельма.

— Да не знаю я! Румер этим занимается, а я ничего не знаю!

Сельма подышала в трубку.

— Врешь ты все, наверное, господин советник, — сказала она и дала отбой.

Андрей обогнул стол и вернулся к окну. Толпа уже почти рассосалась. Санитаров не было, «скорой помощи» — тоже. Несколько полицейских поливали из брандспойтов пространство вокруг неглубокой выщерблины в бетоне. И ковыляла в обратном направлении старуха, толкая перед собой коляску с младенцем. И все.

Он подошел к двери и выглянул в приемную. Амалия была на своем месте — строгая, с поджатыми губами, совершенно неприступная — пальцы с обычной бешеной скоростью порхают по клавишам, на лице — никаких следов слез, соплей и прочих эмоций. Андрей смотрел на нее с нежностью. Молодец баба, подумал он. Хрен тебе, сказал он Варейкису с

огромным злорадством. Я скорее уж тебя отсюда вышибу к чертовой матери... Амалию вдруг заслонили. Андрей поднял глаза. На нечеловеческой высоте над ним искательно маячила сплющенная с боков физиономия Эллизауэра из транспортного.

— А, — сказал Андрей. — Эллизауэр... Извините, я вас сегодня не приму. Завтра с утра, пожалуйста.

Не говоря ни слова, Эллизауэр переломился пополам в поклоне и исчез. Амалия уже стояла с блокнотом и карандашом наготове.

— Господин советник?

— Зайдите на минутку, — сказал Андрей.

Он вернулся к столу, и сейчас же снова зазвонил белый телефон.

— Воронин? — проговорил гнусавый прокуренный голос. — Румер тебя беспокоит. Ну, как ты там?

— Прекрасно, — сказал Андрей, показывая Амалии рукой: не уходи, мол, я сейчас.

— Жена как?

— Все хорошо, привет тебе передавала. Кстати, пошли к ней сегодня двоих из отдела обслуживания, там по хозяйству надо...

— Двоих? Ладно. Куда?

— Пусть ей позвонят, она скажет. Пусть сейчас прямо и позвонят.

— Ладно, — сказал Румер. — Сделаю. Не сразу, может быть, но сделаю... Я тут, понимаешь, совсем с этим барахлом зашился. Официальную версию знаешь?

— Откуда? — сердито сказал Андрей.

— В общем, так. Несчастный случай со взрывчаткой. При переносе взрывчатых веществ. Во время транспортировки. Подробности выясняются.

— Понял.

— Шел, значит, какой-то работяга-взрывник, ну и нес эту взрывчатку... Или, скажем, ее вез куда-то там... Пьяный.

— Да понял, понял я, — сказал Андрей. — Правильно. Молодец.

— Ага, — сказал Румер. — Ну там, споткнулся он или... В общем, подробности выясняются. Виновные будут наказаны. Информашку сейчас размножат и тебе принесут. Ты только вот что. Письмо ты ведь получил? Кто его у тебя там читал?

— Никто.

— А секретарь?

— Я тебе говорю: никто. Личные письма я всегда вскрываю сам.

— Правильно, — сказал Румер с одобрением. — Это у тебя правильно

поставлено. А то у некоторых, понимаешь, такой кабак развели с письмами... Кто попало читает... Значит, у тебя никто не читал. Это хорошо. Ты его спрячь хорошенько, это письмо, — по форме два нуля. Там к тебе сейчас зайдет один мой холуек, так ты ему отдай, ладно?

— Это зачем? — спросил Андрей.

Румер затруднился.

— Да ведь как сказать... — промямлил он. — Может, и пригодится... Ты его вроде бы знал?..

— Кого?

— Ну, этого... — Румер хихикнул. — Работягу этого... со взрывчаткой...

— Знал.

— Ну, по телефону мы с тобой не будем, а этот холуек мой, он задаст тебе пару вопросов, ты уж ему ответь.

— Некогда мне с ним, — сказал Андрей сердито. — Меня Фриц к себе вызвал.

— Да ну, пять минут, — заныл Румер, — ну чего тебе стоит, ей-богу... На два вопроса ответить уже не можешь...

— Ну ладно, ладно, — нетерпеливо сказал Андрей. — У тебя все?

— Я ведь его к тебе уже направил, через минуту у тебя будет. Цвирик его фамилия. Старший адъютор...

— Ну хорошо, хорошо, договорились.

— Два вопроса всего. Не задержит он тебя...

— У тебя все? — снова спросил Андрей.

— Все. Мне тут еще других советников обзвонить надо.

— Ты вот людей к Сельме не забудь направить.

— Да не забуду. Я тут у себя записал. Пока.

Андрей повесил трубку и сказал Амалии:

— Имей в виду, ты ничего не видела и не слышала.

Амалия испуганно взглянула на него и молча ткнула пальцем в сторону окна.

— Вот именно, — сказал Андрей. — Не знаешь никаких имен и не знаешь, что вообще произошло...

Дверь приотворилась, и в кабинет просунулась смутно знакомая бледная физиономия с кислыми глазками.

— Подождите! — резко сказал Андрей. — Я вас вызову.

Физиономия исчезла.

— Поняла? — сказал Андрей. — За окном грохнуло, и больше ты ничего не знаешь. Официальная версия такая: шел пьяный работяга, нес

взрывчатку со склада, виновные выясняются. — Он помолчал, раздумывая. — Где я эту харю видел? И фамилия знакомая... Цвирик... Цвирик...

— Зачем же он это сделал? — тихо спросила Амалия. Глаза у нее снова подозрительно увлажнились.

Андрей нахмурился.

— Давай-ка сейчас не будем об этом. Потом. Иди позови сюда этого холуя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда они уселись за стол, Гейгер сказал Изе:

— Угощайся, мой еврей. Угощайся, мой славный.

— Я не твой еврей, — возразил Изя, наваливая себе на тарелку салат. — Я тебе сто раз уже говорил, что я — свой собственный еврей. Вот твой еврей. — Он ткнул вилкой в сторону Андрея.

— А томатного сока нет? — спросил брюзгливо Андрей, оглядывая стол.

— Хочешь томатного? — спросил Гейгер. — Паркер! Томатный сок господину советнику!

В дверях столовой возник рослый румяный молодец — личный адъютант президента, — малиново позванивая шпорами, приблизился к столу и с легким поклоном поставил перед Андреем запотевший графинчик с томатным соком.

— Спасибо, Паркер, — сказал Андрей. — Ничего, я сам налью.

Гейгер кивнул, и Паркера не стало.

— Дрессировочка! — прошамкал Изя набитым ртом.

— Славный парнишка, — сказал Андрей.

— А вот у Манджуро за обедом водку подают, — сказал Изя.

— Стукач! — сказал ему Гейгер с упреком.

— Почему это? — удивился Изя.

— Если Манджуро в рабочее время жрет водку, я должен его наказать.

— Всех не перестреляешь, — сказал Изя.

— Смертная казнь отменена, — сказал Гейгер. — Впрочем, точно не помню. Надо у Чачуа спросить...

— А что случилось с предшественником Чачуа? — невинно осведомился Изя.

— Это была чистая случайность, — сказал Гейгер. — Перестрелка.

— Между прочим, отличный был работник, — заметил Андрей. —

Чачуа свое дело знает, но шеф!.. Это был феноменальный человек.

— Н-да, наломали мы тогда дров... — сказал Гейгер задумчиво. — Молодо-зелено...

— Все хорошо, что хорошо кончается, — сказал Андрей.

— Еще ничего не кончилось! — возразил Изя. — Откуда вы взяли, что все уже кончилось?

— Ну, пальба-то, во всяком случае, кончилась, — проворчал Андрей.

— Настоящая пальба еще и не начиналась, — объявил Изя. — Слушай, Фриц, на тебя были покушения?

Гейгер нахмурился.

— Что за идиотская мысль? Конечно, нет.

— Будут, — пообещал Изя.

— Спасибо, — сказал Гейгер холодно.

— Будут покушения, — продолжал Изя, — будет взрыв наркомании. Будут сытые бунты. Хиппи уже появились, я о них и не говорю. Будут самоубийства протеста, самосожжения, самовзрывания... Впрочем, они уже есть.

Гейгер и Андрей переглянулись.

— Пожалуйста, — сказал Андрей с досадой. — Уже знает.

— Интересно, откуда? — проговорил Гейгер, рассматривая Изю прищуренными глазами.

— Что я знаю? — спросил Изя быстро. Он положил вилку. — Погодите-ка!.. А! Так, значит, это было самоубийство протеста? То-то я думаю — что за бред собачий? Взрывники какие-то пьяные с динамитом шляются... Вот оно что! А я, честно говоря, вообразил, что это — попытка покушения... Понятно... А кто это был на самом деле?

— Некто Денни Ли, — сказал Гейгер, помолчав. — Андрей его знал.

— Ли... — задумчиво проговорил Изя, рассеянно растирая по лацкану пиджака брызги майонеза. — Денни Ли... Подожди, он такой тощий... Журналист?

— Ты его тоже знал, — сказал Андрей. — Помнишь, у меня в газете...

— Да-да-да! — воскликнул Изя. — Правильно! Вспомнил.

— Только ради бога, держи язык за зубами, — сказал Гейгер.

Изя с обычной своей окаменевшей улыбкой взялся за бородавку на шее.

— Вот это, значит, кто... — бормотал он. — Понятно... Понятно... Обложился, значит, взрывчаткой и вышел на площадь... Письма, наверное, разослал по всем газетам, чудак... Так-так-так... И что ты теперь намерен предпринять? — обратился он к Гейгеру.

— Я уже предпринял, — сказал Гейгер.

— Ну да, ну да! — нетерпеливо сказал Изя. — Все засекретил, дал официальное вранье, Румера спустил с цепи, — я не об этом. Что ты вообще об этом думаешь? Или ты полагаешь, что это случайность?

— Н-нет. Я не полагаю, что это случайность, — медленно сказал Гейгер.

— Слава богу! — воскликнул Изя.

— А ты что думаешь? — спросил его Андрей.

Изя быстро повернулся к нему.

— А ты?

— Я думаю, что во всяком порядочном обществе должны существовать свои маньяки. Денни был маньяк, это совершенно точно. У него был явный сдвиг на почве философии. И в городе он, конечно, не один такой...

— А что он говорил? — жадно спросил Изя.

— Он говорил, что ему скучно. Он говорил, что мы не нашли настоящую цель. Он говорил, что вся наша работа по повышению уровня жизни — чепуха и ничего не решает. Он много чего говорил, а сам ничего путного предложить не мог. Маньяк. Истерик.

— А чего бы он все-таки хотел? — спросил Гейгер.

Андрей махнул рукой.

— Обычная народническая чушь. «Вынесет все и широкую, ясную...»

— Не понимаю, — сказал Гейгер.

— Ну, он полагал, что задача просвещенных людей — поднимать народ до своего просвещенного уровня. Но как за это взяться, он, конечно, не знал.

— И поэтому убил себя?.. — с сомнением сказал Гейгер.

— Я же тебе говорю — маньяк.

— А твое мнение? — спросил Гейгер Изю.

Изя не задумался ни на секунду.

— Если маньяком, — сказал он, — называть человека, который бьется над неразрешимой проблемой, — тогда да, он был маньяк. И ты, — Изя ткнул пальцем в Гейгера, — его не поймешь. Ты относишься к людям, которые берутся только за разрешимые проблемы.

— Положим, — сказал Андрей, — Денни был совершенно уверен, что его проблема разрешима.

Изя отмахнулся от него.

— Вы оба ни черта не понимаете, — объявил он. — Вот вы полагаете себя технократами и элитой. Демократ у вас — слово ругательное. Всяк

сверчок да познает приличествующий ему шесток. Вы ужасно презираете широкую массу и ужасно гордитесь этим своим презрением. А на самом деле вы — настоящие, стопроцентные рабы этой массы! Все, что вы ни делаете, вы делаете для массы. Все, над чем вы ломаете голову, все это нужно в первую очередь именно массе. Вы живете для массы. Если бы масса исчезла, вы потеряли бы смысл жизни. Вы жалкие, убогие прикладники. И именно поэтому из вас никогда не получится маньяков. Ведь все, что нужно широкой массе, раздобыть сравнительно нетрудно. Поэтому все ваши задачи — это задачи, заведомо разрешимые. Вы никогда не поймете людей, которые кончают с собой в знак протеста...

— Почему это мы не поймем? — с раздражением возразил Андрей. — Что тут, собственно, понимать? Конечно, мы делаем то, чего хочет подавляющее большинство. И мы этому большинству даем или стараемся дать все, кроме птичьего молока, которое, кстати, этому большинству и не требуется. Но всегда есть ничтожное меньшинство, которому нужно именно птичье молоко. Идея-фикс, понимаете ли, у них. Идея-бзик. Подавай им именно птичье молоко! Просто потому, что именно птичьего молока достать нельзя. Вот так и появляются социальные маньяки. Чего тут не понять? Или ты действительно считаешь, что все это быдло можно поднять до элитарного уровня?

— Не обо мне речь, — сказал Изя, осклабляясь. — Я-то себя рабом большинства, сиречь слугой народа, не считаю. Я никогда на него не работал и не считаю себя ему обязанным...

— Хорошо, хорошо, — сказал Гейгер. — Всем известно, что ты сам по себе. Вернемся к нашим самоубийствам. Ты полагаешь, значит, самоубийства будут, какую бы политику мы ни проводили?

— Они будут именно потому, что вы проводите вполне определенную политику! — сказал Изя. — И чем дальше, тем больше, потому что вы отнимаете у людей заботу о хлебе насущном и ничего не даете им взамен. Людям становится тошно и скучно. Поэтому будут самоубийства, наркомания, сексуальные революции, дурацкие бунты из-за выеденного яйца...

— Да что ты несешь! — сказал Андрей с сердцем. — Ты подумай, что ты несешь, экспериментатор ты вшивый! «Перчику ему в жизнь, перчику!» Так, что ли? Искусственные недостатки предлагаешь создавать? Ты подумай, что у тебя получается!..

— Это не у меня получается, — сказал Изя, протягивая через весь стол искалеченную руку, чтобы взять кастрюльку с соусом. — Это у тебя получается. А вот то, что вы взамен ничего не сможете дать, это факт.

Великие стройки ваши — чушь. Эксперимент над экспериментаторами — бред, всем на это наплевать... И перестаньте на меня бросаться, я же не в осуждение вам говорю. Просто таково положение вещей. Такова судьба любого народника — рядится ли он в тогу технократа-благодетеля или он тщится утвердить в народе некие идеалы, без которых, по его мнению, народ жить не может... Две стороны одного медяка — орел или решка. В итоге — либо голодный бунт, либо сытый бунт — выбирайте по вкусу. Вы выбрали сытый бунт — и благо вам, чего же на меня-то набрасываться?

— Соус на скатерть не лей, — сердито сказал Гейгер.

— Пардон... — Изя рассеянно растер лужу по скатерти салфеткой. — Это же арифметически ясно, — сказал он. — Пусть недовольные составляют только один процент. Если в городе миллион человек — значит, десять тысяч недовольных. Пусть даже десятая процента — тысяча недовольных. Как начнет эта тысяча шуметь под окнами!.. А потом, заметьте, вполне довольных ведь не бывает. Это только вполне недовольные бывают. А так ведь каждому чего-нибудь да не хватает. Всем он, понимаешь, доволен, а вот автомобиля у него нет. Почему? Он, понимаешь, на Земле привык к автомобилю, а здесь у него нет и, главное, не предвидится... Представляете, сколько таких в Городе?

Изя прервал себя и принялся жадно поедать макароны, обильно заливая их соусом.

— Вкусная у вас жратва, — сказал он. — При моих достатках только в Стеклянном Доме и пожрешь по-настоящему...

Андрей посмотрел, как он жрет, фыркнул и налил себе томатного сока. Выпил, закурил сигарету. Вечно у него апокалипсис получается... Семь чаш гнева и семь последних язв...

Быдло есть быдло. Конечно, оно будет бунтовать, на то мы Румера и держим. Правда, бунт сытых — это что-то новенькое, что-то вроде парадокса. На Земле такого, пожалуй, еще не бывало. По крайней мере — при мне. И у классиков ничего об этом не говорится... А, бунт есть бунт... Эксперимент есть Эксперимент, футбол есть футбол... Тьфу!

Он посмотрел на Гейгера. Фриц, откинувшись в кресле, рассеянно и в то же время старательно ковырял пальцем в зубах, и Андрея вдруг ошеломила простая и страшная в своей простоте мысль: ведь это всего-навсего унтер-офицер вермахта, солдафон, недоучка, десяти порядочных книжек за всю свою жизнь не прочитал, а ведь ему — решать!.. Мне, между прочим, тоже решать, подумал он.

— В нашей ситуации, — сказал он Изе, — у порядочного человека просто нет выбора. Люди голодали, люди были замордованы, испытывали

страх и физические мучения — дети, старики, женщины... Это же был наш долг — создать приличные условия существования...

— Ну, правильно, правильно, — сказал Изя. — Я все понимаю. Вами двигали жалость, милосердие и тэ-дэ, и тэ-пэ. Я же не об этом. Жалеть женщин и детей, плачущих от голода, — это нетрудно, это всякий умеет. А вот сумеете вы пожалеть здоровенного сытого мужика с таким вот, — Изя показал, — половым органом? Изнывающего от скуки мужика? Денни Ли, по-видимому, умел, а вы сумеете? Или сразу его — в нагайки?..

Он замолчал, потому что в столовую вошел румяный Паркер в сопровождении двух хорошеньких девушек в белых передничках. Со стола убрали и подали кофе и сбитые сливки. Изя сейчас же ими вымазался и принялся облизываться, как кот, до ушей.

— И вообще, знаете, что мне кажется? — задумчиво проговорил он. — Как только общество решит какую-нибудь свою проблему, сейчас же перед ним встает новая проблема таких же масштабов... нет, еще больших масштабов. — Он оживился. — Отсюда, между прочим, следует одна интересная штука. В конце концов перед обществом встанут проблемы такой сложности, что разрешить их будет уже не в силах человеческих. И тогда так называемый прогресс остановится.

— Ерунда, — сказал Андрей. — Человечество не ставит перед собой проблем, которые оно не способно решить.

— А я и не говорю о проблемах, которые человечество перед собой ставит, — возразил Изя. — Я говорю о проблемах, которые перед человечеством встают. Сами встают. Проблему голода человечество перед собой не ставило. Оно просто голодало...

— Ну, поехали! — сказал Гейгер. — Хватит. Повело блудословить. Можно подумать, у нас никаких дел нет, только языком трепать.

— А какие у нас дела? — удивился Изя. — У меня, например, сейчас обеденный перерыв...

— Как хочешь, — сказал Гейгер. — Я хотел поговорить о твоей экспедиции. Но можно, конечно, и отложить.

Изя замер с кофейником в руке.

— Позволь, — сказал он строго. — Зачем же откладывать? Откладывать не надо, сколько раз уже откладывали...

— Ну, а чего вы треплетесь? — сказал Гейгер. — Уши вянут вас слушать.

— Это какая экспедиция? — спросил Андрей. — За архивами, что ли?

— Великая экспедиция на север! — провозгласил Изя, но Гейгер остановил его, подняв большую белую ладонь.

— Это предварительный разговор, — сказал он. — Но решение об экспедиции я уже принял, средства выделены. Транспорт будет готов месяца через три-четыре. А сейчас надо наметить самые общие цели и программу.

— То есть, экспедиция будет комплексная? — спросил Андрей.

— Да. Изя получит свои архивы, а ты получишь свои наблюдения солнца и что там еще тебе нужно...

— Слава богу! — сказал Андрей. — Наконец-то.

— Но у вас будет, по крайней мере, еще одна цель, — сказал Гейгер. — Дальняя разведка. Экспедиция должна проникнуть на север очень глубоко. Как можно глубже. Насколько хватит горючего и воды. Поэтому людей в группу надо подобрать специальным образом, с большим пристрастием. Только добровольцев и только самых лучших из добровольцев. Никто толком не знает, что там может быть — на севере. Вполне возможно, что вам придется не только искать бумажки и глядеть в ваши трубы, но и стрелять, садиться в осаду, прорываться и так далее. Поэтому в группе будут военные. Кто и сколько — это мы еще уточним...

— Ох, как можно меньше! — сказал Андрей, морщась. — Знаю я твоих военных, работать же будет невыносимо... — Он с досадой отодвинул чашку. — И вообще я не понимаю. Не понимаю, зачем военные. Не понимаю, какая там может быть перестрелка... Там же пустыня, развалины — откуда перестрелка?

— Там, братец, все может быть, — сказал Изя весело.

— Что значит — все? Может быть, там бесы кишмя кишат, так что же нам — попов прикажешь с собой брать?

— Может быть, мне все-таки дадут высказаться до конца? — спросил Гейгер.

— Высказывайся, — проговорил Андрей расстроенно.

Всегда вот так, думал он. Как с обезьяньей лапкой. Уж если и исполнится желание, так с таким привеском, что лучше бы уж и не исполнялось совсем. Ну нет, черта с два. Я эту экспедицию господам офицерам не отдам. Глава экспедиции — Кехада. Глава научной части и всей группы. А иначе идите к чертовой матери, не будет вам никакой космографии, и пусть ваши фельдфебели одним Изей командуют. Экспедиция — научная, значит, во главе — ученый... Тут он вспомнил, что Кехада неблагонадежен, и это воспоминание так его разозлило, что он пропустил часть того, что говорил Гейгер.

— Что-что? — спросил он, встрепенувшись.

— Я тебя спрашиваю: на каком расстоянии от города может быть

конец мира?

— Точнее — начало, — вставил Изя.

Андрей сердито пожал плечами.

— Ты мои докладные, вообще, читаешь? — спросил он у Гейгера.

— Читаю, — сказал Гейгер. — Там у тебя говорится, что при удалении на север солнце будет склоняться к горизонту. Очевидно, что где-то далеко на севере оно сядет за горизонт и вообще скроется из виду. Так вот я тебя и спрашиваю: как далеко до этого места, — ты можешь сказать?

— Не читаешь ты моих докладных, — сказал Андрей. — Если бы ты их читал, ты бы понял, что я всю эту экспедицию затеваю именно для того, чтобы выяснить, где это самое начало мира.

— Это я понял, — терпеливо сказал Гейгер. — Я тебя спрашиваю: приближенно. Хотя бы приближенно можешь ты мне назвать это расстояние? Сколько это — тысяча километров? Сто тысяч? Миллион?.. Мы устанавливаем цель экспедиции, понимаешь? Если эта цель на расстоянии миллион километров, то это уже и не цель. А если...

— Ясно, ясно, — сказал Андрей. — Так бы и говорил. Значит, так... Тут вся трудность в том, что мы не знаем ни кривизны мира, ни расстояния до солнца. Если бы у нас было много наблюдений вдоль всей линии Города — понимаешь? — не нынешнего города, а от начала до конца, — тогда мы могли бы определить эти величины. Большая дуга нужна, понимаешь? По крайней мере — несколько сотен километров. А у нас весь материал на дуге в пятьдесят километров. Поэтому и точность ничтожная.

— Дай мне самый минимум и самый максимум, — сказал Гейгер.

— Максимум — бесконечность, — сказал Андрей. — Это если мир плоский. А минимум — порядка тысячи километров.

— Дармоеды вы, — сказал Гейгер с отвращением. — Сколько я в вас денег всадил, а толку от вас...

— Ты это брось, — сказал Андрей. — Я у тебя два года добиваюсь экспедиции. Хочешь знать, в каком мире ты живешь, — деньги давай, транспорт давай, людей... Иначе ничего не будет. Нам и всего-то нужна дуга километров в пятьсот. Промерим гравитацию, изменение яркости, изменение по высоте...

— Хорошо, — прервал его Гейгер. — Не будем сейчас об этом говорить. Это детали. Вы только уясните себе, что одна из целей экспедиции — добраться до начала мира. Уяснили?

— Уяснили, — сказал Андрей. — Но зачем это тебе надо — непонятно.

— Я хочу знать, что там есть, — сказал Гейгер. — А там есть что-то.

Что-то такое, от чего многое может зависеть.

— Например? — спросил Андрей.

— Например, Антигород.

Андрей фыркнул.

— Антигород... Ты что, до сих пор в него веришь?

Гейгер поднялся и, заложив руки за спину, прошелся по столовой.

— Веришь, не веришь... — сказал он. — Я должен знать точно: существует он или не существует.

— Лично мне, — сказал Андрей, — давным-давно уже стало ясно, что Антигород — это просто выдумка старого руководства...

— Вроде Красного Здания, — тихонько сказал Изя, хихикнув.

Андрей нахмурился.

— Красное Здание здесь ни при чем. Гейгер и сам утверждал, что старое руководство готовило военную диктатуру, ему нужна была угроза извне — вот вам и Антигород.

Гейгер остановился перед ним.

— А почему ты, собственно, так протестуешь против похода до самого конца? Неужели тебе самому нисколько не любопытно, что там может быть? Вот дал мне господь советничков!

— Да ничего там нет! — сказал Андрей, несколько, впрочем, потерявшись. — Холодина там, вечная ночь, ледяная пустыня... Обратная сторона Луны, понимаешь?

— Я располагаю другими сведениями, — сказал Гейгер. — Антигород существует. Никакой там ледяной пустыни нет, а если она и есть, то ее можно пройти. Там город, такой же, как у нас, но что там происходит, мы не знаем, и чего они там хотят — мы тоже не знаем. А вот рассказывают, например, что у них там все наоборот. Когда у нас хорошо — у них там плохо... — Он оборвал себя и снова заходил по столовой.

— Господи, — сказал Андрей. — Что за бред?..

Он взглянул на Изю и осекся. Изя сидел, закинув руку за спинку кресла, галстук у него съехал под ухо, а сам он масляно сиял и победно глядел на Андрея.

— Понятно, — сказал Андрей. — Можно узнать, из каких источников у тебя эти сведения? — спросил он Изю.

— Все из тех же, душа моя, — сказал Изя. — История — великая наука. А в нашем Городе она умеет особенно много гитик. Ведь чем, кроме всего прочего, хорош наш город? Архивы в нем почему-то не уничтожаются! Войн нет, нашествий нет, что написано пером, не вырубают топором...

— Архивы твои... — сказал Андрей с досадой.

— Не скажи! Вот Фриц не даст соврать — кто уголь нашел? Триста тысяч тонн угля в подземном хранилище! Геологи твои нашли? Нет-с, Кацман нашел. Не выходя из своего кабинетика, заметь...

— Короче говоря, — сказал Гейгер, снова усаживаясь в свое кресло, — наука наукой, архивы архивами, а я хочу знать следующее. Первое. Что у нас в тылу? Можно ли там жить? Что полезного можно оттуда извлечь? Второе. Кто там живет? На всем протяжении: от этого места, — он постучал ногтем в стол, — и до самого конца мира, или начала, или докуда вы там дойдете... Что это за люди? Люди ли? Почему они там? Как туда попали? Чем живут?.. И третье. Все, что вам удастся выяснить об Антигороде. Это ПОЛИТИЧЕСКАЯ цель, которую я перед вами ставлю. И это — истинная цель экспедиции, Андрей, вот что ты должен понять. Ты поведешь эту экспедицию, выяснишь все, что я сказал, и доложишь результаты мне, здесь, в этой вот комнате.

— Что-что? — сказал Андрей.

— Доложишь. Здесь. Лично.

— Ты хочешь послать туда меня?

— Естественно! А ты как думал?

— Позволь... — Андрей растерялся. — С какой это стати?.. Я вовсе никуда не собирался... У меня дел по горло, на кого я все это брошу?.. Да и не хочу я никуда идти!

— То есть как это — не хочешь? Что же ты мне голову морочил? Если не тебя, кого же я пошлю?

— Господи, — сказал Андрей. — Да кого угодно! Поставь начальником Кехаду... опытнейший разведчик... Или Бутца, например...

Под пристальным взглядом Гейгера он замолчал.

— Давай лучше не будем говорить ни о Кехаде, ни о Бутце, — негромко сказал Гейгер.

Андрей не нашелся что ответить, и наступила неловкая тишина. Потом Гейгер налил себе остывшего кофе.

— В этом городе, — сказал он по-прежнему негромко, — я доверяю буквально двум-трем человекам, не более. Из них возглавить экспедицию можешь только ты. Потому что я уверен: если я попрошу тебя дойти до конца, ты дойдешь до конца. Не повернешь с полдороги и никому не разрешишь повернуть с полдороги. И когда ты потом представишь отчет, я смогу верить этому отчету. Изиному отчету, например, я бы тоже мог поверить, но Изя — ни к черту не годный администратор и совершенно никудышный политик. Понимаешь меня? Поэтому решай. Либо ты

возглавляешь эту экспедицию, либо экспедиция вообще не состоится.

Снова наступило молчание. Изя с неловкостью сказал:

— О-хо-хо-хо-хо... Может, мне выйти, администраторы?

— Сиди, — приказал Гейгер, не поворачиваясь к нему. — Вон — жри пирожные.

Андрей лихорадочно соображал. Все бросить. Сельму. Дом. Налаженную спокойную жизнь... На кой черт мне это сдалось? Амалию. Тащиться куда-то. Жара. Грязь. Дрянная жратва... Постарел я, что ли? Пару лет назад такое предложение привело бы меня в восторг. А сейчас не хочу. Ну вот совсем не хочу... Изя каждый день — в гомерических порциях. Военные. Солдатня. И ведь пешком же, наверное, всю тысячу километров — пешком, да еще с мешком на плечах, и не с пустым, мать его, мешком... И оружие. Мать честная, там ведь стрелять, может быть, придется!.. На фига мне это сдалось — под пулями торчать? На фига козе баян? На хрена волку жилетка — по кустам ее трепать?.. Надо будет дядю Юру взять обязательно — я этим военным ни хрена не верю... Жара, и мозоли, и вонь... А на самом краю — холодина, наверное, проклятущая... Хорошо хоть солнце будет все время в затылок... И Кехаду надо взять, не пойду без Кехады и все — мало ли что ты ему не доверяешь, зато с Кехадой я за научную часть буду спокоен... И столько времени без бабы — это же с ума сойти, я уже так отвык. Но ты мне за это заплатишь. Ты мне штатных единиц, во-первых, в канцелярию подбросишь — в отдел социальной психологии... и в геодезию не мешает... Во-вторых, Варейкису по рукам. И вообще все эти идеологические ограничения — чтобы духу их не было у меня в науке. В других отделах — пожалуйста, это меня не касается... Ведь там же воды нет, елки-палки! Ведь город почему все время на юг ползет — на севере источники иссякают. Что же, прикажете воду с собой тащить? На тысячу километров?..

— Что же — я воду на горбу с собой потащу? — раздраженно спросил он.

Гейгер изумленно задрал брови.

— Какую воду?

Андрей спохватился.

— В общем ладно, — сказал он. — Только военных я сам подберу, раз уж ты так на них настаиваешь. А то насуешь мне разных болванов... И чтобы единоначалие! — грозно сказал он, подняв палец. — Главный — я!

— Ты, ты, — успокаивающе сказал Гейгер. Он улыбался, откинувшись в кресле. — Ты вообще будешь подбирать всех. Единственного человека я тебе навязываю — Изю. Остальные — твои. О хороших механиках

позаботься, врача подбери...

— Кстати, транспорт какой-нибудь будет у меня?

— Будет, — сказал Гейгер. — И транспорт будет настоящий. Такого еще у нас не было. На себе переть ничего не придется, разве что — оружие... Ты не отвлекайся, это все мелочи. Это мы все еще специально обсудим, когда ты подберешь начальников подразделений... Я вот на что хочу обратить ваше внимание. Секретность! Это вы мне, ребята, обеспечьте. Конечно, совсем скрыть такую затею невозможно, значит, придется пустить дезу — за нефтью отправились, например. На двести сороковой километр. Но политические цели экспедиции должны быть известны только вам. Договорились?

— Договорились, — отозвался Андрей озабоченно.

— Изя, это особенно к тебе относится. Слышишь?

— Угу, — сказал Изя с набитым ртом.

— А почему, собственно, такая уж секретность? — спросил Андрей. — Что мы такое собираемся делать, чтобы вокруг этого секретность разводить?

— Не понимаешь? — спросил Гейгер, скривившись.

— Не понимаю, — сказал Андрей. — Совершенно не вижу, что тут такого... угрожающего системе.

— Да не системе, балда! — сказал Гейгер. — Тебе! Тебе это угрожает! Неужели непонятно, что они так же боятся нас, как и мы их?

— Кто — они? Антигорожане твои, что ли?

— Ну естественно! Если мы сообразили послать, наконец, разведку, почему не предположить, что они сделали это давным-давно? Что в Городе полным-полно их шпионов? Не улыбайся, не улыбайся, дурачок! Это тебе не шутки! Налетишь на засаду — вырежут вас всех, как цыплят...

— Ладно, — сказал Андрей. — Убедил. Молчу.

Некоторое время Гейгер с сомнением его рассматривал, потом сказал:

— Ну хорошо. Значит, цели вы поняли. Насчет секретности — тоже. Значит, собственно, все. Сегодня подпишу приказ о твоем назначении руководителем операции... н-ну, скажем... м-м...

— «Мрак и туман», — подсказал Изя, невинно тараща глаза.

— Что? Нет... Слишком длинно. Скажем... «Зигзаг». Операция «Зигзаг». Хорошо звучит, правда? — Гейгер вытянул из нагрудного кармана блокнотик и что-то записал. — Ты, Андрей, можешь приступать к подготовке. Я имею в виду пока чисто научную часть. Подбирай людей, уточняй свои задачи... оборудование заказывай, снаряжение... Твоим заказам я обеспечу зеленую улицу. Кто у тебя заместитель?

— По канцелярии? Бутц.

Гейгер поморщился.

— Ну ладно, — сказал он. — Пусть будет Бутц. Взваливай на него всю канцелярию, а сам полностью переключайся на операцию «Зигзаг»... И предупреди своего Бутца, чтобы поменьше трепал языком! — гаркнул он вдруг.

— Вот что, — сказал Андрей. — Давай с тобой договоримся...

— К черту, к черту! — сказал Гейгер. — Не желаю я сейчас на эти темы разговаривать. Знаю я, что ты мне хочешь сказать! Но рыба гниет с головы, господин советник, а ты развел у себя в канцелярии... ч-черт!..

— Якобинцев, — подсказал Изя.

— А ты, еврей, молчи! — заорал Гейгер. — Черт бы вас всех подрал, болтунов!.. Сбили меня совсем... О чем я говорил?

— Что ты не желаешь на эти темы разговаривать, — сказал Изя.

Гейгер непонимающе уставился на него, и тогда Андрей сказал нарочито спокойно:

— Я очень прошу тебя, Фриц, оградить моих сотрудников от всяческих идеологических благоглупостей. Я этих людей сам подбирал, и я им верю, и если ты действительно хочешь иметь в Городе науку — оставь их в покое.

— Ну хорошо, хорошо, — проворчал Гейгер. — Не будем сегодня об этом...

— Нет, будем, — кротко сказал Андрей, умиляясь самому себе. — Ты ведь меня знаешь — я целиком за тебя. Пойми, пожалуйста: эти люди не могут не брюзжать. Так уж они устроены. Кто не брюзжит, тот ни черта не стоит. Пусть брюзжат! За идеологической нравственностью у себя в канцелярии я уж как-нибудь и сам прослежу. Можешь быть спокоен. И скажи, пожалуйста, нашему дорогому Румеру, чтобы он зарубил на своем павианьем носу...

— А можно без ультиматумов? — высокомерно осведомился Фриц.

— Можно, — сказал Андрей совсем уже кротко. — Все можно. Без ультиматумов можно, без науки можно, без экспедиции можно...

Гейгер, шумно дыша через раздутые ноздри, смотрел на него в упор.

— Я не хочу сейчас говорить на эту тему! — сказал он.

И Андрей понял, что на сегодня хватит. Тем более что и в самом деле на такие темы лучше говорить с глазу на глаз.

— Не хочешь, и не надо, — сказал он примирительно. — Просто к слову пришлось. Варейкис меня сегодня достал, понимаешь... Слушай, тут у меня вот какой вопрос. Общее количество груза, который я смогу с собой

взять. Хотя бы ориентировочно.

Гейгер еще несколько раз с силой выдохнул воздух через ноздри, потом покосился на Изю и снова откинулся в кресле.

— Рассчитывай тонн на пять, на шесть... может быть, и больше, — сказал он. — Свяжись с Манджуро... Только учти, он хоть и четвертое лицо в государстве, но о настоящих целях экспедиции он не знает ничего. За транспорт отвечает он. Через него узнаешь все подробности.

Андрей кивнул.

— Хорошо. А из военных, ты знаешь, кого я хочу взять? Полковника.

Гейгер встрепенулся.

— Полковника? У тебя губа не дура! А с кем я здесь останусь? На полковнике весь генштаб держится...

— Вот и прекрасно, — сказал Андрей. — Значит, полковник одновременно произведет глубокую рекогносцировку. Лично изучит, так сказать, возможный театр. И отношения у меня с ним налажены... Между прочим, ребята, я сегодня устраиваю небольшую вечеринку. Мясо по-бургундски. Вы как?

На лице Гейгера немедленно появилось выражение озабоченности.

— Гм... Сегодня? Не знаю, дружище, не могу сказать точно... Просто не знаю. Возможно, заскочу на минутку.

Андрей вздохнул.

— Ладно уж. Только если сам не придешь, не присылай, пожалуйста, Румера вместо себя, как в прошлый раз. Я, понимаешь, к себе не президента приглашаю, а Фрица Гейгера. В официальных заменителях не нуждаюсь.

— Ну, посмотрим, посмотрим... — сказал Гейгер. — Еще по чашечке? Время есть. Паркер!

Румяный Паркер возник на пороге, выслушал, наклонив голову с идеальным пробором, приказ о кофе и сказал деликатным голосом:

— Господина президента ждет у телефона советник Румер.

— Легок на помине... — проворчал Гейгер, поднимаясь. — Простите, ребята, я сейчас.

Он вышел, и тотчас же явились девочки в белых передничках. Они быстро и бесшумно организовали второй круг кофе и исчезли вместе с Паркером.

— Ну а ты-то придешь? — спросил Андрей Изю.

— С удовольствием, — сказал Изя, хлебая кофе с присвистом и причмокиванием. — А кто будет?

— Полковник будет. Дольфюсы будут, Чачуа, может быть... А кто тебе,

собственно, нужен?

— Дольфюсиха мне, честно говоря, не особенно нужна.

— Ничего, мы на нее Чачуа напустим...

Изя покивал, а потом вдруг сказал:

— А ведь давненько мы не собирались, а?

— Да, брат, дела...

— Врешь, врешь, какие там у тебя дела... Сидишь, коллекцию свою перетираешь... Смотри, не застрелись там случайно... Да! Я тебе, между прочим, пистолетик раздобыл. Настоящий смит-и-вессон, из прерий...

— Честно?!

— Только он ржавый, заржавел весь...

— Не вздумай чистить! — закричал Андрей, подскакивая. — Неси как есть, а то испортишь все, — руки-крюки!.. И не пистолетик это тебе, а револьвер. Где нашел?

— Где надо, там и нашел, — сказал Изя. — Погоди, в экспедиции мы столько найдем — домой не дотащишь...

Андрей поставил чашечку с кофе. Этот аспект экспедиции в голову ему еще не приходил, и он моментально ощутил необычайный подъем, представив себе уникальный набор кольтов, браунингов, маузеров, наганов, парабеллумов, зауэров, вальтеров... и дальше, в глубь времен: дуэльных лефоше и лепажей... огромных абордажных пистолетов со штыком... великолепных самоделок с Дальнего Запада... всех этих неописуемых драгоценностей, о которых он и мечтать не решался, читая и перечитывая каталог частного собрания миллионера Бруннера, каким-то чудом занесенный в Город. Футляры, ящики, склады оружия... Может быть, «чешску збройовку» повезет найти, с шалльдампфером... или «астру-девятьсот»... а может быть, черт побери, и «девятку» — «маузер ноль-восемь», редкость, мечта... Да-а...

— А противотанковые мины ты не собираешь? — спросил Изя. — Или, скажем, кулеврины?

— Нет, — сказал Андрей, радостно улыбаясь. — Я только личное стрелковое оружие...

— А то вот предлагают по случаю базуку, — сказал Изя. — Недорого просят — всего двести тугриков.

— Насчет базуки, братец, иди ты к Румеру, — сказал Андрей.

— Спасибо. У Румера я уже бывал, — сказал Изя, и улыбка его застыла.

А, ч-черт, подумал Андрей с неловкостью, но тут, к счастью, вернулся Гейгер. Он был доволен.

— А ну-ка, налейте чашечку президенту, — сказал он. — О чем вы здесь?..

— О литературе и искусстве, — сказал Изя.

— О литературе? — Гейгер отхлебнул кофе. — Ну-ка, ну-ка! Что именно мои советники говорят о литературе?

— Да треплется он, — сказал Андрей. — О моей коллекции мы говорили, а не о литературе.

— А что это вдруг тебя заинтересовала литература? — спросил Изя, с любопытством глядя на Гейгера. — Такой был всегда практичный президент...

— Потому и заинтересовала, что практичный, — сказал Гейгер. — Считайте, — предложил он и принялся загибать пальцы. — В городе выходят: два литературных журнала, четыре литературных приложения к газетам, по крайней мере десяток серийных выпусков приключенческой белиберды... вот и все, кажется. И еще полтора десятка названий книг в год. И при этом — ничего сколько-нибудь приличного. Я говорил со сведущими людьми. Ни до Поворота, ни после в Городе не появилось ни одного сколько-нибудь значительного литературного произведения. Одна макулатура. В чем дело?

Андрей и Изя переглянулись. Да, Гейгер всегда умел удивить, ничего не скажешь.

— Что-то я тебя все-таки не понимаю, — сказал Изя Гейгеру. — Какое, собственно, тебе до этого дело? Ищешь писателя, чтобы поручить ему свое жизнеописание?

— А если без шуточек? — терпеливо сказал Гейгер. — В Городе миллион человек. Больше тысячи числятся литераторами. И все бездари. То есть сам я, конечно, не читаю...

— Бездари, бездари, — кивнул Изя. — Правильно тебя информировали. Ни Толстых, ни Достоевских не видно. Ни Львов, ни даже Алексеев...

— А в самом деле, почему? — спросил Андрей.

— Писателей выдающихся — нет, — продолжал Гейгер. — Художников — нет. Композиторов — нет. Этих... скульпторов тоже нет.

— Архитекторов нет, — подхватил Андрей. — Киношников нет...

— Ничего такого нет, — сказал Гейгер. — Миллион человек! Меня это сначала просто удивило, а потом, честно говоря, встревожило.

— Почему? — сейчас же спросил Изя.

Гейгер в нерешительности пожевал губами.

— Трудно объяснить, — признался он. — Сам я, лично, не знаю, зачем

все это нужно, но я слыхал, что в каждом порядочном обществе все это есть. А раз у нас этого нет, значит, что-то не в порядке... Я рассуждаю так. Ну, хорошо: до Поворота жизнь в городе была тяжелая, стоял кабак, и было, предположим, не до изящных искусств. Но вот жизнь в общем налаживается...

— Нет, — перебил его Андрей задумчиво. — Это здесь ни при чем. Насколько я знаю, лучшие мастера мира работали как раз в обстановке ужасных кабаков. Тут нет никакой закономерности. Мастер мог быть нищим, сумасшедшим, пьяницей, а мог быть и вполне обеспеченным, даже богатым человеком, как Тургенев, например... Не знаю.

— Во всяком случае, — сказал Изя Гейгеру, — если ты собираешься, например, резко повысить уровень жизни своих литераторов...

— Да! Например! — Гейгер снова отхлебнул кофе и, облизывая губы, стал смотреть на Изю прищуренными глазами.

— Ничего из этого не выйдет, — сказал Изя с каким-то удовлетворением. — И не надейся!

— Погодите, — сказал Андрей. — А может быть, талантливые творческие люди просто не попадают в Город? Не соглашаются сюда идти?

— Или, скажем, им не предлагают, — сказал Изя.

— Бросьте, — сказал Гейгер. — Пятьдесят процентов населения Города — молодежь. На Земле они были никто. Как можно было определить, творческие они или нет?

— А может быть, как раз и можно определить, — сказал Изя.

— Пусть так, — сказал Гейгер. — В Городе несколько десятков тысяч человек, которые родились и выросли здесь. Как с ними? Или талант — это обязательно наследственное?

— Вообще-то, действительно, странно, — сказал Андрей. — Инженеры в Городе есть прекрасные. Ученые — очень неплохие. Может быть, не Менделеевы, но на крепком мировом уровне. Взять того же Бутца... Талантливых людей пропасть — изобретатели, администраторы, ремесленники... вообще всякие прикладники...

— То-то и оно, — сказал Гейгер. — Это-то меня и удивляет.

— Слушай, Фриц, — сказал Изя. — Ну зачем тебе лишние хлопоты? Ну, появятся у тебя талантливые писатели, ну, начнут они тебя костерить в своих гениальных произведениях — и тебя, и твои порядки, и твоих советников... И пойдут у тебя самые неприятные неприятности. Сначала ты будешь их уговаривать, потом начнешь грозить, потом придется тебе их сажать...

— Да почему это они будут меня обязательно костерить? —

возмутился Гейгер. — А может быть, наоборот, — воспевать?

— Нет, — сказал Изя. — Воспевать они не станут. Тебе же Андрей сегодня объяснил насчет ученых. Так вот, великие писатели тоже всегда брюзжат. Это их нормальное состояние, потому что они — это больная совесть общества, о которой само общество, может быть, даже и не подозревает. А поскольку символом общества являешься в данном случае ты, тебе в первую очередь и накидают банок... — Изя хихикнул. — Воображаю, как они расправятся с твоим Румером!

Гейгер пожал плечом.

— Конечно, если у Румера есть недостатки, настоящий писатель обязан их изобразить. На то он и писатель, чтобы врачевать язвы...

— Сроду писатели не врачевали никаких язв, — возразил Изя. — Больная совесть просто болит, и все...

— В конце концов, не в этом дело, — прервал его Гейгер. — Ты мне прямо ответь: нынешнее положение ты считаешь нормальным или нет?

— А что считать за норму? — спросил Изя. — Можно считать нормальным положение на Земле?

— Понес, понес! — сказал Андрей, сморщившись. — Тебя же просто спрашивают: может существовать общество без творческих талантов? Правильно я понял, Фриц?

— Я даже спрошу точнее, — сказал Гейгер. — Нормально ли, чтобы миллион человек — все равно, здесь или на Земле — за десятки лет не дал ни одного творческого таланта?

Изя молчал, рассеянно теребя свою бородавку, а Андрей сказал:

— Если судить, скажем, по Древней Греции, то очень ненормально.

— Тогда в чем же дело? — спросил Гейгер.

— Эксперимент есть Эксперимент, — сказал Изя. — Но если судить, например, по монголам, то у нас все в порядке.

— Что ты хочешь этим сказать? — подозрительно спросил Гейгер.

— Ничего особенного, — удивился Изя. — Просто их тоже миллион, а может быть, даже и больше. Можно привести в пример еще, скажем, корейцев... почти любую арабскую страну...

— Ты еще возьми цыган, — сказал Гейгер недовольно.

Андрей оживился.

— А кстати, ребята, — сказал он. — А цыгане в Городе есть?

— Провалиться вам! — сердито сказал Гейгер. — Совершенно невозможно с вами серьезно разговаривать...

Он хотел добавить еще что-то, но тут на пороге возник румяный Паркер, и Гейгер сейчас же посмотрел на часы.

— Ну, все, — сказал он, поднимаясь. — Понеслась!.. — Он вздохнул и принялся застегивать френч. — По местам! По местам, советники! — сказал он.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Отто Фрижа не соврал: ковер был действительно роскошный. Он был черно-багровый, глубоких благородных оттенков, он занял всю левую стену в кабинете, напротив окон, и кабинет с ним приобрел совершенно особенный вид. Это было дьявольски красиво, это было элегантно, это было значительно.

В полном восторге Андрей чмокнул Сельму в щеку, и она снова ушла на кухню командовать прислугой, а Андрей походил по кабинету, рассматривая ковер со всех точек зрения, приглядываясь к нему то впрямую, то искоса, боковым зрением, потом раскрыл заветный шкаф и извлек оттуда здоровенный маузер — десятизарядное чудовище, рожденное в спецотделе Маузерверке, излюбленное, прославившееся в гражданскую войну оружие комиссаров в пыльных шлемах, а также японских императорских офицеров в шинелях с воротниками собачьего меха.

Маузер был чистый, воронено отсвечивающий, на вид совершенно готовый к бою, но, к сожалению, со сточенным бойком. Андрей подержал его двумя руками, покачивая на весу, потом взялся за округлую рифленую рукоять, опустил, а затем поднял на уровень глаз и прицелился в ствол яблони за окном, как Гейгер на стрельбище.

Потом он повернулся к ковру и некоторое время выбирал место. Место скоро нашлось. Андрей сбросил туфли, залез с ногами на кушетку и приложил к месту маузер. Прижимая его к ковру одной рукой, он откинулся как можно дальше назад и полюбовался. Это было прекрасно. Он соскочил на пол, в одних носках опрометью побежал в прихожую, вытащил из стенного шкафа ящик с инструментом и вернулся обратно к ковру.

Он повесил маузер, потом люгер с оптическим прицелом (из этого люгера Копчик застрелил насмерть двух милиционеров в последний день Поворота) и возился с браунингом модели девятьсот шестого года — маленьким, почти квадратным, — когда знакомый голос за спиной произнес:

— Правее, Андрей, чуть правее. И на сантиметр ниже.

— Так? — спросил Андрей, не оборачиваясь.

— Так.

Андрей закрепил браунинг, задом спрыгнул с кушетки и попятился к самому столу, озирая дело рук своих.

— Красиво, — похвалил Наставник.

— Красиво, но мало, — сказал Андрей со вздохом.

Наставник, неслышно ступая, подошел к шкафу, присел на корточки, покопался и достал армейский наган.

— А это? — спросил он.

— Деревяшек на рукоятке нет, — сказал Андрей с сожалением. — Все время собираюсь заказать и каждый раз забываю... — Он надел туфли, присел на подоконник рядом со столом и закурил. — Сверху у меня будет дуэльный арсенал. Первая половина девятнадцатого века. Красивейшие экземпляры попадаются, с серебряной насечкой, и формы самые удивительные — от таких вот маленьких до огромных, длинноствольных...

— Лепажи, — сказал Наставник.

— Нет, лепажи как раз маленькие... А внизу, над самой кушеткой, я развешу боевое оружие семнадцатого-восемнадцатого веков...

Он замолчал, представляя себе, как это будет прекрасно. Наставник, сидя на корточках, копался в шкафу. За окном неподалеку стрекотала машинка для стрижки газонов. Чирикали и посвистывали птицы.

— Хорошая идея — повесить здесь ковер, верно? — сказал Андрей.

— Прекрасная, — сказал Наставник, поднимаясь. Он вытащил из кармана носовой платок и вытер руки. — Только торшер я бы поставил в тот угол, рядом с телефоном. И телефон нужно белый.

— Белый мне не полагается, — сказал Андрей со вздохом.

— Ничего, — сказал Наставник. — Вернешься из экспедиции — будет у тебя и белый.

— Значит, это правильно, что я согласился идти?

— А у тебя были сомнения?

— Да, — сказал Андрей и погасил окурок в пепельнице. — Во-первых, мне не хотелось. Просто не хотелось. Дома хорошо, жизнь наладилась, много работы. Во-вторых, если говорить честно, — страшновато.

— Ну-ну-ну, — сказал Наставник.

— Нет, в самом деле. Вот вы — вы можете мне сказать, с чем я там встречусь? Вот видите! Полная неизвестность... Десяток страшных Изиных легенд и полная неизвестность... Ну и плюс все прелести походной жизни. Знаю я эти экспедиции! И в археологических я бывал, и во всяких прочих...

И тут, как он и ожидал, Наставник спросил с интересом:

— А что в этих экспедициях... как бы это выразиться... что в них самое страшное, что ли, самое неприятное?

Андрей очень любил этот вопрос. Ответ на него он придумал очень давно и даже записал в книжечку, и впоследствии неоднократно использовал его в разговорах с разными девицами.

— Самое страшное? — повторил он для разгону. — Самое страшное — это вот что. Представьте себе: палатка, ночь, пустыня вокруг, безлюдье, волки воют, град, буря... — Он сделал паузу и посмотрел на Наставника, который весь подался вперед, слушая. — Град, понимаете? С голубиное яйцо величиной... И надо идти по нужде.

Напряженное ожидание на лице Наставника сменилось несколько растерянной улыбкой, потом он расхохотался.

— Смешно, — сказал он. — Сам придумал?

— Сам, — гордо сказал Андрей.

— Молодец, смешно... — Наставник опять засмеялся, крутя головой. Потом он сел в кресло и стал смотреть в сад. — А хорошо здесь у вас, на Белом Дворе, — сказал он.

Андрей обернулся и тоже посмотрел в сад. Залитая солнцем зелень, бабочки над цветами, неподвижные яблони, а метрах в двухстах, за кустами сирени — белые стены и красная крыша соседнего коттеджа... И Ван в длинной белой рубахе неторопливо, покойно шагает за стрекочущей машинкой, а его младшенький семенит рядом, ухватившись за его штанину...

— Да, Ван обрел покой, — сказал Наставник. — Может быть, это и есть самый счастливый человек в Городе.

— Очень может быть, — согласился Андрей. — Во всяком случае, про других своих знакомых я бы этого не сказал.

— Ну, такой уж у тебя сейчас круг знакомых, — возразил Наставник. — Ван среди них — исключение. Я бы даже просто сказал, что он вообще человек другого круга. Не твоего.

— Да-а, — задумчиво протянул Андрей. — А ведь когда-то вместе грузили мусор, за одним столом сидели, из одной кружки пили...

Наставник пожал плечами.

— Каждый получает то, чего он заслуживает.

— То, чего он добивается, — пробормотал Андрей.

— Можно и так сказать. Если угодно, это одно и то же. Вану ведь всегда хотелось быть в самом низу. Восток есть Восток. Нам этого не понять. Вот и разошлись ваши дорожки.

— Самое забавное, — сказал Андрей, — что ведь мне с ним по-прежнему хорошо. У нас всегда есть о чем поговорить, есть что вспомнить... Когда я с ним, я никогда не испытываю неловкости.

— А он?

Андрей подумал.

— Не знаю. Но скорее да, чем нет. Иногда мне вдруг кажется, что он изо всех сил старается держаться от меня подальше.

Наставник потянулся, хрустнув пальцами.

— Да разве в этом дело? — сказал он. — Когда Ван сидит с тобой за бутылкой водки и вы вспоминаете, как оно все было, Ван отдыхает, согласись. А когда ты сидишь с полковником за бутылкой шотландского, разве кто-нибудь из вас отдыхает?

— Какой уж тут отдых, — пробормотал Андрей. — Чего там... Полковник мне просто нужен. А я — ему.

— А когда ты обедаешь с Гейгером? А когда пьешь пиво с Дольфюсом? А когда Чачуа рассказывает тебе по телефону новые анекдоты?..

— Да, — сказал Андрей. — Все это так. Да.

— У тебя разве что с одним Изей сохранились прежние отношения, да и то...

— Вот именно, — сказал Андрей. — Да и то.

— Не-ет, и речи быть не может! — сказал Наставник решительно. — Ты только представь себе: вот здесь сидит полковник, заместитель начальника штаба вашей армии, старый английский аристократ знаменитого рода. Вот здесь сидит Дольфюс, советник по строительству, знаменитый некогда в Вене инженер. И жена его — баронесса, прусская юнкерша. А напротив — Ван. Дворник.

— Н-да, — сказал Андрей. Он почесал в затылке и засмеялся. — Бестактно как-то получается...

— Нет-нет! Ты забудь про деловую бестактность, бог с ней. Ты представь себе, что Ван будет при этом чувствовать, каково будет ему?..

— Понимаю, понимаю... — сказал Андрей. — Понимаю... Да ну, все это вздор! Позову его завтра, сядем вдвоем, посидим, Мэйлинь с Сельмой чифань нам какой-нибудь смастерят, а мальчишке я «бульдог» подарю — есть у меня, без курка...

— Выпьете! — подхватил Наставник. — Расскажете друг другу что-нибудь из жизни, и ему есть тебе о чем рассказать, и ты тоже хороший рассказчик, а он ведь ничего не знает ни про Пенджикент, ни про Харбаз... Прекрасно будет! Я даже немножко завидую.

— А вы приходите, — сказал Андрей и засмеялся.

Наставник тоже засмеялся.

— Буду мысленно с вами, — сказал он.

В это время в парадной позвонили. Андрей посмотрел на часы — было ровно восемь.

— Это наверняка полковник, — сказал он и вскочил. — Я пойду?

— Ну разумеется! — сказал Наставник. — И прошу тебя, впредь никогда не забывай, что Ванов в Городе — сотни тысяч, а советников — всего двадцать...

Это действительно был полковник. Он всегда являлся в точно назначенный срок, а следовательно — первым. Андрей встретил его в прихожей, пожал ему руку и пригласил в кабинет. Полковник был в штатском. Светло-серый костюм сидел на нем, как на манекене, седые редкие волосы были аккуратно зачесаны, туфли сияли, гладко выбритые щеки сияли тоже. Был он небольшого роста, сухой, с хорошей выправкой, но в то же время чуть расслабленный, без этой деревянности, столь характерной для немецких офицеров, которых в армии было полным-полно.

Войдя в кабинет, он остановился перед ковром и, заложив за спину сухие белые руки, некоторое время молча обозревал багрово-черное великолепие вообще и развешенное на этом фоне оружие в частности. Потом он сказал: «О!» и посмотрел на Андрея с одобрением.

— Садитесь, полковник, — сказал Андрей. — Сигару? Виски?

— Благодарю, — сказал полковник, усаживаясь. — Капля возбуждающего не помешает. — Он извлек из кармана трубку. — Сегодня был бешеный день, — объявил он. — Что там произошло у вас на площади? Мне приказали поднять казармы по тревоге.

— Какой-то болван, — сказал Андрей, роясь в баре, — получил на складе динамит и не нашел лучшего места споткнуться, как у меня под окнами.

— А, значит, никакого покушения не было?

— Господь с вами, полковник! — сказал Андрей, наливая виски. — Здесь у нас все-таки не Палестина.

Полковник усмехнулся и принял от Андрея бокал.

— Вы правы. В Палестине инциденты такого рода никого не удивляли. Впрочем, и в Йемене тоже...

— А вас, значит, подняли по тревоге? — спросил Андрей, усаживаясь со своим бокалом напротив.

— Представьте себе. — Полковник отхлебнул из бокала, подумал, задравши брови, потом осторожно поставил бокал на телефонный столик рядом с собой и принялся набивать трубку. Руки у него были старческие, с серебристым пушком, но не дрожали.

— И какова же оказалась боевая готовность войск? — осведомился Андрей, тоже отхлебывая из бокала.

Полковник снова усмехнулся, и Андрей ощутил мгновенную зависть — ему очень хотелось бы уметь усмехаться так же.

— Это военная тайна, — сказал полковник. — Но вам я скажу. Это было ужасно! Такого я не видывал даже в Йемене. Да что там Йемен! Такого я не видывал, даже когда дрессировал этих чернозадых в Уганде!.. Половины солдат в казармах не оказалось вовсе. Половина другой половины явилась по тревоге без оружия. Те, кто явился с оружием, не имели боеприпасов, потому что начальник склада боепитания вместе с ключами отрабатывал свой час на Великой Стройке...

— Вы, я надеюсь, шутите, — сказал Андрей.

Полковник раскурил трубку и, разгоняя дым ладонью, посмотрел на Андрея бесцветными старческими глазами. Вокруг глаз у него была масса морщинок, и казалось, что он смеется.

— Может быть, я немного и преувеличил, — сказал он, — однако посудите сами, советник. Наша армия создана без всякой определенной цели, только потому, что некое известное нам обоим лицо не мыслит государственной организации без армии. Очевидно, что никакая армия не способна нормально функционировать, если отсутствует реальный противник. Пусть даже только потенциальный... От начальника генерального штаба и до последнего кашевара вся наша армия сейчас проникнута убеждением, что эта затея есть просто игра в оловянные солдатики.

— А если предположить, что потенциальный противник все же существует?

Полковник снова окутался медвяным дымом.

— Тогда назовите его нам, господа политики!

Андрей снова отхлебнул из бокала, подумал и спросил:

— А скажите, полковник, у генштаба есть какие-нибудь оперативные планы на случай вторжения извне?

— Ну-у... я бы не назвал это собственно оперативными планами. Представьте себе хотя бы ваш русский генштаб на Земле. Существуют у него оперативные планы на случай вторжения, скажем, с Марса?

— Что ж, — сказал Андрей. — Я вполне допускаю, что что-нибудь вроде и существует...

— «Что-нибудь вроде» существует и у нас, — сказал полковник. — Мы не ждем вторжения ни сверху, ни снизу. Мы не допускаем возможности серьезной угрозы с юга... исключая, разумеется, возможность успешного

бунта уголовников, работающих на поселениях, но к этому мы готовы... Остается север. Мы знаем, что во время Поворота и после него на север бежало довольно много сторонников прежнего режима. Мы допускаем — теоретически, — что они могут организоваться и предпринять какую-нибудь диверсию или даже попытку реставрации... — Он затянулся, сипя трубкой. — Однако при чем здесь армия? Очевидно, что на случай всех этих угроз вполне достаточно специальной полиции господина советника Румера, а в тактическом отношении — самой вульгарной кордонной тактики...

Андрей подождал немного и спросил:

— Надо ли понимать вас так, полковник, что генеральный штаб не готов к серьезному вторжению с севера?

— Вы имеете в виду вторжение марсиан? — сказал полковник задумчиво. — Нет, не готов. Я понимаю, что вы хотите сказать. Но у нас нет разведки. Возможность такого вторжения никто и никогда серьезно не рассматривал. У нас попросту нет для этого никаких данных. Мы не знаем, что творится уже на пятидесятом километре от Стеклянного Дома. У нас нет карт северных окрестностей... — Он засмеялся, выставив длинные желтоватые зубы. — Городской архивариус господин Кацман предоставил в распоряжение генштаба что-то вроде карты этих районов... Как я понимаю, он составил ее сам. Этот замечательный документ хранится у меня в сейфе. Он оставляет вполне определенное впечатление, что господин Кацман исполнял эту схему за едой и неоднократно ронял на нее свои бутерброды и проливал кофе...

— Однако же, полковник, — сказал Андрей с упреком, — моя канцелярия представила вам, по-моему, совсем неплохие карты!

— Несомненно, несомненно, советник. Но это, главным образом, карты обитаемого Города и южных окрестностей. Согласно основной установке, армия должна находиться в боевой готовности на случай беспорядков, а беспорядки могут иметь место именно в упомянутых районах. Таким образом, проделанная вами работа совершенно необходима, и, благодаря вам, к беспорядкам мы готовы. Однако что касается вторжения... — Полковник покачал головой.

— Насколько я помню, — сказал Андрей значительно, — моя канцелярия не получала от генштаба никаких заявок на картографирование северных районов.

Некоторое время полковник смотрел на него, трубка его погасла.

— Надо сказать, — медленно проговорил он, — что с такими заявками мы обращались лично к президенту. Ответы были, признаться, совершенно

неопределенные... — Он снова помолчал. — Так вы полагаете, советник, что для пользы дела с такими заявками надо обращаться к вам?

Андрей кивнул.

— Сегодня я обедал у президента, — сказал он. — Мы много говорили на эту тему. Вопрос о картографировании северных районов в принципе решен. Однако необходимо посильное участие военных специалистов. Опытный оперативный работник... ну, вы, несомненно, понимаете.

— Понимаю, — сказал полковник. — Кстати, где вы раздобыли такой маузер, советник? В последний раз, если не ошибаюсь, я видел подобные чудовища в Батуми, году в восемнадцатом...

Андрей принялся рассказывать ему, где и как он достал этот маузер, но тут в передней раздался новый звонок. Андрей извинился и пошел встречать.

Он надеялся, что это будет Кацман, однако, противу всяких ожиданий, это оказался Отто Фрижа, которого Андрей, собственно, и не приглашал вовсе. Как-то из головы вылетело. Отто Фрижа постоянно вылетал у него из головы, хотя как начальник АХЧ Стеклянного Дома он был человеком в высшей степени полезным и даже незаменимым. Впрочем, Сельма этого обстоятельства не забывала никогда. Вот и сейчас она принимала от Отто аккуратную корзинку, заботливо прикрытую тончайшей батистовой салфеточкой, и маленький букетик цветов. Отто был милостиво допущен к руке. Он щелкал каблуками, краснел ушами и был, очевидно, счастлив.

— А, дружище, — сказал ему Андрей. — Вот и ты!

Отто был все такой же. Андрей вдруг почему-то подумал, что из всех старичков Отто изменился меньше всех. Собственно, совсем не изменился. Все та же цыплячья шея, огромные оттопыренные уши, выражение постоянной неуверенности на веснушчатой физиономии. И щелкающие каблуки. Он был в голубой форме спецполиции и при квадратной медальке «За заслуги».

— Большущее тебе спасибо за ковер, — говорил Андрей, обняв его за плечи и ведя к себе в кабинет. — Сейчас я тебе покажу, как он у меня выглядит... Пальчики оближешь, от зависти помрешь...

Однако, попавши в кабинет, Отто Фрижа не стал ни облизывать себе пальцы, ни, тем более, помирать от зависти. Он увидел полковника.

Ефрейтор фольксштурма Отто Фрижа испытывал к полковнику Сент-Джеймсу чувства, граничащие с благоговением. В присутствии полковника он вовсе терял дар речи, стальными болтами закреплял на своей физиономии улыбку и готов был стучать каблуком о каблук в любой момент, непрерывно и со все возрастающей силой.

Повернувшись к знаменитому ковру спиной, он стал по стойке «смирно», выпятил грудь, прижал ладони к бедрам, растопырил локти и столь резко мотнул головой в поклоне, что у него на весь кабинет хрустнули шейные позвонки. Лениво улыбаясь, полковник поднялся ему навстречу и протянул руку. В другой руке у него был бокал.

— Очень рад вас видеть... — произнес он. — Приветствую вас, господин... ум-м...

— Ефрейтор Отто Фрижа, господин полковник! — с восторгом взвизгнул Отто, согнулся пополам и щепотно потрогал пальцы полковника. — Честь имею явиться!..

— Отто, Отто! — укоризненно сказал Андрей. — Мы здесь без чинов!

Отто жалобно хихикнул, вынул платок и вытер было лоб, но тут же испугался и принялся запихивать платок обратно, не попадая в карман.

— Помнится, под Эль-Аламейном, — сказал полковник добродушно, — мои ребята привели ко мне немецкого фельдфебеля...

В передней снова раздался звонок, и Андрей, вновь извинившись, вышел, оставив несчастного Отто на съедение британскому льву.

Явился Изя. Пока он целовал Сельму в обе щеки, пока он чистил по ее требованию ботинки и подвергался обработке платяной щеткой, ввалились разом Чачуа и Дольфюс с Дольфюсихой. Чачуа волочил Дольфюсиху под руку, на ходу одолевая ее анекдотами, а Дольфюс с бледной улыбкой тащился сзади. На фоне темпераментного начальника юридической канцелярии он казался особенно серым, бесцветным и незначительным. На каждой руке у него было по теплому плащу на случай ночного похолодания.

— К столу, к столу! — нежным колокольчиком зазвенела Сельма, хлопая в ладоши.

— Дорогая! — запротестовала басом Дольфюсиха. — Но мне же нужно привести себя в порядок!..

— Зачем?! — поразился Чачуа, вращая налитыми белками. — Такую красоту — и еще приводить в какой-то порядок? В соответствии со статьей двести восемнадцатой уголовно-процессуального кодекса закон имеет воспрепятствовать...

Поднялся обычный гвалт. Андрей не успевал улыбаться. Над левым его ухом клокотал и булькал Изя, излагая что-то по поводу дикого кабака в казармах во время сегодняшней боевой тревоги, а над правым — Дольфюс с места в карьер бубнил о сортирах и о главной канализационной магистрали, близкой к засорению... Потом все повалили в столовую. Андрей, приглашая, рассаживая, напропалую отпуская остроты и

комплименты, увидел краем глаза, как отворилась дверь кабинета и оттуда, засовывая трубку в боковой карман, вышел улыбающийся полковник. Один. Сердце у Андрея упало, но тут появился и ефрейтор Отто Фрижа — по-видимому, он просто выдерживал предписываемую строевым уставом дистанцию в пять метров позади старшего по званию. Началось трескучее щелканье каблуками.

— Пить будем, гулять будем!.. — гортанно ревел Чачуа.

Зазвенели ножи и вилки. Не без труда водворив Отто между Сельмой и Дольфюсихой, Андрей сел на свое место и оглядел стол. Все было хорошо.

— И представьте, дорогая, в ковре оказалась вот такая дыра! Это в ваш огород, господин Фрижа, гадкий мальчишка!..

— Говорят, вы там расстреляли кого-то перед строем, полковник?

— И запомните мои слова: канализация, именно канализация когда-нибудь загубит наш город!..

— С такой красотой и такую маленькую рюмку?!.

— Отто, миленький, да оставь ты эту кость... Вот хороший кусочек!..

— Нет, Кацман, это военная тайна. Хватит с меня тех неприятностей, которые я претерпел от евреев в Палестине...

— Водки, советник?

— Благодарю вас, советник!

И щелкали под столом каблуки.

Андрей выпил подряд две рюмки водки — для разгону, — с удовольствием закусил и стал вместе со всеми слушать бесконечно длинный и фантастически неприличный тост, провозглашаемый Чачуа. Когда, наконец, выяснилось, что советник юстиции поднимает этот маленький-маленький бокал с большим-большим чувством не для того, чтобы агитировать присутствующих за все перечисленные половые извращения, а всего лишь «за самых злых и беспощадных моих врагов, с которыми я всю жизнь сражаюсь и от которых всю жизнь терплю поражения, а именно — за прекрасных женщин!..», Андрей облегченно расхохотался вместе со всеми и хлопнул третью рюмку. Дольфюсиха в совершенном изнеможении гукала и рыдала, прикрываясь салфеткой.

Все как-то очень быстро надрались. «Да! О да!» — знакомо доносилось с дальнего конца стола. Чачуа, нависнув шевелящимся носом над ослепительным декольте Дольфюсихи, говорил, не умолкая ни на секунду. Дольфюсиха изнеможенно гукала, игриво отшатывалась от него и широченной своею спиной наваливалась на Отто. Отто уже два раза уронил вилку. Под боком у Андрея Дольфюс, оставив наконец в покое канализацию, не к месту и не ко времени впал в служебный энтузиазм и

напропалую выдавал государственные тайны. «Автономия! — угрожающе бубнил он. — Ключ к ан... авн... автономии — хлорелла!.. Великая Стройка?.. Не смешите меня. Какие, к дьяволу, дирижабли? Хлорелла!» — «Советник, советник, — урезонивал его Андрей. — Ради бога! Это совершенно необязательно знать всем. Расскажите мне лучше, как обстоят дела с лабораторным корпусом...» Прислуга уносила грязные тарелки и приносила чистые. Закуски уже смели, было подано мясо по-бургундски.

— Я поднимаю этот маленький-маленький бокал!..

— Да, о да!

— Гадкий мальчишка! Да как же можно вас не любить?

— Изя, отстань от полковника! Полковник, хотите я сяду рядом с вами?

— Четырнадцать кубометров хлореллы — это ноль... Автономия!

— Виски, советник?

— Бл'рю вас, советник!

В разгар веселья в столовой вдруг обнаружился румяный Паркер. «Господин президент просит извинить, — доложил он. — Срочное совещание. Он передает горячий привет госпоже и господину Ворониным, а равно и всем их гостям...» Паркера заставили выпить водки — для этого понадобился всесокрушающий Чачуа. Был произнесен тост за президента и за успех всех его начинаний. Стало немного тише, уже был подан кофе с мороженым и с ликерами. Отто Фрижа слезливо жаловался на любовные неудачи. Дольфюсиха рассказывала Чачуа про милый Кенигсберг, на что Чачуа кивал носом и страстно приговаривал: «А как же! Помню... Генерал Черняховский... Пять суток пушками ломали...» Паркер исчез, за окнами было уже темно. Дольфюс жадно пил кофе и развивал перед Андреем фантасмагорические проекты реконструкции северных кварталов. Полковник рассказывал Изе: «...ему дали десять суток за хулиганство и десять лет каторжных работ за разглашение государственной и военной тайны». Изя брызгал, булькал и отвечал: «Да это же старье, Сент-Джеймс! У нас это еще про Хрущева рассказывали!..» — «Опять политика!» — обиженно кричала Сельма. Она все-таки втиснулась между Изей и полковником, и старый воин по-отечески гладил ее коленку.

Андрею вдруг стало грустно. Он извинился в пустоту, встал и на онемевших ногах прошел в свой кабинет. Там он уселся на подоконнике, закурил и стал смотреть в сад.

В саду было черным-черно, сквозь черную листву сиреневых кустов ярко светились окна соседнего коттеджа. Ночь была теплая, в траве шевелились светлячки. А завтра что? — подумал Андрей. Ну, схожу я в эту

экспедицию, ну, разведаю... оружия притащу оттуда кучу, разберу, повешу... а дальше что?

В столовой галдели. «А вы знаете, полковник? — орал Изя. — Союзное командование предлагает за голову Чапаева двадцать тысяч!..» И Андрей сразу вспомнил продолжение: «Союзное командование, ваше превосходительство, могло бы дать и больше. Ведь за ними Гурьев, а в Гурьеве — нефть. Хе-хе-хе». — «...Чапаев? — спрашивал полковник. — А, это ваш кавалерист. Но его же, кажется, расстреляли?..»

Сельма вдруг затянула высоким голосом: «А наутро Катю... будила ё ма-а-ать... Ставай, ставай, Катя. Корабли стоять...» Но ее тут же перебил бархатный рев Чачуа: «Я принес тебе цветы... Ах, какие чудные цветы!.. У меня ты те цветы не взяла... Почему не взяла?..»

Андрей закрыл глаза и вдруг с необычайно острой тоской вспомнил про дядю Юру. И Вана нет за столом, и дяди Юры нет... Ну на кой ляд, спрашивается, мне этот Дольфюс?.. Призраки окружили его.

На кушетке сидел Дональд в своей потрепанной техасской шляпе. Он положил ногу на ногу и обхватил острое колено крепко сцепленными пальцами. Уходя не грусти, приходя не радуйся... А за стол уселся Кэнси в старой полицейской форме — упер локоть в стол и положил подбородок на кулак. Он смотрел на Андрея без осуждения, но и теплоты не было в этом взгляде. А дядя Юра похлопывал Вана по спине и приговаривал: «Ничего, Ваня, не горюй, мы тебя министром сделаем, в «Победе» ездить будешь...» И знакомо, нестерпимо щемяще запахло махоркой, здоровым потом и самогоном. Андрей с трудом перевел дух, потер онемевшие щеки и снова стал глядеть в сад.

В саду стояло Здание.

Оно стояло прочно и естественно среди деревьев, словно оно было здесь давно, всегда, и намерено простоять до скончания веков — красное, кирпичное, четырехэтажное — и, как тогда, окна нижнего этажа были забраны ставнями, а крыша была крыта оцинкованной жестью, к двери вело крыльцо из четырех каменных ступенек, а рядом с единственной трубой торчала странная крестовидная антенна. Но теперь все окна его были темны, и ставен на нижнем этаже кое-где не хватало, а стекла были грязные, с потеками, с трещинами, кое-где заменены фанерными покоробленными щитами, а кое-где заклеены крест-накрест полосками бумаги. И не было больше торжественной и мрачной музыки — от Здания невидимым туманом ползла тяжелая ватная тишина.

Не размышляя ни секунды, Андрей перекинул ноги через подоконник и спрыгнул в сад, в мягкую густую траву. Он пошел к Зданию, распугивая

светлячков, все глубже зарываясь в мертвую тишину, не спуская глаз со знакомой медной ручки на дубовой двери, только теперь эта ручка была тусклая и покрыта зеленоватыми пятнами.

Он поднялся на крыльцо и оглянулся. В ярко освещенных окнах столовой весело прыгали, ломаясь причудливо, человеческие тени, слабо доносилась плясовая музыка и почему-то опять звон ножей и вилок. Он махнул на все это рукой, отвернулся и взялся за влажную резную медь. В прихожей было теперь полутемно, сыро и затхло, разлапистая вешалка торчала в углу, голая, как мертвое высохшее дерево. На мраморной лестнице не было ковра и не было металлических прутьев — остались только прозеленевшие кольца, старые пожелтевшие окурки да какой-то неопределенный мусор на ступенях. Тяжело ступая и ничего не слыша, кроме своих шагов и своего дыхания, Андрей медленно поднялся на верхнюю площадку.

Из давно погасшего камина несло застарелой гарью и аммиаком, что-то едва слышно копошилось там, шуршало и топотало. В огромном зале было все так же холодно, дуло по ногам, черные пыльные тряпки свисали с невидимого потолка, мраморные стены темнели неопрятными подозрительными пятнами и блестели потеками сырости, золото и пурпур с них осыпались, а горделиво-скромные бюсты — гипсовые, мраморные, бронзовые, золотые — слепо и скорбно глядели из ниш сквозь клочья пыльной паутины. Паркет под ногами трещал и подавался при каждом шаге, на замусоренном полу лежали лунные квадраты, а впереди уходила вглубь и вдаль какая-то галерея, в которой Андрей никогда раньше не бывал. И вдруг целая стая крыс выскочила у него из-под ног, с писком и топотаньем пронеслась по галерее и исчезла в темноте.

Где же все они? — беспорядочно думал Андрей, бредя по галерее. Что с ними сталось? — думал он, спускаясь в затхлые недра по гремящим железным лестницам. Как же все это произошло? — думал он, переходя из комнаты в комнату, а под ногами его хрустела осыпавшаяся штукатурка, скрипело битое стекло, чавкала заросшая пушистыми холмиками плесени грязь... и сладковато пахло разложением, и где-то тикала, падая капля за каплей, вода, и на ободранных стенах чернели огромные, в мощных рамах картины, на которых ничего нельзя было разобрать...

Теперь здесь всегда так будет, думал Андрей. Что-то я сделал такое, что-то мы все сделали такое, что теперь здесь так будет всегда. Оно больше не сдвинется с места, оно навсегда останется здесь, оно будет гнить и разрушаться, как обыкновенный дряхлый дом, и в конце концов его разобьют чугунными бабами, мусор сожгут, а горелые кирпичи вывезут на

свалку... Ведь ни одного же голоса! И вообще ни одного звука, только крысы в отчаянии пищат по углам...

Он увидел огромный шведский шкаф со шторной дверью и вдруг вспомнил, что точно такой же шкаф стоит у него в маленькой комнатушке — шесть квадратных метров, единственное окно во двор-колодец, рядом — кухня. На шкафу полно старых газет, свернутых в рулоны плакатов, которые до войны коллекционировал отец, и еще какого-то лежалого бумажного хлама... и когда огромной крысе мышеловкой раздробило морду, она как-то ухитрилась забраться на этот шкаф и долго там шуршала и копошилась, и каждую ночь Андрей боялся, что она свалится ему на голову, а однажды взял бинокль и издали, с подоконника, посмотрел, что там делается, среди бумаги. Он увидел — или ему показалось, что он увидел? — торчащие уши, серую голову и страшный, блестящий, словно лакированный, пузырь вместо морды. Это было так жутко, что он выскочил из своей комнаты и некоторое время сидел в коридоре на сундуке, чувствуя слабость и тошноту внутри. Он был один в квартире, ему некого было стесняться, но ему было стыдно за свой страх, и в конце концов он поднялся, пошел в большую комнату и там завел на патефоне «Рио-риту»... А еще через несколько дней в его комнатушке появился сладковатый тошнотный запах, такой же, как здесь...

В глубоком, как колодец, сводчатом помещении странно и неожиданно отсвечивал рядами свинцовых труб огромный орган, давно уже мертвый, остывший, немой, как заброшенное кладбище музыки. А около органа, рядом с креслом органиста, лежал, скрючившись, человечек, закутанный в драный ковер, и в головах у него поблескивала пустая бутылка из-под водки. Андрей понял, что все действительно кончено, и торопливо пошел к выходу.

Спустившись с крыльца в свой сад, он увидел Изю. Изя был непривычно пьяный и весь какой-то особенно растерзанный и взлохмаченный. Он стоял, покачиваясь, держась одной рукой за ствол яблони, и смотрел на Здание. В сумраке блестели его зубы, обнаженные застывшей улыбкой.

— Все, — сказал ему Андрей. — Конец.

— Бред взбудораженной совести! — произнес Изя невнятно.

— Одни крысы бегают, — сказал Андрей. — Гниль.

— Бред взбудораженной совести... — повторил Изя и хихикнул.

Часть пятая РАЗРЫВ НЕПРЕРЫВНОСТИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Преодолев спазм, Андрей проглотил последнюю ложку размазни, с отвращением оттолкнул манерку и потянулся за кружкой. Чай был еще горячий. Андрей взял кружку в ладони и принялся отхлебывать маленькими глотками, уставясь в шипящий огонек бензиновой лампы. Чай был необычайно крепкий, перестоявшийся, от него разило веником, и был у него еще какой-то привкус — то ли от этой гнусной воды, которую они набрали на восемьсот двадцатом километре, то ли Кехада опять подсыпал всему командному составу своей дряни от поноса. А может быть, просто кружку плохо отмыли — была она сегодня какая-то особенно сальная и липкая.

За окном внизу побрякивали котелками солдаты. Остряк Тевосян отмочил что-то насчет Мымры, солдаты заржали было, но тут сержант Фогель заорал вдруг прусским голосом: «Вы на пост мне идете или к бабе под одеяло, вы, земноводное! Почему босиком? Где ваша обувь, троглодит?» Угрюмый голос отозвался в том смысле, что ноги, мол, стерты до мяса, а местами и до костей. «Закройте пасть, корова крытая! Немедленно обуться — и на пост! Живо!..»

Андрей с наслаждением пошевелил под столом пальцами босых ног. Ноги уже слегка отдышались на прохладном паркете. Холодной бы воды полный таз... Ноги бы туда... Он заглянул в кружку. Чаю оставалось еще до половины, и Андрей, мысленно пославши все к чертовой матери, неожиданно для самого себя вылакал остаток в три огромных сладострастных глотка. В животе сразу же заурчало. Некоторое время Андрей опасливо прислушивался к тому, что там происходит, потом отставил кружку, вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на железный ящик с документами. Рапорты надо бы вчерашние достать. Неохота. Успею. Сейчас бы лечь, вытянуться во всю длину, курткой прикрыться и завести глаза минуток этак на шестьсот...

За окном внезапно и неистово затрещал двигатель трактора. Задребезжали остатки стекол в окнах, рядом с лампой упал с потолка кусок штукатурки. Пустая кружка, мелко подрагивая, поползла к краю стола. Андрей, весь сморщившись, поднялся, прошлепал босыми ногами к окну и выглянул.

В лицо пахнуло жаром не успевшей остыть улицы, едкой гарью выхлопов, тошнотной вонью разогретого масла. В пыльном свете подвижной фары бородатые люди, рассевшись прямо на мостовой, лениво ковырялись ложками в манерках и котелках. Все они были босы, и почти все разделись до пояса. Потные белые тела лоснились, а лица казались черными, и кисти рук были черные, словно все они были в перчатках. Андрей вдруг обнаружил, что никого из них не узнает. Стадо незнакомых голых обезьян... В круг света вступил сержант Фогель с громадным алюминиевым чайником в руке, и обезьяны сейчас же зашевелились, заволновались, заерзали и потянули к чайнику свои кружки. Отталкивая кружки свободной рукой, сержант принялся орать, но за треском двигателя его было почти не слышно.

Андрей вернулся за стол, рывком откинул крышку ящика и извлек журнал и вчерашние рапорты. На стол с потолка упал еще один кусок штукатурки. Андрей посмотрел наверх. Комната была высоченная — метра четыре, а то и все пять. Лепной потолок местами осыпался, и видна была дранка, наводящая на сладостные воспоминания о домашних пирогах с повидлом, которые подавались к огромному количеству прекрасно заваренного, прозрачного, в прозрачных тонкостенных стаканах чая. С лимоном. Или можно было просто взять пустой стакан и набрать на кухне сколько угодно чистой холодной воды...

Андрей мотнул головой, снова поднялся и наискосок через всю комнату прошел к огромному книжному шкафу. Стекол в дверцах не было, и книг тоже не было — были пустые пыльные полки. Андрей уже знал это, но все-таки еще раз осмотрел их и даже пошарил рукой в темных углах.

Комната, надо сказать, сохранилась неплохо. Были в ней два вполне приличных кресла и еще одно с продранным сиденьем — когда-то роскошное, обитое тисненой кожей. У стены напротив окна выстроились рядком несколько стульев, и стоял посередине комнаты столик на коротких ножках, и на столике — хрустальная вазочка с какой-то черной засохшей дрянью внутри. Обои отстали от стен, а местами и совсем отвалились, паркет рассохся и вспучился, но все-таки комната была в очень приличном состоянии — совсем недавно здесь еще жили, лет десять тому назад, не больше.

Впервые после пятисотого километра Андрей видел настолько хорошо сохранившийся дом. После многих километров выгоревших дотла кварталов, превратившихся в черную обугленную пустыню; после многих километров сплошных руин, поросших бурой колючкой, среди которых нелепо возвышались дрожащие от ветхости пустые многоэтажные коробки

с давно уже обрушившимися перекрытиями; после многих и многих километров пустырей, усаженных сгнившими срубами без крыш, где весь уступ просматривался с дороги от Желтой Стены на востоке и до края обрыва на западе — после всего этого здесь снова начинались почти целые кварталы, выложенная булыжником дорога, и может быть, где-то здесь были люди — во всяком случае, полковник приказал удвоить караулы.

Интересно, как там полковник. Старик что-то сдал за последнее время. Впрочем, за последнее время все сдали. Очень кстати, что именно сейчас, впервые за двенадцать суток, ночевка будет под крышей, а не под голым небом. Воду бы здесь найти — можно было бы сделать большой привал. Только воды здесь, кажется, снова не будет. Во всяком случае, Изя говорит, что на воду здесь рассчитывать не стоит. Во всем этом стаде только от Изи да от полковника и есть толк...

В дверь постучали, еле слышно за треском двигателя. Андрей поспешно вернулся на место, накинул куртку и, раскрывая журнал, гаркнул:

— Да!

Это был всего лишь Даган — сухой, старый, под стать своему полковнику, гладко выбритый, опрятный, застегнутый на все пуговицы.

— Разрешите прибрать, сэр? — прокричал он.

Андрей кивнул. Господи, подумал он. Это же сколько сил надо потратить, чтобы так соблюдать себя в этом кабаке... А ведь он не офицер, он даже не сержант — всего-навсего денщик. Холуй.

— Как там полковник? — спросил он.

— Виноват, сэр? — Даган с грязной посудой в руках замер, повернув к Андрею длинное хрящеватое ухо.

— Как себя чувствует полковник?! — заорал Андрей, и в ту же самую секунду двигатель за окном замолчал.

— Полковник пьет чай! — заорал Даган в наступившей тишине и сейчас же сконфуженно добавил, понизив голос: — Виноват, сэр. Полковник чувствует себя удовлетворительно. Поужинал и теперь пьет чай.

Андрей рассеянно кивнул и перебросил несколько страниц журнала.

— Будут какие-нибудь приказания, сэр? — осведомился Даган.

— Нет, спасибо, — сказал Андрей.

Когда Даган вышел, Андрей взялся, наконец, за вчерашние рапорты. Вчера он так ничего и не записал. Его так несло, что он едва досидел до конца вечернего рапорта, а потом маялся полночи — торчал на корточках посреди дороги голым гузном в сторону лагеря, напряженно вглядываясь и вслушиваясь в ночной мрак, с пистолетом в одной руке и с фонариком в

другой.

«День 28-й», — вывел он на чистой странице и подчеркнул написанное двумя жирными линиями. Затем он взял рапорт Кехады.

«Пройдено 28 км, — записал он. — Высота солнца 63°51'13".2 (979-й км). Средняя температура: в тени +23°С, на солнце +31°С. Ветер 2,5 м/сек., влажность 0,42. Гравитация 0,998. Проводилось бурение — 979-й, 981-й, 986-й км. Воды нет. Расход топлива...» Он взял рапорт Эллизауэра, захватанный испачканными смазкой пальцами, и долго разбирал куриный почерк.

«Расход топлива 1,32 нормы. Остаток на конец 28-го дня — 3200 кг. Состояние двигателей: № 1 — удовлетворительное; № 2 — изношены пальцы и что-то с цилиндрами...»

Что именно случилось с цилиндрами, Андрей так и не разобрал, хотя подносил листок к самому огню лампы.

«Состояние личного состава: физическое состояние — почти у всех потертости ног, не прекращается поголовный понос, у Пермяка и Палотти усиливается сыпь на плечах. Раненых нет, травм нет. Особых происшествий не произошло. Дважды показывались акульи волки, отогнаны выстрелами. Расход боепитания 12 патронов. Расход воды 40 л. Остаток на конец 28-го дня 1100 кг. Расход продовольствия 20 норм. Остаток на конец 28-го дня 730 норм...»

За окном пронзительно заверещала Мымра, густо заржали прокуренные глотки. Андрей поднял голову, прислушиваясь. А черт его знает, подумал он. Может, это и неплохо, что она с нами увязалась. Все-таки какое ни есть, а для ребят развлечение... Драться вот только из-за нее что-то стали последнее время.

В дверь опять постучали.

— Войдите, — сказал Андрей недовольно.

Вошел сержант Фогель — громадный, красномордый, с широкими черными пятнами пота, расплывшимися из-под мышек френча.

— Сержант Фогель просит разрешения обратиться к господину советнику! — гаркнул он, прижав ладони к бедрам и растопырив локти.

— Слушаю вас, сержант, — сказал Андрей.

Сержант покосился на окно.

— Прошу разрешения говорить конфиденциально, — сказал он, понизив голос.

Это что-то новенькое, подумал Андрей с неприятным ощущением.

— Проходите, садитесь, — сказал он.

Сержант на цыпочках приблизился к столу, присел на краешек кресла

и нагнулся к Андрею.

— Люди не хотят идти дальше, — произнес он вполголоса.

Андрей откинулся на спинку стула. Так. Вот, значит, до чего дожили... Прелестно... Поздравляю, господин советник...

— Что значит — не хотят? — сказал он. — Кто их спрашивает?

— Измотаны, господин советник, — сказал Фогель доверительно. — Курево кончается, поносы замучили. А главное — боятся. Страшно, господин советник.

Андрей молча смотрел на него. Надо было что-то делать. Немедленно. Но он не знал, что именно.

— Одиннадцать дней идем по безлюдью, господин советник, — продолжал Фогель почти шепотом. — Господин советник помнит, как нас предупреждали, что будет тринадцать дней безлюдья, а потом — всем конец. Два дня всего осталось, господин советник...

Андрей облизал губы.

— Сержант, — сказал он. — Стыдно. Старый вояка, а верите бабьим слухам. Не ожидал!

Фогель криво ухмыльнулся, двинув огромной нижней челюстью.

— Никак нет, господин советник. Меня не испугаешь. Будь у меня там, — он ткнул большим корявым пальцем за окно, — будь у меня там одни немцы или хотя бы япошки, такого разговора у нас бы не было, господин советник. Но у меня там сброд. Итальяшки, армяне какие-то...

— Отставить, сержант! — возвысив голос, сказал Андрей. — Стыдно. Устава не знаете! Почему обращаетесь не по команде? Что за распущенность, сержант? Встать!

Фогель тяжело поднялся и принял стойку «смирно».

— Сядьте, — сказал Андрей, выдержав паузу.

Фогель так же тяжело сел, и некоторое время они молчали.

— Почему обратились ко мне, а не к полковнику?

— Виноват, господин советник. Я обращался к господину полковнику. Вчера.

— Ну и что?

Фогель замялся и отвел глаза.

— Господину полковнику было не угодно принять мое донесение к сведению, господин советник.

Андрей усмехнулся.

— Вот именно! Какой же вы, к чертовой матери, сержант, если не умеете держать своих людей в порядке? Страшно им, видите ли! Дети малые... Они вас должны бояться, сержант! — заорал он. — Вас! А не

тринадцатого дня!

— Если бы это были немцы... — снова начал Фогель угрюмо.

— Это что же такое? — вкрадчиво сказал Андрей. — Я, начальник экспедиции, должен учить вас, как распоследнего сопляка, что надо делать, когда подчиненные бунтуют? Стыдно, Фогель! Если не знаете, почитайте устав. Насколько мне известно, там все это предусмотрено.

Фогель опять ухмыльнулся, двинув нижней челюстью. По-видимому, в уставе такие случаи все-таки не предусматривались.

— Я был о вас лучшего мнения, Фогель, — резко сказал Андрей. — Гораздо лучшего! Зарубите себе на носу: хотят ваши люди идти или не хотят — никого здесь не интересует. Все мы хотели бы сейчас сидеть дома, а не шляться по этому пеклу. Всем хочется пить, и все измотаны. И тем не менее, все выполняют свой долг, Фогель. Ясно?

— Слушаюсь, господин советник, — проворчал Фогель. — Разрешите идти?

— Ступайте.

Сержант удалился, беспощадно попирая сапогами рассохшийся паркет.

Андрей сбросил куртку и снова подошел к окну. Публика вроде бы угомонилась. В круге света возвышался невыносимо длинный Эллизауэр и, наклонившись, рассматривал какую-то бумагу, кажется, карту, которую держал перед ним широкий грузный Кехада. Вынырнув из темноты, мимо них прошел и скрылся в доме какой-то солдат — босой, полуголый, встрепанный, держа автомат за ремень. Там, откуда он шел, чей-то голос воззвал в темноте:

— Носатый! Эй, Тевосян!

— Чего тебе? — откликнулись с невидимой волокуши, где красными светляками разгорались и гасли огоньки сигарет.

— Фару поверни! Не видно здесь ни хрена...

— Да зачем тебе? В темноте не можешь?

— Загадили тут уже все... не знаю, куда ступить...

— Часовому не положено, — вмешался новый голос с волокуши. — Вали, где стоишь!

— Да посветите, мать вашу в душу! Задницу трудно вам поднять, что ли?

Длинный Эллизауэр распрямился, в два шага оказался около трактора и повернул прожектор вдоль улицы. Андрей увидел часового. Придерживая спущенные штаны, часовой неуверенно топтался на полусогнутых ногах возле той здоровенной железной статуи, которую какие-то чудаки

умудрились возвести прямо на тротуаре у ближайшего перекрестка. Статуя изображала коренастого типа в чем-то вроде тоги, наголо обритого, с неприятной жабьей физиономией. В свете прожектора статуя казалась черной. Левая рука показывала в небеса, а правая с растопыренными пальцами простиралась над землей. Сейчас на этой руке висел автомат.

— Порядок, спасибочки вам! — обрадованно заорал часовой и прочно утвердился на корточках. — Можно гасить!

— Давай, давай, работай! — поощрили его с волокуши. — Мы тебя огнем прикроем в случае чего.

— Да свет-то уберите, ребята! — взмолился капризный часовой.

— Не убирайте, господин инженер, — посоветовали с волокуши. — Это он шутит. И по уставу не положено...

Но Эллизауэр все-таки убрал свет. Слышно было, как на волокуше возятся и похохатывают. Потом там засвистели дуэтом какой-то марш.

Все как всегда, подумал Андрей. Даже, пожалуй, они сегодня повеселее, чем обычно. Ни вчера, ни позавчера я этих шуточек не слыхал. Жилые дома, может быть?.. Да, очень может быть. Все пустыня, пустыня, а теперь все-таки дома. Можно хоть спокойно выспаться, волки не потревожат... Да только Фогель — не паникер. Не-ет, он не из таких... Андрей вдруг представил себе, как завтра он отдает приказ выступать, а они сбиваются в кучу, ощетиниваются автоматами и говорят: «Не пойдем!» Может быть, они потому и веселые сейчас — обо всем договорились между собой, порешили завтра повернуть назад («...а что он нам сделает, мозгляк, чиновник задрипанный?..»), и теперь им хоть трава не расти, сам черт им не брат, и все на свете они видели в гробу... И Кехада, сволочь, с ними. Он уже сколько дней ноет, что дальше идти бессмысленно... волком на меня смотрит на вечерних рапортах... ему же одно удовольствие будет, если я вернусь к Гейгеру ни с чем, как мокрая курица...

Андрей зябко передернул плечами. Сам виноват, слюнтяй, распустил вожжи, демократ вшивый, народолюбец... Надо было тогда этого рыжего Хнойпека поставить к стенке, мерзавца, разом всю эту банду взять за глотку — они бы у меня сейчас по струночке ходили! Главное, случай-то какой был! Групповое изнасилование, причем зверское, причем туземки, причем несовершеннолетней туземки... И как этот Хнойпек нагло ухмылялся — нагло, сыто, отвратно, — когда я орал на них... и как они все позеленели, когда я вытащил пистолет... Ах, полковник, полковник! Либерал вы, а не боевой офицер! «Ну, зачем же сразу расстреливать, советник? Существуют же и иные методы воздействия!..» Не-ет, полковник, на этих Хнойпеков иными методами, как видно, не воздействуешь... А

после этого все пошло сикось-накось. Девчонка увязалась за отрядом, я это обстоятельство позорно проморгал (от удивления, что ли?), а потом начались из-за нее драки и свары... И опять же, надо было к первой же драке привязаться, поставить кого-нибудь к стенке, а девку выпороть и вышвырнуть из лагеря вон... А только — куда ее вышвырнешь? Начались горелые кварталы, безводье, появились волки...

Внизу вдруг яростно зарычали, заматерились, что-то упало и покатилось с грохотом, и в круг света из подъезда, спиной вперед, вылетела совершенно голая обезьяна, шлепнулась на задницу, поднявши клуб пыли, и еще не успела подобрать ноги, как на нее из того же подъезда тигром сиганула вторая обезьяна, тоже голая, и они сцепились, покатились по булыжной мостовой, завывая и рыча, хрипя и плюясь, изо всех сил метеля друг друга.

Андрей, вцепившись одной рукой в подоконник, другой бестолково шарил у пояса, забыв, что кобура валяется в кресле, но тут из темноты вынырнул сержант Фогель, налетел, как черная потная туча, гонимая ураганом, навис над мерзавцами, и вот уже ухватил одного за волосы, другого за бороду, оторвал от земли, с сухим треском ударил друг о друга и отшвырнул от себя в разные стороны, как щенков.

— Очень хорошо, сержант! — раздался слабый, но твердый голос полковника. — Привязать негодяев на ночь к койкам, а завтра — на весь день в авангард вне очереди.

— Слушаюсь, господин полковник, — тяжело дыша отозвался сержант. Он глянул направо, где копошилась на булыжнике, силясь подняться, голая обезьяна, и неуверенно добавил: — Осмелюсь доложить, господин полковник, один — не наш. Картограф Рулье.

Андрей замотал головой, освобождая место в глотке, и не своим голосом проревел:

— Картографа Рулье в авангард на три дня, с полной солдатской выкладкой! При повторении драки расстрелять обоих на месте! — В горле у него что-то болезненно сорвалось. — Расстреливать на месте всех мерзавцев, которые осмелятся драться! — просипел он.

Он пришел в себя уже за столом. Поздно, пожалуй, думал он, тупо разглядывая свои грязные подрагивающие пальцы. Поздно. Надо было раньше... Но вы у меня пойдете! Вы у меня будете делать, что вам приказывают! Половину я велю перестрелять... сам перестреляю... но другая половина у меня пойдет по струночке. Хватит... Хватит! А Хнойпеку — первая пуля при любых обстоятельствах. Первая!..

Он пошарил за спиной, вытянул кобуру с ремнем и достал пистолет.

Ствол был забит грязью. Он потянул затвор. Затвор пошел туго, оттянулся до половины и застрял в таком положении. Ч-черт, все завязло, все в грязи... За окном было тихо, только позвякивали в отдалении подковки часовых по булыжнику, да еще кто-то сморкался в нижнем этаже и громко шипел сквозь зубы.

Андрей подошел к двери и выглянул в коридор.

— Даган! — позвал он вполголоса.

В углу что-то шевельнулось. Вздрогнув, Андрей присмотрелся: это был Немой. Он сидел в своей обычной позе, скрестив и каким-то очень сложным образом переплетя ноги. Глаза его влажно поблескивали в полутьме.

— Даган! — позвал Андрей громче.

— Иду, сэр! — откликнулись из глубины дома. Послышались шаги.

— Чего ты здесь сидишь? — сказал Андрей Немому. — Зайди в комнату.

Немой, не шевелясь, смотрел на него, подняв широкое лицо.

Андрей вернулся к столу и, когда Даган, постучав, заглянул в комнату, сказал ему:

— Приведите в порядок мой пистолет, пожалуйста.

— Слушаюсь, сэр, — почтительно сказал Даган, взял пистолет и у дверей посторонился, пропуская в комнату Изю.

— Ага, лампа! — сказал Изя, устремляясь прямо к столу. — Слушай, Андрей, а больше у нас нет такой лампы? Надоело мне с фонариком, глаза уже болят...

За последние дни Изя здорово похудел. Все на нем висело, и все на нем было рваное. И разило от него, как от старого козла. Впрочем, и от всех так разило. Кроме полковника.

Андрей смотрел, как Изя, ни на что не обращая внимания, подхватил стул, уселся и придвинул к себе лампу. Потом он принялся доставать из-за пазухи пачки каких-то мятых старых бумаг и раскладывать их перед собой. При этом он по обыкновению слегка подпрыгивал на стуле, шарил по бумагам глазами, словно бы пытаясь прочесть все их сразу, и время от времени пощипывал бородавку. До этой бородавки ему теперь было трудненько добираться по причине густейшей курчавой волосни, покрывавшей щеки, шею и даже, кажется, уши.

— Слушай, ты бы побрился все-таки, — сказал Андрей.

— Зачем это? — рассеянно осведомился Изя.

— Весь командный состав бреется, — сказал Андрей сердито. — Один ты ходишь как чучело.

Изя поднял голову и некоторое время смотрел на Андрея, обнажив среди волосни желтоватые, давно не чищенные зубы.

— Да? — сказал он. — А ты знаешь, я — человек непрестижный. Смотри, какая на мне курточка.

Андрей посмотрел.

— Тоже, между прочим, мог бы заштопать. Сам не умеешь — Дагану отдай.

— По-моему, у Дагана и без меня дел хватает... Кстати, в кого это ты намереваешься стрелять?

— В кого надо, — сказал Андрей мрачно.

— Ну-ну, — сказал Изя и погрузился в чтение.

Андрей глянул на часы. Было уже без десяти. Андрей со вздохом полез под стол, нашарил там башмаки, вынул из них уже затвердевшие носки, понюхал украдкой, потом задрал правую ногу к свету и осмотрел стертую пятку. Ссадина немножко подзатянулась, но было еще больно. Заранее сморщившись, он осторожно натянул задубевший носок и подвигал ступней. Совсем сморщился и потянулся за ботинком. Обувшись, он опоясался ремнем с пустой кобурой, оправил и застегнул куртку.

— На, — сказал Изя и толкнул ему через стол пачку исписанных бумаг.

— Это что? — без всякого интереса спросил Андрей.

— Бумага.

— А-а... — Андрей собрал листки и спрятал в карман куртки. — Спасибо.

Изя уже снова читал. Быстро, как машина.

Андрей вспомнил, как ему не хотелось брать Изю в эту экспедицию — с его нелепым видом огородного чучела, с его вызывающе еврейской физиономией, с его наглым хихиканьем, с его самоочевидной непригодностью к тяжелым физическим нагрузкам. Было совершенно ясно, что Изя будет доставлять массу хлопот, а толку от архивариуса в походных условиях, приближенных к боевым, будет чуть. И все оказалось не так.

То есть, ТАК тоже оказалось. Изя первый стер ноги. Сразу обе. Изя был невыносим на вечерних рапортах со своими идиотскими неуместными шуточками и непрошенной фамильярностью. На третий день пути он ухитрился провалиться в какой-то погреб, и его пришлось вытаскивать всей командой. На пятый день он потерялся и задержал выступление на несколько часов. Во время стычки на триста сороковом километре он вел себя как последний кретин и только чудом остался жив. Солдаты издевались над ним, а Кехада с ним постоянно ссорился. Эллизауэр

оказался принципиальным юдофобом, и пришлось делать ему по поводу Изи специальное внушение... Было. Все было.

И при всем при том довольно скоро получилось так, что Изя сделался самой популярной в экспедиции фигурой, не считая, может быть, полковника. А в известном смысле и более популярной. Во-первых, он находил воду. Геологи много и тщетно искали источники, сверлили скалы, потели, совершали изнурительные походы во время общих привалов. Изя просто сидел в волокуше под уродливым самодельным зонтиком и копался в старых бумагах, которых у него набралось уже несколько ящиков. И он четыре раза предсказал, где искать подземные цистерны. Правда, одна цистерна оказалась пересохшей, а в другой вода порядочно протухла, но дважды экспедиция получила прекрасную воду, благодаря Изе и только Изе.

Во-вторых, он нашел склад солярки, после чего антисемитизм Эллизауэра сделался в значительной степени абстрактным. «Я ненавижу жидов, — объяснялся он своему главному мотористу. — Нет ничего на свете хуже жида. Однако я никогда ничего не имел против евреев! Возьми, скажем, Кацмана...»

Далее, Изя всех снабжал бумагой. Запасы пипифакса кончились после первого же взрыва желудочных заболеваний, и вот тут популярность Изи — единственного обладателя и хранителя бумажных богатств в стране, где не то что лопуха, пучка травы не отыщешь, — тут уж популярность Изи достигла наивозможнейшего предела.

Не прошло и двух недель, как Андрей с некоторой даже ревностью обнаружил, что Изю любят. Все. Даже солдаты, что было совершенно уже невероятно. Во время привалов они толклись около него и, раскрывши рты, слушали его трепотню. Они по собственному почину и с удовольствием перетаскивали с места на место его железные ящики с документацией. Они жаловались ему и выпендривались перед ним, как школьники перед любимым учителем. Фогеля они ненавидели, полковника — трепетали, с научниками дрались, а с Изей — смеялись. Не над ним уже — с ним!.. «Вы знаете, Кацман, — сказал однажды полковник. — Я никогда не понимал, зачем в армии нужны комиссары. У меня никогда не было комиссара, но вас бы я, пожалуй, на такую должность взял...»

Изя кончил разбирать одну пачку бумаг и извлек из-за пазухи вторую.

— Есть что-нибудь интересное? — спросил Андрей. Спросил не потому, что ему было на самом деле любопытно, а просто захотелось как-то выразить нежность, которую он вдруг испытал сейчас к этому неуклюжему, нелепому, даже неприятному на вид человеку.

Изя не успел ответить — успел только головой помотать. Дверь распахнулась, и в комнату шагнул полковник Сент-Джеймс.

— Разрешите, советник? — произнес он.

— Прошу вас, полковник, — сказал Андрей, поднимаясь. — Добрый вечер.

Изя вскочил и пододвинул полковнику кресло.

— Вы очень любезны, комиссар, — сказал полковник и медленно, в два разделения, уселся. Выглядел он как обычно — подтянутый, свежий, пахнущий одеколоном и хорошим табаком, — только вот щеки у него последнее время малость ввалились и необычайно глубоко запали глаза. И ходил он теперь уже не со своеобычным стеком, а с длинной черной тростью, на которую заметно опирался, когда приходилось стоять.

— Эта безобразная драка под окнами... — сказал полковник. — Я приношу вам свои извинения, советник, за моего солдата.

— Будем надеяться, что это была последняя драка, — сказал Андрей угрюмо. — Я больше не намерен этого терпеть.

Полковник рассеянно покивал.

— Солдаты всегда дерутся, — заметил он небрежно. — В британской армии это, собственно, поощряется. Боевой дух, здоровая агрессивность и так далее... Но вы, разумеется, правы. В таких тяжелых походных условиях это нетерпимо. — Он откинулся в кресле, достал и принялся набивать трубку. — А ведь потенциального противника все не видно, советник! — сказал он юмористически. — Я предвижу в связи с этим большие осложнения для моего бедного генерального штаба. Да и для господ политиков — тоже, если быть откровенным...

— Наоборот! — воскликнул Изя. — Вот теперь-то для всех нас и начнутся самые горячие денечки! Поскольку настоящего противника не существует, необходимо его придумать. А как показывает мировой опыт, самый страшный противник — это противник придуманный. Уверяю вас, это будет невероятно жуткое чудовище. Армию придется удвоить.

— Вот как? — сказал полковник по-прежнему юмористически. — Интересно, кто же будет его придумывать? Уж не вы ли, мой комиссар?

— Вы! — сказал Изя торжественно. — Вы в первую очередь. — Он принялся загибать пальцы. — Во-первых, вам придется создать при генеральном штабе отдел политической пропаганды...

В дверь постучали, и прежде чем Андрей успел ответить, вошли Кехада и Эллизауэр. Кехада был мрачен, Эллизауэр неопределенно улыбался откуда-то из-под самого потолка.

— Прошу садиться, господа, — холодно предложил им Андрей. Он

постучал по столу костяшками пальцев и сказал Изе: — Кацман, мы начинаем.

Изя оборвал себя на полуслове и с готовностью повернулся лицом к Андрею, перекинув руку через спинку кресла. Полковник снова выпрямился и сложил ладони на набалдашнике трости.

— Ваше слово, Кехада, — сказал Андрей.

Начальник научной части сидел прямо перед ним, широко расставив толстые, как у штангиста, ноги, чтобы не мокло в шагу, а Эллизауэр, как всегда, устроился у него за спиной, сильно там ссутулившись, чтобы не слишком торчать.

— По геологии ничего нового, — мрачно сказал Кехада. — По-прежнему глина, песок. Никаких следов воды. Здешний водопровод давно пересох. Может быть, именно поэтому они и ушли отсюда, не знаю... Данные по солнцу, ветру и так далее... — Он достал из нагрудного кармана листок бумаги, перебросил Андрею. — У меня пока все.

Андрею очень не понравилось это «пока», но он только кивнул и стал смотреть на Эллизауэра.

— Транспортная часть?

Эллизауэр распрямился и заговорил поверх головы Кехады:

— Пройдено сегодня тридцать восемь километров. Двигатель трактора номер второй надо ставить на капитальный ремонт. Очень сожалею, господин советник, но — увы...

— Так, — сказал Андрей. — Что это значит — капитальный ремонт?

— Два-три дня, — сказал Эллизауэр. — Часть узлов придется заменить, а другие привести в порядок. Может быть, даже четыре дня. Или пять.

— Или десять, — сказал Андрей. — Дайте рапорт.

— Или десять, — согласился Эллизауэр, все так же неопределенно улыбаясь. Не вставая, он протянул через плечо Кехады свой рапорт.

— Вы это в шутку? — стараясь говорить спокойно, произнес Андрей.

— Что именно, господин советник? — Эллизауэр испугался. Или только сделал вид, что испугался.

— Три дня или десять дней, господин специалист?!

— Я очень сожалею, господин советник... — забормотал Эллизауэр. — Я боюсь сказать точно... Мы не в гараже, и потом мой Пермяк... У него какая-то сыпь, и весь день его рвало... Он у меня главный моторист, господин советник...

— А вы? — сказал Андрей.

— Я сделаю все, что смогу... Другое дело, что в наших условиях... я

имею в виду — в полевых условиях...

Некоторое время он еще продолжал болтать что-то насчет мотористов, насчет крана, которого не захватили, а ведь он предупреждал... насчет сверлильного станка, которого здесь нет и быть, к сожалению, не может, снова насчет моториста и еще что-то там про поршни и пальцы... С каждой минутой он говорил все тише, все невнятней и наконец замолчал совсем, а Андрей все это время, не отрываясь, смотрел ему в глаза, и было совершенно ясно, что этот длинный трусливый пройдоха совсем заврался, и сам уже понимает это, и видит, что все это понимают, и пытается как-то вывернуться, но не умеет, и все-таки намерен твердо стоять на своем вранье до победного конца.

Потом Андрей опустил глаза и уставился в его рапорт, в неряшливые строчки, нацарапанные куриным почерком, но ничего при этом не видел и не понимал. Сговорились, гады, думал он с тихим отчаянием. Эти — тоже сговорились. Ну, как мне теперь с ними?.. Пистолета нет, жалко... Шлепнуть Эллизауэра... или запугать так, чтобы обосрался... Нет — Кехада, Кехада, вот кто у них главный. На меня все хочет свалить... Всю эту протухшую, провонявшую затею хочет свалить на меня одного... подонок, толстый боров... Ему хотелось заорать и изо всех сил ахнуть кулаком по столу.

Молчание становилось нестерпимым. Изя вдруг нервно заерзал на стуле и принялся бормотать:

— В чем, собственно, дело? В конце концов, торопиться нам особенно некуда. Сделаем остановку... В зданиях могут быть архивы... Воды здесь, правда, нет, но за водой можно послать вперед отдельную группу...

И тут его оборвал Кехада.

— Ерунда, — сказал он резко. — Хватит болтать, господа. Давайте ставить точки над «и». Экспедиция провалилась. Воды мы не нашли. Нефти — тоже. И не могли найти при такой организации георазведки. Несемся как сумасшедшие, людей измотали, транспорт измочалили. Дисциплина в отряде ни к черту — девок приблудных подкармливаем, тащим с собой каких-то распространителей слухов... Перспектива давным-давно утеряна, всем на все наплевать. Люди идти дальше не хотят, они не видят, зачем нужно идти, и нам нечего им сказать. Космографические данные оказались просто ни к черту не годными: готовились к полярным холодам, а заехали в раскаленную пустыню. Личный состав экспедиции подобран плохо, с бору по сосенке. Медицинское обеспечение отвратительное. Вот в результате мы и получаем то, что должны были получить: падение морального духа, развал дисциплины, скрытое

неповиновение и не сегодня-завтра — бунт. Все.

Кехада замолчал, вытащил портсигар и закурил.

— Что вы, собственно, предлагаете, господин Кехада? — проговорил Андрей спертым голосом. Ненавистное лицо с толстыми усами плавало перед ним в паутине каких-то неопределенных линий. Очень хотелось влепить. Лампой. Прямо по усам...

— По-моему, это тривиально, — произнес Кехада с пренебрежением. — Надо поворачивать оглобли. И немедленно. Пока целы.

Спокойствие, убеждал себя Андрей. Сейчас — только спокойствие. Как можно меньше слов. Не спорить ни в коем случае. Спокойно слушать и молчать. Ах, до чего же хочется влепить!..

— Действительно, — подал голос Эллизауэр. — До каких же пор можно идти? Мои люди меня спрашивают: что же это получается, господин инженер? Договорились идти, пока солнце не сядет за горизонт. Так оно — наоборот, поднимается. Потом договорились, что пока оно не поднимется в зенит... Опять же — не поднимается, до зенита не доходит, а скачет то вверх, то вниз...

Только не спорить, твердил про себя Андрей. Пусть болтают. Это даже интересно, что они там еще придумают сказать... Полковник не выдаст. Армия все решает. Армия!.. Неужели это они Фогеля подговорили, гады?..

— Ну, а вы-то что? — спросил Изя Эллизауэра. — Вы?

— А что — я?

— Они вас спрашивают, понятно... А что вы им отвечаете?

Эллизауэр принялся пожимать плечами и двигать реденькими бровями.

— Даже странно... — бормотал он при этом. — А что я могу им ответить, спрашивается? Вот я и хотел бы узнать, что я должен им отвечать? Откуда мне это знать?..

— То есть вы им ничего не отвечаете?

— А что я могу ответить? Что?! Отвечаю, что начальству виднее...

— Ну и ответ! — сказал Изя, ужасно тараща глаза. — Да такими ответами целую армию разложить можно, не то что несчастных водителей... Я, мол, ребятушки, хоть сейчас готов назад, да вот зверь-начальник не пускает... Вы сами-то понимаете, зачем мы идем? Ведь вы же доброволец, вас никто не принуждал!

— Слушайте, Кацман... — попытался прервать его Кехада. — Давайте говорить о деле!

Изя даже не взглянул на него.

— Вы знали, что будет трудно, Эллизауэр? Знали. Знали, что не за

пряниками идем? Знали... Знали, что Городу нужна эта экспедиция? Знали — вы образованный человек, инженер... Знали приказ: идти, пока хватает горючего и воды? Прекрасно знали, Эллизауэр!

— Да я ведь не возражаю! — торопливо заговорил вконец перепуганный Эллизауэр. — Я ведь только вам объясняю, что мои объяснения... то есть что мне не ясно, как им надо отвечать, потому что меня ведь спрашивают...

— Да перестаньте вы вилять, Эллизауэр! — решительно сказал Изя. — Все предельно ясно: дальше идти боитесь, ведете моральный саботаж, разложили собственных подчиненных, а теперь прибежали сюда жаловаться... А вам, между прочим, даже пешком ходить не приходится. Все время ездите...

Давай, Изя, давай, голубчик, думал Андрей с умилением. Врежь ему, паскудине, врежь!.. Он уже обгадился, сейчас в сортир попросится...

— И вообще я не понимаю, из-за чего вся эта паника, — продолжал Изя все так же решительно. — Геология нас подвела? Да господь с ней, с геологией, обойдемся и без геологии. Без космографии тем более обойдемся... Неужели не ясно, что главное наше дело — разведка, сбор информации. Я лично утверждаю, что экспедиция уже сегодня сделала очень много, а может сделать еще больше. Трактор поломался? Не страшно. Пусть его здесь ремонтируют, два дня или десять, я не знаю — оставим здесь самых усталых и больных, а на втором тракторе двинемся потихонечку дальше. Воду найдем — остановимся, подождем оставшихся. Ведь все очень просто, ничего особенного...

— Да, конечно, все очень просто, Кацман, — желчно сказал Кехада. — А пулю в спину не хотите, Кацман? Или в лоб? Вы слишком увлеклись своими архивами, ничего вокруг не замечаете... Солдаты дальше не пойдут. Я это знаю, я слышал, как они договаривались...

Эллизауэр вдруг воздвигся у него за спиной и, бормоча невнятные извинения, демонстративно держась за живот, кинулся вон из комнаты. Крыса, со злорадством подумал Андрей. Сволочь трусливая. Дристун...

Кехада будто ничего не заметил.

— Из своих геологов я могу положиться только на одного человека, — продолжал он. — На солдат и на водителей нельзя полагаться вообще. Конечно, вы можете расстрелять одного или двоих для острастки... может быть, это поможет. Не знаю. Сомневаюсь. И я не уверен, что вы имеете моральное право так поступать. Они не хотят идти, потому что чувствуют себя обманутыми. Потому что они ничего не получили от этого похода и теперь уже не надеются получить. Эта прекрасная легенда, которую так

находчиво придумал господин Кацман, — легенда насчет Хрустального Дворца — действовать перестала. Преобладают, знаете ли, Кацман, другие легенды...

— Какого черта? — сказал Изя, заикаясь от негодования. — Я ничего не придумывал!..

Кехада отмахнулся от него почти добродушно.

— Ладно, ладно, теперь это уже не имеет никакого значения. Теперь уже ясно, что дворца не будет, так что и говорить здесь не о чем... Вы же прекрасно знаете, господа, что три четверти ваших добровольцев шли в этот поход за добычей и только за добычей. И что они получили вместо добычи? Кровавый понос да вшивую идиотку для ночных развлечений... Но дело даже не в этом. Мало того, что они разочарованы, — они еще и напуганы. Скажем спасибо господину Кацману. Скажем спасибо господину Паку, которому мы так любезно предложили стол и дом в экспедиции. Стараниями этих господ люди чрезмерно много узнали о том, _что_ нам предстоит, если мы двинемся дальше. Люди боятся тринадцатого дня. Люди боятся говорящих волков... Мало нам было акульих волков — нам пообещали говорящих!.. Люди боятся железноголовых. А в сочетании с тем, что они уже повидали — все эти немые с вырезанными языками, заброшенные концлагеря, одичавшие кретины, которые молятся источникам, и хорошо вооруженные кретины, которые ни с того ни с сего стреляют из-за угла... В сочетании с тем, что они увидели за сегодняшний день, здесь, в этих домах — эти кости в забаррикадированных квартирах... Прелестное и внушительное получается сочетание! И если вчера солдат больше всего на свете боялся сержанта Фогеля, то сегодня ему на Фогеля уже наплевать — у него есть страхи пострашнее...

Кехада наконец замолк и, переводя дух, вытер пот, обильно выступивший на его толстом лице. И тут полковник, иронически подняв одну бровь, произнес:

— У меня создается впечатление, что вы и сами основательно напуганы, господин Кехада. Или я ошибаюсь?

Кехада скосил на него красный глаз.

— За меня не беспокойтесь, полковник, — проворчал он. — Если я чего-нибудь и боюсь, так это — пули между лопаток. Ни за что ни про что. От людей, которым я, между прочим, сочувствую.

— Вот как? — заметил полковник. — Ну что ж... Я не берусь судить о важности настоящей экспедиции и не берусь указывать начальнику экспедиции, как ему надлежит поступать. Мое дело — выполнять приказания. Считаю, однако, необходимым сказать, что все эти

рассуждения насчет бунта и неповиновения представляются мне праздной болтовней. Предоставьте моих солдат мне, господин Кехада! Если угодно, можете предоставить мне и тех ваших геологов, которым вы не доверяете. Я с удовольствием ими займусь... Должен обратить ваше внимание, советник, — все с той же убийственной вежливостью продолжал он, поворачиваясь к Андрею, — что сегодня здесь слишком много говорят о солдатах, причем почему-то как раз те лица, которые к солдатам никакого официального отношения не имеют...

— О солдатах говорят лица, — зло прервал его Кехада, — которые круглосуточно работают, едят и спят рядом с ними...

В возникшей тишине послышался легкий скрип кожаного кресла: полковник сел очень прямо. Некоторое время он молчал. Тихонько приоткрылась дверь, Эллизауэр с постной улыбкой, слегка кланяясь на ходу, прокрался к своему месту.

Ну, торопил Андрей, во все глаза глядя на полковника. Ну! Врежь ему! По усам! По роже ему, по роже!..

Полковник наконец заговорил:

— Должен также обратить ваше внимание, советник, что среди некоторой части командного состава обнаружилось сегодня явное сочувствие и, более того, потворство вполне понятным, обычным, но совершенно нежелательным настроениям среди нижних чинов армии. Как старший офицер я имею заявить следующее. В том случае, если упомянутые потворство и сочувствие примут какие-либо практические формы, я буду поступать с потворствующими и сочувствующими, как полагается поступать с таковыми в полевых условиях. В остальном, господин советник, имею честь заверить вас, что армия и впредь готова выполнять любые ваши распоряжения.

Андрей потихоньку перевел дух и с удовольствием посмотрел на Кехаду. Кехада, криво улыбаясь, прикуривал новую сигарету от окурка старой. Эллизауэра не было видно вовсе.

— А как, собственно, поступают с потворствующими и сочувствующими в полевых условиях? — с огромным любопытством осведомился Изя, который тоже был очень доволен.

— Их обычно вешают, — сухо ответил полковник.

Снова наступила тишина. Вот так-то, думал Андрей. Вам, надеюсь, все ясно, господин Кехада? Или, может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы? Нет у вас никаких вопросов, куда там!.. Армия! Армия все решает, голубчики мои... И все равно я ничего не понимаю, думал он. Откуда у него такая уверенность? Или, может быть, это только маска, полковник? Я ведь

тоже выгляжу сейчас очень уверенным. Во всяком случае, должен бы выглядеть... Обязан.

Он исподлобья посмотрел на полковника. Тот по-прежнему сидел очень прямо, стиснув в зубах погасшую трубку. И он был очень бледен. Может быть, просто от злости. Будем надеяться, что всего лишь от злости... К черту, к черту, панически подумал Андрей. Большой привал! Немедленно! И пусть Кацман достанет мне воду. Много воды. Для полковника. Для одного полковника. И прямо с сегодняшней ночи полковнику — двойную порцию воды!..

Эллизауэр, весь перекошенный, высунулся из-за толстого плеча Кехады и жалобно проскрипел:

— Разрешите... Мне необходимо... Опять...

— Сядьте, — сказал ему Андрей. — Сейчас заканчиваем. — Он откинулся в кресле и взялся за подлокотники. — Приказ на завтра. Объявляется большой привал. Эллизауэр! Все силы на неисправный трактор. Даю вам три дня сроку, извольте управиться. Кехада. Завтра весь день занимайтесь больными. Послезавтра будьте готовы выступить со мной в глубокую разведку. Кацман, вы поедете с нами... Воду! — Он постучал пальцем по столу. — Воду мне, Кацман!.. Господин полковник! Завтра приказываю вам отдыхать. Послезавтра примете командование лагерем. Все, господа. Свободны.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Светя себе под ноги фонариком, Андрей торопливо поднялся на следующий этаж — кажется, уже на пятый. Ч-черт, не добегу ведь... Он приостановился и весь напрягся, пережидая острый позыв. В животе что-то с глухим ворчанием провернулось, стало чуть полегче. Дьяволы, все этажи засрали, ступить некуда. Он добрался до площадки и толкнулся в первую же дверь. Дверь со скрипом приоткрылась. Андрей протиснулся внутрь и принюхался. Вроде бы ничего... Он посветил фонариком. На рассохшемся паркете, тут же у дверей, белели кости среди заскорузлых лохмотьев, скалил зубы череп, облепленный пучками волос. Ну ясно: заглянули, но испугались... Неестественно передвигая ногами, Андрей почти побежал по коридору. Гостиная... Ч-черт, что-то вроде спальни... Где здесь у них сортир? А, вот он...

Потом, уже спокойный, хотя резь в животе так и не утихла до конца, весь покрытый холодным липким потом, он снова вышел в коридор, застегнулся во тьме и снова вытащил из кармана фонарик. Немой был тут как тут — стоял, прислонившись плечом к какому-то полированному, бесконечной высоты шкафу, засунув большие белые ладони под широкий ремень.

— Сторожишь? — рассеянно-добродушно сказал ему Андрей. — Сторожи, сторожи, а то вот саданут меня чем-нибудь тяжелым из-за угла — что тогда будешь делать?..

Он поймал себя на том, что взял привычку разговаривать с этим странным человеком, как с огромной собакой, и ему стало неловко. Он дружески похлопал Немого по голому прохладному плечу и теперь уже не торопясь пошел по квартире, светя фонариком направо и налево. Позади, не приближаясь и не отставая, слышались мягкие шаги Немого.

Эта квартира была еще роскошнее. Множество комнат, набитых тяжелой старинной мебелью, мощные люстры, огромные почерневшие картины — в музейных рамах. Но мебель почти вся была поломана — ручки у кресел оторваны, стулья валялись без ножек и без спинок, у шкафов были оторваны дверцы. Топили они здесь мебелью, что ли, подумал Андрей. При такой-то жаре? Странно...

Дом был вообще, прямо скажем, странноватый, — солдат вполне можно было понять. Некоторые квартиры стояли нараспашку, там было просто пусто, совсем ничего, голые стены. Другие квартиры были заперты

изнутри, иногда даже забаррикадированы мебелью, и если удавалось вломиться внутрь, оказывалось, что там валяются на полу человеческие кости. То же самое было и в домах по соседству, и можно было предполагать, что то же обнаружится и в остальных домах этого квартала.

Все это было ни с чем не сообразно, и даже Изя Кацман пока не сумел придумать никакого вразумительного объяснения, почему одни жильцы этих домов бежали, захватив с собою все, что могли унести, даже книги, а другие — забаррикадировались в своих жилищах, чтобы там умереть, по-видимому, от голода и жажды. А может быть, и от холода — в некоторых квартирах обнаружились жалкие подобия железных печурок, а в других огонь разводили, видимо, прямо на полу или на листах ржавого железа, сорванных, скорее всего, с крыши.

— Ты понимаешь, что здесь произошло? — спросил Андрей Немого.

Тот медленно покачал головой.

— Ты был здесь когда-нибудь раньше?

Немой кивнул.

— Тогда здесь жили?

«Нет», — показал Немой.

— Понятно... — пробормотал Андрей, пытаясь разобрать, что изображено на почерневшей картине. Кажется, что-то вроде портрета. Кажется, женщина какая-то...

— Это опасное место? — спросил он.

Немой глядел на него остановившимися глазами.

— Понимаешь вопрос?

Да.

— Можешь ответить?

Нет.

— И на том спасибо, — сказал Андрей задумчиво. — Значит, может, и ничего. Ладно, пошли домой.

Они вернулись на второй этаж. Немой остался в своем углу, а Андрей прошел к себе. Кореец Пак уже ждал его — беседовал о чем-то с Изей. Увидев Андрея, он замолчал и поднялся ему навстречу.

— Садитесь, господин Пак, — сказал Андрей и сел сам.

Пак, чуточку помедлив, осторожно опустился на сиденье стула и положил руки на колени. Желтоватое лицо его было спокойно, сонные глаза влажно поблескивали сквозь щелочки между припухшими веками. Андрею он всегда нравился — чем-то неуловимо напоминал Кэнси, а может быть, просто потому, что был всегда опрятен, благожелателен, со всеми дружелюбен, но без всякой фамильярности, немногословен, но вежлив и

приветлив — всегда немного сам по себе, всегда на некотором неуловимом расстоянии... А может быть, потому, что именно он, Пак, прекратил эту нелепую стычку на триста сороковом километре — в самый разгар пальбы вышел из развалин и, подняв руку с раскрытой ладонью, неторопливо двинулся навстречу выстрелам...

— Вас не разбудили, господин Пак? — спросил Андрей.

— Нет, господин советник. Я еще не ложился.

— Желудок мучает?

— Не больше, чем других.

— Но, вероятно, и не меньше... — заметил Андрей. — А как у вас с ногами?

— Лучше, чем у других.

— Это хорошо, — сказал Андрей. — А как вообще самочувствие? Очень сильно устали?

— У меня все в порядке, благодарю вас, господин советник.

— Это хорошо, — повторил Андрей. — Я вот почему побеспокоил вас, господин Пак. Завтра объявлен большой привал. Но уже послезавтра я намерен с особой группой совершить небольшую рекогносцировку. Километров на пятьдесят-семьдесят вперед. Нам надо найти воду, господин Пак. Идти будем, вероятно, налегке, но быстро.

— Понимаю вас, господин советник, — сказал Пак. — Прошу разрешения присоединиться.

— Благодарю. Хотел просить вас об этом. Итак, выходим послезавтра, прямо в шесть утра. Сухой паек и воду получите у сержанта. Договорились? Теперь вот что... Как вы полагаете, сумеем мы найти здесь воду?

— Думаю, да, — сказал Пак. — Я слышал кое-что об этих районах. Где-то здесь должен быть источник. Когда-то, по слухам, это был очень обильный источник. Теперь он, вероятно, оскудел. Но на наш отряд, возможно, и хватит. Надо посмотреть.

— А может быть, он вообще пересох?

Пак покачал головой.

— Возможно, но весьма маловероятно. Я никогда не слыхал об источниках, которые пересыхают совсем. Выход воды может уменьшиться, даже сильно уменьшиться, но совсем источники, видимо, не пересыхают.

— В документах я пока не нашел ничего полезного, — сказал Изя. — Вода в город подавалась по акведуку, а теперь этот акведук сух, как... как я не знаю что.

Пак промолчал.

— А что вы еще слыхали об этих кварталах? — спросил его Андрей.

— Разные более или менее страшные вещи, — сказал Пак. — Часть — явная выдумка. Что касается остального... — Он пожал плечами.

— Ну, например? — сказал Андрей благодушно.

— Собственно, все это я уже рассказывал вам раньше, господин советник. Например, по слухам, где-то неподалеку отсюда находится так называемый Город Железноголовых. Однако кто такие эти железноголовые, я понять так и не сумел... Кровавый водопад — но это еще, по-видимому, далеко. Вероятно, речь идет о потоке, который размывает какую-нибудь горную породу красного цвета. Воды там, во всяком случае, будет много... Существуют легенды о говорящих животных — это уже на грани вероятного. А о том, что находится за этой гранью, говорить, видимо, не имеет смысла... Впрочем, Эксперимент есть Эксперимент.

— Вам, наверное, очень надоели эти расспросы, — сказал Андрей, улыбаясь. — Воображаю, как вам надоело повторять всем одно и то же в двадцатый раз. Но вы уж нас извините, господин Пак. Ведь среди нас вы — самый осведомленный.

Пак снова пожал плечами.

— К сожалению, цена моей осведомленности невелика, — сказал он сухо. — Большинство слухов не подтверждается. И наоборот — встречается много такого, о чем я никогда ничего не слыхал... А что касается расспросов, то не кажется ли вам, господин советник, что рядовые члены группы слишком осведомлены, когда речь идет о слухах? Лично я отвечаю на расспросы только тогда, когда разговариваю с кем-нибудь из командного состава. Я считаю неправильным, господин советник, что солдаты и прочие рядовые работники экспедиции в курсе всех этих слухов. Вредно для морали.

— Вполне согласен с вами, — сказал Андрей, стараясь не отводить глаз. — И во всяком случае, я бы предпочел, чтобы было побольше слухов насчет молочных рек с кисельными берегами.

— Да, — сказал Пак. — Поэтому, когда меня расспрашивают солдаты, я стараюсь уклониться от неприятных тем и муссирую, главным образом, легенду о Хрустальном Дворце... Правда, в последнее время они больше не желают слушать об этом. Все очень боятся и хотят домой.

— И вы тоже? — спросил Андрей сочувственно.

— У меня нет дома, — сказал Пак спокойно. Лицо у него было непроницаемое, глаза сделались совсем сонные.

— Н-да... — Андрей побарабанил пальцами по столу. — Ну что же, господин Пак. Еще раз — спасибо. Прошу вас отдыхать. Спокойной ночи.

Он проводил глазами спину, обтянутую выцветшей голубой саржей, подождал, пока закроется дверь, и сказал:

— Хотел бы я все-таки понять, зачем он увязался с нами?

— То есть как это — зачем? — встрепенулся Изя. — Сами они разведку организовать не могли, вот и попросились к тебе...

— А зачем им, собственно, разведка?

— Ну, дорогой мой, не всем царство Гейгера по вкусу, как тебе! Раньше они не хотели жить под господином мэром — это тебя не удивляет? А теперь они не хотят жить под господином президентом. Они хотят жить сами по себе, понимаешь?

— Понимаю, — сказал Андрей. — Только, по-моему, никто не собирается мешать им жить самим по себе.

— Это — по-твоему, — сказал Изя. — Ты ведь не президент.

Андрей залез в железный ящик, достал плоскую флягу со спиртом и принялся свинчивать колпачок.

— Неужели ты воображаешь, — сказал Изя, — что Гейгер потерпит у себя под боком хорошо вооруженную, крепкую колонию? Две сотни закаленных, битых-перебитых мужиков всего в трехстах километрах от Стеклянного Дома... Конечно, он им жить не даст. Значит, им надо уходить дальше на север. Куда?

Андрей побрызгал спиртом на руки и изо всех сил потер ладонь о ладонь.

— До чего же осточертела эта грязь... — пробормотал он с отвращением. — Ты представить себе не можешь...

— Да-а, грязь... — сказал Изя рассеянно. — Грязь — это тебе не сахар... Ты мне скажи, что ты все время пристаешь к Паку? Чем он тебе не потрафил? Я его знаю давно, чуть ли не с первого дня. Это честнейший, культурнейший человек. Что ты к нему пристал? Только твоей зоологической ненавистью к интеллигенции можно объяснить эти бесконечные иезуитские допросы. Если тебе так уж позарез надо узнать, кто распространяет слухи, осведомителей своих допрашивай, а Пак здесь ни при чем...

— У меня нет осведомителей, — холодно сказал Андрей.

Они помолчали. Потом Андрей неожиданно для себя сказал:

— Хочешь — честно?

— Ну? — жадно сказал Изя.

— Так вот, мой милый. У меня в последнее время появилось ощущение, что кто-то очень хочет нашу экспедицию прекратить. Совсем прекратить, понимаешь? Не просто чтобы мы повернули оглобли и пошли

домой, а прикончить нас. Уничтожить. Чтобы мы пропали без вести, понимаешь?

— Н-ну, брат!.. — сказал Изя. Пальцы его со скрипом копались в бороде, отыскивая бородавку.

— Да-да! И я все пытаюсь понять, кому это может быть выгодно. И получается, что это выгодно твоему Паку. Молчи! Дай мне договорить! Если мы пропадем без вести, Гейгер не узнает ничего — ни о колонии, ни о чем... И вторую такую экспедицию он не скоро решится организовать. И тогда не надо им будет уходить на север, покидать насиженное место. Вот так вот у меня получается, понимаешь?

— По-моему, ты с ума сошел, — сказал Изя. — Откуда у тебя эти ощущения? Если насчет повернуть оглобли — тут никаких ощущений не надо. Все хотят повернуть... Но откуда ты взял, что нас хотят уничтожить?

— Не знаю! — сказал Андрей. — Я тебе говорю: ощущение... — Он помолчал. — Во всяком случае, я правильно решил взять Пака с собой послезавтра. Нечего ему тут без меня в лагере делать...

— Да он-то здесь при чем?! — гаркнул Изя. — Ну подумай ты головой своей дурацкой! Ну, уничтожит он нас, а потом что? Восемьсот километров пешком? По безводью?!

— Откуда я знаю? — огрызнулся Андрей. — Может, он трактор умеет водить.

— Ты еще Мымру заподозри, — сказал Изя. — Как это... Как в сказке о царе Додоне... Шамаханская царица.

— Н-да... Мымра... — задумчиво сказал Андрей. — Тоже штучка та еще... И этот Немой... Кто он? Откуда? Почему ходит везде за мной, как собака? Даже в сортир... Между прочим, ты знаешь, он уже, оказывается, в этих местах побывал.

— Открытие сделал! — сказал Изя пренебрежительно. — Это я давным-давно понял. Эти безъязыкие пришли с севера...

— Может быть, им здесь и вырезали языки? — сказал Андрей негромко.

Изя посмотрел на него.

— Слушай, давай выпьем, — сказал он.

— Разбавлять нечем.

— Ну, тогда хочешь, я тебе Мымру приведу?

— Иди ты к дьяволу... — Андрей поднялся, морщась, подвигал стертой ногой в ботинке. — Ладно, я пойду погляжу, как и что. — Он похлопал себя по пустой кобуре. — У тебя пистолет есть?

— Есть где-то. А что?

— Ладно, так пойду, — сказал Андрей.

Вытаскивая на ходу фонарик, он вышел в коридор. Немой поднялся ему навстречу. Справа, в глубине квартиры, из-за приоткрытой двери слышались негромкие голоса. Андрей приостановился.

— ...В Каире, Даган, в Каире! — внушительно вещал полковник. — Теперь я вижу, что вы все забыли, Даган. Двадцать первый полк Йоркширских стрелков, и командовал им тогда старина Билл, пятый баронет Стрэтфорд.

— Я прошу извинения, господин полковник, — почтительно возражал Даган. — Мы можем прибегнуть к дневникам господина полковника...

— Не надо, не надо никаких дневников, Даган! Занимайтесь своим пистолетом. Вы мне еще обещали почитать на ночь...

Андрей вышел на лестничную площадку и, как на телеграфный столб, налетел на Эллизауэра. Эллизауэр курил, ссутулившись, прислонясь задом к железным перилам.

— Последняя перед сном? — спросил Андрей.

— Так точно, господин советник. Сейчас ложусь.

— Ложитесь, ложитесь, — сказал Андрей, проходя. — Знаете: больше спишь — меньше грешишь.

Эллизауэр почтительно хихикнул ему вслед. Верста коломенская, подумал Андрей. Попробуй мне только в три дня не управиться — самого в волокушу запрягу...

Нижние чины располагались на нижнем этаже (хотя гадить они наладились на верхних). Разговоров здесь слышно не было — все или почти все, видимо, уже спали. Сквозь распахнутые — для сквозняка — двери квартир, выходящих в вестибюль, доносился разноголосый храп, сонное чмоканье, бормотание, хриплый прокуренный кашель.

Андрей заглянул сначала в квартиру налево. Здесь устроились армейцы. Из маленькой комнатушки без окон виднелся свет. Сержант Фогель в одних трусах и в фуражке, сдвинутой на затылок, сидел за столиком и прилежно заполнял какую-то ведомость. В армии был порядок: дверь комнатушки была настежь, так что никто не мог бы войти или выйти незамеченным. На звук шагов сержант быстро поднял голову и всмотрелся, прикрывая лицо от света лампы.

— Это я, Фогель, — сказал Андрей негромко и вошел.

Сержант мигом поставил ему стул. Андрей сел и огляделся. Так, в армии порядок. Все три бидона с расходной водой здесь. Ящики с консервами и галетами для завтрашнего завтрака тоже уже здесь. И ящик с сигаретами. Прекрасно вычищенный пистолет сержанта лежал на столе.

Дух в комнатушке стоял тяжелый, мужской, походно-полевой. Андрей положил руку на спинку стула.

— Что на завтрак, сержант? — спросил он.

— Как обычно, господин советник, — сказал Фогель, удивившись.

— Давайте-ка придумайте что-нибудь не как обычно, — сказал Андрей. — Кашу, что ли, рисовую с сахаром... Консервированные фрукты остались?

— Можно рисовую кашу с черносливом, — предложил сержант.

— Давайте с черносливом... Воды выдайте утром двойную порцию. И по полплитки шоколаду... Шоколад остался?

— Есть еще немного, — сказал сержант неохотно.

— Вот и выдайте... Сигареты что — последний ящик?

— Точно так.

— Ну, ничего не поделаешь. Завтра — как обычно, а с послезавтрашнего дня сокращайте норму... Да, и вот еще что. Полковнику с сегодняшнего дня и впредь — двойную порцию воды.

— Осмелюсь доложить... — начал было сержант.

— Знаю, — прервал его Андрей. — Скажете, что это мой приказ.

— Слушаюсь... Угодно господину советнику... Анастасис! Куда?

Андрей обернулся. В коридоре, покачиваясь на нетвердых ногах и придерживаясь рукой за стену, стоял совершенно раскисший со сна солдат — тоже в одних трусах и в ботинках.

— Виноват, господин сержант... — промямлил он. Видно было, что он ничего не соображает. Потом руки его опустились по швам. — Разрешите отлучиться в уборную, господин сержант!

— Бумага нужна?

Солдат почмокал губами, пошевелил лицом.

— Никак нет. Имеется... — Он показал зажатый в кулаке клочок бумаги, видимо, из Изиных архивов. — Разрешите идти?

— Ступай... Прошу прощения, господин советник. Всю ночь бегают. А случается, что и просто так... под себя... Раньше хоть марганцовка помогала, а теперь вот ничего уже не помогает... Угодно будет, господин советник, проверить караулы?

— Нет, — сказал Андрей, поднимаясь.

— Прикажете сопровождать?

— Нет. Останьтесь.

Андрей снова вышел в вестибюль. Здесь было так же жарко, но воняло все-таки поменьше. Рядом бесшумно вырос Немой. Слышно было, как на лестнице, этажом выше, оступается и шипит сквозь зубы рядовой

Анастасис. Не дойдет ведь до сортира, на пол навалит, подумал Андрей с гадливым сочувствием.

— Ну что, — сказал он вполголоса Немому. — Посмотрим, как гражданские устроились?

Он пересек вестибюль и вошел в дверь квартиры напротив. Походно-полевой дух стоял и здесь, но армейского порядка уже не было. Пригашенная лампа в коридоре тускло освещала сваленные кое-как приборы в брезентовых чехлах вперемежку с оружием, грязный рюкзак с развороченными внутренностями, брошенные у стены манерки и кружки. Взявши лампу, Андрей шагнул в ближайшую комнату, и сейчас же ему под ноги попался чей-то ботинок.

Здесь спали водители — голые, потные, распростертые на мятом брезенте. Даже простыни не постелили... Впрочем, простыни были, надо думать, грязнее всякого брезента. Один из водителей вдруг поднялся, сел, не раскрывая глаз, зверски поскреб плечи и проговорил невнятно: «На охоту идем, а не в баню... На охоту, понял? Вода желтая... под снегом желтая, понял?» Еще не договорив, он снова обмяк и повалился на бок.

Андрей убедился, что все четверо на месте, и прошел к следующей комнате. Здесь уже обитала интеллигенция. Спали на раскладушках, застелив их серыми простынями, спали тоже неспокойно, с нездоровым храпом, — постанывали, скрипели зубами. Двое картографов в одной комнате, двое геологов — в соседней. В комнате геологов Андрей уловил незнакомый сладковатый запах, и ему сразу же вспомнилось, что ходит слух, будто геологи покуривают гашиш. Позавчера сержант Фогель отобрал сигарету с анашой у рядового Тевосяна, начистил ему зубы и пригрозил сгноить в авангарде. И хотя полковник отнесся к этому случаю скорее юмористически, Андрею все это очень не понравилось.

Остальные комнаты в огромной квартире были пусты, только на кухне, закутавшись с головой в какое-то тряпье, спала Мымра — измотали ее, видно, за этот вечер. Из-под гнусного тряпья торчали тощие голые ноги, все в ссадинах и каких-то пятнах. Вот еще беда на нашу голову, подумал Андрей. Шамаханская царица. Черт бы ее побрал, проклятую сучку. Шлюха грязная... Откуда? Кто такая? Бормочет невразумительное на непонятном языке... Почему в Городе — непонятный язык? Как это может быть? Изя услышал — обалдел... Мымра. Это ведь Изя ее так назвал. Правильно назвал. Очень похоже. Мымра.

Андрей вернулся к комнате водителей, поднял лампу над головой и показал Немому на Пермяка. Немой, бесшумно скользнув между спящими, нагнулся над Пермяком и взял его обеими ладонями за уши. Потом он

выпрямился. Пермяк уже сидел, упираясь одной рукой в пол, а другой — отирая с губ набежавшую во сне слюнку.

Поймав его взгляд, Андрей мотнул головой в сторону коридора, и Пермяк сразу же поднялся на ноги — легко и беззвучно. Они прошли в пустую комнату в глубине квартиры, Немой плотно закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Андрей посмотрел, где сесть. Комната была пуста, и он сел прямо на пол. Пермяк опустился перед ним на корточки. В свете лампы конопатое лицо его казалось нечистым, спутанные волосы падали на лоб, и сквозь них чернела корявая татуировка «раб Хрущёва».

— Пить хочешь? — спросил Андрей вполголоса.

Пермяк кивнул. На лице его появилась знакомая блудливая улыбочка. Андрей извлек из заднего кармана плоскую флягу, где на донышке плескалась вода, и протянул ему. Он смотрел, как Пермяк пьет — маленькими скупыми глотками, шумно дыша через нос, двигая щетинистым кадыком. Вода сразу же испариной выступала у него на теле.

— Тепленькая... — сипло сказал Пермяк, возвращая пустую фляжку. — Холодной бы... из-под крана... Эх!

— Что там у вас с двигателем? — спросил Андрей, засовывая фляжку обратно в карман.

Пермяк растопыренной ладонью собрал пот с лица.

— Говно — двигатель, — сказал он. — Его у нас вторым делали, не поспевали к сроку... Чудо еще, что до сего дня продержался.

— Починить можно?

— Починить можно. Денька два-три потыркаемся — починим. Только это ненадолго. Еще километров двести прочапаем, снова будем загорать. Говно — двигатель.

— Понятно, — сказал Андрей. — А ты не заметил, кореец Пак около солдат не вертится?

Пермяк досадливо отмахнулся от этого вопроса. Он придвинулся к Андрею и проговорил ему в самое ухо:

— Нынче на обеденном привале солдаты сговорились дальше не идти.

— Это я уже знаю, — сказал Андрей, стискивая зубы. — Ты мне скажи, кто у них верховодит?

— Не могу никак разобрать, начальник, — свистящим шепотом ответил Пермяк. — Болтает больше всех Тевосян, но ведь он трепло, а потом он последнее время что ни утро — торчит...

— Что?

— Торчит... Ну — под балдой, накурившись... Его никто не слушает. А вот кто настоящий заводила — не пойму.

— Хнойпек?

— А хрен его знает. Может, и он. Человек в авторитете... Водители вроде бы тоже за, то есть чтобы дальше не идти. От господина Эллизауэра толку никакого нет — он только хихикает, как падло, да всем старается угодить... боится, значит. А я что могу? Я только их подзуживаю, что на солдат полагаться нельзя, что они нашего брата-водителя ненавидят. Мы, мол, едем — они идут. Им паек солдатский, а нам — как господам ученым... За что, мол, им нас любить? Раньше действовало, а теперь что-то плохо действует. Главное что? Тринадцатый день послезавтра...

— А ученые как? — прервал его Андрей.

— А хрен их знает. Ругаются страшными словами, а вот за кого они — не могу понять. Каждый божий день у них с солдатами из-за Мымры грызня... А господин Кехада, знаете, что говорил? Что полковник, мол, долго не протянет.

— Кому говорил?

— Я так думаю, что это он всем говорит. А сам я слышал, как он это своим геологам объяснял, чтобы они с оружием не расставались. На этот случай. Сигаретки нет, Андрей Михайлович?

— Нет, — сказал Андрей. — А как сержант?

— К сержанту не подступишься. С ним — где залезешь, там и слезешь. Камешек. Убьют они его первого. Очень ненавидят.

— Ладно, — сказал Андрей. — А как все-таки насчет корейца? Агитирует он солдат или нет?

— Не видел. Он всегда особняком держится. Ежели хотите, я, конечно, за ним специально присмотрю, но, по-моему, это пустой номер...

— Ну, вот что, — сказал Андрей. — С завтрашнего дня — большой привал. Работы, в общем, никакой. Только на тракторе. А солдаты будут вообще только валяться да болтать. Ты вот что, Пермяк. Ты мне выясни, кто у них главный. Это у тебя будет дело номер один. Придумай что-нибудь, тебе там видней, как это сделать... — Он поднялся, и Пермяк тоже вскочил. — Тебя сегодня правда рвало?

— Да, скрутило чего-то... Сейчас вроде полегче.

— Надо что-нибудь?

— Да нет, лучше не стоит. Курева бы...

— Ладно. Трактор почините — премию выдам. Иди.

Пермяк выскользнул за дверь мимо посторонившегося Немого, а Андрей подошел к окну и оперся на подоконник, выжидая положенные пять минут. В отсветах подвижной фары грузно чернели остовы волокуш и второго трактора, блестели остатки стекол в черных окнах дома напротив.

Справа невидимый в темноте часовой, позвякивая подковками, бродил взад-вперед поперек улицы и тихонько насвистывал что-то унылое.

Ничего, подумал Андрей. Выкарабкаемся. Заводилу бы найти... Он представил себе снова, как по его приказу сержант выстраивает солдат без оружия в одну шеренгу и как он, Андрей, начальник экспедиции, с пистолетом в опущенной руке медленно идет вдоль этой шеренги, вглядываясь в окаменевшие заросшие лица, как он останавливается перед отвратной рыжей харей Хнойпека и стреляет ему в живот — раз и второй раз... Без суда и следствия. Так будет с каждым мерзавцем и трусом, который осмелится...

А господин Пак, по-видимому, и на самом деле ни при чем, подумал он. И на том спасибо. Ладно. Завтра еще ничего не случится. Еще дня три ничего не случится, а за три дня можно много чего придумать... Можно, например, хороший источник найти, километрах в ста впереди. К воде небось поскачут, как лошади... Ну и духотища же все-таки здесь. Всего-то один вечер здесь стоим, а уже дерьмом везде воняет... И вообще время всегда работает на начальство против бунтовщиков. Везде так было и всегда так было... Откуда я это взял? Изя? Да нет, пожалуй, это я сам придумал. Хорошо придумал, правильно. Молодец... Вот они сегодня сговорились, что завтра дальше не пойдут. Утром поднимутся оскаленные, а мы им — большой привал. Идти-то, ребята, оказывается, никуда и не надо, зря оскалились... А тут еще тебе и каша с черносливом, чаю вторая кружка, шоколад... Вот так-то, господин Хнойпек! А до тебя я все-таки доберусь, дай только срок... Ч-черт, спать охота. Пить охота... Ну, про питье ты, положим, забудь, господин советник, а вот спать надо. Завтра — чуть свет... Провалился бы ты, Фриц, со своей экспансией. Тоже мне — император всея говна...

— Пойдем, — сказал он Немому.

За столом Изя все еще листал свои бумажки. Теперь он взял себе новую дурную привычку — бороду кусать. Завернет волосню свою на горсть, сунет в зубы и грызет. Экое чучело, право... Андрей подошел к раскладушке и принялся застилать простыню. Простыня липла к рукам, как клеенка.

Изя вдруг сказал, повернувшись к нему всем телом:

— Так вот. Жили они здесь под управлением Самого Доброго и Простого. Все с большой буквы, заметь. Жили хорошо, всего было вдоволь. Потом стал меняться климат, наступило резкое похолодание. А потом еще что-то произошло, и они все погибли. Я тут нашел дневник. Хозяин забаррикадировался в квартире и помер от голода. Вернее, он не помер, а

повесился, но повесился от голода — сошел с ума... Началось с того, что на улице появилась какая-то рябь...

— Что появилось? — спросил Андрей, переставая стаскивать ботинок.

— Какая-то рябь появилась. Рябь! Тот, кто попадал в эту рябь, исчезал. Иногда успевал еще заорать, а иногда и того не успевал — просто растворялся в воздухе — и все.

— Бред какой-то... — проворчал Андрей. — Ну?

— Те, кто вышел из дому, все погибли в этой ряби. А те, кто испугался или сообразил, что дело дрянь, те поначалу выжили. Первое время по телефону переговаривались, потом стали понемножку вымирать. Жрать ведь нечего, на улице — мороз, дров не запасли, отопление не работает...

— А рябь куда делась?

— Ничего по этому поводу не пишет. Я тебе говорю, он к концу с ума сошел. Последняя запись у него такая... — Изя пошелестел бумагами. — Вот, слушай: «Не могу больше. Да и зачем? Пора. Сегодня утром Добрый и Простой прошел по улице и заглянул ко мне в окно. Это улыбка. Пора». И все. Квартира у него, заметь, на пятом этаже. Он, бедняга, петельку к люстре приладил... Петелька, между прочим, так до сих пор и висит.

— Да, похоже, на самом деле с ума сошел, — сказал Андрей, забираясь в постель. — Это от голода, точно. Слушай, а насчет воды как, ничего?

— Пока ничего. Я полагаю, нам завтра надо идти до конца акведука... Ты что, уже спать?

— Да. И тебе советую, — сказал Андрей. — Прикрути лампу и выметайся.

— Слушай, — сказал Изя жалобно. — Я хотел еще немножко почитать. У тебя лампа хорошая.

— А твоя где? У тебя такая же.

— Понимаешь, она у меня разбилась. В волокуше... Я на нее ящик поставил. Нечаянно...

— Кр-ретин, — сказал Андрей. — Ладно. Забирай лампу и уходи.

Изя торопливо зашуршал бумагой, двинул стулом, потом сказал:

— Да! Тут тебе Даган пистолет твой принес. И от полковника что-то передавал, но я забыл...

— Ладно, дай сюда пистолет, — сказал Андрей.

Он сунул пистолет под подушку и повернулся на бок, спиной к Изе.

— А хочешь, я тебе одно письмо почитаю? — вкрадчиво сказал Изя. — У них тут, понимаешь, было что-то вроде полигамии...

— Пошел вон, — спокойно сказал Андрей.

Изя хихикнул. Андрей с закрытыми глазами слушал, как он возится, шуршит, скрипит рассохшимся паркетом. Потом скрипнула дверь, и когда Андрей открыл глаза, было уже темно.

Рябь какая-то... Н-да. Ну, тут уж как повезет. Сие от нас не зависит. Думать надо только о том, что от нас зависит... Вот в Ленинграде никакой ряби не было, был холод, жуткий, свирепый, и замерзающие кричали в обледенелых подъездах — все тише и тише, долго, по многу часов... Он засыпал, слушая, как кто-то кричит, просыпался все под этот же безнадежный крик, и нельзя сказать, что это было страшно, скорее тошно, и когда утром, закутанный до глаз, он спускался за водой по лестнице, залитой замерзшим дерьмом, держа за руку мать, которая волочила санки с привязанным ведром, этот, который кричал, лежал внизу возле клетки лифта, наверное, там же, где упал вчера, наверняка там же — сам он встать не мог, ползти тоже, а выйти к нему так никто и не вышел... И никакой ряби не понадобилось. Мы выжили только потому, что мать имела обыкновение покупать дрова не летом, а ранней весной. Дрова нас спасли. И кошки. Двенадцать взрослых кошек и маленький котенок, который был так голоден, что, когда я хотел его погладить, он бросился на мою руку и жадно грыз и кусал пальцы... Вас бы туда, сволочей, подумал Андрей про солдат с неожиданной злобой. Это вам не Эксперимент... И тот город был пострашнее этого. Я бы там обязательно сошел с ума. Меня спасло, что я был маленький. Маленькие просто умирали...

А город, между прочим, так и не сдали, подумал он. Те, кто остался, понемножку вымирали. Складывали их штабелями в дровяных сараях, живых пытались вывезти — власть все равно функционировала, и жизнь шла своим чередом — странная, бредовая жизнь. Кто-то просто тихо умирал; кто-то совершал героические поступки, потом тоже умирал; кто-то до последнего вкалывал на заводе, а когда приходило время, тоже умирал... Кто-то на всем этом жирел, за кусочки хлеба скупал драгоценности, золото, жемчуг, серьги, потом тоже умирал — сводили его вниз к Неве и стреляли, а потом поднимались, ни на кого не глядя, закидывая винтовочки за плоские спины... Кто-то охотился с топором в переулках, ел человечину, пытался даже торговать человечиной, но тоже все равно умирал... Не было в этом городе ничего более обыкновенного, чем смерть. А власть оставалась, и пока оставалась власть, город стоял.

Интересно все-таки, было им нас жалко? Или они о нас просто не думали? Просто выполняли приказ, а в приказе было про город и ничего не было про нас. То есть про нас, конечно, тоже было, но только в пункте «ж»... На Финляндском вокзале под ясным, белым от холода небом стояли

эшелоны дачных вагонов. В нашем вагоне было полно детишек, таких же, как я, лет двенадцати — какой-то детский дом. Ничего почти не помню. Помню солнце в окнах и пар дыхания, и детский голос, который все повторял и повторял одну и ту же фразу, с одной и той же бессильно-злобной визгливой интонацией: «Иди на х... отседова!», и снова: «Иди на х... отседова!», и снова...

Подожди, я не об этом. Приказ и жалость — вот я о чем. Вот мне, например, солдат жалко. Я их прекрасно понимаю и даже им сочувствую. Отбирали ведь добровольцев, и вызвались, конечно, в первую голову авантюристы, сарынь-на-кичку, которым в благоустроенном нашем городе скучно и томно, которые не прочь посмотреть совсем новые места, автоматиком поиграть при случае, пошарить по развалинам, а вернувшись — набить карманы наградными, нацепить свеженькие лычки, гоголем походить среди девок... И вот вместо всего этого — понос, кровавые мозоли, чертовщина жуткая какая-то... Тут забунтуешь!

А мне? Мне что — легче? Я что — тоже за поносом сюда шел? Мне тоже неохота дальше идти, я тоже впереди ничего хорошего уже не вижу, у меня, черт вас побери, тоже были кое-какие надежды — свой, понимаете ли, хрустальный дворец за горизонтом! Я, может быть, сейчас рад-радехонек скомандовать: все, ребята, поворачивай оглобли!.. Мне ведь тоже осточертела эта грязь, я тоже разочарован, я тоже, черт побери, боюсь — какой-нибудь там ряби паршивой или людей с железными головами. У меня, может быть, все внутри оборвалось, когда я этих безъязыких увидел: вот оно, предупреждение тебе — не ходи, дурак, возвращайся... А волки? Когда я один в арьергарде шел, потому что вы все со страху обдристались, думаете, мне сладко было? Выскочит из пыли, отхватит ползадницы, и нет его... Вот так-то, голубчики, сволочи мои дорогие, не вам одним тяжело, у меня тоже от жажды внутри все потрескалось...

Ну хорошо, сказал он себе. А на кой ляд ты тогда идешь? Вот прямо завтра и дай команду — птичкой полетим, через месяц будем дома, бросишь Гейгеру под ноги свои высокие полномочия и скажешь: ну тебя, брат, на хер, сам иди, если тебе так приспичило экспансию разводить, если у тебя, понимаешь, в одном месте свербеж... Да нет, собственно, почему обязательно со скандалом? Как-никак, а прошли девятьсот километров, карту сделали, архивов раздобыли десять ящиков — мало, что ли? Ну нет там ничего дальше! Сколько же можно еще ноги мозолить? Это ведь не Земля, не шар... Ну нет здесь нефти, и воды нет, и крупных поселений... И Антигорода никакого, конечно, нет, это совершенно теперь ясно — никто здесь о нем и слыхом не слыхивал... В общем, оправдания найдутся.

Оправдания... То-то и оно, что оправдания!

Тут ведь вопрос как стоит? Договорились идти до конца, и приказано было тебе идти до конца. Так? Так. Теперь: дальше идти можешь? Могу. Жратва есть, горючее есть, оружие в порядке... Люди, конечно, измотались, но все целы-невредимы... Да и не так уж измотались, в конце концов, коли Мымру по вечерам валяют... Нет, брат, не сходятся у тебя концы с концами. Дерьмовый ты начальник, скажет тебе Гейгер, ошибся я в тебе! А тут еще ему Кехада — в одно ухо, Пермяк — в другое, а там уже и Эллизауэр на подхвате...

Эту последнюю мысль постарался Андрей поскорее от себя отогнать, но было уже поздно. С ужасом он обнаружил, что для него, оказывается, отнюдь не маловажную роль играет его положение господина советника и что ему крайне не нравится думать о том, что положение это может вдруг измениться.

Ну и пусть изменится, думал он, защищаясь. Что я — с голоду подохну без этого положения? Пожалуйста! Пусть господин Кехада садится на мое место, а я сяду — на его. Дело от этого пострадает, что ли?.. Господи, подумал он вдруг. Да какое, собственно, дело-то? Что ты несешь, милый? Ты ведь уже теперь не маленький — о судьбах мира заботиться... Судьбы мира, знаешь ли, и без тебя обойдутся, и без Гейгера... Каждый должен делать свое дело на своем посту? Пожалуйста, не возражаю. Готов делать свое дело на своем посту. На своем. На этом самом. На посту власть имущего. Вот так-то, господин советник!.. А какого черта? Почему бывший унтер-офицер битой армии имеет право властвовать над миллионным городом, а я — без пяти минут кандидат наук, человек с высшим образованием, комсомолец — не имею права властвовать над отделом науки? Что же это — у меня хуже выходит, чем у него? В чем дело?..

Ерунда все это — «имею право, не имею права»... Право на власть имеет тот, кто имеет власть. А еще точнее, если угодно, — право на власть имеет тот, кто эту власть осуществляет. Умеешь подчинять — имеешь право на власть. Не умеешь — извини!..

И вы у меня пойдете, мерзавцы! — сказал он спящей экспедиции. Не потому вы у меня пойдете, что я сам рвусь, как этот павиан бородатый, в неизведанные дали, а потому вы у меня пойдете, что я вам прикажу идти. А прикажу я вам идти, сукины вы дети, разгильдяи, ландскнехты дрисливые, не из чувства долга перед Городом или, упаси бог, перед Гейгером, а потому, что у меня есть власть, и эту власть я должен постоянно подтверждать — и перед вами, паскудниками, подтверждать, и перед собой. И перед Гейгером... Перед вами — потому что иначе вы меня сожрете.

Перед Гейгером — потому что иначе он меня выгонит и будет прав. А перед собой... Это, знаете ли, королям и всяким там монархам была в свое время лафа. Власть у них была от Бога, лично, без власти ни они сами себя не представляли, ни ихние подданные. Да и то, между прочим, зевать им не приходилось. А мы, маленькие люди, в Бога не верим. Нас на трон миром не мазали. Мы должны сами о себе позаботиться... У нас, знаете ли, так: кто смел, тот и съел. Самозванцев нам не надо — командовать буду я. Не ты, не он, не они и не оне. Я. Армия меня поддержит...

Во наколбасил, подумал он с некоторой даже неловкостью. Он перевернулся на другой бок, а руку для удобства засунул под подушку, где было попрохладней. Пальцы его наткнулись на пистолет.

...Это как же вы намереваетесь всю эту свою программу осуществлять, господин советник? Это же — стрелять придется! Не в воображении своем стрелять («Рядовой Хнойпек, выйти из строя!..»), не онанизмом умственным заниматься, а вот так — взять и выпалить живому человеку, может быть, безоружному, может быть, даже ничего не подозревающему, может быть, и не виноватому, в конце концов... да плевать на все это! — ЖИВОМУ человеку — в живот, в мягкое, в кишки... Нет, этого я не умею. Этого я никогда не делал и, ей-богу, не представляю... На триста сороковом километре я, конечно, тоже палил, как и все, со страху просто, ничего же не понимал... Но там я никого не видел, и там в меня, черт побери, тоже стреляли!..

Ладно, подумал он. Ну, хорошо — гуманизм там, отсутствие привычки опять же... А если они все-таки не пойдут? Я им прикажу, а они мне ответят: шел бы ты на хер, братец, сам иди, если у тебя в одном месте свербеж...

А ведь это идея! — подумал он. Выдать разгильдяям немного воды, часть жратвы выделить на обратную дорогу, поломанный трактор пусть чинят... Идите, мол, без вас обойдемся. Как бы это было роскошно — разом освободиться от дерьма!.. Впрочем, он сразу представил себе лицо полковника при таком предложении. М-да, полковник этого не поймет. Не та порода. Он как раз из этих... из монархов. Ему мысль о возможном неподчинении просто в голову не приходит. И уж во всяком случае, мучиться над всеми этими проблемами он не станет... Военно-аристократическая косточка. Ему хорошо — у него и отец был полковник, и дед был полковник, и прадед был полковник — вон какую империю отгрохали, то-то небось народу перебили... Вот он пусть и расстреливает, в случае чего. В конце концов, это его люди. Я в его дела вмешиваться не намерен... Ч-черт, надоело мне это все! Интеллигентщина распротухлая,

развел гнидник под черепушкой!.. Должны идти — и все! Я выполняю приказ, и вы извольте выполнять. Меня не приласкают, если нарушу, и вам тоже, черт вас дери, не поздоровится! И все. И к черту. Лучше о бабах думать, чем об этой ерунде. Тоже мне — философия власти...

Он снова перевернулся, скручивая под собою простыню, и с натугой представил себе Сельму. В этом ее сиреневом пеньюаре — как она наклоняется перед постелью и ставит на столик поднос с кофе... Он подробно представил себе, как все это было бы с Сельмой, а потом вдруг — уже без всякой натуги — очутился на службе в своем кабинете, где обнаружил в большом кресле Амалию с юбчонкой, закатанной до подмышек... Тогда он понял, что дело зашло слишком далеко.

Он отбросил простыню, сел нарочито неудобно, чтобы край раскладушки врезался в задницу, и некоторое время сидел, таращась в слабо освещенный рассеянным светом прямоугольник окна. Потом он посмотрел на часы. Было уже больше двенадцати. А вот встану сейчас, подумал он. Спущусь на первый этаж... Где она там дрыхнет — на кухне, что ли? Раньше эта мысль всегда вызывала у него здоровое отвращение. Сейчас этого не получалось. Он представил себе голые грязные ноги Мымры, но не задержался на них, а пошел выше... Ему вдруг стало интересно, а какая она голая. В конце концов, баба есть баба...

— Господи! — сказал он громко.

Дверь сейчас же скрипнула, и на пороге появился Немой. Черная тень во тьме. Только белки поблескивают.

— Ну чего пришел? — сказал ему Андрей с тоскою. — Иди спи.

Немой исчез. Андрей нервно зевнул и повалился боком на койку.

Проснулся он от ужаса, весь мокрый.

— ...Стой, кто идет? — снова завопил под окном часовой. Голос у него был пронзительный, отчаянный, словно он звал на помощь.

И сейчас же Андрей услышал тяжелые хрусткие удары, как будто кто-то огромный мерно ударял огромной кувалдой по крошащемуся камню.

— Стрелять буду! — пронзительно завизжал часовой совсем уже нечеловеческим голосом и принялся стрелять.

Андрей не запомнил, как оказался у окна. В темноте справа судорожно билось оранжевое пламя выстрелов. В огненных отсветах выше по улице чернело что-то громоздкое, неподвижное, непонятных очертаний, и из него вылетали и рассыпались снопы зеленоватых искр. Андрей ничего не успел понять. Обойма у часового кончилась, на мгновение наступила тишина, потом он там в темноте снова дико завизжал — совсем как лошадь, — забухал ботинками и вдруг оказался в круге света под самым окном —

влетел, завертелся на одном месте, размахивая пустым автоматом, затем, не переставая визжать, бросился к трактору, забился в черную тень под гусеницу и все дергал, дергал из-за пояса запасную обойму, и никак не мог выдернуть... И тогда снова послышались хрусткие удары кувалды о камень: бумм-бумм-бумм...

Когда Андрей в одной куртке, без штанов, в башмаках с болтающимися шнурками выскочил с пистолетом в руке на улицу, там уже было полно народу. Сержант Фогель ревел быком:

— Тевосян, Хнойпек! Направо! Приготовиться вести огонь! Анастасис! На трактор, за кабину! Наблюдать, приготовиться вести огонь!.. Живее! Дохлые свиньи!.. Василенко! Налево! Залечь, вести... Налево, раздолбай славянский! Залечь, вести наблюдение!.. Палотти! Куда, макаронник!..

Он схватил бегущего без памяти итальянца за шиворот, со страшной силой ударил его башмаком в зад и швырнул к трактору.

— За кабину, животное!.. Анастасис, дайте свет вдоль улицы!..

Андрея толкали в спину, в бока. Стиснув зубы, он пытался удержаться на ногах, абсолютно ничего не соображая, борясь с нестерпимым желанием заорать что-то бессмысленное. Он прижался к стене и, выставив перед собой пистолет, затравленно озирался. Почему они все бегут туда? А вдруг те нападут сзади? Или с крыши? Или из дома напротив?..

— Водители! — ревел Фогель. — Водители, на трактора!.. Кто там стреляет, ублюдки?! Прекратить огонь!..

Понемногу в голове у Андрея прояснилось. Дело, оказывается, было совсем не так уж и плохо. Солдаты залегли, где было приказано, суета прекратилась, и наконец кто-то на тракторе повернул прожектор и осветил улицу.

— Вон он! — крикнул придушенный голос.

Коротко ударили и сейчас же смолкли автоматы. Андрей успел заметить только что-то огромное, чуть ли не выше домов, уродливое, с торчащими в разные стороны обрубками и шипами. Оно отбросило вдоль улицы бесконечную тень и сразу же свернуло за угол в двух кварталах выше по улице. Исчезло из виду, а тяжелые удары кувалды по хрустящему камню сделались тише, потом еще тише, а вскоре затихли совсем.

— Что там произошло, сержант? — произнес спокойный голос полковника над головой Андрея.

Полковник, застегнутый на все пуговицы, упершись руками в подоконник и слегка наклонившись вперед, стоял у окна.

— Часовой поднял тревогу, господин полковник, — отозвался сержант

Фогель. — Рядовой Терман.

— Рядовой Терман, ко мне, — сказал полковник.

Солдаты завертели головами.

— Рядовой Терман! — рявкнул сержант. — К полковнику!

В рассеянном свете прожектора было видно, как рядовой Терман лихорадочно выкарабкивается из-под гусеницы. Снова у него, у бедняги, что-то там зацепилось. Он рванулся изо всех сил, встал на ноги и закричал петушиным голосом:

— Рядовой Терман по приказанию господина полковника явился!

— Ну и чучело! — сказал полковник брезгливо. — Застегнитесь.

И в этот момент включилось солнце. Это было так неожиданно, что над лагерем пронеслось многоголосое сдавленное мычание. Многие закрыли глаза ладонями. Андрей зажмурился.

— Почему подняли тревогу, рядовой Терман? — осведомился полковник.

— Посторонний, господин полковник! — с отчаянием в голосе выпалил Терман. — Не отзывался. Шел прямо на меня. Земля дрожала!.. Согласно уставу окликнул два раза, потом открыл огонь...

— Ну что ж, — сказал полковник. — Хвалю.

В ярком свете все казалось совсем не таким, как пять минут назад. Лагерь теперь был как лагерь — осточертевшие волокуши, грязные железные бочки с горючим, покрытые пылью трактора... На этом обычном, уже обрыдлом фоне полураздетые вооруженные люди, лежавшие и сидевшие на корточках со своими пулеметами и автоматами, всклокоченные, с помятыми лицами и растрепанными бородами, казались нелепыми и смешными. Андрей вспомнил, что он и сам без штанов и что ботиночные шнурки у него болтаются, ему стало неловко. Он осторожно попятился к дверям, но там толпой стояли водители, картографы и геологи.

— Осмелюсь доложить, — говорил тем временем приободрившийся Терман. — Это был не человек, господин полковник.

— А что же это было?

Рядовой Терман затруднился.

— Похоже скорее на слона, господин полковник, — авторитетно сказал Фогель. — Или же на допотопное чудовище.

— На стегозавра больше всего похоже, — подал голос Тевосян.

Полковник тут же обратил на него взгляд и несколько секунд с любопытством его рассматривал.

— Сержант, — сказал он наконец. — Почему ваши люди раскрывают рот без разрешения?

Кто-то злорадно хихикнул.

— Р-р-разговорчики! — страшным шепотом произнес сержант. — Разрешите наказать, господин полковник?

— Полагаю... — начал было полковник, и тут его прервали.

— В-ва-ва-ва-в-в... — тихонько, а потом все громче завыл кто-то, и Андрей заметался взглядом по лагерю, ища, кто это воет и почему.

Все испуганно зашевелились, все завертели головами, а потом Андрей увидел: Анастасис, стоя позади тракторной кабины, тычет рукой куда-то вперед, весь белый, даже зеленый, и не может выговорить ни одного связного слова. Андрей, заранее напрягаясь, готовый ко всему, поглядел, куда он тычет, но ничего там не увидел. Улица была пуста, в дальнем конце ее уже дрожало жаркое марево. Потом сержант вдруг гулко прочистил горло и надвинул фуражку на лоб, кто-то тихо, с отчаянием, выругался, а Андрей все еще не понимал, и только когда незнакомый голос у него над ухом прохрипел: «Господи, твоя воля!..», Андрей, наконец, понял. У него волосы зашевелились на затылке, и ослабели ноги.

Статуи на углу не было. Огромный железный человек с жабьим лицом и пафосно растопыренными руками исчез. Остался на перекрестке только засохший кал, который вчера навалили вокруг статуи солдаты.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Так я пошел, полковник, — сказал Андрей, поднимаясь.

Полковник тоже поднялся и тотчас же тяжело оперся на трость. Сегодня он был еще бледнее, лицо обтянуто, и он казался совершенным стариком. Даже от выправки его, можно сказать, ничего не осталось.

— Счастливого пути, господин советник, — проговорил он. Выцветшие глазки его глядели почти виновато. — Черт возьми, в сущности, командирская рекогносцировка — это ведь мое дело...

Андрей взял со стола автомат и закинул ремень на плечо.

— Не знаю, не знаю... — сказал он. — У меня, например, такое ощущение, будто я удираю, бросивши все на вас... А вы больны, полковник.

— Да, представьте себе, сегодня я... — Полковник оборвал себя. — Я полагаю, вы вернетесь до темноты?

— Я вернусь значительно раньше, — сказал Андрей. — Эту вылазку я не рассматриваю даже как рекогносцировку. Я просто хочу показать этим трусливым ублюдкам, что ничего страшного впереди нет. Ходячие статуи, видите ли!.. — Он спохватился. — Я не имел в виду упрекнуть ваших

солдат, полковник...

— Пустяки... — Полковник слабо отмахнулся тощей рукой. — Вы совершенно правы. Солдаты всегда трусливы. Я ни разу в жизни не видел храбрых солдат. Да и с какой стати им быть храбрыми?

— Ну, — улыбнулся Андрей, — если бы впереди нас ожидали всего-навсего танки противника...

— Танки! — сказал полковник. — Танки — другое дело. Но вот я прекрасно помню случай, когда рота парашютистов отказалась вступить в деревню, где жил известный на всю округу колдун.

Андрей засмеялся и протянул полковнику руку.

— До встречи, — сказал он.

— Минуточку, — остановил его полковник. — Даган!

В комнате возник Даган с флягой, оплетенной серебряной сеткой, в руке. На столе появился серебряный подносик, а на подносике — серебряные же стопочки.

— Прошу вас, — сказал полковник.

Они выпили и обменялись рукопожатием.

— До встречи, — повторил Андрей.

Он спустился по вонючей лестнице в вестибюль, холодно кивнул Кехаде, который прямо на полу возился с каким-то прибором вроде теодолита, и вышел на пышущую жаром улицу. Короткая тень его легла на пыльные потрескавшиеся плиты тротуара, и сейчас же рядом появилась вторая тень, и тогда Андрей вспомнил про Немого. Он оглянулся. Немой стоял в своей обычной позе, засунув ладони за широкий пояс, с которого свисал устрашающего вида тесак. Густые черные волосы его стояли дыбом, босые ноги были расставлены, а коричневая кожа лоснилась, словно смазанная жиром.

— Может, автомат возьмешь все-таки? — спросил Андрей.

«Нет».

— Ну, как хочешь...

Андрей огляделся. Изя и Пак сидели в тени волокуши и, развернув карту, рассматривали схему города. Двое солдат, вытянув шеи, заглядывали им через головы. Один из них поймал взгляд Андрея, поспешно отвел глаза и толкнул другого в бок. Оба сейчас же отошли и скрылись за волокушей.

У второго трактора копошились водители во главе с Эллизауэром. Водители были кто в чем, а на маленьком черепе Эллизауэра красовалась гигантская широкополая шляпа. Тут же торчали еще два солдата — подавали советы, часто сплевывая в сторону.

Андрей посмотрел вверх — вдоль улицы. Пусто. Раскаленный воздух

дрожит над булыжником. Марево. За сто метров уже ничего не разобрать — как в воде.

— Изя! — позвал он.

Изя и Пак оглянулись и встали. Кореец подобрал с мостовой и взял под мышку свой маленький самодельный автомат.

— Что, уже? — бодро спросил Изя.

Андрей кивнул и пошел вперед.

Все смотрели на него: прищурившийся от солнца Пермяк, придурковатый Унгерн, испуганно округливший свой вечно полураскрытый рот, угрюмый Горилла-Джексон, медленно вытиравший руки куском пакли... Эллизауэр, очень похожий на грязный, ободранный грибок с детской площадки, приложил два пальца к полям шляпы с самым торжественным и сочувствующим видом, а поплевывавшие солдаты перестали поплевывать, обменялись неслышными замечаниями сквозь зубы и дружно запылили прочь. Трусите, гниды, мстительно подумал Андрей. Окликнуть вас сейчас для смеха — в штаны ведь навалите...

Они прошли мимо часового, который поспешно сделал «на караул», и зашагали по булыжнику — впереди Андрей с автоматом за плечом, следом по пятам — Немой с рюкзаком, в котором лежали четыре банки консервов, пачка галет и две фляги воды, сзади, отстав шагов на десять, шлепал разбитыми башмаками Изя — за спиной у него был пустой рюкзак, в одной руке он держал схему, а другой судорожно обхлопывал карманы, как бы ища, не забыл ли чего-нибудь. Последним, чуть вразвалочку, походкой человека, привыкшего к дальним переходам, легко шагал кореец Пак с короткоствольным автоматом под мышкой.

Улица была раскалена. Солнце свирепо жарило лопатки и плечи. От стен домов медленными волнами накатывал жар. Ветра сегодня не было совсем.

Позади, в лагере, завели многострадальный двигатель — Андрей не обернулся. Чувство освобождения вдруг овладело им. На несколько славных часов из его жизни исчезали вонючие солдаты с их простой до непонятности психологией; исчезал интриган Кехада, который был виден весь насквозь и от этого особенно осточертел; исчезали все эти омерзительные заботы о чужих стертых ногах, о чужих скандалах и драках, о том, что кого-то рвет — не отравление ли? — а кого-то особенно интенсивно и с кровью несет — не дизентерия ли?.. Провалиться бы вам всем, твердил Андрей с каким-то даже упоением. Век бы я вас не видел. До чего же без вас хорошо!..

Правда, он тут же вспомнил о сомнительном корейце Паке, и на

секунду ему показалось, что светлая радость освобождения замутится сейчас новыми заботами и подозрениями, но он тут же легкомысленно махнул на это рукой. Кореец как кореец. Спокойный человек, никогда ни на что не жалуется. Дальневосточный вариант Иосифа Кацмана, вот и все... Он вдруг вспомнил, как брат рассказывал ему когда-то, что на Дальнем Востоке все народы, а особенно японцы, относятся к корейцам в точности так же, как в Европе все народы, а особенно русские и немцы, относятся к евреям. Это показалось ему сейчас забавным, и почему-то вдруг вспомнился Кэнси... Да, Кэнси бы сюда, дядю Юру, Дональда... Э-хе-хе... Если бы удалось дядю Юру уговорить в эту экспедицию, сейчас бы все было по-другому...

Он вспомнил, как за неделю до выхода он специально выкроил несколько часов, взял у Гейгера лимузин с пуленепробиваемыми стеклами и смотался к дяде Юре. Как они пили в большой двухэтажной хате, где было чисто, светло, вкусно пахло мятой, домашним дымком, свежепеченым хлебом. Пили самогон, закусывали заливным поросенком, хрустящими малосольными огурчиками, каких Андрей не едал бог знает сколько лет, обгладывали бараньи ребрышки, макали куски мяса в соус, пропитанный чесночными запахами, а потом дебелая голландка Марта, супруга дяди Юры, беременная уже по третьему разу, внесла свистящий самовар, за который дядя Юра в свое время отдал воз хлеба да воз картошки, и они долго, основательно, фундаментально пили чай, заедая каким-то невиданным вареньем, — потели, отдувались, обтирали мокрые лица свежими полотенцами с вышивкой, а дядя Юра все бубнил: «Ничего, ребята, жить теперь вполне можно... Пригоняют мне каждый день пяток тунеядцев из лагеря, воспитываю их трудом, сил, понимаешь, не жалею... ежели что — сразу по зубам, но зато жрут они у меня здесь от пуза, что сам ем, то и им даю, я тебе не эксплуататор какой-нибудь...» А при прощании, когда Андрей уже садился в машину, дядя Юра, сжимая его ладонь своими лапищами, превратившимися, казалось, в сплошную мозоль, проговорил, ища глазами его взгляд: «Ты меня простишь, Андрюха, я знаю... Все бы бросил, и бабу бы свою бросил... Вот этих бросить не могу, не позволяю себе...» — и указал большим пальцем через плечо в сторону двух белоголовых мальчуганов-погодков, которые тихо, чтобы не услышали, тузили друг друга за крыльцом...

Андрей обернулся. Лагеря видно уже не было, марево закрыло его. Тарахтенье двигателя едва доносилось — как из ваты. Изя шел теперь рядом с Паком, махал у него перед носом схемой и кричал что-то про масштаб. Пак, собственно, не спорил. Он только улыбался и, когда Изя

порывался остановиться, чтобы развернуть схему и показать все наглядно, деликатно брал его за локоть и увлекал вперед. Серьезный человек, несомненно. На такого при прочих равных условиях вполне можно было бы положиться. Интересно, чего они не поделили с Гейгером?.. Люди они совершенно разные, это ясно...

Пак учился в Кембридже и имел степень доктора философии. Вернувшись в Южную Корею, он принял участие в каких-то студенческих беспорядках против режима, и Ли Сын Ман засадил его в кутузку. Из кутузки его в пятидесятом году освободила северокорейская армия, о нем написали в газетах, как о настоящем сыне корейского народа, который ненавидит клику Ли Сын Мана и американских империалистов, он сделался заместителем ректора, а через месяц его снова посадили в кутузку, где без предъявления обвинения продержали до самого десанта в Чемульпо, когда кутузка попала под огонь частей Первой кавалерийской дивизии, стремительно рвавшейся на северо-восток. В Сеуле стоял ад кромешный, Пак уже не рассчитывал остаться в живых, и тут ему предложили участие в Эксперименте.

В Город он попал задолго до Андрея, переменил двадцать специальностей, сцепился, конечно, с господином мэром и вошел в подпольную организацию интеллигентов, поддерживавшую тогда движение Гейгера. Что-то у них там с Гейгером произошло. Так или иначе, большая группа подпольщиков еще за два года до Поворота тайно покинула город и ушла на север. Им повезло: на триста пятидесятом километре они нашли в развалинах «снаряд времени» — здоровенную металлическую цистерну, битком набитую самыми разнообразными предметами культуры и образцами технологии. Место было хорошее — вода, плодородная почва у самой Стены, много уцелевших зданий, — там они и осели.

Они ничего не знали о том, что произошло в городе, и когда появились обшитые броней трактора экспедиции, решили, что это — за ними. К счастью, в короткой яростной и нелепой схватке погиб всего один человек. Пак узнал Изю, своего старинного приятеля, и понял, что происходит ошибка... А потом он попросился к Андрею. Он сказал, что им движет любопытство, что он давно уже планировал поход на север, но у эмигрантов не было на это средств. Андрей не очень ему поверил, но с собой взял. Ему показалось, что Пак будет полезен своими знаниями, и Пак действительно оказался полезен. Он делал для экспедиции все, что мог, с Андреем всегда был дружелюбен и предупредителен, с Изей — тем более, но вызвать его на откровенность оказалось невозможно. Ни Андрей, ни даже Изя так и не узнали, откуда у него столько сведений мифического и

реального характера относительно предстоящего пути, для чего он все-таки увязался с экспедицией и что он вообще думал — о Гейгере, о Городе, об Эксперименте... Пак никогда не поддерживал разговоров на отвлеченные темы.

Андрей приостановился и, дождавшись своего арьергарда, спросил:

— Ну, вы договорились, что именно вас интересует?

— Что именно? — Изя наконец развернул свою схему. — Смотри... — Он стал показывать траурным ногтем. — Мы сейчас вот здесь. Значит, раз, два... через шесть кварталов должна быть площадь. Вот здесь какое-то большое здание, наверное, правительственное. Сюда нам надо обязательно попасть. Ну, а если по дороге попадется что-нибудь интересное... Да! Вот сюда бы еще интересно добраться. Далековато немного, но масштаб тут ни к черту, так что неизвестно, может быть, это все рядом... Видишь, написано: «Пантеон». Я люблю пантеоны.

— Ну что ж... — Андрей поправил автомат. — Можно и так, конечно... А воду, значит, мы сегодня искать не будем?

— До воды далеко, — негромко сказал Пак.

— Да, брат... — подхватил Изя. — До воды, брат... Видишь, у них здесь указано — водонапорная башня... Это здесь? — спросил он Пака.

Пак пожал плечами.

— Я не знаю. Но если в этих кварталах вода вообще осталась, то только здесь.

— Да-а-а... — протянул Изя. — Далековато. Километров тридцать, за день не обернуться... Правда, масштаб... Слушай, а зачем тебе воду именно сейчас? За водой пойдем завтра, как и договаривались... вернее, поедем.

— Хорошо, — сказал Андрей. — Пошли.

Теперь они шли рядом, и некоторое время все молчали. Изя непрерывно крутил головой и как бы принюхивался, но ни справа, ни слева ничего интересного не обнаруживалось. Трех- и четырехэтажные дома, иногда довольно красивые. Выбитые стекла. Некоторые окна заколочены покоробившейся фанерой. На балконах — полуразвалившиеся цветочные ящики, многие дома заплетены жестким пыльным плющом. Большой магазин — огромные, запыленные до непрозрачности витрины, почему-то уцелевшие, а двери — выломаны... Изя сорвался, трусцой сбегал, заглянул, снова вернулся.

— Пусто, — сообщил он. — Полный разгром.

Какое-то общественное здание — не то театр, не то концертный зал, не то кино. Потом опять магазин — витрина расколота, — и еще магазин на другой стороне... Изя вдруг остановился, шумно потянул носом и поднял

грязноватый палец.

— О! — сказал он. — Здесь где-то!

— Что? — спросил Андрей, озираясь.

— Бумага, — коротко отозвался Изя.

Ни на кого не глядя, он уверенно устремился к зданию на правой стороне улицы. Здание это было как здание, ничем особенным от соседних не отличалось, разве что подъезд был пороскошнее да в общем облике его чувствовался некий готический акцент. Изя исчез в подъезде, и они не успели еще пересечь улицы, как он снова высунулся и азартно позвал:

— Давайте сюда, Пак! Библиотека!..

Андрей только головой покрутил от восхищения. Ай да Изя!

— Библиотека? — сказал Пак, ускоряя шаги. — Не может быть!..

В вестибюле было прохладно и полутемно после полыхающей желтым жаром улицы. Высокие готические окна, выходившие, по-видимому, во внутренний двор, были украшены цветными витражами. Пол, выложенный узорной плиткой. Белого камня лестницы, уходящие вправо и влево... По левой уже взбегал Изя, Пак легко нагнал его, и они, шагая через три ступеньки, скрылись из виду.

— А нам-то на кой черт туда тащиться? — сказал Андрей Немому.

Тот был согласен. Андрей поискал, где присесть, и присел на прохладные белые ступени. Автомат он снял и положил рядом. Немой уже сидел на корточках у стены, закрыв глаза и охватив колени длинными мощными руками. Было тихо, только бубнили наверху неразборчивые голоса.

Надоело, подумал Андрей с раздражением. Мертвые кварталы надоели. Раскаленное это безмолвие. Загадки эти... Людей бы найти, пожить бы с ними, порасспросить их... и чтобы угостили чем-нибудь... все равно чем, только бы не овсянкой этой обрыдлой... и холодного вина! Много, сколько хочешь... или пива. В животе у него заурчало, и он испуганно напрягся, прислушиваясь. Нет, ничего. Сегодня — тьфу-тьфу — ни разу еще не бегал, и на том спасибо. И пятка вроде бы зажила...

Наверху что-то повалилось с тяжелым рассыпчатым грохотом. Изя разборчиво проорал: «Ну куда вы лезете, ей-богу!..» Раздался смех, и голоса забубнили снова.

Копайтесь, копайтесь, подумал Андрей. Только на вас и надежда. Только от вас и можно ждать хоть какого-нибудь толку... И останется от всей этой бездарной затеи мой отчет да двадцать четыре Изиных ящика с бумагами!..

Он вытянул ноги и сам вытянулся на ступеньках, опираясь на локти.

Немой вдруг чихнул, звонко откликнулось эхо. Андрей откинул голову и стал глядеть в далекий сводчатый потолок. Хорошо строили, красиво, лучше чем у нас. И вообще жили, как видно, не худо. И все равно сгинули... Очень это все Фрицу не понравится — он бы, конечно, потенциального противника предпочел. А то что такое получается: жили-жили, строили-строили, прославляли какого-то своего Гейгера... Доброго и Простого... А в результате — пожалуйста: пустота. Как и не было никого. Одни кости, да и тех что-то маловато для такого поселения... Вот так-то, господин президент! Человек предполагает, а Господь рябь какую-нибудь напустит и — конец всему...

Он тоже чихнул и потянул носом. Прохладно здесь как-то... А Кехаду хорошо бы под суд отдать, когда вернемся... Мысли его легко свернули в привычное русло: как загнать Кехаду в угол, чтобы он и пикнуть не смел, чтобы вся документация была как на ладони и чтобы Гейгеру все сразу стало ясно... Он отмахнулся от этих мыслей — они были не к месту и не ко времени. Сейчас надо было думать только о завтрашнем дне. Да и о сегодняшнем не помешало бы. Например, куда все-таки девалась статуя? Пришел кто-то рогатый, стегозавр какой-то... взял ее под мышку и уволок. Зачем? И потом, в ней, между прочим, тонн пятьдесят весу. Такая зверюга захочет — трактор под мышкой унесет... Уходить отсюда нам надо, вот что. Если б не полковник, сегодня же ноги бы нашей здесь не было... Он стал думать о полковнике и вдруг поймал себя на том, что прислушивается.

Какой-то отдаленный неясный звук появился — не голоса, голоса наверху бубнили по-прежнему, — нет, там, на улице, за высокими приотворенными дверями подъезда. Явственно зазвенели разноцветные стекла в витраже, и явственно завибрировали каменные ступеньки под локтями и задом, словно где-то неподалеку была железная дорога и по ней шел сейчас поезд — тяжелый грузовой состав. Немой вдруг широко раскрыл глаза и повернул голову, настороженно прислушиваясь.

Андрей осторожно подтянул под себя ноги и встал, держа автомат за ремень. Немой сейчас же тоже встал, кося на него одним глазом и все продолжая прислушиваться.

Взявши автомат на изготовку, Андрей бесшумно перебежал к дверям и осторожно выглянул. Жаркий пыльный воздух обжег ему лицо. Улица была желта, раскалена и пуста по-прежнему. Только ватной тишины больше не было. Огромный далекий молот с унылой равномерностью бил в мостовую, и удары эти заметно приближались — тяжелые, хрусткие удары, дробящие в щебень булыжник мостовой.

В доме напротив со звоном осыпалась расколотая витрина. От

неожиданности Андрей отпрянул, но тут же взял себя в руки и, закусив губу, оттянул затвор автомата. Черт меня сюда понес, подумал он краем сознания.

Молот все приближался, и совершенно непонятно было — откуда, но удары были все тяжелее, все звонче, и была в них какая-то несокрушимая и неотвратимая победительность. Шаги судьбы, мелькнуло в голове у Андрея. Он растерянно оглянулся на Немого.

Он испытал шок. Немой стоял, прислонившись плечом к стене, и сосредоточенно орудовал своим тесаком, обрезая ноготь на мизинце левой руки. Вид у него при этом был совершенно равнодушный и даже скучающий.

— Что?! — хрипло спросил Андрей. — Ты что это?..

Немой посмотрел на него, кивнул и снова занялся своим ногтем. Бумм, бумм, бумм — раздавалось совсем близко, земля под ногами содрогалась. И вдруг наступила тишина. Андрей сейчас же снова выглянул. Он увидел: на ближнем перекрестке, доставая головой до третьего этажа, возвышается темная фигура. Статуя. Старинная металлическая статуя. Тот самый давешний тип с жабьей мордой — только теперь он стоял, напряженно вытянувшись, задрав объемистый подбородок, одна рука заложена за спину, другая — то ли грозя, то ли указуя в небеса — поднята, и выставлен указательный палец...

Андрей, обмирая, как в дурном сне, смотрел на это бредовое чудовище. Но он знал, что это не бред. Статуй был как статуй — дурацкое бездарное сооружение из металла, покрытое не то окалиной, не то черной окисью, нелепо и не на месте установленное... В горячем воздухе, поднимавшемся от мостовой, очертания его дрожали и колебались точно так же, как очертания домов вдоль улицы.

Андрей почувствовал руку на своем плече и оглянулся — Немой улыбался и успокаивающе кивал ему. Бумм, бумм, бумм — снова раздалось на улице. Немой все держал его за плечо — трепал, гладил, мял мускулы ласковыми пальцами. Андрей резко отстранился и снова выглянул наружу. Статуи не было больше. И снова была тишина.

Тогда Андрей оттолкнул Немого и на ватных ногах побежал по лестнице наверх, где по-прежнему, как ни в чем не бывало, бубнили голоса.

— Хватит! — рявкнул он, врываясь в библиотечный зал. — Пошли отсюда!

Голос у него совсем сел, и они его не услышали, а может быть, и услышали, но не обратили внимания — они были заняты. Помещение было огромное, уходило в глубину черт-те знает куда, стеллажи, набитые

книгами, глушили звуки. Один из стеллажей был повален, книги лежали горой, и в этой горе копались Изя и Пак — оба очень довольные, разгоряченные, потные, азартные... Андрей, шагая прямо по книгам, подошел к ним, взял за воротники, поднял.

— Пошли отсюда, — сказал он. — Хватит. Пошли.

Изя глянул на него затуманенными глазами, рванулся, вырвался и сразу же пришел в себя. Глаза его быстро обшарили Андрея с головы до ног.

— Что с тобой? — спросил он. — Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось, — зло сказал Андрей. — Хватит здесь копаться. Куда вам надо? В пантеон? Вот и пошли в пантеон.

Пак, которого он все еще держал за шиворот, деликатно подвигал плечами и кашлянул. Андрей отпустил его.

— Ты знаешь, что мы здесь нашли?.. — с азартом начал Изя и сразу же оборвал себя. — Слушай, да что стряслось?

Андрей уже взял себя в руки. Все, что было там, внизу, казалось совершенно нелепым и невозможным здесь — в этом строгом душном зале, под испытующим взглядом Изи, рядом с невозмутимо корректным Паком.

— Мы не можем тратить столько времени на каждый объект, — сказал он хмурясь. — У нас всего одни сутки. Пойдемте.

— Библиотека — это не каждый объект! — немедленно возразил Изя. — Это первая библиотека за весь маршрут... Слушай, на тебе лица нет. Что случилось, в конце концов?!

Андрей все никак не мог решиться рассказать. Не знал — как.

— Пошли, — буркнул он, повернулся и зашагал по книгам к выходу.

Изя догнал его и, взявши под руку, пошел рядом. Немой в дверях посторонился, пропуская их. Андрей все не знал, как начать. Все начала и все слова были дурацкими. Потом он вспомнил про дневник.

— Ты мне вчера дневник читал... — проговорил он. Они уже спускались по лестнице. — Ну, этого... который повесился...

— Да?

— Вот тебе и да!

Изя остановился.

— Рябь?

— Неужели вы ничего не слышали? — сказал Андрей с отчаянием.

Изя замотал бородой, а Пак ответил негромко:

— Вероятно, мы увлеклись. Мы спорили.

— Маньяки... — сказал Андрей. Он судорожно перевел дух, оглянулся на Немого и выговорил наконец: — Статуя. Пришла и ушла... Шляются,

понимаешь, по городу, как живые...

Он замолчал.

— Ну? — нетерпеливо сказал Изя.

— Что — ну? Все!

Напряженное лицо Изи изобразило огромное разочарование.

— Ну и что? — сказал он. — Ну, статуя... ночью тоже шлялась одна, ну и что?

Андрей открыл и снова закрыл рот.

— Железноголовые, — подал голос Пак. — По-видимому, эта легенда возникла именно здесь...

Андрей, не в силах произнести ни слова, переводил взгляд с Изи на Пака и обратно. Изя сочувственно — дошло до него, наконец-то! — тянул губы дудкой и все порывался потрепать Андрея по руке, а Пак, полагая, очевидно, что все необходимые разъяснения даны, украдкой поглядывал через плечо на дверь в библиотеку.

— Т-так... — выдавил, наконец, Андрей. — Очень мило. Значит, вы сразу в это поверили?..

— Слушай, ты успокойся, — сказал Изя, ухватив его все-таки за рукав. — Конечно, поверили, а почему не поверить? Эксперимент, он все-таки и есть Эксперимент. За всеми этими нашими поносами и склоками мы о нем забыли, но на самом-то деле... Елки-палки, да что тут такого? Ну, статуи, ну, ходят... А здесь у нас библиотека! И знаешь, какая любопытная картина выясняется: люди, которые здесь жили, — наши современники, двадцатый век...

— Понятно, — сказал Андрей. — Пусти рукав.

Ему уже было совершенно ясно, что он свалял дурака. Впрочем, эта парочка еще не видела статуй по-настоящему. Посмотрим, как они запоют, когда увидят. Правда, Немой тоже как-то странно...

— Нечего меня уговаривать, — сказал он. — Сейчас на эту библиотеку времени у нас нет. Будем проходить мимо тракторами — навалите хоть целую волокушу. А сейчас пошли. Я обещал вернуться к отбою.

— Ну, хорошо, — успокаивающе сказал Изя. — Ну, пошли. Пошли.

Н-да, думал Андрей, торопливо сбегая по лестнице. Как же это я, с неловкостью думал он, распахивая двери подъезда и выходя на улицу первым, чтобы никто не мог видеть его лица. И ведь не солдат, не шоферюга какой-нибудь, думал он, шагая по раскаленному булыжнику. Это все Фриц, думал он со злостью. Объявил, понимаешь, что нет больше никакого Эксперимента, а я и поверил... то есть не поверил, конечно, а просто принял новую идеологию — из лояльности и по долгу службы...

Нет, ребята, все эти новые идеологии — это для дураков, для массы... Но ведь и то сказать: четыре годика жили — ни о каком Эксперименте и не вспоминали, других дел было по горло... Карьерку делали, ядовито подумал он. Ковры доставали, экспонатики для личных коллекций...

На перекрестке он приостановился, искоса глянул в переулок. Статуя была там — грозила полуметровым черным пальцем, неприятно ухмылялась жабьей пастью. Я, мол, вас, сук-киных котов!..

— Эта, что ли? — спросил Изя небрежно.

Андрей кивнул и пошел дальше.

Они шли и шли, постепенно дурея от жары и слепящего света, наступая на собственные короткие уродливые тени, пот соляной коркой застывал на лбу и на висках, и даже Изя перестал уже трепаться о крушении каких-то там своих стройных гипотез, и даже неутомимый Пак уже приволакивал ногу — подошва оторвалась, а Немой время от времени широко разевал черный рот и, высунув страшный обрубок языка, принимался часто-часто, как собака, дышать... И ничего больше не происходило, только один раз Андрей, не успев совладать с собой, вздрогнул, когда, подняв случайно глаза, увидел в распахнутом окне четвертого этажа огромное позеленевшее лицо, уставившееся на него слепыми выпученными глазами. Что ж, зрелище и в самом деле было жуткое — четвертый этаж и пятнистая зеленая харя во все окно.

Потом они вышли на площадь.

Таких площадей они еще не встречали. Она была похожа на вырубленный диковинный лес. Как пни, были понатыканы на ней постаменты — круглые, кубические, шестигранные, звездообразные, в виде каких-то абстрактных ежей, артиллерийских башен, мифических зверей — каменные, чугунные, из песчаника, из мрамора, из нержавеющей стали, даже, кажется, из золота... И все эти постаменты были пусты, только в полусотне метров впереди голову крылатого льва попирала обломанная выше колена голая нога в человеческий рост, босая, с необычайно мускулистой икрой.

Площадь была огромная, противоположного конца ее видно не было за мутным маревом, а справа, под самой Желтой Стеной, виднелись искаженные потоками горячего воздуха очертания длинного приземистого строения с фасадом из тесно поставленных колонн.

— Ну и ну! — непроизвольно вырвалось у Андрея.

А Изя проговорил непонятно:

— То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки... — и спросил: — А куда они, собственно, все подевались?

Никто ему не ответил. Все смотрели и не могли насмотреться, даже, кажется, Немой. Потом Пак сказал:

— Нам, по-видимому, надо вон туда...

— Это и есть ваш Пантеон? — спросил Андрей, чтобы что-нибудь сказать, а Изя произнес с каким-то возмущением:

— Я не понимаю! Что же это они — все по городу шляются? Почему же мы их тогда почти не видели? Их же здесь должны быть тысячи, тысячи!..

— Город Тысячи Статуй, — сказал Пак.

Изя живо повернулся к нему.

— Что, и такая легенда существует?

— Нет. Но я так бы его назвал.

— Трам-тарарам! — сказал Андрей, которого осенила неожиданная мысль. — Как же мы здесь пройдем с нашими тягачами? Тут же никакой взрывчатки не хватит — эти надолбы подрывать...

— Я думаю, должна быть дорога вокруг площади, — сказал Пак. — Над обрывом.

— Пошли? — сказал Изя. Ему уже не терпелось.

И они двинулись напрямик к пантеону, шагая между постаментами, по булыжнику, который был здесь разбит и искрошен в мелкий щебень, в белую пыль, ярко мерцающую на солнце. Время от времени они приостанавливались и то пригибались, то поднимались на цыпочки, чтобы прочесть надписи на постаментах, и надписи эти были странными до того, что от них брала оторопь.

НА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ ОТ УЛЫБКИ. — БЛАГОСЛОВЕНИЕ МУСКУЛЮС ГЛЮТЕУС ТВОЕГО СПАСЛО МАЛЫХ СИХ. — ВЗВИЛОСЯ СОЛНЦЕ, И ПОГАСЛА ЗАРЯ ЛЮБВИ, НО. И даже просто: КОГДА! Изя хохотал и гукал, бил кулаком в ладонь, Пак улыбался, качая головой, а Андрею было неловко, он чувствовал неуместность этого веселья, даже неприличие какое-то, но ощущения его были неуловимы, и он только терпеливо торопил: «Ну, хватит, хватит, — повторял он. — Пошли. Ну, какого черта? Опаздываем же, неудобно...»

Зло брало глядеть на этих идиотов — нашли, понимаете, место и время развлекаться. А они все задерживались и задерживались, водили грязными своими пальцами по выбитым строчкам, зубоскалили, ерничали, и он махнул на них рукой и почувствовал большое облегчение, когда обнаружил, что голоса их остались далеко позади и слов разобрать нельзя.

Так оно и лучше, подумал он с удовольствием. Без этой дурацкой свиты. В конце концов, я что-то не помню, а приглашали ли их? Что-то там

было сказано про них, но вот что именно? То ли просили быть в парадной форме, то ли просили, наоборот, не быть вообще... Ах, какое это теперь имеет значение? Ну, в крайнем случае, посидят внизу. Пак еще туда-сюда, а Изя вдруг начнет придираться к слогу, не дай бог, еще сам полезет говорить... Нет-нет, без них лучше, правда, Немой? Ты держись у меня за спиной, вот здесь, справа, да поглядывай хорошенько! Тут, брат, хлопать ушами не приходится. Не забывай: мы здесь в стане настоящих оппонентов, это тебе не Кехада и не Хнойпек, на вот, возьми автомат, мне нужна свобода движений, и вообще лезть с автоматом на кафедру — я ведь, слава богу, не Гейгер... Позволь, а где же мои тезисы? Вот тебе и на! Как же я без тезисов?..

Пантеон высился перед ним и над ним всеми своими колоннами, разбитыми выщербленными ступенями, оскалившимися ржавой арматурой, из-за колонн несло ледяным холодом, там было темно, оттуда пахло ожиданием и тленом, а гигантские золоченые створки были уже отворены, и оставалось только войти. Он зашагал со ступеньки на ступеньку, внимательно следя за собой, чтобы — упаси бог! — не споткнуться, не растянуться здесь, на глазах у всех, он все ощупывал свои карманы, но тезисов нигде не было, потому что они, конечно, остались в железном ящике... нет, в новом костюме, я ведь хотел надеть новый костюм, а потом решил, что так будет эффектнее...

...Черт побери, как же я буду без тезисов? — подумал он, вступая в темный вестибюль. Что же там у меня было, в моих тезисах? — думал он, осторожно ступая по скользкому полу черного мрамора. Кажется, во-первых, про величие, весь напрягаясь, вспоминал он, чувствуя, как ледяной холод заползает ему под рубашку. Здесь было очень холодно, в этом вестибюле, могли бы предупредить, все-таки не лето на дворе, песком могли бы, между прочим, посыпать, руки бы не отвалились, а то того и гляди затылком здесь навернешься...

...Ну, куда у вас тут? Вправо, влево? Ах да, пардон... Значит, так. Во-первых, о величии, думал он, устремляясь в совсем уже темный коридор. Вот это другое дело — ковер. Догадались! А факельщиков, конечно, поставить не сообразили. Всегда у них здесь так: либо поставят факельщиков или даже юпитера, но тогда уже непременно не будет ковра. Либо — вот как сейчас... Таким образом: величие.

...Говоря о величии, мы вспоминаем так называемые великие имена. Архимед. Очень хорошо! Сиракузы, эврика, бани... в смысле, ванны. Голый. Дальше. Аттила! Дож венецианский. То есть я прошу прощения: это Отелло — дож венецианский. Аттила — гуннов царь. Едет. Нем и мрачен,

как могила... Да чего там далеко ходить за примерами? Петр! Величие. Великий. Петр Великий. Первый. Петр Второй и Петр Третий не были великими. Очень может быть потому, что не были первыми. Великий и первый чрезвычайно часто выступают как синонимы. Хотя-а-а... Екатерина Вторая, Великая. Вторая, но, тем не менее, великая. Это исключение важно отметить. Мы часто будем иметь дело с исключениями такого рода, которые, так сказать, только подтверждают правило...

Он крепко сцепил руки за спиной, упер подбородок в грудь и, втянув нижнюю губу, несколько раз прошелся взад и вперед, каждый раз изящно огибая свой табурет. Потом он отодвинул табурет ногой, уперся напряженными пальцами в стол и, сдвинув брови, поглядел поверх слушателей.

Стол был совершенно пустой, обитый серым цинком, и тянулся перед ним, как шоссе. Дальнего конца его не было видно, в желтоватом тумане мигали там колеблемые сквозняком огоньки свечей, и Андрей с мимолетной досадой подумал, что это, черт возьми, непорядочно, что уж кто-кто, а он-то должен был бы иметь возможность видеть, кто там — на том конце стола. Видеть его было гораздо более важно, чем этих... Впрочем, это не моя забота...

Рассеянно и снисходительно он оглядел ряды этих. Они смирно восседали по обе стороны стола, повернув к нему внимательные лица — каменные, чугунные, медные, золотые, бронзовые, гипсовые, яшмовые... и какие там еще бывают у них лица. Например, серебряные. Или, скажем, нефритовые... Слепые глаза их были неприятны, да и вообще, что там могло быть приятного в этих громоздких тушах, колени которых торчали на метр, а то и на два выше поверхности стола. Хорошо было уже то, что они молчали и не шевелились. Всякое движение сейчас было бы невыносимым. Андрей с наслаждением, даже с каким-то сладострастием прислушивался, как истекают последние капли превосходно задуманной паузы.

— Но каково правило? В чем оно состоит? В чем его субстанциональная сущность, имманентная только ему и никакому другому предикату?.. И здесь мне, боюсь, придется говорить вещи, не совсем привычные и далеко не приятные для вашего слуха... Величие! Ах, как много о нем сказано, нарисовано, сплясано и спето! Что был бы человеческий род без категории величия? Банда голых обезьян, по сравнению с которыми даже рядовой Хнойпек показался бы нам венцом высокой цивилизации. Не правда ли?.. Ведь каждый отдельный Хнойпек не имеет меры вещей. От природы он научен только пищеварить и размножаться. Всякое иное действие упомянутого Хнойпека не может быть

оценено им самостоятельно ни как хорошее, ни как плохое, ни как полезное, ни как напрасное или вредное, — и именно вследствие такого вот положения вещей каждый отдельный Хнойпек при прочих равных условиях рано или поздно, но с неизбежностью попадает под военно-полевой суд, каковой суд уже и решает, как с ним поступить... Таким образом, отсутствие суда внутреннего закономерно и, я бы сказал, фатально восполняется наличием суда внешнего, например, военно-полевого... Однако, господа, общество, состоящее из Хнойпеков и, без всякого сомнения, из Мымр, просто не способно уделять такого огромного внимания суду внешнему — неважно, военно ли это полевой суд или суд присяжных, тайный суд инквизиции или суд Линча, суд Фемы или суд так называемой чести. Я не говорю уже о товарищеских и прочих судах... Надлежало найти такую форму организации хаоса, состоящего из половых и пищеварительных органов как Хнойпеков, так и Мымр, такую форму этого вселенского кабака, чтобы хоть часть функций упомянутых внешних судов была бы передана суду внутреннему. Вот, вот когда понадобилась и пригодилась категория величия! А дело в том, господа, что в огромной и совершенно аморфной толпе Хнойпеков, в огромной и еще более аморфной толпе Мымр время от времени появляются личности, для которых смысл жизни отнюдь не сводится к пищеварению и половым отправлениям по преимуществу. Если угодно — третья потребность! Ему, понимаете, мало чего-нибудь там переварить и попользоваться чьими-нибудь прелестями. Ему, понимаете, хочется еще сотворить что-нибудь такое-этакое, чего раньше, до него, не было. Например, инстанционную или, скажем, иерархическую структуру. Козерога какого-нибудь на стене. С яйцами. Или сочинить миф про Афродиту... На кой хрен ему это все сдалось — он и сам толком не знает. И на самом деле, ну зачем Хнойпеку Афродита Пеннорожденная или тот же самый козерог на стене. С яйцами. Есть, конечно, гипотезы, есть, и не одна! Козерог ведь, как-никак, — это очень много мяса. Об Афродите я уже и не говорю... Впрочем, если уж быть до конца честным и откровенным, происхождение этой третьей потребности для нашей материалистической науки остается пока загадкой. Но в настоящий момент это и не должно нас интересовать. В настоящий момент нам важно, друзья мои, что? Что в общей серой толпе вдруг появляется личность, которая не удовлетворяется, пакость такая, овсяной кашей или грязной Мымрой, каковая имеет все ноги в цыпках, не удовлетворяется, значит, широко доступным реализмом, а начинает идеализировать, абстрагироваться, зараза, начинает — мысленно обращает овсяную кашу в сочного козерога под чесночным соусом, а Мымру — в роскошную особу с

бедрами и хорошо помытую — из океана она у него. Из воды... Да мать же моя мамочка! Да ведь такому человеку цены нет! Такого человека надо поставить на высокое место и водить к нему Хнойпеков и Мымр побатальонно, чтобы учились они, паразиты, понимать свое место. Вот вы, задрипы, умеете так, как он? Вот ты, ты, рыжий, вшивый, умеешь котлету нарисовать, да такую, чтобы сразу же жрать захотелось? Или анекдотец хотя бы сочинить? Не умеешь? Так куда же ты, говно, лезешь с ним ровняться? Пахать иди, пахать! Рыбу удить, ракушки промышлять!..

Андрей оттолкнулся от стола и, восторженно потирая руки, снова прошелся взад и вперед. Очень здорово все получилось. Великолепно! И без никаких там тезисов. И все эти долдоны слушали, затаив дыхание. Хоть бы один пошевелился... Да уж, я — такой. Я, разумеется, не Кацман, я больше помалкиваю, но уж если меня доведут, если меня, черт побери, спросят... Правда, на том, невидимом конце стола тоже, кажется, принялся кто-то говорить. Еврей какой-то. Может быть, Кацман пробрался? Ну, это мы еще посмотрим — кто кого.

— Итак, величие — как категория — возникло из творчества, ибо велик лишь тот, кто творит, то бишь создает новое, небывалое. Но спросим себя, государи мои, кто же тогда будет их мордой в дерьмо тыкать? Кто им скажет: куда, тварюга, лезешь, куда прешь? Кто сделается, так сказать, жрецом творца — я не боюсь этого слова? А сделается им тот, сударики мои, кто рисовать упомянутую котлету или, скажем, Афродиту не умеет, но и ракушки промышлять тоже ни в какую не хочет — творец-организатор, творец-выстраиватель-в-колонны, творец, дары вымогающий и оные же и распределяющий!.. И вот тут мы вплотную подходим к вопросу о роли Бога и дьявола в истории. К вопросу, прямо скажем, запутанному, архисложному, к вопросу, в котором, на наш взгляд, все заврались... Ведь даже неверующему младенцу ясно, что Бог — это хороший человек, а дьявол, наоборот, плохой. Но ведь это же, господа, козлиный бред! Что мы про них на самом деле знаем? Что Бог взял хаос в свои руки и организовал его, в то время как дьявол, наоборот, ежедневно и ежечасно норовит эту организацию, эту структуру разрушить, вернуть к хаосу. Верно ведь? Но, с другой стороны, вся история учит нас, что человек как отдельная личность стремится именно к хаосу. Он хочет быть сам по себе. Он хочет делать только то, что ему делать хочется. Он постоянно галдит, что от природы свободен. И зачем далеко за примерами ходить — возьмите все того же пресловутого Хнойпека!.. Вы понимаете, надеюсь, к чему я клоню? Ведь чем, спрошу я вас, занимались на протяжении всей истории самые лютые тираны? Они же как раз стремились указанный хаос, присущий человеку,

эту самую хаотическую аморфную хнойпекомымренность надлежащим образом упорядочить, организовать, оформить, выстроить — желательно в одну колонну, — нацелить в одну точку и вообще уконтрапупить. Или, говоря проще, упупить. И, между прочим, это им, как правило, удавалось! Хотя, правда, лишь на небольшое время и лишь ценой большой крови... Так теперь я вас спрашиваю: кто же на самом деле хороший человек? Тот, кто стремится реализовать хаос — он же свобода, равенство и братство, — или тот, кто стремится эту хнойпекомымренность (читай: социальную энтропию!) понизить до минимума? Кто? Вот то-то и оно!

Прекрасный получился период. Сухой, точный и в то же время не лишенный страстности... Ну что это он там бубнит — на том конце? Надо же, хамло какое! И работать мешает, и вообще...

С очень неприятным чувством Андрей вдруг обнаружил в ровных рядах внимательных слушателей несколько повернутых к нему затылков. Он присмотрелся. Сомнений не было — затылки. Раз, два... шесть затылков! Он изо всех сил откашлялся и строго постучал костяшками пальцев по оцинкованной поверхности. Это не помогло. Ну, погодите, подумал он с угрозой. Я вас сейчас! Как это будет по-латыни?..

— Quos ego! — рявкнул он. — Вы, кажется, вообразили себе, будто вы что-то себе значите? Мы, мол, большие, а вы-де все копошитесь там внизу? Мы, мол, каменные, а вы — плоть гниющая? Мы, дескать, во веки веков, а вы — прах, однодневки? Вот вам! — Он показал им дулю. — Да кто вас помнит-то? Понавозводили вас каким-то давно забытым охламонам... Архимед — подумаешь! Ну, был такой, знаю, голый по улицам бегал безо всякого стыда... Ну и что? При надлежащем уровне цивилизации ему бы яйца за это дело оторвали. Чтоб не бегал. Эврика ему, понимаешь... Или тот же Петр Великий. Ну ладно, царь там, император всея Руси... Видали мы таких. А вот как была его фамилия? А? Не знаете? А памятников-то понаставили! Сочинений понаписали! А студента на экзамене спроси — дай бог, если один из десяти сообразит, какая у него была фамилия. Вот тебе и великий!.. И ведь со всеми с вами так! Либо никто вас вообще не помнит, только глаза лупят, либо, скажем, имя помнят, а фамилию — нет. И наоборот: фамилию помнят — например, премия Калинги, — а имя... да что там имя! Кто он такой был-то? То ли писатель он был, то ли вообще спекулянт шерстью... Да и кому это надо, сами вы посудите? Ведь если всех вас запоминать, так забудешь, сколько водка стоит.

Теперь он видел перед собой больше десяти затылков. Это было обидно. А Кацман на том конце стола бубнил все громче, все напористей, но все так же неразборчиво.

— Приманка! — заорал Андрей изо всех сил. — Вот что такое ваше хваленое величие! Приманка! Глядит на вас Хнойпек и думает: это надо же, какие люди бывали! Вот я теперь пить брошу, курить брошу, Мымру свою по кустам валять перестану, в библиотеку пойду запишусь и тоже всего этого достигну... То есть это предполагается, что он так должен думать! Но думает-то он, на вас глядючи, совсем не то. И ежели караула вокруг вас не выставить, в загородку вас не взять, так он понавалит вокруг, мелом слова напишет да и пойдет обратно к своей Мымре, очень довольный. Вот вам и воспитательная функция! Вот вам и память человечества!.. Да на кой хрен, в самом деле, Хнойпеку память? На кой хрен ему вас помнить, скажите вы мне на милость? То есть, конечно, были такие времена, когда помнить вас всех считалось хорошим тоном. Деваться было некуда, запоминали. Александр, мол, Македонский, родился тогда-то, помер тогда-то. Завоеватель. Буцефал. «Графиня, ваш Буцефал притомился, а кстати, не хотите ли вы со мной переспать?» Культурно, образно, по-светски... Теперь, конечно, в школах тоже приходится зубрить. Родился тогда-то, помер тогда-то, представитель олигархической верхушки. Эксплуататор. Здесь уж совсем непонятно, кому это нужно. Экзамены, бывало, сдашь — и с плеч долой. «Александр Македонский тоже был великий полководец, но зачем же табуретки ломать?» Фильм был такой, «Чапаев». Смотрели? «Брат умирает — Митька, ухи просит...» Вот и все применения вашему Александру Македонскому...

Андрей замолчал. Все эти разговоры были ни к чему. Никто его не слушал. Перед ним были только затылки — чугунные, каменные, железные, нефритовые... бритые, лысые, курчавые, с косицей, с выщерблинами, а то и вовсе скрытые за кольчугами, шлемами, треуголками... Не нравится, горько подумал он. Правда глаза колет. К песнопениям привыкли, к одам. Экзэги монументум... А что я такого вам сказал? Ну, не врал, конечно, не подличал перед вами — что думал, то и сказал. Я ведь не против величия. Пушкин, Ленин, Эйнштейн... Я идолопоклонства не люблю. Делам надо поклоняться, а не статуям. А может быть, даже и делам поклоняться не надо. Потому что каждый делает, что в его силах. Один — революцию, другой — свистульку. У меня, может, сил только на одну свистульку и хватает, так что же я — говно теперь?..

А голос за желтым туманом знай бубнил свое, и уже были слышны отдельные слова: «...невиданное и необычайное... из катастрофического положения... только вы... заслужило вечной благодарности и вечной славы...» Вот этого я особенно не терплю, подумал Андрей. Особенно я ненавижу, когда вечностями швыряются. Братья навек. Вечная дружба.

Навеки вместе. Вечная слава... Откуда они все это берут? Что они видят вечного?

— Хватит врать! — крикнул он через стол. — Совесть надо иметь!

Никто не обратил на него внимания. Он повернулся и побрел обратно, чувствуя, как сквозняк пробирает его до костей, вонючий сквозняк, пропитанный испарениями склепа, ржавчины, окислившейся меди... А ведь это не Изя там болтал, вяло подумал он. Изя таких слов сроду не произносил. Зря я на него... Зря я сюда пришел. Зачем меня, собственно, сюда принесло? Наверное, мне показалось, будто я что-то понял. Все-таки мне уже за тридцать, пора разбираться, что к чему. Что за дикая идея — убеждать памятники, что они никому не нужны? Это же все равно, что убеждать людей, что они никому не нужны... Оно, может быть, так и есть, да кто в это поверит?..

Что-то со мной сделалось за последние годы, подумал он. Что-то я утратил... Цель я утратил, вот что. Каких-нибудь пять лет назад я точно знал, зачем нужны те или иные мои действия. А теперь вот — не знаю. Знаю, что Хнойпека следует поставить к стенке. А зачем это — непонятно. То есть понятно, что тогда мне станет гораздо легче работать, но зачем это нужно — чтобы мне было легче работать? Это ведь только мне одному и нужно. Для себя. Сколько лет я уже живу для себя... Это, наверное, правильно: за меня для меня никто жить не станет, самому приходится позаботиться. Но ведь скучно это, тоскливо, сил нет... И выбора нет, подумал он. Вот что я понял. Ничего человек не может и не умеет. Одно он может и умеет — жить для себя. Он даже зубами скрипнул от безнадежной ясности и определенности этой мысли.

Он вышел из склепа в тень колонн и зажмурился. Желтая раскаленная площадь, утыканная пустыми постаментами, лежала перед ним. Оттуда волнами накатывал жар, как из печи. Жар, жажда, изнурение... Это был мир, в котором надлежало жить и, следовательно, действовать.

Изя спал, уткнувшись лбом в раскрытый томик, вытянувшись на каменных плитах в тени. На штанах сзади у него зияла прореха, ноги в стоптанных башмаках были неестественно вывернуты. Потом от него разило за версту. Немой был тут же — сидел на корточках с закрытыми глазами, привалившись спиной к колонне, на коленях у него лежал автомат.

— Подъем, — сказал Андрей устало.

Немой раскрыл глаза и встал. Изя приподнял голову и поглядел на Андрея сквозь заплывшие веки.

— Где Пак? — спросил Андрей, озираясь.

Изя сел, вцепился скрюченными пальцами в пыльную шевелюру и

принялся ожесточенно чесаться.

— Ч-черт... — пробормотал он невнятно. — Слушай, жрать же хочется невыносимо... Сколько можно?

— Сейчас пойдем, — сказал ему Андрей. Он все озирался. — Где Пак?

— Поше-ауэтеку, — ответил Изя, неистово зевая. — Ф-фу, разморило совершенно к чертям...

— Куда пошел?

— В библиотеку пошел. — Изя вскочил, подобрал свой томик и принялся запихивать его в мешок. — Мы решили, что он пока отберет книги... Сколько это сейчас времени? У меня вроде остановились...

Андрей взглянул на часы.

— Три, — сказал он. — Пошли.

— Может, пожрем сначала? — предложил Изя нерешительно.

— На ходу, — сказал Андрей.

Он испытывал какое-то смутное беспокойство. Что-то ему не нравилось. Что-то было не так. Он взял у Немого автомат и, заранее щурясь, шагнул на раскаленные ступеньки.

— Ну вот... — ворчал позади Изя. — Теперь — жрать на ходу... Я его как честный человек дожидался, а он толком пожрать не дает... Немой, дай-ка сюда мешок...

Андрей, не оглядываясь, быстро шел между постаментами. Ему тоже хотелось есть, внутри так и сосало, но что-то толкало его идти, и идти быстро. Он поудобнее пристроил ремень автомата на плече и снова мельком посмотрел на часы. Было все те же три часа без одной минуты. Он поднес запястье к уху. Часы стояли.

— Эй, господин советник! — позвал его Изя. — Держи.

Андрей приостановился и принял у него две галеты, проложенные жирной консервированной свининой. Изя уже смачно хрумкал и причмокивал. Рассматривая на ходу сандвич — откуда половчее кусать, — Андрей спросил:

— Когда Пак ушел?

— Да почти сразу же и ушел, — сказал Изя с набитым ртом. — Мы с ним осмотрели этот пантеон, ничего интересного не обнаружили, вот он и отправился.

— Зря, — сказал Андрей. Он понял, что его беспокоило.

— Что — зря?

Андрей не ответил.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Никакого Пака в библиотеке не оказалось. Он, конечно, сюда и не думал заходить. Книги валялись грудой, как и раньше.

— Странно, — сказал Изя, растерянно вертя головой. — Он же сказал, что отберет все по социологии...

— «Он сказал, он сказал...» — сквозь зубы проговорил Андрей. Он пхнул носком башмака подвернувшийся под ноги пухлый том, повернулся и сбежал по лестнице. Обвел все-таки в конце концов. Обвел косоглазый. Еврей дальневосточный... Он сам толком не понимал, в чем заключается хитрость дальневосточного еврея, но всеми фибрами души чувствовал: обвел!

Теперь они шли, прижимаясь к стенам, — Андрей по правой стороне улицы, Немой, который тоже понял, что дело дрянь, — по левой. Изя полез было на середину, но Андрей так на него гаркнул, что архивариус опрометью вернулся к нему и пошел след в след, возмущенно сопя и презрительно фыркая. Видимость была — метров пятьдесят, а дальше улица представлялась словно бы в аквариуме — все там мутно дрожало, отсвечивало, поблескивало, и даже вроде бы какие-то водоросли струились над мостовой.

Когда они поравнялись с кинотеатром, Немой вдруг остановился. Андрей, следивший за ним краем глаза, остановился тоже. Немой стоял неподвижно, он словно к чему-то прислушивался, держа обнаженный тесак в опущенной руке.

— Гарью несет... — тихонько проговорил сзади Изя.

И Андрей сейчас же почувствовал запах гари. Вот оно, подумал он, стискивая зубы.

Немой поднял руку с тесаком, махнул вдоль улицы и двинулся дальше. Они прошли еще метров двести со всей возможной осторожностью. Запах гари усиливался. Запах горячего металла, тлеющего тряпья, солярки и еще какие-то сладковатые, почти вкусные запахи. Что же там произошло? — думал Андрей, стискивая зубы до хруста в висках. Что он там учинил? — твердил он в тоске. Что там горит? Это же там горит, несомненно... И тут он увидел Пака.

Он сразу подумал, что это Пак, потому что на трупе была знакомая куртка из выцветшей голубой саржи. Ни у кого в лагере больше не было такой куртки. Кореец лежал на углу, разбросав ноги, уронивши голову на самодельный короткоствольный автомат. Ствол автомата был направлен

вдоль улицы в сторону лагеря. Пак был какой-то непривычно толстый, словно раздутый, и кисти рук у него были черно-синие и лоснились.

Андрей еще не успел как следует понять, что же он на самом деле видит, как Изя с каким-то карканьем оттолкнул его, бросился, отдавив ему ногу, через перекресток и упал рядом с трупом на колени. Андрей сглотнул и посмотрел в сторону Немого. Немой энергично кивал и показывал тесаком куда-то вперед, и Андрей разглядел там, на самой границе видимости, еще одно тело. Кто-то там еще лежал — посередине улицы, — тоже толстый и черный, а сквозь марево видно было теперь, как поднимается над крышами искаженный рефракцией столб серого дыма.

Опустив автомат, Андрей пересек перекресток. Изя уже поднялся с колен, и, подойдя, Андрей сразу понял — почему: от трупа в голубой сарже невыносимо тянуло сладким и тошным.

— Боже мой... — проговорил Изя, поворачивая к Андрею залитое потом помертвевшее лицо. — Они же его убили, подонки... Они же все вместе его одного не стоят...

Андрей мельком взглянул под ноги, на страшную раздутую куклу с черной язвой вместо затылка. Солнце тускло отсвечивало на россыпи медных гильз. Андрей обошел Изю и, больше уже не прячась, не пригибаясь, зашагал наискосок через улицу к следующей раздутой кукле, над которой уже сидел на корточках Немой.

Этот лежал на спине, и хотя лицо у него было чудовищно вспухшее и черное, Андрей узнал его: это был один из геологов, заместитель Кехады по съемке — Тэд Камински. Особенно страшно было, что он в одних трусах и почему-то в ватнике, какие носили водители. Видимо, ему попало в спину, и очередь прошила его насквозь — на груди телогрейка была вся в дырах, и из дыр торчали клочья серой ваты. Шагах в пяти валялся автомат без рожка.

Немой тронул Андрея за плечо и указал вперед. Там, приткнувшись к стене на правой стороне улицы, скорчился еще один труп. Оказалось, это был Пермяк. Его убило, видимо, на середине улицы, там еще оставалось на булыжнике высохшее черное пятно, но он, мучаясь, пополз к стене, оставляя за собой густой черный след, и там, у стены, мучаясь, умер, подвернув голову и изо всех сил обхватив руками разорванный пулями живот.

Они здесь убивали друг друга в приступе неистовой ярости, как взбесившиеся хищники, как остервеневшие тарантулы, как обезумевшие от голода крысы. Как люди.

Поперек ближайшего к лагерю немощеного переулка на засохших

нечистотах валялся Тевосян. Он гнался за трактором, который свернул в этот переулок и уходил к обрыву, коверкая спекшуюся землю торопливыми гусеницами. Тевосян гнался за ним от самого лагеря, стреляя на ходу, а с трактора стреляли по нему и здесь, на перекрестке, где в ту ночь стояла статуя с жабьей харей, в него попали, и он остался лежать, оскалив желтые зубы, в своем испачканном пылью, нечистотами и кровью солдатском мундирчике. Но перед смертью, а может быть, и после смерти, он попал тоже: на полпути к обрыву, вцепившись скрюченными пальцами в раскрошенную гусеницами землю, вздутой горой громоздился сержант Фогель, и дальше трактор шел уже без него — до самого обрыва и вниз, в пропасть.

В лагере лениво догорала волокуша. По исковерканным простреленным бочкам, иссиня-черным от жара, еще бегали чадные язычки оранжевого пламени, и медленно поднимались в тусклое небо клубы жирного дыма. Из черной спекшейся кучи на волокуше торчали чьи-то горелые ноги, и тянуло тем самым вкусным запахом, от которого теперь тошнило.

Из окна комнаты картографов свисал голый труп Рулье — длинные волосатые руки его почти касались тротуара, а на тротуаре валялся автомат. Вокруг окна вся стена была избита и исковеркана пулями, а на противоположной стороне улицы лежали друг на друге скошенные одной очередью Василенко и Палотти. Оружия возле них не было, а на усохшем лице Василенко сохранилось выражение безмерного изумления и испуга.

Второго геолога, второго картографа и зампотеха Эллизауэра расстреляли, поставив к той же стене. Так они и лежали рядком под пробитой пулями дверью — Эллизауэр в кальсонах, остальные — голые.

А в самом центре этой смердящей гекатомбы, прямо посередине улицы, на длинном столе с алюминиевыми ножками, покрытый британским флагом, спокойно лежал, сложивши руки на груди, полковник Сент-Джеймс, в парадном мундире, при всех орденах, все такой же сухой, невозмутимый и даже иронически улыбающийся. Рядом, привалившись к ножке стола, уткнувшись седой головой в мостовую, лежал Даган — тоже в парадном мундире, — и в руках у него была зажата сломанная трость полковника.

И это было все. Шестеро солдат, в том числе и Хнойпек, инженер Кехада, приблудная девка Мымра и второй трактор со второй волокушей — исчезли. Остались трупы, осталось сваленное горой геологическое оборудование, осталось несколько автоматов в пирамиде. И смрад. И жирная копоть. И удушающая вонь жареного мяса от догорающей

волокуши. Андрей ввалился в свою комнату, упал в кресло и со стоном уронил голову на руки. Все было кончено. Навсегда. И не было спасения от боли, и не было спасения от стыда, и не было спасения от смерти.

...Я привел их сюда. Я. Я их бросил здесь одних, трус, подонок. Отдохнуть захотелось. От рыл ихних отдохнуть захотелось вонючке, чистоплюю, слизняку... Полковник, ах, полковник! Нельзя было умирать, нельзя!.. Если бы я не ушел, он бы не умер. Если бы он не умер, никто бы здесь и пикнуть не посмел. Звери, звери... Гиены! Стрелять надо было, стрелять!..

Он снова протяжно застонал и заерзал мокрой щекой по рукаву. В библиотеках прохлаждался... речи статуям произносил... раздолбай, трепло, все прогадил, все растерял... Ну и подыхай теперь, сволочь! Никто не заплачет. На кой хрен ты такой кому нужен?.. Но страшно ведь, страшно... Гонялись друг за другом, стреляли — в лежащих стреляли, в мертвых стреляли, к стенке ставили с руганью, с мордобоем... До чего же вы дошли, ребята, а? До чего я вас довел?.. И зачем? Зачем?!

Он ударил по столешнице стиснутыми кулаками, выпрямился, обтер лицо ладонью. Было слышно, как за окном невнятно и страшно вскрикивает Изя и Немой успокаивающе курлыкает, словно голубь. Не хочу жить, подумал Андрей. Не хочу. К черту все это... Он поднялся из-за стола — туда, к Изе, к людям — и вдруг увидел перед собой раскрытый журнал экспедиции. Он с отвращением оттолкнул его от себя, но тут же заметил, что последняя страница исписана не его рукой. Он снова сел и стал читать.

Кехада писал:

«День 31-й. Вчера, утром 30-го дня экспедиции, советник Воронин с архивариусом Кацманом и эмигрантом Паком отправились на рекогносцировку с расчетом возвратиться в лагерь к отбою, но не возвратились. Сегодня в 14 часов 30 минут скоропостижно, от сердечного приступа, скончался временно исполняющий обязанности начальника экспедиции полковник Сент-Джеймс. Поскольку советник Воронин до сих пор из рекогносцировки не возвратился, принимаю командование экспедицией на себя. Подпись: заместитель начальника экспедиции по науке Д. Кехада. 31-й день экспедиции, 15 часов 45 мин.».

Далее следовала обычная муть о расходе продовольствия и воды, о температуре, о ветре, а также приказ о назначении сержанта Фогеля начальником по военной части, выговор зампотеху Эллизауэру за медлительность и приказ ему же — максимально форсировать ремонт второго трактора. Дальше Кехада писал:

«Я намерен завтра провести торжественные похороны безвременно

усопшего полковника Сент-Джеймса и сразу же после церемонии выслать хорошо вооруженный отряд на поиски рекогносцировочной группы советника Воронина. Буде исчезнувшая группа не обнаружится, я намерен отдать приказ о возвращении, поскольку считаю дальнейшее продвижение вперед еще более бессмысленным, нежели раньше».

«День 32-й. Рекогносцировочная группа не вернулась. За безобразную драку, учиненную минувшей ночью, картографа Рулье и рядовых Хнойпека и Тевосяна предупреждаю в последний раз и лишаю на день водного пайка...»

Дальше на бумаге шел чернильный зигзаг с брызгами, и записи на этом кончались. Видимо, на улице поднялась стрельба, Кехада выскочил и больше уже не возвращался.

Андрей перечитал записи дважды. Да, Кехада, ты этого хотел. Чего хотел, то и получил. А я все на Пака грешил, царство ему небесное... Он, прикусив губу, зажмурился, когда перед глазами его снова встала раздутая кукла в синей выцветшей куртке, и вдруг до него дошло: тридцать второй день. Как — тридцать второй? Тридцатый! Вчера я записывал за двадцать восьмой... Он торопливо перебросил страницу. Да. Двадцать восьмой... И трупы эти раздутые — они же лежат уже несколько суток... Господи, да что же это?.. Один, два... Какое же сегодня число? Ведь мы же сегодня утром ушли!

И он вспомнил жаркую, уставленную пустыми постаментами площадь, и ледяную тьму пантеона, и слепые статуи за бесконечно длинным столом... Это было давно. Это было очень давно. Да-а... Закрутила, значит, завертела гадская сила, заморочила, одурманила меня... Я же мог в тот же день вернуться, полковника живого бы застал, не допустил бы...

Дверь распахнулась, и в комнату шагнул не похожий на себя Изя — весь словно высохший, с вытянутым костистым лицом, угрюмый, озлобленный, точно и не он только что, как женщина, вскрикивал под окнами. Он швырнул в угол полупустой мешок, сел в кресло напротив Андрея и сказал:

— Трупы лежат не меньше трех дней. Что происходит, ты понимаешь?

Андрей молча толкнул ему через стол журнал. Изя жадно схватил, разом проглотил записи, поднял на Андрея красные глаза.

Андрей сказал, криво усмехаясь:

— Эксперимент есть Эксперимент.

— Дрянь корявая, паршивая... — сказал Изя с ненавистью и отвращением. Он еще раз проглядел записи и бросил журнал на стол. — С-

суки!

— По-моему, это нас на площади скрутило, — сказал Андрей. — Где постаменты...

Изя кивнул, откинулся в кресле и, задрав бороду, закрыл глаза.

— Ну, что будем делать, советник? — спросил он.

Андрей молчал.

— Ты мне только стреляться не вздумай! — сказал Изя. — Знаю я тебя... комсомольца... орленка.

Андрей снова криво усмехнулся и потянул себя за воротник.

— Слушай, — проговорил он. — Пойдем отсюда куда-нибудь...

Изя открыл глаза и уставился на него.

— Смрад из окна... — сказал Андрей с трудом. — Не могу...

— Пошли ко мне, — сказал Изя.

В коридоре Немой поднялся им навстречу. Андрей взял его за голую мускулистую руку и потянул за собой. Все вместе они вошли в Изину комнату. Окна здесь глядели на другую улицу. За окнами, над низкими крышами уходила ввысь Желтая Стена. Здесь совсем не было смрада, и было почему-то даже прохладно, только вот сесть было негде — весь пол и все сплошняком было завалено бумагой и книгами.

— На пол, на пол садись, — сказал Изя, а сам повалился на свою развороченную грязную постель. — Давай думать, — сказал он. — Я подыхать не собираюсь. У меня здесь еще куча дел.

— А чего думать? — сказал Андрей угрюмо. — Все равно... Воды нет, увезли, а жратва вся сгорела. Дороги назад нет — через пустыню нам не пройти... Даже если мы этих гадов догоним... Да нет — где нам их догнать, несколько дней прошло... — Он помолчал. — Если бы воду найти... Далеко до этой твоей водокачки?

— Километров двадцать, — сказал Изя. — Или тридцать.

— Если ночью идти, по холодку...

— Ночью идти нельзя, — сказал Изя. — Темно. И волки.

— Здесь нет волков, — возразил Андрей.

— Откуда ты знаешь?

— Ну, тогда давай стреляться к чертовой матери, — сказал Андрей.

Он уже знал, что не будет стреляться. Он хотел жить. Никогда раньше он не знал, что можно так сильно хотеть жить.

— Ну ладно, — сказал Изя. — А если серьезно?

— А если серьезно, то я хочу жить. И я выживу. Мне теперь на все наплевать. Мы теперь с тобой вдвоем, понял? Мы теперь с тобой должны выжить, и все. И провались они все к чертовой матери. Просто найдем воду

и будем около нее жить.

— Правильно, — сказал Изя. Он сел на кровати, запустил руку под рубаху и принялся скрестись. — Днем будем пить воду, а по ночам я буду тебя поя...ть.

Андрей посмотрел на него, не понимая.

— Ты можешь еще что-нибудь предложить? — спросил он.

— Пока нет. Все правильно — сначала надо найти воду. Без воды нам карачун. А что дальше — там посмотрим... Я вот что сейчас думаю. По всему видно, что они драпали отсюда опрометью, сразу после бойни. Страшно стало. Повалились на волокушу и — газу! Надо бы в доме пошарить — наверняка здесь и вода, и жратва найдутся...

Он хотел еще что-то сказать, но остановился с разинутым ртом. Глаза его выкатились.

— Гляди, гляди! — сказал он испуганным шепотом.

Андрей стремительно повернулся к окну.

Сначала он ничего особенного не заметил, он только услышал — какое-то отдаленное громыхание, словно обвал, словно где-то камни сыпались... Потом глаза его уловили некое движение на желтом вертикальном склоне над крышами.

Сверху, из голубоватой белесой мглы, куда уходил мир, быстро катилось острием вниз странное треугольное облако. Оно двигалось с неимоверной высоты и было еще очень далеко от подножия стены, но уже можно было различить, что на острие бешено крутится, налетая на невидимые выступы и подскакивая, какое-то тяжелое тело мучительно знакомых очертаний. При каждом ударе от этого тела отлетали куски и продолжали падать рядом, веером летело каменное крошево, и вспухали клубы светлой пыли, втягиваясь в облако, образуя его, расходясь углом, как бурун за кормой быстроходного катера, а отдаленный громыхающий гул стал громче и распался на отдельные удары, дробный треск обломков о монолит, грозное шуршание гигантского оползня...

— Трактор! — перехваченным голосом произнес Изя.

Андрей понял его только в самую последнюю секунду, когда изувеченная, истерзанная машина стремительно нырнула за крыши, пол под ногами дрогнул от страшного удара, столбом взвилась кирпичная пыль, взлетели на воздух обломки, клочья жести — через мгновение все это скрылось под лавиной желтого обвала.

Они еще долго молчали, прислушиваясь, как там гремит, трещит, хрустит, перекатывается, и пол под ногами все вздрагивал, а над крышами уже ничего не было видно за неподвижным желтым облаком.

— Ничего себе! — сказал Изя. — Как их туда занесло?
— Кого? — тупо спросил Андрей.
— Это же наш трактор, балда!
— Какой наш трактор? Который удрал?
Изя помолчал, изо всех сил сандаля нос грязными пальцами.
— Не знаю, — сказал он. — Не понимаю ничего... А ты понимаешь? — спросил он вдруг, повернувшись к Немому.
Тот равнодушно кивнул. Изя с досадой ударил себя по коленям, но тут Немой сделал странный жест: протянул перед собой указательный палец, круто опустил его к полу, а затем поднял выше головы, описавши в воздухе вытянутое кольцо.
— Ну? — жадно сказал Изя. — Ну?
Немой пожал плечами и повторил тот же жест. И Андрей вдруг вспомнил — вспомнил и сразу все понял.
— «Падающие Звезды»! — сказал он. — Это ж надо же!.. — Он горько рассмеялся. — Надо же, когда я это понял!..
— Что ты понял? — заорал Изя. — Какие звезды?
Андрей, все еще смеясь, махнул рукой.
— Плевать, — сказал он. — Плевать, плевать и плевать! Какое нам теперь до этого дело? Хватит болтать, Кацман! Нам выжить надо, понимаешь ты? Выжить! В этом гнусном неправдоподобном мире! Нам вода нужна, Кацман!..
— Подожди, подожди... — пробормотал Изя.
— Я ничего больше не хочу! — заорал Андрей, тряся сжатыми кулаками. — Я не желаю больше ничего понимать! Не желаю ничего узнавать!.. Ведь там трупы валяются, Кацман! Трупы!.. Они ведь тоже жить хотели, Кацман! А теперь просто вздулись и гниют!
Изя, выпятив бороду, слез с кровати, схватил Андрея за куртку и с силой посадил на пол.
— Тихо! — сказал он, страшно сопя. — По морде тебе дать? Сейчас дам. Баба!
Андрей скрипнул зубами и замолчал. Изя отдуваясь вернулся на койку и снова принялся скрестись.
— Трупов он не видал... — ворчал он. — Мира этого он не видал... Баба.
Андрей, уткнувшись лицом в ладони, давил и затаптывал в себе бессмысленный отвратительный вой. Но краем сознания он уже понимал, что с ним сейчас происходит, и это помогало. Очень страшно было: быть здесь, среди мертвецов, еще вроде бы живым, но на самом-то деле уже

мертвым... Изя говорил что-то, но он не слышал. Потом его отпустило.

— Что ты говоришь? — спросил он, отнимая руки от лица.

— Я говорю, что пойду пошарю у солдатни, а ты пошарь у интеллигенции. И в комнате у Кехады пошарь — у него там где-то геологический эн-зе должен храниться... Не дрейфь, перезимуем...

В этот момент погасло солнце.

— М-мать! Вот некстати! — сказал Изя. — Теперь фонарь надо искать... Подожди-ка, ведь твой фонарь у меня должен быть...

— Часы, — сказал Андрей с трудом. — Часы надо поставить...

Он поднес запястье к глазам, разглядел фосфоресцирующие стрелки и поставил их на двенадцать ноль-ноль. Изя, ругаясь сквозь зубы, возился в темноте, двигал зачем-то койку, шуршал бумагой. Потом чиркнула и загорелась спичка. Изя стоял посредине комнаты на карачках и водил спичкой из стороны в сторону.

— Ну чего вы расселись, мать вашу!.. — заорал он. — Фонарь ищите! Живее, а то у меня спичек всего три штуки!..

Андрей нехотя поднялся, но Немой уже нашел фонарь, поднял стекло и передал Изе. Стало светлее. Изя, сосредоточенно шевеля бородой, регулировал горелку. Руки у него были крюки, горелка не желала регулироваться. Немой, весь лоснящийся от пота, вернулся в угол, сел на корточки и оттуда жалобно и преданно глядел на Андрея распахнутыми глазами ребенка. Воинство. Огрызки битой армии...

— Дай сюда фонарь, — сказал Андрей.

Он отобрал у Изи фонарь, наладил горелку и приказал:

— Пошли.

Он толкнул дверь в комнату полковника. Окна здесь были плотно закрыты, стекла целы, и поэтому смрада совсем не чувствовалось. Пахло табаком и одеколоном. Полковником.

Все было аккуратно прибрано, два упакованных чемодана отсвечивали добротной кожей, походная раскладная койка застелена была без единой морщинки, в головах на гвозде висела портупея с кобурой и фуражка с громадным козырьком. На громоздком комоде в углу стоял на войлочном кружке газовый фонарь, рядом — коробок спичек, стопка книг, футляр с биноклем...

Андрей поставил свой фонарь на стол и еще раз огляделся. Поднос с флягой и перевернутыми стаканчиками оказался на полке пустого стеллажа.

— Подай, — сказал он Немому.

Немой кинулся, схватил и поставил поднос на стол, рядом с фонарем.

Андрей разлил коньяк по стаканчикам. Стаканчиков было всего два, и для себя он наполнил колпачок фляжки.

— Берите, — сказал он. — За жизнь.

Изя одобрительно посмотрел на него, взял стаканчик, понюхал с видом знатока.

— Это вещь! — сказал он. — За жизнь, значит?.. Да разве это жизнь? — Он хихикнул, чокнулся с Немым и выпил. Глаза его увлажнились. — Хорошо-о... — слегка осипшим голосом проговорил он.

Немой тоже выпил — как воду, без всякого интереса. А Андрей все еще стоял с полным колпачком и пить не торопился. Что-то ему еще хотелось сказать, он и сам не знал толком — что. Какой-то очередной большой этап заканчивался, и начинался новый. И хотя ничего хорошего от завтрашнего дня ожидать не приходилось, завтрашний день все-таки был реальностью — особенно ощутимой потому, что это будет, может быть, один из очень и очень немногих оставшихся дней. Это было совсем незнакомое Андрею и очень острое ощущение.

Но он так и не придумал, что еще сказать, — только повторил: «За жизнь» — и выпил.

Потом он зажег газовый фонарь полковника и вручил его Изе, пообещав:

— Если и этот раскокаешь, борода безрукая, надаю по шее...

Изя, оскорбленно ворча, удалился, а Андрей все медлил уходить, рассеянно оглядывая комнату. Следовало бы, конечно, пошарить здесь — наверняка у Дагана хранилась для полковника какая-нибудь заначка, — но шарить именно здесь почему-то казалось... стыдным, что ли?

— Не стесняйтесь, Андрей, не стесняйтесь, — услыхал он вдруг знакомый голос. — Мертвым ничего не нужно.

Немой сидел на краю стола, болтая ногой, и это уже был не Немой, точнее — не совсем Немой. Он по-прежнему был в одних штанах и с тесаком на широком поясе, но кожа его стала теперь сухой и матовой, лицо округлилось, на щеках проступил здоровый персиковый румянец. Это был Наставник — собственной персоной, — и Андрей впервые при виде него не ощутил ни радости, ни надежды, ни подъема. Он ощутил досаду и неловкость.

— Опять вы... — проворчал он, поворачиваясь к Наставнику спиной. — Давненько не видались...

Он подошел к окну и, прижавшись лбом к теплому стеклу, стал смотреть во тьму, слабо озаряемую огоньками догорающей волокуши.

— А мы тут, как видите, помирать собрались...

— Зачем же помирать? — бодро произнес Наставник. — Надо жить! Умереть, знаете ли, никогда не поздно и всегда рано, не так ли?

— А если мы не найдем воды?

— Вы ее найдете. Всегда находили и теперь найдете.

— Хорошо. Найдем. Жить около нее всю жизнь? Зачем же тогда жить?

— А зачем вообще жить?

— Вот и я все думаю: а зачем жить? Глупую я прожил жизнь, Наставник. Дурацкую какую-то... Болтался все время как дерьмо в проруби — ни вверх, ни вниз. Сначала за идеи какие-то сражался, потом — за дефицитные ковры, а потом совсем уже ополоумел... людей вот погубил...

— Ну-ну-ну, это несерьезно, — сказал Наставник. — Люди всегда гибнут. При чем же тут вы?.. Вы начинаете новый этап, Андрей, и на мой взгляд — решающий этап. В известном смысле даже хорошо, что все получилось именно так. Рано или поздно все это с неизбежностью должно было произойти. Ведь экспедиция была обречена. Но вы могли бы погибнуть, так и не перейдя этого важного рубежа...

— Что же это за рубеж, интересно? — произнес Андрей, усмехаясь. Он повернулся к Наставнику лицом. — Идеи уже были — всякая там возня вокруг общественного блага и прочая муть для молокососов... Карьеру я уже делал, хватит, спасибо, посидел в начальниках... Так что же еще может со мной случиться?

— Понимание! — сказал Наставник, чуть повысив голос.

— Что — понимание? Понимание чего?

— Понимание, — повторил Наставник. — Вот чего у вас еще никогда не было — понимания!

— Понимания этого вашего у меня теперь вот сколько! — Андрей постукал себя ребром ладони по кадыку. — Все на свете я теперь понимаю. Тридцать лет до этого понимания доходил и вот теперь дошел. Никому я не нужен, и никто никому не нужен. Есть я, нет меня, сражаюсь я, лежу на диване — никакой разницы. Ничего нельзя изменить, ничего нельзя исправить. Можно только устроиться — лучше или хуже. Все идет само по себе, а я здесь ни при чем. Вот оно — ваше понимание, и больше понимать мне нечего... Вы мне лучше скажите, что я с этим пониманием должен делать? На зиму его засолить или сейчас кушать?..

Наставник кивал.

— Именно, — сказал он. — Это и есть последний рубеж: что делать с пониманием? Как с ним жить? Жить-то ведь все равно надо!

— Жить надо, когда понимания нет! — с тихой яростью сказал Андрей. — А с пониманием надо умирать! И если бы я не был таким

трусом... если бы не вопила так во мне проклятая протоплазма, я бы знал, что делать. Я бы веревку выбрал — покрепче...

Он замолчал.

Наставник взял флягу, осторожно наполнил один стаканчик, другой и задумчиво завинтил колпачок.

— Ну, начнем с того, что вы не трус, — сказал он. — И веревкой вы не воспользовались вовсе не потому, что вам страшно... Где-то в подсознании, и не так уж глубоко, уверяю вас, сидит в вас надежда — более того, уверенность, — что можно жить и с пониманием тоже. И неплохо жить. Интересно. — Он ногтем стал двигать к Андрею по столу один из стаканчиков. — Вспомните-ка, как отец заставлял вас прочесть «Войну миров», как вы не хотели, как вы злились, как вы засовывали проклятую книжку под диван, чтобы вернуться к иллюстрированному «Барону Мюнхгаузену»... Вам было скучно от Уэллса, вам было от него тошно, вы не знали, на кой ляд он вам сдался, вы хотели без него... А потом вы прочли эту книжку двенадцать раз, выучили наизусть, рисовали к ней иллюстрации и пытались даже писать продолжение...

— Ну и что? — угрюмо сказал Андрей.

— И такое было с вами не однажды! — сказал Наставник. — И будет еще не раз. В вас только что вбили понимание, и вам от него тошно, вы не знаете, на кой оно вам ляд, вы хотите без него... — Он взял свой стаканчик. — За продолжение! — сказал он.

И Андрей шагнул к столу, и взял свою рюмку, и поднес ее к губам, с привычным облегчением чувствуя, как снова рассеиваются все угрюмые сомнения и уже брезжит что-то впереди, в непроницаемой, казалось бы, тьме, и сейчас надо выпить, и бодро стукнуть пустой рюмкой по столу, и сказать что-нибудь энергичное, бодрое, и взяться за дело, но в этот момент кто-то третий, кто до сих пор всегда молчал, все тридцать лет молчал — то ли спал, то ли пьяный лежал, то ли наплевать ему было, — вдруг хихикнул и произнес одно бессмысленное слово: «Ти-ли-ли, ти-ли-ли!..»

Андрей выплеснул коньяк на пол, бросил стаканчик на поднос и сказал, засунув руки в карманы:

— А ведь я еще кое-что понял, Наставник... Пейте, пейте на здоровье, мне не хочется. — Не мог он больше смотреть на это румяное лицо. Он повернулся к нему спиной и снова отошел к окну. — Поддакиваете много, господин Наставник. Слишком уж вы беспардонно поддакиваете мне, господин Воронин-второй, совесть моя желтая, резиновая, пользованный ты презерватив... Все тебе, Воронин, ладно, все тебе, родимый, хорошо. Главное, чтобы все мы были здоровы, а они нехай все подохнут. Жратвы

вот не хватит — Кацмана пристрелю, а? Милое дело!..

Дверь у него за спиной скрипнула. Он обернулся. Комната была пуста. И стаканчики были пусты, и фляга была пуста, и в груди было как-то пусто, словно вырезали оттуда что-то большое и привычное. То ли опухоль. То ли сердце...

И уже привыкая к этому новому ощущению, Андрей подошел к койке полковника и снял с гвоздя ремень с пистолетом, изо всех сил запоясался и передвинул кобуру на живот.

— На память, — громко сказал он белоснежной подушке.

Часть шестая ИСХОД

Солнце было в зените. Медный от пыли диск висел в центре белесого, нечистого неба, ублюдочная тень корчилась и топорщилась под самыми подошвами, то серая и размытая, то вдруг словно оживающая, обретающая резкость очертаний, наливающаяся чернотой и тогда особенно уродливая. Никакой дороги здесь и в помине не было — была бугристая серо-желтая сухая глина, растрескавшаяся, убитая, твердая, как камень, и до того голая, что совершенно непонятно было, откуда здесь берется такая масса пыли.

Ветер, слава богу, дул в спину. Где-то далеко позади он засасывал в себя неисчислимые тонны гнусной раскаленной пороши и с тупым упорством волочил ее вдоль выжженного солнцем выступа, зажатого между пропастью и Желтой Стеной, то выбрасывая ее крутящимся протуберанцем до самого неба, то скручивая туго в гибкие, почти кокетливые, лебединые шеи смерчей, то просто катил клубящимся валом, а потом, вдруг остервенев, швырял колючую муку в спины, в волосы, хлестал, зверея, по мокрому от пота затылку, стегал по рукам, по ушам, набивал карманы, сыпал за шиворот...

Ничего здесь не было, давно уже ничего не было. А может быть, и никогда. Солнце, глина, ветер. Только иногда пронесется, крутясь и подпрыгивая кривляющимся скоморохом, колючий скелет куста, выдранного с корнем бог знает где позади. Ни капли воды, никаких признаков жизни. И только пыль, пыль, пыль, пыль...

Время от времени глина под ногами куда-то пропадала, и начиналось сплошное каменное крошево. Здесь все было раскалено, как в аду. То справа, то слева начинали выглядывать из клубов несущейся пыли гигантские обломки скал — седые, словно мукой припорошенные. Ветер и жара придавали им самые странные и неожиданные очертания, и было страшно, что они вот так — то появляются, то вновь исчезают, как призраки, словно играют в свои каменные прятки. А щебень под ногами становился все крупнее, и вдруг россыпь кончалась, и снова под ногами звенела глина.

Камни вели себя очень плохо. Они выворачивались из-под ноги, они норовили поглубже вонзиться в подошву, проткнуть ее, добраться до живого тела. Глина вела себя поприличнее. Но и она делала все, что могла. Она вдруг вспучивалась плешивыми холмами, она устраивала ни с того ни с сего дурацкие косогоры, она расступалась в глубокие крутые овраги, где

на дне невозможно было дышать от застоявшейся тысячелетней жары... Она тоже играла в свою игру, в свое глиняное «замри-отомри», учиняла метаморфозы в меру своей скудной глиняной фантазии. Все здесь играло в свои игры. И все — в одни ворота...

— Эй, Андрей! — сипло позвал Изя. — Андрюха-а!..

— Чего тебе? — через плечо спросил Андрей и остановился.

Тележка, вихляясь на разболтанных колесиках, по инерции накатила на него и ударила под коленки.

— Смотри!..

Изя стоял шагах в десяти позади и показывал что-то в протянутой руке.

— Что это? — спросил Андрей без особого интереса.

Изя налег на постромки и, не опуская руки, подкатил свою тележку к Андрею. Андрей смотрел, как он идет, — страшный, в бороде по грудь, со вставшей дыбом, серой от пыли шевелюрой, в неимоверно драной куртке, сквозь дыры которой проглядывало волосатое мокрое тело. Бахрома его порток едва прикрывала колени, а правый башмак вопиял о каше, выставляя на свет грязные пальцы со сломанными черными ногтями... Корифей духа. Жрец и апостол вечного храма культуры...

— Расческа! — торжественно провозгласил Изя, приблизившись.

Расческа была из самых дешевых — пластмассовая, со сломанными зубьями, — не расческа даже, а обломок расчески, и у места облома можно было еще разобрать какой-то ГОСТ, но пластмасса была выбелена многими десятилетиями солнечного жара и жестоко изъедена пылевой коростой.

— Ну вот, — сказал Андрей. — А ты все галдишь: никто до нас, никто до нас.

— И совсем я не так галдю, — сказал Изя миролюбиво. — Давай посидим, а?

— Ну, посидим, — согласился Андрей без всякого энтузиазма, и Изя тут же, не снимая постромок, плюхнулся задом прямо на землю и принялся засовывать обломок расчески в нагрудный карман.

Андрей поставил свою тележку поперек ветра, сбросил постромки и уселся, прислонившись спиной и затылком к горячим канистрам. Ветра сразу же стало заметно меньше, но зато теперь голая глина немилосердно жгла ягодицы сквозь ветхую ткань.

— Где же твой резервуар? — сказал он с презрением. — Трепло.

— Иш-шы, иш-шы! — откликнулся Изя. — Должон быть!

— Это еще что такое?

— А это такой анекдот, про купца, — объяснил Изя с охотой. —

Пошел один купец в публичный дом...

— Ну, поехали! — сказал Андрей. — Все об ёй? Угомона на тебя нет, Кацман, ей-богу!..

— Я угомона себе позволить не могу, — объявил Изя. — Я должен быть готов при первой же возможности.

— Сдохнем мы тут с тобой, — сказал Андрей.

— Ни боже мой! И не думай, и не мысли!

— Да я и не думаю, — сказал Андрей.

Это была правда. Мысль о неизбежной, конечно, смерти очень редко теперь приходила ему в голову. Черт его знает, в чем тут было дело. То ли острота этого ощущения обреченности уже совсем притупилась, то ли плоть уже настолько высохла и изнемогла, что перестала орать и вопить и только еле-еле сипела где-то на пороге слышимости... А может быть, количество перешло, наконец, в качество, и начало действовать постоянное присутствие Изи с его почти неестественным равнодушием к смерти, которая все ходила около них кругами, то приближаясь почти вплотную, то вдруг снова удаляясь, но никогда не упуская их из виду... Так или иначе, но вот уже много дней Андрей если и заговаривал о неизбежном конце, то только для того, чтобы снова и снова убедиться в своем растущем равнодушии к нему.

— Что ты говоришь? — переспросил он.

— Я говорю: ты, главное, не бойся здесь подохнуть...

— Да ты мне это уже сто раз говорил. Я уже давным-давно не боюсь, а ты все знай долдонишь свое...

— Ну и хорошо, — мирно сказал Изя. Он вытянул ноги. — Чем бы это мне подошву подвязать? — осведомился он глубокомысленно. — Отвалится ведь в ближайший же кол времени...

— А вон конец от постромок отрежь и подвяжи... Дать тебе ножик?

Некоторое время Изя молча созерцал торчащие пальцы.

— Ладно, — сказал он наконец. — Совсем отвалится — тогда... Может, хлебнем по глотку?

— Ручки зябнуть, ножки зябнуть? — сказал Андрей и сразу вспомнил дядю Юру. Дядя Юра вспоминался теперь с трудом. Он был из другой жизни.

— Не пора ли нам дерябнуть? — с живостью подхватил Изя, искательно заглядывая Андрею в глаза.

— Фигу тебе! — сказал Андрей с удовольствием. — Знаешь, какой водицы хлебни? Которую ты где-то там вычитал. Наврал ведь мне про резервуар, да?

Как он и ожидал, Изя немедленно взбеленился.

— Иди ты на хер! Что я тебе — гувернантка?

— Ну, значит, рукопись твоя наврала...

— Дурак, — сказал Изя с презрением. — Рукописи не врут. Это тебе не книги. Надо только уметь их читать...

— Ну, значит, читать ты не умеешь...

Изя только посмотрел на него и сейчас же завозился, поднимаясь.

— Всякое говно здесь будет... — бормотал он. — А ну вставай! Резервуар хочешь? Тогда нечего рассиживаться... Вставай, говорю!

Ветер, ликуя, хлестнул колючками по ушам и радостно, как веселый пес, запылил кругами над плешивой глиной, а глина с натугой двинулась навстречу и некоторое время вела себя смирно, словно собиралась с силами, а потом начала опрокидываться косогором...

Понять бы все-таки до конца, куда меня несет черт, подумал Андрей. Всю жизнь меня куда-то несет — не сидится мне на месте, дураку... Главное, ведь смысла никакого уже нет. Раньше все-таки всегда бывал какой-то смысл. Ну, пусть даже самый мизерный, пусть даже завиральный, но все-таки, когда меня били, скажем, по морде, я всегда мог сказать себе: это ничего, это — во имя, это — борьба...

...Всему на свете цена — дерьмо, сказал Изя. (Это было в Хрустальном Дворце, они только что поели курятины, жаренной под давлением, и теперь лежали на ярких синтетических матрасиках на краю бассейна с прозрачной подсвеченной водой.) Всему на свете цена — дерьмо, сказал Изя, ковыряя в зубах хорошо отмытым пальцем. Всем этим вашим пахарям, всем этим токарям, всем вашим блюмингам, крекингам, ветвистым пшеницам, лазерам и мазерам. Все это — дерьмо, удобрения. Все это проходит. Либо просто проходит без следа и навсегда, либо проходит потому, что превращается. Все это кажется важным только потому, что большинство считает это важным. А большинство считает это важным потому, что стремится набить брюхо и усладить свою плоть ценой наименьших усилий. Но если подумать, кому какое дело до большинства? Я лично против него ничего не имею, я сам в известном смысле большинство. Но меня большинство не интересует. История большинства имеет начало и конец. Вначале большинство жрет то, что ему дают. А в конце оно всю свою жизнь занимается проблемой выбора, что бы такое выбрать пожрать этакое? Еще не жратое?.. Ну, до этого пока еще далековато, сказал Андрей. Не так далеко, как ты воображаешь, возразил Изя. А если даже и далеко, то не в этом дело. Важно, что есть начало и есть конец... Все, что имеет начало, имеет и конец, сказал Андрей. Правильно, правильно, сказал Изя

нетерпеливо. Но я ведь говорю о масштабах истории, а не о масштабах Вселенной. История большинства имеет конец, а вот история меньшинства закончится только вместе со Вселенной... Элитарист ты паршивый, лениво сказал ему Андрей, поднялся со своего коврика и бухнулся в бассейн. Он долго плавал, фыркал в прохладной воде и, ныряя на самое дно, где вода была ледяная, жадно глотал ее там, как рыба...

...Нет, конечно, не глотал. Это я бы сейчас глотал. Господи, как бы я глотал! Я бы весь бассейн выглотал, Изе бы не оставил — пусть резервуар ищет...

Справа, из-за серо-желтых клубов, выглянули какие-то руины — полуобвалившаяся глухая стена, щетинистая от пыльных растений, остатки неуклюжей четвероугольной башни.

— Ну вот, пожалуйста, — сказал Андрей, останавливаясь. — А ты говоришь: никто до нас...

— Да не говорил я этого никогда, балда стоеросовая! — просипел Изя. — Я говорил...

— Слушай, а может, резервуар — здесь?

— Очень может быть, — сказал Изя.

— Пойдем посмотрим.

Они сбросили постромки и побрели к развалинам.

— Хе! — сказал Изя. — Норманнская крепость! Девятый век...

— Воду, воду ищи, — сказал Андрей.

— Иди ты со своей водой! — сказал Изя с сердцем. Глаза его округлились, выкатились, давно забытым жестом он полез под бороду искать свою бородавку. — Норманны... — бормотал он. — Надо же... Интересно, чем их сюда заманили?

Цепляясь лохмотьями за колючки, они преодолели пролом в стене и оказались в затишье. На четырехугольной гладкой площади возвышалось низкое строение с рухнувшей крышей.

— Союз меча и гнева... — бормотал Изя, торопливо устремляясь к дверному проему. — То-то же я ни хрена не понимал, что это за союз... откуда здесь меч какой-то... Так разве сообразишь такое?..

В доме было полное запустение, полное и древнее. Вековое. Провалившиеся стропила перемешались с обломками сгнивших досок — остатков длинного, во всю длину дома, стола. Все было пыльное, трухлявое, истлевшее, а вдоль стены слева тянулись такие же пыльные трухлявые скамьи. Не переставая бормотать, Изя полез копаться в этой груде тлена, а Андрей выбрался наружу и пошел вокруг дома. Очень скоро он наткнулся на то, что было когда-то резервуаром — огромная круглая

яма, выложенная каменными плитами. Сейчас камни эти были сухие, как сама пустыня, но когда-то вода здесь, без сомнения, была: глина на краю ямы, твердая, как цемент, сохранила глубокие отпечатки обутых ног и собачьих лап. Худо дело, подумал Андрей. Былой ужас взял его за сердце и сейчас же отпустил: на противоположном конце ямы звездой распластались по глине широкие лохматые листья «женьшеня». Андрей трусцой побежал к ним вокруг ямы, на бегу нашаривая в кармане нож.

Несколько минут, пыхтя, обливаясь потом, он неистово ковырял ножом и ногтями окаменелую глину, отгребал крошки и снова ковырял, а потом, ухватившись обеими руками за толстое основание корня — холодное, сырое, мощное, — потянул сильно, но осторожно, так, чтобы, упаси бог, не обломилось бы где-нибудь посередине.

Корень был из больших — сантиметров семьдесят длиной, а толщиной в кулак, — белый, чистый, лоснящийся. Прижав его к щеке обеими руками, Андрей пошел к Изе, но по дороге не удержался — вгрызся в сочную хрусткую плоть, с наслаждением принялся жевать, стараясь не торопиться, стараясь разжевывать как можно тщательнее, чтобы не потерять зря ни единой капли этой восхитительной мятной горечи, от которой во рту и во всем теле становится свежо и прохладно, как в утреннем лесу, а голова делается ясной, и больше ничего не страшно, и можно сдвинуть горы...

Потом они сидели на пороге дома и радостно вгрызались, и хрустели, и чавкали, весело подмигивая друг другу с набитыми ртами, а ветер разочарованно выл у них над головами и не мог достать до них. Снова они его обманули — не дали поиграть костями на плешивой глине. Теперь снова можно было помериться силами.

Они выпили по два глотка из горячей канистры, впряглись в свои тележки и зашагали дальше. И идти теперь было легко, Изя не отставал больше, а вышагивал рядом, шлепая полуоторванной подметкой.

— Я там, между прочим, еще один кустик приметил, — сказал Андрей. — Маленький. На обратном пути...

— Зря, — сказал Изя. — Надо было сожрать.

— Мало тебе?

— А чего добру пропадать?

— Не пропадет, — сказал Андрей. — На обратном пути пригодится.

— Да не будет никакого обратного пути!

— Этого, брат, никто не знает, — сказал Андрей. — Ты мне лучше вот что скажи: вода еще будет?

Изя задрал голову и посмотрел на солнце.

— В зените, — сообщил он. — Или почти в зените. Ты как полагаешь,

господин астроном?

— Похоже.

— Скоро начнется самое интересное, — сказал Изя.

— Да что тут такого интересного может быть? Ну, перевалим мы через нулевую точку. Ну, пойдем к Антигороду...

— Откуда ты знаешь?

— Об Антигороде?

— Нет. Почему ты думаешь, что мы вот так просто перевалим и пойдем?

— Да ни хрена я об этом не думаю, — сказал Андрей. — Я о воде думаю.

— Господи, твоя воля! В нулевой точке — начало мира, ты понимаешь? А он — о воде!..

Андрей не ответил. Начался подъем на очередной бугор, идти стало трудно, постромки врезались в плечи. Хорошая штука «женьшень», подумал Андрей. Откуда мы о нем знаем?.. Пак рассказывал? Кажется... А, нет! Мымра как-то притащила в лагерь несколько корней и принялась поедать, а солдаты отобрали у нее и сами попробовали. Да. Все они потом ходили гоголем, а Мымру валяли всю ночь до утра... А Пак уже потом рассказывал, что этот «женьшень», как и настоящий женьшень, попадается очень редко. Он растет в тех местах, где когда-то была вода, и очень хорош при упадке сил. Только вот хранить его нельзя, есть надо немедленно, потому что через час или даже меньше корень вянет и становится чуть ли не ядовитым... Около Павильона было много этого «женьшеня», целый огород... Вот там мы его наелись от пуза, и все язвы у Изи прошли за одну ночь. Хорошо было у Павильона. А Изя все разглагольствовал там насчет здания культуры...

...Все прочее — это только строительные леса у стен храма, говорил он. Все лучшее, что придумало человечество за сто тысяч лет, все главное, что оно поняло и до чего додумалось, идет на этот храм. Через тысячелетия своей истории, воюя, голодая, впадая в рабство и восставая, жря и совокупляясь, несет человечество, само об этом не подозревая, этот храм на мутном гребне своей волны. Случается, оно вдруг замечает на себе этот храм, спохватывается и тогда либо принимается разносить этот храм по кирпичикам, либо судорожно поклоняться ему, либо строить другой храм, по соседству и в поношение, но никогда оно толком не понимает, с чем имеет дело, и, отчаявшись как-то применить храм тем или иным манером, очень скоро отвлекается на свои так называемые насущные нужды: начинает что-нибудь уже тридцать три раза деленное делить заново, кого-

нибудь распинать, кого-нибудь превозносить — а храм знай себе все растет и растет из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, и ни разрушить его, ни окончательно унизить невозможно... Самое забавное, говорил Изя, что каждый кирпичик этого храма, каждая вечная книга, каждая вечная мелодия, каждый неповторимый архитектурный силуэт несет в себе спрессованный опыт этого самого человечества, мысли его и мысли о нем, идеи о целях и противоречиях его существования; что каким бы он ни казался отдельным от всех сиюминутных интересов этого стада самоедных свиней, он, в то же время и всегда, неотделим от этого стада и немыслим без него... И еще забавно, говорил Изя, что храм этот никто, собственно, не строит сознательно. Его нельзя спланировать заранее на бумаге или в некоем гениальном мозгу, он растет сам собою, безошибочно вбирая в себя все лучшее, что порождает человеческая история... Ты, может быть, думаешь (спрашивал Изя язвительно), что сами непосредственные строители этого храма — не свиньи? Господи, да еще какие свиньи иногда! Вор и подлец Бенвенуто Челлини, беспробудный пьяница Хемингуэй, педераст Чайковский, шизофреник и черносотенец Достоевский, домушник и висельник Франсуа Вийон... Господи, да порядочные люди среди них скорее редкость! Но они, как коралловые полипы, не ведают, что творят. И все человечество — так же. Поколение за поколением жрут, наслаждаются, хищничают, убивают, дохнут — ан, глядишь, — целый коралловый атолл вырос, да какой прекрасный! Да какой прочный!.. Ну ладно, сказал ему Андрей. Ну — храм. Единственная непреходящая ценность. Ладно. А мы все тогда при чем? Я-то тогда здесь при чем?..

— Стой! — Изя схватил его за постромку. — Подожди. Камни.

Действительно, камни здесь были удобные — округлые, плоские, словно затвердевшие коровьи лепешки.

— Очередной храм возводить? — проговорил Андрей, ухмыляясь.

Он отбросил постромки, шагнул в сторону и подхватил ближайший камень. Камень был именно такой, какой требовался для фундамента, — снизу буграстый, колючий, сверху — гладкий, обточенный пылью и ветром. Андрей уложил его на сравнительно ровную россыпь мелкого щебня, втер его, двигая плечами, поглубже и попрочнее и пошел за следующим.

Выкладывая фундамент, он испытывал что-то вроде удовлетворения: как-никак, это была все-таки работа, не бессмысленные движения ногами, а дело, совершаемое с определенной целью. Можно было оспаривать эту цель, можно было объявить Изю психопатом и маньяком (каковым он, конечно, и был)... А можно было вот так, камень за камнем, выкладывать по возможности ровную площадку для фундамента.

Изя рядом пыхтел и кряхтел, ворочая самые большие камни, спотыкался, совсем отодрал подошву, а когда фундамент был готов, поскакал к своей тележке и извлек из-под тряпья очередной экземпляр своего «Путеводителя».

Когда в Хрустальном Дворце они окончательно поняли и почти поверили, что больше никогда и никого не встретят по пути на север, Изя засел за пишмашинку и со сверхъестественной быстротой написал «Путеводитель по бредовому миру». Потом он сам размножил этот «Путеводитель» на диковинном копировальном автомате (в Хрустальном Дворце было до черта самых разнообразных и удивительных автоматов), сам запаял все пятьдесят экземпляров в конверты из странного прозрачного и очень прочного материала под названием «полиэтиленовая пленка» и доверху загрузил свою тележку, едва оставив место для мешка с сухарями... А теперь вот этих конвертов осталось у него всего штук десять, а может быть, и меньше.

— Сколько их у тебя еще осталось? — спросил Андрей.

Изя, пристраивая конверт в центре фундамента, рассеянно ответил:

— А хрен его знает... Мало. Давай камни.

И они снова принялись таскать камни, и скоро над конвертом выросла пирамида метра в полтора высотой. Выглядела она в этой безлюдной пустыне довольно странно, но чтобы она выглядела еще более странно, Изя полил камни ядовито-красной краской из огромного тюбика, который нашел на складе под Башней. Потом он отошел к тележке, уселся и принялся приматывать оторвавшуюся подошву обрывком веревки. При этом он то и дело поглядывал на свою пирамиду, и на лице его сомнение и неуверенность сменялись постепенно удовлетворением и все нарастающей гордостью.

— А?! — сказал он Андрею, совершенно уже раздувшись и напыжась. — Даже полный дурак мимо не пройдет — сообразит, что это не зря...

— Ага, — сказал Андрей, присаживаясь рядом на корточки. — То-то тебе будет много пользы, что дурак эту пирамиду раскопает.

— Ничего, ничего, — проворчал Изя. — Дурак — тоже существо разумное. Сам не поймет — другим расскажет... — Он вдруг оживился. — Возьми, например, мифы! Как известно, дураков — подавляющее большинство, а это значит, что всякому интересному событию свидетелем был, как правило, именно дурак. Эрго: миф есть описание действительного события в восприятии дурака и в обработке поэта. А?!

Андрей не ответил. Он смотрел на пирамиду. Ветер осторожно подбирался к ней, неуверенно пылил вокруг, слабо посвистывал в щелях

между камнями, и Андрей вдруг очень ясно представил себе бесконечные километры, оставшиеся позади, и протянувшийся по этим километрам реденький пунктир таких вот пирамид, отданных ветру и времени... И еще он представил себе, как к этой вот пирамиде подползает на карачках иссушенный, словно мумия, путник, подыхающий от голода и жажды... как он неистово, из последних сил, обламывая ногти, ворочает и расталкивает эти камни, а воспаленное воображение уже рисует ему там, под камнями, тайник с едой и водой... У Андрея вырвался истерический смешок. Вот уж тут бы я обязательно застрелился. Невозможно такое перенести...

— Ты чего? — подозрительно спросил Изя.

— Ничего, ничего, все в порядке, — сказал Андрей и поднялся.

Изя тоже встал и некоторое время критически смотрел на пирамиду.

— Ничего смешного здесь нет! — объявил он. Он потопал ногой, обмотанной лохматой веревкой. — На первое время сойдет, — сообщил он. — Пошли?

— Пошли.

Андрей впрягся в тележку, а Изя все-таки не удержался и еще раз обошел вокруг своей пирамиды. Он явно тоже что-то представлял себе сейчас, какие-то картины, и картины эти льстили его натуре, он украдкой улыбался, потирал руки и шумно пыхтел в бороду.

— Ну и вид у тебя! — сказал Андрей, не удержавшись. — Ну прямо как у жабы. Навалил икры и теперь от гордости опомниться не можешь. Или как у кеты.

— Но-но! — сказал Изя, продевая руки в постромки. — Кета после этого дела подыхает...

— Вот именно, — сказал Андрей.

— Но-но! — грозно сказал Изя, и они двинулись дальше.

Потом Изя вдруг спросил:

— А ты кету едал?

— Навалом, — сказал Андрей. — Под водку знаешь как идет? Или бутерброды к чаю... А что?

— Так... — сказал Изя. — А вот мои дочки ее уже не пробовали.

— Дочки? — удивился Андрей. — У тебя есть дочки?

— Целых три, — сказал Изя. — И ни одна не знает, что такое кета. Я им объяснил, что кета и осетрина — это такие вымершие рыбы. Наподобие ихтиозавров. А они будут то же самое рассказывать своим детям про селедку...

Он говорил еще что-то, но Андрей, пораженный, его не слушал. Вот тебе и на! Три дочки! У Изи! Шесть лет я его знаю, и мне даже в голову не

приходило ничего подобного. Как же он тогда решился — сюда? Ай да Изя... Черт знает, какие люди на свете бывают... Нет, ребята, подумал он. Все правильно и все верно: никакой нормальный человек до этой пирамиды не доберется. Нормальный человек, как до Хрустального Дворца дойдет, так там на всю жизнь и останется. Видел я их там — нормальных людей... Хари от задницы не отличишь... Нет, ребята, если сюда кто-то и доберется, так только какой-нибудь Изя-номер-два... И как он раскопает эту пирамиду, как разорвет конверт, так сразу про все и забудет — так и умрет здесь, читаючи... Хотя, с другой стороны, меня ведь сюда занесло?.. Чего для? На Башне было хорошо. В Павильоне — и того лучше. А уж в Хрустальном Дворце... Как в Хрустальном Дворце, я никогда еще не жил и жить больше не буду... Ну хорошо — Изя. У него шило в жопе, ему на одном месте не сидится. А если бы не было со мной Изи — ушел бы я оттуда или остался? Вопрос!..

...Почему мы должны идти вперед? — спрашивал Изя на Плантации, а черномазые девчонки, гладкие, титястые, сидели рядом и смирно слушали нас. Почему мы все-таки и несмотря ни на что должны идти вперед? — разглагольствовал Изя, рассеянно поглаживая ближайшую по атласному колену. А потому, что позади у нас — либо смерть, либо скука, которая тоже есть смерть. Неужели тебе мало этого простого рассуждения? Ведь мы же первые, понимаешь ты это? Ведь ни один человек еще не прошел этого мира из конца в конец: от джунглей и болот — до самого нуля... А может быть, вообще вся эта затея только для того и затеяна, чтобы нашелся такой человек?.. Чтобы прошел он от и до?.. Зачем? — угрюмо спрашивал Андрей. Откуда я знаю — зачем? — возмущался Изя. А зачем строится храм? Ясно, что храм — это единственная видимая цель, а зачем — это некорректный вопрос. У человека должна быть цель, он без цели не умеет, на то ему и разум дан. Если цели у него нет, он ее придумывает... Вот и ты придумал, сказал Андрей, непременно тебе нужно пройти от и до. Подумаешь — цель!.. Я ее не придумывал, сказал Изя, она у меня одна-единственная. Мне выбирать не из чего. Либо цель, либо бесцельность — вот как у нас с тобой дела обстоят... А чего же ты мне голову забиваешь своим храмом, сказал Андрей, храм-то твой здесь при чем?.. Очень даже при чем, с удовольствием, словно только того и ждал, парировал Изя, храм, дорогой ты мой Андрюшечка, это не только вечные книги, не только вечная музыка. Этак у нас получится, что храм начали строить только после Гутенберга или, как вас учили, после Ивана Федорова. Нет, голубчик, храм строится еще и из поступков. Если угодно, храм поступками цементируется, держится ими, стоит на них. С поступков все началось.

Сначала поступок, потом — легенда, а уже только потом — все остальное. Натурально, имеется в виду поступок необыкновенный, не лезущий в рамки, необъяснимый, если угодно. Вот ведь с чего храм-то начинался — с нетривиального поступка!.. С героического, короче говоря, заметил Андрей, презрительно усмехаясь. Ну, пусть так, пусть с героического, снисходительно согласился Изя. То есть ты у нас получаешься герой, сказал Андрей, в герои, значит, рвешься. Синдбад-Мореход и могучий Улисс... А ты дурачок, сказал Изя. Ласково сказал, без всякого намерения оскорбить. Уверяю тебя, дружок, что Улисс не рвался в герои. Он просто БЫЛ героем — натура у него была такая, не мог он иначе. Ты вот не можешь говно есть — тошнит, а ему тошно было сидеть царьком в занюханной своей Итаке. Я ведь вижу, ты меня жалеешь — маньяк, мол, психованный... Вижу, вижу. А тебе жалеть меня не надо. Тебе завидовать мне надо. Потому что я знаю совершенно точно: что храм строится, что ничего серьезного, кроме этого, в истории не происходит, что в жизни у меня только одна задача — храм этот оберегать и богатства его приумножать. Я, конечно, не Гомер и не Пушкин — кирпич в стену мне не заложить. Но я — Кацман! И храм этот — во мне, а значит, и я — часть храма, значит, с моим осознанием себя храм увеличился еще на одну человеческую душу. И это уже прекрасно. Пусть я даже ни крошки не вложу в стену... Хотя я, конечно, постараюсь вложить, уж будь уверен. Это будет наверняка очень маленькая крупинка, хуже того — крупинка эта со временем, может быть, просто отвалится, не пригодится для храма, но в любом случае я знаю: храм во мне был и был крепок и мною тоже... Ничего я этого не понимаю, сказал Андрей. Путано излагаешь. Религия какая-то: храм, дух... Ну еще бы, сказал Изя, раз это не бутылка водки и не полуторный матрас, значит, это обязательно религия. Что ты ерепенишься? Ты же сам мне все уши прогундел, что потерял вот почву под ногами, что висишь в безвоздушном пространстве... Правильно, висишь. Так и должно было с тобой случиться. Со всяким мало-мальски мыслящим человеком это в конце концов случается... Так вот я и даю тебе почву. Самую твердую, какая только может быть. Хочешь — становись обеими ногами, не хочешь — иди к херам! Но уж тогда не гунди!.. Ты мне не почву подсовываешь, сказал Андрей, ты мне облако какое-то бесформенное подсовываешь! Ну ладно. Ну, пусть я все понял про твой храм. Только мне-то что от этого? В строители твоего храма я не гожусь — тоже, прямо скажем, не Гомер... Но у тебя-то храм хоть в душе есть, ты без него не можешь — я же вижу, как ты по миру бегаешь, что твой молодой щенок, ко всему жадно принюхиваешься, что ни попадется — облизываешь или пробуешь на зуб! Я вот вижу, как ты читаешь. Ты можешь двадцать

четыре часа в сутки читать... и, между прочим, все при этом запоминаешь... А я ничего этого не могу. Читать — люблю, но в меру все-таки. Музыку слушать — пожалуйста. Очень люблю слушать музыку. Но тоже не двадцать же четыре часа! И память у меня самая обыкновенная — не могу я ее обогатить всеми сокровищами, которые накопило человечество... Даже если бы я только этим и занимался — все равно не могу. В одно ухо у меня залетает, из другого выскакивает. Так что мне теперь от твоего храма?.. Ну правильно, ну верно, сказал Изя. Я же не спорю. Храм — это же не всякому дано... Я же не спорю, что это достояние меньшинства, дело натуры человеческой... Но ты послушай. Я тебе сейчас расскажу, как мне это представляется. У храма есть (Изя принялся загибать пальцы) строители. Это те, кто его возводит. Затем, скажем, м-м-м... тьфу, черт, слово не подберу, лезет все религиозная терминология... Ну ладно, пускай — жрецы. Это те, кто носит его в себе. Те, через души которых он растет и в душах которых существует... И есть потребители — те, кто, так сказать, вкушает от него... Так вот Пушкин — это строитель. Я — это жрец. А ты — потребитель... И не кривись, дурак! Это же очень здорово! Ведь храм без потребителя был бы вообще лишен человеческого смысла. Ты, балда, подумай, как тебе повезло! Ведь это же нужны годы и годы специальной обработки, промывания мозгов, хитроумнейшие системы обмана, чтобы подвигнуть тебя, потребителя, на разрушение храма... А уж такого, каким ты стал теперь, и вообще нельзя на такое дело толкнуть, разве что под угрозой смерти!.. Ты подумай, сундук ты с клопами, ведь такие, как ты, — это же тоже малейшее меньшинство! Большинству ведь только мигни, разреши только — с гиком пойдут крушить ломами, факелами пойдут жечь... было уже такое, неоднократно было! И будет, наверное, еще не раз... А ты жалуешься! Да ведь если вообще можно ставить вопрос: для чего храм? — ответ будет один-единственный: для тебя!..

— Андрюх! — позвал Изя знакомым противным голосом. — А может, хватанем?

Они были на самой верхушке здоровенного бугра. Слева, где обрыв, все было затянуто сплошной мутной пеленой бешено несущейся пыли, а справа почему-то прояснело, и видна была Желтая Стена — не ровная и гладкая, как в пределах Города, а вся в могучих складках и морщинах, словно кора чудовищного дерева. Внизу впереди начиналось ровное, как стол, белое каменное поле — не щебенка, а цельный камень, сплошной монолит, — и тянулось это поле, на сколько хватал глаз, и покачивались над ним в полукилометре от бугра два тощих смерча — один желтый, другой черный...

— Это что-то новенькое, — сказал Андрей, прищурившись. — Смотри-ка — сплошной камень...

— А? Да, пожалуй... Слушай, давай по стаканчику — четыре часа уже...

— Давай, — согласился Андрей. — Только спустимся сначала.

Они спустились с бугра, освободились от постромок, и Андрей потащил из своей коляски раскаленную канистру. Канистра зацепилась за ремень автомата, потом за мешок с остатками сухарной крошки, но Андрей все-таки выволок ее и, зажав между колен, откупорил. Изя приплясывал рядом, держа наготове две пластмассовые кружки.

— Соль достань, — сказал Андрей.

Изя сразу перестал плясать.

— Да брось ты... — заныл он. — Зачем? Давай так дернем...

— Без соли не получишь, — сказал Андрей утомленно.

— Тогда давай так, — сказал Изя, осененный новой мыслью. Он уже поставил кружки на камень и рылся в своей коляске. — Тогда давай я свою соль просто так съем, а потом водой запью.

— Господи, — сказал пораженный Андрей. — Ну, ладно, давай так.

Он разлил по половине кружки горячей, пахнущей железом воды, принял у Изи пакетик с солью и сказал:

— Давай язык.

Он высыпал щепотку соли на толстый обложенный Изин язык и смотрел, как Изя морщится, давится, жадно протягивая руку к кружке, а потом подсолил свою воду и стал ее пить маленькими скупыми глотками, не испытывая никакого удовольствия, как лекарство.

— Хорошо! — сказал Изя, крякнув. — Только мало. А?

Андрей кивнул. Выпитая вода сразу же выступила потом, и во рту осталось все, как было, без малейшего облегчения. Он приподнял канистру, прикидывая. На пару дней, наверное, еще хватит, а потом... А потом еще что-нибудь найдется, сказал он себе со злостью. Эксперимент есть Эксперимент. Жить не дадут, но и подохнуть — тоже... Он бросил взгляд на белое, пышущее жаром плато, расстилавшееся впереди, покусал сухую губу и принялся устанавливать канистру обратно в коляску. Изя, присев, опять перебинтовывал свою подошву.

— А ты знаешь, — пропыхтел он, — и в самом деле какое-то странное место... Что-то я такого даже не припомню... — Он поглядел на солнце, прикрывшись ладонью. — В зените, — сказал он. — Ей-богу, в зените. Что-то будет... Да выброси ты к черту эту железяку, что ты с ней возишься?!

Андрей аккуратно пристраивал автомат около канистры.

— Без этой железяки мы бы за Павильоном костей бы с тобой не собрали, — напомнил он.

— Так то — за Павильоном! — возразил Изя. — С тех пор мы с тобой уже пятую неделю идем, и даже мух не видно...

— Ладно, — сказал Андрей. — Не тебе тащить... Пошли.

Каменное плато оказалось на удивление гладким. Коляски катились по нему как по асфальту — только колесики повизгивали. Но жара стала еще страшнее. Белый камень швырял солнце обратно, и глазам теперь не было никакого спасения. Пятки жгло, будто башмаков не было вовсе, а вот пыли, как это ни странно, нисколько не уменьшилось. Если уж мы здесь не загнемся, думал Андрей, тогда — жить нам вечно... Он шел сильно сощурившись, а потом закрыл глаза совсем. Стало немного легче. Так вот я и пойду, подумал он. А глаза буду открывать через каждые, скажем, двадцать шагов. Или через тридцать... Гляну — и дальше...

Из очень похожего белого камня был выложен подвал Башни. Только там было прохладно и полутемно, а вдоль стен стояли во множестве ящики толстого картона, набитые почему-то разным скобяным товаром. Здесь были гвозди, шурупы, болты любых размеров, банки с клеями и красками, бутылки с разноцветными лаками, столярный и слесарный инструмент, завернутые в промасленную бумагу шарикоподшипники... Съестного не нашлось ничего, но в углу из обрезка ржавой трубы, торчащего в стене, текла и уходила под землю тонкая струйка холодной невероятно вкусной воды...

...Все в твоей системе хорошо, — сказал Андрей, в двадцатый раз подставляя кружку под струю. — Одно мне не нравится. Не люблю я, когда людей делят на важных и неважных. Неправильно это. Гнусно. Стоит храм, а вокруг него быдло бессмысленное кишит. «Человек есть душонка, обремененная трупом!» Пусть даже оно на самом деле так и есть. Все равно это неправильно. Менять это надо к чертовой матери...

...А я разве говорю, что не надо? — вскинулся Изя. — Конечно, хорошо бы было этот порядочек переменить. Только как? До сих пор все попытки изменить это положение, сделать человеческое поле ровным, всех поставить на один уровень, чтобы было все правильно и справедливо, все эти попытки кончались уничтожением храма, чтобы не возвышался, да отрубанием торчащих над общим уровнем голов. И все. И над выровненным полем быстро-быстро, как раковая опухоль, начинала расти зловонная пирамида новой политической элиты, еще более омерзительной, чем старая... А других путей, знаешь ли, пока не придумано. Конечно, все эти эксцессы хода истории не меняли и храма полностью уничтожить не

могли, но светлых голов было порублено предостаточно.

...Знаю, — сказал Андрей. — Все равно. Все равно мерзко. Всякая элита — это гнусно...

...Ну, извини! — возразил Изя. — Вот если бы ты сказал: «всякая элита, владеющая судьбами и жизнями других людей, — это гнусно», — вот тут я бы с тобой согласился. А элита в себе, элита для себя самой — кому она мешает? Она раздражает — до бешенства, до неистовства! — это другое дело, но ведь раздражать — это одна из ее функций... А полное равенство — это же болото, застой. Спасибо надо сказать матушке-природе, что такого быть не может — полного равенства... Ты меня пойми, Андрей, я ведь не предлагаю систему переустройства мира. Я такой системы не знаю, да и не верю, что она существует. Слишком много всяких систем было испробовано, а все осталось в общем по-прежнему... Я предлагаю всего только цель существования... тьфу, да и не предлагаю даже, запутал ты меня. Я открыл в себе и для себя эту цель — цель моего существования, понимаешь? Моего и мне подобных... Я ведь и говорю-то об этом только с тобой и только теперь, потому что мне жалко стало тебя — вижу, что созрел человек, сжег все, чему поклонялся, а чему теперь поклоняться — не знает. А ты ведь без поклонения не можешь, ты это с молоком матери всосал — необходимость поклонения чему-нибудь или кому-нибудь. Тебе же навсегда вдолбили в голову, что ежели нет идеи, за которую стоит умереть, то тогда и жить не стоит вовсе. А ведь такие как ты, добравшись до окончательного понимания, на страшные вещи способны. Либо он пустит себе пулю в лоб, либо подлецом сверхъестественным заделается — убежденным подлецом, принципиальным, бескорыстным подлецом, понимаешь?.. Либо и того хуже: начнет мстить миру за то, что мир таков, каков он есть в действительности, а не согласуется с каким-нибудь там предначертанным идеалом... А идея храма, между прочим, хороша еще и тем, что умирать за нее просто-таки противопоказано. За нее жить надо. Каждый день жить, изо всех сил и на всю катушку...

...Да, наверное, — сказал Андрей. — Наверное, все это так и есть. И все-таки эта идея еще не моя!..

Андрей остановился и крепко взял Изю за рукав. Изя тотчас же открыл глаза и спросил испуганно:

— Что? Что такое?

— Помолчи, — сказал Андрей сквозь зубы.

Что-то там было впереди. Что-то двигалось — не крутилось столбом, не стелилось над самым камнем, а двигалось сквозь все это. Навстречу.

— Люди, — сказал Изя с восторгом. — Слушай, Андрюха, люди!

— Тихо, скотина, — шепотом сказал Андрей.

Он и сам уже понял, что это люди. Или человек... Нет, кажется, двое. Стоят. Наверное, тоже заметили... Опять ни черта не видно за проклятой пылью.

— Ну вот! — сказал Изя торжествующим шепотом. — А ты все стонал — подохнем...

Андрей осторожно сбросил лямки и попятился к своей коляске, не сводя глаз с неразборчивых теней впереди. Ч-черт, сколько их там все-таки? И сколько до них отсюда? Метров сто, что ли? Или меньше?.. Он ощупью нашарил в коляске автомат, оттянул затвор и сказал Изе:

— Сдвинь тележки, ложись за них. Прикроешь меня, если что...

Он сунул Изе автомат и, не оборачиваясь, медленно пошел вперед, положив руку на кобуру. Видно было отвратительно. Пристрелит он меня, подумал он об Изе. Прямо в затылок засадит...

Теперь можно было различить, что один из тех тоже идет навстречу — смутный долговязый силуэт в крутящейся пыли. Есть у него оружие или нет? Вот тебе и Антигород. Кто бы мог подумать?.. Ох, не нравится мне, как он руку свою держит!.. Андрей осторожно расстегнул кобуру и взялся за рубчатую рукоятку. Большой палец сам лег на предохранитель. Ничего, все обойдется. Должно обойтись. Главное — не делать резких движений...

Он потянул пистолет из кобуры. Пистолет зацепился. Стало страшно. Он дернул сильнее, потом еще сильнее, потом изо всех сил. Он ясно увидел резкое движение того, что шел ему навстречу (рослый, ободранный, изможденный, до глаз заросший нечистой бородой)... Глупо, подумал он, нажимая спусковой крючок. Был выстрел, была вспышка встречного выстрела, был — кажется — крик Изи... И был удар в грудь, от которого разом погасло солнце...

— Ну, вот, Андрей, — произнес с некоторой торжественностью голос Наставника. — Первый круг вами пройден.

Лампа под зеленым стеклянным абажуром была включена, и на столе в круге света лежала свежая «Ленинградская правда» с большой передовой под названием: «Любовь ленинградцев к товарищу Сталину безгранична». Гудел и бормотал приемник на этажерке за спиной. Мама на кухне побрякивала посудой и разговаривала с соседкой. Пахло жареной рыбой. Во дворе-колодце за окном вопили и галдели ребятишки, шла игра в прятки. Через раскрытую форточку тянуло влажным оттепельным воздухом. Еще минуту назад все это было совсем не таким, как сейчас, — гораздо более обыденным и привычным. Оно было без будущего. Вернее

— отдельно от будущего...

Андрей бесцельно разгладил газету и сказал:

— Первый? А почему — первый?

— Потому что их еще много впереди, — произнес голос Наставника.

Тогда Андрей, стараясь не смотреть в ту сторону, откуда доносился голос, поднялся и прислонился плечом к шкафу у окна. Черный колодец двора, слабо освещенный желтыми прямоугольниками окон, был под ним и над ним, а где-то далеко наверху, в совсем уже потемневшем небе горела Вега. Совершенно невозможно было покинуть все это снова, и совершенно — еще более! — невозможно было остаться среди всего этого. Теперь. После всего.

— Изя! Изя! — пронзительно прокричал женский голос в колодце. — Изя, иди уже ужинать!.. Дети, вы не видели Изю?

И детские голоса внизу закричали:

— Иська! Кацман! Иди, тебя матка зовет!..

Андрей, весь напрягшись, сунулся лицом к самому стеклу, всматриваясь в темноту. Но он увидел только неразборчивые тени, шныряющие по мокрому черному дну колодца между громоздящимися поленницами дров.

ПОВЕСТЬ О ДРУЖБЕ И НЕДРУЖБЕ

Ровно в девятнадцать ноль-ноль тридцать первого декабря прошлого года Андрей Т. лежал в постели и с покорной горечью размышлял о прошлом, настоящем и будущем. Как легко подсчитать, до Нового года оставалось всего пять часов, но никаких радостей это обстоятельство Андрею Т. не сулило, ибо он не просто лежал (смешно думать, что ему вдруг захотелось в последние часы Старого года поваляться под одеялом), а соблюдал постельный режим: горло его было завязано и болело.

Андрей Т. лежал в постели и с покорной горечью раздумывал о том, какой он все-таки невезучий человек. Весь его огромный опыт, накопленный за четырнадцать лет жизни, свидетельствовал об этом с прямо-таки болезненной несомненностью.

Например, стоило человеку по какой-либо причине (пусть даже неуважительной, не в этом дело) не выучить географии, как его неумолимо вызывали отвечать -- со всеми вытекающими отсюда последствиями. Стоило человеку забраться в стол к старшему брату-студенту (совершенно случайно, ничего дурного не имея в виду), как там оказывалась наводящая изумление японская электронная машинка, которая тут же незамедлительно выскакивала из рук и с треском падала на пол. Опять же с вытекающими последствиями. Стоило человеку проесть с трудом обретенный рубль на мороженом (сливочный, шоколадный и фруктовый шарик в соответствующем сиропе), как буквально в двух шагах от кафе обнаруживался книгоноша, распродающий последние экземпляры "Зарубежного детектива".

Да, удачи не было. Удача кончилась три года назад, когда человеку подарили ко дню рождения лотерейный билет и он выиграл на этот билет будильник.

Однако даже невезенье должно иметь какие-то пределы. Заболеть ангиной за несколько часов до Нового года -- это уже не просто невезенье. Это уже судьба. Рок.

Закон бутерброда, сказал папа. Очень может быть. Папа нередко высказывает вполне здравые мысли. Насчет закона бутерброда он впервые высказался еще на заре времен, года три назад. Андрей Т. решил тогда, что бутерброд в данном случае является именем крупного немецкого ученого и пишется через два "т". Он даже вписал этого Буттерброда в кроссворд вместо Гейзенберга, чем повергнул старшего брата в неописуемое и

оскорбительное веселье. Много воды утекло с тех пор, и много бутербродов вывалилось из рук на пол, на тротуар и просто на сырую землю, прежде чем Великий Закон утвердился в сознании Андрея Т. во всей своей непреклонной определенности: бутерброд всегда падает маслом (ветчиной, сыром, вареньем) вниз, и нет от этого спасенья.

Нет от этого спасенья.

Если человек дал Милке Пономаревой списать контрольную, человеку ставят "банан" за то, что он списал контрольную у Милки.

Если человек тихо и никому не мешая пристроился к телевизору насладиться одним из семнадцати мгновений весны, человека поднимают, напяливают на него смирительный парадный костюм и ведут на именины к бабушке Варе, которая не держит телевизора из принципа.

И уж если человек, изнемогший от географии и литературы, взлелеял в душе чистую мечту провести праздник Нового года и заслуженные каникулы в Грибановской караулке -- все, пиши пропало, человека поражает фолликулярная ангина, и пусть он еще спасибо скажет, что это не чума, не проказа и не стригущий лишай...

В девятнадцать ноль пять с целью выяснить, не изменилось ли положение к лучшему, Андрей Т. произвел экспериментальный глоток всухую. Положение не изменилось, горло болело. Зря, выходит, поедал он отвратительные горькие порошки, полоскал многострадальные голосовые связки мерзкими растворами, терпел на шее колючую шерстяную повязку. Может быть, маме следовало послушаться бабушку Варю и обложить шею очищенными селедками? В глубине души Андрей Т. знал, что и эта крайняя и варварская мера не привела бы ни к чему. Пропала новогодняя ночь, пропали каникулы, пропало все то, ради чего он жил и работал последний месяц второй четверти. Сознавать это было столь невыносимо, что Андрей Т. повернулся на спину и разрешил себе испустить негромкий стон. Это был стон мужественного человека, попавшего в западню. Стон обреченного звездолетчика, падающего в своем разбитом корабле в черные пучины пространства, откуда не возвращаются. Словом, это был душераздирающий стон.

А папа и мама находились уже, вероятно, на месте, в окрестностях Грибановской караулки, где так удивительно отсвечивают в отблесках костра пушистые сугробы, где отягощенные снегом лапы огромных елей и сосен отбрасывают таинственные тени, где можно рыть тоннели в снегу, носиться по лесу, издавая воинственные кличи, а потом, забравшись на печку, слушать смех и споры взрослых и песни старшего брата-студента под гитару...

Впрочем, справедливости ради следует отметить, что скоропостижная ангина у Андрея Т. едва не нарушила эту традиционную семейную вылазку. Поперевоначалу мама решительно высказалась в том смысле, что раз так, то она, мама, останется с Андрюшенькой и ни в какую Грибановскую караулку не поедет. Сейчас же, не желая уступать ей в великодушии, в том же смысле высказался и папа. И даже брат-студент, совершенно лишенный родственных чувств, особенно когда это касалось малокалиберной винтовки, двенадцатикратного бинокля и упоминавшейся уже японской вычислительной машинки, и тот вызвался провести новогоднюю ночь "у скорбного одра", как он выразился, имея в виду, вероятно, постель больного. Положение спас дедушка. Узнав в последнюю минуту о неприятности, он явился и выгнал всех из дому, после чего подмигнул Андрею Т. и устроился в соседней комнате шелестеть газетами и мурлыкать себе под нос "Ой на гори тай жнецы жнуть...". Авторитетный человек дедушка, подполковник в отставке и депутат, но многого не понимает.

В девятнадцать ноль восемь Андрей Т. произвел второй экспериментальный глоток всухую. Положение оставалось прежним. Тогда Андрей Т. спустил ноги с кровати, нашарил тапочки и потащился в ванную полоскать предательское горло раствором календулы в теплой воде. Задрав голову и уставив в потолок бессмысленный взгляд, клокоча и булькая, он продолжал размышлять. Собственно, что такое мужество? Мужество -- это когда человек не сдается. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Когда у человека ангина, бороться и искать невозможно и остается одно: не сдаваться. Например, можно послушать приемник. Можно тщательно и со вкусом перелистать альбом с марками. Есть новенький сборник научной фантастики. Есть старенький томик "Трех мушкетеров". На худой конец, есть кот Мурзила, которого давно пора потренировать на вратаря. Нет, мужественный человек, даже больной до беспомощности, всегда найдет себе применение. Кстати, дедушка до сих пор не обучен играть в "балду".

Мир немного посветлел. Андрей Т. поставил пустой стакан на полку и вышел в прихожую. А выйдя в прихожую, он увидел на столике под зеркалом телефон. А увидев телефон, он остановился как громом пораженный. Просто непостижимо, что такая простая вещь не пришла ему в голову раньше. Старый верный друг Генка -- вот кто ему нужен! Конечно, он тоже ничем не поможет, но с ним можно говорить как равный с равным, сдержанномужест-венно посетовать на судьбу и услышать в ответ сдержанно-мужественные слова утешения и участия. Андрей Т. схватил трубку и набрал номер.

Подошел сам Генка-Абрикос, шумно выразил радость и спросил, как там у них в Грибановской караулке. Андрей Т. ответил, что ни в какой он не в Грибановской караулке, а дома, и сдержанно-мужественным голосом поведал другу о своей фолликулярной ангине и о своем одиночестве. После этого Генка-Абрикос тридцать секунд молчал, соображая, и вдруг сказал:

-- Не тушуйся, старик. Не пропадем. Ровно в девять буду у тебя. Погоняем в автодром и вообще.

У Андрея Т. на миг даже сперло дыхание.

-- Что? -- спросил он растерянно.

-- Жди меня ровно в девять, -- сдержанно-мужественным тоном произнес друг Генка по прозвищу Абрикос. -- Привет.

И в трубке запищали короткие гудки.

Мир не просто посветлел. Мир засиял. Андрей Т. представил себе, как Генка вваливается в эту вот дверь -- огромный, толстощекий, с автодромом под мышкой и пахнущий праздничными мандаринами и морозом, и как он бубнит, раздеваясь: "Не отпускали нипочем, а я им говорю: а ну вас к лешему совсем, говорю, там Андрюха лежит бездыханный, а вы меня держите..." Да. Генка. Верный друг. Абрикос. Андрей Т. осторожно передохнул, положил трубку и помигал, потому что у него подозрительно защипало глаза. Друг. Да.

Он вернулся в постель и забрался под одеяло. Собственно, особенно удивляться или умиляться здесь нечего. Настоящая мужская дружба превыше всего. Сам Андрей Т. тоже не колебался бы ни минуты, а уж Генка и подавно. Он ведь человек действия, Генка-Абрикос, он идет на помощь другу, не задумываясь. Как-то весенним вечером компания недорезанных басмачей из соседней школы окружила Андрея на темной окраине парка Победы и после краткого выяснения, кто есть кто, принялась не больно, но унизительно лупить его сумками со спортивным барахлом. И тут появился Генка-Абрикос. Он ворвался в круг, разя направо и налево своими чудовищными граблями, и противник пришел в замешательство. Правда, в конце концов обработали их обоих основательно, но отступили они хоть и в беспорядке, однако с честью. Такое не забывается...

И Андрей Т. весело крикнул:

-- Дедушка! Иди сюда, мне одному скучно!..

Было девятнадцать часов двадцать одна минута.

В двадцать сорок семь, когда Андрей Т., рассеянно вертя в пальцах плененную ладью, раздумывал над очередным ходом, дедушка в кресле расслабился, поник седой головой и негромко захрапел. Андрей Т. поглядел

на него, откинулся на подушки и стал ждать. Несомненно, Генка-Абрикос должен был явиться с минуты на минуту.

В двадцать один тридцать четыре Андрей Т. поднялся и на цыпочках направился в ванную. Друга Генки все еще не было. Покончив с раствором календулы, Андрей Т. в задумчивости поглядел на телефон, но сдержался и снова вернулся в постель. "Мало ли что..." -- туманно подумалось ему.

В двадцать один пятьдесят три Андрей Т. отшвырнул сборник научной фантастики и сел, обхватив колени руками. Дедушка спал в кресле напротив, закинув голову и явственно похрапывая. Кот Мурзила в позе Багиры, Черной Пантеры, предавался дреме на бездействующем телевизоре. На табуретке возле кровати безмолвствовал Андреев любимец и мученик, радиоприемник второго класса "Спидола" -- он же Спиха, он же Спиридон, он же Спидлец этакий, в зависимости от состояния эфира и настроения. А Геннадий М. по прозвищу Абрикос так и не пришел.

Андрей Т. мрачно нахмурился. Ему было неудобно, неприятно, тревожно. Саднило горло. Свет в комнате то притухал, то разгорался до ослепительного блеска. Чтобы рассеяться, Андрей взял Спиху и повернул верньер до щелчка. Зашуршала несущая частота, пробилась какая-то неясная музыка. И вдруг послышался знакомый голос. Явственный, хотя и слегка придушенный голос Генки-Абрикоса отчетливо произнес:

-- Андрюха... Андрюха... Ты меня слышишь?.. Андрюха... Пропадаю, старик... На помощь...

Андрей Т. распрямился, как стальная пружина. Он в смятении огляделся. Он затряс головой. Он сделал глоток всухую и не почувствовал боли. Сомнений не было. Шуршала несущая частота, и Спидлец монотонно раз за разом повторял голосом Генки-Абрикоса:

-- Ты меня слышишь?.. Андрюха... Андрюха... На помощь, старик, пропадаю... Андрюха... Ты меня слышишь?..

Не надо скрывать: Андрей Т. растерялся. Да и кто бы не растерялся на его месте? Каким это таким образом Генку-Абрикоса вдруг занесло в мировой эфир? Что с ним случилось? Где он находится? Не сводя глаз со шкалы диапазонов, Андрей Т. робко осведомился:

-- Генка, ты где?

Спиридон все продолжал взывать к нему о помощи голосом ГенкиАбри-коса, но тут что-то произошло со шкалой диапазонов. Она озарилась зеленоватым мерцающим сиянием и превратилась в дисплей, как на японской вычислительной машинке старшего брата, а по дисплею побежали справа налево светящиеся слова. Андрей читал, обмирая: ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИ НЕОБХОДИМО УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ ХОД НА

КУХНЕ У ХОЛОДИЛЬНИКА ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИ НЕОБХОДИМО УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ ХОД НА КУХНЕ У ХОЛОДИЛЬНИКА ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИ...

Дзынь! Все исчезло, погасли бегущие слова, шкала снова стала шкалой, и монотонный голос Генки-Абрикоса оборвался на полуслове.

-- Так! -- громко произнес Андрей Т. -- Вот оно, значит, что!

Собственно, он по-прежнему понимал мало. Ясно было только, что старый верный друг Генка попал в какую-то непостижимую беду, что поспеть к нему на помощь требуется до полуночи и... Что это там было насчет какого-то хода у холодильника? Никакого хода у холодильника нет, а есть там по сторонам холодильника два белых кухонных шкафчика. И если даже ход этот есть, то вести он должен в лучшем случае прямо в морозное вечернее пространство на высоте пятого этажа. Да, было о чем подумать и было что взвесить, и Андрей Т. принялся обдумывать и взвешивать, как вдруг Спиха тихонько, но необыкновенно явственно сыграл начальные такты старой славной песенки:

К другу на помощь! Вызволить друга
Из кабалы и тюрьмы!..

И Андрея Т. мгновенно бросило в жар. Генка-Абрикос не обдумывал и не взвешивал тогда весной в темных аллеях парка Победы. Не обдумывал и не взвешивал, когда узнал о фолликулярной ангине и одиночестве два часа назад... Андрей Т. взглянул на светящийся циферблат над головой. Черные стрелки показывали двадцать два часа одиннадцать минут. Андрей Т. огляделся. Дедушка мирно похрапывал в своем кресле, покойно сложив на животе руки. Кот Мурзила на телевизоре, не поднимая головы, медленно распахнул свои глазища, сверкнувшие зеленым. Андрей Т. решительно спустил ноги с кровати.

Стараясь двигаться по возможности бесшумно, он облачился в тренировочный костюм, весьма кстати висевший тут же на спинке стула, и пробрался в прихожую. Несомненно, предстояла экспедиция, и подготовиться следовало тщательно. Андрей Т. натянул шерстяные носки и обулся в зимние ботинки. Затем он надел лыжную куртку, застегнул "молнию" до повязки на горле и подхватил в качестве оружия складной металлический штатив для фотоаппарата, тяжелый и прикладистый, как дубина былинного витязя. Прикидывая боевой штатив в правой руке, он не без удивления обнаружил в левой любимую "Спидолу". Это было довольно

странно: откуда взялся приемник в левой руке, которой он только что застегивал "молнию"? И коли уж на то пошло, откуда здесь взялся этот штатив? Это же не наш штатив, у нас нет штатива, у нас никогда не было никакого штатива... Но времени удивляться и размышлять не было, настала минута действия. Двадцать первая минута одиннадцатого.

Ход у холодильника Андрей Т. увидел прямо с порога кухни. Оказывается, кухонный шкафчик справа от холодильника примыкал к нему не вплотную, а отстоял от него сантиметров на сорок, и в стене между ними красовалась прямоугольная зияющая дыра в рост невысокого человека. И дыра эта являла вид настолько непривлекательный, что Андрей Т. в нерешительности остановился. Ему представились скользкие выщербленные ступени, ведущие в зловонное подземелье, ржавые крючья в стенах, норовящие угодить в глаз, и еще какие-то серые, мохнатые, копошащиеся, с горящими красноватыми глазками...

Андрей Т. никогда не был трусом. Просто иногда он ратовал за разумную осторожность. Вот и сейчас он отчетливо понял, что минута действия временно прекратила течение свое и уступила место минуте здравого смысла. Перед нами как будто подземелье? Отлично. В таком случае не следует ли заняться сначала изготовлением смоляного факела? Не следует ли сменить зимние ботинки на болотные, скажем, сапоги? И вообще, не пора ли вовлечь в события дедушку, боевого офицера, имеющего, кстати, опыт преследования врага в тоннелях берлинского метро? Или еще лучше -позвонить замечательному человеку, классному руководителю Константину Павловичу, бывшему танкисту и кавалеру ордена Славы...

Известно, что есть лишь один способ делать дело и множество способов от дела уклоняться, так что трудно сказать, как бы все обернулось в дальнейшем, но тут Спиха, Спидлец этакий, вновь тихонько проиграл начальные такты славной мушкетерской песенки. И Андрея Т. вновь бросило в жар. С пронзительной откровенностью признался он самому себе, что и сапоги болотные резиновые, и факелы смоляные коптящие, и всякие иные причиндалы, могущие еще прийти ему в голову, есть не что иное, как чушь несусветная и отговорки. Что стыдно ему, здоровенному (пусть даже слегка больному) парню прятаться за спину ветеранов Великой Войны. И что вообще топтаться без толку между холодильником и кухонным шкафчиком в то время, как друг Генка погибает и ждет помощи, попросту постыдно. И он ринулся вперед и нырнул в зияющую дыру.

Он был приятно разочарован. Не оказалось там ни осклизлых ступеней, ни ржавых крючьев, ни снующих крыс. Оказался там длинный

коридор казенного вида, тускло освещенный пыльными лампами под жестяными абажурами с отбитой эмалью. Пахло канцелярией, на оштукатуренных стенах мотались под сквозняком прикнопленные бумажки с выцветшими машинописными текстами. Бросался в глаза странный призыв: "Тов. пенсионеры! Просьба не курить, не сорить и не шуметь!" Справа и слева вдоль коридора тянулись ряды обшарпанных дверей с темными пятнами возле ручек, и каждую дверь украшала надпись, как правило грозная и в повелительном наклонении: "Не стучать!", "Не зевать по сторонам!", "Не сметь!" и даже "Миновать быстро и не оглядываться!".

Андрей Т. шел медленно, машинально читал надписи и думал, за какой дверью надо искать Генку, и вдруг ему пришло в голову, что ведь совершенно непонятно, куда ведет этот коридор, -- по всем расчетам он должен был с самого начала пронизать стену дома, пройти над улицей и вонзиться в балконы кинотеатра "Космос". Озадаченный этой мыслью, он даже остановился и тут же обнаружил, что коридор кончился. Впереди был тупик, и в тупике были две двери -- последние. Надпись на левой двери гласила с вызовом: "Для смелых". Надпись на правой двери снисходительно ухмылялась: "Для не очень".

Андрей Т. сдвинул брови и погрузился в самоанализ.

Скромность требовала признать, что со смелостью у нас обстоит не так чтобы очень. Правда, в первой четверти Андрей Т. взобрался по пожарной лестнице до пятого этажа. Но по возвращении на твердую почву у него так тряслись руки и ноги, что взыскательные наблюдатели это заметили, и пришлось соврать, будто на него напал приступ застарелой болезни Паркинсона (за многими делами он так и не удосужился выяснить, есть ли такая болезнь на самом деле, и если есть, то болеют ли ею люди). Эта унизительная ложь преследовала потом его целую неделю: время от времени он спохватывался и принимался трястись под внимательными взглядами своих товарищей, и кончилось это тем, что перепуганная классная воспитательница по прозвищу Яишница отвела его к врачу. Словом, скромность утверждала, что избрать следует правую дверь, и Андрей Т. послушался. Он решительно отворил дверь с надписью "Для не очень".

Так. За дверью была знакомая комната. В знакомом кресле похрапывал знакомый дедушка, на знакомом телевизоре жмурился знакомый кот, со знакомой кровати свешивалось знакомое одеяло.

Андрей Т. решительно закрыл дверь. Скромность, конечно, скромностью, но не такой же ценой! Впрочем, не беда, ничего не потеряно. И в конце концов, избрав сначала правую дверь, он поступил по крайней

мере честно, а как известно, "честность -- это больше чем смелость, это мужество!" (из запоздалой речи бабушки Вари по поводу сокрытия двойки по поведению за совершение некоего смелого поступка на уроке по рисованию). Что ж, придется быть не только честным, но и смелым, вот и все. Андрей Т. перешел к левой двери, стиснул зубы покрепче и толчком отворил ее.

Ничего особенного. Открылся тоннель с кирпичными стенами, низкий, сыроватый, но вполне опрятный и тихий. Цементный пол, на полу виднеются следы, оставшиеся, видимо, еще с тех времен, когда цемент не схватился. Гм. Странные следы. Не Генкины. Гм. Похоже, здесь прошла лошадь. Копыта. Гм.

Андрей Т. продвигался по тоннелю с некоторой опаской, стараясь жаться к стенам, подальше от странных следов. Он был готов ко всему, но ничего пока не происходило. Мало-помалу он приободрился, он уже и вправду ощущал себя не только мужественным, но и смелым. Спиридон, кажется, тоже пришел в хорошее настроение. Во всяком случае, он принялся напевать вполголоса: "Наши жены -- пушки заряжены, вот кто наши жены..."

Внезапно стены тоннеля раздались, вспыхнул яркий свет множества ламп дневного света, засверкал и заискрился белый и черный кафель. Андрей Т. остановился и зажмурил глаза от слепящего блеска. Когда же он разжмурился, то увидел, что стоит на самом краю плавательного бассейна.

Да, это был самый обыкновенный плавательный бассейн, точно такой же, в каком Андрей Т. некогда сдавал нормы ГТО, -- выложенный кафелем, шириною метров в десять и метров пятьдесят в длину.

Ясно было, что дальнейший путь к бедствующему Генке-Абрикосу лежит через широкий дверной проем на противоположной стороне бассейна, темнеющий за легкой пеленой струйчатого пара. Ясно было также, что обойти бассейн невозможно, потому что кромка пола между его боковыми краями и стенами по-дурацки узкая и вдобавок наклонена градусов этак на сорок пять, с альпинистскими шипами не удержишься. "Придется вплавь или вброд", -- подумал с неудовольствием Андрей Т. и тут только обнаружил, что в бассейне нет ни капли воды.

Это было как нельзя более кстати. Пожалуй, даже слишком. Если судьба бросает под ноги заведомо смелому человеку сухие бассейны, то надлежит смотреть в оба. Андрей Т. посмотрел в оба, и то, что он увидел, очень ему не понравилось. По всему пространству бассейна на чистом сухом кафеле были разбросаны какие-то заскорузлые тряпки и иные

предметы столь же неопрятной сущности. Андрей Т. разглядел продранный шерстяной носок, старую футболку с номером, обтрепанные брюки, вывернутый наизнанку тулуп, ржавый велосипедный насос и череп. При виде черепа сердце Андрея Т. подскочило к горлу. Генкин! Но он тут же вздохнул с облегчением: череп был коровий, из их школьного зоологического кабинета.

Несколько секунд Андрей Т. колебался, хотя отлично понимал, что бассейна этого ему не миновать. Он поднял глаза. Черные стрелки на светящемся циферблате показывали двадцать два часа тридцать семь минут. Время поджимало. Андрей Т. поколебался еще три секунды и решительно спрыгнул на кафельное дно.

Оказавшись в бассейне, он торопливо зашагал к противоположному краю, который вдруг словно бы отодвинулся куда-то в неимоверную даль. Сначала он шагал просто торопливо, потом зашагал быстро, потом очень быстро и наконец пустился бегом во все лопатки.

Нет, не зря коварная судьба устроила этот бассейн на его пути! И подозрительные тряпки с черепами оказались в этом бассейне, надо думать, не случайно! Не успел Андрей Т. пробежать и половины расстояния до края, как в уши его ударил глухой клокочущий рев. Со всех четырех сторон сразу из каких-то невидимых труб хлынули в бассейн свирепые потоки мутной вспененной воды, исходящей паром как бы от сдерживаемого бешенства.

Отступать было бессмысленно, это Андрей Т. понял сразу. Оставалось наступать. И, вспомнив свои былые успехи на стометровке, он рванул вперед с таким рвением, как будто твердо поставил себе целью перекрыть все олимпийские рекорды Валерия Борзова. Возможно даже, что он и перекрыл бы эти рекорды, но он не успел. Мутные волны набросились на него, ударили по ногам и окатили с головой.

-- Ай-яй-яй-яй-я-а-ай! -- взвыл в ужасе Спиха латиноамериканским голосом.

-- Вр-р-решь! -- прорычал Андрей Т.

Мутные пенистые валы тщились опрокинуть и утопить его, но он неудержимо рвался вперед, похожий теперь уже не на Валерия Борзова, а на скоростной скутер, идущий на редане.

Потом дно ушло у него из-под ног, он бросил на произвол судьбы боевой штатив, поднял Спиридона повыше над головой и поплыл. Он отчаянно работал ногами и отчаянно загребал правой рукой, он ничего не видел сквозь бурлящую пену и клубящийся пар, в ушах стоял рев волн, прорезаемый отчаянным свистом Спиридона, а он все загребал правой и

отрабатывал ногами, загребал и отрабатывал, загребал и отрабатывал целую вечность, пока не врезался в противоположную стенку бассейна с такой силой, что загудело во всем теле от травмированной макушки до самых пяток.

Через минуту он стоял наверху, на сухом полу, выложенном черным и белым кафелем. Он стоял и пошатывался от пережитых волнений, с него текло, он все еще держал своего Спиридона высоко над головой и с тупым интересом смотрел, как вода в бассейне, по-прежнему пенясь и исходя паром, всплескивается, закручивается в воронки и со скворчанием уходит в невидимые трубы. И вот уже обнажилось дно, и снова появилось на свет неопрятное тряпье вперемежку с ржавым хламом, только теперь среди всех этих старых штанов и костей сиротливо блестел под лампами дневного света боевой штатив для фотоаппарата.

-- Всего не спасешь, верно? -- произнес незнакомый голос.

Тут только Андрей Т. обнаружил рядом с собой некоего дядю. Был этот дядя в комбинезоне с лямками на голое загорелое тело, отличался изрядным ростом и чем-то очень напоминал соседа по лестничной площадке по прозвищу Конь Кобылыч. Голос у него был низкий и приятный, и смотрел он на Андрея Т. ласково и приветливо.

-- Хорошо еще, что сам жив остался, -- продолжал он. -- А ну, раздевайся, давай обсушимся, да и подзаправиться не мешает...

Он в два счета освободил Андрея от мокрой одежды, быстро и ловко развесил все на горячих трубах парового отопления и набросил Андрею на голые плечи огромное теплое мохнатое полотенце.

-- Смельчак, смельчак... -- приговаривал он при этом. -- Если можно так выразиться, рыцарь без страха и упрека... Молодец, ничего не скажешь...

Он усадил Андрея за уютный столик у стены, быстро и ловко выставил на скатерть большой кипящий чайник, пузатый заварочный чайник и цветастую чашку с блюдцем, затем присел к столику и сам.

-- В здешних палестинах так нельзя, -- говорил он с ласковой укоризною. -- Здесь головой надобно работать, головой. А вы все ногами норовите, ногами. Вот и хватили шилом патоки. Не-ет, не зная броду, не суйся в воду. А то ведь дурная голова покоя ногам не даст, нипочем не даст. Уж поверьте мне, кривой-то дорожкой ближе напрямик.

Андрей Т. слушал и давался диву, а между тем уже отхлебывал из цветастой чашки крепкий чай с молоком и поедал нечто белое, пухлое, очень вкусное, в обычной жизни почти не бывающее, надо полагать -калач.

-- Вы, мой огурчик, вступили в дело опасное и безнадежное, -

продолжал новоявленный Конь Кобылыч. -- Вы и понятия не имеете, куда вас несет. Вот миновали вы воду. Хорошо. Даже превосходно. А огонь? А медные трубы? Об этом вы подумали, луковка вы моя сахарная? А знаете ли вы, сколько таких вот овощей и фруктов, вроде вас, приходилось мне извлекать со дна -- бездыханными, помидорчик вы мой, бездыханными и неподвижными?! Положим, что вам своей головы не жаль. Ну а о маме вы подумали? Подумали о мамочке своей? Не подумали. По глазам вижу, что не подумали, капустка вы моя белокочанная! А об отце?

Все тот же огромный четырнадцатилетний опыт подсказывал Андрею, что подобные аргументы старших следует переносить молча и с наивозможно виноватым видом. Тем не менее Андрей Т. поставил чашку и произнес с достоинством:

-- Собственно, я ведь...

-- Не подумали! -- гаркнул Конь Кобылыч и подлил ему горячего из чайника и молочника. -- Об отце вы тоже не подумали!

-- Но ведь Генка...

Конь Кобылыч воздел руки над головой.

-- Ну разумеется -- Генка! -- с горестной усмешкой воскликнул он. -- Генка -- прежде всего! Юбер аллес, если можно так выразиться. А мать пусть рвет на себе волосы и валяется в беспамятстве! А отец пусть скрипит зубами от горя и слепнет от скупых мужских слез! Пусть! Главное, конечно, -- это Генка!

Тут Спиридон, стоявший до того тихонько на краю стола, внезапно запел:

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг,
А так...

Конь Кобылыч протянул руку, щелкнул верньером и поставил Спиридона под стол.

-- Генка -- только о нем мы и думаем днем и ночью, -- горестно продолжал он. -- Для него мы совершаем геройские подвиги вместо того, чтобы лишний раз взять в руки учебник по литературе. Дурака Генку спасать -- вот это подвиг и ура, это не то что постараться на твердую четверку по литературе выползти... Как же -- Генка!

Андрей Т. насупился. Конь Кобылыч при всем своем гостеприимстве и прочих приятных качествах был пустой болтун и больше ничего. Андрея

так и подмывало повернуться к нему спиной и засвистеть маршик из "Моста через реку Квай". Все, что он говорил о родителях и о Генке, было глупо и несправедливо. Есть вещи, которые нельзя не делать несмотря ни на что. Например, люди идут сражаться за Родину. Или погибают, спасая женщин и детей. Или летят в Космос. Да мало ли еще? И нечего приплетать сюда родителей и тем более тройки по литературе. И нечего выключать Спиридона.

Андрей Т. решительно отодвинул чашку и встал.

-- Спасибо, -- сказал он. -- Мне пора.

Конь Кобылыч приятно улыбнулся.

-- Подкрепились? -- осведомился он умильно.

-- Подкрепился. Спасибо, -- ответствовал Андрей Т.

-- Пообсохли?

-- Пообсох. Спасибо.

-- Самочувствие нормальное?

-- Нормальное.

-- Ну, будем одеваться, когда так.

Андрей Т. принялся одеваться. Ему хотелось поскорее уйти, и ему была неприятна близость Коня Кобылыча, а тот вертелся вокруг и помогал натягивать, зашнуровывать, застегивать и одергивать. Когда они застегнули последнюю "молнию" (на лыжной куртке, до повязки на горле), он отступил на шаг, полюбовался и сказал:

-- Вот и ладненько. А теперь домой, к мамочке.

"Фиг тебе -- к мамочке!" -- злорадно подумал Андрей Т. Он достал из-под стола Спиридона и взглянул на светящийся циферблат на стене. Двадцать три ноль три.

-- До свидания, -- сказал он и направился к дверному проему.

-- Куда же вы? -- вскричал Конь Кобылыч. -- Вам не туда! Вам обратно!

-- Туда, туда, -- успокоительно сказал ему Андрей Т., не останавливаясь. -- Туда и не мимо!

-- А как же мама? -- вопил вслед Конь Кобылыч. -- А медные трубы? Вы забыли про медные трубы!

Но Андрей Т. больше не откликался. Он на ходу повернул верньер до щелчка, и Спидлец немедленно взвыл: "Мы с милым расставалися, клялись в любви своей..."

Сразу за порогом широкого дверного проема оказался тускло освещенный зал с зеркальным паркетом и с воздухом столь необыкновенно сложного состава, что уже на двадцати шагах ничего нельзя было

различить за какой-то бесцветной дымкой. Однако сразу с порога же имела место уходящая по паркету дорожка черного дерева, и Андрей Т. понял, что опасность заблудиться ему не грозит. Он решительно зашагал по черным полированным квадратикам, стараясь отогнать расслабляющие воспоминания о своем подвиге в бассейне и о сладком чае с молоком и калачом. Он полагал, что главные испытания еще впереди и к ним нужно быть морально готовым. Вскоре он достиг своего: слова Коня Кобылыча о медных трубах (а кстати, и об огне), вначале с пренебрежением забытые им, не шли больше у него из головы.

И вот в ту самую минуту, когда зловещие слова эти пустили особенно прочные корни в сознании Андрея, черная дорожка под его ногами вдруг раздвоилась. Две совершенно одинаковые черные дорожки поуже уходили в бесцветную дымку вправо и влево под углом в две трети "пи". Причем поперек правой дорожки было большими белыми буквами написано "Для умных", а поперек левой -- "Для не слишком".

Заложив руки со Спиридоном за спину, Андрей Т. стоял на распутье, и горькая мудрая усмешка стыла на его хорошо очерченных губах. Легко справившись с мальчишеским желанием выкрикнуть в пространство что-либо обидное и погрозить (в пространство же) кулаком, он произнес короткий внутренний монолог:

-- Не очень-то вы балуете нас разнообразием, господа! Выражаясь вульгарным жаргоном Пашки Дробатона, второй раз хохма -- это уже не хохма. Нас опять ставят перед бесчестным выбором: либо забудь о скромности, либо отправляйся домой, к мамочке. Не выйдет, господа! Как говорит мой старший брат-студент, тривиально и лежит на поверхности. Легко видеть. Прости меня, моя скромность.

Криво усмехаясь (большое искусство, освоенное в свое время ценой двухчасового безобразного кривляния перед зеркалом в прихожей), Андрей Т. двинулся по Дороге для умных. Впрочем, насилие, учиненное им над собственной скромностью, не очень угнетало его. Гораздо важнее было то, что никаких новых бассейнов со свирепыми водами и вообще никаких болезнетворных физических воздействий ожидать в ближайшем будущем, по-видимому, не приходилось. Ум есть ум, господа, если мне и дадут, то, скорее всего, по мозгам, а уж это я как-нибудь переживу.

Дорога для умных оказалась на удивление короткой. Упиралась она, естественно, в обыкновенную дверь. Не тратя ни минуты драгоценного времени и все еще храня на хорошо очерченных губах кривую усмешку, Андрей Т. взялся за ручку и потянул.

Андрей Т. остолбенел. За дверью была все та же знакомая комната. В

знакомом кресле храпел во все завертки знакомый дедушка, на знакомом телевизоре валялся знакомый кот Мурзила, со знакомой кровати свешивалось знакомое одеяло. Андрей Т. тихонько закрыл дверь и тупо уставился на нее в упор. Вот, значит, как. Вот, значит, на чем вы меня провели. Вот, значит, что вы считаете умом. Умному, значит, дорога домой, в постельку. Ну, это мы тоже проходили. "Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет". А Генке, значит, там пропадать у вас? Нет уж, дудки! Андрей Т. произнес в пространство несколько обидных слов, показал (в пространство же) сдвоенный кукиш и, повернувшись спиной к бесполезной двери, рысцой пустился обратно к развилке.

Дорога для не слишком умных оказалась значительно длиннее, и Андрей Т. уже начал беспокоиться, когда впереди в белесой дымке возникло и замаячило какое-то мерцающее голубоватое пятно. Еще минута хода на рысях, и он неожиданно для себя чуть ли не носом уперся в прямоугольное матовое окно, вделанное в стену. Окно мерцало голубым неоновым огнем, а на матовом стекле было написано по вертикали большими красными буквами "ВХОД", причем рядом с надписью была изображена большая красная стрела, указующая в небо.

Это был поистине странный указатель, но Андрей Т. так и не успел как следует удивиться, потому что сразу обнаружил рядом нечто вроде лестницы. Собственно, это и была лестница, только не из ступенек, а из вделанных в стену металлических скоб, покрытых зеленой масляной краской. Подобную лестницу Андрей Т. видел во время школьной экскурсии на шефский завод: там она (лестница, конечно, а не экскурсия) вела на самую верхотуру гигантской заводской трубы. Здесь лестница вела в белесую дымку над головой и далее неведомо куда, потому что снизу были видны только первые шесть скоб.

Андрей Т. бросил взгляд на светящийся циферблат -- ничего себе, уже четверть двенадцатого! -- и стал искать, куда поставить Спиридона, ибо ясно было, что на этой, с позволения сказать, лестнице понадобятся все четыре конечности, а может быть, даже и зубы. Он уже решил было засунуть приемник в случившийся неподалеку чудовищный сервант без стекол и без полок, но тут Спидлец вдруг затянул трясущимся тенором старинный душераздирающий романс:

-- Не уходи! Побудь со мной еще минутку!..

Андрей Т. в смущении остановился.

-- Ты что это? -- спросил он неискренне.

-- Не уходи! Мне без тебя так будет жутко!.. -- с рыданием в голосе объяснил Спиридон.

Сердце Андрея дрогнуло.

-- Ну ладно, ладно тебе... -- пробормотал он и принялся запихивать чувствительный аппарат за пазуху.

Спиридон уже вполголоса, но по-прежнему с рыданиями и истерическим надрывом сообщил: "И чтоб вернуть тебя, я буду плакать дни и ночи..." -после чего замолк, а Андрей Т. поплевал на ладони, крякнул для основательности и начал подъем.

Первые скобы он преодолел легко и даже не без лихости -- пол еще был виден, а в случае чего можно было бы просто спрыгнуть вниз. На десятой скобе пол исчез из виду, пришлось остановиться и перевести дух. К пятнадцатой скобе все вокруг заволокло сплошной белесой пеленой, и вдобавок возникло ощущение, будто стена начинает загибаться внутрь зала наподобие этакого свода. Девятнадцатая скоба шаталась, как молочный зуб, -- именно здесь Андрей Т. смалодушничал и подумал, что следовало бы, пожалуй, вернуться вниз и все досконально, тщательно обдумать и взвесить. Однако как раз в этот момент угревшийся за пазухой Спиридон хрипло провозгласил, что "лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал". Андрей Т. устыдился и сейчас же взял одним рывком еще полдюжины скоб. Дальше он не считал. Ему стало не до счета. У него зверски заныли плечи и начали трястись ноги. Несомненно, это был приступ болезни Паркинсона, явившийся из мира выдумок и пустых фантазий, чтобы наказать Андрея за самонадеянность. О мои руки! О мои ноги! Все-таки подсунули мне болезнетворное воздействие, подлецы! Но тут ведь главное что? Бороться и искать, найти и не сдаваться. Не сдаваться? Ни в коем случае! Даже если ты болен, все равно чем -- фолликулярной ангиной или болезнью Паркинсона. Какие там могут быть болезни, если погибает мой лучший друг Генка по прозвищу Абрикос? Держись, Генка! -- твердил про себя Андрей Т. и цеплялся за ледяные скобы. Я иду, Генка! -- рычал он и карабкался по влажным скобам. Вр-р-решь, не возьмешь! -- хрипел он и повисал на липких скобах, обвившись вокруг них, подобно некоему тропическому удаву.

Но все на свете имеет конец, и в одну поистине прекрасную минуту Андрей Т. обнаружил, что больше не цепляется, не карабкается и не висит, а блаженствует, сидя на твердом полу и прислонившись спиной к твердой стене, и все вокруг прочно, надежно и безопасно.

Он сидел, как скоро выяснилось, в узкой круглой трубе. Справа мерцал туман и видны были осточертевшие до отвращения скобы, уходящие вдоль стены вниз. Слева, в конце трубы, было темно и мигали какие-то желтенькие огоньки. На вид совершенно безопасные и безвредные. Плечи

еще ныли, но не очень сильно. Ноги еще дрожали, но служить не отказывались. Андрей Т. обследовал ладони. Ладони в общем были целы и невредимы, хотя и горели, как будто он целый вечер тренировал подъем разгибом на перекладине. Следовало ожидать появления водяных пузырей, но от этого еще никто не умирал.

Вперед можно было двигаться только на четвереньках. Времена, когда такой способ перемещения в пространстве нравился Андрею Т. более прочих, уже довольно давно миновали, но выбора не было. Разумеется, он попытался перейти к прямохождению, но, продвинувшись на два шага в болезненно полусогнутом состоянии, налетел лбом на какую-то металлическую выпуклость в верхней части трубы и поспешил опуститься на четыре точки. Теперь страдали колени. Они отвыкли служить точками опоры. Они протестовали -- сначала негромко, а потом во весь голос. Спиридон, у которого вообще не было коленей, блаженно насвистывал за пазухой "Хороши весной в саду цветочки".

Однако кончилась и труба. Скорее почувствовав, чем увидев над собою пустое пространство, Андрей со стоном наслаждения распрямился во весь рост и, держась за поясницу, огляделся. Он был убежден, что ГенкаАбри-кос находится где-то поблизости. Но Генки не было. Была большая комната, освещенная крайне скудно.

Собственно, комната вообще не была освещена. В ней, как говорится, царила тьма, но во тьме этой в великом множестве мигали, загорались и гасли крошечные круглые окна с лампочками, и в их слабом переменчивом свете можно было рассмотреть, что вся она заставлена сплошными рядами громоздких угловатых то ли шкафов, то ли ящиков. Тянуло теплом и даже жаром, пахло странно, а впрочем, скорее приятно. И было полно звуков. Какой-то длинный шелест. Низкое монотонное гудение. Резкий хлесткий щелчок. Снова гудение. Снова шелест. Андрей Т. посмотрел, принюхался, послушал и робко воззвал:

-- Генка! Эй, Генка! Ты здесь?

Еще не успело увязнуть в жарком пахучем воздухе его последнее слово, как комната разразилась целым шквалом новых огней и звуков. Вспыхнули и замигали новые мириады круглых лампочек, в кромешной тьме под потолком побежали справа налево беспорядочные толпы светящихся цифр, шелест покрылся непрерывным звучным стрекотанием, а хлесткие щелчки забили часто и напористо, как выстрелы в "Великолепной семерке".

Ошеломленный Андрей Т. втянул голову в плечи и попятился, но тут

комната успокоилась. Торжественный, превосходно поставленный голос объявил:

-- Посторонний объект обнаружен, исследован и отождествлен как Желающий Пройти...

Одновременно на невидимом дисплее в темноте под потолком побежали справа налево светящиеся слова:

-- ПОСТОРОННИЙ ОБЪЕКТ ОБНАРУЖЕН ИССЛЕДОВАН И ОТОЖДЕСТВЛЕН КАК ЖЕЛАЮЩИЙ ПРОЙТИ...

-- Процедура представления начинается, -- продолжал Голос, и на дисплее побежали произносимые им фразы без знаков препинания. -Представляюсь, имею честь представиться: Всемогущий Электронный Думатель, Решатель и Отгадыватель, сокращенно ВЭДРО. С кем имею честь?

-- Собственно... -- нетвердо проговорил Андрей Т. -- Видите ли... Я... Андрей. Меня зовут Андрей. Я школьник.

Снова шквал огней и звуков. Голос безмолвствовал, но на дисплее, стремительно катясь друг за другом, загорелись слова:

-- АНДРЕЙ ИМЯ ОСМЫСЛЕНО ШКОЛЬНИК УЧАЩИЙСЯ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСМЫСЛЕНО КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ КОНЕЦ...

Андрей Т. поклонился, шаркнул ногой и сказал:

-- Собственно, мне к Генке нужно. Я очень тороплюсь. Как мне к Генке пройти?

Голос торжественно ответил:

-- Желающий Пройти должен успешно выдержать два этапа испытания. Первый этап: я задаю вопросы. Второй этап: я даю ответы. Доложите готовность к испытанию.

Даже в лучшие времена предложение держать испытания никогда не вызывало у Андрея никаких положительных эмоций. Теперь же он так и взвился от злости.

-- Какое еще испытание? -- заорал он. -- Какое может быть испытание, когда Генка-Абрикос там пропадает? Да провалитесь вы с вашим испытанием, и без вас обойдусь!

С этими словами он очертя голову устремился в проход между рядами шкафов-ящиков. Но ему пришлось тут же остановиться, потому что он увидел в конце прохода низкие дубовые ворота. На воротах висел массивный ржавый замок, у ворот дремал на табурете то ли сторож, то ли вахтер в ватнике, с берданкой на коленях, у ног же вахтера лежал устрашающего вида пес. Мощная голова его покоилась на лапах, но

треугольные уши стояли торчком, а желтые глаза бесстрастно взирали прямо в лицо Андрею.

-- Понятно, -- уныло сказал Андрей Т., повернулся и пошел из прохода.

-- Доложите готовность к испытанию, -- повторил Голос как ни в чем не бывало.

-- Готов, -- буркнул Андрей Т.

Голос объявил:

-- Процедура ввода информации в школьника Андрея начинается. Ввод информации. Первый этап. Я задаю три вопроса. Один вопрос из наук логических, один вопрос из наук гуманитарных, один вопрос из наук физико-технических. Если школьник Андрей отвечает на все три вопроса правильно, конец первого этапа. Доложите осмысление информации о первом этапе.

-- А если неправильно? -- вырвалось у Андрея.

Никакого ответа не последовало, на дисплее пронесся бесконечный ряд светящихся семерок, и где-то со скрипом приоткрылась дверь. За дверью, разумеется, была знакомая комната со знакомым дедушкой, знакомым котом и знакомым одеялом.

-- Мне все понятно, -- мрачно пробормотал Андрей Т.

Дверь со скрипом затворилась, а на дисплее побежали слова:

-- ВСЕ ПОНЯТНО ИНФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТОМ ОСМЫСЛЕНА ОСМЫСЛЕНА ПЕРВЫЙ ЭТАП НАЧИНАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ПЕРВЫЙ...

-- Первый вопрос формулируется! -- провозгласил ВЭДРО. -- Дано: столб и улитка. Высота столба десять метров. За день улитка поднимается по столбу на шесть метров, за ночь спускается на пять метров. Сколько суток потребуется улитке, чтобы достигнуть вершины столба? На размышление сто двадцать секунд. Размышление начинается!

На дисплее вспыхнуло число 120 и сейчас же сменилось числом 119. Потом пошли 118, 117, 116... Андрей Т. быстро произвел расчет: за день плюс шесть, за ночь минус пять, всего за сутки плюс один. Высота столба десять метров. Значит, легко видеть... Он уже открыл было рот, но спохватился. Слишком уж легко было видеть. Не может быть, чтобы задачка решалась так просто...

...100, 99, 98, 97...

Это проклятое Ведро ловит на какой-то чепухе. Не выйдет! Мы до городской олимпиады доходили, нас голыми руками не возьмешь!

...81, 80, 79, 78...

Правда, на городской олимпиаде мы таки ни одной задачки не решили,

но все-таки... Тьфу ты, что за ерунда лезет в голову! Значит за первые сутки один метр, за вторые два...

...63, 62, 61, 60...

Меньше минуты осталось! Ай-яй-яй... Э... Э! Ведь в последний день она сразу залезет на шесть метров вверх до самой верхушки, и спускаться ей уже не придется! Значит...

-- Четыре с половиной суток! -- радостно закричал Андрей Т.

На дисплее число 41 погасло, и побежали слова:

-- ОТВЕТ ЧЕТЫРЕ ПЯТЬ ДЕСЯТЫХ СУТОК ОСМЫСЛЕНО ВЕРНО ВЕРНО ВЕРНО ОСМЫСЛЕНО ВЕРНО...

Андрей Т. ликовал. Вот так-то! Нас на кривой не объедешь! Так будет со всяким, кто покусится!

-- Второй вопрос формулируется! -- объявил ВЭДРО. -- Дано: произведение Юрия Михайловича Лермонтова "Герой нашего времени". Требуется имя Печорина. Как звали Печорина. Имя. На размышление двести секунд. Размышление начинается.

...200, 199, 198, 197...

От ликования Андрея не осталось и следа. Волна слепого ужаса, черной паники окатила его. Это хуже, лихорадочно думал он. Это г ор а з д о хуже! Как же его звали-то? Печорин... Грушницкий... Они ведь там все только по фамилиям... Княжна Мэри... Или только по именам, без фамилий... Еще там был какой-то капитан... штабс-капитан... Иван... Иван...

...146, 145, 144, 143...

С этими фамилиями мне всегда не везло... Тогда еще историк взял да и спросил меня: "Какая фамилия у Петра Первого?" А я ляпнул сдуру: "Великий!.." Беда! Что делать-то? Ведь выставят сейчас, как пить дать выставят...

...119, 118, 117, 116...

Постой-ка... А, все равно терять нечего. Андрей Т. спросил противным сварливым голосом:

-- А что это у вас Лермонтов Юрий Михайловичем заделался, когда он всегда был Михаил Юрьевич?

На дисплее число 103 вдруг застыло в неподвижности. Комната бешено застрекотала и загудела, и разразилось такое хлесткое щелканье, словно принялся работать кнутами целый полк пастухов. На дисплее побежали длинные очереди бессмысленных семерок, погасли и сменились словами:

-- ЛЕРМОНТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ НЕ НЕ НЕ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ НЕ НЕ НЕ ВТОРОЙ ВОПРОС НЕ КОРРЕКТЕН НЕ НЕ

НЕ ВТОРОЙ ВОПРОС ОТМЕНЯЕТСЯ БЕЗ ЗАМЕНЫ БЕЗ БЕЗ БЕЗ СБОЙ МАГНИТНОЙ ЛЕНТЫ СБОЙ МАГНИТНОЙ ЛЕНТЫ...

Ага! Андрей Т. снова воспрянул духом. Заело! И без замены! Попалось Ведро. "Сбой магнитной ленты" -- это было Андрею знакомо. Не зря же папа занимается в своем СКБ конструированием электронно-вычислительных машин, а мама в своем НИИ на этих машинах работает. Опять эти сбои замучили, жалуется, бывало, мама, а папа неодобрительно ворчит и советует переходить на машину ЕС-1020, где можно легко обходиться без всяких магнитных лент...

Звуковой кавардак в комнате внезапно стих, и ВЭДРО по-прежнему торжественно и важно произнес:

-- Третий вопрос формулируется! Дано: гиперболоид инженера Гарина. Требуется изложить принцип его действия. На размышление двести сорок секунд. Размышление начинается.

На дисплее вспыхнуло число 240, а Андрей Т. озадаченно закусил ноготь.

Книгу он знал хорошо, а некоторые места из нее знал даже наизусть. Но вот как раз то место, где Гарин объясняет Зое устройство аппарата, он как-то не любил. Вернее, не очень любил. Читал, конечно, и не один раз, и схему разглядывал, аккуратный такой чертежик... Теперь бы вспомнить только. Тепловой луч. Инфракрасный луч. "Первый удар луча пришелся по заводской трубе..." И дальше: "Луч гиперболоида бешено плясал среди этого разрушения..."

...221, 220, 219, 218...

Спокойствие. Главное -- спокойствие. Что мы там имеем? "Луч из дула аппарата чиркнул поверх двери -- посыпались осколки дерева". Еще "Пенсне все сваливалось с мокрого носа Роллинга, но он мужественно стоял и смотрел, как за горизонтом вырастали дымные грибы и все восемь линейных кораблей американской эскадры взлетели на воздух..." Не то, но все равно прекрасно. Мокрый нос Роллинга... Ключ мне нужен, ключ, а не мокрый нос!

...187, 186, 185, 184...

"То-то! Идея аппарата проста до глупости..." Это я знаю, что она проста... "В аппарате билось, гудело пламя..." Это я тоже знаю. О чем это он тогда с Зоей?.. Пирамидки. Гиперболоид из шамонита. Так я и не собрался узнать, что такое этот шамонит... Стоп! Гиперболоид вращения, выточенный из шамонита! Пирамидки! Микрометрический винт! Гиперболическое зеркало! Ура!

...153, 152, 151, 150...

Теперь сформулируем. Спокойненько сформулируем, не спеша. Да, тут Ведро опять маху дало. Просчиталось Ведро. Не учло нынешний уровень. У нас все эти гиперболоиды, фотонные ракеты и прочие машины времени от зубов отскакивают, мы их как орешки щелкаем, они нам что братья родные!

Андрей Т. с шумом выдохнул воздух, дождался, пока на дисплее появилось число 100 (для ровного счета), и принялся со вкусом и обстоятельно описывать принцип действия и устройства аппарата для получения инфракрасных лучей большой мощности, известного под названием "гиперболоид инженера Гарина".

Он увлекся. Он говорил с выражением. Он декламировал излюбленные отрывки. Он щедро показывал руками и даже пытался расхаживать взад и вперед в тесноте между шкафами-ящиками. И дивное дело! -- по мере того, как он рассказывал, все медленнее мигали круглые лампочки, все тише делались шумы, угасали запахи, и становилось как будто все прохладнее. Когда же он с особенным наслаждением и во всех подробностях описал бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками для установки пирамидок из смеси алюминия и окиси железа (термит) с твердым маслом и желтым фосфором, ВЭДРО замер и затих окончательно. Возможно, заснул, а то и просто застыл с разинутым от изумления ртом.

Андрей Т. подождал немного и сказал:

-- Ну?

На дисплее появилась и погасла одинокая семерка. Затем не понеслись, обгоняя друг дружку, не побежали чинно, а побрели вразнобой на дисплее светящиеся слова:

-- ТРЕТИЙ ВОПРОС ОТВЕТ ВЕРЕН ВЕРЕН ВЕРЕН ОТВЕТ ВЕРЕН ГРАНИЦА ВЕРНОСТИ РЕАЛЬНОСТЬ ГИПЕРБОЛОИДА МИКРОМЕТРИЧНОСТЬ ВИНТА ЖЕЛТИЗНА ФОСФОРА ОСМЫСЛЕНО ВЕРНО ВЕРНО ВЕРНО ОСМЫСЛЕНО...

Читая по складам эту бредятину, Андрей Т. ликовал и злорадствовал. Обалдело Ведро! То-то же, знай наших! Видно, даже попрощаться не придется...

И опять преждевременно было его ликование. Вновь вспыхнули и замигали россыпи круглых лампочек, вновь вокруг зашелестело, застрекотало, защелкало, и ВЭДРО как ни в чем не бывало бодро объявил:

-- Конец первого этапа. Второй этап начинается. Школьник Андрей задает мне три любых вопроса, я отвечаю на них правильно, конец второго этапа, конец испытания. Школьник Андрей возвращается домой, к мамочке. Доложите осмысление информации о втором этапе.

У школьника Андрея отвис подбородок.

-- Это как так -- к мамочке? -- ошеломленно произнес он.

На дисплее побежала надпись:

-- БЕЗ ОТВЕТА ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ БЕЗ ОТВЕТА БЕЗ БЕЗ БЕЗ...

-- Это как так -- к мамочке! -- возопил возмущенный Андрей Т. -Мне не надо к мамочке! Мне не надо домой! Мне надо к Генке! Меня Генка ждет на подмогу! Это нечестно! Я на все вопросы ответил!

ВЭДРО снисходительно прогудел:

-- Дополнительная информация, разъяснение. Даже тот Желающий Пройти, кто успешно выдержал первый этап испытания, пропускается только в том случае, если я не сумею, не смогу, окажусь не в состоянии правильно ответить хотя бы на один вопрос из трех вопросов, заданных им мне на втором этапе. Поскольку вероятность такого случая теоретически исчезающе мала, а практически равна нулю, второй этап испытания рассматривается как формальная процедура, предшествующая возвращению Желающего Пройти восвояси. Доложите осмысление дополнительной информации.

-- Осмыслил, -- мрачно сказал Андрей Т. Он чуть не плакал от обиды. -- Ну а если я все-таки задам такой вопрос, что вы не ответите?

-- Невозможно, -- высокомерно отозвался ВЭДРО. -- Я всемогущ. Во всем, что касается вопросов, ответов, загадок, задач, проблем, теорий, гипотез, придумок и задумок, я всемогущ.

-- А все-таки?

-- Никаких "все-таки" быть не может. Я всемогущ.

Бороться и искать, найти и не сдаваться!

-- Мало ли что всемогущ, -- тоном Неверующего Фомы возразил Андрей Т. -- А если всемогущ, то вот, пожалуйста. Первый вопрос: как мне отсюда попасть к Генке?

Ответ упал, подобно удару сабли:

-- Никак.

А на дисплее побежало:

-- ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОДВЕРГНУТ ОТВЕТУ НЕЙТРАЛИЗОВАН ОТВЕТ ВЕРЕН ВЕРЕН ВЕРЕН ОТВЕТ ВЕРЕН...

Андрей Т. в отчаянии закусил губу. Не вышло... Он кое-что смыслил в электронных машинах. Если у этого Ведра достаточно обширная память (стоит только посмотреть на эти шкафы-сундуки) и приличное быстродействие, то его ведь и в самом деле ничем не проймешь. То есть наверняка есть на свете загадка, которую не знает даже эта железная

скотина, но пока додумаешься до этой загадки -- состаришься. А вопросов всего три... даже два уже только...

-- Бросьте вы это, молодой человек, -- произнес у него над ухом странно знакомый голос.

Он обернулся и увидел рядом давешнего то ли сторожа, то ли вахтера в ватнике и с берданкой под мышкой. Овчарки при нем не было.

-- Разве его одолеешь? -- продолжал сторож-вахтер, безнадежно махнув рукой. -- Он же здесь для того и поставлен, чтобы Желающих Пройти заворачивать. Его пронять никакой возможности нет. Здесь ведь как? Хоть рыбы не есть, зато и в воду не лезть. А вы все о друге хлопочете, о Генке своем. Друг с тобой, знаете ли, как рыба с водой: ты на дно, а он на берег. Да и это бы ничего, но только здесь вам не отломится, нет. Не ступай, собака, в волчий след -- оглянется, съест.

Тут только, к своему огромному изумлению, Андрей Т. узнал в вахтере Коня Кобылыча. Правда, со времени их последнего свидания Конь Кобылыч как будто слегка поусох и съежился, но это был, несомненно, он, беспардонный болтун и оппортунист.

-- Так что послушайтесь доброго совета, -- бубнил Конь Кобылыч, - заканчивайте здесь. Ну, задайте ему для проформы вопросики попроще... дважды семь там... или, скажем, куда девается земля, когда в ней дырка... он вам ответит, распрощаетесь вы по-доброму и -- домой, в постельку, к мамочке...

-- Сгиньте вы! -- дрожа от ярости, просипел Андрей Т.

И Конь Кобылыч сгинул.

Вопрос, вопрос, мучился Андрей Т. ...Где же мне взять вопрос? Может, дать ему доказать какую-нибудь теорему? Из тех, о которых галдит старший брат-студент со своими лохматыми приятелями. Как ее... проблему Гольбаха, например, или эту... о бесконечном количестве пар... Нет, не годится. Во-первых, а вдруг докажет? А я ведь даже проверить не сумею, правильно или нет. Гм... Нет, умными вопросами машину не испугаешь. Умными... Тут все дело в том, что правильно поставленный вопрос уже содержит в себе половину ответа (из очень давней речи папы по поводу страданий над забытой ныне арифметической задачей). А неправильно поставленный? Что если вопрос поставить неправильно? Гм... Как бы это его поставить...

-- Почему у кошки пять ног? -- выпалил Андрей Т.

ВЭДРО не снизошел до ответа голосом. На дисплее побежали слова.

-- ВОПРОС НЕ ВОПРОС НЕКОРРЕКТЕН СОДЕРЖИТ ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЛОЖНУЮ ОТВЕРГАЕТСЯ ОТВЕРГАЕТСЯ

ОТВЕРГАЕТСЯ...

Честно говоря, Андрей Т. ожидал чего-то вроде этого, но немедленно изобразил негодование.

-- Как это так -- отвергается? -- вскричал он. -- Нечестно! Сами же говорили, что всемогущий! А раз всемогущий, должны на любой вопрос...

-- Разъясняю! -- веско провозгласил ВЭДРО. -- Дополнительная информация. Всемогущий Электронный Думатель, Решатель и Отгадыватель отвечает верно, правильно на любой корректно поставленный вопрос. Он отвергает все вопросы некорректные, то есть содержащие заведомо ложную информацию, типа "Почему у привидений короткая стрижка?". Он не отвечает на вопросы, имеющие эмоциональную подоплеку, типа "Почему да отчего на глазах слезинки?". Он оставляет без внимания вопросы, содержащие неопределенность, типа "В чем смысл жизни?". Он игнорирует риторические вопросы типа "Иван Иваныч, вы ли это?". Восклицание "Нечестно!" -- отметается. Заявление "Сами же говорили, что всемогущий!" -- подтверждается. Разъяснение закончилось. Второй этап продолжается.

-- Все равно -- нечестно, -- проворчал Андрей Т.

Он понял, что дело дрянь. Вторая попытка обвести вокруг пальца хитроумное Ведро провалилась тоже. Ну, и с чем же мы теперь остались? Задачи ему давать бессмысленно. Если и есть на свете задачи, которых ему не решить, то я их не знаю и придумать не сумею. Дурацкие вопросы он отметает. И прямо скажем, правильно делает. Я бы на его месте тоже отметал. Поэтому остается... что? Вернуться к себе и лечь в постельку. Я буду в постельке нежить свою ангину, а Генка будет гибнуть и пропадать. Очень мило.

Все горе ведь в чем? Всемогущий. Значит, все может. В с е задачи. В с е вопросы. В с е загадки. В с е теоремы...

Постой-постой! Кто-то что-то мне про это говорил. То ли мне, то ли при мне... Неважно. Что же это было? Ага. Что со словом "все" должно быть связано какое-нибудь исключение, а иначе получается парадокс... Парадокс! Ну, держись, Ведро! Всемогущий? Я тебе покажу всемогущество, ты у меня попляшешь. Сейчас... Сейчас... Ага! Только надо сначала его подготовить. И Андрей Т. вкрадчиво осведомился:

-- А можно, я спрошу просто так, не в порядке? Я не все понимаю и хотел бы уяснить...

-- Разъяснение? -- весело рявкнул ВЭДРО. -- Готов!

-- Значит, вы можете ответить на любой корректный вопрос...

-- Да.

-- И можете решить любую задачу...

-- Да!

-- И можете придумать любую задачу и любой вопрос...

-- Да!

-- Любой-любой? Любую-любую?

-- Да! Да! Да! Всемогущ! Думаю, придумываю, решаю! Думаю, загадываю, отгадываю! Всемогущ!

-- Прекрасно, -- произнес Андрей Т., задыхаясь от возбуждения. - Отлично. От скромности вы не умрете.

Хвастливое Ведро секунду молчало, а затем объявило высокомерно:

-- От скромности не умирают. Скромность не смертельна. Кроме того, я вообще бессмертен.

-- С чем вас и поздравляю, -- сказал Андрей Т. -- А теперь разрешите вопросик уже в порядке.

-- В рамках второго этапа испытания?

-- Да. В рамках.

-- Готов!

-- Вопросик, -- проговорил Андрей Т. и изо всех сил стиснул кулаки, чтобы не трястись. -- Такой, значит, вопросик. Дано: вы можете придумать любой вопрос. Требуется ответить: можете ли вы придумать такой корректный вопрос, на который сами же ответить не сможете?

ВЭДРО сейчас же гаркнул:

-- Да!

На дисплее справа налево понеслись светящиеся слова:

-- ВТОРОЙ ВОПРОС ПОДВЕРГНУТ ОТВЕТУ НЕЙТРАЛИЗОВАН ОТВЕТ ВЕРЕН ВЕРЕН ВЕ...

И в ту же секунду ВЭДРО столь же горделиво и уверенно гаркнул:

-- Нет!

И немедленно тоном ниже:

-- Да.

И тут же почти уже робко:

-- Нет...

На дисплее началась каша. Натыкаясь друг на друга и болезненно дергаясь, то пускаясь вскачь, то едва ползя, двигались там такие примерно строки:

-- НЕЙТРАЛИЗДОТВЕТ 7777 НЕТ ОТВЕТРГНУТВОПР ДА 777 ДНЕТНДА ВЕРНЕВЕРВЕТ НГУЖ...

Андрей Т. рыдал от счастья. Можно было представить себе, что сейчас творится в электронных кишках этого самодовольного идиота! Анализируя

начало коварного вопроса, Ведро обнаруживало ключевое выражение "можете ли" и по своему всемогуществу немедленно отвечало "да". Но через долю секунды в анализатор поступало выражение прямо противоположное: "сами же... не сможете", и приходилось все по тому же всемогуществу отвечать "нет". И не было этому конца.

ВЭДРО отчаянно боролся с этой логической икотой.

-- Да! -- хрипел он. -- Днет! Нда! Данетданеда! Днднет! Ндет! Нечестно! Дандн!..

Включились и беспорядочно замигали все круглые лампочки, сколько их было. Во всех шкафах-сундуках бешено хлестали перематываемые магнитные ленты. Панически гудела, набирая обороты вентиляторов, система охлаждения. А на дисплее уныло, словно осенние мухи, ползали вокруг странного слова "БНДЭЩ" покосившиеся семерки...

-- Ндюк!.. -- из последних сил выкрикивал ВЭДРО. -- Амндгу!..

Потом лязгнул ржавый замок, и распахнулись настежь низкие дубовые ворота, пропуская в комнату поток радостного солнечного света и свежего воздуха. Протрусила и скрылась поджавшая хвост овчарка. И прошел между рядами шкафов-ящиков с деловым видом Конь Кобылыч, но уже без берданки, в черном рабочем халате и в очках с мощной оправой, похожий на физика-теоретика из какого-то кинофильма. Он удалился в дальний угол комнаты, чем-то там щелкнул, и ВЭДРО, прощально гукнув, смолк. Наступила тишина.

-- Опять тебя, родимого, зациклило, -- произнес Конь Кобылыч с состраданием. -- Ума много, а толку мало... Эхе-хе-хе-хе!..

Андрей Т. спохватился и взглянул на светящийся циферблат. А взглянув, не поверил своим глазам. Черные стрелки показывали двадцать три часа двадцать одну минуту! Всего пять минут прошло с тех пор, как он начал подъем по скобяной лестнице!

-- А чего тут удивительного, -- донесся до него голос Коня Кобылыча. -- Записывали вас на большой скорости, а пускали на нормальной...

Андрей Т. не стал спрашивать, что это означает. Придерживая за пазухой Спиху, он поспешно вышел наружу.

Он стоял в самом центре площади, посыпанной чистеньким красноватым песком, круглой и совершенно ровной, как пол в зале с белесой дымкой. Вовсю светило солнце, и это было странно в такой близости от новогодней полуночи, хотя в то же время казалось и вполне естественным, как и несколько Лун в различных фазах, разбросанных по разным участкам голубого неба. Площадь правильным кольцом окружали стоящие друг к другу впритык хорошенькие разноцветные павильоны,

причем над входом в каждый павильон красовалась художественно выполненная вывеска.

-- ФИЛУМЕНИСТЫ, -- читал Андрей Т., медленно поворачиваясь на пятках, -- ФИЛОКАРТИСТЫ, НУМИЗМАТЫ, БОНИСТЫ...

Он нимало не сомневался, что уж теперь-то бедствующий Генка пребывает где-то совсем поблизости, он даже как будто бы слышал уже и голос его, по-прежнему взывающий о помощи, он просто знал, что отсюда до Генки рукой подать, но неизвестно было, в какую сторону подавать эту руку. Вспыхнула надежда на справочное бюро, и вот среди множества художественно выполненных вывесок он искал вывеску справочного бюро.

Но очень скоро ему стало ясно, что такой вывески он здесь не найдет. Не место здесь было справочному бюро. Не могло здесь быть и милиции, и газетного киоска, и зеленной лавки. Здесь были только учреждения (возможно, клубы?), где лелеют все мыслимые хобби, страсти, страстишки и увлечения человека. Были павильоны для вполне понятных АВИАМОДЕЛИСТОВ и для смутно знакомых ТИФФОЗИ, и для вовсе непонятных ГУРМАНОВ. Были для МЕЛОМАНОВ, были для БИБЛИОФИЛОВ, даже для АЛКОГОЛИКОВ и НАРКОМАНОВ были, хотя, казалось бы, кому в здравом уме и трезвой памяти могло взбрести в голову держать открытый притон для алкоголиков и наркоманов?..

Андрей Т. уже ощутил подступающее отчаяние, когда взгляд его остановился на вывеске ФИЛАТЕЛИСТЫ. И ему сразу стало легче и веселее. Филателисты -- это все-таки нечто близкое, это не какие-нибудь тиффози или бонисты. Андрей Т. сам был филателист, а филателист филателисту не волк, не алкоголик какой-нибудь. Филателист всегда объяснит филателисту, как добраться до страждущего друга. Лучше справочного бюро объяснит. И Андрей Т. со всех ног припустил через площадь к яично-желтому павильончику под вывеской ФИЛАТЕЛИСТЫ.

Конечно, филателистом он был еще молодым, не очень опытным. Многие тайны этого почтенного хобби еще оставались для него за семью печатями, однако основные законы филателии были ему уже знакомы. Прилежное изучение журнала "Филателия СССР", ежегодника "Советский коллекционер", а также измусоленного, давно утратившего обложку французского каталога Ивера принесло свои плоды. Во всяком случае, главное он знал: а) самая красивая марка -- это еще не самая ценная; б) самая ценная марка -- не обязательно самая интересная; в) простое обрезание у марки зубцов не превращает ее в редкую беззубцовую разновидность.

В павильоне Андрея обступила тишина, прохлада и приятная

полутьма. Вдоль стен высились застекленные шкафы, стеллажи и витрины, уставленные альбомами и кляссерами. Альбомы и кляссеры были в приятном беспорядке разбросаны по поверхности длинного стола посередине. Альбомы и кляссеры громоздились на табуретах и стульях. Десятки и сотни альбомов и кляссеров! Может быть, тысячи!.. Андрей Т. даже не представлял себе, что такое может быть, хотя и знал, конечно, из литературы, что за последние полтора века в мире выпущено около миллиона марок...

Не помня себя, он приблизился к столу и раскрыл наугад один из больших кляссеров. Кровь ударила в лицо, закружилась голова, его бросило в жар: кляссер был набит "цеппелинами". И не подумайте, здесь были далеко не только марки, посвященные межконтинентальным перелетам дирижабля "Граф Цеппелин", ничего подобного! Здесь были собраны все марки всех стран с изображениями дирижаблей -- именно так собрал бы их сам Андрей Т., если бы был он не школьником восьмого класса, а небольшим государством с развитой промышленностью и со статьей бюджета, предусматривающей пополнение и углубление государственных коллекций.

Здесь были "цеппелины" Италии и "цеппелины" Лихтенштейна, "цеппелины" Парагвая и редчайшие "цеппелины" США, знаменитые немецкие "Поляр Фарт" и "Зюд-америка Фарт", здесь были великолепные советские серии, посвященные дирижаблестроению, и все разновидности "Малыгина", и легендарные конверты, доставленные дирижаблем ЛЦ-127 из Ленинграда в бухту Тихую, а оттуда ледоколом "Малыгин" в Архангельск, со всеми сопроводительными штампами, штемпелями и отметками...

Андрей Т. восседал в удобном высоком кресле, и в одной руке у него была большая филателистическая лупа, а пальцы другой сжимали специальный, удобно изогнутый филателистический пинцет, и настольная лампа с козырьком заливала страницы кляссера ярким матовым светом, и он листал и рассматривал, рассматривал и изучал, изучал и смаковал, и мир стал тесным, теплым и необыкновенно уютным -- не было в этом мире ничего, кроме круга света и красоты марок, сверкавших, словно драгоценные камни.

Впрочем, был в этом мире еще Комментатор. Но он скромно оставался в тени, за границей яркого круга, и он был услужлив, ненавязчив и полезен. Не надо было шарить по страницам новенького наисовременнейшего Ивера -страница с искомой серией раскрывалась как бы сама собой, и только мелькала на мгновение ловкая смуглая рука. Не надо было копаться в горах

справочной литературы -- негромкий доброжелательный голос без задержек сообщал все самое интересное о каждой марке, о каждом конверте, о каждом спецгашении. Не надо было тянуться за очередным кляссером -- он сам бесшумно выскакивал из темноты, направляемый и раскрываемый все той же ловкой смуглой рукой.

-- Беззубцовые "цеппелины"! -- восклицал потрясенный Андрей, и мягкий доброжелательный голос немедленно подхватывал:

-- Совершенно верно. Причем обратите внимание -- угловые экземпляры, огромные поля...

-- И без наклеек!

-- В идеальном состоянии.

-- Не фальшивки?

-- Ни в коем случае. Взгляните в лупу. Видите? Растровая сетка - квадраты, между тем как у фальшивок растровая сетка -- точки...

Но вот наступил момент, когда "цеппелины" исчерпались, и тогда Комментатор предложил мягким голосом:

-- Может быть, вас интересует тема "Космос"?

-- Ну... это же просто раскрашенная бумага... -- неуверенно возразил Андрей Т., повторяя заявление кого-то из собратьев-филателистов.

-- В каком-то смысле, безусловно, да, -- согласился Комментатор. - Торговцы марками ловко используют популярность этой темы для обделывания своих сомнительных делишек... И все-таки не откажитесь взглянуть.

Да, здесь было на что взглянуть! Яркие, словно тропические бабочки, серии Экваториальной Гвинеи... Потрясающие воображение стереоскопические блоки Бутана... Тяжелые, словно медали, чеканные марки молодых африканских республик, выполненные на золотой фольге... пиршество красок, буйство фантазии... Здесь был даже один из знаменитых сувенирных листков с изображением Юрия Гагарина, побывавших с космонавтом Георгием Гречко на борту "Салюта"! Все автографы всех космонавтов! Марки "Лунной почты"!..

-- А вот взгляните-ка на этот конверт... -- говорил и показывал всезнающий и доброжелательный Комментатор. -- А вот обратите внимание: редкая типографская ошибка в дате -- 1999 вместо 1969...

Альбомы и кляссеры сменялись кляссерами и альбомами, они следовали один за другим непрерывным и неиссякаемым потоком, и вот постепенно какое-то смутное беспокойство начало овладевать Андреем.

Почему все темнее становилось вокруг, и все ярче разгорался манящий круг света, в котором возникали все новые сокровища? Почему пинцет как

будто сам собой тянулся к очередному шедевру, а лупа словно бы так и ловчилась, чтобы получше увеличить и выявить тонкий нюанс? И почему все никак не удавалось разглядеть в сгущающемся сумраке доброжелательного и всезнающего Комментатора?.. И Спиридон, Спидлец, старый верный Спиха! Как это ты очутился там, на самом далеком шкафу в самом темном углу? Что вообще происходит?

Генка!

Андрей Т. положил лупу и пинцет и рывком отодвинулся от стола вместе с креслом.

-- Извините, -- пробормотал он. -- Я очень вам благодарен, конечно...

-- Вы еще не видели самого интересного, -- мягко остановил его Комментатор. -- Классику! Вы ведь знаете, что такое классика, не правда ли? Старая Германия, Черный Пенни в листах, Британские колонии...

-- Все это, конечно, страшно интересно, -- виновато пробормотал Андрей Т. и встал. -- Но тут такое дело... Я очень спешу... И кстати, не могли бы вы мне сказать...

-- Вы не понимаете, -- проникновенно и внушительно произнес Комментатор. -- Мне следовало еще раньше объяснить вам... Это не рядовой просмотр, молодой человек. Это ДАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР! Для пятидесятитысячного посетителя! Вам разрешается выбрать себе любую марку! Такое выпадает раз в жизни...

Андрей Т. впервые повернулся к нему лицом к лицу.

-- Дело в том... -- начал он и остановился, разинув рот.

Ну конечно же, это опять был Конь Кобылыч! Он совершенно уже усох, он сделался настоящим карликом, черным карликом с ослепительно белой манишкой и ослепительно белыми манжетами, но это, несомненно, был тот самый Конь Кобылыч!

-- По... послушайте... -- заикаясь, проговорил Андрей Т. и отступил на шаг.

-- Да! -- нестерпимым голосом взвизгнул Комментатор Конь Кобылыч. -- Да, это я! Но какое это имеет значение? А э т о вы видели?

Рука его, сверкнув манжетой, шестиметровой молнией метнулась во тьму, выхватила из нее и грохнула на стол в круг света плоский металлический ящик с четырьмя секретными замками разных систем.

-- Это вы должны увидеть, молодой человек... -- сипел Конь Кобылыч, торопливо нажимая клавиши, набирая цифры на миниатюрном телефонном диске, чем-то щелкая, клацая и стрекоча. -- Это мало кто видел, а вы сейчас увидите... И может быть, не только увидите... Как пятидесятитысячному посетителю... Ваше право... Конечно, придется выполнить целый ряд

формальностей... Вот, прошу вас!

Крышка стального ящика откинулась. На черном бархате под плитой броневого стекла в отсветах лампы лежала ОНА.

Единственная. Неповторимая. Уникальная. Фантастически знаменитая.

-- Розовая Гвиана! -- благоговейно прошептал Андрей Т.

-- Она! -- сверкая глазами, подтвердил Конь Кобылыч.

-- Но ведь ее нет даже в Британской Королевской Коллекции!

-- А у нас есть!

-- Обалдеть можно... -- жалобно простонал Андрей Т.

И наступила Тишина Почтительного Созерцания.

Нет, лучше скажем так. Указанная Тишина попыталась наступить, но у нее ничего не получилось.

Вмешался забытый Спиридон. Вмешался негромко, но самым решительным образом. Он запел незамысловатую песенку, от которой у Андрея всегда почему-то бежали мурашки по спине и становилось грустно и весело одновременно. Это была песенка о Веселом Барабанщике, всего лишь о барабанщике, но Спиридон пел ее от души, и получалось как-то так, что дело не только в том, что Веселый Барабанщик в руки палочки кленовые берет. Главное, оказывается, в том, что мир огромен и сложен, и дел в этом мире у человека невпроворот, что жизнь коротка, а Вселенная вечна, и смешно тратить свои лучшие годы на ерунду, а любая марка, даже самая знаменитая, есть всего-навсего кусочек раскрашенной бумаги, и стоит она никак не больше, чем пачка других раскрашенных кусочков бумаги, которую предложат за нее на распродаже...

Но вглядись -- и ты увидишь,
Как Веселый Барабанщик
С барабаном вдоль по улице идет... -

пел Спиридон, и Андрей, сдерживая накипающие слезы, слушал его и давал себе слово больше никогда, никогда...

Почтительное Созерцание не состоялось. Даже не бросив на Розовую Гвиану прощального взгляда, Андрей Т. молча двинулся вдоль стола в самый темный угол, чтобы взять Спиху в свои хозяйские руки и прижать к своей хозяйской груди. Он уже подошел к шкафу, когда за спиной его раздался нечеловеческий каркающий звук. Он обернулся, и в то же мгновение Конь Кобылыч выхватил из-под мышки лазерный пистолет. Ослепительный луч просек темноту над головой Андрея и вонзился прямо

в грудь транзисторному менестрелю.

Андрей Т. задохнулся от ужаса, а Спиридон жалобно пискнул на полуслове и замолк. Посередине шкалы диапазонов у него тлело, остывая на глазах, раскаленное вишневое пятно.

-- Это подло! -- закричал Андрей Т. Он сорвал Спиридона со шкафа и спрятал за спину. -- За что? Что он вам сделал?

Конь Кобылыч стоял на другом конце стола и смотрел на него, выставив вперед отвратительную физиономию.

-- Иди! -- просипел он. -- Иди и сдохни!

-- Скотина вы, -- сказал Андрей Т. -- Такой приемник загубили, такого певуна...

Ему и самому было немножко странно, что он не испытывает никакого страха перед этим фантастическим мерзавцем с фантастическим оружием. Ему было только горько за Спиху, тревожно за Генку и досадно за потерянное время. Но зато он знал теперь, куда идти: шкаф медленно повернулся на невидимой оси и открыл проход в промозглую ржавую тьму.

Место было совершенно непонятное. Андрей Т. шагал по железным решетчатым галереям и время от времени спускался по крутым железным же трапам. Решетки галерей и ступеньки трапов были ржавые и мокрые. Справа тянулась мокрая шершавая стена. Слева тянулись мокрые ржавые железные перила. За перилами была непроглядная пропасть, и, на сколько хватало глаз, ничего больше не было. Сверху, сквозь переплетения балочных и решетчатых конструкций, тоже, несомненно, железных, ржавых и мокрых, сочился жиденький ржавый свет. Всё. Сначала Андрей Т. решил, что попал в какую-то необычную шахту, потом подумал о внутренностях старого океанского лайнера, потом представил себя в заброшенной тюрьме и в конце концов перестал думать об этом вообще.

В стене справа изредка попадались мокрые ржавые железные двери с разнообразно-однообразными надписями типа "Пожарный выход". Или: "Выход здесь". Или: "Входа нет. Выход". Или даже: "А вот и выход". Один разок из чистого любопытства Андрей Т. приоткрыл дверь с надписью "Самый простой выход из" и полюбовался спящим дедушкой, после чего закрыл дверь поплотнее, вытер руку о штаны и пошел дальше, более не останавливаясь. Впрочем, чем дальше он шел, тем чаще стали попадаться двери либо заставленные штабелями пустых ящиков, либо заваленные какими-то швабрами и лопатами, либо просто забитые крест-накрест досками. Возможно, это свидетельствовало о том, что противник уже отказался от попыток остановить Андрея Т. путем запугивания,

дезинформации и подкупа. Если это так, то теперь Андрею предстоял открытый бой.

Тут была одна трудность: у него не было собственного опыта настоящих боев. Участия в случайных кампаниях после уроков в качестве сражателя или сражаемого считать за опыт в нынешних обстоятельствах, очевидно, не стоило. Правда, на первый взгляд, он мог бы опереться, с одной стороны, на боевой опыт дедушки-подполковника, а с другой -- на обширный материал, вычитанный в батальной литературе и высмотренный в кино. Однако, если судить по дедушкиным рассказам, наука побеждать сводилась главным образом к науке обеспечивать свои войска в достаточных количествах боепитанием и пищевым довольствием, что опять-таки мало подходило к обстоятельствам. А из литературы и кино Андрею, как на грех, ничего сейчас не вспоминалось, кроме отчетливой, но довольно бесполезной фразы: "Наступать! Наступать! Они уже выдыхаются!"

Одним словом, как ни верти, наиболее разумным представлялось следующее: приостановить стремительное продвижение, попытаться собрать информацию о противнике, спокойно оценить обстановку и тогда уже действовать в соответствии. И он стал охотно замедлять шаги и через минуту остановился, прижимая локтем к боку навеки умолкшего Спиридона, и вдруг увидел перед собой Генку.

-- Генка... -- прошептал Андрей Т., не веря глазам.

Абрикос был совершенно таким же, каким он видел его в последний раз, когда они прощались после школы "до следующего года", -- в распахнутой настежь кожаной куртке, с голубой сумкой Аэрофлота через плечо, со снежинками в волосах на непокрытой голове, и решительно не похоже было, что он терпит какое-то бедствие.

-- Генка! -- заорал Андрей Т. вне себя от радости. -- Ура! Бежим!

-- Я не Генка, -- виновато произнес Генка.

Андрей Т. заморгал. Он увидел, что да, это, пожалуй, действительно не Генка. Вернее, не совсем Генка. Во-первых, настоящий Генка никогда не говорил виновато, просто не умел. Во-вторых (и это показалось Андрею главным), этот Генка просвечивал насквозь. Правда, не очень сильно, а так, слегка. Читать сквозь него газету было бы, наверное, затруднительно, но вот смотреть телевизор, например...

-- А... а кто же ты... вы? -- растерянно спросил Андрей Т.

-- Я -- Напоминание, -- ответил прозрачный Генка и смущенно усмехнулся.

Это смущение было легко и понять, и простить. Действительно,

смешно и неловко называть себя Напоминанием, если ты огромен, как танк, имеешь толстые румяные щеки, густые и кудрявые (оч-чень попсовые!) волосы до плеч и пусть тщательно скрываемый, но вполне различимый прыщ на лбу. Но вот чего нельзя было простить, так это бьющего в глаза намека, который был, несомненно, заложен в столь лирическом имени.

-- Напоминание? -- проговорил Андрей Т., ощетиниваясь. -- А кому же, интересно, это напоминание?

-- Как это -- кому? Тебе, конечно, -- с дурной наивностью призрака ответил Генка-Напоминание.

-- Ах, мне! -- Андрей Т. понизил голос до шипения. -- И кто же это просил тебя мне что-нибудь напоминать?

-- Никто не просил.

-- А если никто не просил, так чего же ты лезешь со своими напоминаниями?

-- А ты чего?

-- Чего -- я чего?

-- Чего ты тут затормозил? Испугался?

-- Я испугался?

-- Ты.

-- Я?

-- Ты.

-- Я испугался?

-- Я не знаю, испугался ты или не испугался, -- пробормотал Генка-Напоминание, делаясь от неловкости еще прозрачнее. -- Я только вижу, что ты затормозил, а времени до полуночи осталось всего ничего, вот я и...

-- А тебя просили? -- разозлился Андрей Т. -- Тебя просили напоминать? Без тебя, думаешь, не помнят? Я в напоминаниях не нуждаюсь! Я без напоминаний сто лет обходился и еще сто лет обойдусь! Мне твои напоминания...

Тут он обнаружил, что разговаривает сам с собой, и замолчал, остывая. Шмыгнул носом и поправил Спиридона под мышкой. Покосился на темную пропасть за ржавыми перилами. Еще раз шмыгнул носом. Покосился на то место, где только что маячило Напоминание. И, не давая себе больше ни секунды на раздумья, ринулся вниз по гремящим железным ступенькам.

Он ураганом несся по дребезжащим решетчатым галереям, он обвалом ссыпался по гудящим трапам, он перемахивал через какие-то ящики и мешки, он проскальзывал под какими-то нависающими фермами, он был ловок, стремителен, могуч, упруг, гибок и неудержим. Не было ему преград

ни в море, ни (тем более) на суше. Не были ему страшны ни льды, ни (смешно сказать!) неведомые хозяева этого ржаво-железного балагана. Даешь Генку! Была ясная цель, была стальная решимость этой цели достигнуть, и он не нуждался ни в каких позорных напоминаниях. Жаль, конечно, что нет в руках ракетного ружья или штурмового автомата, или, на худой конец, хотя бы боевого штатива, но ведь главное оружие -- решиться!..

И вот он оказался на самой нижней галерее над самым последним трапом, и странная, наводящая оторопь сцена открылась перед ним.

Действие происходило на дне гигантской, метров пятьдесят диаметром, кастрюли с низкими, в лошадиный рост, железными стенками. На самой середине кастрюли возвышался Генка-Абрикос. Он стоял в знакомой до боли позе, расставив ноги, заложив руки за спину и угрюмо набычившись, как сотни раз стоял у доски, когда до такой степени не знал урока, что не мог даже пользоваться подсказками. Но Андрей Т. лишь мельком оглядел его, привычно отметив натренированным глазом и попорченную прическу, и подбитый глаз, и ссадины на костяшках. Все это было, конечно, очень интересно, однако по-настоящему внимание Андрея с первого же взгляда целиком поглотила удивительная публика, вольно расположившаяся у стены в левой части кастрюли на множестве кресел, стульев, диванов, кушеток и прочих седалищ. В течение первых секунд невероятная пестрота красок и форм в этой массе народа не давала Андрею сосредоточиться, и только постепенно обрел он способность выделять из нее отдельные фигуры.

Была там омерзительного вида старуха в сером штопаном балахоне, который вздымался у нее на спине двумя острыми горбами разной величины. Физиономия у нее тоже была серая, нос загибался ястребиным клювом, правый глаз горел кровавым огнем наподобие катафота, а на месте левого тускло отсвечивал большой шарикоподшипник, подбородка же у нее не было вовсе -- торчали у нее там, на месте подбородка, растопыренные желтые зубы. Словом, это была такая старуха, что от нее надлежало бежать со всех ног, немедленно, стремительно и в бесконечность...

Был там страхолюдный толстяк в бесформенном костюме в красно-белую шашечку, распространившийся на четыре стула и половину тахты, целая гора нездорового ноздреватого сала. Лицо его общими очертаниями и цветом, а также выразительностью походило на небезызвестный первый блин, да вдобавок и не просто первый, а самый первый из всех блинов. Впрочем, при всей своей устрашающей наружности толстяк этот был,

наверное, не из опасных противников, ибо все свои силы без остатка употреблял на то, чтобы не расползтись и не расплыться по полу...

И был там удивительный мужчина, похожий на покосившуюся вешалку для одежды. Он единственный из всей компании стоял, подпертый костылем спереди и двумя костылями по бокам, а на нем висело расстегнутое пальто горохового цвета, из-под которого виднелись: висящий до полу засаленный шелковый шарф, свободно болтающиеся полосатые брюки и шерстяной полосатый свитер, не содержащий внутри себя, как казалось, ничего, кроме некоторого количества слегка спертого воздуха. Сдвинутая вперед и набок широкополая шляпа скрывала почти все лицо его, так что видеть можно было только его узкий, лаково поблескивающий подбородок и торчащую далеко вперед узкую, лаково поблескивающую трубку.

И был еще там попсовый -- нет, не просто попсовый, а прямо-таки забойный -- молодой человек с длинными прямыми волосами, с одутловатым прыщавым лицом и с глазами столь красными и воспаленными, что они тут же вызывали воспоминание об уэллсовском Спящем, который проснулся, о куриной лапше, забытой на несколько дней на подоконнике в самое жаркое время года. Помещался он в массивном кожаном кресле, развалившись поперек на манер сыщика Пауля Дрейка, покачивая ногой, перекинутой через подлокотник и облаченной в задубевший от грязи клеш сверхъестественной ширины, копая в носу и то и дело поднося к свисавшей с губы сигарете роскошную зажигалку "Ронсон"...

И еще был там могучего телосложения хмырь без шеи, в пятнистой лиловой майке, замшевых штанишках выше колен и кедах на босу ногу, с бледной безволосой кожей, испещренной затейливой татуировкой, и с колоссальной щетинистой челюстью, которая непрерывно и весьма энергично двигалась. Словно перетирала попавшие в ротовую полость булыжники. Глаз и лба у этого типа почти что не было, во всяком случае, чтобы их заметить, требовалась известная сосредоточенность, зато у него были колоссальные, под стать челюсти, вилоподобные длани, и ими он в рассеянности сгибал и разгибал железный дворницкий лом...

Всего их там было не менее двух десятков, нехороших и разных, и все они поразительно отличались друг от друга формами и расцветками, словно бы принадлежали к различным зоологическим семействам, и в то же время в чем-то были схожи -- наверное, в том, что самим обликом своим и повадками дружно и нагло бросали вызов распространенному мнению, будто бы в человеке все должно быть прекрасно, а потому, несомненно,

составля-ли то неопределенное сообщество, которое принято называть дурной, или неподходящей, компанией. И странное дело, хотя каждый из них являл мерзопакость совершенно бредовую, однако у Андрея, остолбенело их разглядывавшего, шевелилось в глубине души ощущение, что они ему не совсем незнакомы, что где-то он их или таких же уже видывал -- то ли на репродукциях картин знаменитых художников, то ли на иллюстрациях к книгам знаменитых писателей, а может быть, и в натуре, живьем, во плоти...

Вцепившись в мокрое железо перил, Андрей Т. понемногу приходил в себя, оцепенение от первого шокового удара отпустило его, и он разом ощутил волны ледяного зловония, поднимавшиеся из гигантской кастрюли, услыхал голоса, гулко раздававшиеся в этой железной бочке, и понял, что тут происходит.

Происходил допрос. Неподходящая компания допрашивала пленника, а пленником был не кто иной, как старый верный друг Генка по прозвищу Абрикос.

-- Так что же, юноша, -- произнес Удивительный Мужчина, подпертый костылями, -- так и будем все время молчать?

-- Он полагает, что мы тут собрались играть с ним в молчанку! -пропыхтел Самый Первый Блин и рассмеялся собственной шутке, от чего весь пошел волнами, как плохо застывший студень.

-- В молчанку унд в гляделку, -- добавил Красноглазый Юноша, поигрывая "Ронсоном".

-- Уж полночь близится, а толку нет и нет, -- брезгливо проговорил Недобитый Фашист в мундире без пуговиц и на деревянной ноге. -- Сколько можно уговаривать этого молодчика? Обед проуговаривали, ужин проуговаривали...

-- Дайте его мне, -- свистящим шепотом предложил Хмырь с Челюстью, не переставая жевать.

-- Помолчите, коллеги, -- сказал Удивительный Мужчина, выбрасывая из трубки кольцо синего дыма, и снова обратился к Генке: -- Как мне кажется, вы, юноша, все еще не осознали, что выхода у вас нет и говорить вам все равно придется...

-- А он будет отвечать, -- дребезжащим голосом проворковала Двугорбая Старуха. -- Это он с вами, скверными дядьками и тетками, не хочет разговаривать, а мне он все расскажет. Ведь правда, моя лапочка? Ведь ты расскажешь милой доброй старушке-бабушке, как формулируется закон Бойля -- Мариотта?

В ответ на этот странный и неожиданный вопрос Генка только едва

заметно повел плечом, и тогда в дело вступила Эстрадная Халтурщица, располагавшаяся с ногами на диване и горстями жравшая шоколадную карамель из расставленных вокруг нее коробок. Утерев ладонью пасть, измазанную шоколадом и губной помадой, она решительно заявила:

-- Если уж на то пошло, гораздо интереснее было бы выяснить схему промышленного производства серной кислоты. Да и лабораторная схема не помешала бы...

-- Пусть он мне насчет квадратных уравнений все обскажет, не то я из него кишки вытяну и на барабан намотаю... -- просвистел Хмырь с Челюстью, не переставая жевать.

-- Позвольте, позвольте! -- взревел Человек-Ишак, вскакивая и опрокидывая при этом свою табуретку. -- Я ведь так ничего и не услышал о строении инфузории! И еще, мне так и не сказали, почему при смачивании лица одеколоном мы ощущаем охлаждение...

-- Не сметь без очереди! -- рявкнул Недобитый Фашист и треснул деревяшкой об пол.

Тут почтенная компания чудовищ словно взорвалась. Разом разверзлись все два десятка глоток, угрозы, проклятия и призывы к тишине и порядку смешались в сплошной нечленораздельный гам, железные стены гигантской кастрюли загудели, и затряслась даже решетка галереи, на которой стоял Андрей Т. Уже Недобитый Фашист схватился врукопашную с Человеком-Ишаком, уже Двугорбая Старуха вцепилась с яростью в патлы Эстрадной Халтурщицы, уже Хмырь с Челюстью (не переставая жевать) с угрожающим видом поднял над головой лом... Но вот Красноглазый Юноша, так и не покинувший своего кресла, отделил от губы сигарету, сунул в рот два пальца и издал оглушительный свист, от которого у Андрея засвербило в ушах. И столпотворение в кастрюле мгновенно утихло.

-- Продолжайте, -- сказал Красноглазый Удивительному Мужчине.

Тот выпустил в гнусный воздух кастрюли два синих дымовых кольца и вытянул в сторону Генки длиннющий костлявый палец.

-- Отвечайте, юноша, и не медлите, -- произнес он. -- Какие страны играют ведущую роль в мировом производстве хлопчатобумажных тканей?

Генка молчал.

-- Каков удельный вес США в производстве электроэнергии развитых капиталистических стран?

Генка едва заметно повел плечом.

-- Какое минеральное сырье из стран Южной Азии вывозится на мировой рынок?

Генка был недвижим.

Кто бы они ни были, эти жуткие инквизиторы-экзаменаторы -- диверсанты ли, разведчики из другого мира или служители неведомого культа, -с Генкой им не повезло. Во-первых, Генка был прирожденным троечником и ничего этого (из физики, математики, биологии и тем более из экономической географии) не знал и знать не хотел. Но самое главное -- он был из тех, кто никогда никому и ничего не уступает. Особенно если его припирают к стенке. Андрей Т. сам был свидетелем того, как Генку в метро приперла к стенке почтенная пожилая женщина, увешанная сумками и кошелками. Генка проехал восемь остановок, в том числе и ту, где им нужно было выходить. Он краснел, бледнел, читал газету, в которую были завернуты его ботинки с коньками, даже притворялся мертвым, но места своего так и не уступил... Да, этой банде уродов следовало бы схватить кого-нибудь послабее духом и покрепче знаниями.

-- А скажи мне, малтшик, -- вкрадчиво произнес Недобитый Фашист, -какими характеристиками отличается танк Т-34 от танка Т-6 "Тигр"?

Это он попал в яблочко. Генка на всю школу славился великолепным знанием танковой, артиллерийской, авиационной и ракетной техники, как отечественной, так и иностранной, как современной, так и давно прошедших эпох. Неужели?.. Генка есть Генка. Он едва заметно повел плечом и сплюнул в сторону. Между уродами прошло движение.

-- Однако же, юноша, -- проговорил Удивительный Мужчина, -- вы воображаете, что наше терпение безгранично. Создается впечатление, что вы ошибочно принимаете нашу выдержку и спокойствие за мягкотелость и нерешительность. Но перед вами не тюфяки какие-нибудь, не рохли и не слабонервные интеллигенты! Вы сами отлично знаете, что мы у м е е м получать сведения, в которых мы нуждаемся. Так попробуйте напрячь свое убогое воображение и представить себе, что станется с вами, когда после полуночи у нас будут развязаны руки!

Двугорбая Старуха облизнулась. Самый Первый Блин плотоядно потер руки. Эстрадная Халтурщица хихикнула. Хмырь с Челюстью сломал лом и с лязгом швырнул обломки на железный пол.

Андрей Т. взглянул на светящийся циферблат. Черные стрелки показывали без пяти минут новогоднюю полночь. Он переступил с ноги на ногу, и вдруг что-то лязгнуло под его ногой. Он поглядел. Шпага. Мокрая, ржавая, холодная, как все здесь. Но -- шпага. Оружие. Сила! Только силу можно было противопоставить этому купающемуся в зловонии амфитеатру разбойников. У Алексея Толстого сказано как-то не так, и вообще никакой здесь не амфитеатр, но это как раз не важно. Андрей Т. обтер рукоять шпаги полой куртки.

-- Надо полагать, -- говорил Удивительный Мужчина, -- вы все еще надеетесь на помощь вашего приятеля Андрея Т. Напрасно. Полночь близится, близится время Крайних Воздействий, близится ужасное для вас испытание, юноша, а тем временем! -- Удивительный Мужчина возвысил голос. -- А тем временем ваш так называемый друг мирно сидит себе в окружении любимых своих марок, смакует свое любимое фруктовое мороженое и о вас даже думать забыл!

-- Врешь! -- взревел Андрей Т. и вскочил на железные перила.

-- Врешь! -- вскричал он и одним прыжком приземлился на самой середине железной кастрюли рядом с Генкой. -- Выходите! Выходите! Выходите все! На меня! На одного!

К другу на помощь! Вызволить друга
Из кабалы и тюрьмы!.. --

хрипло запел вдруг оживший Спиридон.

На Андрея, расставив чудовищные лапы, шел Хмырь с Челюстью. За ним, отставая на шаг, выдвигались, ухмыляясь и переглядываясь, Недобитый Фашист и Красноглазый Юноша. Андрей Т. мрачно усмехнулся и сделал глубокий выпад...

Прекрасное новогоднее солнце било сквозь морозное окно.

-- Пришел твой, -- сказал дедушка.

-- Который час? -- хриплым со сна голосом спросил Андрей Т.

-- Начало одиннадцатого, -- сказал дедушка и удалился.

Приблизился Генка-Абрикос, совершенно красный с мороза, со снежинками в попсовых волосах и без автодрома. Он уселся на табурет и стал смотреть на Андрея жалкими виноватыми глазами. Многословные и несвязные объяснения его сводились к тому, что вырваться от Кузи оказалось невозможно, а потом Славка принес новые диски, а потом Кузин папан приготовил шербет, а потом забарахлил магнитофон, а потом пришла Милка... Ну разумеется! Милка. Так бы и сказал с самого начала...

-- Знаешь, Абрикос, -- сказал Андрей Т., прерывая на самой середине все эти малодостоверные объяснения, -- хочу тебе подарок сделать. Новогодний. Бери мою коллекцию марок.

-- Ну?! -- воскликнул восхищенный и виноватый Генка.

В передней послышались шаги и голоса. Это вернулись родители, сбежавшие из Грибановской караулки, потому что не в силах оказались

выдержать видения любимого Андрюшеньки, распростертого на ложе фолликулярной ангины.

Генка-Абрикос бубнил что-то благодарное и виноватое, а Андрей Т. лежал на спине, обеими руками держа Спиху, Спиридона, Спидлеца этакого, глядел на его страшную сквозную рану -- круглую дыру с оплавленными краями -- и слушал.

Будет полдень, суматохою пропахший,
Звон трамваев и людской водоворот,
Но прислушайся -- услышишь,
Как Веселый Барабанщик
С барабаном вдоль по улице идет... -

негромко пел Спиридон, и эта песенка, как всегда, была уместной, и от нее тихонечко и сладко щемило сердце.

Б. Стругацкий
КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ
1973--1978 гг.

"ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА"

23 апреля 1973 года в нашем рабочем дневнике появляется запись:

"Арк приехал писать заявку в "Аврору".
1. "Фауст, XX век". Ад и рай пытаются прекратить развитие науки.
2. "За миллиард лет до конца света" ("до Страшно го Суда").
Диверсанты
Дьявол
Пришельцы
Спруты Спиридоны
Союз 9-ти
Вселенная..."

Далее следует заявка, в которой суть и сюжет будущей повести излагаются достаточно подробно и вполне узнаваемо. Редкий случай, когда "скелет" повести нам удалось построить фактически за один-единственный рабочий день.

Разработка продолжена была еще и во время майской встречи, мы даже начали писать черновик и написали десяток страниц, но потом вынуждены были прерваться -- сначала для работы над сценарием "Бойцового Кота", а потом над повестью "Парень из преисподней". И только в июне 1974 года, переписав уже написанные десять страниц заново, мы взялись за "Миллиард" основательно и закончили его вчистую в декабре.

Я уверен теперь, что задержка почти на год пошла этой повести только на пользу. Весной 1974 года БН оказывается вовлечен в так называемое "дело Хейфеца": он впервые лоб в лоб сталкивается с нашими доблестными "компетентными органами", к счастью, правда, только лишь в качестве свидетеля. Столкновение это (достаточно подробно описанное у С. Витицкого в "Поиске предназначения") оставило в душе БН впечатления неизгладимые и окрасило (по крайней мере лично для него) всю атмосферу "Миллиарда" совершенно специфическим образом и в совершенно специфические тона. "Миллиард" стал для БН (и разумеется, -- по закону сообщающихся сосудов -- и для АН тоже) повестью о мучительной и фактически бесперспективной борьбе человека за сохранение, так сказать,

"права первородства" против тупой, слепой, напористой силы, не знающей ни чести, ни благородства, ни милосердия, умеющей только одно -- достигать поставленных целей, -- любыми средствами, но зато всегда и без каких-либо осечек. И когда писали мы эту нашу повесть, то ясно видели перед собою совершенно реальный и жестокий прообраз выдуманного нами Гомеостатического Мироздания, и себя самих видели в подтексте, и старались быть реалистичны и беспощадны -- и к себе, и ко всей этой придуманной нами ситуации, из которой выход был, как и в реальности, только один -- через потерю, полную или частичную, уважения к самому себе. "А если у тебя хватит пороху быть самим собой (как писал Джон Апдайк), то расплачиваться за тебя будут другие".

Замечательно, что подтекст этой повести, казалось бы, тщательно замаскированный, все-таки неуправляемо выпирал наружу и настораживал начальство без промаха. Так, "Аврора", с нетерпением ждавшая эту нашу повесть, фактически заказавшая ее и даже заплатившая за нее аванс - несмотря на хорошие рецензии, несмотря на совершенную невозможность придраться к чему-то определенному, несмотря на изначально доброе к авторам отношение, -- несмотря на все это, сразу же потребовала перенести действие в какую-нибудь капстрану ("например, в США"), а когда авторы отказались, тут же повесть и отвергла -- с сожалением, но решительно.

Повесть удалось опубликовать в журнале "Знание -- сила", причем ценою сравнительно небольших переделок. Первой жертвой цензуры пал, разумеется, Лидочкин лифчик, объявленный ядовитой бомбой, заложенной авторами под народную нравственность... Но более всего, помнится, удивило нас решительное и совершенно бескомпромиссное требование убрать из текста предостерегающую телеграмму ("БОБКА МОЛЧИТ НАРУШАЕТ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ..."). У кого именно из начальства и какие "неуправляемые ассоциации" вызвала эта телеграмма, так и осталось редакционной тайной. Вообще-то начальство требовало сначала убрать Гомеостатическое Мироздание en grand, но нам с нашими друзьями-редакторами удалось отбиться сравнительно недорогой ценой: упразднив понятие "гомеостазис" (которому начальство придавало почему-то некое социально-мистическое значение) и введя понятие "Сохранение Структуры" (видимо, этого социально-мистического духа напрочь лишенное). Кроме того, пришлось поменять "следователя уголовного розыска" на "следователя прокуратуры". Или наоборот. Не помню. Какой-то из этих следователей решительно не устраивал надзирающие органы -- какой именно? почему? Одному Богу это известно. Или, может быть, дьяволу -- по-моему, это, скорее, его епархия.

Я подумал сейчас: а ведь ВСЕ действующие лица повести имеют своего прототипа. Редкий случай! Никто не придуман совсем уж из головы -- разве что следователь Зыков, да и тот есть некое среднее взвешенное из Порфирия Петровича (см. "Преступление и наказание") и того следователя ГБ, который вел дело Хейфеца. Может быть, именно поэтому "Миллиард..." числился у нас всегда среди любимейших повестей -- это был как бы кусочек нашей жизни, очень конкретной, очень личной жизни, наполненной совершенно конкретными людьми и реальными событиями. Как известно, нет ничего более приятного, как вспоминать благополучно миновавшие нас неприятности.

"ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ"

Впервые идея "Града" возникла у нас еще в марте 1967 года, когда вовсю шла работа над "Сказкой о Тройке". Это было в Доме творчества в Голицыне, там мы регулярно по вечерам прогуливались перед сном по поселку, лениво обсуждая дела текущие, а равно и грядущие, и во время одной такой прогулки наткнулись на сюжет, который назвали тогда "Новый Апокалипсис" (о чем существует соответствующая запись в рабочем дневнике). Очень трудно и даже, пожалуй, невозможно восстановить сейчас тот облик "Града", который нарисовали мы себе тогда, в те отдаленные времена. Подозреваю, это было нечто весьма непохожее на окончательный мир Эксперимента. Достаточно сказать, что в наших письмах конца 60-х встречается и другое черновое название того же романа -- "Мой брат и я". Видимо, роман этот задумывался изначально в значительной степени как автобиографический.

Ни над каким другим нашим произведением (ни до, ни после) не работали мы так долго и так тщательно. Года три накапливали -- по крупицам -- эпизоды, биографии героев, отдельные фразы и фразочки; выдумывали Город, странности его и законы его существования, по возможности достоверную космографию этого искусственного мира и его историю -это было воистину сладкое и увлекательное занятие, но все на свете имеет конец, и в июне 1969-го мы составили первый подробный план и приняли окончательное название -- "Град обреченный" (именно "обречЕнный", а не "обречённый", как некоторые норовят произносить). Так называется известная картина Рериха, поразившая нас в свое время своей мрачной красотой и ощущением безнадежности, от нее исходившей.

Черновик романа был закончен в шесть заходов (общим счетом -- около семидесяти полных рабочих дней), на протяжении двух с четвертью лет. 27 мая 1972 поставили мы последнюю точку, с облегчением вздохнули и сунули непривычно толстую папку в шкаф. В архив. Надолго. Навсегда. Нам было совершенно ясно, что у романа нет никакой перспективы.

Нельзя сказать, чтобы мы питали какие-либо серьезные надежды и раньше, когда только начинали над ним работу. Уже в конце 60-х, а тем более в начале 70-х, ясно стало, что роман этот опубликовать не удастся -- скорее всего, никогда. И уж во всяком случае -- при нашей жизни. Однако в самом начале мы еще представляли себе развитие будущих событий достаточно оптимистично. Мы представляли себе, как, закончив рукопись,

перепечатаем ее начисто и понесем (с самым невинным видом) по редакциям. По многим и по разным. Во всех этих редакциях нам, разумеется, откажут, но предварительно -- обязательно прочтут. И не один человек прочтет в каждой из редакций, а, как это обыкновенно бывает, несколько. И снимут копии, как это обыкновенно бывает. И дадут почитать знакомым. И тогда роман начнет существовать. Как это уже бывало не раз -- и с "Улиткой", и со "Сказкой", и с "Гадкими лебедями"... Это будет нелегальное, бесшумное и тайное, почти призрачное, но все-таки существование -- взаимодействие литературного произведения с читателем, то самое взаимодействие, без которого не бывает ни литературного произведения, ни литературы вообще...

Но к середине 1972-го даже этот скромный план выглядел уже совершенно нереализуемым и даже небезопасным. История замечательного романа-эпопеи Василия Гроссмана "Жизнь и судьба", рукопись которого прямо из редакции тогдашнего "Знамени" была переправлена в "органы" и там сгинула (после обысков и изъятий чудом сохранилась одна-единственная копия, еще немного, и роман вообще прекратил бы существование, словно его никогда и не было!), -- история эта хорошо нам была известна и служила сумрачным предостережением. Наступило время, когда рукопись из дома выносить не рекомендовалось вообще. Ее даже знакомым давать сделалось опасно. И лучше всего было, пожалуй, вообще помалкивать о ее существовании -- от греха подальше. Поэтому черновик мы прочли (вслух, у себя дома) только самым близким друзьям, а все прочие интересующиеся еще много лет оставались в уверенности, что "Стругацкие, да, пишут новый роман, давно уже пишут, но все никак не соберутся его закончить".

А после лета 1974, после "дела Хейфеца -- Эткинда", после того, как хищный взор компетентных органов перестал блуждать по ближним окрестностям и уперся прямиком в одного из соавторов, положение сделалось еще более угрожающим. В Питере явно шилось очередное "ленинградское дело", так что теоретически теперь к любому из "засвеченных" в любой момент могли ПРИЙТИ, и это означало бы (помимо всего прочего) конец роману, ибо пребывал он в одном-единственном экземпляре и лежал в шкафу, что называется, на самом виду. Поэтому в конце 1974-го рукопись была БНом срочно распечатана в трех экземплярах (заодно произведена была и необходимая чистовая правка), а потом два экземпляра с соблюдением всех мер предосторожности переданы были верным людям -- одному москвичу и одному ленинградцу. Причем люди эти были подобраны таким образом, что, с одной стороны, были абсолютно

и безукоризненно честны, вне малейших подозрений, а с другой -- вроде бы и не числились среди самых ближайших наших друзей, так что в случае чего к ним, пожалуй, не должны были ПРИЙТИ. Слава богу, все окончилось благополучно, ничего экстраординарного не произошло, но две эти копии так и пролежали в "спецхране" до самого конца 80-х, когда удалось все-таки "Град" опубликовать.

И даже сама первая публикация (в ленинградском журнале "Нева") прошла не просто, а сопровождалась какими-то нервными и судорожными действиями: роман был разбит на две книги, подразумевалось, что книга первая написана давно, а вот книга вторая закончена, якобы, только что; почему-то казалось, что это важно и помогает (каким-то не совсем понятным образом) забить баки ленинградскому обкому, который в те времена уже не сжимал более издательского горла, но по-прежнему когтистой лапой придерживал издателя за полу; "первую книгу" выпустили в конце 88-го, а "вторую" -- в начале 89-го, даты написания в конце романа поставили какие-то несусветные... Перестройка еще только разгоралась, времена наступали дьявольски многообещающие, но и какие-то неверные, колеблющиеся и нереальные, как свет лампады на ветру...

Сильно подозреваю, что современный читатель совершенно не способен понять, а тем более прочувствовать всех этих страхов и предусмотрительных ухищрений. "В чем дело? -- спросит он с законным недоумением. -- По какому поводу весь этот сыр-бор? Что там такого-разэтакого в этом вашем романе, что вы накрутили вокруг него весь этот политический детектив в духе Фредерика Форсайта?" Признаюсь, мне очень непросто развеять такого рода недоумения. Времена изменились настолько, и настолько изменились представления о том, что в литературе можно, а что нельзя...

Вот, например, у нас в романе цитируется Александр Галич ("Упекли пророка в республику Коми..."), цитируется, естественно, без всякой ссылки, но и в таком, замаскированном виде это было в те времена абсолютно непроходимо и даже попросту опасно. Это была бомба -- под редактора, под главреда, под издательство. Вчуже страшно представить себе, что могли бы сделать с издателем власть имущие, проскочи такая цитатка в печать...

А чего стоит наш Изя Кацман, -- откровенный еврей, более того, еврей демонстративно вызывающий, один из главных героев, причем постоянно, как мальчишку, поучающий главного героя, русского, и даже не просто поучающий, а вдобавок еще регулярно побеждающий его во всех идеологических столкновениях?..

А сам главный герой, Андрей Воронин, комсомолец-ленинец-сталинец, правовернейший коммунист, борец за счастье простого народа -- с такою легкостью и непринужденностью превращающийся в высокопоставленного чиновника, барина, лощеного и зажравшегося мелкого вождя, вершителя человечьих судеб?..

А то, как легко и естественно этот комсомолец-сталинец становится сначала добрым приятелем, а потом и боевым соратником отпетого нацистагитлеровца, -- как много обнаруживается общего в этих, казалось бы, идеологических антагонистах?..

А крамольные рассуждения героев о возможной связи Эксперимента с проблемой построения коммунизма? А совершенно идеологически невыдержанная сцена с Великим Стратегом? А циничнейшие рассуждения героя о памятниках и о величии?.. А весь ДУХ романа, вся атмосфера его, пропитанная сомнениями, неверием, решительным нежеланием что-либо прославлять и провозглашать?

Сегодня никакого читателя и никакого издателя всеми этими сюжетами не удивишь и, уж конечно, не испугаешь, а тогда, двадцать пять лет назад, во время работы над романом, авторы повторяли друг другу, как заклинание: "Писать в стол надобно так, чтобы напечатать этого было нельзя, но и сажать чтобы тоже было вроде бы не за что". (При этом авторы понимали, разумеется, что посадить можно за что угодно и в любой момент, например, за неправильный переход улицы, но рассчитывали все-таки на ситуацию "непредвзятого подхода" -- когда приказ посадить еще не спущен сверху, а вызревает лишь, так сказать, внизу.)

Главная задача романа не сначала, но постепенно сформировалась у нас таким примерно образом: показать, как под давлением жизненных обстоятельств кардинально меняется мировоззрение молодого человека, как переходит он с позиций твердокаменного фанатика в состояние человека, словно бы повисшего в безвоздушном идеологическом пространстве, без какой-либо опоры под ногами. Жизненный путь, близкий авторам и представлявшийся им не только драматическим, но и поучительным. Как-никак, а целое поколение прошло этим путем за время с 1940 по 1985 год.

"Как жить в условиях идеологического вакуума? Как и зачем?" Мне кажется, этот вопрос остается актуальным и сегодня тоже -- причина, по которой "Град", несмотря на всю свою отчаянную политизированность и безусловную конъюнктурность, способен все-таки заинтересовать современного читателя, -- если его, читателя, вообще интересуют проблемы такого рода.

"ПОВЕСТЬ О ДРУЖБЕ И НЕДРУЖБЕ"

Начиналась она как сценарий "полнометражного телефильма-сказки для юношества". Сохранился черновик заявки, где карандашом, отвратительным почерком, но довольно подробно излагается сюжет будущей повести (которая еще и задумана-то не была).

Любопытно, что тогда же, в разгар работы над сюжетом, в дневнике появляется краткая зловещая запись: "25.06.74 Б. был в ГБ". Это, насколько я помню, был первый вызов БН в "Большой Дом" по делу Хейфеца. Однако сколько-нибудь существенного влияния на разработку сюжета и на окончательный текст сказочки это мрачное обстоятельство в дальнейшем не оказало.

А впрочем, как знать... Недаром же один из рецензентов отметил: "Повесть написана усталым человеком..." Это было дьявольски обидно читать, но в то же время чувствовалась в такой оценке и некая - существенная! -- доля прискорбной истины. Ведь и на самом деле, никакого вдохновения по поводу нового своего сюжета авторы отнюдь не испытывали. Проходили годы -- сюжет оставался втуне, работать с ним решительно не хотелось, и длилось это "пренебрежение достижимым" аж до самого конца 1977 года.

> 20.10.1977 -- БН: "...Очень пора нам с тобой что-нибудь написать, а? А то все сценарии да музкоме дии... Может, сказку напишем? Для "Костра". Про "друж бу и недружбу", помнишь? Я тут обдумывал этот вопрос -- может получиться очень мило..."
>
> АН ответил десяток дней спустя (без всякого энту зиазма): "...Насчет сказки для "Костра" -- отчегё ж... встретимся, поговорим. Кстати, мы с Ленкой намерены приехать в Ленинград числа 11 или 12 <ноября 1977>. Тогда все и согласуем".

Встретились. Согласовали. Решено было (чтобы серьезно не отвлекаться на эти мелкие пустяки) писать сказочку допотопным методом, по очереди: сначала весь текст пишет БН, потом исправляет АН, потом снова смотрит БН и так далее. Называлась вся эта процедура в наших письмах "обязаловкой", и заняла она общим счетом около трех месяцев. Причем мы так и не нашли ни времени, ни желания "сесть рядком и поработать ладком". В результате получилось то, что получилось.

Нелюбимый и нежеланный ребенок. Заморыш.

Издатель, видимо, это очень хорошо почувствовал. Рукопись последовательно отклонили: "Аврора" (как слишком детскую), "Пионерская Правда" (после долгой возни, сокращений и редактуры -- без объяснения причин) и, наконец, "Костер" ("...Повесть написана усталым человеком... неулыбчива и предсказуема... энтропия сюжетных ходов невелика..." и т. д.). Так что впервые повесть вышла только в 1980 году, в альманахе "Мир приключений", и публикация эта долгое время оставалась единственной, -- пока не появилось первое собрание сочинений АБС, выпущенное издательством "Текст". По зарубежным изданиям она тоже "чемпион": единственный перевод за двадцать пять лет (почему-то -- в Японии). Ну и господь с ней, с этой сказочкой. Я за все прошедшие годы так в нее и не заглянул ни разу: не люблю ее перечитывать, точно так же, как "Страну багровых туч" или, скажем, какой-нибудь "Спонтанный рефлекс".

Есть такое понятие -- "проходная повесть". Так обычно называют произведение, которое автором честно написано и даже опубликовано, но которое можно было бы и не писать вовсе -- оно не есть ступенька вверх для автора и вообще не составляет никакого этапа на его пути. У АБС таких "проходных", слава богу, немного: "Малыш", "Парень из преисподней", самые последние рассказы начала 60-х, ну и, конечно, "Повесть о дружбе и недружбе". Вполне могли бы мы ее не писать совсем. А если уж написали, -- печатать под псевдонимом, чтобы не портила нам творческой статистики. Однако, слово из песни не выкинешь. Был, был у нас этот сбой -- лишнее доказательство фундаментальной теоремы сочинительства: "То, что не интересно писателю, не может быть по-настоящему интересно и читателю тоже".